



ЮРИЙ
ТРИФОНОВ

Время и место

БИБЛИОТЕКА
"ДРУЖБЫ НАРОДОВ"

ЮРИЙ
ТРИФОНОВ

Время и место

ПОВЕСТЬ. РОМАНЫ

МОСКВА
"Известия"

1988

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Председатель редакционного совета
Сергей Баруздин

Первый заместитель председателя
Леонид Теракопян

Заместитель председателя
Александр Руденко-Десняк

Ответственный секретарь
Елена Мовчан

Члены совета

Акрам Айлисли, Ануар Алямжанов,
Лев Аннинский, Альгимантас Бучис,
Василь Быков, Юрий Ефремов,
Игорь Захорошко; Наталья Иванова,
Наталья Игрунова, Юрий Калешук,
Николай Карцов, Алм Кешоков,
Юрий Киршин, Григорий Корабельников,
Георгий Ломндзе, Рафаэль Мустафин,
Леонид Новиченко, Александр Овчаренко,
Борис Панкин, Вардгес Петросян,
Тимур Пулатов, Юрий Суровцев,
Бронислав Холопов, Константин Щербаков,
Камиль Яшен.

Составление и подготовка текста
О. Р. ТРИФОНОВОЙ-МИРОШНИЧЕНКО

Художник В. НИКИТИН

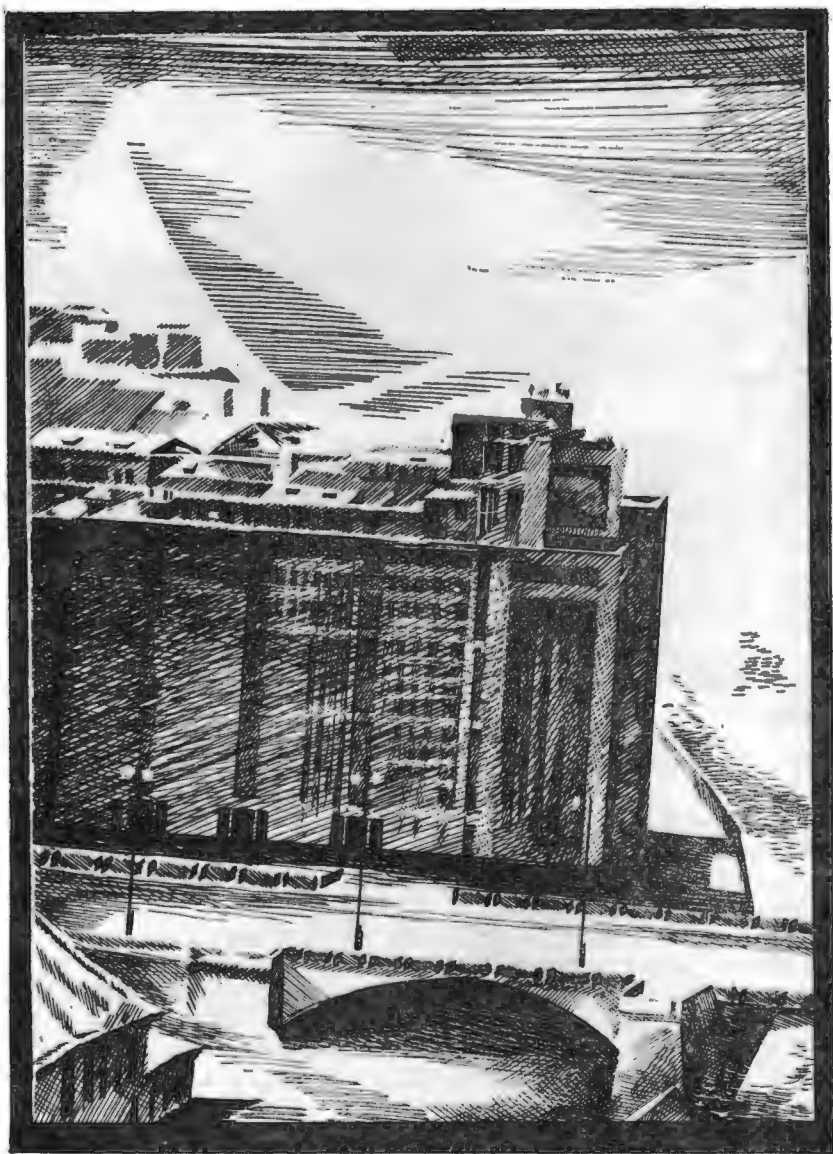
Т 4702010200—005
074(02)—88 — 61 — 88 подписное



ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ

Никого из этих мальчиков нет теперь на белом свете. Кто погиб на войне, кто умер от болезни, иные пропали безвестно. А некоторые, хотя и живут, превратились в других людей. И если бы эти другие люди встретили бы каким-нибудь колдовским образом тех, исчезнувших, в бумажных рубашонках, в полотняных туфлях на резиновом ходу, они не знали бы, о чем с ними говорить. Боюсь, не догадались бы даже, что встретили самих себя. Ну и бог с ними, с недогадливыми! Им некогда, они летят, плывут, несутся в потоке, загребают руками, все дальше и дальше, все скорей и скорей, день за днем, год за годом, меняются берега, отступают горы, редуют и облетают леса, темнеет небо, надвигается холод, надо спешить, спешить — и нет сил оглянуться назад, на то, что остановилось и замерло, как облако на краю небосклона.

В один из нестерпимо жарких августовских дней 1972 года — Москва тем летом задыхалась от зноя и дымной мглы, а Глебову приходилось, как назло, проводить много дней в городе, потому что ждали вселения в кооперативный дом, — Глебов заехал в мебельный магазин в новом районе, у черта на рогах, возле Коптевского рынка, и там случилась странная история. Он встретил приятеля допотопных времен. И забыл, как его зовут. Вообще-то он приехал туда за столом. Сказали, что можно взять стол, пока еще неизвестно, где, сие есть тайна, но указали концы — антикварный, с медальонами, как раз к стульям красного дерева, купленным Мариной год назад для новой квартиры. Сказали, что в мебельном возле Коптевского рынка работает некий Ефим, который знает, где стол. Глебов подъехал после обеда, в неистовый солнцепек, поставил машину в тень и направился к магазину. На тротуаре перед входом, где в клочьях мусора и упаковочной бумаги стояли только что сгруженные или ожи-



дающие погрузки шкафы, кушетки, всякая другая полированная дребедень, где с унылым видом слонялись покупатели, шоферы такси и неряшливо одетые мужики, готовые за трояк на все, Глебов спросил, как найти Ефима. Ответили: на заднем дворе. Глебов прошел через магазин, где от духоты и спиртового запаха лака нечем было дышать, и вышел узкою дверью во двор, совершенно пустынный. Какой-то работяга дремал в тенечке у стены, сидя на корточках. Глебов к нему: «Вы не Ефим?»

Работяга поднял мутный взгляд, посмотрел сурово и чуть выдавил презрительную ямку на подбородке, что должно было означать: нет. По этой выдавленной ямке и по чему-то еще, неуловимому, Глебов вдруг догадался, это этот помертвелый от жары и жажды похмелиться несчастный мебельный «подносила» — дружок давних лет. Понял не глазами, а чем-то другим, каким-то стуком внутри. Но ужасно было вот что: хорошо зная, кто это, начисто забыл имя! Поэтому стоял молча, покачиваясь в своих скрипучих сандалетах, и смотрел на работягу, вспоминая изо всех сил. Целая жизнь налетела внезапно. Но имя? Такое хитроватое, забавное. И в то же время детское. Единственное в своем роде. Безымянный друг опять налаживался дремать: кепочку натянул на нос, голову закинул и рот отвалил.

Глебов, волнуясь, отошел в сторону, потыкался туда-сюда, ища Ефима, потом вошел через заднюю дверь в помещение магазина, поспрошал там, Ефима след простыл, советовали ждать, но ждать было невозможно, и, ругаясь мысленно, проклиная необязательных людей, Глебов вновь вышел во двор, на солнышек, где его так изумил и озадачил Шулепа. Ну конечно: Шулепа! Левка Шулепников! Что-то когда-то слышал о том, что Шулепа пропал, докатился до дна, но чтобы уж досюда? До мебельного? Хотел поговорить с ним дружелюбно, по-товарищески, спросить, как да что и заодно про Ефима.

— Лев... — сказал Глебов не очень уверенно, подходя к мужику, который сидел там же в тени и в той же позе, на корточках, но теперь уже не дремал, а наблюдал за каким-то движением в глубине двора, мусоля губами папироску. Более громко и смело добавил: — Шулепа!

Человек опять посмотрел на Глебова мутно и отвер-

нулся. Конечно, это был Левка Шулепников, только очень старый, измятый, истерзанный жизнью, с сивыми запьянцовскими усами, непохожий на себя, но в чем-то, кажется, оставшийся непоколебленным, такой же нагловатый и глупо заносчивый, как прежде. Дать ему денег, что ли, на опохмелку? Глебов пошевелил пальцами в кармане брюк, нащупывая деньги. Рубля четыре мог дать безболезненно. Если бы тот попросил. Но мужик не обращал на Глебова никакого внимания, и Глебов растерялся и подумал, что, может, он ошибся и этот тип вовсе не Шулепников. Но в ту же секунду, рассердясь, спросил довольно грубо и панибратски, как привык разговаривать с обслуживающим персоналом:

— Да ты меня не узнаешь, что ли? Левк!

Шулепников выплюнул окурок и, не посмотрев на Глебова, встал и пошел вразвалочку в глубь двора, где начиналась разгрузка контейнера. Глебов, неприятно пораженный, побрел на улицу. Поразило не обличье Левки Шулепы и не жалкость его нынешнего состояния, а то, что Левка не захотел узнавать. Уж кому-кому, а Левке нечего было обижаться на Глебова. Не Глебов виноват и не люди, а времена. Вот пусть с временами и не здороваётся. Опять внезапно: совсем раннее, нищее и глупое, дом на набережной, снежные дворы, электрические фонари на проволоках, драки в сугробах у кирпичной стены. Шулепа состоял из слоев, распадался пластами, и каждый пласт был не похож на другой, но вот то — в снегу, в сугробах у кирпичной стены, когда дрались до кровянки, до хрипа «сдаюсь», потом в теплом громадном доме пили, блаженствуя, чай из тоненьких чашечек, — тогда, наверно, было настоящее. Хотя кто его знает. В разные времена настоящее выглядит по-разному.

Если честно, Глебов ненавидел те времена, потому что они были его детством.

И вечером, рассказывая Марине, он волновался и нервничал не оттого, что встретил приятеля, который не захотел его узнавать, а оттого, что приходится иметь дело с такими безответственными людьми, как Ефим, которые наобещают с три короба, а потом забудут или наплюют, и антикварный стол с медальонами уплывает в чужие руки. Ночевать поехали на дачу. Там царила тревога, тесть и теща не спали, несмотря на

поздний час: оказывается, Маргоша с утра уехала на мотоцикле с Толмачевым, не звонила весь день и только в девятом часу сообщила, что находится на проспекте Вернадского в мастерской какого-то художника. Просила не беспокоиться, Толмачев привезет ее не позже двенадцати. Глебов пришел в ярость: «На мотоцикле? Ночью? Почему вы не сказали идиотке, чтоб не сходила с ума, чтоб сию минуту, немедленно..?» Тесть и теща, как два комических старика из пьесы, бубнили что-то нелепое и не к месту.

— Я в аккурат поливал, Вадим Лексаныч, а воду перекрыли... Так что поставить вопрос на правлении...

Глебов махнул рукой и пошел в кабинет, на второй этаж. Духота не спадала и поздним вечером. Лиственной теплой сушью несло из темного сада. Глебов принял лекарство и прилег одетый на тахту, думая о том, что сегодня надо бы наконец, если все будет благополучно и дочка вернется живая, поговорить с нею о Толмачеве. Раскрыть глаза на это ничтожество. В половине первого раздался мотоциклетный треск, затем зашумели голоса внизу. Глебов с облегчением услышал высокий тарахтящий голосок дочери. Он тут же и чудесным образом успокоился, желание говорить с дочерью исчезло, и он стал стелить себе постель на тахте, зная, что жена станет теперь до глубокой ночи болтать с Маргошей.

Но те вбежали обе как-то бурно и бесцеременно в кабинет, когда свет еще не был погашен и Глебов стоял в белых трикотажных трусах, одной ногой на коврик перед тахтой, другую поставив на тахту, и маленькими ножницами стриг на ноге ногти.

У жены было бескровное лицо, и она сказала жалобно:

— Ты знаешь, она выходит замуж за Толмачева.

— Что ты говоришь! — Глебов как бы испугался, хотя на самом деле не испугался, но уж очень несчастен был вид Марины. — Когда же?

— Через двенадцать дней, когда он вернется из командировки, — произнесла Маргоша скороговоркой, подчеркивая быстротой говорения категоричность и неотвратимость того, что должно произойти. При этом она улыбалась, ее маленькое с немного опухшими щечками детское личико, носик, очки, черные пуговичные мамыны глазки — все это сияло, блестело, было

слепо и счастливо. Маргоша бросилась к отцу и поцеловала его. Глебов почувствовал запах вина. Он поспешно залез под простыню. Было неприятно, что взрослая дочь видела его в трусах, и еще более неприятно оттого, что та не была этим смущена и даже как бы не замечала отцовского непристойного вида, впрочем, она сейчас ничего не видела. Поразительный инфантилизм во всем. И эта дурочка хотела начинать самостоятельную жизнь с женщиной. Точнее говоря, со шпаной. Глебов спросил:

— Из какой же командировки? Разве Толмачев где-то работает?

— Конечно, работает. В книжном магазине продавцом.

— В книжном магазине? Продавцом?—Глебов от удивления выбросил обе руки из-под простыни. Тут было что-то новое, какой-то подвох. — А почему я об этом впервые слышу? Ты уверяла, что он художник, показывала картинки, какие-то подсвечники, утюги...

— Нет, она говорила, где он работает. Говорила, говорила, — подтвердила Марина, любившая справедливость. — Но дело не в этом...

— Мамочка, как я вас всех люблю! — воскликнула Маргоша, целуя мать, и засмеялась. — Папа, ты сегодня бледный! Как ты себя чувствуешь?

— А где жених в данную минуту?

— Папочка, я тебя прошу, ни о чем не думай, не расстраивайся!

— Маргоша, ответь мне: где вы собираетесь жить?

Продавцом в магазине. Ничего более несуразного быть не могло. Давно он не видел таких отрешенных, счастливых глаз, не слышал такого бессмысленного смеха. Маргоша, смеясь, говорила:

— Разве это так важно?

— Но мы с отцом хотим знать...

— Ах, вы хотите знать? Вас разбирает любопытство? — Опять смех. — Ну, если скажем, здесь... Это плохо? Вы не согласны?

— Будешь ездить автобусом? Вставать в пять утра?

— Мама, все это мелочь и ерунда...

Вдруг обе исчезли. Глебов прислушивался к летающим женским голосам внизу, к ним прибавился глухой говор тестя и тещи. Сердце Глебова ныло от предчувствия перемен, и он решил принять снотворное, чтобы

поскорее заснуть. Вдруг пришла легкая мысль: «А может, ничего страшного не случится? Пусть все идет своим ходом. Как всегда. Ну, разойдутся через год, ну и бог с ними». И он стал думать о другом.

Около часа ночи раздался телефонный звонок. Глебов почувствовал сквозь полусон, как его охватил гнев, сердцебиение усилилось, и он проворно, по-молодому соскочил с тахты и почти опрометью бросился к телефону, стоявшему на столе: успеть сорвать трубку прежде, чем схватит трубку нижнего телефона Маргошка, и дать нахалу взбучку! Был уверен, что звонит Толмачев.

Но голос был незнакомый, какой-то расхлябанный, хулиганский.

— Здравствуй, Дуня, новый год... Не узнаешь? А? — хрипел хулиган. — Го узнает, то не узнает. Вот задница. А который час-то? Ну, второй, подумаешь, детские времена. Интеллигенция об эту пору еще не ложится... Решает вопросы... Мы тут с одним мужиком сидим... А помнишь, какие у меня были финские ножички?

— Помню, — сказал Глебов и действительно вспомнил: ножичков было штук пять, все разного размера. Самый маленький был с папироску. Левка приносил их в школу и хвастался. И еще сверкающий стальной пистолет с костяной ручкой, как настоящий.

В кабинет вошла Марина, спросила испуганным взглядом: «Кто?» Глебов подмигивал, махал рукой: пустое, мол, чепуха. Почему-то обрадовался тому, что Шулепников позвонил.

— Ладно, будь, спи спокойно, дорогой товарищ... Извини, что потревожил... Я твой телефон три часа выбивал через справочную. Слышь? Ты когда подошел сегодня, я тебя узнавать не хотел. На хрена, думаю, он мне нужен? Противен ты мне был ужасно. Нет, ты понял, Вадька, ей-богу! Точно говорю: ужасно противен.

— За что ж так? — спросил Глебов, зевая.

— Да хрен меня знает. Ничего ты мне плохого вроде не сделал. Ну, ты там доктор, директор, пятое-десятое, дерьма пирога, мне это все неинтересно. Не волнует. Я по другому ведомству. А потом пришел с работы, занялся тут своими делами и соображаю: зачем же я Вадьку Глебыча обидел? Может, он за каким бараклом приехал, чего нужно? А в другой раз при-

дет — меня и нет... Меня тут в одну страну заряжают года на три...

«О господи! — подумал Глебов. — Ведь до самой смерти...»

— Лев, позвони мне завтра, пожалуйста.

— Нет, завтра не стану. Только сегодня. Ты что, министр? Завтра звонить! Ишь ты, какая цаца. Никаких завтра. Да ты с ума сошел, Глебов, как ты со мной разговариваешь! Как у тебя язык повернулся? Я три часа твой телефон вышибал, вот мы вдвоем с мужиком... Он из дипкорпуса, отличный мужик... Через мидовскую справочную... Вадька, а ты мою мамашу помнишь?

Глебов сказал, что помнит, и хотел добавить, что помнит и Левкиного отца, вернее, отчима. Вернее, двух его отчимов. Но трубка звякнула, и раздалась короткая гудки.

Марина глядела все еще испуганно.

— Да вздор какой-то. Это тот парень, кого я в мебельном сегодня... — Глебов стоял босой возле письменного стола и в задумчивости рассматривал телефонный аппарат. — Все-таки обормот... Действительно, зачем звонил?

Почти четверть века назад, когда Вадим Александрович Глебов еще не был лысоватым, полным, с грудями, как у женщины, с толстыми ляжками, с большим животом и опавшими плечами, что заставляло его шить костюмы у портного, а не покупать готовые, потому что пиджак годился пятьдесят второй, а в брюки он еле влезал в пятьдесят шестые, а то брал и пятьдесят восьмые; когда у него еще не было мостов вверху и внизу во рту, врачи не находили изменений в кардиограмме, говоривших о сердечной недостаточности и начальной стадии стенокардии, когда его еще не мучили изжоги по утрам, головокружения, чувство разбитости во всем теле, когда его печень работала нормально и он мог есть жирную пищу, не очень свежее мясо, пить сколько угодно вина и водки, не боясь последствий, не знал, что такое боли в пояснице, возникающие от напряжения, переохлаждения и бог знает еще отчего; когда он не боялся переплывать Москву-реку в самом широком месте, мог играть четыре часа без отдыха в волейбол, когда он был скор на ногу, костляв, с длинными волосами, в круглых очках, об-

ликом напоминал разночинца-семидесятника; когда он часто сидел без денег, зарабатывал как грузчик на вокзале или колол дрова в замоскворецких двориках, когда он голодал, была опасность, что начинается чухотка, его посылали в Крым, и все обошлось; когда еще были живы отец, тетя Поля и бабушка и все жили в маленьком домишке на набережной, на втором этаже, где кроме них жили еще шесть семей и в кухне стояло восемь столов; когда он любил петь песни с девушками, когда его звали не Вадимом Александровичем, а Глебычем и Батоном; когда он только еще мечтал, томясь бессонницей и жалким юношеским бессилием, обо всем том, что потом пришло к нему, не принеся радости, потому что отняло так много сил и того невосполнимого, что называется жизнью; в те времена, почти четверть века назад, был такой профессор Ганчук, была Соня, были Антон и Левка Шулепников, по прозвищу Шулепа, с которыми Вадим Александрович жил по соседству, были разные другие люди, понемногу исчезнувшие, и был он сам, не похожий на себя и невзрачный, как гусеница. А о Марине не было и помину.

Она где-то там на веранде под сенью берез аккуратно выцарапывает детским почерком на белых бумажных барабанчиках, натянутых на стеклянные банки и обкрученных по горлышку ниткой: «Крыжовник 72», «Клубника 72». Антона давно уже нет на земле, и Соня нет. И о профессоре Ганчуке ничего не известно, скорей всего, тоже нет, а если и есть, то все равно что нет. Левка Шулепников сидит во дворе мебельного магазина в тенечке, прислонясь спиной к стене, с папиросой в зубах и дремлет: все те же сны, просторные комнаты с высокими потолками, громадные оранжевые абажуры тридцатых годов...

Похоже на театр: первое явление, второе, третье, восемнадцатое. Каждый раз человек является немногим другим. Но между явлениями проходят годы, десятилетия. Шулепников возник в институте — это было второе явление, он вынырнул из забвения так естественно и легко, как бывает только в первой половине жизни, когда кажется, что все происходит так, как было задумано, — почему-то сразу на третьем курсе. А история с Ганчуком и со всеми остальными захватила четвертый и начало пятого. Шулепников необъяснимо быстро стал деятелем. Впрочем, объяснимо: за

кулисами стоял отчим, обладавший гигантскими возможностями. Об этом мало кто знал, но знали, конечно, Глебов и Соня, для которых Левка Шулепников остался добрым старым Шулепой. Его принимали за ловчилу, очень изобретательного, который успешно и стремительно делал карьеру: он в бюро, в комитете, там, сям и лучших девиц сразу взял на крючок. А на самом-то деле он был лопух, зауряднейший лопух. Но в этом разобрались не сразу, поначалу он раздражал многих. Как-то подошел в коридоре парень, здоровенный харьковчанин по фамилии Смыга, и сказал: «Глебов, ты, говорят, учился в школе с этим Жулятниковым?» Глебов сказал: учился, только не коверкайте фамилии, это дурной тон. «Хорошо, не будем фамилию, мы ему рожу исковеркаем, — пообещал Смыга. — Скажи Жулябьеву, чтоб за девками из нашей группы не ухлестывал. А то сделаем бо-бо».

Через несколько дней Смыга появился в аудитории с раздутой физиономией, будто у него флюс. Левка рассказывал несколько удивленно: «Этот слон навалился на меня в туалете, стал орать: «Мы тебя предупреждали, скот, ты нас не послушал!» Какой-то бред, ну, я срубил его приемом самбо. Он башкой унитаза расколол». Глебов не поверил, зная, что Левка порядочный враль, но потом обнаружил, что унитаз действительно разбит, и тогда поверил не только тому, что Смыга был жестоко унижен, но и всему прочему, фантастическому, что Шулепников повествовал из собственной жизни. Например, тому, что во время войны он окончил какую-то хитрую секретную школу, где учили стрелять, бросать ножи, убивать голыми руками, а также иностранным языкам, и занимался таинственными делами в глубоком немецком тылу, но потом его демобилизовали из-за открывшейся язвы желудка. В подлинности этого рассказа могли быть сомнения, так как немецкий язык Шулепников знал плохо, ножи бросал довольно посредственно и вообще был криклив, развязен, врал по мелочам, что не сходилось с обликом человека, за которого он себя выдавал. Глебов решил так: наверно, Левка и в самом деле учился в хитрой школе (отчим устроил) и намеревался стать полковником Лоуренсом, но дело почему-то не выгорело. А Смыга, который так задирался и ненавидел Левку, стал затем его преданнейшим подручным и прихлебателем — это уж через год, когда отчим подарил

Левке трофейный «BMW» и Левка прикатывал в институт на вишневом, клопиного облика драндулете, вызывая у бедных студентов не просто зависть, а лишение дара речи. Смыга повсюду таскался за Левкой, бегал для него по магазинам и знакомил его с девицами, с которыми прежде знакомился сам.

Отношения к Левке Шулепникову в те годы — тут был пик его судьбы, такой затейливой и капризной, — могли выражаться только в двух формах: рабски ему служить или злобно завидовать. Глебов, самый старый Левкин приятель, никогда не был его рабом, даже в младших классах, где так развито подхалимство одних мальчиков перед другими, сильными и богатыми, и не захотел превращаться в свитского генерала в институте, хотя был соблазн. Вокруг Шулепникова сбивались летучие компании, крутилась какая-то особая жизнь: дачи, автомобилн, театр, спортсмены. В те годы возник хоккей с шайбой, или, как его называли тогда, «канадский хоккей», просто «канада». Увлечение было модным и, пожалуй, изысканным. На стадион приезжали дамы в цигейковых шубах и мужчины в бобрах. Шулепников носился с какими-то знаменитостями из команды летчиков. Как Глебова ни тянуло прикоснуться ко всей этой увлекательной житухе, представлявшейся ему несколько призрачно и одновременно грубо, и как сам Левка ни был зазывчив и благосклонен по старой дружбе, Глебов держался вдалеке: тут было не только самолюбивое нежелание быть десятой спицей в колеснице, но и природная глебовская осторожность, проявлявшаяся иногда безо всяких поводов, по наитию. Шулепников предлагал от своих щедрот: «Глебыч, на тебя есть заявка!» Это значило, что какая-то из Левкиных девиц, приметив Глебова или же что-то прослышав о нем — ничего странного, девицы, по тогдашнему выражению, «ложили на него глаз», — желает с ним познакомиться, а может быть, Левка и привирал, заявок не было, просто хотел приобщить друга к земным радостям. Левка был человек компанейский. Глебов уклонялся. Выдумывал причины. Ссылался на Соню: ждет Соня, договорился с Соней, Соня больна. На самом деле работал тайный механизм самосохранения, и это было удивительно, ибо в те времена кто бы догадался о близких катастрофах! Но вот от чего Глебов не мог освободиться, что мучающе сопровождало его все годы, начиная с самых

ранних, это глубоко на дне теснящая душу обида...

И ни ее побороть, ни возвыситься над нею не выходило. Как неизживаемая болезнь: то тяжело, то ничего не заметно, а то такое лихо, что нет сил терпеть. Ну почему, к примеру, ему и то, и это, и все легко, бери голыми руками, будто назначено каким-то высшим судом? А Глебову до всего тянуться, все добывать горбом, жилами, кожей. Когда добудешь, жилы полопаются, кожа окостенеет.

А началась эта мука — назвать ее можно страданием от несоответствия — в далекие поры, в классе, что ли, пятом или шестом, когда Шулепа поселился в доме на набережной. Глебов-то в своем двухэтажном подворье жил с рождения. Рядом с серым громадным, наподобие целого города или даже целой страны домом в тысячу окон ютился на задворках, за церковью, за слипшимися, как грибы на пне, каменными развалахами дом, немного кривой, с коегде просевшей крышей, с четырьмя полуколонками на фасаде, известный среди жителей здешних улиц как «дерюгинское подворье». И переулочек, где стояла эта кривобокая красота, тоже был Дерюгинский. Серая громада висла над переулочком, по утрам застила солнце, а вечерами сверху летели голоса радио, музыка патефона. Там, в поднебесных этажах, шла, казалось, совсем иная жизнь, чем внизу, в мелкоте, крашенной по столетней традиции желтой краской. Вот и несоответствие! Те не замечали, другие плевать хотели, третьи полагали правильным и законным, а у Глебова с малолетства жжение в душе: то ли зависть, то ли еще что. Отец работал на старой конфетной фабрике мастером-химиком, а мать — и то, и это, а в общем-то ничего. Образования не было. То шила что-то, то по конторам, то билетершей в кинотеатре. И вот служба ее в кинотеатре — захудаленьком, в одном из замоскворецких переулков — составляла предмет немалой гордости Глебова и отличала его величайшей льготой: на любой фильм мог пройти без билета. А иногда в дневные часы, когда мало зрителей, мог даже товарища провести, а то и двух. Конечно, если мать была в добром расположении духа.

Эта привилегия была основой могущества Глебова в классе. Он пользовался ею расчетливо и умио: приглашал мальчиков, в дружбе которых был заинтересован, от которых чего-либо ждал взамен, иных долго

кормил обещаниями, прежде чем оказывал благодеяние, а некоторых мерзавцев навсегда лишал своей милости. Так продолжалось, и глебовская власть — ну, не власть, а, скажем, авторитет — оставалась непоколебленной, пока не возник Левка Шулепа. Левка переехал в большой дом откуда-то из пригорода или даже, кажется, из другого города. Он сразу произвел впечатление — у него были кожаные штаны! Первые дни он держался надменно, поглядывал своими голубенькими глазами на всех сонно и презрительно, ни с кем не заводил разговор и сел на одну парту с девчонкой. Во время уроков он невыносимо скрипел штанами. Его решили проучить, вернее, унижить. А еще точнее — опозорить. Была такая расправа, называвшаяся «огого»: за-таскивали на задний двор, наваливались кучей и с криками «огого!» сдирали с осужденного штаны. Такую операцию задумали провести с новичком. Это было бы сладостью: стащить с него удивительные скрипучие штаны, пусть бы он поплясал, поныл, а девчонки смотрели бы на это из окна, их предупредили. Глебов горячо подговаривал расправиться с Шулепой, который ему не нравился — ему вообще не очень нравились те, кто жил в большом доме, — но в последний миг решил не участвовать. Может, ему стало немного стыдно. Он смотрел из двери, выходящей на заднюю лестницу.

Они звали Левку после уроков на задний двор — их было человек пять: Медведь, Сява, Манюня, еще кто-то, — окружили Левку, о чем-то заспорили, и вдруг Медведь, главный силач класса, охватил Левку за шею, опрокинул его рывком навзничь, остальные с криками «огого!» набросились. Левка сопротивлялся, бил ногами, но его, конечно, смяли, скрутили, кто-то сел ему на грудь, и вдруг раздался громкий треск, будто лопнула автомобильная шина. Тут все пятеро кинулись в стороны, а Левка поднялся на ноги. Кожаные штаны были на нем, а в руке он держал пистолет. Он еще раз выстрелил в воздух. Пахло дымом. Была минута ужаса. Глебов почувствовал, как у него подгибаются ноги. На него мчался Медведь с вытаращенными глазами, оттолкнул Глебова и побежал, прыгая через ступени, вверх по лестнице.

Потом оказалось, что у Шулепникова был пугач, очень красивый заграничный пугач, который стрелял особыми пистонами, производившими звук выстрела

настоящего пистолета. Шулепников вышел из этой истории молодцом, а нападавшие были посрамлены и затем всячески старались помириться и подружиться с обладателем замечательного пугача. С помощью такого оружия можно было стать властителями дворов на всей набережной. Глебову сойтись с Шулепой было легче, чем другим. Ведь он не участвовал в нападении. Шулепников не проявлял мстительности и, кажется, был доволен тем, что теперь перед ним заискивают и за возможность стрельнуть готовы отдать целые состояния. Но дело так просто не кончилось. Вдруг явился директор вместе с завучем и милиционером и стал кричать, что бандиты должны быть наказаны. Директор был не похож на себя: он крнчал, чего не бывало раньше, и он был бледен, щеки его тряслись, настроен он был беспощадно. Завуч сказал, что налицо вредительская вылазка. Милиционер сидел молча, но от его присутствия всем было не по себе.

Директор требовал, чтоб назвали бандитов по именам. Шулепников не хотел. Он сказал, что не заметил: устроили «темную» и разбежались. Директор приходил еще дважды, но уже без милиционера. Фамилия директора была Мешков, и почему-то казалось, что странная фамилия происходит от мешков у него под глазами. Длинное белое лицо, белые опухшие полукружья под глазами. Он нервничал, не мог сидеть спокойно на стуле, как сидят учителя, и все время бегал перед доской как заведенный. Классную руководительницу по прозвищу Труба никто не любил, но директора было жаль. Он выглядел как-то пришибленным.

— Друзья мои, я вас прошу о мужестве... Мужество не в том, чтобы скрыть, а в том, чтобы сказать... — Его белое лицо и прерывающийся голос вовсе не говорили о мужестве.

При всем сочувствии к старому больному человеку класс, однако, молчал. Шулепа тоже молчал. Он рассказывал потом, что отец его наказал — запер в ванной на целый вечер, а в ванной было темно и ползали тараканы, — требуя, чтоб он назвал имена. Но Шулепа не назвал никого.

Так Левка Шулепников из человека, которого собирались на весь свет опозорить, превратился в героя. И с этого, наверное, времени, с кожаных штанов, с пугача и геройского поведения — одна девчонка даже сочинила стихи в честь Шулепы — зародилось то сви-

цовое, та тяжесть на дне души... Потому что одному человеку не должно быть все. Тут, если хотите, и природа станет протестовать, и то, что называется роком. Левка Шулепников потом ощутил этот протест рока, эти зубы дракона на собственной бедной шкуре, но ведь тогда, в полусне детства, никто и помыслить не мог, что все когда-нибудь перевернется. И только Глебов чуял нечто—теперь не определишь точно, что именно — тревожащее, как глухие голоса яви, проникающие в сон. Нет, зависть — совсем не то мелкое, дрянное чувство, каким представляется. Зависть — часть протестующей природы, сигнал, который чуткие души должны улавливать. Но нет несчастнее людей, пораженных завистью. И не было сокрушительней несчастья, чем то, что случилось с Глебовым в миг его, казалось бы, высшего торжества.

В кинотеатрике за мостом крутили старую картину «Голубой экспресс». Какие-то кровавые приключения, стрельба, убийства; все бредили этим фильмом, мечтали попасть, но детям почему-то не разрешалось. Глебова провела мать. Картина была, конечно, неслыханно хороша. Полтора часа Глебов сидел на откидном стуле, дрожа, как в ознобе. Разумеется, он должен был посмотреть картину еще не раз. Наступили дни бесспорного глебовского владычества. Никакими иными путями, кроме как через него, Глебова, никто не надеялся посмотреть эту мировецкую, ни с чем не сравнимую картиночку, суть которой заключалась в том, что на поезд с красными нападали беляки, расправлялись с женщинами, стариками и детьми, но затем красные побеждали. Перестрелки и схватки происходили в тамбурах, на крышах и под колесами вагонов на полном ходу. Глупая публика не ходила на эту картину, зальчик в дневные часы пустовал.

Глебов выбирал одного, двух наиболее достойных, занимался выбором вдумчиво, после уроков объявлял решение, и они мчались опрометью через мост, торопясь к сеансу. Мать могла пропустить и четверых, пятерых. Но Глебов не разбрасывался. Спешить было некуда. Ему хотелось, чтоб Шулепа тоже попросил бы, поклянчил, как другие, но тот не проявлял интереса. Однажды сказал небрежно:

— Да я ее сто раз видел!

Это было, конечно, вранье, Глебов наслаждался во время уроков, перебирая просителей: один предлагал

ему серию французских колоний с классером впридачу, Манюня обещал повести с отцом на бега, были другие предложения, были и угрозы. Одна девочка написала записку с обещанием поцеловать его, если он проведет ее на сеанс. Записка разволновала Глебова. Он никогда еще не получал записок от девочек и никогда не целовался. Девочку звали Дина, фамилия ее была Калмыкова. Дина Калмыкова, по прозвищу Абажур. Она была толстенькая, очень румяная, черноглазая, чернобровая, не очень красивая, Глебов не обращал на нее внимания. Но она запомнилась ему на всю жизнь.

Получив записку, Глебов испытал мгновенный горячий страх. Он боялся пошевелинуться и уж тем более боялся оглянуться назад — Дина сидела через две парты за ним. Первым делом он разорвал записку на мелкие клочки. Лихорадочно обдумывал: как поступить? Конечно, он мог бы сказать ей: «Пожалуйста, могу взять тебя в кино, но целоваться необязательно». Но это, может быть, прозвучало бы для нее обидно. Главное, она была уж очень толстенькая, настоящий жиртрест, хотя бегала быстро и на уроках физкультуры обгоняла других девчонок. Очень здорово умела ходить по бревну. На канате подтягивалась неплохо. У нее были огромные малиновые трусы с оборками, которые кто-то назвал «абажуром», и получилось прозвище: Абажур. Если бы такую записку прислала Света Кириллова или, например, Соня Ганчук, Глебов разволновался бы гораздо сильнее. Света казалась Глебову красавицей, она держалась гордо, была гибкая, тоненькая, с темно-рыжими косами, и всегда у нее был такой вид, будто она знает важную тайну, никому не известную, а Соня Ганчук привлекала Глебова не красотой, а чем-то другим. Может быть, тем, что ее отец, профессор Ганчук, был героем гражданской войны и в его кабинете, куда Соня однажды тайком провела Глебова, на стене висели кинжалы, ружья и турецкий ятаган. Вот если бы Света или Соня обещали поцеловать его! А Динка Абажур поставила его в тупик.

Все же на перемене, улучив минуту, когда Дина оказалась одна — она стояла у окна спиной к подоконнику и, улыбаясь, глядела в потолок, — он подошел к ней и буркнул:

— Если хочешь, можно пойти сегодня. Пойдут Мор-

жик и Химиус... — Помолчав, он добавил: — Если хочешь, конечно...

— Хочу, — сказала Дина, продолжая улыбаться и разглядывать потолок.

— Только не задерживайся, а то опоздаем. На два тридцать. Сразу одевайся, и бежим. Понятно? — Он говорил сухо, без намека на сантименты.

Во время сеанса Дина шепнула Глебову на ухо:

— Я пойду домой!

Он удивился. Главные перестрелки «Голубого экспресса» были впереди, и Глебов настроился посмотреть их в десятый раз. Дина объяснила шепотом: у нее заболел живот. Она поднялась и вышла из зала. Глебов, подумав, вышел вслед за ней. Было не совсем ясно, зачем он за ней вышел, и поэтому они оба чувствовали себя скованно и ни о чем не разговаривали. Дина шла быстрым шагом, почти бежала, и Глебов так же быстро шел с нею рядом. В молчании они пробежали переулок, вышли на набережную Канавы. Вода под мостом была черная и дымилась паром. Кое-где по реке еще плыли льдины, был апрель, тепло, холодно, не поймешь что, но у Глебова немного стучали зубы и весь он как-то дрожал. Теперь очень хотелось, чтобы Дина поцеловала его. Но он не знал, как об этом напомнить. Ведь не зря же он выбежал на улицу, не досмотрев кино! И получилось как раз удачно, потому что Морж и Химиус остались в кино, а то бы возвращались вчетвером, было бы неудобно.

Он посматривал сбоку на Динку Абажур, видел ее пунцовую щеку, вздернутый нос, черные кудри, выбившиеся из-под шерстяной лыжной шапочки, замечал, как она отдувается от быстрой ходьбы, толстые губы ее были раскрыты, и ему было приятно это посматривание. Потому, что он чувствовал, что Динка Абажур, пускай она толстая и не очень красивая, была в эти минуты в его власти. И сама на это согласилась! Его сердце стучало. Он стискивал кулаки. Вдруг Дина пошла медленней. Глебов тоже замедлил шаг. Они проходили мимо старого четырехэтажного дома, но это был не ее дом. Она жила на Полянке. Дина открыла тяжелую дверь подъезда, вошла внутрь, не оглядываясь, и Глебов вошел за ней. Она побежала по лестнице наверх, на второй этаж, на третий, на четвертый, не останавливаясь, он бежал следом. С площадки четвертого этажа вела еще выше узкая лесенка, и Дина

поднялась по ней. Глебов тоже поднялся. Там было низкое темное, дурно пахнущее помещение перед входом на чердак.

Дина повернулась к нему, тяжело дыша, и сказала:

— Ну!

— Что? — спросил он, задыхаясь.

— Можешь меня поцеловать.

— Почему это я должен? Ведь ты обещала...

— Дурак! — сказала Дина.

Они постояли молча, понемиогу успокаиваясь. Она не хотела уходить и еще раз сказала тихо:

— Ой, дурак же...

Он твердо решил дожидаться обещанного. Прошло, наверное, минуты три в полном молчании и неподвижности, потом из-за двери, ведущей на чердак, раздался истошный кошачий визг и что-то прошуршало стремительно. Они засмеялись. Дина внезапно приблизилась к нему толстым жарким лицом, и он почувствовал прикосновение — на одну секунду — чего-то влажно-летучего возле своих губ, и это был первый поцелуй в его жизни. Ничего особенно приятного, просто облегчение. Они сбегали по лестнице вниз и тут же, у подъезда, расстались: ей надо было идти направо за угол, на Полянку, а он побежал через мост.

А через день или два, в разгар глебовского могущества, произошло крушение. Шулеников зазвал ребят после уроков к себе. В большом доме Глебов бывал не раз: то у Моржа на десятом этаже, где из окна открывался вид на Крымский мост, деревья парка и летом было видно, как крутится громадное парковое колесо, то приходил к Химиусу, жившему в том же подъезде этажом ниже, они с Моржом устроили на балконах «веревочно-флажковую связь», то бывал у Со-ни Ганчук, а то у Антона в маленькой квартирке на первом этаже, где Антон жил с матерью Анной Георгиевной. Из всех обитателей большого дома Глебову по-настоящему нравился Антон Овчинников. Вообще-то Глебов считал Антона просто-напросто гениальным человеком. Да и многие так считали. Антон был музыкант, поклонник Верди, оперу «Аида» мог напеть по памяти всю, с начала до конца, кроме того, он был художник, лучший в школе, особенно замечательно он рисовал акварелью исторические здания, а тушью — профили композиторов; еще он был сочинитель фантас-

тических, научных романов, посвященных изучению пещер и археологических древностей, интересовали его также палеонтология, океанография, география и частично минералогия. Глебова Антон привлекал не только гениальными способностями, но и тем, что он был скромный, не хвастун, не зазнайка — в отличие от других жителей большого дома, в каждом из которых сидела хотя бы малой дозой некая фанаберия, отвратительная Глебову, — и жил Антон скромно, в однокомнатной квартире, обставленной простой казенной мебелью, и не было у него немецких ботинок, финских шерстяных свитеров, удивительных ножичков в кожаных футлярчиках, и не приносил он в школу завернутые в папиросную бумагу бутерброды с ветчиной или сыром, от которых шел запах по всему классу.

Глебов не очень-то охотно ходил в гости к ребятам, жившим в большом доме, не то что неохотно, шел-то с охотой, но и с опаской, потому что лифтеры в подъездах всегда смотрели подозрительно и спрашивали: «Ты к кому?» Надо было называть фамилию, номер квартиры, иногда лифтер звонил в квартиру и выяснял, действительно ли там ждут в гости такого-то. Стоять и ждать, пока он выяснит, было неприятно. Лифтер, разговаривая, поглядывал зорким и неподкупным оком, как бы опасаясь, что Глебов юркнет в лифт и уедет без разрешения, а Глебов чувствовал себя почти злоумышленником, пойманным с поличным. И никогда нельзя было знать, что ответят в квартире: у Моржа была глухая домработница, которая ничего не могла ни понять, ни объяснить, а у Химиуса часто снимала трубку бабка, вредоносная старуха, следившая за внуком с неусыпной бдительностью. Однажды она сказала лифтеру: Глебова не пускать, потому что Химиус не сделал уроков. И лишь когда Глебов приходил к Антону, он не испытывал мучительства допросов и переспросов — квартирка Антона находилась на первом этаже и лифтер с суровой внимательностью просто следил за Глебовым, как тот звонит, как ему отпирают. Глебов заметил, что и ребята, жившие в доме, побаивались лифтеров и старались прошмыгнуть мимо них побыстрее.

Но Левка Шулепников, хотя и недавний жилец, держался иначе. Лифтер в его подъезде, сумрачный, с вислыми щеками очкарик, первый поздоровался с Шулепой кивком головы и даже как-то чуть дернулся за

своим большим столом, на котором стоял телефон, а Шулепа прошел мимо, не обратив внимания. В лифт влезли с трудом пять человек, едва закрыли дверь. Лифтер пытался остановить, но как-то застенчиво, со смешком: «А вы, молодые люди, не встрянете промеж этажей?» Левка отвечал лихо: «А, ничего! Рискнем?» Все, конечно, орали «Рискнем! Сделаем опыт! Проверка человекоподъемности!» Лицо очкарика, когда лифт поднимался, выражало застылый испуг.

В квартире, поразившей Глебова гигантскими размерами — коридоры и залы напоминали музей, — продолжался настрой дурашливости и молодецких проделок. Сняли ботинки и пустились кататься в носках по блестящему, натертому паркету, падали, натыкались друг на друга, хохотали, было очень весело. Вдруг из белой с матово-пупырчатым стеклом двери вышла старая женщина с папиросой во рту и сказала: «Это что за бандитизм? Немедленно прекратите! Надевайте ботинки и марш в детскую!» Левка, ворча, подчинился. Спросили: это, что ли, его мать? Он сказал, что это Агнесса. Учит его тетку французскому языку и ябедничает матери. «Я ее когда-нибудь отравлю мышьяком. Или изнасилую». Все прыснули со смеху, одновременно изумившись. Уж он скажет так скажет! Ни у кого не повернулся бы язык произнести это слово, значение которого все понимали — хотя самые неприличные слова произносили без зазрения совести, — а Левка выговорил его в применении к себе и к старухе с папироской этак свободно, легко. И чем отчетливей ощущал Глебов особенные качества Левки Шулепникова, тем сильнее сгущалось то саднящее, тяжелое, что потом превратилось в свинец.

А Шулепников так привык с тех дурацких лет произносить это слово безо всякого смысла, а просто как пустую угрозу или немудрящую шутку, что повторял ее и позже, уже взрослым балбесом, в институте. Разобидится на какую-нибудь преподавательницу и: «Если она мне тройку не поставит, я ее изнасилую».

И вот в детской, заставленной какой-то странной бамбуковой мебелью, с коврами на полу, с висящими на стене велосипедными колесами и боксерскими перчатками, с огромным стеклянным глобусом, который вращался, когда внутри зажигалась лампочка, и со старинной подозрительной трубой на подоконнике, хорошо укрепленной на треноге для удобства наблюдений —

Левка сказал, что вечерами можно прекрасно проводить время, разглядывая окна на другой стороне двора,— в этой комнате разрушилась хрупкая глебовская власть. Впрочем, этого никто не заметил, кроме него самого. Левка принес киноаппарат, повесил на стену простыню и показывал кино: «Голубой экспресс». Аппарат трещал, старая лента рвалась, надписи неразборчиво мелькали, и все же был общий восторг, а Глебов чувствовал себя внезапно и глубоко оскорбленным. Он думал: но почему же, черт возьми, у одного человека должно быть все, абсолютно все? И даже то единственное, что есть у другого человека и чем он может немного погордиться и попользоваться, отнимают и дают тому, у кого есть все. Потом понемногу привык. Привыкают ко всему, даже к непосильной тяжести: тучники таскают по тридцать килограммов лишнего веса и приноравливаются.

Глебов привык к большому дому, затемнявшему переулок, привык к его подъездам, к лифтерам, к тому, что его оставляли пить чай и Алина Федоровна, мать Левки Шулепы, могла потыкать вилкой в кусок торта и отодвинуть его, сказав: «По-моему, торт несвеж», — и торт уносили. Когда это случилось впервые, Глебов про себя поразился. Как может быть торт несвеж? Ему показалось это совершенной нелепостью. У него дома торт появлялся редко, ко дню чьего-нибудь рождения, съедали его быстро, и никому не приходило в голову выяснять, свеж он или не свеж. Он всегда был свеж, великолепно свеж, особенно такой пышный, с розовыми цветами из крема.

Глебов привык и к своей квартире, когда возвращался в нее после посещения большого дома. Первое время бывало как-то тоскливо, когда он видел вдруг, будто со стороны, свой кривоватый домишко с бурой штукатуркой; когда поднимался по темной лестнице, по которой следовало идти осторожно, потому что ступени были местами выбиты; когда подходил к двери, обсаженной, как старое одеяло заплатами, множеством табличек, надписей и звонков; когда погружался в многослойный керосиновый запах квартиры, где всегда что-нибудь кипятилось в баке и всегда кто-нибудь варил капусту; когда мыл руки в бывшей ванной комнате, тесной от досок, закрывавших саму ванну, в которой никто не мылся и не стирал белье, а на досках стояли принадлежавшие разным жильцам тазы,

корыта; когда многое другое видел, ощущал, замечал, возвращаясь от Левки Шулепникова или от кого-нибудь из большого дома, но понемногу все сглаживалось, смягчалось и переставало задевать.

Однажды, когда, вернувшись из гостиной, он, возбужденный, описывал, какая люстра в столовой шулепниковской квартиры, и какой коридор, по которому можно ездить на велосипеде, и что за конфеты были к чаю — поразили не сами конфеты, а размеры коробки, — а мать и бабушка с любопытством выспрашивали про то, про другое, отец вдруг сказал, подмигивая Глебову:

— Послушайте, мне сдается, вы хотели бы жить в том доме?

— А почему бы нет? — сказала мать. — Хочу иметь собственный коридор.

— А я хочу, чтоб судками не дренькали, — сказала баба Нила, страдавшая оттого, что соседка, которая жила в комнате напротив и приходила с работы поздно, начинала в двенадцатом часу шастать из комнаты в кухню и обратно, и все почему-то с судками, которые дренькали. Баба Нила спала на сундуке у дверей, и беготня соседки, дреньканье посуды ее будили. Отец посмотрел на мать и бабушку с сожалением.

— Что вам сказать? Курочки вы рябы, дурочки вы бабы...

Таковы были его шутки, вполне незлобивые. Он и мать ласково называл «курочкой рябой». Женщины притворно возмущались, напускались на него, махая руками, — на самом деле мать никогда на него по-настоящему не сердилась, — а он толкал Глебова, подмигивал.

— Нет, Димыч, какие клуши... Какие колоссальные курицы... Да неужто вы не понимаете, что без собственного коридора жить куда просторней? А дреньканье судков — это же музыка! Да я за тыщу двести рублей в тот дом не перееду...

Несмотря на то что отец всегда был настроен поллушутливо, легкомысленно, всегда над матерью, над бабушкой и тетей Полей, маминой сестрой, немного насмешничал, разыгрывал их, попугивал и порой трудно было понять, всерьез он или дурачится, но поистине — Глебов понял это не сразу, когда повзрослел — он был человек вовсе не легкомысленный и не такой уж весельчак. Все это было понарошке, домашний театр.

А внутри отцовской природы, скрытым стержнем, вокруг которого все навивалось, было могучее качество — осторожность. То, что он говорил, посмеиваясь, в виде шутки — «Дети мои, следуйте трамвайному правилу — не высовывайтесь!» — было не просто балагурством. Тут была потайная мудрость, которую он исподволь, застенчиво и как бы бессознательно пытался внушать. Но для чего не высовываться? Кажется, ему представлялось это важным само по себе. Может быть, его душил, как душит грудная жаба, какой-то давнишний и неизжитый страх. Он был намного старше матери, выглядел стариком, курчавым седым стариком, хотя ему было лишь около пятидесяти, да ведь эти пятьдесят — борьба, невзгоды, выбивание из сил. Он вышел из очень бедной семьи конторщика, служившего на заводе Дуксы. Брат отца, дядя Николай, был летчиком, одним из первых русских летчиков, погибших на германской войне. В семье им гордились. Больше гордиться было нечем. Портрет дяди Николая в гимназической фуражке висел на видном месте. И вот в дружбе с Левкой Шулепниковым, которая крепла, — Левка непонятно почему льнул к Глебову, приглашал домой, дарил книги, к которым сам был равнодушен, ко всем книгам вообще, и было подозрение, что потаскивал из отцовской библиотеки, потому что на некоторых стояли сделанные синей печатью изображения человека с молотом, лучи солнца и надпись: «Из книг А. В. Ш.», — даже в мальчишеском приятельстве отец видел какие-то опасности и предлагал «не высовываться». Он советовал Глебову бывать в том доме пореже, не обольщаться дружбой с Левкой, потому что «у Шулепниковых своя линия жизни, у тебя своя и мешаться не надо».

Почему-то ему казалось, что Глебов непременно скоро надокучит Левке Шулепникову или, того хуже, его родителям и от этого произойдут неприятности. Глебов и сам чуял это нутром, ему самому не хотелось бывать в большом доме, и, однако, он шел туда всякий раз, когда звали, а то и без приглашения. Там было заманчиво, необыкновенно — о чем только не болтали с Антоном, какие только книги не показывала Соня Ганчук из отцовских шкафов и какими чудесами не похвалялся Шулепа! — а дома все было знакомо до ниточки, все глушь, скукота.

Впрямую отец не говорил ничего, все намеками,

шуточками. Глебову же хотелось услышать про Левку отчетливо.

— А почему ты так говоришь? Чем тебе Шулепа нехорош?

Ведь то, чем был Левка нехорош Глебову, вернее, что возбуждало то гадостное, свинцовое, отцу было невдомек. У отца были какие-то другие счеты. Отец уклонялся объяснять или же выставлял что-нибудь смехотворное, вроде: «Видишь ли, в принципе, я не против твоего Левки, или Шулепки, как ты его называешь. Кстати, советую эту кличку оставить... Называй его просто Львом... Дело в том, что он скверно воспитан. Он, например, не благодарит, когда встает из-за стола после чая».

Разумеется, это был вздор, отец хитрил. Левка не нравился ему по каким-то иным причинам, более существенным. Но когда Левка приходил в гости, отец бывал с ним приветлив, даже весьма любезен, как со взрослым, и называл его внушительно «Лев», что Глебова смешило. Кроме того, отец в присутствии Левки становился неумеренно многословен, рассуждал на разные темы и, что Глебова коробило, как-то привирал и хвастал.

Однажды он, рассказывая про дядю Николая, сообщил, что тот был первый русский летчик, сбивший в одном бою три аэроплана, в том числе аэроплан знаменитого аса графа фон Шверина. Аэроплан графа разбился, но граф чудом остался жив и вновь стал летать, заявив, что его мечта — встретиться в воздушном бою с тем русским и отомстить ему. Было напечатано во всех газетах.

Глебов слушал, изнывая от неловкого чувства. Отец сказал:

— Даже ты этого не знаешь. Я тебе никогда не рассказывал.

А Левка Шулепников сказал:

— Вы тогда говорили, что он сбил два аэроплана.

— Я? Не может быть! Я не мог говорить, что два. Тогда бы это не считалось рекордом. Два — это не рекорд. В том-то и дело, что он сбил три аэроплана в одном бою...

В другой раз отец рассказывал, как во время гражданской войны он служил на Кавказе под командованием товарища Кирова — какая-то служба на Кавказе имела место, это верю — и как побывал с кавалерий-

ским отрядом в Персии, где видел огнепоклонников. Левка Шулепников тут же наврал про своего отца: будто тот в Тифлисе собственной рукой застрелил факира. Отец сказал, что видел в Северной Индии, как факир на глазах выращивал волшебное дерево. (В Северной Индии отец никогда не был, это уж точно.) А Левка сказал, что его отец однажды захватил шайку факиров, их посадили в подземелье и должны были расстрелять как английских шпионов, но, когда утром пришли в подземелье, там никого не оказалось, кроме пяти лягушек. Факиров было как раз пятеро.

— Надо было расстрелять лягушек, — сказал отец.

— Так и сделали, — сказал Левка. — Но знаете, как трудно расстрелять лягушек? Особенно в подземелье?

Отец смеялся, грозя лукаво и одобрительно пальцем.

— Я вижу, Лев, ты любишь фантазировать! Это хорошо, это мне по душе. Шутки шутками, а я действительно видел живых факиров... Во-первых, в Северной Индии, как я уже говорил, и, во-вторых, у нас в Москве, на Страстном бульваре...

Они были чем-то похожи, отец и Левка Шулепников. Поэтому разговоры их так ладно и споро текли. Глебову это не нравилось. Его раздражала неправда. Не то, что отец привирал, а то, что за глаза одно, а в глаза другое. Он сказал отцу:

— Ведь Левка тебе не нравится. Зачем же ты так? Улыбаешься, рассказываешь... Как будто он твой начальник...

И тут отец рассердился. Он почти никогда не сердился, не кричал, а тут стал кричать:

— Молокосос! Делает мне замечания, маленький нахал! — Было его любимое: «маленький нахал». — Я улыбаюсь и что-то вам рассказываю только потому, что я воспитанный человек. Это вы привыкли: Левка! Димка! Эй! Ты! Буза! Невероятное нахальство — делать замечания отцу.

Он так раскипятился, что пожаловался матери и бабе Ниле, и те тоже напали на Глебова. Но вечером Глебов подслушал, как мать и отец шептались за ширмой:

— И чего ты перед этим хлыщиком турусы разводишь...

— Он нахал! Учит отца!

— А ты не стелись, как это...

— Дураки вы! Не понимают!

Потом, поостыв, спустя день или два отец объяснял спокойно:

— Кстати, насчет того, что ты давеча говорил... Будто я с твоим Левкой, как с важной персоной... А знаешь, неглупо заметил! Он и есть — ну, не Левка, скажем, а его родитель — действительно персона, хотя я о том знать не знаю, ведать не ведаю. Потому, что все кругом перепутано, перевязано...

И вскорости подтвердилось: верно, перепутано одно с одним. Вдруг затеялась заваруха с дядей Володей, мужем тети Поля. Стали думать: можно ли ему помочь через Левкиного отца, Шулепникова? Дядя Володя и тетя Поля жили на Якиманке, но прибегали чуть ли не каждый день, особенно тетя Поля. Мать и бабушка ее любили. Она считалась в семье самой красивой, удачливой, работала в хорошем месте: модельером на фабрике игрушек. А дядя Володя — наборщиком в типографии. С ним вышла неприятность, обвинили чуть ли не во вредительстве. Тетя Поля плакала: «Тось, ну какой Вовка вредитель? Он же себе вредит, больше никому...» Себе вредил сильно, потому что был пьяница. Отец его постоянно корил. А мать и бабушка то жалели тетю Полю, а то ругали ее: «Сама, дура, виновата, сама распустила! Зачем ты ему покупаешь?» — «Да пусть уж дома, — оправдывалась тетя Поля, — чем на улице с кем попало».

Баба Нила и мать доказывали, что из-за этого, из-за вина, и неприятность случилась, но тетя Поля не соглашалась: «Его люди погубили. Он ведь человек-то какой!» И правда, человек был очень хороший, бесхитростный. Но Глебов тогда еще догадался, что от таких мягкодушных да бесхитростных всем вокруг пагуба: тетя Поля плачет, баба Нила страдает, мать только об этом и думает, а отец ругается. Хотели весной велосипед Глебову купить, но мать сказала: сейчас денег нет, надо Полине помогать.

И вдруг додумались: к Левкиному отцу...

То отмахивались и пальцем грозили: ты, мол, от них подальше, не хороводься, а теперь за помощью к Левке. Потому что всех поразила история с Бычками.

Бычки, или Бычковы, веселая семейка, жили в глебовской квартире, как паны. Все их боялись, на всех они цыкали и творили, что хотели. Запрут кухню с вечера и никого не пускают. Хоть в милицию бежать, хоть

куда. Старик Бычков Семен Гервасиевич кожи в вонючей воде мочил. Он на дому сапоги тачал, самые дорогие, новомодные, и большей частью не сам тачал, а давал работенку, сам только заказчиков добывал, кожу.

Из-за ночного запирания кухни сколько бывало голошенья! Соседка, что жила напротив и приходила поздно, горячилась больше всех. Мать Глебова тоже возмущалась. Во-первых — вонь. Во-вторых — самоуправство.

Иногда мать выскочит, закричит:

— Да я вас!.. Да с какой стати!

Старик Семен Гервасиевич низким голосом: бу-бу-бу. Отец с неохотой выползал в коридор. Все Бычковы тут же вываливались из «залы» — большую комнату, где жили вшестером, они называли почему-то залой, — и бу-бу-бу становилось всеобщее, громовое. Как будто гроза гремела и дождь колотил. Но главные гаденыши были Минька и Таранька Тараньке было десять, учился он в третьем, а Миньке — пятнадцать, тот нигде не учился, потому что в пятом классе два раза оставался, выгнали, пошел куда-то учеником, бросил. И занимался какими-то неясными делами, пропадал в парке в бильярдной и, может быть, даже с ворами шился.

Минька Бычок, он же почему-то Хлебало, был некоронованный мальчишечий царь Дерюгинского переулка и окрестностей. И царь недобрый. Встретаться с ним боялись, все знали, что он ходит не с пустыми руками.

Бывало, прибежит в школу после уроков и давай допрашивать:

— Кто вчера к Тарасу залупался? Кто его на лестнице цапал? Ты, гад?

А он уж знал, кто, потому что Таранька пожаловался или наврал. Этого золотушного Тараньку трогать остерегались, но были, конечно, люди неосведомленные, про Миньку не знавшие — а Таранька вел себя нагло, — они отваливали с проста затрещину или щелчок по кумполу, не догадываясь об ужасных последствиях. Минька устраивал во дворе у кирпичной стены, куда он затаскивал своих жертв, краткое жестокое судилище.

— И как ты мог, сучонок, мово брата обидеть? Что ли, жизнь надоела?

Юрку Медведя, силача, который десятиклассников не боялся, он унизил и растоптал на глазах у всех.

Вывернул ему руку за спину, тот закричал от боли, а Минька еще сильнее выворачивает, так что Медведь на колени рухнул, и приказывает:

— Говори: прости меня, Тарас Алексеевич, за то, что вас обидел... И никогда больше не буду!

И Таранька, маленький такой мозглячок с рыжими ресницами, стоял тут же и усмехался. Медведь терпел изо всей мочи, стонал, зубами скрипел и головой мотал — не хотел говорить, — а все-таки Бычок его пересилил. Таранька подошел к нему вплотную, прямо придвинул свои ноги к его лицу. И Минька давил его, давил:

— А ну рожай, гад, слышишь? А то руки нет!

Медведь и вышептал еле слышно:

— Прости меня, Тарас Алексеевич... — и все остальное. Никто за него не заступился: больших ребят во дворе не было, а маленьким разве сладить? Глебов Миньку Бычка тоже побаивался, но не так, как другие. Все-таки Минька был соседом. То просил что-нибудь, то сам давал. Иногда Глебов потихоньку гордился: все вот трухают в Дерюгинский переулок ходить, там Минька Бычок со своей шайкой, а он ничего, не трухает. Может ходить по переулку и поздно вечером, и ночью, никто его не тронет. Это свое преимущество Глебов ощущал остро, он даже чувствовал — с некоторым тайным стыдом, сам себе не признаваясь, — что в трудную минуту мог бы стать немножко Таранькой. И Минька бы за него заступился! Надавал бы кому следует.

Но Глебов никогда Миньке ни на кого не жаловался. Вообще не использовал всех выгод Минькиного соседства. Потому что под тайным самодовольством пряталось в глубине совсем другое — страх, леденящий душу. Такой страх, какого не видал никто. Потому что никто, как Глебов, не знал и не чуял всех этих Бычковых, от голоса которых мать бледнела, а бабушка крестилась.

Мать твердила:

— Ради бога, ни с Минькой, ни с Таранькой ни в чем никогда не связывайся...

А как не связываться, когда сами лезут? Попробуй не свяжись... Была у них сестра Вера, девчонка лет шестнадцати. Работала на фабрике. Выглядела совсем как взрослая женщина, — а может, так казалась Глебову, — вся толстая, грудь торчком, туфли скрипучие, и всегда от нее сильно пахло одеколоном.

Таранька выманит Глебова в коридор и пристаёт:

— Хочешь, Верку голую покажу? Давай двадцать копеек!

Глебов, конечно, не хотел. Совершенно его не интересовало смотреть на голую Верку. Одна мысль об этом вызвала неприятное беспокойство. А еще где двадцать копеек взять? У матери воровать или у бабы Нилы просить? Но Таранька приставал злобно, настырно и собакой страшал: была у Бычков черная большая собака по кличке Абдул, считавшаяся Минькиной собственностью. Абдул Глебова хорошо знал, но все-таки, если бы стали натравливать, неизвестно, чем бы кончилось.

Шли в ванную, снимали с досок корыто, ставили табуретку, Глебов на нее забирался. Наверху было окошко, ведущее в «залу», закрытое оттуда занавеской. Таранька отодвигал изнутри занавеску, и Глебов смотрел, как Вера моется посреди комнаты в тазу. Вера почему-то Тараньку не стеснялась. Глебов видел все...

Потом Таранька впивался, как клещ: двадцать копеек гони немедленно! Все у них так — дай, подай тотчас! Не раз было, мать приходит в комнату расстроенная, чуть ли не в панике:

— Опять Алевтина швейную машину требует... Что сказать?

Алевтина — мать Миньки, Тараньки и Веры, жена старшего Бычка. Давать швейную машину матери очень не хотелось. Она и так, и этак отлынивала, хитрила, но та все равно добивалась. Отвязаться от Бычковых не было никакой возможности.

А кончилась их власть так. Как-то забежали в Дерюгинский переулочек Антон и Левка, зачем неизвестно, бежали они не к Глебову. Может, хотели пройти Дерюгинским переулком на набережную Канавы, был там проход дворами. Бычки их засекли, сначала пустили Тараньку с глупыми разговорами: «Эй, парень, а по ха не хо?» Значило: по харе хочешь? Собственно, это был вызов на драку. С Таранькой, конечно, толковать не стали, отмахнулись, тут вся бычковская свора высыпала из подъезда — у них так шло по сценарию, — завертелась драка, кто-то выпустил Абдула, он, кажется, не покусал никого, но напугал сильно и одежду порвал. Левке-то что, а у Антона всякая тряпочка была на счету. На другой день в глебовскую квартиру пришел человек в кожаном длинном пальто, сразу

стал стучать в «залу». Там громко завыл Абдул.

Старик Семен Гервасиевич и Алевтина с Таранькой были дома. Какой-то шум, разговоры, Алевтина кричала, собака лаяла с визгом — Глебова не пускали из комнаты, и вся семья Глебовых решила не выходить в коридор, сидели, прислушивались, — потом бухнуло три выстрела... Абдулка, говорят, забился под диван, не хотел вылезать.

Глебов был разочарован: он считал пса грозным и смелым, а тот вел себя как трусишка. Собаку и Бычковых, особенно Алевтину с Таранькой, которые рыдали, было немного жаль, хотя в квартире радовались. После гибели Абдула все у Бычковых как-то разом скособочилось и рухнуло. Миньку арестовали по воровскому делу, старик Семен Гервасиевич упал посреди двора, и его отвезли в больницу, а вскоре все остальные Бычковы сгнули неведомо куда, точно их ветром смело. И в «зале», перегороженной надвое, обклеенной новыми обоями, поселились смиренные жильцы Помрачинские, муж, жена и девчонка Люба, они бегали по коридору незаметные, как мышки, и разговаривали друг с другом всегда шепотом.

Я помню всю эту чепуху детства, потери, находки, то, как я страдал из-за него, когда он не хотел меня ждать и шел в школу с другим, и то, как передвигали дом с аптекой, и еще то, что во дворах всегда был сырой воздух, пахло рекой, и запах реки был в комнатах, особенно в большой отцовской, и, когда шел трамвай по мосту, металлическое брнчание и лязг колес были слышны далеко. Помню: взбежать одним духом по громадной боковой лестнице моста; наткнуться вечером под аркой на летучую дерюгинскую братву, бегущую из кино, как стая койотов; идти навстречу, сжав кулаки, деревенея от страха.

Все детство окутывало багряное облако тщеславия.

О, эти старания, жажда секундной славы! Мир был мал, человека четыре, пять — Антон, Химиус, Морж, ну, может быть, еще Соня и Лева и, конечно, смехотворный Ярик, — и в этом космосе клокотало наше вождение: доказать. Нежная, сочающаяся, алая плоть детства. Все было ни с чем не сравнимо. Впервые в жизни выбежал на набережную во время перемены, на залитый солнцем асфальт. Впервые в жизни догадался, что весна — это просто ветер, от которого холодно и стучат зубы. Худой изгибающийся человек в коро-

тенькой курточке, в большом дамском берете кирпичного цвета шел быстро по тротуару и разговаривал сам с собой. Безумная озабоченность съела впалые щеки, проваленные глаза. Прочитав мельком название нашей школы, он вдруг остановился и закричал:

— Этого не может быть! Этого не должно быть в природе! Вы слышите? — Он кричал не нам, теснившимся испуганной кучкой у парапета набережной, а кому-то незримому, кого сжигал его ненавидящий взгляд. — Средняя школа ЛОНО! Какое ЛОНО? Что за бред? Боже мой, понимают ли, что творят?

И еще что-то гневное, сверкая очами. Вдруг он прыжком вскочил на узкий гранитный брус ограды и прошел по нему несколько шагов с такой легкостью, будто шел по тротуару. Мы замерли, девчонки вскрикнули от ужаса. Человек в берете как будто заметил нас и, остановившись и глядя сверху, произнес:

— Несчастные дети!

После чего лунатическим шагом пробежал несколько метров по барьеру, прыгнул и быстро стал удаляться в сторону Москворецкого моста. Впервые в жизни я видел безумца. Этот человек ошеломил всех. Когда он удалился на порядочное расстояние, мы стали дико хохотать. Химиус подошел к гранитному барьеру и взобрался на него, помогая себе руками. Мы видели, что он трусит, у него не было сил разогнуться, и все же он первый встал ногами на барьер и, скорчив страдальческую мину, подняв руку, воскликнул: «Несчастные дети!» — и затем повалился мешком на тротуар. Мы хохотали. Но вот Антон Овчинников, смертельно бледный, с закушенными губами подошел твердыми шагами к барьеру и тоже взобрался на него, встал, выпрямился, расставил руки, как канатоходец...

Мы знали, что у Антона плоскостопие, что он близорук, что с ним случаются приступы падучей, но никто не остановил его. Нас всех поразило безумие. Показалось, что ходить и даже бегать по барьеру невероятно легко. Следом за Антоном полез грузный толстяк Жорик, по кличке Морж, и тоже прошаркал по граниту, не отрывая подошв и сгорбившись, как обезьяна, но, когда прыгнул на асфальт, ноги его подломились и он упал на колени. Потом полез я, потом Ярик.

Это было не так уж трудно. Главное, ни о чем не думать и смотреть под ноги, на каменную тропу барь-

ера. Ужасный вопль Никфеда вырвал нас из странного сна. Вероятно, этим воплем был спасен Ярик, самый желовкий и беззащитный из нас, не умевший ни бегать, ни бороться, ни «стыкаться» на заднем дворе школы, где происходили кулачные дуэли «до первой кровянки». Ярик был рыжий, белолицый и весь какой-то мягкий, как резиновая игрушка. Он напоминал птицу, не умеющую летать. Его били ребята из других классов, которым не терпелось кого-нибудь побить. Соблазнительная добыча: такой большой и такой бескостный. Однажды его побил третъеклассник. Все дело в том, что Ярик просто-напросто не мог никого ударить, пальцы его не сжимались в кулак, поэтому он не сопротивлялся, когда на него наскакивали даже малыши. А мы всегда защищали Ярика, из-за него разыгрывались сражения, ведь он был принадлежностью нашего класса, и те, кто поднимал на него руку, оскорбляли всех нас. Вдруг кто-нибудь орал: «Ярку бьют!» — и мы мчались сломя голову на второй этаж или на третий, под крышу, в гимнастический зал или во двор, где подлещи распоряжались нашим Яриком, как своей собственностью: валтузили его в уголке или же заставляли в лошадином качестве возить какого-нибудь ухаля на закорках. Но вот тогда, на набережной, когда он приблизился к барьеру и с отчаянным видом закинул на него свою длинную ходулю, согнутую в колене, мы смотрели на Ярика с радостным интересом, ожидая забавное зрелище. Между тем он наверняка бы свалился в воду и утонул.

Тогда это началось: испытывать волю. После того как по барьеру научились не только ходить, но и бегать почти все из нашей компании, кроме парня, у которого одна нога волочилась, он был освобожден от физкультуры, Антон выдумал другое испытание — пройти вечером Дерюгинским переулком. Это было гнуснейшее местечко на острове и, пожалуй, в целом Замоскворечье. Там гнездилась подозрительная публика. Разбойники, для которых не было ничего святого, клятвопреступники и разорители мирных и купеческих караванов, флибустьеры и авантюристы, пиратская шайка, вроде той, которую возглавлял одноногий Сильвер. Всякого пацана, забегавшего в переулок, они бессовестно грабили: у одного гривенник, у другого пятачок, у третьего отнимали вставочку или ножик. Родители запрещали туда ходить.

Но зато уж если те попадали в наши дворы!

Антон занимался джиу-джитсу. Занятия заключались в том, что с утра до вечера — на переменах, на уроках, дома, читая книгу или слушая музыку по радио — стучал ребром правой ладони по твердому. Ладонь должна была стать, как железо. Он называл это: бронировать ладонь. И, как все у Антона, благодаря его нечеловеческому упорству и самодисциплине дело бронирования подвигалось успешно. Месяца через два ладонь украсилась жесткой мозолью. Ни у кого из нас не хватило бы на это терпения. И, когда они выскочили из подъезда и встали перед нами, загораживая дорогу, и некий Минька, по кличке Бык — когда-то учился в нашей школе, здоровенный детина, у него уже усики пробивались, — спросил: «Вы чего тут не видели? К Вадьке прете?» — Антон ответил: «Нет!» Антон и Лева иногда заходили к Глебову. Они считали, что он парень ничего, не очень-то большой оглоед. Большинство ребят в нашем классе были, конечно, оглоеды. Но теперь Антон решительно ответил «нет!», хотя, если бы он сказал «к Вадьке», они бы не тронули нас. Вадька и Бык жили в одной квартире. Если б мы крикнули «Эй! Батон!» — Вадьку Глебова звали Батоном — и Вадька выглянул бы из окна, драки могло не быть.

Но в том-то и дело, что Антон придумал все это, чтобы испытать нашу волю, и мы не должны были облегчать испытания. Лева Шулепников нарочно не взял пугача. А бедный Антон Овчинников совсем не выглядел богатырем и атлетом — потом, после той драки, о нем пошли по дворам легенды, — он был коренаст, невысок, один из самых малорослых в классе, и ходил к тому же до поздних холодов в коротких штанах, закаляя свой организм, что придавало ему чересчур мальчиковатый вид. Люди, его не знавшие, не принимали его всерьез. И еще он надевал очки, когда ходил в кино или отправлялся в загородные путешествия. Тогда, в переулке, он, кажется, был в очках. Поэтому, когда те начали лениво к нам приставать — одному подставили ножку, другому дали тычка, у Антона сделали попытку сорвать с носа очки, — произошло вдруг нечто, как взрыв бомбы: Антон ударил обидчика ребром ладони в живот и тот упал. Он ударил второго, тот упал тоже. Он замахнулся на третьего... Они падали как-то мгновенно, без крика, без лиш-

них движений, будто по собственному желанию, как хорошо натренированные клоуны на ковре в цирке... Это были сказочные секунды... Потом нас страшно избили... И еще эта собака... Антон лежал месяц дома с забинтованной головой... И при этом мы чему-то безмерно радовались! Чему мы радовались? Так странно, необъяснимо. Мы навещали Антона в его темноватой квартире на первом этаже, где не бывало солнца, где на стенах рядом с портретами композиторов висели его акварели, желтоватые с голубым, где молодой, выбритый наголо человек с ромбами в петлицах смотрел на нас с фотографии в толстой деревянной раме, стоявшей на пианино, — отец Антона погиб в Средней Азии, убитый басмачами, — где всегда было включено радио, где в потайном ящике письменного стола лежали стопкой толстые тетради за пятьдесят пять копеек, исписанные бисерным почерком, где в ванной шуршали по газетам тараканы — в том подъезде во всех квартирах были тараканы, — где мы ели на кухне холодную картошку, посыпали ее солью, заедали замечательным черным хлебом, нарезанным большими ломтями, где мы хохотали, фантазировали, вспоминали, мечтали и радовались чему-то как дураки...

И опять возникал разговор о дяде Володе: можно ли ему помочь через отца Шулепникова? Теперь казалось, что тот — человек могущественный. Затевала разговор мать. Отец колебался. «Не надо обременять людей, — говорил он, сильно нервничая. — Для Шулепникова это мелкое дело, просить неудобно». Мать говорила: «Ты Володю никогда не любил. А мне он родной. И я жалею Полину, ребятишек. Нет, я непременно попрошу Леву, чтобы он поговорил с отцом». — «Я запрещаю это делать!» — однажды крикнул отец.

Мать редко вступала в споры с отцом, но делала обыкновенно по-своему. Однажды Левка Шулепа прибежал вечером — Глебов помогал ему по алгебре, да и просто так, потрепаться, — сели пить чай с баранками, Левка любил пить чай у Глебова, жаловался, что дома баранок не покупают. И мать вдруг заговорила про дядю Володю. Насчет того, чтобы как-то узнать и помочь, потому что недоразумение. Левка согласился легко: «Хорошо, я бате скажу». Мать протянула бумажку с фамилией. Написала заранее. Глебов почти физически почувствовал, как напрягся и сжался отец, кото-

рый мешал ложечкой сахар в стакане, и вдруг движение руки, звяканье ложечки прекратились, он замер, не поднимая головы. А мать улыбалась, глаза ее блестели, и, когда она приблизилась, Глебов почувствовал, что от нее пахнет вином. Ему выступление матери тоже не очень понравилось, потому что Шулепа был все-таки его товарищ и если о чем-то его просить, то делать это положено ему, Глебову.

Когда Левка ушел, отец набросился на мать с попреками: «Как тебе не стыдно? Ты пьяна! В пьяном виде заводишь разговор!» Мать, конечно, говорила, что неправда, что не пьяна и чтоб он не молол ерунды. Да она и не была пьяна, просто чуть выпила для куражу. Отец распался, кричал, что за себя не отвечает, снимает с себя ответственность, было непонятно, в чем суть угроз. Он вообще любил туманно грозить. Редко видел Глебов отца в таком волнении. Он даже кулаком стучал по столу и кричал в гневевневнятное: «Я для вас все! Каждый шаг! А вы, черт бы вас взял! Куриные мозги!» Только потом Глебов сообразил, что отец насмерть перепугался. Еще у него была черта: по-настоящему сердился совсем не из-за того, о чем говорил вслух. Истинную причину следовало угадывать. Это бывало трудновато, порой невозможно. Но вот, когда он обличал мать за рюмку, выпитую впопыхах в подвальчике на Полянке, причина была ясна: разговор насчет дяди Володи. Ведь запрещал категорически! А мать не послушалась.

И только в конце, отведа душу, наоравшись, сказал как бы между прочим: «А насчет Володьки глупое дело... И как у тебя, у дуры, язык повернулся?» Мать расплакалась. Отец огорчился, ушел куда-то, стукнув дверь.

А баба Нила спокойно сказала Глебову: «Дим, ты Левке своему напомни. Тут шуми не шуми, боись не боись, а помогать надо...»

Всегда баба Нила умела сказать что-то простое, тихое, хотя рядом безумствовали, кричали вздор. Глебов любил эту маленькую, калачиком гнутую старушонку с седым, впрожелть, аккуратным пучочком на затылке, с дробным, желтоватым личиком, всегда она колготилась по дому, возилась, шаркала, сновала туда-сюда. Одна весь дом тащила, с утра до поздноты на ногах. И она одна, казалось Глебову, понимает его и н о г д а.

Как-то морозным днем Глебов сидел в комнате

Левки Шулепы, играли в шахматы и вдруг зашел Левкин отец. Был еще третий парень, играли навывлет. Старшего Шулепникова Глебов видел редко, раза три или четыре за всю жизнь. Левка говорил, что батя работает круглые сутки, дома не бывает и даже спит на работе. Левка называл его батей, хотя он был Левкин отчим, а настоящий отец со странной двойной фамилией умер или же как-то таинственным образом исчез из Левкиной жизни. Прохоров-Плунге! Вот как звали Левкиного отца. Потому что лет двадцать спустя Левка стал носить свою истинную фамилию: Прохоров. Без Плунге. Но это было уже совсем в иной жизни. А между Шулепниковым и возникшим из небытия Прохоровым-Плунге — не им самим, а его именем — был еще третий отец, носивший фамилию Фивейский или Флавицкий. В Левкиных отцах можно было запутаться. Но мать у него всегда оставалась одна. И это была редкая женщина! Левка говорил, что она дворянского рода и что он, между прочим, потомок князей Барятинских.

Алина Федоровна была высокая, смуглая, разговаривала строго, смотрела гордо. Глебову казалось, что она главная в семье и Левка боится ее больше отца. Что-то среднее между боярыней Морозовой и Пиковой Дамой. А сам Шулепников, Левкин отчим, был какой-то неказистый, пучеглазый, небольшого роста, говорил тихим голосом, а лицо поразило Глебова совершенной бескровностью. Таких блеклых неподвижных лиц Глебов у людей не видел. Ходил Левкин отчим в серой гимнастерке, подпоясанной тонким, в серебряных украшениях кавказским ремешком, в серых галифе и в сапогах. И вот он вошел в комнату, посмотрел недолго на шахматную партию и спросил:

— Глебов Вадим — это, кажется, ты?

Глебов кивнул.

— Пойдем на минуту со мной.

Глебов заколебался. Ему не хотелось бросать партию в выигрышном положении — с двумя лишними конями.

— Все! Ничья! — крикнул Левка и смешал фигуры.

Удрученный, думая о том, какой Шулепа хитрый и несправедливый человек, Глебов шел вслед за его отчимом в кабинет. Ему и в голову не могло прийти то, что он там услышал.

— Садись!

Глебов сел в кожаное темно-вишневое кресло, такое мягкое, что он сразу как будто провалился в яму и слегка испугался, но быстро пришел в себя и нашел удобное, покойное положение. Левкин отчим сказал:

— Мне Лев передал записку твоей матери относительно... — Он надел очки и прочитал: — Бурмистрова Владимира Григорьевича. Это ваш родственник? Так, постараюсь навести справки о нем, если будет возможно. А если нет, тогда уж не взыщите. Но и к тебе есть просьба, Вадим!

Старший Шулепников сидел за громадным столом такой маленький, понурый, устало опустив плечи, и что-то рисовал на листе бумаги.

— Скажи мне, Вадим, кто был зачинщиком бандитского нападения на моего сына Льва в школьном дворе?

Глебов обомлел. Он никак не ожидал такого вопроса. Ему казалось, что та история давно забыта, ведь прошло несколько месяцев! Он тоже был зачинщиком, хотя в последнюю минуту решил не принимать участия. Но кто-нибудь мог рассказать. Все это Глебов сразу сообразил и немного струсил. Видя, что Глебов смутился и молчит, Шулепников сказал строго:

— Это не просто так, не пустяки — напасть на моего сына. Дело тут групповое, но должны быть зачинщики, организаторы. Кто они?

Глебов пробормотал, что не знает. Ему было не по себе. До такой степени не по себе, что что-то заныло и заболело в низу живота. Отчим Шулепы не походил на злого человека, не кричал, не ругался, но в его тихом голосе и взгляде светлых навывкате глаз было что-то такое, что становилось неуютно сидеть напротив него в мягком кресле. Глебову подумалось, что другого выхода нет и надо сказать. От этого, может быть, зависела судьба дяди Володи. Он сначала схитрил, стал говорить про Миньку и Тараньку, но Левкин отчим резко прервал, сказав, что то дело закончено и никого не интересует. А вот кто был зачинщиком на школьном дворе? Те лица до сих пор не обнаружены и не понесли наказания. Глебов мучился, колебался, язык не двигался, смелости не хватало, и так они сидели некоторое время молча, как вдруг случилось непредвиденное: в животе Глебова громко, явственно забурчало. Это было так неожиданно и стыдно, что Глебов сжался, втянул голову в плечи и замер. Бурчание не сти-

хало. Но Левкин отчим не обращал на него внимания. Он сказал:

— Видишь ли, у Льва есть большой недостаток — он упрям. Уперся и не хочет давать показаний из ложного чувства товарищества. А ты знаешь, наверно, что он не родной мой сын, он сын Алины Федоровны, и это усложняет дело, потому что я не могу, скажем, применить меры воздействия. Что же делать? Ты обязан помочь, Вадим. Тебе двенадцать лет, ты взрослый человек и понимаешь, как все это серьезно. Это очень, очень серьезно! — И он поднял внушительно палец.

Бурчание в животе прекратилось, но Глебов боялся, что оно возобновится каждую секунду. От этого страха он и выпалил: назвал Медведя, который действительно был главный подбивала и которого Глебов не любил, потому что тот, пользуясь своей силой, иногда давал ему без всякого повода подзатыльники, и назвал Манюню, известного жадину. В общем-то он поступил справедливо, наказаны будут плохие люди. Но осталось неприятное чувство — как будто он, что ли, кого-то предал, хотя он сказал чистую правду про плохих людей — и это чувство не покидало Глебова долго, наверно, несколько дней.

А потом Левка как-то пришел к Глебову и сказал, что батя просил передать: про дядю Володю узнать не удалось. Никто особенно не огорчился, потому что и так догадались, что не удалось. Дядя Володя был уже на севере и прислал оттуда письмо. Ну, а с Медведем и Манюней ничего страшного не приключилось. Родителей Медведя перевели куда-то по работе, они уехали из Москвы, и Медведь уехал с ними, а Манюня очень плохо учился, его выгнали из школы, он попал в «лесную школу», оттуда сбежал, связался с блатными и во время войны сидел по уголовным делам в лагере. И был еще такой случай: той весной, когда Манюню выгоняли из школы, он пришел во двор большого дома, подстерег Левку и навешал ему пилюль. Говорили, что из-за одной девчонки, но Глебов-то знал, из-за чего.

Все ушло в такую даль, так исказилось, затуманилось, расплозлось, как гнилая ткань, на кусочки, что теперь не поймешь: что же там было на самом деле? Отчего произошло то и это? И почему он поступил так, а не по-другому? Отчетливо сохраняется чепуха. Она нетленна, бессмертна. Например, бурчание в жи-

воте. И от того, что случилось потом, спустя несколько лет, когда судьба опять столкнула с Левкой Шулепниковым в институте и опять возникли Соня, ее отец, профессор Ганчук, что же осталось в памяти? Что сидит прочно, как гвоздь со стальной сверкающей шляпкой? Тоже чепуха: как профессор Ганчук после того собрания, где его уничтожали, в кондитерской на улице Горького поедал с жадностью пирожное «наполеон». Глебов случайно проходил мимо и увидел в окно.

Когда осенью сорок седьмого во дворе института Глебов увидел Шулепникова, узнал его, несмотря на то что за семь лет Левка стал другим человеком — высокий, лобастый, с ранней пролысинкой, с темно-рыжими, квадратиком, кавказскими усиками, которые были не просто тогдашней модой, а обозначали характер, стиль жизни и, пожалуй, мировоззрение, — Глебов кроме изумления, любопытства испытал в первую же секунду удар того забытого, свиногого, что навсегда связано с Шулепниковым. Они хохотали, тискали, тузили друг друга, кричали, веселясь — «А это кто такой?», «Что это за тип?», «А что он тут делает?» — и одновременно давила Глебова знакомая гирька. Опять он был в своем пиджачке, в ковбойке, в заштопанных брюках, если и не бедным родственником, то бедным приятелем этого именинника жизни. На Шулепникове была прекрасная, из коричневой кожи, со множеством молний американская куртка. Такие куртки попадались в комиссионных магазинах, но редко, и стоили кучу денег. Глебову и не мечтать. Однако он мечтал. В ту пору, когда он часто бывал у Сони Ганчук где собиралась отборная публика и где он еще не чувствовал себя достаточно уверенно, хотя был старым Сониным другом, он страстно мечтал как раз о подобной куртке. То, что нужно: мужественность, элегантность, крик моды, практичность. Черт знает что бы он не отдал за такую штуку! И, разговаривая, он не мог оторвать глаз от мягких кожаных складок. Левка что-то рассказывал о Германии, о неудачной женитьбе, о бате, о доме, где жил теперь: напротив телеграфа, где коктейль-холл. Глебов тоже рассказывал. Они говорили грубыми голосами о грубых вещах. Война вытряхнула из них мальчишескую начинку, так им мнилось, во всяком случае.

На самом деле они оставались мальчишками.

Глебов сказал:

— Курточка у тебя больно хороша. Где бы достать?

— А пожалуйста, не проблема.

— Нет, верно. Где достать?

— Да я бату попрошу, он скажет одному деятелю...

Через два часа сидели в коктейль-холле на высоких сиденьях — Глебов был тут впервые, сиденья казались нелепыми, неудобными, какие-то птичьи насесты — и, болтая ногами, беспрерывно куря, потягивая крепчайший «коблер» и постепенно пьянея, рассказывали друг другу о бурных приключениях семи лет. Много они могли рассказать! Глебов был в эвакуации в Глазове. Мать умерла на улице — остановилось сердце. А Глебов был в это время в лесу, на лесозаготовках, ничего не знал. Левка летал с дипломатическим поручением в Стамбул. Оттуда на самолете с чужим паспортом его перебросили в Вену. Глебов вернулся из леса после похорон, чуть не умер от воспаления легких, его выходила баба Нила. Потом приехал отец, раненный в голову. Отец не мог делать никакой работы, требовавшей умственного напряжения. Работал штамповщиком в цехе. Морж погиб под Ленинградом. Медведь, Щепя, Химиус неизвестно где. Все рассыпались из того дома кто куда. В доме не осталось никого, кроме Соньки Ганчук. А жена Шулепы была итальянка, Мария, женщина редкой красоты. В Глазове люди гибли от голода, Глебов научился есть суп из травы, пить чай из желудей. Мария была на семь лет старше Левки Шулепы. Одно время ему нравились женщины старше. Но потом надоело. У них вырабатываются комплексы. Нет, женщины Глебова были младше. Все, все, все его женщины были младше, кроме одной. О, эта единственная была фрукт! Ну, как-нибудь в другой раз. Надо долго рассказывать. А когда же погиб Антон? Говорят, осенью сорок второго. Непонятно, как его взяли на фронт: он был совсем больной, близорукий, с припадками. И очень плохой слух. У Антона плохой слух? Конечно, всегда переспрашивал на уроках и садился за первую парту. Но ведь он был поразительно музыкальный, оперу «Аида» помнил всю наизусть. Ну и что? А Бетховен? Да, вот кого жалко — Антошку. Он был гениальным человеком. Конечно, это был гений. Причем в Леонардовом духе. Абсолютный гений, тут уж ничего не скажешь. Навестить его мать. Говорят,

они очень бедствовали в эвакуации. А его мать живет там же, в комнате на первом этаже, в среднем дворе. В тараканьем подъезде. Левка застрелил интенданта союзных войск, ходил под трибуналом, грозила вышка, но потом выяснилось, что интендант — темная личность, связан с абвером, и Левке хотели дать орден, однако не дали. По-видимому, это была брехня. Но тогда Глебов верил каждому слову и радовался тому, что встретил Шулепу, и готов был отдать за «коблер» последние деньги, чего делать не требовалось, платил Левка. И еще Глебову очень хотелось такую же кожаную куртку.

Потом слонялись вокруг телеграфа, задирались к прохожим, пытались знакомиться с женщинами, милиционер смотрел беззлобно, Левка хвастался:

— Меня тут знают будь-буди! Они только и живут тем, что я их не трогаю...

Он супился сурово и грозил милиционеру пальцем. Потом поднялись к нему на четвертый этаж. Опять что-то пили. Левкина мать Алина Федоровна осталась совершенно такой же, как была в довоенной жизни. Удивительный факт! Все кругом переменялось, Левка стал здоровенным и лысым, мать Глебова умерла, он сам чуть не умер, сначала в Глазове от воспаления легких, потом много раз, когда бомбили аэродром, и столько людей погибло и исчезло, а мать Левки по-прежнему смуглела худыми щеками, курила папиросы, смотрела косо и странно, щуря глаза.

— Ты прости, пожалуйста, за пошлый вопрос, еще не женился, Вадим? Молодец, ты всегда был рассудительный. Не обижаешься, что говорю тебе «ты»?

И голос прежний: сипатый, ленивый, чуть с картавинкой. Впрочем, хотя и необыкновенная женщина и великого ума — Левка говорил: «Я перед мамашей преклоняюсь, она в своем роде талант, но характер, как у Ивана Грозного», — могла бы обойтись и без «ты». Глебов хотел держаться с достоинством. Отвечал кратко, улыбался сдержанно, а на ковры, на картины, на всякие финтифлюшки, повсюду понатыканные, не поднимал глаз. Как бы не замечал вовсе. Потом уж, приглядевшись, обнаружил, что убранство комнат как-то заметно отлично от квартиры в большом доме: роскошь попышней, старины больше и много всего на морскую тему. Там модели парусные на шкафу, тут море в рамке, там морской бой чуть ли не Айвазов-

ского — потом оказалось, что вправду Айвазовского — и какие-то золоченые якоря на стенах. Он сказал:

— А вашей старой мебели, Алина Федоровна, я что-то не узнаю. Все будто другое.

Если б не был в ту минуту порядочно «под банкой», он бы себе такой наглости и развязного тона не позволил. Но что-то его словно бодало изнутри: скажи да скажи! Ведь люди в войну последнее продавали, все нажитки, чтоб не пропасть — баба Нила продала серебряные ложки, подстаканник, коврик, шали, все хоть немного ценное, что из Москвы везли, даже свой крестик нательный, потому что Глебов умирал, литр молока на рынке стоил примерно так же, как серебряная ложечка, — а тут новое накоплено и, смотри-ка, Айвазовский. Шутка сказать: Айвазовского приобрести. Он подошел нарочно к стене и стал внимательно и наклоняясь близко, как знаток, картину разглядывать. Левка смеялся.

— Какова наблюдательность! Нет, мать, ты скажи: пьян, пьян, а приметлив.

Алина Федоровна сказала:

— Древние говорили: в один и тот же поток нельзя вступить дважды. Так, кажется? Я не ошибаюсь, молодые люди? Ты, Дима, вступил в наш поток, — жестом она объединила себя с сыном, — в каком же примерно году? Когда переехали в тот ужасный дом, в тридцать каком-то...

— Ну, неважно. Лет десять назад, — сказал Глебов, — Но я хорошо помню вашу квартиру. Помню, в столовой был огромный, красного дерева буфет, а верхняя часть его держалась на тонких витых колонках. И на дверцах были какие-то овальные майоликовые картинки. Пастушок, коровки. А?

— Был такой буфет, — сказала Алина Федоровна. — Я уж о нем забыла, а ты помнишь.

— Молодец! — Левка шлепал Глебова по плечу. — Наблюдательность адская, память колоссальная. Можешь работать. Я дам рекомендацию...

Когда остались одни в его комнате, он объяснил: у Алины Федоровны теперь другой муж. Шулепников умер. И эта квартира со всей здешней хреновиной принадлежит Флавицкому или Фивейскому, новому мужу Алины Федоровны. Он тоже большой человек. Как раз занимался делом Шулепникова: тот умер странно, его нашли мертвым в машине в запортом га-

раже. То ли диверсия, отравление газом, то ли просто остановилось сердце. Ведь он работал ночами иапролет. Фивейский расследовал это дело, и так они познакомились с матерью. Глебов чуть было не спросил: почему же вещи из старой квартиры не перевезли к Фивейскому? Тут была какая-то неясность. В Левкиной жизни было много неясного. Лучше не спрашивать. Левка сказал, что новый «батя» мужик недурной, из моряков, любитель выпить, поухаживать за балеринами, он его, Левку, приглашал однажды в актерскую компанию, было очень мило, хотя немного по-стариковски. Фивейскому шестьдесят, но, правда, здоров страшно. Глебов спросил: «А как мать? Насчет компании с балеринами?» Левка пожимал плечами: «Откуда ей знать? Дело чисто мужское».

Глебов внимал, поражался, сам себя успокаивал: ну и шут с ними, пусть живут как хотят. Но что-то его зудило и раздражало, будто чесалась нестерпимо старая болячка. Потом он этого Фивейского или Флавицкого видел раза три в квартире на улице Горького, однажды на стадионе «Динамо». Тот был ко всему еще лютый болельщик, протезировал какой-то особой команде, в которую благодаря связям натащил лучших футболистов из других клубов. Левка одно время всей этой ерундой горел. Новый Левкин «батя» был громадного роста, разговаривал оглушительно, руки жал, как станком, у него были блестящая лысая ядровидная голова, запорожские усы, и при этом носил очки в золотой оправе. Словом, это был тип!

Большой дом, так много значивший в прежней жизни Глебова — тяготил, восхищал, мучил и каким-то тайным магнитом тянул неодолимо, — теперь, после конца войны, отпал в тень. Не к кому стало туда ходить. Кроме Сони Ганчук. Но и ходил-то вначале не к Соне — Соня долго оставалась как бы принадлежностью детства, спокойно и тихо отмеркшей в его душе вместе со всем прочим, что стало ненужным и забылось в тяжести лет, — ходил к ее отцу, профессору. Тут было просто совпадение, обнаруженное Глебовым легко и несуетливо, без спеха. Прошло, наверное, уже полгода занятий в институте, когда он решился профессору сообщить: так и так, мол, мы с вами, Николой Васильевич, в некотором роде знакомы. Я дома у вас бывал. Профессор, листая книгу, протянул равнодушно: «Да что вы говорите?» И в тот, первый раз

на этом кончилось. То ли не понял, то ли не захотел понять.

Глебов, не конфузясь особо, решил напомнить подтвержде — Соня его занимала слабо, но сам Ганчук был фигурой внушительной и, как Глебов догадался, чрезвычайно ценной для него на первых порах — и как-то после занятий улучил минуту и передал привет Соне.

— А вы откуда Сонечку знаете? — удивился Ганчук.

— Я ж вам рассказывал, Николай Васильевич...

Как? Что? Ах, да! Верно, вспомню, молодых людей у нас всегда было много, и вас вспоминаю. А бюстики, такие маленькие, беленькие, философов стоят в кабинете? Вот как, даже бюстики запомнились. Профессор улыбался, довольный. Жизнь налаживалась. Пока еще по карточкам, но радость крепла, дружелюбна. Бюстики стоят! Войну перестояли, эвакуацию, невзгоды, гибель людей, идей, на то они и философы. Ганчук почему-то очень обрадовался и воспламенился, когда Глебов вспомнил про бюстики. Гораздо больше обрадовался, чем когда про Сою. И сразу стал приглашать:

— Вы заходите как-нибудь на чаек, Сонечка будет рада...

Потом от Сони прилетел привет, потом приглашение. Ганчук часто болел, к нему приезжали на дом на консультацию, а то и сдавать зачеты.

Соня стала высокой бледной девушкой, несколько худоватой, с бледными полными губами, бледной голубиной в больших глазах, выразивших доброту и внимание. Она училась в институте иностранных языков.

— Вадька, что случилось? Как это понять? — были первые ее слова после шестилетней разлуки. — Почему ты так прочно исчез?

Будто, расставаясь, они обещали быть друзьями навеки.

Однако отношения их и тогда, и теперь были безнадежно товарищескими, ровными, как стена. Соня была лишь добавкой к тому солнечному, многоголкому, пестрому, что называлось — детство. И если бы не возник профессор Ганчук, наверное бы, навсегда канула в даль Соня. Глебов сидел в профессорском кабинете на диванчике с твердой гнутой спинкой из красного дерева — тогда такие диваны продавались, как дрова, в

скупочных магазинах, а нынче попробуй найди за любые деньги — и с наслаждением вел беседу о попутчиках, формалистах, рапповцах, Пролеткульте, о многом, что когда-то Глебова интересовало нешуточно. Профессор знал уйму подробностей. Особенно остро он помнил всякие изгибы и перипетии литературных боев двадцатых — тридцатых годов. Речь его была четкой, решительной. «Тут мы нанесли удар беспаловщине... Это был рецидив, пришлось крепко ударить... Мы дали им бой...» Да, то были действительно бои, а не споры. Истинное понимание вырабатывалось в кровавой рубке. Глебов слушал почтительно, представляя себе, какие сечи гремели, какие авторитеты крошились, какие книги выбрасывались за борт в кипящее море, и крепенький, толстый старичок с румянными щечками казался ему богатырем и рубакой, Ерусланом Лазаревичем. Впрочем, так оно и было в какой-то мере. Очень нравились Глебову чаепития в кабинете, воспоминания, интимности. «Кстати, мы обезоружили его, знаете, каким образом? Как ученый, он был совершенный нуль, но держался благодаря одной особе...» Глебову нравились запах ковров, старых книг, круг на потолке от огромного абажура настольной лампы, нравились бронированные до потолка книгами стены и на самом верху стоявшие в ряд, как солдаты, гипсовые бюстики. Где там Платон, где Аристотель? Снизу различить невозможно, потолки в том доме были очень высокие, не то что строят теперь, наверное, три с половиной, не меньше. Но Глебову казалось, что неразличимые снизу белые статуэтки — эта школьная красота была приобретена в Германии в годы инфляции, когда жадный молодой Ганчук, недавний конармеец, политотдельский поэт и оратор на солдатских митингах, с незабытым гимназическим рвением приобщался к науке, — игрушечные мудрецы тоже принимали участие в сражениях, наносили удары, громили, разоблачали, приказывали разоружиться.

Постепенно и заново Глебов вползал в ауру большого дома. Лифтеров в подъездах теперь не было. И жильцы как будто не те, что прежде: вид попроще и разговор не тот. Но в лифтах, однако, по-прежнему настаивались необычные запахи: шашлыков, чего-то рыбного, томатного, иногда дорогих папирос или собак. От собак Глебов отвык за годы войны. Собаки остались в детстве так же, как мороженое в круглых

вафлях, купание на стрелке и всякая другая чепуха. В лифте ганчуковского подъезда он впервые за долгое время увидел вблизи собаку и внимательно ее разглядывал. Это была громадная желтоватая с чернотой упитанная овчарка, которая сидела скромно, с достоинством у задней стены лифта, под зеркалом, и не менее внимательно разглядывала Глебова. Рядом с собакой, держа ее за поводок, стояла понурая старуха в платке. Воспитанность и скромность громадной овчарки удивили Глебова, и в то же время в ее немигающих ореховых глазах ему почудилось спокойное превосходство: ведь она была жильцом этого дома, а он лишь гостем. Ему захотелось погладить собаку. Непроизвольный порыв, наивное движение детской памяти. Он протянул руку, но собака, заворчав, дернула мордой и клацнула зубами. «Нельзя! Стоять смирно! — было написано на черной высокомерной морде. — То, что тебя пускают в этот дом и ты едешь в лифте, еще не значит, что ты тут свой». Глебов вышел на площадке девятого этажа в дурном расположении духа.

— В вашем лифте воняет псиной, — сказал он Соне.

Бывали минуты, когда хотелось ее уколоть.

Он жил тогда тяжело, голодно, весело, жадно. Как многие. Вспомнить — истинная нищета. Не было лишней пары ботинок, ни рубашек, ни галстуков. И постоянно хотелось есть. Повсюду — в институте, в гостях — он ходил в старом армейском кителе не только потому, что не было подходящего — из всего довоенного вырос, а нового не купить, — но и потому, что не должны были забывать, что он побывал там. В последний год был призван, служил в БАО, частях аэродромного обслуживания. Дома после смерти матери стало глухо. Отец пристрастился к вину. Баба Нила тянулась из последних сил, весь дом был на ней. Сейчас не понять, как все это крутилось, откуда бралось. Раз в неделю баба Нила, взяв кошелку, ехала трамваями на Даниловский рынок за зеленью, сухими грибами, щавелем, шиповником. А уж сколько чая из шиповника было пито! Сейчас этого пошла ни за какие деньги в рот не взять. А тогда баба Нила и на опохмелку нововила холодненького полезного чайку всучить: «Выпей, Димочка, шипового, полегчает...» Какая там польза! Да, наверное, была, как и от всей той жизни в дерюгинской глушине, в потемках, в длинной комна-

те, похожей на склеп. Потому что одолели, выжили. Баба Нила горбатилась все круче, ходила все тише, клонилась долу все ниже. Отец пропадал на сверхурочных, за полторы ставки. Вот когда начались его хвори. Да ведь не замечалось ничего! Какие-то друзья, толкотня, бег, спех, по субботам на последние шиши в дешевую ресторацию или в бар на Серпуховке...

Когда приходил к Ганчукам, напускал на себя суровый, академический вид. Вначале все делалось как бы на ощупь. Соня даже мешала. Хотела его оттащить от отца к своим разговорам, подругам, к ненужности.

И он тихо пугался. Неужели, думал, бедная Сонька на что-то рассчитывает? Ведь ни о каких ласках, кроме профессорских, в рамках учебной программы, он не грезил. Между тем у него утвердилось очень рано мнение о себе как о фигуре опасной и притягательной для женского сердца. Началось с той сорокалетней дамы в эвакуации. Ведь сперва казалось, что он нужен ей так же ненадолго, как она была необходима ему. Но потом разыгрались страсти, глупые угрозы. Господи, как он перетрухнул! И понял, надо быть на чеку. Такие игры могут кончиться плохо. Он ощущал в себе — не без самодовольства — запасы некоей радиоактивности, жертвами которой становились женщины, впрочем, не все подряд, определенного склада. Особенно губительно он действовал на женщин интеллигентных профессий и старше себя. И молодые, серьезные, не очень красивые, часто в очках, часто первые из учениц легко попадали под его чары.

И вот почему он несколько трепетал, когда замечал сияние в добрых бледно-голубых глазах Сони, слабую улыбку на полных бледных губах. Соня любила звать гостей. Приходили ее подруги по институту иностранных языков, блестящие и ярко одетые девочки, щебетуньи, хохотушки, модницы, фифы; некоторые из них сразу и болезненно его задевали. Но он сдерживал себя, зная, что на т а к и х женщин его излучения не действуют.

Когда Глебов сделался секретарем семинара, он стал бывать у Ганчуков чуть ли не каждую неделю. Профессор был вздорен, забывчив и, честно сказать, бестолков. Иногда возникали нелепые разговоры. Стоял в пижаме в дверях и с изумлением округлял глаза: «Дорогой мой, я же просил в понедельник!» — «Да нет же, Николай Васильевич, в субботу...» — «Как я

мог вам назначить в субботу, когда...» — «Но я помню совершенно точно!» Все это происходило на лестнице, Глебов нервничал, чувствовал себя глупо, вдруг коршуном налетала Соня: «Отец, как не стыдно держать человека в дверях! Ты с ума сошел!» В сущности, Ганчук всегда был рад приходу Глебова и тут же находил ему применение. Особенно расположился он к Глебову после того, как тот принес всю библиографию по теме, важной Ганчуку для его собственной работы и сделаниую необыкновенно быстро. Ганчук растрогался. Глебов не сказал, что работал ночами. Он вовсе не обязан был так иадрываться, да вообще не обязан был составлять библиографию, но, как оказалось, сей подвиг вышел гениально полезным.

Была какая-то вечеринка у Сони. Сбор всех фиф, молодых людей разного калибра, набежавших, как водилось в ту пору, на профессорскую горилку и закуску неведомо откуда. Кто-то из фиф привел своих знакомых, те привели своих. Благо профессорская гостиная позволяла рассадить полста людей. Теперь таких комнат нет в помине. Если только в некоторых кооперативах по индивидуальным проектам. Там были какие-то музыканты, какой-то шахматист, был поэт, гремевший на студенческих вечерах оглушительными жестяными стихами — в то время они почему-то казались музыкой, — были, конечно, бесцветные, крикливые, робкие и наглые студиозусы. Поэт свалился как снег на голову. Его никто тут не знал, кроме одного человека, который был шапочно знаком с одной из фиф и сам явился к Соне впервые. Поэт, едва войдя в гостиную и не поздоровавшись, спросил громко, подражая образцам: «Где тут нужник?» Раздались восхищенные полушепоты: «Поэт... Фраппирует... Никаких условностей...» Стихи, которыми он тогда трещал весь вечер, не запомнились, а вот про нужник... Ныне, спустя лет тридцать, поэт по-прежнему громыкает жостью, но это никому не кажется музыкой. Жость и жость, ничего больше. Кто-то из студиозусов, взбурлив клавишами, завел кликушым, пронзительным криком:

Вини-цианский мавр Отелло
Один домишко посещал...

Хор радостно грянул:

Шекспир! Заметил! Это! Дело!
И ведевильчик накропал...

Эта чепухенция тогда безумно нравилась. Орали до хрипоты, до слез в глазах. «Девчонку звали Дездемона, лицом что белая луна, на генеральские погоны, да и эх польстилася она». Ну что в этой чуши было зажигательного, отчего сердце дрожало, хотелось наслаждаться и передавать свою радость другим? Впрочем, на ганчуковских застольях вокруг добро улыбавшейся бледной и безмолвной Сони звучало и иное. Приходил Николай Васильевич, выпивал с молодежью свою рюмку водки, настоянной на лимонных корочках, садилась и Юлия Михайловна, Сониная мать, и под дирижерский взмах вилкой старика пели дружно «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед» или же «Там, вдали, за рекой».

Соня могла в молчании сидеть часами, слушая других с полуоткрытым ртом по причине неудаленных полипов. Глебову однажды пришло в голову, что она будет для кого-то отличной женой, самой замечательной женой на свете. Такая уйма превосходнейших качеств. Вплоть до молчаливости с полуоткрытым ртом. Он подумал об этом рассеянно и вчуже, безо всякой связи с собой. Что-то вроде такой догадки: «А ведь Соня была бы отличной женой для Левки!» Да, он носился одно время с этой идеей, полагая, что Соня может действительно оказать благое влияние на оболтуса Левку, а тот немного успокоит, смирит голубое сияние Сониных глаз, так тревожившее Глебова. Ведь он ничем, решительно ничем не мог на него ответить! У него ни разу не возникало желания в темном уголке потискать Соню, что бывало с другими девушками, даже с теми, кто приходил к Соне в гости, например, с ее подружкой по ИНЯЗу, такой темноглазой, плотненькой — как же ее звали? Имя забылось, зато твердо отпечаталось в памяти ощущение плотных плеч, секундная вороватая ласка в потемках гардеробной, среди мягких шуб...

Было так: с одними трусил и чопорно каменел, с другими как-то вдруг и непонятно отчего наглел, распускался, становясь на себя не похожим. Ту плотненькую отличил сразу, тоже из какого-то Дерюгинского переулка. А Соня была закрыта наглухо. С нею не надо было ни напрягаться, ни распускать себя. Не волновала вовсе. Потом наступило время, когда он этого хотел. И потом, наконец, Соня стала волновать, но, пока он этого достиг, прошло, наверно, два года.

На вечеринке с поэтом — тогда-то забрезжило начало — было чересчур много вина, народ перепился, хозяева напугались. Мужчины выходили на лестницу курить. Был там парень, имя, разумеется, исчезло, он больше не появлялся на сцене, лохматый развинченный губошлеп в очках, в галстучке, какой-то очень здоровый. Имел вид штангиста. И он тонким голосом в мужском кругу курильщиков на площадке спросил:

— Хлопцы, я что-то не пойму, а кто хозяйку фалует? Вот эту самую Сонечку?

На тогдашнем жаргоне «фалует» значило примерно то же, что сегодня значит «кадрит». То есть попросту интересовался, не вакантно ли место. Тон был грубо неуместен, всех покорило. Пожимали плечами. Вдруг один из студиозусов кивнул на Глебова.

— Вроде вот товарищ Дима...

— Я? — удивился Глебов. — Для меня новость.

Стало неприятно: замечают то, о чем сам не догадывается. Чего и в помине нет. Значит, все-таки есть? Зачем-то рассказал, что учился с Соней в школе. Тот парень сказал:

— А зря, хлопцы! В такие терема мырнуть... — Он мигнул на раскрытую дверь в квартиру. — За это не одобряю... И сама ничего. А что? Ничего... Такая тургеневская...

— Молчи, скот, — сказал кто-то.

Парень обиделся, бросил окурочек и ушел в квартиру.

Он всем не понравился.

— Кто эту морду привел?

— А черт его знает. Вроде он из Литературного...

— Давайте его излупим?

Согласились. Один пошел в дом вызывать того обратно, на площадку. Вернулся не сразу и сказал, что парень догадался, что хотят бить, и идти отказался. Ну ладно, излупим позже. От нас не уйдет. Особенно хорохорился шахматист. Все были сильно «под банкой». А с Глебовым произошло вот что: он внезапно и странным образом протрезвел. Его протрезвила мысль, высказанная в идиотской форме тем парнем. «Да ведь он не дурак, — подумал Глебов. — Мы все дураки!» И тем сильнее захотелось того излупить, ну, если не излупить, то просто вышвырнуть отсюда подальше. «Мырнуть желает... Ишь ты, мыряла!»

Злобными шагами Глебов прошел в гостиную.

Излупить очкастого не удалось по глупой причине: через полчаса тот был мертвецки пьян. В половине первого гости прощались, надеясь успеть на метро. Все разошлись, но очкастого нельзя было не то что поставить на ноги, но даже сдвинуть с дивана, где он отвратительно развалился, выставив на обозрение латки своих жалких студенческих брючонок, задранную кверху фуфайку и в просвете между фуфайкой и брючным ремнем серую голизну живота с пупом. Руки он закинул за голову, голова свешивалась с диванного валика, и при этом он ужасно храпел. Как выяснилось, человек, который его привел, давно ушел со своей фифой, Сониной подругой. Никто не знал даже, как его зовут. Ганчуки были в растерянности. Домработница Васена советовала послать за милицией. Юлия Михайловна со своим неизжитым за тридцать лет немецким простоумием предложила поставить рядом со спящим стакан воды с содой и таблетку пирамидона. Васена фыркала в кулак: «Нужно ему твой пирамидон... Он как почнет искать, шкафы колотить среди ночи...» А старик Николай Васильевич все порывался старым гусарским способом — оттереть за уши. Но Соня встала на защиту пьяного обормота и велела его не трогать.

— Неужели вам его не жаль? Посмотрите, какое хорошенькое личико, какая милая бульдожья челюсть...

Глебов решительно предложил: он останется здесь же на всякий случай. В гостиной на раскладушке. А тот пусть спит на диване, только башмаки с него снять.

И так Глебов остался ночью в квартире Сони и долго не мог заснуть, потому что стал думать о Соне совсем иначе. Просто так: не спалось и он думал. Задремывал, видел краткие мутные сны, просыпался и снова думал. Ничего не случилось, Соня спала в своей комнате за крепко запертой дверью, пьяница не шевелился, и, однако, с Глебовым в ту ночь что-то стряслось, — утром он встал другим человеком. Он понял, что может полюбить Соню. Это чувство еще не явилось, но было где-то в пути, близилось, как теплый воздух, волною плывущий с юга. Погода еще не изменилась, но люди с больными сосудами чувствуют приближение. На рассвете, часу в шестом, обормот заворочался, сполз с дивана и начал, как и предполагала Васена, колобродить по комнате, бормоча и икая. Гле-

бов оттащил его в прихожую, нахлобучил кепку и пытался вытурить. Тот не давался, они ругались шепотом.

— Куда ты меня толкаешь, ирод? Мне же некуда идти, дура ты непонятливая...

— Откуда пришел, туда и при.

— Откуда я пришел? Можешь ты понять, что писал Достоевский Федор Михайлович... Когда человеку пойти некуда...

В те времена были такие полунищие студенты, ведущие почти уличный образ жизни: постоянно их исключали, отлучали, они мотались по приятелям из общежития в общежитие, ночевали на вокзалах. На «терема», из которых его изгоняли, он смотрел с тоской. Глебов уговаривал его, наверное, полчаса и выпер, после чего вернулся в гостиную и лег на койку. Через час Соня прошла мимо него в халате. Он увидел бледные худые ноги с нежными щиколотками. Потом она еще раз заглянула в комнату и спросила:

— А тот человек?

— Я ему сделал выкиньштейн. — Глебов двинул коленкой, изображая удар под зад.

Он чувствовал себя героем, защитником слабых.

Но Соня неожиданно рассердилась.

— Кто тебя просил? Он не хотел уходить?

— Не хотел. Я с ним толкался в прихожей целый час...

— И прогнал? Какая гадость, Димка, как тебе не совестно! Прогнать голодного. Может, ему идти некуда...

— Некуда. Потому что шпана.

— Я не знаю, что такое шпана.

— А я знаю. Я живу среди шпаны. Дерюгинский переулок — кругом шпана.

Но Соня покачала головой, глядя на него каким-то новым, недоверчивым взглядом. Ушла к себе в комнату, недовольная. Глебов не знал, что ему делать. Уйти, что ли? Недовольство Сони его удивило. Потом, узнав ее лучше, он понял, что главная черта в этом характере — болезненная и безотборная жалость к другим. Ко всем подряд, ко встречным и поперечным. Это было временами докучливо и даже мучительно, но потом он привык и перестал обращать внимание. Первой ее реакцией на всякое столкновение с жизнью, с людьми было пожалеть. И потом уж он над ней издевался:

«Мне так жаль его, бедного хулигана, который избил на трамвайной остановке трех человек... Представляешь, как у него на душе...» Соня сама ощущала нелепость своего характера и сама от него страдала.

Когда сели завтракать вдвоем за круглый столик на кухне, удобно поставленный у окна, она была смущена и оправдывалась за свою резкость утром: «Если бы хоть чаем его угостить...» — «Ничего, — сказал Глебов. — И так будет хорош». Он посматривал вниз, на гигантскую излучину моста, по которому бежали машины и полз трамвайчик, на противоположный берег со стеной, дворцами, елями, куполами — все было изумительно картинно и выглядело как-то особенно свежо и ясно с такой высоты, — думал о том, что в его жизни, по-видимому, начинается новое...

Каждый день за завтраком видеть дворцы с птичьего полета! И жалеть всех людей, всех без исключения, которые бегут муравьишками по бетонной дуге там, внизу! Все это было продолжением полуяви-полубреда ночных мыслей. Он сказал:

— Знаешь что? Ты лучше меня жалеешь.

— А я жалею. — Она погладила его по щеке. — Ты какой-то неприкаянный...

И он стал бывать у Ганчуков чуть ли не каждый день. То приходил к профессору, то к Соне. Профессор раньше говорил ему «голубчик» и «Вадим Александрович», а теперь стал звать его Димой. Приглашал с собой на вечерние прогулки. Когда он надевал каракулевую шапку, влезал в белые, обшитые кожей шоколадного цвета бурки и в длиннополую шубу, подбитую лисьим мехом, он становился похож на купца из пьес Островского. Но этот купец, неторопливо, размеренными шажками гулявший по вечерней пустынной набережной, рассказывал о польском походе, о разнице между казачьей рубкой и офицерской, о беспощадной борьбе с мелкобуржуазной стихией и анархистствующими элементами, а также рассуждал о теоретической путанице Луначарского, заблуждениях Покровского, колебаниях Горького, ошибках Алексея Толстого: со всеми Николай Васильевич был знаком, пил чай, бывал у них на дачах. И обо всех, даже таких знаменитых, как Горький, говорил хотя и почтительно, но с оттенком тайного превосходства, как человек, обладающий каким-то дополнительным знанием. «Если бы Алексей Максимович до конца понимал...» — говорил он.

Или же: «Я как-то объяснил Алексею Николаевичу...»

Глебов слушал Ганчука с большим вниманием. Все было интересно и важно. Иногда Николай Васильевич ошеломлял Глебова поразительными заявлениями. Например, рассказывая о своей даче в Брускове и связанных с нею хлопотами (асфальтировку дороги безбожно затягивал поселковый Совет), он закончил неожиданно: «Через пять лет каждый советский человек будет иметь дачу». Глебов удивился, но возражать не стал.

Были вечера лютого, двадцатипятиградусного мороза, когда умные люди предпочитали сидеть дома, но Николай Васильевич ровно в девять закутывался шарфом, надвигал до бровей шапку, облачался в свои купеческие меха и спрашивал требовательно: «Вы идете со мной?» Как не хотелось идти на мороз! Пробежаться задними дворами к себе в переулок — это одно, но гулять по обледенелой набережной... Глебов отвечал с обреченной готовностью: «Конечно, конечно! Я готов». Дрожал и ежился в студенческом пальтеце, перешитом из старого отцовского, и сдерживал себя, чтобы не побежать, а идти размеренными шажками рядом со стариком, который сладостно сипел и отдувался в своей душегрейной шубе. «Вот ведь какой самопуп! — иногда раздражался Глебов. — Ему и в голову не придет...» Было и другое соображение: а может, уводит из дома нарочно, чтобы не оставался с Соней?

Впрочем, еще догадку подкинула Васена. Хитрая, все подмечавшая баба однажды спросила сочувственно: «И чего он тебя таскает? Я чай, он тебя вроде как на стражу берет...» — «Я у него под стражей или он у меня?» — спросил Глебов. Васена шептала: «Уж не знаю, но только таких-то в шубах, не любят...»

Бывало, собиралась на прогулку и Соня, присоединялся Куно Иванович, или Куник, человек, близкий Ганчукам, помощник Николая Васильевича по его работе в академии. Этот Куник жил у Ганчуков почти как родственник. Глебов заметил, Николай Васильевич не очень охотно брал с собой Соню, а на Куно Ивановича, если тот увязывался, вовсе не обращал внимания. Дело, кажется, объяснялось просто: в присутствии одного Глебова Николай Васильевич воспламенялся красноречием, рассказывал и вспоминал, не умолкая, а когда рядом была Соня, он скучнел и замыкался. Она могла сказать строго: «Папа, помолчи! Тебе

нельзя разговаривать на морозе». Или: «Папа, ты повторяешься».

А Юлия Михайловна не любила улиц, автомобилей, ветра, морозов. У нее была стенокардия. Она часто болела, не ездила на занятия — Юлия Михайловна преподавала немецкий язык в том же институте, где учился Глебов и где Николай Васильевич руководил кафедрой. Хотя она прожила в России не одно десятилетие, Юлия Михайловна оставалась в чем-то шершавой, негибкой немкой и по-русски говорила с заметным акцентом. Ее отец погиб во время Гамбургского восстания. У Юлии Михайловны сохранились связи с некоторыми уцелевшими от невзгод стариками антифашистами, немцами, австрийцами, которые нзредка появлялись у Ганчуков. Куно Иванович был из этой среды. Его мать, умершая до войны, была старинной, по Венскому университету, подругой Юлии Михайловны, и Ганчуки с давних лет опекали Куника, которого знали мальчишкой. Куник, Куник, Куник, Куник, Куник! Какая-то собачья кличка. Такая маленькая, капризная, с умненькими глазками комнатная собачонка.

— Куника надо покормить! — говорила Соня.

— Попросите Куника... Звякните Кунику... Надо послать Куника за билетами, но очень деликатно...

Он был худ, сутуловат, голову держал немного книзу и набок, будто постоянно к чему-то прислушивался, хотя никогда ни к чему не прислушивался и даже часто не слышал, когда к нему обращались. То и дело встряхивал своей косенькой головкой — страдал тиком, что ли? — откидывая назад длинные блеклорыжие немецкие волосы. Глебов вначале думал, что он золотушный.

Вообще Куник Глебову не нравился. Он был какой-то очень молчаливый, неприветливый, болезненный и себе на уме. Жил Куник одиноко. Ганчуки вечно беспокоились о нем: не заболел ли? Не нужно ли ему чего? Почему-то считалось, что он всегда нуждается в помощи и что он несчастен. Впрочем, было написано на скорбном ссохшемся личике с неизменно сжатым ртом: «Я несчастен!». А в чем, собственно, ваше несчастье?

Однажды за ужином Глебов завел осторожный разговор о статье Куника, появившейся в журнале. Он давно слышал о том, что статья в работе, что редак-

ция требует поправок, что Куник упорствует, проявляет невиданную принципиальность, что в борьбе с редакцией достиг каких-то высших инстанций и все-таки статью про бил. Рассказывалось как о крупном событии в научном мире. Особенно суетилась вокруг этого события Юлия Михайловна. Глебов, прочитав, увидел, что статья вполне среднего качества и абсолютно ничем не выдающаяся, кроме того, что по неуловимым признакам видно, что русский язык для автора не родной. Какая-то общая задушенность, бессочность слов. Вот на эту тему он и заговорил за ужином: о том, что, к сожалению, историко-литературные работы часто пишутся языком, далеким от литературы. Николай Васильевич поддержал, было много наговорено, и потом уж, далеко не сразу и очень мягко, Глебов привел два-три примера из статьи Куника. Примеры были в самом деле разительные по непониманию стиля и духа языка.

Николай Васильевич смеялся, Соня улыбалась, но Юлия Михайловна сухо заметила, что «такую злую критику надо говорить в глаза». Глебов объяснил, что ничего злого в его замечаниях нет, но Юлия Михайловна возразила:

— Неправда, Дима, не хитрите. Вы же не сказали, как относитесь к статье Куно Ивановича в целом?

Глебов, пожимая плечами, бормотал:

— Как отношусь? Честно сказать... Не то чтобы в восторге, но и не...

— О! Значит, я права! — Юлия Михайловна горделиво и воинственно подняла палец. — А позвольте спросить...

Но Соня прервала мать: почему Глебов не имеет права на собственное мнение, отличное от мнения семьи Ганчуков? Почему сразу бросаться в атаку? Николай Васильевич заметил, что мнение семьи Ганчуков вовсе не однозначно. А Юлия Михайловна сказала, что бросаться в атаку — привилегия Николая Васильевича, бывшего конармейца, она же не любительница размахивать шашкой.

— Однако ты размахиваешь, — сказала Соня. — И порой очень сильно.

Глебов был уж не рад, что затеял разговор. Эта хрупкая и на вид чрезвычайно слабая, хворая Юлия Михайловна с тонкими ручками, пергаментно-белым лицом была, надо сказать, необыкновенно упряма.

Могла спорить и настаивать на своем bis zum Schluß, вплоть до сердечного приступа. Она заговорила о том, что всякая критика должна быть в первую очередь объективной, оценивать в целом, а потом уже выискивать блох. Куник написал великолепнейшую статью. Мелкие замечания должны идти петитом. Он написал о главном: какую опасность представляет мелкобуржуазная стихия. Как раз теперь, после победы, после громадного напряжения, когда людям хочется расслабиться и отдохнуть, могут вспыхивать мелкобуржуазные эмоции, заторможенные в сознании. Нельзя эту опасность недооценивать.

Ничего подобного Глебов в статье Куника не прочитал. Он осмелился робко возразить:

— Простите, Юлия Михайловна, но, если я сделал два замечания по языку, еще не значит, что я недооцениваю мелкобуржуазную опасность.

— Вот именно! — сказал Николай Васильевич и пристукнул кулаком по столу. Он все немного сводил на шутку. — Одно из другого не вытекает, черт возьми.

— Нет, вы недооцениваете буржуазную опасность, — сказала Юлия Михайловна, не желавшая шутить.

— Да где вы это видите, Юлия Михайловна?

— Я вам скажу. Хотите откровенно? Я давно замечаю за вами, Дима... — И тут она понесла такой немислимый и ошеломляющий вздор, что Глебов онемел от изумления. Оказывается, он с каким-то особенным вниманием всегда осматривает их квартиру, на кухне его интересовали холодильник под окном и дверь грузового лифта. Однажды он подробно расспрашивал ее о даче в Брускове, сколько там комнат, есть ли водопровод, сколько соток участка, как будто собирался покупать...

— Мама! О чем ты? — испуганно восклицала Соня.

— Я говорю о таком, что замечаю в сегодняшней молодежи, — сказала упрямая и уже начинавшая задыхаться от своей принципиальности сердечница. — И это касается не только Димы. Как раз к Диме я отношусь хорошо, никак не желаю его обидеть. Ты не бойся, у нас останутся лучшие отношения. Но я вижу у многих: такая страсть к вещам, к удобствам и имуществу, к тому, что немцы называют das Gut, а русские — добро... Зачем? Что вам далась эта квартира? — Она поднимала плечи и оглядывала комнату брезгливо, почти с отвращением. — Вы думаете, в вашей ком-

натке в деревянном домике вы не можете трудиться? Не можете быть счастливым?

— Но ты почему-то не уезжаешь отсюда в деревянный домик, — сказала Соня.

— Зачем я должна? Мне абсолютно все равно, где я живу, в большом дворце или в деревянной избе, если я живу по своему внутреннему распорядку...

Юлия Михайловна была права, ее отношения с Глебовым не ухудшились после этих странных обличений. Глебов решил не обижаться. Он догадался, в чем дело: мать Сони питала особую симпатию к Куннику, кажется, видела в нем идеального зятя, но Соня была по этому поводу другого мнения. Сам того не зная, Глебов наступил на больное.

Он чувствовал не без некоторого потаенного самодовольства, что раздражение Юлии Михайловны, ее шипки и насочки говорят лишь о том, что на его стороне обозначается перевес. Более загадочным показались рассуждения о мелкобуржуазных грехах. Ни одной секунды он не почувствовал себя в этом повинным. Полно, да всерьез ли говорилось? Не шутка ли, хорошо разыгранная? Недаром сам Ганчук отмалчивался, ухмылялся. А как же лифт, отполированный под красное дерево, с зеркалом в человеческий рост? Ведь каждый день Юлия Михайловна не пешком ходила на девятый этаж, а ездила в этом лифте вверх-вниз, смотрела на себя в зеркало и дышала запахом дорогих папирос, дорогих собак и дорогого всего прочего. Внизу, в подъезде, уже не расхаживали, правда, востроглазые лифтеры в форменных картузах, но все же сидела в ломаном кресле старуха в валенках и всякого входящего допрашивала застойным, желудочным голосом: «Вы в какую квартиру?» В Брускове был дом, безалаберный, почти развалившийся, с подгнившим крыльцом, с недостроенным вторым этажом, где окна были забиты фанерой, и все же этот дом с участком в сорок соток, забором, соснами, диким виноградом вокруг веранды и огородиком был той ненавистной частной собственностью, тем самым *das Gut*, из чего, как лук из грядки, перло ядовитое дерево.

Весною, когда открывался дачный сезон, семейство Ганчуков выезжало в Брусково на так называемый дачный воскресник: все работали в саду, в доме, на огороде. Но как работали! Юлия Михайловна по причине общей болезненности только тормозилась беспо-

мощно, досаждала другим бестолковыми указаниями, Соня была с лендой и неумеха, а Николай Васильевич застревал в кабинете, пропадал среди старых книг и бумаг. Всю работу тащила древняя Васена, да еще помогал шофер Аникеев, работавший на ганчуковской «Победе» через день. Этот Аникеев, пожилой мрачноватый мужик, сам был когда-то, в довоенные времена, небольшим начальством, но погорел за что-то. Он все делал медленно, ходил не спеша, от тяжелой работы умело отлынивал, выбирал что полегче и ковырялся часами: мог полдня подвешивать абажур или приколачивать планку к забору. Однажды, когда Глебов перевозил в тачке мусор в глубь двора — он с радостью предложил свою помощь Николаю Васильевичу, нетерпеливо любопытствуя, что там за дача, — Аникеев зашептал ему: «А пускай бабка сама потаскает! Насчет мусора-то не договаривались?» Принял его за наемного работягу...

Летом были разлука, Кубань, работа в глухих предгорных станицах и настоящая — нежданная — тоска по Соне. Тут-то он понял, что нешуточно.

Под Новый год, мягкой зимой, поехали студенческой оравой в Брусково, натопили дачу, устроили елку в саду с электрическими фонариками. Славно было... Тогда впервые в их компании появился Левка Шулепников, который пришел в институт год назад, но жил своей жизнью, неведомо где. «Я как киплингковский кот, — говорил он, — гуляю сам по себе». В Брусково он приехал с очень красивой девушкой по имени Стелла. Она была танцовщицей в только что появившемся в Москве и уже модном ансамбле «Березка». Был какой-то очень долгий спор. Орали, вопили чуть ли не до драки. Все началось с Аструга, преподавателя языкознания, которого тогда шуганули с треском, но спорто затеялся анекдотически: какого цвета кальсоны у Аструга? Подоплека была, разумеется, другая. Совершенно, совершенно другая! И не в бедном Аструге было дело. Он, кстати, был из окружения Ганчука. Но и это в тот день не имело значения. Накопилось, как видно, какое-то вулканическое раздражение, томилось подспудно, скрытно от беглого глаза и вдруг прорвалось. Левка Шулепников был, как всегда, раздражителем, но по своему легкодумью не замечал этого. Ну и, конечно, много водки и никакой еды. Обычная студенческая кутерьма. Все это опустилось на голодуху, на усталость,

на нервное ожесточение перед сессией и на то вулканическое, что клокотало глубоко внутри...

Был некий Черемисин, несимпатичный малый, он не числился у Глебова в друзьях, но прикатил вместе со всеми, потому что банда собралась пестрая — кто кидал в складчину, тот и хорош. Человек двадцать. Казалось так: дача большая да еще участок, гуляй хоть сто человек. А вышло: теснота и драка. Этот Черемисин, когда заговорили об Аструге, рассказал такую байку. Будто бы на зачете тот спросил: «Что такое морфема?» Черемисин не знал. Аструг говорит: «Как вы можете знать язык, если не знаете, что такое морфема?» А Черемисин спрашивает: «А что такое салазган?» Аструг, конечно, пожимает плечами. Черемисин еще спрашивает: «А что такое шурдыбурда?» Тот и этого не знает. «Как же вы можете, профессор, знать язык, если таких простых слов не знаете? У нас их всякий старик и всякий ребенок понимает. Салазган — это значит вроде как шпана. А шурдыбурда — это то, что у нас с вами случилось, бестолковщина». И тот засмеялся, рукой махнул и тройку поставил.

— Но вообще-то правильно, что его турнули, — закончил Черемисин. — Низкопоклонство в нем было. Он только виду не показывал, но было. Это точно. Книжный язык он, может, и знал, но настоящий, народный — ни в зуб.

Одна девушка сказала:

— Я не знаю, чего он там знал, чего не знал, но я очень рада, что его больше у нас не будет. А то прямо до тошноты: сядет на стул, ногу на ногу положит, ногой качает, а брючина почему-то всегда у него задирается и белье видно голубое, в носок заправленное. Фу, гадость! — Девушка скорчила гримасу отвращения. — Прямо смотреть не могла, хоть глаза закрывай... И в голову ничего не идет...

Черемисин хохотал.

— Это верно. Точно, точно! Только не голубое, пардон, а белое. Голубого я что-то не помню...

— Вот пусть теперь дома сидит и ногой качает, — сказала девушка.

Начали раздражаться и свариться не только оттого, что перепились, но и оттого, что собрались в кучу не друзья, а с бору по сосенке. Сонины фифы, знакомые этих фиф — одно, глебовские приятели — другое,

да еще явились какие-то непрошенные и случайные, вроде Черемисина. Все это гудело, вскипало, накалялось, тут же знакомились, пили на брудершафт, мгновенно становились лучшими друзьями, и мгновенно же возникала неприязнь, требовавшая выхода. Споры велись яростно. Какие-то из Сониных подруг стали подшучивать над девушкой, говорившей об исподнем, Левка Шулепников грубо оборвал Черемисина: ты перед Астругом подхалимничал, а теперь глумишься, это, мол, недорого стоит. Левка вовсе не был таким уж принципиальным, и на судьбу Аструга ему было начхать — уж Глебов-то знал Шулепу до донышка! — но, видно, тот парень как-то его задел, то ли развязностью, то ли еще чем-то. Ну да, он стал подъезжать к красавице из ансамбля «Березка». Зачем он это делал? Как выяснилось в споре, Левке назло. Он Левку ненавидел. И не он один. «Все наши ребята, — кричал, побелев от злости, скуластый Черемисин, — тебя ни в грош не ставят с твоими машинами, с твоими папашами, мамашами! Ты для нас ноль! Тьфу!» И он для наглядности плюнул в сторону Левки. Может, и не по-настоящему плюнул, но сделал вид, что плюнул. Красавица Стелла вскрикнула. Левка полез через стол драться. Его удержали. Но стало ясно, что большая драка будет. Черемисин был с двумя друзьями из общежития. Глебов их знал хорошо, один парень, совсем недурной и смирный, из глебовской группы, но все были так страшно пьяны! Часов до двух ночи, пока сидели за столом, еще как-то держались, но потом, когда загремели стульями, стали выкарабкиваться, разбрелись по комнатам, на второй этаж, высказывали во двор, в снег, под звезды — там-то и началось, в снегу... Оттуда в дом, по комнатам, по полу, ломая стулья, с криками женщин, со звоном стекла... Глебов, ощущая себя в некотором роде хозяином, пытался разнимать, но делал это не слишком решительно, за что пострадал: кто-то локтем засветил в глаз, вздулся здоровенный фингал. А бедному Левке сделали нос набок. И он долго, с полгода, наверное, ходил с таким носом. Говорят, героически вела себя красавица Стелла, обороняя своего кавалера, сняла туфлю и лупила нападающих каблуком, норовя попасть по очкам. Протори и травмы обнаружились не наутро — потому что на рассвете все, кто был на ногах, поспешно, стыдясь друг друга, побежали на электричку и Глебов

почти никого не застал за завтраком, — а дня через три, когда собрались в институте на консультацию для очередного экзамена.

Но тогда, в Брускове, когда все исчезли и Глебов с Соней остались вдвоем, наступило что-то очень важное. Мороза не было, сыпался тихий снег. Они вышли с лопатами и разгребали дорожку, стояли сумерки, весь день был сумеречный, рано зажгли огонь. Несколько часов они возились, приводя дом в порядок, устали неимоверно — Соня торопилась убрать, потому что боялась, что приедут родители, — потом сидели на кухне и пили чай из глиняных чашек. Родители не приехали. Чашки были тяжелые, шоколадного цвета, и чай необыкновенно вкусный. Эти глиняные чашки запомнились навсегда. И был какой-то час, когда Соня ушла на соседнюю дачу отнести посуду, а он был наверху, в мансарде, самой теплой комнатке во всей даче, окно в сад было открыто, пахло снегом, елью, откуда-то тянуло запахом горелого лапника, и он лежал на диване, старомодном, с валиками и кистями, закинув руки за голову, смотрел на потолок, обшитый вагонкой, потемневшей от времени, на стены мансарды с торчащим между досками войлоком, с какими-то фотографиями, с маленькой старинной гравюшкой под стеклом, изображавшей сцену из русско-турецкой войны, и вдруг — приливом всей крови, до головокружения — почувствовал, что все это может стать его домом. И, может быть, уже теперь — еще никто не догадывается, а он знает — все эти пожелтевшие доски с сучками, войлок, фотографии, скрипящая рама окна, крыша, заваленная снегом, принадлежат ему! Была такая сладкая, полумертвая от усталости, от хмеля, от всего истома...

Захотелось немедленно что-то найти, хотя бы глоток хотя бы старого пива. Он спустился вниз, искал повсюду, ничего не нашел. Падая неслышно снег. Когда вернулась Соня, он почувствовал внезапный напор сил. Сонины глаза блестели, щеки были влажными от снега. Он целовал холодные губы, холодные пальцы, бормотал, что не может жить без нее, его охватило настоящее желание, такого никогда раньше не было с Соней, и он обрадовался. Соня заплакала и сказала: «Зачем мы потеряли целый день?» Хотя было рано, часов семь вечера, они постелили в мансарде на диване, погасили свет и бросились нагие друг к другу, не

желая ждать ни секунды. Прошло немного времени, вдруг внизу раздался стук в дверь. Стучали со стороны крыльца, потом стали барабанить в дверь на веранде. Наверное, кто-то из ребят вернулся догуливать. Стучали очень упорно, было слышно, как люди, двое или трое, ходят по снегу вокруг дачи, разговаривают и советуются. Кто-то кричал: «Вадим! Отворяй, змей!» И женский голос: «Сонечка, это мы!» Еще крикнули весело: «Эй, что вы ночью будете делать?» Засмеялись. Глебов не понял по голосам кто. Соня хотела пойти вниз и открыть, но Глебов не пустил: «Лежи тихо!» Он обнимал худое, покорное, мягкое, худые плечи, худую спину, в этом теле не было никакой тяжести, но оно принадлежало ему — вот что он чувствовал, — принадлежало ему вместе со всем — со старым домом, елями, снегом; и он целовал его, обнимал, делал с ним что хотел, но старался делать бесшумно, а внизу потолкались, погудели, выругались и ушли.

В ту ночь на даче возникла невыносимая жара. Он не знал, как обращаться с котлом, забросил слишком много угля и устроил такое пекло, что не могли спать. Все окна на даче были настежь, но это не помогало. Была еще и теплынь на воле, настоящая оттепель, с уханьем сползал подтаявший снег с крыши, и непрерывно что-то сочилось, капало, тренькало под окном. Глебов и Соня сбросили одеяло, лежали голые на простыне, стонали от духоты и разговаривали еле слышно. Они уже совсем не стыдились друг друга. Соня спрашивала: «Когда ты меня полюбил?» Глебов был в затруднении. Он действительно не мог ответить с точностью. Кажется, это случилось совсем недавно, но сказать так он не решился.

Он ответил:

— Какая разница? Важно, что это произошло...

— Конечно! — шептала она, счастливая. — Я спросила просто потому, что я-то очень хорошо помню... А ты мог забыть...

— А ты, — спросил он, — когда?

И узнал удивительное: оказывается, еще в шестом классе. Когда он пришел в первый раз к ней домой вместе с рыжим Яриком и Антошей Овчинниковым и рассказывал про очень умную кошку, которую нашел на улице больную, а потом кошка по утрам провожала его в школу до набережной. Они пошли смотреть кошку к Глебову домой. Глебов ничего этого не помнил.

— И еще, — сказала Соня, — помню порыв любви к тебе... Это было на секунду, но остро, болезненно и как-то сладко, я помню отчетливо... Ты пришел в коричневой курточке вот с таким поясом, она была не новая, но ты в ней никогда не ходил, поэтому я заметила. Вообще я за тобой внимательно наблюдала. И вот, когда ты стоял у окна, я увидела на курточке сзади большую, аккуратно поставленную заплату, наверное, с тетрадный лист. Ты не представляешь, как я тебя полюбила в ту секунду!

Он был задет. За что же тут полюбить?

Но не выказал задетости, лишь пробормотал:

— Это бабушка умела гениально ставить заплаты...

Соня спросила с пылким интересом:

— Ах, это бабушка? А я почему-то думала, что твоя мама такая рукодельница.

Глебов замечал потом часто, что Соня горячо интересуется совершеннейшими пустяками из его детства, из жизни с отцом, матерью, расспрашивает о странных, ненужных подробностях его прошлого. Порыв любви к нему, вызванный заплатой на курточке, вылился в сокровенную мечту: раздобыть где-нибудь деньги и купить ему новую курточку с запиской: «От неизвестного друга». И было еще необыкновенно сильное впечатление, связанное с ним: ужас и любовь, слившиеся в одну секунду вместе. Это когда увидела его из окна на своем балконе. Химиус за оградой, над пропастью. А у Глебова такое застывшее, полумертвое лицо. Как будто он уже там, внизу, на тротуаре. Ох, это было страшное мгновение! Помнит ли он? Еще бы, конечно, помнит. Детское безумие — на всю жизнь.

— Ну и еще какие-то мелкие страдания, — сказала Соня. — Например, когда ты увлекся этой дурой Тамарой Мищенко...

Тут уж он хохотал. Какой Тамарой Мищенко? Той толстой, огромной, похожей на клумбу с цветами? Они веселились. Их тела были мокрые от духоты, и они вытирали друг друга полотенцем.

На другой день — было, кажется, воскресенье — приехали Сонины родители с Васеной. Глебов боялся, что непременно догадаются о том, что случилось с их дочкой, и приготовился к худшему. Ему казалось, что тут не нужно особой прозорливости. Но Соня держа-

лась настолько естественно и хладнокровно, так радостно их встретила, так любовно и внимательно за ними ухаживала, что Глебов был втайне изумлен, а родители ничего не поняли. Впрочем, они были все-таки лопухи. Тут-то и объяснение. Замороченные своими делами, добрые, порядочные лопухи. Причем одного сорта оба.

А Васена с ее острым глазом? И она проморгала. Потом-то догадалась первая.

Николай Васильевич был в тот день не в духе, мрачноват и вовсе ничего не замечал. За обедом царила какая-то общая тяготица. Глебов подумал: уж не его ли присутствие мешает разговору? Шепнул Соне: уехать? Соня замотала головой.

— Ни в коем случае! Он чем-то расстроен. Ты здесь ни сном, ни духом.

После обеда пошли с Соней гулять. А вечером старик, поспав часика два, отмяк, разговорился и объяснил, что расстроен как раз историей с Астругом. Вчера они с Юлией Михайловной не смогли приехать потому, что вдруг напросились в гости Аструги, Борис Львович с женой. Не принять их было никак нельзя. Они убиты, раздавлены, на Новый год никуда не пошли, как можно их не пригласить? Аструг рассказал подробности. Ведь Николай Васильевич не присутствовал на Ученом совете, где был устроен разгром и, по сути, определился весь дальнейший сюжет.

— Понимаете, Дима, какая пакость: я был в командировке! — говорил Ганчук, обращаясь к Глебову и все более горячась, в то время как Юлия Михайловна жестами, мимикой и досадливыми междометиями пыталась заставить его говорить спокойней и лучше бы помолчать вовсе. — Три с половиной недели, вы же помните, я был в Праге, занимался архивами, и они, воспользовавшись моим отсутствием...

— Папа, зачем им было нужно твое отсутствие? — спросила Соня.

— Как зачем? Смешно! Если б я там был, я бы выступил очень резко.

— То, что им нужно, — сказала Юлия Михайловна.

— Ах, оставь, пожалуйста! Ты не понимаешь.

— Нет, понимаю. Это ты не понимаешь, потому что бываешь там редко, а я хожу каждый день. Они были бы очень не против, если б ты влез в это дело.

— Но я и так влезу! — рявкнул Ганчук.

— Теперь уже нет смысла. Абсолютно sinnlos.

— Посмотрим!

Он опять помрачнел, надулся, встал из-за стола, за которым пили чай, и ушел в свой кабинетик. Соня и Глебов поднялись по скрипучей лесенке в мансарду. Затворив дверь и не зажигая света, Соня бросилась к Глебову, стала целовать его, шепча:

— Как мне жаль Аструга! Бедный, бедный, бедный, бедный мой Аструг... — каждое «бедный» сопровождалось поцелуем.

— Мне тоже, — шептал он, целуя нежную впадину над ключицей, — тоже очень жаль его...

— Я просто не могу выразить... Как мне жаль Аструга...

— И мне...

Она сжимала Глебова слабыми руками изо всех сил. Он гладил ее спину, лопатки, бедра, все, что теперь принадлежало ему. Было слышно, как внизу разговаривают и гремят посудой Васена и Юлия Михайловна. Потом Юля Михайловна позвала:

— Со-ня!

И Соня вдруг отшатнулась от Глебова и прошептала:

— Мы дурачимся, а я вправду его жалею... Я не вру, ты не думай... Если он придет, ты познакомишься с ним ближе...

Глебов думал: это зачем? Снизу звали уже сердито:

— Соня, в чем дело?

Поцеловав Глебова, она побежала, стуча каблучками, по лестнице вниз. Глебов, все еще не зажигая света, подошел к окну и ударом ладони растворил. Лесной холод и тьма опажули его. Перед самым окном веяла хвоей тяжелая еловая ветвь с шапкой сырого — в потемках он едва светился — снега.

Глебов постоял у окна, подышал, подумал: «И эта ветвь — моя!»

На другое утро за завтраком, когда уже приехал Аникеев на машине, чтобы забрать троих в Москву — Ганчук с Васеной оставался тут на несколько дней, — опять зашел разговор об Аструге. Юлия Михайловна спросила:

— Ну хорошо, а вот вы, Дима, вы все время молчите, как оцениваете Бориса Львовича? Как преподавателя?

— Мне трудно сказать. Он читал у нас всего полгода. Спецкурс по Достоевскому...

— Вот именно то я хотела знать! — произнесла Юлия Михайловна с некоторым торжеством. — Неуверенность оценки говорит о многом. Всего полгода! Да полгода — это большой срок. Ганчук, ты всегда пристрастен к людям и любишь переоценить.

— Что я люблю переоценить?

— Ты любишь переоценить неприятности и несправедливости. Почему не должно быть никакой доли правды в критике Бориса? Разве он идеальный, безукоризненный человек, без недостатков? Я думаю, у него есть недостатки, и немаленькие. Я думаю, скорей, у него есть большие недостатки!

Когда Юлия Михайловна нервничала, становились заметны некоторые изъяны ее русской речи. Все было правильно, она не делала ни грамматических, ни лексических ошибок, но вдруг проскальзывала едва уловимая неточность. Нервничая, она стала объяснять недостатки Аструга: не сумел понравиться, никакого впечатления за полгода. Она сама преподает и твердо знает — может держать пари, — что завоюет молодежную аудиторию за два академических часа. Больше ей не потребуется. И они будут бежать к ней домой, звонить по телефону и дарить цветы по праздникам. За два часа!

Говоря это, Юлия Михайловна подбоченивалась и смотрела на мужа и на Глебова несколько свысока. Но говорила, кстати, чистую правду. Студенты ее любили. Затем Юлия Михайловна намекнула еще на один недостаток Аструга: любит прихвастнуть, пощеголять знаниями. Вообще и в нем, и в его жене Вере — в ней особенно — мелькало иногда некое важничанье. Они были о себе высокого мнения. Ну чего бы, спрашивается, им важничать перед Ганчуком? Это выглядело смешно. Сейчас, конечно, их жаль. Без настоящей работы он может пропасть, зачахнуть. А она зачахнет без возможности в а ж н и ч а т ь...

Соня слушала мать, улыбаясь мягко и сочувственно, как слушают детскую болтовню взрослые. Николай Васильевич не желал продолжать спор. Обращаясь к стоявшему у дверях Аникееву, который нетерпеливо звонел ключами, он сказал:

— Иван Григорьевич, хоть вы не гордитесь! Сядьте с нами, хлебните чайку...

Но Юлия Михайловна решила все-таки поставить точку.

— Нет, друзья мои, надо смотреть шире, шире! То, что они мечтали избавиться от Ганчука, это факт. И то, что Борис, к сожалению, уязвим для критики и представляет собой хорошую мишень, тоже факт.

— Тем не менее я влезу в это дело, — быстро произнес Николай Васильевич. — И хватит об этом!

В машине ехали так: впереди рядом с Аникеевым сидела Юлия Михайловна, сзади сидели Глебов и Соня и покоился завернутый в скатерть тюк грязного белья. Юлия Михайловна непрерывно рассказывала об институтских делах, очень запутанных, о которых Ганчук не имел представления, а она разбиралась в них. Директор не любит Ганчука — она всегда называла мужа в глаза и за глаза Ганчуком, — потому что Ганчук независим, ему нельзя приказать, он слишком большая величина, а заведующий учебной частью Дороднов, ничтожество, никогда не забудет, что Ганчук отказался поддержать его авантюру с докторской диссертацией. И не только это. У них старые счеты. Они мечтают сдвинуть Ганчука с должности завкафедрой, но попробуйте-ка! Не так просто. Старый коммунист, участник гражданской войны, автор ста восьмидесяти печатных трудов, переводы на восемь европейских и семь азиатских языков... А Борис Аструг, его ученик, очень удобный инструмент для... Глебов и Соня слушали Юлию Михайловну плохо. Они были заняты друг другом. Всю дорогу ласкали друг друга пальцами: он правой рукой, а она, сидевшая у окна, левой. Ему еще приходилось левой рукой придерживать тюк с бельем, норовивший при торможении свалиться на пол. Глебов видел, как у Сони рдеет щека, и слышал, что голос ее слегка дрожит, когда она произносит по временам: «Да, мама... Конечно, мама... Ты права...»

— И все же, Сонечка, я бы хотела, чтоб Ганчук ушел из института. А? Как тебе кажется? — Юлия Михайловна неожиданно обернулась и будто увидела на лице Сони что-то ее поразившее. Она вновь повернулась спиной и замолчала.

Соня ей не ответила.

И, только когда подъехали к Москве, сказала:

— Наверно, ты права, мама... Но папа ни за что не уйдет...

Та ночь на даче, когда все текло, когда ухал снег

и нечем было дышать... Соня видела ее, сидя в машине. Глебов помнит ее и теперь, спустя двадцать пять лет, хотя было бы лучше забыть. Потом другие ночи, несмотря на январь, экзамены, сильнейший мороз, который вдруг грянул и затруднял передвижения. Они ездили в Брусково, потому что там никто не мешал и было удобней готовиться к экзаменам. Ехали электричкой, бежали промерзшим лесом, врывались в дачу, заледенелую, как погреб, но через два часа становилось тепло. Глебов все думал: неужели ее родители не догадываются о том, что происходит? Ведь готовились к разным экзаменам и к разным срокам. По существу, абсурд: мчаться за город, тратить два часа на дорогу и сидеть там по комнатам, зубрить разное. Родителям говорилось, что едут несколько человек. Но было невероятно не видеть, как изменилась Соня! Однако не видели, не замечали. Соня говорила твердо: ни о чем не догадываются.

И даже когда Соня завалила какой-то зачет и рассказывала об этом смеясь — было необычно и то, что завалила, и то, что смеялась, рассказывая, — ни мать, ни отец не насторожились. В то, что Соня все равно сдаст и будет отличницей, они верили несокрушимо. Это было дано ей от природы, как бледный цвет лица. И тут они были правы. Они знали свою дочь хорошо. Она сдала даже те предметы, по которым успела кое-что почитать утром в день экзамена. Ведь студенты в сессию занимаются обыкновенно ночами, а Соня с Глебовым тратили ночи на другое. И вот Глебов-то наделал себе хвостов.

Но он считал, что то, что творилось с ним и с Соной в январе, было его главным экзаменом, неизмеримо главнее всего остального.

Первой прорезалась Васена — худобой и костистым желтым лицом старуха напоминала Глебову средневековые рисунки, изображавшие смерть с косой, — и вот она секанула Глебова, и правда, как косой. Однажды сказала Соне, он стоял близко и услышал, да и говорилось, чтоб услышал:

— Твой-то приймак никогда ног не оботрет... Всегда, как в трактир...

— О чем вы, Васена? — спросил Глебов, подходя. — И что значит — приймак?

— А я почем знаю... Говорится так... — проворчала Васена.

Соня, побледнев сильнее обычного, обняла старуху. — Няня, милая, зачем ты так? Ведь ты добрая, я же знаю...

А в конце января Соня, взволнованная, сказала Глебову, что случилась беда: Юлия Михайловна неожиданно поехала с Аникеевым на дачу забрать какие-то вещи и обнаружила некоторые несомненные улики, оставленные ими по рассеянности или халатности — торопились на электричку. И что же? Мать, хотя и ругает отца за близорукость и простодушие, сама еще более простодушна и имеет привычку отталкивать от себя все огорчительное, делает это бессознательно, этаким домашний страус, и вот какой вывод она сделала: «Соня, я должна сообщить тебе неприятную вещь. На нашей даче ночевали чужие люди. Они ничего не взяли, не украли, просто пришли, чтоб ночевать». — «Что ты говоришь!» — испугалась Соня. «Да, это, к сожалению, так. Есть несимпатичные доказательства. Тебе говорить я не буду, чтоб не огорчать зря. Ведь теперь уже ничем не поможешь».

Глебов, подумав, сказал: а если Юлия Михайловна все прекрасным образом сообразила и так иносказательно дает это понять? Ему не привиделось тут беды. Они вовсе не обязаны так уж свято хранить тайну. Ведь решили стать мужем и женой, это нерушимо, вопрос лишь времени — сейчас, через полгода, через год, какая разница?

И он думал так искренно, потому что казалось — твердо, окончательно и ничего другого не будет. Их близость делалась все тесней. Он не мог пробыть без нее дня. Теперь, когда прошло столько лет с той зимы, можно размыслить спокойно: что это было? Истинная любовь, созревшая естественно и долго, или же молодое телесное беснование, которое обрушилось внезапно, как ангина? Было, пожалуй, второе. Слепое, бессмысленное, безоглядное и так не похожее на него, насколько он знал себя. Все дело заключалось в том, что и она оказалась совсем не похожей на ту, к которой он привык и с какой давно, годами смирился. Ее молчаливость, стеснительность, анемичность — все это было в прошлой, далекой жизни. И только ее доброта и покорность остались с ней, новой.

Я помню, как он меня мучил, и как я, однако, любил его. Он звонил утром по телефону — отец и мать

знали, что звонит он, и старались не снимать трубку, потому что я сердился, когда они это делали, — и я мчался сломя голову из любого места, где в ту секунду находился: из кухни, где доедал клейкую и в отвратительных комьях манную кашу, из ванной и даже из того места, откуда, услышав сквозь дверь звонок, вылетал с незастегнутыми штанами. «Да! — кричал я. — Это кто говорит?» Мне хотелось услышать его имя. Он не называл себя, а всегда придумывал что-нибудь замечательно остроумное. «Сэр, — говорил он, — я жду вас ровно в восемь пятнадцать под часами в среднем дворе, и извольте быть при шпаге. Я заколю вас, как зайца... Из вас выйдет превосходное жаркое, сэр!» — «А из вас, — кричал я, задыхаясь от счастливого хохота, — из вас, сэр, выйдет очень хорошая пожарская котлета! Вот именно, сэр! Такая зажаристая, в подскребочках, вкусенькая котлеточка, сэр!»

Это было ужасно — я всегда ему подражал. В моей голове не рождалось ничего оригинального, а если и рождалось, то гораздо позже, чем нужно. Я прибежал на пять минут раньше и ждал его, изнывая от нетерпения. Не помню во всей своей долгой жизни потом, чтобы я ждал кого-нибудь с таким трепетом и мучительной боязнью подвоха, потому что Антон Овчинников, как и полагается истинному ученому и великому человеку, был невероятно рассеян, забывчив и непостоянен. Договорившись со мной, он мог тут же передоговориться с Моржом или с Химиусом, и я вдруг видел, как они спокойно идут другой стороной двора, направляясь к другим воротам и не обращая на меня никакого внимания. Будто меня нет на свете! Будто он только что не звонил мне и заговорщицким тоном не требовал, чтоб я вышел к часам!

Когда это случилось впервые, я набросился на него в гневе: «Сэр, что это значит? Я жду тебя, как дурак, а ты идешь через те ворота?» Он посмотрел на меня, как мне показалось, с холодным презрением и произнес: «Милейший, разве мы договаривались, что я подойду именно к данному пункту? Я имел право пересечь двор каким угодно курсом и с какими угодно спутниками, а ваше дело следить за моим движением и при желании в точно указанный срок присоединиться...» Он выложил эту высокоумную ахинею сухим, не допускавшим возражения тоном, Морж и Химиус хихикали, а я был ошеломлен, спорить с ним я не умел, злить-

ся на него не мог. Понурился, я плелся за ними следом. Тощий Химиус и рыхлый толстяк Морж шагали по бокам приземистого Овчинникова — тот был, разумеется, без шапки, несмотря на мороз, льняные волосы трепыхались, он был в коротких штанах, в гетрах, голая белизна в просветах между гетрами и штанами отливала синюшностью, и прохожие оглядывались на него, ухмыляясь, — и он непрерывно что-то рассказывал, а Морж и Химиус слушали, разинув рты.

В ту зиму он увлекся палеонтологией, завел большие альбомы, где рисовал разных динозавров и птеродактилей, и без конца рассказывал о них все, что знал. И я не нашел ничего лучше, как увлечься тем же. Тоже завел альбом, тоже пытался рисовать, вернее, срисовывать, а точнее говоря, сводить при помощи папиросной бумаги из книг всяких допотопных страшилищ, но, так как получалось плохо, я безбожно портил книги, вырезая картинки. Вот бы с кем ему следовало вести беседу о ящерах, а он тратил энергию на просвещение Моржа и Химиуса, которые были, если уж говорить всю правду, в немалой степени оглоедями. Мы с Антоном называли оглоедами тех, кто ограничивал свои знания школьной программой, а сверхоглоедами именовали отличников. Это была совсем пропадающая публика, в основном девчонки, но попадались и мальчишки, двое или трое каких-то жалких сморчков. Впрочем, и осьминогов — так назывались благородные и чистые рыцари науки, кого интересовало все равно что, но непременно выходящее за рамки школьной премудрости — было не так уж много. Ну, Антон Овчинников, ну, я, ну, может быть, еще одна или две персоны и единственная осьминожица среди девчонок — Соня Ганчук, которая изучала мистическую литературу, например рассказы Эдгара По. Кроме того, у Сониного отца была превосходнейшая библиотека — пожалуй, не хуже, чем у капитана Немо — и мы часто бегали к Соне, чтобы навести кое-какие научные справки.

Антону пришла в голову изумительная идея: создать ТОИВ, то есть Тайное общество испытания воли. Это случилось после того, как нас исколошматили в Дерюгинском переулке. Антон поправился, и мы решили пойти туда снова. Мы — это Антон, Химиус, Морж, Левка Шулепа и я. Но тут встал вопрос о Вадьке Глебове, по кличке Батон, который жил в том пере-

улке. Звать ли его в тайное общество? Как-то давно он принес в школу белый батон, сидел на уроке, щипал мякиш и угощал желающих. А желающих было много! Кажется, пустяк: притащил батон, который всякий может купить в булочной за пятнадцать копеек. Но вот никто не догадался, а он догадался. И на переменке все просили у него кусочек и он всех оделял, как Христос. Впрочем, не всех. Некоторым он не давал. Например, тем, кто приносил в школу бутерброды с сыром и колбасой, а ведь им, бедным, тоже хотелось батончика! Этот Вадька Батон долгое время занимал меня как личность немного загадочная. Почему-то многие хотели с ним дружить. Он был какой-то для всех подходящий. И такой, и этакий, и с теми, и с этими, и не злой, и не добрый, и не очень жадный, и не очень уж щедрый, и не то чтобы осьминог, и не совсем оглоед, и не трусливый, и не смельчак, и вроде бы не хитрец, и в то же время не простофиля. Он мог дружить с Левкой и с Манюней, хотя Левка и Манюня друг друга терпеть не могли. Был хорош с Антоном, ходил в гости к Химиусу и к Левке и ладил с дерюгинскими, которые нас ненавидели. Его друзьями были Антон Овчина и Минька Бык одновременно!

Вот и думали: как поступить с ним? Рассказать ли ему нашу тайну? Шулепа был горячий его защитник. Он говорил, что Батон никогда не предаст. Антон тоже склонялся к тому, чтобы Батона принять в ТОИВ, потому что от него могла быть польза. Не помню всех споров и рассуждений, помню лишь, что тут была главная сласть: решать чью-то судьбу. Годится или не годится для нас. И, помню, судьба Вадьки Батона мучила меня особенно. Мне очень не хотелось, чтобы он был принят в тайное общество, но сказать об этом вслух и объяснить причины я не мог. Потому что была замешана женщина. Ну, конечно, в том-то и дело! Соня Ганчук была влюблена в этого невзрачного, неопределенного, не такого и не сякого Батона. Что она в нем находила? Уши торчком, пол-лица в веснушках, редкие зубы, и походка какая-то нескладная, развалистая. Волосы у него были темные, блестящие, зачесанные немного набок и такие гладкие, будто он только что вылез из речки и причесался. Я ничего не мог понять. Но было очевидно для всех: она краснела, разговаривая с ним, норовила остаться в классе, когда он дежурил, задавала ему глупые вопросы и смеялась,

когда он пытался острить. Кстати, он не умел острить. В его шутках было больше насмешки, чем остроумия. Он, например, любил поиздеваться над Яриком, отпуская по его адресу ехидные замечания. Ах, может, все это мне только мерещилось с досады! Ведь и Ярик как-то льнул к нему и хотел с ним дружить...

Он был совершенно никакой, Вадик Батон. Но это, как я понял впоследствии, редкий дар: быть **никаким**. Люди, умеющие быть гениальнейшим образом **никакими**, продвигаются далеко. Вся суть в том, что те, кто имеет с ними дело, довоображают и дорисовывают на **никаком** фоне все, что им подсказывают их желания и их страхи. **Никакие** всегда везунчики. В жизни мне пришлось встретиться с двумя или тремя этой изумительной породы — Батон запомнился просто потому, что был первый, кому так наглядно везло за **никакие** заслуги, — и меня всегда поражала окрылявшая их милость судьбы. Ведь и Вадька Батон стал в своей области важной шишкой. Не знаю точно, какой, меня это не интересует. Но, когда кто-то рассказал про него, я не удивился: так и должно быть! И сто лет назад, когда пятеро мальчишек решали жгучую проблему — посвящать или не посвящать его в свою тайну, — ему, конечно же, повезло. Решили посвятить и принять. Антон сказал, что война с дерюгинскими будет долгая, на изнурение и нужен свой человек в их стане. Однажды после уроков повели Вадьку Батона на задворки и все рассказали. А он уже что-то подозревал. И было видно, как он обрадовался, когда ему предложили вступить в ТОИВ. Но ответил он... О, это был замечательный ответ! Тогда мы не поняли по-настоящему, прошли годы, прошла жизнь, и, вспоминая, вдруг догадываешься: вот ведь сила **никакого** характера!

Он сказал, что рад вступить в ТОИВ, но хочет быть вправе когда угодно из него выйти. То есть хотел быть членом нашего общества и одновременно не быть им. Вдруг обнаружилась необыкновенная выгода такой позиции: он владел нашей тайной, не будучи полностью с нами. Когда мы сообразили это, было уже **поздно**. Мы оказались у него в руках. Помню, задумали новый поход в Дерюгинский переулочек и назначили день, но Батон сказал, что день не годится, надо перенести на неделю. Потом еще на неделю, еще на три дня, не объясняя причин, держась таинственно, и мы

соглашались. Потому что он был наш, но не до конца и всякую минуту мог выйти из игры. «Если хотите, давайте хоть сегодня, но тогда без меня...» Мы стали бояться, что он предупредит Миньку Быка и вся затея с внезапным захватом переулка рухнет. Чего мы хотели? Просто пройти вверх и вниз Дерюгинским переулком, где увечили и обирали ребят нашего дома. И, если нападут, дать отпор. Левка Шулепа обещал взять оружие: немецкий пугач, который бухал, как настоящий револьвер.

Наконец Батон сказал: такой-то день. Мы пошли часов в пять вечера. Когда подошли к Дерюгинскому подворью, увидели на втором этаже в окне бледную рожу Батона, и он нас тоже увидел и махнул рукой. Мы прошли весь переулок, на нас никто не напал. Черная собака не показывалась. Какие-то пацаны, катавшиеся на салазках и на досках с горы посреди мостовой, не обращали на нас внимания. Мы постояли у одной подворотни, у другой, пираты не появились — ни Минька Бык, ни Таранька, никто. Шулепа стрельнул в воздух, мы еще немного подождали и ушли. Все были разочарованы. Испытания воли не получилось. Ходили туда еще раза два, но так же безрезультатно. Что случилось? Куда они разбежались? Это так и осталось неизвестным, а может быть, забылось с течением лет. В памяти нет ничего, кроме ощущения досады и странного чувства: будто все это — для нашего неудовольствия и собственного покоя — подстроил Вадька Батон...

Потом были еще какие-то искусы, страхи, хождения куда-то ночью, в какие-то склепы. Подземные коридоры под нашей церквушкой. И балкон в Сониной квартире над пропастью. Вот этот балкон! И холод, смертный, сжимавший кисти рук! И Сонино лицо с белым, безумным взглядом! Нас осталось четверо. Батон до последней минуты не говорил ни да, ни нет. А толстый Морж с мучительным стыдом отказался — он страдал головокружениями. Предстояло определить квартиру. Химиус отпадал, так как его квартира была полна людей, уединиться на балконе невозможно. У Левки тоже околачивался народ: родственники, приживалки, и мать целыми днями сидела дома. Антон жил на первом этаже, я на третьем. Оставался бедный инвалид Морж. Он жил прекрасно; на восьмом этаже, с матерью, деловой женщиной, пропадавшей на службе

с утра до вечера, и старой глухой домработницей, которую можно было запереть на кухне, дав ей для чтения «Пионерскую правду». Старушка любила читать «Пионерскую правду». Но Морж вдруг воспротивился. Он вообще стал возражать против этого испытания, говоря, что это не испытание воли, а испытание здоровья. И тут я вспомнил о Соне. Честно говоря, я никогда не забывал о ней.

Соня жила на девятом этаже, а родители ее как раз в ту пору куда-то уехали. Дома осталась домработница, но та временами отлучалась, и Соня подолгу была дома одна. Девятый этаж. Это было, конечно, невероятно притягательно. То, что нужно. Чем выше, тем лучше. Тем качественнее испытание. Это мы твердили друг другу, хотя от страха у нас сводило животы. Единственное, что смущало Антона: в тайну посвящалась женщина. Ведь он был категорически против женщин. «Я даже матери не рассказал, а я ей все говорю».

Верно, мать Антона была в курсе всех его замыслов и работ. Бывало, позвонишь ей: «Что Антошка делает?» Она отвечает: «А он сейчас заканчивает третью часть палеонтологического альбома. Летающие ящеры. А итальянский альбом наполовину уже сделан, получилось очень удачно, особенно Везувий...»

Боже, как мне хотелось, чтобы Соня присутствовала при испытании воли! И я сказал, что можно скрыть от нее главное, сказать, что нам, осьминогам, надо кое о чем секретно поговорить на балконе, а ее попросить побыть полчаса в кабинете. Если она даст честное слово осьминогов, что не выйдет из кабинета, она его не нарушит. Антон сопел, дулся, но дал согласие: «Ладно! Сонька, конечно, отличается от других девчонок хотя бы тем, что понимает Верди. Она даже марш из «Аиды» однажды напела, правда, не совсем точно». В его устах это было огромной похвалой. Человечество делилось на понимавших и не понимавших Верди, первые были — лучшие люди, вторые — темная толпа ползунаек. Был выбран день, и мы пришли к Соне. Не могу сказать, что шел к ней бодро и с большой охотой. Ноги мои слегка ослабели, и внутри них, в костях, как будто бегали какие-то мурашки. Да и у остальных членов тайного общества вид был не лучше. Чего мне страшно хотелось — чтобы Батон не пришел, чтобы струсил в последнюю минуту! Ведь он имел право.

Он мог не прийти, и мы бы ничего ему не сказали. Но он пришел, черт бы его подрал. Физиономия у него отливала зеленовато, как у покойника. А Химиус глупо посмеивался и не к месту пытался острить.

Все выглядело так, будто мы зашли посмотреть нужный нам том Элизе Реклю, затем внезапно Антон обратился к Соне: «Сонька, ты обязана сейчас же, сию минуту поклясться в том...»

Соня, пораженная таинственностью, заподозрила неладное. С тревогой стала выпытывать: что мы задумали? Почему непременно на балконе? Не хотим ли кого-нибудь сбросить с балкона вниз? Она не подозревала, как близка к истине. Этот «кто-нибудь» мог быть любой из нас. Когда я услышал полушутливые Сонины слова, я почувствовал, как на моих глазах от жалости к себе выступили слезы. Но этого никто не заметил.

Я сделал несколько шагов по комнате, чувствуя, что колени дрожат и ноги ступают нетвердо. Ноги меня ужасно вдруг напугали. С такими ногами нечего было и думать перелезть ограду балкона и переступить через прутья на высоте девяти этажей. Я украдкой поглядывал на других. Когда по очереди мы ходили в туалет, я заметил, что всех немного шатает. И только Антон Овчинников не ходил в туалет.

Как сел на стул, придя к Соне, так и сидел, не двигаясь, до нужной секунды: ни раньше, ни позже. Тяжелый, маленький, желтолицый, плечистый, со скулами, как у Будды. И, когда Соня ушла наконец в кабинет и поворотом ручки замкнула дверь — так он потребовал, — он поднялся первый и твердыми шагами направился в соседнюю, отгороженную портьерой комнату, откуда вела дверь на балкон. Мы прошли вслед за ним. Балкон был не заклеен и не заперт, хотя уже наступили морозы. Сонин отец по утрам занимался тут физкультурой. Как повсюду в доме, балкон был разделен решеткой надвое, другая его половина принадлежала соседям, и здесь скрывалась опасность. Каждую минуту кто-нибудь мог выйти из той двери на балкон и — о чудо! — нас спасти.

Но никто не выходил и ни малейшего признака жизни не замечалось за чужим окном. Я посматривал за решетку, на стоявшие у стены банки, кувшины и кастрюли, на занавеску стеклянной двери и думал: «Неужели вам не хочется, подлецам, выглянуть хоть

на секунду? Ведь так просто перепрыгнуть решетку и ограбить вашу квартиру... Какое идиотское легкомыслие с вашей стороны...»

Нет, соседи не собирались нас спасти. Мы были обречены испытывать волю. Мороз был градусов десять, а мы без пальто, без шапок. Зубы у меня кололись. Антон подошел к левому краю балкона, который торцом упирался в бетонированную стену, и как раз над балконом находилось окно большой комнаты, где мы только что сидели с Соней. Антон потряс металлический поручень, тот был абсолютно прочен. Антон потряс его изо всей силы двумя руками. Все было в порядке. Я подумал: «Вероятно, мы сходим с ума». Но, если бы я захотел сейчас уйти, я бы не смог — ноги не повиновались мне. Внизу было все, как обычно, спокойно, тихо, снежно, черные тротуары, белый двор, крыши автомобилей, но недосыгаемо далеко. Попасть во двор внизу было, как на другую планету.

Туда можно было только упасть.

Антон перекинул одну ногу через ограду, затем вторую и медленно двинулся, держась за поручень и повернувшись к пропасти спиной, а к нам лицом, по краю балкона. Он ставил ноги между железными прутьями. Таким образом, двигаясь боком и очень медленно, он дошел до чужого балкона и повернул назад. При этом он что-то мурлыкал. Кажется, марш из «Анды». Мы следовали за ним с другой стороны ограды, готовые в любое мгновение прийти на помощь. Интересно, что могли бы мы сделать? Вот он добрался до стены, поставил голое колено — он по-прежнему ходил в коротких штанах — на отлив подоконника и, перекатившись животом через поручень, свалился к нашим ногам. Тотчас вслед за Антоном отправился Химиус, который не преминул щегольнуть и, слегка откинувшись на вытянутых руках, поглядел вниз и сплюнул...

В тот же миг я увидел в окне, выходящем на торец балкона, застывшее, косое от ужаса лицо Сони.

Через секунду она выскочила на балкон. Ее рот открывался беззвучно, она уцепила Химиуса под мышками и стала тащить через ограду — он рассказывал, что тащила с нечеловеческой силой, — продолжая двигать открытым ртом и как будто кричать, но не было слышно. Химиус перевалился назад. Мы втолклись в

комнату. Все были озябшие, грязные, испачканные в ржавчине, с посиневшими лицами. Соня схватила Вадьку Батона за руку, не отпускала его, боясь, что он вырвется и прыгнет за решетку, и шептала, как заведенная: «Ой дураки, дураки, дураки, дураки...» Батон недовольно хмурился. У него был такой вид, точно его обидели, отняли у него что-то. Потом я узнал, как было дело. Он не стерпел и тайком разболтал Соне — наверно, когда бегал в туалет, — советовал поглядеть на занятное зрелище. Несчастный хвостун. Но он спас Левку Шулепу, себя и меня. Он спас, он спас! Ноги мои были совсем ни к черту. Эти люди, которые не трусы и не смельчаки, не то и не это, иногда спасают других, у кого слишком много всего. Я возненавидел его еще сильнее. Он ворчал на Соню и говорил ей что-то злобное. Потом она потеряла сознание, мы перепугались, звонили врачу...

А что было дальше? О, дальше, дальше и совсем далеко? Дом опустел. Мои друзья разъехались и исчезли кто где. Морж, который так страдал оттого, что не мог участвовать в испытании воли — он не мог пройти даже по обыкновенному бревну в гимнастическом зале, — исчез куда-то раньше всех. Чуть ли не в ту же зиму. И вообще мы торопились напрасно. Испытания обрушились очень скоро, их не надо было придумывать. Они повалили на нас густым, тяжелым дождем, одних прибили к земле, других вымочили и выморили до костей, а некоторые задохнулись в этом потоке.

Но я помню вот что: мать Антона сидит у нас дома, и отец Химнуса, и кто-то еще, и все разговаривают, запершись в столовой, а мне и Антону не велено присутствовать. Однако мы подслушиваем. Некоторые голоса слышны хорошо, особенно когда там говорят сердито. Я слышу, как мой отец громко и сердито говорит: «Послушайте, а вы обращались к врачу?» И голос матери Антона: «Зачем?» — «Может быть, ваш сын не совсем нормален психически». Мать Антона засмеялась: «Мой сын? Какой вздор! Мой сын совершенно, совершенно нормален!» Тут все заговорили гулом, а мать Антона продолжала смеяться.

Той зимой, когда на даче в Брускове разгоралась глебовская любовь, в его доме в Дерюгинском сгущалась комом безысходность, какая сопутствует всякой

жизни на излете. Жизнь глебовской семьи была на излете: баба Нила едва ходила и по дому все делала через силу, отец после смерти матери постарел, согнулся, какая-то болезнь съедала его, да к тому же стал попивать. Все шло к развалу, к концу. Глебов не любил бывать дома. Отец не вызывал его жалости, ибо этот бестолковый неряшливый старик не находил мужества принять конец достойно, еще надеялся на что-то, лукавил и хитрил с жизнью, мечтая выманить напоследок какие-нибудь подачки. Выманил тетю Полю: она после смерти сестры приходила чаще, навешала по-родственному, помогала бабе Ниле и как-то тихо, спроста заняла место на диване, где прежде спала мать. А куда ей было податься? Ведь дядя Володя после севера оставил ее, уехал в Ташкент с новой семьей. Глебов махнул на них рукой. Пускай как хотят! Грудь его теснило, кровь стучала в висках от предчувствия перемен в своей судьбе...

Но у тети Поли была дочь Клавдия, которой все это не нравилось. Она не хотела простить ни матери, ни глебовскому отцу. Тети Полин сын Юрка, старше Глебова на два года, погиб на войне, а у Клавдии была семья, ребенок, она жила хорошо и должна была бы радоваться за мать, что та не одинока и живет с бабкой, облегчая ей старость, но Клавдия возненавидела мать. Приходя в Дерюгинский, она подчеркивала, что приходит лишь навестить бабу Нилу. С родной матерью почти не разговаривала, а с отцом Глебова была суха, насмешлива.

Клавдия была в дядю Володю: крупная, мосластая, некрасивая. Почему-то считалось, что она хороший человек. Такая же легенда, как то, что тетя Поля красавица. Глебова задевал насмешливый тон, каким Клавдия разговаривала с отцом, отчего тот терялся, а тетя Поля нервничала, суетилась и говорила чепуху, и вообще Глебов с некоторой досадой ощущал в Клавдии иную структуру, что-то чужеродное — неприятную жесткость.

Однажды сказала Глебову:

— Удивляюсь на тебя: и как ты спокойно все кушаешь? Характер у тебя все-таки уникальный.

— Чем же? — спросил Глебов.

— Вот этой всеядностью. Или, может, равнодушием потрясающим.

Глебов усмехнулся.

— А что я должен делать? Я взрослый человек, они взрослые люди... — Он смотрел в недоброе, язвительно кривящееся лицо кузины и думал: лучше быть равнодушным, чем злым. Вслух сказал: — Я им зла не желаю.

— Боже мой, да кто им желает зла? Я, например, просто страдаю, для меня пытка, а тебе ничего... Вот и удивительно...

— А мне другое удивительно: как ты можешь до такой степени мать родную невзлюбить? Откуда эта беспощадность?

Клавдия закрыла лицо руками, ушла.

Потом как-то призналась Глебову: рада бы смягчиться и мать простить, да сил нет. Потому что из-за нее всей семье горе. Это ведь еще до войны началось. И в эвакуации тянулось. Оттого все и раздергалось в локуты: дядя Володя не захотел с Полиной жить, а глебовская мать надорвала сердце. Глебов ничего этого как-то не заметил или, вернее сказать, не понял. Клавдия, рассказав, разрыдалась внезапно и стала ругать себя, говоря, что она дурной человек, что не сме-ла всего этого говорить Глебову, и просила у него прощения.

— Теперь ты меня-то хоть можешь понять? — говорила она, то плача, то хватая Глебова за руку. — Да, я злая, подлая, не имела права тебе говорить... Кто меня за язык тянул, сволочь?

Глебов был поражен, но сказал спокойно:

— Ну что ж? Я догадывался. Я тетю Полю не виню.

— А я виню, — шептала Клавдия и голову опустила на стол. — Я виню, виню, виню... Она меня и матери лишила, и отца.

Глебов молчал, обдумывая. Конечно, открытие было болезненное, но ведь все худшее уже случилось и он ощутил лишь, как окрепло желание порвать скорее и начать все по-своему.

Соня стала бывать у него в доме. Ей хотелось познакомиться со всеми его родными, она всех любила заранее. Но Глебова терзали эти визиты. Она видела жалкость отца, слышала пустые, заискивающие разговоры, наблюдала скудость, тесноту — когда-то, в школьные времена, все это нисколько его не смущало, приятели ходили к нему наперебой, но теперь собственный дом все более становился в тягость, — и осо-

бенно он боялся Сониного недоумения: кто такая тетья Поля?

Однажды Соня явилась, когда все были дома и даже Клавдия зашла проведать бабу Нилу, принесла с рынка овощей. Был конец мая, жарко. Глебов познакомил Соню с Клавдией и поскорей потащил в свою клетушку, теперь, слава богу, хорошо изолированную от комнаты, где жили баба Нила и отец и где ночевала на диване, когда приходила помочь по дому, тетья Поля. Через полчаса позвали пить чай. Глебов шел с неохотой, но Соня рвалась к новым знакомствам: на этот раз к Клавдии и ее четырехлетней Светочке, очень заинтересовавшей Соню. Они мгновенно понравились друг другу, Соня и Светочка, и стали щебетать и играть во что-то, отключившись от остальной компании. Между тем в комнате громыхал тяжеловатый семейный спор, что бывало редко — Клавдия избегала вести сварливые разговоры в этом доме. На этот раз затеялось как-то внезапно, Клавдия не могла сдержаться. Причиной спора была как раз маленькая Светочка, которую надлежало скорей вывозить за город.

С неудовольствием глядя на пришедшую в разгар спора Соню, Клавдия говорила резким, бранчливым голосом:

— Нет, ты ответь твердо: поедешь со Светкой или нет? Если нет, тогда я стану договариваться с Колиной теткой, но не хотелось бы, она человек нездоровый...

Тетья Поля говорила, что сняли дачу неудобно, далеко, а ей надо три раза в неделю ездить в Москву за работой. Она работала тогда для артели, плела какие-то сети для машин. И еще: как бабу Нилу оставить без помощи? Клавдия рассердилась.

— На бабу Нилу не кивай! Мы ее с собой заберем на дачу. Ей там еще лучше будет.

— Да куда ты бабушку потащишь? С ума сошла!

— А здесь ей хорошо, что ли?

— Врачи нужны, дура! Поликлиника! Ты об няньке думаешь, а не о бабке. А она свое отнянчила.

Баба Нила возражала, говоря, что совсем еще не плоха. Тетья Поля корила: зачем в детсад не захотели отдать? Детсад на дачу поедет. На Клавдиной фабрике сад, говорят, очень хороший.

— Кто говорит? Тебе бы только с рук сбыть, баб-

ка называется! — разъярилась Клавдия. — Господи, сколько раз зарекалась к ней обращаться...

Отец забубнил что-то. Понять, что он там жевал беззубым ртом, было нельзя. Женщины бранились, хоть не грубо, не ругательски, но как-то невыносимо занудливо и безнадежно, главное, совершенно не стесняясь Сони. Клавдия обличала мать в эгоизме, говорила, что о девчонке не думают, заняты собой, и что же делать? И ехать не с кем, и залог пропал. Конечно, кабы знала, в детсад бы устроила, теперь поздно. Тетя Поля сказала:

— А потому, что с матерью не разговариваешь. Все молчком, молчком, как зверюга. Что я тебе плохого сделала? — тетя Поля заплакала.

Соня вдруг сказала:

— А хотите, я вам предложу нашу дачу? Там есть сторожка летняя, очень удобная, с электричеством и с водой. Хочешь, Светочка, ко мне на дачу?

— Хочу! — закричала девочка, прыгая.

На слова Сони никто внимания не обратил, точно их не слышали. Продолжали браниться. Отец рукою махал.

— Не волнуйся, поедет она, никуда не денется.

Тетя Поля, плача, головой мотала.

— Не могу я в такую даль... И не хочу с ней, она меня знать не желает...

Соня шепнула Глебову:

— Скажи про Брусково... Это вполне реально...

Клавдия вдруг обернулась к Соне.

— Девушка, не путайтесь в наши дела, пожалуйста. Спасибо за предложение, но дача ваша нам не по карману и вообще не подходит.

— Грубо! — сказал Глебов. — Пойдем, Соня.

Они вернулись в глебовскую комнату, сели на кушетку, застеленную байковым одеялом. Глебов замкнул дверь и включил настенную, в бумажном колпачке лампу над изголовьем. Сколько вечеров и ночей провел он под этой лампой, валяясь на кушетке, читая, мечтая! Он привалился плечами и затылком к дощатой стене — одна из его излюбленных сибаритских поз, что удостоверялось сальным следом головы на обоях, — а Соня села рядом, забравшись глубоко во впадину старой кушетки, прижавшись к нему, положив голову ему на грудь, и он обнимал ее левой рукой, а правой поглаживал бедро в шуршащем чулке. Над

чулком была полоска голой кожи. За деревянной перегородкой продолжался тягучий спор. Было слышно каждое слово. Глебов боялся, что Клавдия скажет что-нибудь ужасное, непоправимое, чего Соня не должна знать. Он гладил ладонью принадлежащую ему и совершенно доступную полоску прохладной кожи и говорил о том, что его двоюродная сестра чванлива, невоспитанна, окончила всего семь классов и техникум и что ему с нею не о чем говорить. Она работает мастером на трикотажной фабрике, а Коля, ее муж, там же наладчиком.

— А я эту женщину пожалела... Она такая ожесточившаяся, смотреть больно... — сказала Соня.—И тетю твою мне жаль, она хорошая, по-моему, красивая... И девочка, чудная, но слабенькая... Всех мне жаль, всех, всех! Это плохо, да? Это не нужно?

— Нет, почему же? Это хорошо. И нужно, — сказал Глебов, продолжая поглаживать кожу над чулком, и, чтоб ладони было удобней, отстегнул застежку и спустил чулок. Он мог бы делать все, что хотел. Она взяла его левую руку за пальцы и прижала к губам. Голоса за перегородкой не умолкали, от этого было тихое раздражение, и все же поверх всего он испытывал громадную покойную радость: оттого, что женщина была покорна. И, главное, женщина необыкновенная. Об этом он догадывался и это внушал себе, приказывая своей ладони получать наслаждение от поглаживания бедра необыкновенной женщины, которая целиком принадлежала ему.

Прошло лето. Наступил последний для Глебова пятый курс. И вот что случилось осенью — было уже холодно, чуть ли не снег, вероятно, ноябрь, — когда Глебов изо всей мочи гнал диплом.

Попросили зайти в учебную часть. Там был такой Друзяев, недавно назначенный, Глебов знал его мало. Расспрашивал о дипломе, что да как. Глебов писал о русской журналистике восьмидесятых годов. Тема неохватная, тонул в матерналах, цитатах, в тысячах газетных страниц.

Друзяев расспрашивал со знанием дела. И даже стишок редкий прочитал на память: «Победоносцев для Синода, Обедоносцев при дворе...» А может, нарочно к разговору подготовил? Глебов с удивлением поглядывал на усталого рыхлолицего человека со следами сердечной недужности и, как это часто бывает у сер-

дечников, с какой-то вялой таимой печалью в глазах и думал: зачем было слать курьера в аудиторию и требовать, чтоб срочно, немедленно? Друзяев был в офицерском кителе, в брюках от штатского костюма, под брюками сапоги, постоянно скрипевшие. В нем была какая-то мешанина. Казенный скрип и китель никак не вязались с печалью в глазах и с разговорами о либеральных редакторах, с полукрамольным подмигиванием по поводу Суворина: «Да ведь Алексей Сергеич был, между нами говоря, мужик о-го-го! Громадный талант!»

Но об одном, разговаривая, Глебов помнил неотвязно: еще недавно Друзяев был военным прокурором и только год назад демобилизовался. В комнату заглянул аспирант Ширейко. Просунул черную очкастую голову будто на секунду, но, увидев Глебова, решил почему-то зайти. Пришел к столу и сел легко, развязно, как дома. Глебов тогда еще прозрел: эге! Ширейко в ту пору бурно взростал, еще будучи аспирантом. На глебовском курсе читал спецкурс по Горькому, заменив Аструга. Друзяев спросил:

— Ваш научный руководитель Николай Васильевич Ганчук?

Как в детской игре «горячо — холодно», Глебов почувял вдруг, что тут-то и есть «тепло». Друзяев не сказал «Ганчук», что прозвучало бы сухо и неприязненно, и не сказал «Николай Васильевич», что было естественней всего, если уж не дружески-фамильярное и привычное «Никвас», он избрал четкую, официальную формулу «Николай Васильевич Ганчук», как при вручении премии или траурном объявлении. Оно было и уважительно и чем-то неуловимо отделяло названный авторитет от некоего целого. С руководителем полный контакт? Никаких проблем? Глебов подтвердил и это. Друзяев совсем иным и, как показалось, прокурорским взглядом сверлил Глебова, его недужность точно вмиг смыло, он выпрямился и как-то поширил в своем кителе.

— Понимаете, Глебов, дело тут щекотливое... Зачем я вас пригласил? Только, прошу, антр ну, как говорят французы. Юрий Северьяныч в курсе наших забот, — Друзяев кивнул на Ширейко, который слушал внимательно, со строгим лицом. — Так что его присутствие пусть не удивляет. Мы все тут немного смущены. Вы знаете, что Николай Васильевич Ганчук включил вас в предварительный список дипломников, которые будут

рекомендованы в аспирантуру? Не знаете? Для вас новость? К тому же приятная, а? Кроме того, он ваш научный руководитель. И еще, кроме того, вы его, так сказать, будущий, как это называется, зять, что ли? Вы извините, разведка донесла. А я, как военный человек, привык разведанным доверять...

Друзяев опять как-то обмяк, расслабился и даже улыбнулся. Но улыбка была обращена не к Глебову, а к аспиранту Ширейко. Глебов промычал и мотнул головой неопределенно, что все же означало: данных разведки он не отрицает.

— Видите ли, Глебов,— продолжал Друзяев,— мы не против вашей аспирантуры и не против того, чтобы Ганчук был вашим руководителем в дипломной работе. И мы, конечно, совсем не против того, чтобы вы породнились с профессором. Мы также никогда не возражали против того — я тут человек новый, но мне товарищи рассказали, что этот вопрос ни разу не поднимался,— чтобы супруга Ганчука, Юлия Михайловна Брюс, работала у нас на кафедре языков, руководила группой. Понимаете, в чем штука: все в отдельности превосходно, а все вместе — перебор.

— Не очень-то ароматный душок! — твердо произнес аспирант Ширейко и добавил: — С точки зрения моральности.

Глебов спросил: и что же? Какие предложения? Держался даже слегка вызывающе, потому что понял: цель — не он. Те стали объяснять, что говорить со стариком трудно, он привык быть вне критики, старые товарищи вести переговоры отказываются, но надо же как-то дать понять. Иначе будет поздно! Слух дойдет до инстанций. Не согласится ли Глебов спокойно, по родственному поговорить с Ганчуком и обрисовать ситуацию? Пусть Ганчук сам подберет руководителя для глебовского диплома. Пусть даст заявление. С указанием какой угодно причины. Все это чепуха и формальность. Вот и все тайны мадридского двора. Итак? Согласен ли товарищ Глебов помочь в первую очередь самому себе?

Глебову дело показалось чрезвычайно простым и ясным, и он сказал, что согласен. И с этого дня началась морока, та, что запутала, заморочила и истерзала его вконец.

Если бы знать, куда дело загнетя! Но Глебов всегда был в чем-то туг и недалновиден. Сложные ходы, ко-

торые потом обнаружили, были для него тайной за семью печатями. Впрочем, никто ничего предвидеть не мог. И Друзяев, так смело и хитроумно затеявший этот дальний подкоп под крепость, огороженную мощной стеной, не догадывался, что ровно через два года он, вышибленный отовсюду и сраженный инсультом, будет сидеть в кресле у окна во двор и, трясая скрюченными руками, мыком объяснять жене, что хотел бы закурить сигарету. А еще через год, будучи аспирантом, Глебов прочтет в газете маленькие объявления: «...с глубоким прискорбнем... после тяжелой и продолжительной...» Как рассказывали, на похоронах Друзяева присутствовали человек восемь, все были возбуждены недавно прошедшими другими похоронами, дело происходило в марте, но даже и не в том суть: Друзяев исчез стремительно, как и возник. А возник он как будто только затем, чтобы выполнить какую-то быстролетную миссию. Налетел, выполнил и исчез. Глебову казалось в первые часы, когда он обдумывал предложение Друзяева, что оно вызвано озабоченностью о его, Глебова, успешном завершении диплома. Какова была наивность! Задача лишь в том, представлялось ему, чтобы найти человека, готового подписать работу, которая будет проделана Николаем Васильевичем как руководителем. Чистая формальность, они боятся формальных неприятностей.

Он решил, что на следующий день вечером, когда пойдет к Соне, поговорит с Ганчуком. Единственное, что смущало и о чем он не подумал сразу: как объяснить старнику то, о чем так грубо и напрямик ляпнул Друзяев? Хотя между ними все было решено, родителям ничего еще открыто не сказали. Намечалась несообразность: объявлять Ганчуку о столь серьезном решении одновременно и в связи с предложением Друзяева было как-то глупо, да и в любом виде начинать такой разговор — Глебов вдруг почувствовал — было бестактностью. Это значило подгонять события, которые обаяны были развиваться плавно, своим ходом.

Лучше всего оттянуть, замотать всю эту историю. Авось забудут или же дело делается как-то само собой. Любимый принцип: пустить на «само собой».

На другой день он к Соне не пошел, на второй и на третий тоже. Вовсе не преднамеренно, находились причины, заботы, он кое-что делал тогда для заработка, вплоть до самого низменного — колки дров на пару

с приятелем по деревянным замоскворецким закутам, а в ту пору накануне зимы был разгар таких работенок,— но подспудно руководило желание оттянуть неприятное, авось минует. Не миновало! Ширейко после семинара спросил: «Говорили?» Глебов сделал вид, что не понял: «С кем?» — «Да с вашим руководителем диплома. С будущим тестем». — «Ах, да! Нет еще. Пока не говорил. Не было случая». — «Вы уж найдите случай, пожалуйста,— сказал Ширейко холодно. — Нам надо куда-то вас записывать, туда или сюда».

И черт его знает, что этот аспирант себе позволял! Глебов встревожился, поняв, что настроение какое-то чересчур неуступчивое и «само собой» не прйдет. Звонила Соня. Что случилось? Куда пропал? Он объяснил как есть: зарабатывал деньги. Она взволновалась: «Ты не очень надрылся? Ты не заболел?» Вечером Глебов пришел к ней и все рассказал про Друзяева и Ширейко. Ничего глупее придумать было нельзя. На какую помощь он рассчитывал? Она растерялась, замкнулась, твердила одно:

— Как хочешь, как считаешь нужным...

И тогда он впервые заметил тот ее взгляд — полный изумления.

— Может, мне не надо было тебе говорить? — спросил он.

— Может, и не надо было.— И опять рассматривала его, улыбаясь и с изумлением.— Тут западня. На твоём месте я бы им ответила, знаешь, как?

— Как?

— Я бы сказала: послушайте, ведь это ужасно неделикатно! Вы не находите, что это не деликатно?

— Я пытался их вразумить,— соврал он.

— Откуда стало известно? Почему об этом говорят? — Голос ее дрожал, на глазах появились слезы. Он порывнулся обнять ее, но она легко и гибко, необычным для себя кокетливым движением отстранилась от его руки.— А то, что случилось с нами, касается только нас двоих.

— Честно, я был обескуражен... Я объяснял,— бормотал Глебов, продолжая врать,— о том, что бестактность...

— Ты объяснял? Сказал, что досужие вымыслы? — Соня вновь улыбнулась.— Я говорю, тут замечательная западня! Нет, Дима, все это кошмар. Не надо впутывать в наши отношения отца. У мамы тоже сейчас не-

приятности: ее вызывал Дороднов и сказал, что ей надо сдавать экзамены. Чтобы получить диплом советского вуза и иметь право преподавать. У нее диплом Венского университета. Она двадцать лет преподает. Смешно, правда? — Соня взяла его за руку.— Дима, я хочу тебе сказать: ты абсолютно свободен. Делай так, как тебе нужно. И, ради бога, никаких насильственных поступков... Ты понимаешь меня?

Он угрюмо кивнул. За ужином Юлия Михайловна, крайне возбужденная, рассказывала о разговоре с Дородновым. О том, как Дороднов был учтив и любезен, как складывал губы сердечком, называл ее «милая Юлия Михайловна» и вообще изображал дело так, будто сам он не имеет к этой интриге никакого отношения. Будто некие люди, бюрократы, лица и имени не имеющие, требуют соблюдения формальностей. Опять формальности! Дороднов сокрушался, извинялся. Но, когда Юлия Михайловна заметила, что хотя Сима, другая преподавательница, законспектировала всю подряд «Диалектику природы» Энгельса, она все равно знает немецкий много хуже, чем Юлия Михайловна, и так это останется на веки вечные, Дороднов вдруг округлил глаза и руками всплеснул: «Юлия Михайловна, неужто вы отрицаете тот факт, что язык — явление классовое?» Юлия Михайловна смеялась, рассказывая. Ганчук тоже смеялся, то хмурил брови. Ни о чем другом, кроме этой анекдотической новости насчет сдачи экзаменов, за столом не говорили. Было много шума, предположений, догадок, смеха, Юлия Михайловна обнаружила актерский дар и комично пародировала Дороднова, Куник рассказывал о каких-то историях, случившихся в академическом институте, сестра Юлии Михайловны Эльфрида Михайловна, тетя Элли, как называла ее Соня, совсем не похожая на сестру, полная, самоуверенная дама, крашенная блондинка, громко и возмущенно обличала бюрократизм. Эльфрида Михайловна была журналисткой, работала на радио. Она напонила слова Ленина о том, что борьба с бюрократизмом потребует десятилетий. Что для успеха этой борьбы нужна поголовная грамотность, поголовная культурность. И что бюрократизм, конечно, есть проявление мелкобуржуазной стихии, о чем забывать нельзя. В присутствии Ганчука тетя Элли говорила поучительным, категорическим тоном, как будто профессором была она, а не он. Вообще эта женщина была Глебову несимпатична, может быть,

потому, что — он чувствовал — и он был чем-то несимпатичен ей. Он платил людям той же монетой. В ней был снобизм. Она иногда не замечала его приветствий или же едва кивала с подлым высокомерием. В ее манере было перебивать его за столом. А что уж так зазнаваться? Неудачливая публицистка, липовая международница. Его не примиряло с тетей Элли даже то, что та считалась семейным героем: две недели работала корреспондентом в Барселоне во время войны. Потом за что-то отозвали. Вероятно, за глупость. Тетя Элли спросила: «Интересно, какого происхождения этот ваш Дороднов? Готова держать пари, что не пролетарского».

Юлия Михайловна сказала, что про Дороднова не знает, но про Друзьева известно точно: он сын мельника. «Voilà! Прикрываются марксистскими фразами, а попробуй их поскреби...» Но Ганчук сказал, чтоб не обольщались: Дороднов неплохого происхождения. Он из семьи железнодорожника. Все не так просто, дорогие мои. «А ты не ошибаешься?» — упорствовала тетя Элли. К концу ужина все немного успокоились, смехотворность эпизода с Дородновым была исчерпана, и Юлия Михайловна с тетей Элли сели за пианино и играли в четыре руки, Ганчук с Куником ушли в кабинет работать.

И все-таки Соня была совсем другая! Она все видела иначе, не так, как родные. И втихомолку подшучивала над ними. Вдруг сообщила Глебову шепотом: «А знаешь, кем был отец моей мамы и тети Элли? Сын венского банкира, правда, разорившегося...»

Кажется, она одна замечала смешное в том, что смеялись над Дородновым, и в ее улыбке была грусть.

Поздно, когда выходил из Сониной комнаты, шел через темную столовую, он увидел, как сестры — одна хрупкая, тонконогая, другая полная, задастая, с маленькой головкой, как баба на чайник, — стояли, обнявшись и покрывшись одной шалью, у окна, смотрели на рассыпь огней внизу и что-то пели негромко, покачиваясь, очень красиво.

И еще помню, как уезжали из того дома на набережной. Дождливый октябрь, запах нафталина и пыли, коридор завален связками книг, узлами, чемоданами, мешками, свертками. Надо сносить всю эту хурдму у р д у с пятого этажа вниз. Ребята пришли помогать. Какой-то человек спрашивает у лифтера: «Это чья та-

кая хурда-мурда?» Лифтер отвечает: «Да это с пятого». Он не называет фамилии, не кивает на меня, хотя я стою рядом, он знает меня прекрасно, просто так: «С пятого». — «А куда их?» — «Да кто их знает. Вроде, говорят, куда-то к заставе». И опять мог бы спросить у меня, я бы ему ответил, но не спрашивает. Я для него уже как бы не существую. Те, кто уезжает из этого дома, перестают существовать. Меня гнетет стыд. Мне кажется, стыдно выворачивать перед всеми, на улице, жалкие внутренности нашей жизни! Мебель в громадной квартире казенная, она вся остается. Пианино мы продали год назад. Ковры тоже продали. Но я так привык к этим столам, стульям с жестяными инвентарными номерами, к тяжелым квадратным креслам и диванам, обитым шершавой тканью с запахом дезинфекции! К дверям с матовым зернистым стеклом в мелком переплете и к обоям, которые теперь, после того как сняты фотографии — с пятнами невыгоревшего цвета, — приобрели какой-то грязноватый и голый вид. Все это еще почти свое, но уже чужое. Я стою в нерешительности перед картой Испании. Братъ, не братъ? Семь месяцев назад пал Мадрид. Кончилась страстная забота, осыпались флажки. «Братъ! — говорит Антон. — Она еще нам пригодится». — «Дай ее мне», — говорит Вадька Батон, явившийся без приглашения. Он повсюду таскается за Антоном, как рыба-прилипала за акулой. Входит бабушка и говорит: «Если не возьмешь карту, я заверну в нее мясорубку». Нет, я возьму ее. Отдираю кнопки, снимаю карту и складываю ее в восемь раз, так что получается пухленькая брошюрка. Ее можно положить в карман пальто. Эта карта до сих пор среди моих книг на полке. Прошло много лет, я ни разу не развернул ее. Но то, что вобрало в себя так много страданий и страсти, пускай детских страданий и детской страсти, не может пропасть вовсе. Кому-нибудь все это да сгодится. Тогда, под дождичком, возле сложенной горкою хурды-мурды, в ожидании грузовика...

«А та квартира, — спрашивает, — куда вы переедете, она какая?»

«Не знаю», — говорю я.

Но я знаю, бабушка говорит, что место очень хорошее, рядом парк, много зелени, замечательный воздух. Правда, ездить бабушке на работу будет далеко. Сначала трамваем до заставы, потом автобусом, всего около часа. Но хорошо то, говорит бабушка, что в трамвай

и в автобус она будет садиться на конечных станциях, в пустые вагоны. Мы будем жить в одной маленькой комнате в общей квартире. Комната на солнечную сторону и во двор. «Очень хорошая комната!» — говорит бабушка. Всего этого не хочется рассказывать Батону. Нет настроения говорить с ним. Если б он знал, как тяжело у меня на душе! Вот они прибежали, дурачатся, шутят, помогают носить вещи, у них прекрасное настроение, и неужели они не догадываются, что мы видимся, может быть, в последний раз? Им хорошо, они остаются вместе. А я — в неизвестную жизнь, к неведомым людям. Где я встречу таких товарищей: ученых, как Антон, остроумных, как Химиус, и добрых, как Ярик? И еще самое главное. Самое-пресамое главное и тайное. Где еще я встречу такого человека, как Соня? Да, разумеется, нигде на целом свете. Бесцельно даже искать и на что-то надеяться. Конечно, есть люди, может быть, красивее Сони, у них длинные косы, голубые глаза, какие-нибудь особенные ресницы, но все это ерунда. Потому что они Соне в подметки не годятся. Проходят минуты, день смеркается, скоро подъедет грузовик, а Сони нет. Ведь всем известно, что сегодня наступает разлука. Почему же хоть на секунду, хоть оттуда, издалека? Но нет, нет и нет. Батон спрашивает: «Сколько комнат? Три или четыре?» — «Одна», — говорю я. — «И без лифта? Пешком будешь ходить?» — Ему так приятно спрашивать, что он не может скрыть улыбку.

Вдруг вижу, она появляется там, в глубине двора, под бетонной аркой. Быстро, быстро, огибая черный и мокрый двор, бежит сюда, к подъезду. Подбежала, спрашивает, задыхаясь: «Еще не уехали? Вот хорошо! А это тебе... на память...» — сует мне что-то завернутое в газету, похожее на книгу. И смотрит весело не на меня, а на всех, на всех.

Дорожные шахматы. С дырочками, чтобы втыкать фигурки. Я видел такие у нее дома. Но сейчас меня ничто не радует. Ведь мы растаемся. На всю жизнь, навеки! Почему не понимают, как это страшно: навеки? Я не могу вымолвить ни слова, смотрю на бледное, немного веснушчатое лицо, вижу, как оно улыбается добрыми губами, добрым взглядом близоруких глаз, в которых нет ничего, кроме веселого спокойствия, сочувствия, теплоты — для всех...

«Ну, до свидания», — говорю я, протягивая ей руку. Подъехал грузовик. Мне кричат. Бабушка суетится,

раздражается. Мы забрасываем в кузов хурду-мурду. Бабушка садится рядом с шофером, а мы с сестрой перелезаем через борт и устраиваемся на вещах. Сестра прижимает к груди кота Барсика. Дождь, слава богу, еще льет, поэтому двор пуст, никто не видит, как мы уезжаем. Только лифтер в черной фуражке вышел из подъезда, стоит, заложив руки за спину, и смотрит не на меня, не на сестру, а на грузовик и едва заметно кивает то ли прощается с нами, то ли задумался о чем-то и кивает собственным мыслям, то ли радуется: наконец-то! Отъезжает асфальтированный, темный от дождя двор, где прошла моя жизнь. Я вижу товарищей этой исчезнувшей жизни, они машут руками, их лица теперь не кажутся веселыми, но они и не очень грустны, а девочка улыбается кому-то. Я догадываюсь, она улыбается тому, ради которого пришла провожать меня.

Это было, как на сказочном распутье: прямо пойдешь — голову сложишь, налево пойдешь — коня потеряешь, направо — тоже какая-то гибель. Впрочем, в некоторых сказках: направо пойдешь — клад найдешь. Глебов относился к особой породе богатырей: готов был топтаться на распутье до последней возможности, до той конечной секундочки, когда падают замертво от изнеможения. Богатырь-выжидатель, богатырь — тянульщик резины. Из тех, кто сам ни на что не решается, а предоставляет решать коню. Что это было — ленивое легкомыслие и упование на «кривую, которая вывезет», или же растерянность перед жизнью, что постоянно, изо дня в день подсовывает большие и малые распутья? Теперь, когда прошло столько лет и видны все дороги и тропки как на ладони, ветвившиеся с того затуманенного далью, забытого перекрестья, проступает какой-то странный и полувнятный рисунок, о котором в тогдaшнюю пору было не догадаться. Вот так в песках пустыни открывают давно сгибшие и схороненные под барханами города: по контурам, видимым лишь с большой высоты, с самолета. Многие завейно песком, запошено намертво. Но то, что казалось тогда очевидностью и простотой, теперь открывается вдруг новому взору, виден скелет поступков, его костяной рисунок — это рисунок страха. Чего было бояться в ту пору глупоглазой юности? Невозможно понять, нельзя объяснить. Через тридцать лет ни до чего не дорыться. Но проступает скелет... Они катили бочку на Ган-

чука. И ничего больше. Абсолютно ничего! И был страх — совершенно ничтожный, слепой, бесформенный, как существо, рожденное в темном подполье,— страх неизвестно чего, поступить вопреки, встать наперекор. И было это так глубоко, за столькими перегородками, под такими густыми слоями, что вроде и не было ничего похожего.

Вроде просто непонимание, просто отсутствие любви, просто легкомыслая дурость. Левка Шулепников в перерыве хоккейного матча на стадионе, куда Глебов нарочно приехал с ним повидаться — разболтал, сволочь, так теперь помогай, советуй,— сказал вдруг со злостью: «Да не нужен тебе Ганчук вообще!» — «Почему же не нужен?» А где-то внизу, подслонно, уже слабо шевелилась догадка. Разумеется же, не нужен. Шулепников рубил сплеча: «Да потому и не нужен, что я тебе говорю! Ты меня слушай, балда!» А он отбрасывал, не желал слушать. Искал Левку, чтобы что-то узнать, и не хотел узнавать. Вот чем он морочил себя и что казалось ему бесконечно важнее всего: может ли человек точно знать о себе, любит он или нет? Почему-то о другом человеке знал твердо: любит. Тут была полная уверенность. Но о себе? Это требовалось понять, было жизненно необходимо, ибо стоял на распутье. Иногда казалось, что привязан по-настоящему, что это серьезно, без дураков, что он скучает, если не видит день или два, а иногда вдруг ловил себя на том, что не вспоминает целый вечер. И, когда внезапно как бы опамятывался и вспоминал, ощущал укол самоукоризны, как нашкодивший школьник: «Что же я так? Ведь это нехорошо!» Но тут же могло нахлынуть почти страстное желание увидеть скорей и он звонил, мчался, уславливался, придумывал, как устроить свидание. В ту зиму появился друг Павлик Дембо, осветитель с киностудии, который давал ключ от квартиры в Харитоньевском переулке. Ездить для свиданий в Брусково, на что уходило так много сил и часов, теперь было необязательно. Да у него, наверное, в эту вторую зиму не хватило бы на Брусково пыла. Все-таки ужас как тяжело было мотаться. И занимало почти всегда день, чаще всего с ночевкой. А в Харитоньевском дело обходилось двумя часами. Правда, в Брускове все было иначе. Там его не мучили сомнения: что же с ним происходит? В Харитоньевском, в паршивенькой темной комнате Павлика, где всегда пахло едой, борщом — внизу помещалась столовая, запахи со-

чилились сквозь доски пола, а иногда в столовой принимались морить тараканов, тогда пахло дезинфекцией и грозило тараканье нашествие,— в этой чужой холостяцкой берлоге Глебов испытал первые приступы неуверенности в себе, непонимания себя или же, попросту говоря, послелюбовной тоски. Вдруг становились неприятны ласки, прикосновения, даже простые слова, он отодвигался, мрачнел — мрачность была совершенно непобедима, охватывала помимо воли — и думал в тоске: «Разве любовь может пропасть вот так, в одну секунду? Значит, тут не любовь. Тут другое». Конечно, он был дураком, мальчишкой, но ведь в чем-то важном, когда стремился до этого важного докопаться, он дураком не был. Кого терзает загадка: истинна ли любовь? Большинство пытаются разгадать это в других. А Глебов упорно вел следствие о себе самом, ибо хотя не знал на опыте, но догадывался или же читал в какой-то умной книге: нет коварней союза, основанного псевдолюбовью. Тут будут несчастья, гибель или же пресное, тягучее прозябание, которое и жизнью не назовешь. Но вот как разгадать? Его тревожило одно тайное, стыдное. В Харитоньевском бывало иногда не так хорошо, как в Брускове. Он иногда не доплывал до берега. Несмотря на долгие, изнурительные старания. Соня не понимала, что с ним происходит, едва не плакала от жалости к нему. Ей казалось, что она виновата. Всегда во всем она винила себя. «Тебе нужна другая женщина!» Он, конечно, горячо возражал, но глубиной души соглашался: может быть...

Но может быть, и нет! Бывали и другие часы в Харитоньевском переулке. Вот в чем сомнений не было — в ее любви, в ее доброте. Тогда ему, глупцу, этих даров казалось мало. И был еще дар: неумение таить ни мыслей, ни чувств, никаких движений души. О, с другими она умела лукавить! Но лишь для того, чтобы с ним наслаждаться беспощаднейшей откровенностью. Однажды рассказала, как она и Куник чуть не сошли с ума. И как она его обидела. Ей было восемнадцать, лето в Брускове, конец войны, электрички ходили с перебойми, и они оказались на даче вдвоем. Ночью была гроза, молнии разрывались рядом, все вокруг трещало, на веранде полопались стекла и заливало ливнем. Она боится грозы, становится как полоумная, и вот в таком состоянии помрачения ума бросилась к нему в комнату, он спал, ведь он глуховат, не слышал грома, стал ее

успокаивать, закутывал, обнимал, укладывал на диван и сам обезумел от другого. Сквозь страх, от которого ее колотило, как в ознобе, она вдруг поняла, что этот человек помешался. Он лепетал вздор, почему-то одно и то же: «Твоя мама и моя мама...» Не было сил кричать, не было сил шевельнуть пальцем, грохот грозы оледенил ее, а у него не было сил бороться с собой. Его согнуло и распластало. Он подползал на четвереньках и хотел взобраться на диван с пола, снизу. Ощущение было, как в тягучем сне: всякое движение требует невероятных усилий. Когда уж дышал рядом и обхватил, оттолкнула его, он слетел на пол и молча отполз, как побитая собака. Непередаваемое мучительство: то, что испытываешь после удара человека по лицу! Тем более доброго, слабого, близкого человека, вина которого лишь в том, что он сошел с ума. Она страдала, не знала, что делать, как загладить этот ужас. А что он-то должен был ощущать? От жалости к нему и от мук совести она была готова на все... Но, конечно, ни утром, никогда потом не говорили об этой ночи, будто ее и не было.

«Что ж ты молчишь?» — спросила Соня и стала целовать Глебова. Он молчал оттого, что был несколько ошеломлен рассказом, но не настолько, чтоб говорить об этом. «А что я должен? Вызвать на дуэль?» Она вдруг тихонько и как-то сквозь улыбку заплакала: «Нет, нет! Никогда, ни за что... Просто я никому не рассказывала, только тебе...»

Для нее рассказать об этом — в общем-то о безделье, ведь ничего не произошло — было подвигом, очищением. Ни крупницы не хотела от него скрыть. Да и что уж скрывать! Ни малости не затаилось к двадцати двум годам, полудетские дружбы, чужие страдания, загадочный опыт подруг, искавших с нею поделиться и посоветоваться. Она советовала. Но, когда обрушилось на нее, она молчок, никому ни слова. Фифы-однокурсницы, когда-то лепившиеся к этому дому, к шуму, к доброте, к тортам из академического распределителя, теперь исчезли из обихода. Ни одна не была ей теперь нужна. И вовсе не из черствости, ревности или самолюбивой жадобы, а просто все ее существо было полно им, ни для кого иного не открывалось места. Как же можно было такую девушку сделать несчастной? Ей грозило страшное: любовь без любви...

Но надо всем этим мучившим душу нагромождением тайно светился — тогда невидимый, теперь же обрел

рисунок — невзрачный скелетик, обозначавший с т р а х. Вот ведь что было истинное. Ну, это потом, потом! Проходят десятилетия, и, когда уже все давно смыто, погребено, ничего не понять, требуется эксгумация, никто этим адским раскопом заниматься не будет, внезапно из темноты, серой, как грифель, выступает скелет.

Было сказано: «В четверг прийти и выступить!»

Когда он, мгновенно сообразив, дернулся было что-то врать насчет того, что кто-то у него дома болен, его прервали тремя словами: более чем обязательно. Тогда понял, что совершил ошибку, не надо было заранее отказываться, ссылаясь на чью-то болезнь, потому что — если более чем обязательно — принимают меры, вызывают родственников, сиделку, а вот если хворь, будь она неладна, грянет внезапно, допустим, в среду... Но исправить было нельзя. Он сказал, что придет непременно, хотя ни секунды в это не верил. В общем-то, для него это было исключено. «Вы должны не просто прийти, но выступить! — была сделана твердая поправка.— Повторить вкратце хотя бы то, что говорили нам. Ничего основательного от вас не требуется... Несколько реальных подробностей, но необходимо... Без этого у нас ничего не склеится...»

Эта фраза всадила в сознание гвоздем. Много часов он раздумывал над ней, повторял ее мысленно с той интонацией, с какой произнес Друзьяев, старался понять: была тут угроза или констатация, относилась ли эта фраза к нему, к Ганчуку или к администрации? У кого «ничего не склеится»? А несколько дней назад в разговоре с Друзьяевым и Ширейко — эти два были главные толкальщики бочки, остальные преподаватели подчинялись неуверенно или даже втайне ропща — он обмолвился насчет несчастных бюстиков, стоявших наверху книжного шкафа в кабинете Ганчука. Друзьяев попросил добродушно, с милой, располагающей улыбкой: «Вадим, опишите, пожалуйста, если можете, кабинет Николая Васильевича. Какие книги, какие картины на стенах, фотографии?» Это был своего рода словесный обыск, как бывает словесный портрет. Он решил не называть некоторых книг и фотографий, которые ему запомнились, например, фотографию Ганчука вместе с Демьяном Бедным в гражданскую войну, оба в буденновских шлемах, и фотографию Лозовского с надписью. Тогда Лозовский был еще в полном порядке, но Глебов проявил осмотрительность. А вот о гипсовых

бюстиком, стоявших в солдатском строю под потолком, он упомянул как о детали полуанекдотической. Однако аспирант Ширейко посуровел и жестким голосом спросил: «Интересно, каких философов держит профессор Ганчук на своем книжном шкафу?» Глебов не помнил всех, там было бюстиков восемь. Помнил Платона, Аристотеля и еще, кажется, Канта и Шопенгауэра, кого-то из немцев. «А философов материалистического направления не помните?» Глебов вспоминал, напрягаясь. Кажется, там был еще Спиноза, но это не наверняка. «Ну, Борух Спиноза! Разумеется,— сказал Ширейко.— Но Спиноза не истинный материалист. А вот античных материалистов Демокрита, Гераклита не помните? Может быть, французы? А Гегель? Людвиг Фейербах?» Глебов уже догадался, что глупо всунулся с бюстиком, они могут вытянуть отсюда черт знает что, поэтому стал твердить: не помнит, не знает. Может быть, есть, кажется, есть. Потом спрашивали о том, как осуществляются руководство дипломом, какие даются советы, замечания, рекомендации. Нет ли в методологии отголосков старых грешков? В частности, например, переверзевщины? Глебов решительно отметал. Но те наседали. Недоучет борьбы классов? Переучет подсознательного? Замаскированный меньшевизм? От чугунов, что норовили навесить, он судорожно отбивался, понимая, что, коли уж навесят, зашатаешься. С профессором вместе. Но ведь, когда человек страшно жаждет услышать нечто, бывает трудно не пойти навстречу полшага, не выдавить хотя бы частицу нечто. «Глебов, вы себе противоречите. Вы же только что говорили...» — «Ну, в какой-то степени... Самой минимальной... Я не придавал значения...»

Прощаясь, Друзяев пошутил, посмеиваясь — он все время то супил брови по-прокурорски, то улыбался, похмыкивал, тогда как Ширейко, не расслабляясь ни секунды, буравил стальным оком,— попросил все же ради хохмы уточнить насчет бюстиков, кто там поименно, Глебов пообещал, думая про себя: вот вздор! Кретинизм высшей марки. Чего они хотят из этих бюстиков выжать? Дела у них, значит, неважнец, если на такое «фуфло» кидаются. «Фуфло» — словечко Паши Дембо, из игроцкого, бегового жаргона, означавшее — пустышка, чепуха. Ширейко вдруг жестким голосом: «Хочу с вами поспорить, Викентий Владимирович. Нужно не ради хохмы, а ради истины, чтоб узнать, ка-

ковы истинные кумиры. Тут не праздное любопытство, а реальное дело». И Друзяев, зав. учебной частью, почему-то затормошился, заерзал перед аспирантом: «Нет, нет! Конечно, Юрий Северьяныч! Я полностью разделяю...»

Глебов пугался, слушая, и одновременно его раздражал смех. Кумиры! С важностью говорят о ерунде. Да с них пыль двадцать лет не смахивали, с кумиров этих. Торчат там, на верхотуре, и понять нельзя, кто есть кто. Ну ладно, если так интересуетесь, он узнает.

Потом было чаепитие у Ганчука. Старик легким голосом спросил: верно ли сказали в ректорате, будто он, Глебов, хочет менять руководителя диплома?

— Что, что? — переспросила Юлия Михайловна в изумлении.— Дима хочет менять руководителя диплома? То есть тебя? Это замечательно! — Она засмеялась.

— Меня это тоже развеселило.

— Главное, он удачно выбрал время.

— Да, время выбрано — лучше нельзя. Кстати, в субботу или воскресенье появится статья Ширейко — ты его не знаешь, это наш аспирант, проходимец — под названием «Беспринципность как принцип». Мои люди мне сообщили. Целый подвал.

— О ком это? — Юлия Михайловна с выражением ужаса на лице прикрыла ладонью рот.

— Ну, не только обо мне, но я там главная фигура. Ферзь! Фигура, конечно же, дутая и, что особенно отвратительно, беспринципная.

— Ой...— стонала Юлия Михайловна.

Соня, побелев, смотрела пожирающим взором на Глебова, а Глебов застыл, не мог ни двинуться, ни вымолвить слово.

— Не знаю подробностей, ведь я не читал. Там что-то насчет неизжитого меньшевизма, что меня удивило, потому что я как раз всю жизнь с меньшевизмом боролся. Тут вышла неувязочка. Надо было хоть чуть-чуть поинтересоваться моей биографией. Но в общем и целом...

— Почему вы молчите, Дима? — вскрикнула Юлия Михайловна и стукнула ладошкой по столу.

— Я не знаю... Пусть Соня скажет...— пробормотал Глебов, вставая из-за стола. Он ушел в Сонину комнату, почти убежал.

Сони не было долго. Он ходил по комнате из угла в угол, от одной этажерки до другой, нещадно курил,

клял себя за то, что не объяснился с Ганчуком загодя, и злобствовал против Друзяева. Эту пакость — преждевременно объявить ничего не подозревающему Ганчуку — те сделали нарочно. Чтоб его, Глебова, подтолкнуть к решению и заодно разорвать его отношения с Ганчуком. А что, если шиш? Упереться, ухватиться за что-то? На каком основании? Кто дал право?

Вбежала Соня, бросилась к нему.

— Дима! У тебя очень плохой вид! — Стремительно положила руку ему на плечо. Это был такой школьный, пионерский ободряющий жест. — Как ты себя чувствуешь? Ты бледен. Я им все, все объяснила... — Смотрела на него с испугом, а он был поражен ее видом, ее неживой белизной и тем, как дрожала рука на его плече. — Папа понял сразу. Мама сначала не поняла, но потом тоже поняла и сказала: «Ну что ж, возможно, он прав...»

— А что ты им сказала? Про нас?

— Да. Я все сказала. И про тот разговор, про гнусную западню, как ты со мной советовался, а я не могла — нет, не хотела — тебе ничего советовать...

Потом возник багроволицый и несколько растерянный Ганчук.

— Понял, прощаю... Впрочем, не буду болтать, понять и значит простить... Но впредь о таких вещах хотелось бы заблаговременно...

Обнял Глебова, похлопывал по спине. Соня вытирала глаза. Все трое были взволнованы. Но каждый по-своему. Ганчук предложил выпить по рюмке кагоры, он всегда держал в буфете бутылку этого приторно сладкого напитка, говорил, что его дед, отец покойной мамы, деревенский священник, любил это вино, называемое церковным, и маме передал пристрастие, так что кагор напоминает ему детство, черниговскую захолустную улочку, запахи комода, деревянных полов, коровий мык по вечерам, золотые шары под окнами, и хотя Глебов терпеть не мог этой дряни, он, конечно, согласился.

Вернулись в большую комнату, сказали Юлии Михайловне, которая неловкими ручками убирала стол после чая — Васена рано ложилась спать, вечерние трапезы обходились без нее, — что все хотят немедленно выпить кагоры, на что Юлия Михайловна, не прекращая возни, ответила, что у нее очень сильная Kopfschmerz. После этого она ушла с подносом, полным грязной посуды, и больше не появлялась. Может, и в самом деле

ее мучила Kopfschmerz. На Глебова она не посмотрела ни разу, и вообще было странно, будто Соня ей ничего не сказала и она ничего не знает.

Ганчук объяснял — теперь уже как своему человеку, — отчего разразилась вся эта кампания против него. Такого оборота не ожидал никто. Конечно, повод был: он защищал Аструга, Родичевского и некоторых иных, кого критиковали в недопустимой форме. Когда людей незаслуженно унижают, он не может стоять в сторонке и молчать. А Дороднов — имейте в виду, он мотор всей этой затеи, остальные только шкивы и колесики — как раз надеялся на то, что он будет безмолвствовать, как олимпиец. Ведь он олимпиец, членкор! Но выдержки не хватило. Впрочем, на то был расчет: чтоб его спровоцировать. Да, ввязался, писал письма, ходил по этому вопросу в инстанции... Словом, открылась война... А как же иначе? Боря Аструг — его ученик, Родичевский — большой талант, божьей милостью... Не надеялся восстановить их на работе, да они уж никогда сюда не вернуться, но хотя бы смыть клеймо: низкопоклонники, безродные, такие-сякие, галиматья полная. Боря Аструг всю войну прошел, боевой офицер, ордена заслужил — каков низкопоклонник! Ну, ошибки, заблуждения, у Аструга, скажем, в книге о Горьком методологические ляпсусы, ну и что? У кого их нет? У того же Дороднова — такие вавилоны нагромоздил в книге о романтизме! А книга пустейшая. Все натаскано. Но ведь не враги. Он знает, что такое рубать врагов. Рука не дрожала, когда революция приказывала — бей! В Чернигове, до того как пойти на учебу, работал в отряде особого назначения Губчека. Ганчук — это звучало страшновато для врагов. Потому что ни колебаний, ни жалости. И, когда однажды отец, тогда уже совсем больной, просил за одного попа — того заподозрили в связях с бандой, — Ганчук ему отказал, враг был раздавлен вкупе с бандитами, волк в овечьей шкуре, на его совести была кровь красноармейцев, а с родным отцом вышла смертельная ссора до конца жизни старика. Вот как решались тогда вопросы. А тут? Кого собрался уничтожать товарищ Дороднов? Так вот, причины гораздо глубже. И опять поражаешься гениальности Маркса, который в каждом явлении, каждом факте жизни умел увидеть диалектическую и классовую сущность. Именно этому, милый Дима, вам следует учиться, чтобы твердо

стоять на ногах. В двадцатых годах Дороднову подало крепко, он был попутчик, разумеется, беспартийный, сочинял какую-то труху в духе смены вех, словом, типический мелкобуржуазный элемент, слегка закамуфлированный в духе времени, когда плодились всякого рода кооперативные и частные издательства, группки, журналчики с невнятными платформами, и вот тогда мы его не добились! Он уполз, перекрасился, растворился, как многие, для того, чтобы теперь выплыть в новом качестве. Анекдот: он меня учит марксизму! Недопеченный гимназистик со скрытой то ли кадетской, то ли нововременской психологией обвиняет меня в недооценке роли классовой борьбы... Да пусть молится богу, что не попался мне в руки в двадцатом году, я бы его разменял как констриктора! Вот кардинальнейшая ошибка: мелкобуржуазная стихия недодавлена. Теперь, когда строй устоялся, когда позади великое испытание и настал час жатвы, они вылезли из разных нор, в разных обличьях — недобитки тех лет... Правда, они выглядят сугубо революционно, щеголяют цитатами из Маркса, из Владимира Ильича, выдают себя за строителей нового мира, но вся их суть — их вонючая буржуазность — вылезает наружу. Они хватают, хапают, нажираются, благоустраиваются и еще сводят счеты с теми, кто их лупил в двадцатых годах. Сволочь надеется взять реванш. Но ведь бездари, неучи! Не понимают простой истины, что буржуазия ликвидирована как класс, что ей нет и не будет места на русской земле. Между прочим, Соня сообщила нам о некоем важном решении. Это действительно имеет место? План революционного преобразования семьи Ганчуков? В таком случае еще по рюмке за это хорошее дело...

— Юлия! Иди сюда, тебя требует молодежь! — громко звал Николай Васильевич, взвинченный разговором, вином и тем, что жена проявляла какое-то неясное неудовольствие.

Он не мог понять, что происходит с ней, хотя бы потому, что Сонино сообщение само по себе не произвело на него особого впечатления. Другое терзало его пылающий мозг: газеты, друзья, враги, академия, книги, прошлое. И еще старость и близкая смерть... Лицо его, недавно в багровых пятнах смятения, теперь покрывал ровный и густо-розовый румянец от выпитого вина, такой цвет бывает у марципановых яблочек, которые вешают на елку. Юлию Михайловну все еще одолевала

Kopfschmerz. Соня смотрела на Глебова счастливыми глазами. Глебов под руку повел Ганчука в кабинет — тот хотел показать какой-то альбом времен гражданской войны. «Я вам покажу мальчика, у которого была оч-чень тяжелая лапа! И я бы вам не советовал — слышите, Дима? — попадаться тому мальчику на глаза. Ой, как он не любил ученых молодых людей в очках! Он их рубал сразу — ха, ха! — не спрашивая, кто папа, кто мама!»

Глебов вспомнил, что ему тоже кое-что нужно в кабинете — посмотреть на эти проклятые бюстики.

«Более чем обязательно.— сказал Друзяев.— В четверг, послезавтра». Еще он сказал именно тогда же, в тот разговор — и это было слитно, не разодрать, как два разноцветных куска пластилина, скатанных в шар или в одну мягкую липкую колбасу, если раскатывать шар между ладонями, ощутил вдруг слабость и покорность детства, когда чужие руки берут тебя, как кусок пластилина, и мнут, стискивают, сжимают, плющат, делают из тебя что хотят,— он сказал как бы между прочим, в придаточном предложении, в той же фразе, что и насчет четверга: есть предварительное решение о стипендии Грибоедова. Ему, Глебову. По результатам зимней сессии. И Глебов промолчал, не отозвался, подхватывая ту же игру — будто случайно оброненная новость есть и в самом деле пустяк, не стоящий внимания,— хотя все внутри обдало мгновенным жаром. Стипендия Грибоедова! Пускай последние месяцы, все равно благо. Тут же сообразил, что не денежный приварок важен, а моральный импульс — вперед и вверх. Но в новости была боль — в другую секунду пришло печальное понимание,— ибо она плотно слиплась с четвергом, одно от другого неотъемно. Или все вместе, комом, или же ничего.

«Но ведь немислимо — прийти и выступить!» В тот же вечер — к Шулепникову. Опять безумная надежда на Левкино могущество, непоколебленная с детских лет. Что он мог сделать? Как повлиять? Глебову представлялось, что стоит, например, Левке — ну, не самому Левке, его отцу, отчиму — сказать институтской администрации: «Не мучайте Глебова!» — и те от него отстанут. В самом деле, сколько можно? Есть предел человеческих сил. Сначала переменить руководителя диплома. Потом рассказать о переверзевщине, о том о сем. Потом — что у него на книжном шкафу. И он

этой гадостью занимался, соглашался, рассказывал. Так все им мало, еще тебе задание: прийти и выступить. Ну, не через край ли?

Левка слушал вроде сочувственно, хмыкал, кивал головой, а сам крутил ручки невиданного еще аппарата — телевизора. В маленьком беловатом оконце что-то смутно мелькало, дергалось, кусками доносилось пение: передавали оперу из Большого театра. Во всей Москве, говорили, таких телевизоров всего семьдесят пять штук. Левка был поглощен новой забавой, сердился, чертыхался, изображение портилось, тут же сидели его мать и тетушка, пришедшие на сеанс, и нужного разговора не получалось. Но другой возможности не было. Глебов все валил в открытую, при женщинах. Мать Левки сказала с горячностью:

— Лев, ты должен непременно Диме помочь!

— Ты считаешь?

— Да, считаю! Я Соню хорошо помню, она очень милая. Отца ее я не знаю. Но что за бред — так издеваться над чувствами молодых людей...

— А, тоже мне чувства...— Левка махнул рукой.

— Конечно, тебе этого не понять! — насмешливо и с еще большим напором произнесла Алина Федоровна. — Для человека, который лишен музыкального слуха, всякая музыка — шум.

— Аля, не волнуйся, пожалуйста, — сказала Левкина тетушка.

— Ты пришла в театр или на митинг?—спросил Левка.

— Да что с тобой говорить! — Алина Федоровна сделала резкий взмах рукой, и это был совершенно тот же жест, что только что сделал ее сын. Помолчав, она прошептала, ни к кому не обращаясь: — Так испохабить собственную жизнь...

Окошко в телевизоре прояснело, стали видны фигуры певцов посередине сцены, и на некоторое время наступило молчание — смотрели на экран и слушали пение. Левка сидел перед телевизором на полу. Повернувшись к Глебову, он сказал весело:

— Видимость будет лучше, понял? Нужна другая антенна. Мне Ян достанет. Тут все дело в антенне.

— Лев, я повторяю, ты должен что-то сделать для Димы и Сони! — В голосе Алины Федоровны звучали запальчивость и раздражение. Глебову это не нравилось, он боялся, что Левка разозлится. Между ним и матерью вечно были какие-то раздоры.— Скажи, по-

чему ты никогда не можешь ничего сделать для других? Ведь это неблагородно, Лев! Это очень низко. Нельзя быть таким махровым эгоистом. К тебе пришел старый товарищ, просит тебя о помощи...

— Да что я могу! — прорычал вдруг Левка. — Я кто, директор? Замминистра?

— Ты можешь. Мы знаем. Ты окружил себя таким количеством подлецов, что практически...

— Мать, полегче о моих друзьях! — Левка погрозил пальцем довольно беззлобно. Весь этот разговор был как-то ненатурален: мать нападала на него скорее по привычке, чем повинуюсь порыву, а он слушал ее вполуха, и оба заранее как бы соглашались на ничью.—Чего ты там суетишься, Батон? Я что-то не пойму...

Глебов повторил. Чтоб не мучили, не приставали. Могут ли во всей этой свистопляске обойтись без него? Неужели непременно надо человека унижить: нет, мол, голубчик, ты уж приди и выскажись, твое мнение очень ценно, потому что ты самый близкий профессору человек. А как потом? Как с Соней? Выкажись! Легко сказать. Язык-то не поворачивается. Это не «выкажись» называется, а «вымажись». Приди и вымажись.

— Ишь ты, какая чистюля! — вдруг со злобой ощерился Левка.— Другие пусть мажутся, а я в стороне постою, а? Так, что ли? Хорош гусь!

Глебов сказал, что у других нет таких отношений с этим семейством, им легче. Он понял, что Левка ничего не сделает, не захочет делать. Не надо было приходить сюда. Левка очень переменялся. Мать права, стал чудовишно равнодушен ко всем. И оттого, наверно, эта внезапная и какая-то необъяснимая, животная злобность. Ну да, злобность как реакция на все мало-мальски неприятное, нежелательное, на то, что доставляет неудобство в жизни. Например, вот это: куда-то звонить, за кого-то просить. Левка продолжал в раздраженном виде разглагольствовать о том, что ничего нет ужасного в том, чтобы выйти и сказать два слова с трибуны, если это нужно. Он сам будет выступать, хотя ему тоже неловко, ведь он знает Ганчука с детства, да и некогда, голова занята не тем. Его сейчас в один вояж готовят на полгода, сидит ночами английский пилит, вон книжки валяются, словари. Но если нужно выступить, значит, нужно, старик-то маразмидует, время его давно ушло, а он не чувствует, хорохорится, вместо того чтобы уступить место, и не хрена тут разводить китайские церемонии,

а то хороши: и на елку сесть, и задницу не поцарапать...

Когда он еще раз повторил:

— Сам буду выступать и уж врежу так врежу!

Глебов спросил:

— За что?

— Как за что? Да вот за беспринципность, за групповщину. И низкопоклонство там водилось.

— Брехня.

— Почему брехня? Докажу запросто.

— Да! Запросто! — заорал вдруг Глебов. — Ты ведь не жених Сони Ганчук, черт бы тебя взял!

— А ты жених? — Левка посмотрел лукаво, щуря красноватый глазок. — Отвечаю тыщей против рубля, что и ты нет... Заложимся, а?

— Лев! Что ты говоришь? Как тебе не совестно? — возмутились тетка и мать, не отрываясь от телевизора, где все еще что-то дергалось и мелькало. И Левка, разговаривая, время от времени подкручивал какие-то ручки.

— Я ухожу, — сказал Глебов, вставая. — Прощайте!

Но Левка живо вскочил и схватил Глебова за руку.

— Подожди! Сядь! Сейчас мы что-нибудь придумаем. Знаешь что? Давай-ка я позвоню Юрке Ширейко.

Тут же подошел к телефону и стал звонить. Разговор был поразительный, панибратский. Как далеко теперь Левка ушел от Глебова: тот ничего не знал о его друзьях не то что в городе и окрестностях, но даже в институте.

— Что делаешь? Корпишь? Сидишь над картой-двухверсткой? Еще раз мозгуешь план генеральной битвы? А? — юродствовал Левка. Глебов содрогался заранее от того, что Левка таким гнусным тоном будет говорить о нем. — Слушай, кати сюда! Нам телеприемник привезли. По спецзаказу. Приезжай, посмотрим. Мы как раз сейчас запускаем. Оперу из ГАБТа... Да с Димкой Глебовым, твоим крестником. Он тебе привет шлет... спасибо, передам... Ну как? «Хванчкара» есть. Бате вчера прислали ящик... Нет? Никак? Не можешь или не хотишь? Ну, смотри, девка, тебе жить... Слушай-ка! Тут такой вопрос... Не хотелось по телефону, но коль ты так безумно занят...

— Не говори обо мне ничего! — закипел Глебов, делая знаки руками.

Левка отмахнулся: сиди молчи.

— Тут вот такая проблема. В четверг собрание, так? Да, читали, конечно... Статья — сила! Очень сильная! — Подмигивал Глебову.— Мы как раз тут сидим, обсуждаем. Все правильно, все по делу... Точно, точно... Да, да, да... Правильно... Точно...

Отставив трубку на расстоянии вытянутой руки, цедил насмешливо:

— Наворотил мерзостей и еще требует комплиментов, скотинна! Да, статья тебе удалась. Поздравляем. Статья чудесная. Так вот, как быть с Димой Глебовым? Ведь ему выступать неловко, сам понимаешь... Ну?.. Ну... Ну и что же? Вот и звоним, советуемся...

Затем были долгие маловнятные междометия, затем Левка брякнул трубкой, сказал «пока!» и, вздохнув, сообщил:

— Чего-то ворчит на тебя... Никто, говорит, его силой на трибуну не тянет, пусть, говорит, целку из себя не строит... Чего, говорит, он бегаёт и всем жалуется?.. Зануда, говорит, твой Глебов...

Глебов молчал, подавленный. Только неприятности от этого звонка, как он и предчувствовал. Левка же чему-то самодовольно радовался, смотрел победителем и считал, что выручил Глебова из беды.

— Теперь ты вольный казак: можешь выступать, можешь не выступать, как хочешь. Хозяин — барин. И это я тебе устроил, понял? Он меня уважает, змей... Да они только и живут оттого, что я их не трогаю! Сейчас принесу «хванчкару», сулугуни. Есть настоящий лаваш, из грузинского магазина. Кутеж двух князей!

Глебов не успел решить, идти ли ему домой, к Соне или же оставаться в этом суматошливом доме, как Левка появился, прижимая к груди четыре темные большие бутылки. Женщины уже стелили скатерть на круглый стол, звенели бокалами...

Оставалось два дня. Глебов все еще не знал, что он будет делать в четверг: и прийти, и не прийти было одинаково невозможно. Во вторник, после посещения Левки Шулепникова, которое окончилось ужасающим скандалом и загулом на всю ночь, он был смертельно разбит и просто не мог подняться и поехать в институт. Полдня приходил в себя, валяясь в своей комнатке мертвяком — притащился на рассвете, ничего не соображая, и так и рухнул, одетый, — а когда продрал зенки, увидел врача в белом халате. Врач пришел не

к нему, а к бабушке. Баба Нила уже несколько дней болела тяжело, не вставала. Глебов сквозь гул и нестерпимое гроыхание, будто кто-то перебирал над ухом листовое железо, услышал, как врач разговаривает с двоюродной сестрой Клавдией. «А если укол?» — спрашивала Клавдия, и лицо у нее было ненавидящее. Врач повторял гулко: «Хозяин — барин!» Заголили руку, сделали укол. Уходя из комнаты, врач, довольно молодой и красивый, с розовыми щечками, посмотрел на Глебова внимательно и сказал: «Хозяин — барин». У Глебова все время сжималось сердце и холод прокатывался волной внутри тела. Клавдия села рядом, склонила белое злое лицо и прошептала: «Бабке плохо, а ночи не сплю, здесь дежурю, а ты, — в глазах ее были слезы, — являешься, как свинья... Где ты был? Как черт изгваздался, все в чистку...»

Ему было жаль Клавдию, та плакала, но он ничего не мог припомнить, объяснить и только, напрягши силы, прохрипел: «Хозяин — барин...» Потом понемногу стали возникать осколки вчерашнего. Все, что началось так мирно и по-домашнему, с мамой, тетей, белой скатертью и звоном бокалов, завершилось несуразной пьянкой неведомо где. В квартире с полукруглыми окнами, под крышей. Там был старинный граммофон с трубой. По коридору надо было ходить на цыпочках, кто-то постоянно падал, и его поднимали с хохотом. Одна женщина была блондинка, какая-то очень рыхлая, белая, пористая, все спрашивала: «Сколько платят за диссертацию?» Когда сидели с тетей и мамой за круглым столом и пили «хванчку», Левка вдруг быстро отяжелел. Глебов удивлялся: отчего так быстро? Его мать пила бокал за бокалом. Их лица делались все больше похожими. Сразу было видно, что мать и сын. У нее красновато сверкали маленькие птичьи глазки, и у него такие же красноватые, искрами. И уж они ругались, стучали друг на друга костяшками пальцев! Левка гремел: «А какое твое право так говорить? Кто ты такая? Ты самая обыкновенная ведьма!» И Алина Федоровна кивала с важностью: «Да, ведьма. И горжусь, что ведьма». Ее сестра соглашалась: да, ведьма, весь наш род такой, ведьминский. Быть ведьмой считалось чуть ли не заслугой. Во всяком случае, тут был некий аристократизм, на что обе женщины намекали. Мы ведьмы, а ты подонок. Глебов знал, что с Левкой Шулепой связываться нельзя. Дело непременно обернется шумом, дра-

кой или какой-нибудь чудовищной нелепостью. Так уж бывало. «Ах, я подонок? А как же, интересно, назвать тебя?» Там был какой-то Авдотьян. В полувоенном. Тоже сидел за круглым столом, пил «хванчкару». Лицо у него было набрякшее, опущенное книзу, унылое, как коровье вымя. Он бубнил: «Каждый платит сам за себя!» Эта фраза почему-то запомнилась. «Хванчкары» было бутылок восемь. Надо было бежать оттуда, но ноги не слушались, он не мог встать. «Если я ничтожество, я уйду от них,— говорил Левка Глебову.— Зачем мне ведьмы? На Лысой горе? Даже если мать, я не хочу! Я посылаю всех к черту, довольно, я ухожу!» Авдотьян его не пускал. Он ударил Авдотьяна по лицу. Они вырвались, убежали. Какая-то машина везла их глубокой ночью. Долго путались, не могли найти дом, шофер ругался и хотел выбросить среди улицы. Но все-таки доехали. Там был граммофон с трубой. О чем же говорили? Из-за чего скандал? Ах, да, вот что: он стал убеждать Глебова кинуть Соню. «Сонька хорошая, но зачем тебе это нужно? Не будь балдой!» И еще сказал: «Ты хочешь с ней дружить? Это благородно. Я тоже с ней дружу, буду дружить всю жизнь. Все ей рассказывать, обо всем советоваться... Так прекрасно — иметь женщину-друга...»

И тогда мать сказала: ты подонок.

Собственно, это было ясно и Глебову. Но Левкина жизненная мощь казалась такой неоспоримой, такой сокрушающей... Вам нужна женщина? Среди ночи? Чтобы утешала вас, ласкала, говорила нежные, трогающие душу слова — и вовсе не за деньги, а просто так, от вечно женственной щедрости,— когда вы несчастны, брошены на асфальт и родная мать прокляла вас? Никто не может утешить так, как женщина среди ночи. И та блондинка с белой пористой кожей, лепетавшая вздор, была, конечно, неправдоподобным и мистическим счастьем — вроде бутылки пива, что нашлась вдруг у никогда не потреблявшего пива Помрачинского, на которого Глебов наткнулся, выползши, полумертвый, в коридор, а пиво было куплено женой Помрачинского для мытья головы, — но даже и с той блондинкой полного забвения не было. Потому что неотлучно терзала боль: что делать в четверг?

Дело запутывалось все туже. Сторонники Ганчука — а их в институте осталось немало, среди них такие тузы, как профессор Круглов, преподаватель языкозна-

ния Симонян, еще какие-то люди, теперь уж забытые, кое-какие студенты, аспиранты — готовились к четвергу, горя желанием защитить Ганчука. Но не все могли на том собрании выступить. То было расширенное заседание Ученого совета с приглашением актива. Глебова тащили туда как заместителя председателя научного студенческого общества. Пришла бумажка в казенном синем конверте: «Ваша явка обязательна...» Вечером во вторник прибежала Марина Красникова, одна из активисток НСО, всегда крикливая, возбужденная, как бы в легком хмелю — общественный темперамент плескал в ней через край. Что с ней стало? Куда делась? Ведь казалось, толстуха прямым ходом идет в Академию наук или, может быть, в Комитет советских женщин. Исчезла без отзвука, как камень на дно...

— Тебе придется выступить от нашего общества, от НСО, потому что Лисакович болен, — тараторила Марина. — Вот тут некоторые тезисы... Лисакович диктовал по телефону...

— А что с Лисаковичем? Чем болен? — насторожился Глебов. Хитер Федя Лисакович, кажется, опередил его, вынуждает пойти. Лисакович был председателем НСО. Марина сказала, что у него фолликулярная ангина, высокая температура, но он рвется пойти. Надеется, что к четвергу станет легче. Врач категорически запретил. Глебов спросил с сомнением: какая же температура? Марина сказала, что будто бы около тридцати девяти. Тезисы были такие: Ганчук — основатель НСО. Все лучшее, что достигнуто обществом, — благодаря Ганчуку. Ошибки Ганчука характерны для большинства. Если удалять Ганчука, значит, и всех остальных. Заслуги неизмеримо больше ошибок. О статье в газете не говорить ни слова. Если же невозможно, сказать, что недостаточно конкретна и малоубедительна. Заявить твердо: должны гордиться тем, что Николай Васильевич Ганчук работает у нас.

Глебов, читая, удивлялся: а все-таки Федька Лисакович храбрец! Одно из двух: либо храбрец до безрассудства — так гнуть против Друзьева, Дороднова и прочих, — либо же что-то знает. Борьба разгоралась нешуточная. Марина сказала, что профессор-фольклорист Круглов Василий Дмитриевич, очень добрый и всеми почитаемый старик, пришел в ярость от статьи Ширейко и грозитя чуть ли не уйти из института, если травля Ганчука не прекратится. «Ну и пусть уходит, — думал

Глебов мыслями Друзьева. — Подумаешь, напугал. У нас незаменимых нет». Одна аспирантка встретила Ширейко во дворе и, когда тот поздоровался с нею, демонстративно повернулась спиной. Говорят, Ширейко покраснел и спросил громко: «Это что значит?» Она не ответила и ушла. А студенты первого курса, у которых он ведет семинар, почти целиком не явились на последнее занятие.

Марина Красникова никогда раньше не приходила к Глебову домой. Ее приход означал крайний накал страстей. Глаза Марины горели благородным сочувствием ко всем благородным людям и радостью оттого, что она тоже причастна к благородному обществу. «Ты должен поднять голос! Сказать за всех нас! Какое безобразие — студенты не могут защитить своего профессора!» Этот натиск, это сверканье глаз и грозное тыканье пальцем напомнили Глебову друзьевское: более чем обязательно. По сути, это было одно и то же, тот же террор.

Марина как будто не замечала, что в доме лежит тяжело больная, что тут медсестра с чемоданчиком, что пахнет лекарствами, что по коридору бегают молодая женщина, Клавдия, с заплаканным лицом. И, когда Глебов, поколебавшись, все же выдавил из себя: «Ты понимаешь, у меня такая сложная ситуация, больна бабушка, неизвестно, что будет через час...» — что было слабой и почти безнадежной попыткой вырваться из сетей, Марина быстро сказала: «Можешь располагать мною! Я могу подежурить час, два, целый день, сколько угодно. Но ты должен непременно пойти...»

В тот же вечер явился другой гость — Куно Иванович. Этот визит изумил вовсе. Секретарь Ганчука никогда не приходил сюда, отношения были далекие. В присутствии Глебова Куно Иванович, или Куник, как его звали Ганчуки, заражался какой-то странной нервозностью: возбуждался, острил, голос его начинал дрожать. Глебов однажды посетил Куно Ивановича на его квартире в Гнездниковском переулке. Ганчук послал за какими-то бумагами. Квартира Куно Ивановича поразила Глебова чистотой, прибранностью, совершенно не холостяцким уютом. Было множество цветов в горшках, вазончиках, они стояли на столах, подоконнике и на полочках, развешанных очень живописно повсюду. Полочки перемежались с фотографиями, репродукциями. Каждая стена являла собой вдумчивое произведение

искусства. Все было такое утонченное, музейное, немужское, сомнительное. Пока Куник собирал бумаги, Глебов сидел на пуфике и оглядывал комнату. Он увидел на стене между двумя полочками, где стояли в горшках мускулистого вида кактусы, большую фотографию Сони. Висело много и других фотографий, но Сонина была как-то со значением укрупнена. «Страдалец!» — подумал Глебов насмешливо. Он терпеливо и стойко сносил тон нервного превосходства и поучительства, какой усвоил Куник в разговорах с ним, подчеркивая свое старшинство. А Глебов в его присутствии был абсолютно спокоен.

И даже тогда, во вторник вечером, увидев щуплую фигуру человечка в длинном пальто с косенькой, набор и книзу гнутой головой, Глебов, хоть и изумился, остался спокоен.

Куник не сказал ни «здравствуйте!», ни «добрый вечер», сразу заговорил так, будто между ними продолжался прерванный только что разговор.

— Мое первое условие, — сказал он, переступая порог, — чтобы обо всем этом не узнал Николай Васильевич.

Какое условие? Что за бред? Глебов сделал жест, приглашая загадочного человека следовать за ним по коридору. И опять навстречу попала Клавдия.

— Бабушка спрашивает, ты дома?

— Ты же видишь.

— За весь день не зашел ни разу. Она волнуется, не случилось ли...

— У нас бабушка болеет, — объяснил Глебов Кунику. Тот как будто не слышал, продолжал о своем:

— Потому что, если узнает, он меня растерзает. С его самолюбием. Надеюсь, вы поняли этот характер: самолюбив, вспыльчив, наивен и беспомощен, все вместе... — Они вошли в комнату Глебова, и Куник, не раздеваясь, не снимая шапки и не глядя ни на что вокруг, с видом сомнамбулы опустился на первое, что было ближе — кровать Глебова. Бухнулся прямо в пальто. — За других будет сражаться, как лев, куда угодно пойдет, с кем угодно схватится. Так бился за этого ничтожного Аструга... Но защитить себя абсолютно не в силах. Пальцем о палец не ударит. Тут должны действовать мы, его друзья...

«Что же мы можем, несчастные лилипуты?» — думал Глебов.

— Я настаивал: «Вы должны ответить Ширейко немедленно! Письмо в редакцию. Очень резкое. Подлость нельзя оставлять безнаказанной.». Он сказал: и не подумает. Привел слова Пушкина: «Если кто-то плюнул сзади на мой фрак, дело моего лакея — смыть плевков».

— Пожалуйста, можно выступить в роли лакея,— сказал Глебов. — Я не против. Но как практически?

— Не в роли лакея, а в роли друга я вас призываю выступить! В роли честного человека! То, что он цитировал Пушкина, говорит лишь о том, как он ничего не понимает в происходящем. Ему кажется, что плюнули сзади на фрак. А тут вышли с рогатиной и хотят пропороть пузо. Вот ведь что происходит. Кончатъ его хотят.

— Куно Иванович, что вы предлагаете? Как можем мы действовать?

— Как действовать!.. Как действовать!.. — бормотал Куник, движением плеч сбрасывая пальто с черным собачьим воротником, которое свалилось на постель, а один рукав упал на подушку.— Я уже действую. Написал в редакцию восемь страниц на машинке. Подписали шесть человек. И теперь пишу в инстанции. Это письмо никого не прошу подписывать, оно крайне злое, не хочу подвергать людей испытанию. А мне терять нечего, я не боюсь. Что же касается вас, дорогой Дима Глебов...— Одно мгновение он как бы с сомнением и изучающе сверлил Глебова взглядом, двигая рыжеватой бровкой. Выглядело немного комично.— Вы извините, можно ли вас считать истинным другом Николая Васильевича?

— То есть? Почему же нет?

— Вы извините, но я хочу получить ответ. Вы уж ответьте, пожалуйста.

— Ну, разумеется.

— Так, разумеется. Хорошо. Тогда отчего вы себя так странно ведете?

— Простите, не понимаю.

— Почему не возражаете против использования себя во всей этой гнусной кампании?

Тут Глебов вовсе оторопел. В каком использовании? Да читал ли он, Глебов, статью Ширейко, которого Куник, кстати, хорошо знает по пединституту? Глебов читал. Но читал-то бегло, прыгая через строчки, как читают отвратительное, желая поскорей бросить. Там есть, оказывается, вот что: «Не случайно иные студенты-пятикурсники решили отказаться от услуг профессо-

ра как руководителя дипломной работы». Куно Иванович выяснил: таких отказавшихся был всего один человек. Он даже не поленился съездить на факультет и посмотреть своими глазами заявление товарища Глебова, будущего аспиранта. Когда ему назвали фамилию Глебова по телефону, он ушам своим не поверил. Но вот поехал и убедился. Какая-то фантастика.

— Да вы знаете ли, в чем дело? — крикнул Глебов.— Вы же ничего не знаете. Вам неизвестна подоплека!

— Я знаю, знаю! — Тот замахал поспешно и с брезгливым выражением руками, будто боясь услышать неприятное.— Если и не знаю, то догадываюсь. Но подоплека меня не интересует. Важен факт: вас использовали, а вы молчите... Вы же молчите, Дима! Почему вы молчите? Как вы можете молчать, приходите в дом, разговаривать с Николаем Васильевичем, с другими... Согласитесь, это как-то несколько, ну, что ли, невысоко с точки зрения морали...

Глебов глядел на своего гостя-мучителя исподлобья. Сердце его колотилось. То ему хотелось крикнуть: «А лезть к перепуганной девчонке под одеяло во время грозы — это как с точки зрения морали?» — то его прожигало чувство стыда и он готов был все сделать, на все пойти, лишь бы исправить то, что случилось. Но смог лишь пролепетать:

— Я же действительно не видел той фразы...

— Как будто дело во фразе! Да если на ваших глазах, — гремел Куник,—нападают на человека и грабят посреди улицы, а у вас, прохожего, просят платочек, чтоб заткнуть жертве рот...

— Да замолчите вы! — взмолился Глебов. — Говорите тише, за стенкой больная.

— Нет уж, вы послушайте! Кто вы такой, спрашивается? Случайный свидетель или соучастник? Ну хорошо, оставим, есть причины, есть подоплека... Допустим, предположим... Но теперь-то что делать? Как дальше-то жить? По-прежнему будете выжидать? Времени не остается. В четверг будет ваша казнь, Дима. Я уж вижу, у вас сил не хватит, чтобы встать и сказать: «Неправда!» Значит, казнь... Так тому и быть... Иногда и молчание собственное казнит.

А у Глебова выплеснулось:

— Неправда! Выступлю в четверг, скажу!

Рыжевато-блеклый человек поднялся с постели, на-

бросил на плечи длинное пальто. Косенькую головку вскинул, посмотрел пристально, сощуриваясь и, хоть ниже ростом, как бы свысока. Ничего не сказал, не попрощался, пошел своим порхающим, лунатическим ходом-летом по коридору, вылетел за дверь, Глебов затворил, вдруг тот опять стучит.

— Дима, дорогой, об одном умоляю...— зашептал, клоня в испуге бледное лицо еще сильнее вбок,— поспешите, как хотите, но старику ни о чем ни слова! Обещаете? Да? Ни о моих письмах, ни о нашем разговоре. Немыслимо ему знать!

И так приближалось неотвратно то распутье, пыточное, перед которым стоял и ног под собой не чуял в изнеможении — вот-вот упасть... Куда было деться? Несло куда-то. Хотя и стоял будто бы без движения, а несло. Только сам еще не знал, куда. Отмелькал еще день, такой же белый, крутящийся, хлопотный, с бегом в аптеку, с разговорами совсем не о том. Клавдия опять ругалась с матерью и плакала на кухне. Очень она любила бабу Нилу. И Глебов любил.

Кого же было любить, как не бабу Нилу?

Сидел возле, держал в руке легкую, как ветошь, снизу старушью руку и что-то гудел, рассказывал — она просила, как маленькая, — а в голове, будто колокол: там коня потеряешь, здесь жену, а тут и жизнь саму. В институт звали на какое-то собеседование с первокурсниками. Да все было ясно. Чего ходить? Не пошел. Потом Афоничева звонила, секретарь деканата: «Глебов, помните, что завтра в двенадцать?» Голос быстрый, напористый: поскорей обзвонить двадцать человек, отбарабанить по списку. «Помню». — «Приходите без опозданий». — «Приду».

Старался рассуждать спокойно: ну хорошо, четыре варианта, их и продумать. Вариант первый: прийти и выступить в защиту. Ну, не напрямую, скажем, с оговорками, указать на некоторые недостатки, но, в общем, защитить, хотя бы в той форме, как предлагал Куник: растолковать фразу из статьи Ширейко и объяснить провокационный смысл. Что этот вариант даст? Озлобление администрации. Прости-прощай, стипендия Грибоедова, аспирантура и все прочее. Ведь это значит неожиданно повернуть фронт. Они не простят. О, никогда, никогда. Сочтут предательством. Мечь будет страшная, скорая. А так как у Дороднова сейчас вся власть в руках, директор месяцами отсутствует — то

где-то в Корею, то в Китае, то в больнице, он делает все по-своему. Он хочет с Ганчуком расквитаться. Каков же выигрыш от этого варианта? Благодарность Ганчука и всего ганчуковского семейства. Еще более безмерная любовь Сони. Кое-кто, вроде Марины Красниковой, будет трясти ему руку в течение полуминуты и говорить о том, какой он молодец, как здорово выступил, а Куник скажет, ухмыляясь: «Вы меня удивили! Я рад за вас!» Вот и все. Затем мелким клерком неизвестно где. По субботам, нагрузившись, как мул, тащиться электричкой в Брусково. Проигрыш сокрушительный, выигрыш слабоват. Вариант второй: прийти и выступить с критикой Ганчука. То есть, проще говоря, напасть на него в хвосте всей своры. Разумеется, вовсе не агрессивно, не грубо, даже тепло, сочувственно, с громадным сожалением о том, что приходится констатировать, с призывом проявить чуткость и помнить о заслугах, но... В духе, как просили. Что-нибудь насчет переверзевщины или раповщины, это, собственно, все равно. Про бюстики вскользь. А можно без бюстиков. Можно всего два, три мягко-сожалительных слова. Главное, промолчать о той фразочке ширейкинской, будто ее не было никогда, нигде. А ведь если, положи руку на сердце, совсем искренне: так ли уж Николай Васильевич как ученый, как наставник со всех сторон совершенен? Неужто нет ни грамма справедливости в тех ядрах, что обрушились на эту крепость? Признаемся перед собой секретно: есть, есть.. Книжки-то скучны. Ни одну нельзя дочитать до конца. Невыносимая скучища, если честно! Так писали двадцать лет назад, а теперь нужно что-то иное. Вульгарный социологизм сидит в нем неискоренимо как наследственная болезнь. Но об этом молчок! Это только так, по секрету. Откровения перед собственной совестью. И насчет того, что властвовал на факультете, тоже не такая уж ложь. Преподаватели назначались с его санкции. В аспирантуру попасть — только через его «добро». И не такой уж он «не от мира сего», как думают, он наблюдателен, разборчив, к людям присматривается и вовсе не эталон беспристрастия, наоборот, пристрастен, одних любит, других ненавидит, и порой трудно понять, почему. Его вкусы кажутся старомодными, его пристрастия коренятся в прошлом, в десятилетиях бунтов, борьбы, схваток. Есть химеры, химеричность которых давно очевидна для многих, но он не может от них отпасть,

как голодное дитя от сосцов. И есть явления последних лет — то, что возникло в мире перед войной и сразу после войны,— которые он не в силах вместить в сознание. А Дороднов в силах? Но ведь Николай Васильевич честнейший, порядочнейший человек, вот же в чем суть! И напасть на него — значит, напасть как бы на само знамя порядочности. Потому что всем ясно, что Дороднов — одно, а Никвас Ганчук — другое. Иногда малосведущие спрашивают: в чем, собственно, разница? Они просто временно поменялись местами. Оба размахивают шашками. Только один уже слегка притомился, а другому недавно дали шашку в руку. Поэтому, если напасть на одного, это вроде бы напасть и на другого, на всех размахивающих шашками. Но это не так. Все же они делают разные движения, как пловцы в реке: один гребет под себя, другой разводит руки в стороны. Ах, боже мой, да ведь разницы действительно нет! Плывут-то в одной реке, в одном направлении. Тут просто вот что: навсегда расстаться с Соней. С ее любовью. А ведь это такая невозвратимость, такой горький отлом души: лишиться любви к себе хотя бы одного человека... И не только, не только! Тут будет со всех сторон: и проклятие, и держание рук за спиной, чтобы, не дай бог, не оскверниться рукопожатием. Потом кто-нибудь пришлет телеграмму: «Поздравляем с высокой наградой — тридцатью серебряниками имени Грибоедова». На все это можно наплевать. Потому что он получит вдруг такое ускорение, что отлетит далеко-далеко, те исчезнут с его горизонта, сгинут навеки со своими улыбочками, презрением, своими прекрасными шорами на глазах. Не видеть того, что все уже решено с Ганчуком! Спасать его — все равно что грести против течения в потоке, в котором несутся все. Выбьешься из сил, и выбросит волною на камни. Неужели один страх — оказаться вдруг на камнях, в крови, с переломанной ключицей? Тогда не догадывался о страхе. Ведь страх — неуловимейшая и самая тайная для человеческого самосознания пружина. Стальные пальцы едва ощутимо подталкивали, и был готов, окончательно и прочно готов, но какая-то сила невидимая перегораживала путь. Соня, что ли? Которую он не любил? И лучше которой не было в его жизни? Нет, не Соня, а то, что было в Соне: ее тепло, добро... Вот это Сонино, сушее в ней легло преградой, и переступить невозможно.

Тогда, если невозможны оба варианта, остается третий. Прийти и не выступить, отмолчаться. Этим не угодишь никому. Возненавидят те и другие. Отпадает решительно! Тогда четвертый. И это уж последний, больше нет ничего. Не прийти вовсе. Но как? Они предупредили: более чем обязательно. Значит, причина должна быть роковая, космическая. Например, идя на заседание и пересекая площадь, попасть под машину. Наброситься на уличную собаку, чтоб та укусила, чтоб немедленно отправили делать укол. Мало ли что! Все это глупости. Вот если б сердечный приступ и потеря сознания, которые случились два дня назад, произошли бы теперь. Но Друзяев, как работник юстиции, наверняка бы устроил дознание и выяснил, что причина — алкогольное отравление. Нет, не прийти невозможно. Но и прийти нельзя. Все невозможно и все нельзя. Пат. Ни одна фигура не может ходить.

Примерно об этом, только обрывисто, кратко, усталым голосом, с паузами, впадая вдруг в задумчивость, он рассказал бабе Ниле. Она просила, чтобы он что-нибудь рассказал о своих делах.

— Люблю слушать о ваших делах.

Она сама никогда в жизни не работала. То есть работала всю жизнь, но дома, в семье. И она, конечно, ничего в этом не понимала. Но он рассказывал, надо было о чем-то, а в голове только это одно.

Баба Нила вдруг сама пускалась рассказывать о том, что вспоминалось давеча. А вспоминалось ей подробно, хорошо. И все про далекое. Сказать страшно, про какую даль — лет семьдесят назад. Вот как дедушка Николай, глебовский прапрадед, возил ее летом в деревню. Он был купец, жили на Варварке, возле Соляного двора — до революции тот дом продали, переехали на Шипок, в Замоскворечье, — но, в деревне, в Веневском уезде, был дом, который дед Николай построил для тещи, потому что та не хотела переезжать в Москву. И вот бабе Ниле девочкой очень нравилось ездить летом в деревню. Деда Николая там не любили. Звали его Сухой. Но бабе Ниле он казался добрым. В дорогу ей всегда давали «рогожный кулек», из чистенькой желтой рогожки, где были конфеты дешевые, пряники-жамки и орехи. Называлось все вместе «ералаш». Так и просили в лавке: «Два кулька с ералашем!» А уж девчонки деревенские ждут-пождут, и только возок во двор — они тут же. И баба Нила ну их

одаривать: тебе орехи, тебе конфету, тебе жамку медовую. А постный сахар любила прабабка, старуха, которой дед Николай избу построил — она в той избе все равно не жила, потому что построена была, как городской дом, сени не сени, а целая зала, и мебель городская, так что прабабка жила у другой дочери в простой избе, а тот дом пустовал, пока не наезжали из города. И вот дед спросит: «Что вам, мамаша, из Москвы привезти?» — «А постного сахарку, Николай Ефимович, если по силе-возможности!» Ну, конечно, на великий пост посылали с оказией. А летом лотка два непременно везут — его лотками продавали в магазине Зайцева. Лотки такие небольшие, вроде неглубоких ящичков, лежало там в два слоя, разных цветов: лимонный, малиновый, яблочный, сливовый, каких только угодно. И посерединке между сахаром цыбик чаю...

Так рассказывали друг другу — Глебов бабе Ниле, она ему, — и всем казалось, что старушке полегчало. Она даже совет дала:

— Дима, я тебе что скажу? — Смотрела на него с жалостью, со слезами в глазах, будто ему умирать, а не ей. — Ты не томи себя, не огорчай сердца. Коли все равно ничего нельзя, тогда не думай... Как оно выйдет само, так и правильно...

И, странно, он заснул поздно ночью, ни о чем не думая, в спокойствии. В шесть утра проснулся от низкого голоса, то ли от чего-то другого, внезапно и услышал:

— Нет нашей бабы Нилы...

Клавдия стояла в дверях черная, без лица, на фоне освещенного коридора. Голос, низкий, показавшийся мужским, был ее. За стенкой тихонько, боясь соседей потревожить, рыдала тетя Поля. Рыдание было причудливое, будто курица квохтала, которую душат. Вошел отец, что-то насчет врача, справки, куда-то поехать. Так начался четверг. И никуда в этот день Глебову не пришлось идти.

Я пришел в дом на набережной спустя три года, в сентябре сорок первого. Занятия в школе не начинались. Стояли звездные прохладные ночи. Мы жили ночной жизнью, и мне запомнились ночи. Днем была мотня: то мы в речном порту, то на дровяном складе, то разносили повестки по поручению военкомата, а в свободное время учились, как обращаться с гидропульт-

том, раскатывать рукав и открывать крышку уличного водопровода. Все-таки как-никак мы были пожарники. Хотя какие уж там! Помогали кому придется. В речном порту разгружали баржи с ящиками снарядов, а на деревянном складе освобождали товарняки от дров. Все делалось в спешке, мы не складывали дрова, а швыряли их с платформ как попало, громоздя кучами. Надо было как можно скорее очистить путь. Это я помню — дикую спешку. И помню, как я надрывался, стараясь поднимать самые громадные чурбаки. Но настоящая наша жизнь начиналась ночью, после того как радио голосом Левитана объявляло тревогу. Ну да, мы дежурили, торчали на чердаках, бегали по крышам в поисках какой-нибудь чумовой зажигалки, чтобы героически схватить ее длинными клещами и сбросить вниз, но главное, мы дышали смертной прохладой этих ночей.

Они были такие светлые, пепельные. Полыхали зарницами, закладывали уши гулом. И этот запах порохового дыма над московскими крышами, дробь осколков по железу и печальная гарь — где-то за Серпуховской — пожаров...

Казарма нашей пожарной роты — полное название было что-то вроде «Комсомольско-молодежная рота противопожарной охраны Ленинского района» — помещалась на Якиманке, за мостом. Дом на набережной не входил в наш участок. Но однажды мы там очутились. Не могу вспомнить, что мы там делали и зачем нас туда погнали. Помню, на крыше встретил Антона с тремя парнями, а потом бегали на квартиру к Соне Ганчук, и там был Вадька Батон, который на другой день уезжал из Москвы. Он прибежал туда вроде как бы прощаться. Их эшелон уходил на рассвете. А на вокзал они собирались среди ночи, потому что посадка невозможно тяжелая. Я провожал тетку и знал, что там делается. Батон здорово вырос, говорил басом, и у него появились маленькие черные усики. Было, кажется, так: он прибежал к Соне не только прощаться, но и за каким-то баулом, который она ему обещала. Помню, он стоял посреди кухни и, стоя, пил чай из чашки, а Соня чистила щеткой баул, необыкновенно пыльный, и вдруг погас свет, стали искать свечку или фонарь, в это время объявили тревогу. Второй раз за ту ночь.

Когда вскоре свет зажегся, я увидел: Сонино лицо в слезах и улыбается. Соня к тому времени почти совсем исчезла из моей памяти, и на Вадьку Батона я

смотрел равнодушно. Все это было далеким, перемученным детством.

Еще помню из той ночи: у Антона на поясе болтался огромный кавказский кинжал. Мы стояли с Антоном на крыше возле металлической, из тонких прутьев оградки и смотрели на черный ночной город. Ни проблеска, ни огонька внизу, все непроглядно и глухо, только две розовые шевелящиеся раны в этой черноте — пожары в Замоскворечье. Город был бесконечно велик. Трудно защищать безмерность. И еще река, ее не скроешь. Она светилась, отражая звезды, ее изгибы обозначали районы. Мы думали о городе с болью, как о живом существе, которое нуждалось в помощи. Но как мы могли помочь? Была минута оцепенения и тишины. Мы стояли на краю невидимой бездны и смотрели в небо, где все переливчато дрожало и напрягалось в ожидании перемены судьбы: звезды, облака, аэростаты, косо и беззвучно падающие белые лезвия прожекторов, без усталости разрубающие это утлое мироздание. И тогда Антон пробормотал фразу, поразившую меня:

— Знаешь, кого жалко? наших мамаш...

Это значило, нас, прежних, уже не существовало. Тут был насильственный слом. Время, как и небеса, лопнуло с оглушительным треском.

Потом, помню, стояли мы на площадке, ожидая лифта, чтобы отправить вниз больную Сонину мать. Батон успел мне сказать, что я молодец, вовремя из этого дома смылся. Немцы по нему так и лупят. Все бомбы рядом: на мосту, на Кадашевке. Он как бы отдавал должное моей особой хитрости или удачливости, не знаю уж чему, во всяком случае, я почуял ехидство. Но не стал ему отвечать, потому что был к нему совершенно равнодушен. На всех этажах хлопали двери. Кругом были шум, переклички, топот ног по ступенькам, лестница содрогалась. Все прислушивались к тому, что происходит в небе. Пока что было тихо. Антон сказал:

— Может, какая-нибудь одинокая сволочь?

Из квартиры напротив вышел мужчина в пальто, наброшенном на ночную сорочку, и вслед за ним женщина, державшая на руках большую толстую девочку с длинными ногами. Издали донеслось буханье зениток. Женщина сказала, ни к кому не обращаясь:

— Всю бы немчурку из дома к чертовой матери... — Тут она посмотрела на мужа и спросила:— Правда, Коль? Когда открылась дверь лифта и мать Сони сделала

движение войти в кабину, женщина довольно ловко оттолкнула ее ногами девочки, сказав:

— Нет уж, обождете, — вошла в кабину первая, затем вошли ее муж и еще кто-то. Лифт уехал. Профессор Ганчук спросил:

— Кто это такие?

Соня сказала, что новые соседи. И добавила неуверенно:

— Люди неплохие, но какие-то странные...

Мы с Антоном скрестили руки «стульчиком», посадили на них Сонину мать и снесли ее вниз, в подвал. Надо было возвращаться на Якиманку. Зенитки били все ближе и громче. Когда я выбежал во двор, громовая стрельба шла отовсюду и в промежутках между залпами было отчетливо слышно, как осколки зенитных снарядов с силою вляпывались в асфальт. Так, в беготне, в грохоте, я прощался с ними со всеми, а может быть, не успел попрощаться...

Нет, была еще одна встреча, еще одна! Последний раз я встретил Антона в конце октября на Полянке в булочной. Наступила внезапная зима, с морозом, снегом, но Антон был, конечно, без шапки и без пальто. Он сказал, что через два дня эвакуируется с матерью на Урал, и советовался, что с собой взять: дневники, научно-фантастический роман или альбомы с рисунками? У его матери были больные руки. Тащить тяжелое мог он один. Его заботы казались мне пустяками. О каких альбомах, каких романах можно было думать, когда немцы на пороге Москвы? Антон рисовал и писал каждый день. Из кармана его курточки торчала согнутая вдвое общая тетрадка. Он сказал: «Я и эту встречу в булочной запишу. И весь наш разговор. Потому что все важно для истории».

Спустя много лет я пришел к матери Антона — она единственная продолжала жить в доме на набережной, в той же квартирке на первом этаже, — и она дала мне шесть тетрадей Антоновых дневников. Это были дневники последнего предвоенного года, они почему-то остались в московской квартире и оттого сохранились. Все остальные сочинения Антона Овчинникова, его альбомы и научные труды погибли в реке Исеть, когда баркас перевернулся и Антон с матерью сами едва спаслись.

Вот что Глебов старался не помнить: того, что сказал ему Куно Иванович, когда по нелепой случайности

столкнулись на аллейке Рождественского бульвара. И как вел себя Глебов, услышав то, что ему сказали. Совсем другие времена, лет восемь спустя, но тоже отчего-то нервность, взвинченность, то ли накануне докторской, то ли было в пору, когда он переходил оттуда сюда, и тут эта встреча на Рождественском. Зима! Ну конечно, глубокая зима. Аллейка желтела песком, а рядом сугробы снега. Кто-то упал в снег. Глебов шел не один. В том-то и дело, что было сказано при людях, и у Глебова помутилось сознание. Если бы не спутники, которые оттащили его, все кончилось бы совсем скверно. Потому что он не соображал, что делает. Он хотел чуть ли не задушить этого человека, повалил его наземь, стискивал горло. Всю жизнь старался об этом забыть, и почти удалось, почти забылось — он, например, уже не помнил, какие именно слова сказал тот человек, — и сохранилось лишь в виде слабого сжатия посередине груди, как от давно миновавшего ужаса. Когда возникало воспоминание о том человечке, крайне редко и необъяснимо отчего, все ограничивалось ощущением сжатия посередине груди.

Еще он старался не помнить лица Юлии Михайловны, когда та прошла мимо по коридору, возвращаясь из кабинета Друзьева, девушка вела ее под руку, Глебов на секунду смешался, не зная, как поступить, кивнуть ли, что-нибудь сказать или поклониться молча, и от растерянности окаменел, и она тоже застыла лицом, проходя. Вот это застывшее лицо он сильно старался забыть, потому что память — сеть, которую не следует чересчур напрягать, чтобы удерживать тяжелые грузы. Пусть все чугунное прорывает сеть и уходит, летит. Иначе жить в постоянном напряжении. Застывшее, бескровное лицо забывалось ненадолго, но вдруг появлялось, когда он что-нибудь узнавал: например, о ее смерти. Она умерла скоро, он еще учился в аспирантуре. Но ведь она была тяжелой сердечницей. Непонятно, зачем так билась за то, чтобы вернуться к работе. Ей нельзя было работать ни в коем случае. Ни работать, ни судиться, ни рядиться, ни мстить, ничего, кроме тихой жизни в Брускове среди клумб и грядок, но она не могла, да и Брусково исчезло. Она себя погубила. Как все это было в подробностях, он не знал, но вдруг появлялось лицо. И все остальное, что он старался забыть. Например, то, что сказал Ганчук на редколлегии, когда они встретились на одном обсуждении.

Ничего оскорбительного сказано не было. Того, что имелось в виду, не понял никто. И старик был неузнаваемо плох, что-то случилось с правой стороной лица, отчего он не очень вразумительно говорил, слушали его без достаточного внимания. Хотя он повсюду восстановился и главный его враг Дороднов был сокрушен и сгинул в безвестности — этой борьбой заполнились последние годы, — но что-то важное было непоправимо упущено. Слушать старика, упустившего важное, было не так уж интересно. Никто, кроме Глебова, не прислушивался к его бормотанию. Но он уловил в речи старика язвительность. Задело и удивило: оказывается, эти дряблые мускулы еще способны сжиматься! Все это следовало забыть. Так же, как и тот сентябрьский день в Риге, в кафе на открытом воздухе, недалеко от центрального универмага, когда он увидел за соседним столиком Сою. А это были уж совсем иные времена, и даже не те, что наступили потом, а совсем, совсем иные времена, и он бы мог думать, что его не узнают, и все то, что доносилось к нему из прошлого, что еще недавно томило и мучило, теперь не вызывало никаких чувств, отшелушилось, отпало. Когда-то узнал, что Сою отвезли в больницу за городом, этого следовало ждать, все-таки у нее плохая наследственность: мать Юлии Михайловны кончила в доме для душевнобольных и сама Юлия Михайловна была, конечно, не очень здорова. И кто-то из навещавших Сою рассказывал, что ее болезнь выражалась в том, что она боялась света и все время хотела быть в темноте. Ничего другого как будто не было. Только вот этот страх перед светом и желание темноты. Потом она как будто поправилась. Он знал неточно. Не было никаких людей между ним и ею, все остались в тех временах. И вот эта встреча в Риге, он жил на взморье, приехал на один день, Марина таскала по магазинам, вдруг за соседним столиком Сося. Рядом с нею сидела странного вида, высокая носатая женщина в очках, в неряшливом туристском одеянии, в брюках и в кедах. Сося смотрела на Глебова, он оттого и повернулся, что почувствовал взгляд. И как-то сразу, непроизвольно сделал движение к ней и что-то сказал: «Сося!» или «здравствуй!», или «это ты?». Что-то обрадованное, горячее, в одну секунду его как окатило водой. Она постарела, отяжелела, волосы были наполовину седые, но осталась способность мгновенно белеть лицом, и вот так, побелев лицом, она смотрела

с испугом, потом носатая женщина взяла ее под руку, подняла из-за стола и они ушли. Запомнилось: у женщины были кеды огромного размера. Марина спросила: «Ты знаешь этих женщин? Кто они?». Он сказал, что московские знакомые, но, кто именно, он не помнит.

Все было, может, не совсем так, потому что он старался не помнить. То, что не помнилось, переставало существовать. Этого не было никогда. Никогда не было второго собрания, многолюдного, в марте, когда уже не имело смысла самоугрызаться, все равно надо было прийти и если не выступить самому, то хотя бы послушать других. Кажется, он там что-то сказал. Что-то очень короткое, малосущественное. Совершенно из памяти вон: что же? Не имело значения. С Ганчуком все было решено и подписано. В областной педвуз, на укрепление периферийных кадров. Были какие-то возражения, кто-то кликушествовал, неинтересно, забыто — не было никогда. В самом деле, а было ли? Но вот что безусловно: кондитерская на улице Горького. Это запомнилось на всю жизнь. Это было. А все остальное, крики, волнения, пять часов говорильни с паузами для перекура, пьяная болтовня Левки, именины Ширейко — казалось, он выбивается в первые ряды, в лидеры большого калибра, но почему-то теми митингами ограничилось, дальше он не проехал, — все шумное, непонятное, вздорное, что творилось вокруг Ганчука, с топотом ног и выкручиванием рук, со слезами инфарктами, ликованием, исчезло, как болотное наваждение. Ну, не было, не было ничего. Он брел по улице с мутной и тяжелой башкой, рядом был Левка, которого вконец развезло. Там он еще держался, а на трибуне выглядел совсем молодцом. Левка бормотал: «Скоты мы, сволочи...» Надо было тянуть его домой, он мог упасть. Вот тогда начиналась его пагуба. Несколько лет спустя, когда его жизнь перевернулась, второй его «бать», похожий на усатого запорожца, оказался не у дел, дом рухнул, машина исчезла, мать чудом уцепилась за что-то, оставшись в одиночестве, а Левка превратился в мелкого футбольного администратора, ездил с командой из города в город, добывал гостиницу, бутсы, мячи, «левые» игры и пьянствовал, за что вскоре был изгнан отовсюду, и потом занимался неизвестно чем, и, когда милиция подбирала его где-нибудь на улице, он иногда говорил, что его фамилия Глебов, и называл глебовский адрес. Наверно, называл и другие адреса. К Глебову его при-

возили раза два. Но и это было уже очень давно, лет четырнадцать назад. А потом волны сомкнулись над ним, и Глебов ничего не слышал о нем вплоть до теперешнего внезапного появления в мебельном магазине, когда уже сил нет ни на какие сантименты, ни на что, кроме сути дела.

Но тогда, после собрания, до потопа, когда петляли и кружили Москвой, ни о чем еще не догадывались: Левка не знал, что скоро он полетит, кувыркаясь, как пустые салазки с ледяной горы, а Глебов не знал, что настанет время, когда он будет стараться не помнить всего, происходившего с ним в те минуты, и, стало быть, не знал, что живет жизнью, которой не было. И вдруг за стеклом кондитерской на улице Горького, вблизи Пушкинской, Глебов увидел Ганчука. Тот стоял у высокого столика, за которым пьют кофе, и с жадностью ел пирожное «наполеон», держа его всеми пятью пальцами в бумажке. Мясистое, в розовых складках лицо выражало наслаждение, оно двигалось, дергалось, как хорошо натянутая маска, вибрировало всей кожей от челюсти до бровей. Была такая поглощенность сладостью крема и тонких, хрустящих перепоночек, что Ганчук не заметил ни Глебова, который замер перед стеклом и секунду остолбенело глядел на Ганчука в упор, ни качавшегося рядом с ним Шулепникова. А ведь полчаса назад этого человека убивали. Глебов потом часто рассказывал историю с кондитерской. Да, мол, было, что говорить. Много всякого. И то, и это, и пятое, и десятое, о чем лучше не вспоминать. А все-таки стоял и ел «наполеон» с громаднейшим аппетитом!

И вот еще что отпечаталось в оттенках, в подробностях, с переливами. Тот первый после похорон бабушки приход к Ганчукам, после Ученого совета, на котором довелось не быть, но до второго, мартовского собрания. Одна из тех благоглупостей, на которые он способен. Ведь внутри себя он все уже разрешил. Благоглупость заключалась в том, что его тянуло хотя бы косвенно, отдаленно, скрытно получить разрешение Сони. То есть он мечтал, чтобы она сказала: «Да, ты прав, милый, ты должен оставить меня. Так лучше для меня, для тебя, для папы, для науки, для всего и для всех». Разумеется, она этого сказать не могла. Но пусть хотя бы увидит и разделит его страдания, поймет, что выхода не было. Почему-то был убежден, что поймет. Ведь это было ее главное достоинство — все понимать.

Дверь отворила Юлия Михайловна. Глебов почувствовал, что мать Сони мгновенно и неуловимо шатнулась, увидев его, и чуть помедлила со словами: «А, здравствуйте. Проходите...» Он вошел. Все было неузнаваемо. Юлия Михайловна быстрым, небрежным жестом показала на вешалку: «Можете повесить тут». Как будто он в доме первый раз. Просто сразу дали понять, что того дома больше не существует. «Соня скоро придет. Подождите, пожалуйста, в столовой». Таким же небрежным жестом было указано, где сидеть — на диванчике рядом с пианино. Он сел на диванчик. Юлия Михайловна вышла. Он сидел один и был довольно спокоен, хотя испытывал некоторый дискомфорт и предчувствие болезненных ощущений, как в приемной зубного врача. Но прийти сюда было нужно, расстаться с большим зубом необходимо, поэтому готов был терпеть. Его озадачивало вот что: почему Юлия Михайловна так отчетливо холодна? Это непонятно. Ведь дело происходило до мартовского собрания. Не могла же она прочитать в его мыслях то, что им решено пока лишь для себя. И он намерился, как только Юлия Михайловна войдет, спросить с искренним удивлением: что случилось? Отчего она как будто сердится на него за что-то?

Юлия Михайловна не приходила. Соня не возвращалась. Он слышал, как Юлия Михайловна бежит быстрыми шажками по коридору, разговаривает с Васеной, потом стукнула дверь кабинета, послышалось гудение голоса Ганчука, Юлия Михайловна сказала громко: «Это не то, что я хочу!» — на это Ганчук ответил неразборчивой фразой, затем все смолкло. В столовую не заходил никто. Открылась бесшумно дверь, появился черный кот Маврикий и, не взглянув на Глебова, пройдя мимо него, как мимо стула, прошествовал через столовую в Сонину комнату. Глебов сидел на диванчике уже полчаса. Начал нервничать. Что, в самом деле, за обращение? На каком основании? Ведь нет никаких оснований. То, что он не пришел на Ученый совет, имело уважительную причину. Более чем! Смерть близкого человека поважнее неприятностей по службе. Постепенно все более настраиваясь против Юлии Михайловны — в ней всегда чувствовалась какая-то спесивость, эгоистичность, неприятная женщина — и заодно против Ганчука, который так ей во всем поддавался, Глебов впервые с тайным злорадством подумал, что, в общем-то, неплохо, что этих людей поприжали. Нель-

зя на все смотреть со своей колокольни. И не случайно у них так мало защитников. Когда Юлия Михайловна вдруг вошла, неся — не чай, не вазу с печеньем и даже не пепельницу — настольную лампу, Глебов произнес с некоторым вызовом:

— Вы на меня как будто сердиты, Юлия Михайловна?

Юлия Михайловна странно хмыкнула, но не ответила сразу. Она устанавливала лампу в углу комнаты на журнальном столике. Установила, зажгла.

— Да, представьте себе, сердита.

— За что же, Юлия Михайловна?

— Этого быстро не объяснишь. У нас нет времени для разговора. Сейчас придет Сонечка. Здесь как-то темно, не правда ли? Надо зажигать свет. «Mehr Licht», — как сказал Гете перед смертью.

Она зажгла люстру и вышла. Было часа четыре дня, не так уж темно. Вдруг Юлия Михайловна вернулась, плотно заперла за собой дверь, глаза ее блестели, движения были поспешные. Она села на стул напротив диванчика и, глядя блестящими глазами прямо в глаза Глебова, заговорила тихо и быстро:

— Я все-таки попробую объяснить, пока нет Сонечки. Говорю тихо, чтобы не слышал Николай Васильевич... Я не хотела такого разговора, но вы спросили... Понимаете, что я думаю о вас? Я вас ненавижу. Да, да, не делайте такие большие, удивленные глаза...

Тут она понесла несусветное. Что-то о том, как трудно понять человека, но наступает минута, почему-то она говорила «ночная минута», и человек открывается. Что-то о своей матери, которая была ясновидящей и умела предсказывать будущее. Он помнит, что вдруг испугался: а если она тоже ясновидящая и прочитала его намерения? Вот и объяснение холода. Но она, словно отвечая на его мысли, сказала, что лишена такого дара и не знает, как сложатся его отношения с Соней, не хочет вмешиваться, однако ей кажется... Она думает с тревогой... Проклинает тот день... Что это была за галиматья, что за сплав озлобления, нелепицы и безумия! Конечно, эта женщина была больна. Соня рассказывала, что, когда у матери повышалось давление и близился приступ стенокардии, с ее психикой творилось неладное. Ему хотелось уйти, и он вскочил со словами:

— Я принесу вам воды!

Но она, схватив его за руку, не пустила. Ее цепкие пальцы стискивали с неожиданной силой, он похолодел:

показалось, что такая сила может быть только у сумасшедшей. Но Юлия Михайловна не была сумасшедшей, она просто неизвестно почему ненавидела Глебова и торопилась об этом сказать. Будто догадавшись о его мыслях, она произнесла скороговоркой:

— Не надо никого звать, я все успею сказать, придет Сонечка, будем пить чай. И — вы слышите? — я вам ничего не говорила...

После этого она так же спехом, вполголоса, захлебываясь словами, сообщила ему, что он умный человек, но ум его ледяной, никому не нужный, бесчеловечный, это ум для себя, ум человека прошлого, какой-то клинический бред.

— Вы сами не понимаете, насколько вы буржуазны!

Будто он использовал все: ее дом, дачу, книги, мужа, дочь. Что можно было сказать на все это? Не спорить же с несчастной женщиной. Вставая с диванчика, спросил:

— Можно я принесу вам воды?

— Принесите, — согласилась она спокойно.

Он пошел на кухню, Васена дала стакан, он налил кипяченой воды, вернулся. Юлия Михайловна сидела на том же стуле и смотрела перед собой.

— Знаете, что я вам скажу? — медленно, как очнувшись, произнесла она, беря стакан. — Вот что было бы лучше всего... Этот разговор останется между нами. Лучше всего, если вы уйдете из этого дома...

Он спросил: что он сделал плохого?

— Вы ничего не сделали пока. Еще не успели. Но зачем ждать, когда сделаете? Уходите теперь... Я вас прошу, я умоляю вас... — И правда, она смотрела с мольбой. — Сонечка не узнает о нашем разговоре. Я вам клянусь! Хотите, я вам дам деньги?

— Какие деньги? О чем вы говорите?

— Ведь вам нужны деньги. Вы их любите, правда? И у вас их нет. Сколько вам дать? — Опять начинался бред. — Говорите скорее, пока не пришла Соня. Ну, ну, говорите же. Я вам дам, и вы тут же, немедленно... Нет, постойте! Я сейчас принесу другое! — Тут она почему-то стала шептать: — Я вам дам одно кольцо, старинное, с сапфиром. Вы же любите буржуазные вещи? Золото? Кляйноды?

— Если вы так желаете, чтоб я ушел, — заговорил он, — пожалуйста, я не возражаю...

Она замахала руками, шепча:

— Одну минуту! Я принесу! Мне совершенно не нужно, а вам пригодится!

Она метнулась к двери в соседнюю комнату, где была спальня, но, к счастью, ей помешали — вошел Ганчук. Был какой-то странный, мятый, прыгающий разговор. Почему-то о Достоевском. Ганчук говорил, что недооценивал Достоевского, что Алексей Максимыч неправ и что нужно новое понимание. Теперь будет много свободного времени и он займется. Юлия Михайловна смотрела на мужа с печальным и страстным вниманием. Он говорил что-то в таком духе: мучившее Достоевского — все дозволено, если ничего нет, кроме темной комнаты с пауками, — существует донныне в ничтожном, житейском оформлении. Все проблемы перевернулись до жалчайшего облика, но до сих пор существуют. Нынешние Раскольниковы не убивают старух процентщиц топором, но терзаются перед той же чертой: переступить? И ведь, по существу, какая разница, топором или как-то иначе? Убивать или же ткнуть слегка, лишь бы освободилось место? Ведь не для мировой же гармонии убивал Раскольников, а попросту для себя, чтобы старую мать спасти, сестру выручить и самому, самому, боже мой, самому как-то где-то в этой жизни...

Он размышлял вслух, не заботясь о том, слушают его, понимают ли. У него и голос переменялся. Вдруг пришла Соня. Как раз на словах Ганчука:

— Вот и вы, Дима, зачем вам приходится сюда? Это совершенно необъяснимо с точки зрения формальной логики. Но тут есть, может быть, объяснение другого толка...

— Папа! — крикнула Соня, бросившись к Глебову. — Не мучай Диму! Его и так намучили!

И она встала перед Глебовым, загородив его, будто Ганчук мог в Глебова чем-то кинуть. Но Ганчук ее не слышал, не видел.

— Тут есть, может быть, — говорил он, — объяснение метафизическое. Помните, как Раскольникова все тянуло к тому дому... Но нет! Не то! — Он четким, профессорским жестом отсекает собственное предположение. — Там все было гораздо ясней и проще, ибо был открытый социальный конфликт. А нынче человек не понимает до конца, что он творит... Поэтому спор с самим собой... Он сам себя убеждает... Конфликт уходит в глубь человека — вот что происходит...

— Папа, дорогой, — сказала Соня, — я тебя умоляю!

— Ну, хорошо, дочка, пожалуйста. Извини меня,— Ганчук впервые посмотрел на Глебова внимательно, узнающе. — К тому же я вовсе на него не в обиде. Нисколько, абсолютно не в обиде.

Он вышел, но через короткое время, когда Глебов прошел вслед за Соней в ее комнату, разлегся, как обычно в минуты усталости, на тахте, покрытой ковром, а она села рядом и гладила его волосы, потому что очень его жалела, знала, как он любил бабу Нилу, Ганчук вдруг опять появился и спросил прежним, знакомым голосом:

— А знаете, в чем ошибка? В том, что в двадцать седьмом году мы Дороднова пожалели. Надо было добить.

Эти слова успокоили Глебова: он понял, что старик остался тем же, чем был. Значит, все, что делалось, было правильно. Глебов ночевал у Сони. Спать они не могли. Заснули перед рассветом. Глебову привиделся сон: в круглой жестяной коробке из-под монпансье лежат кресты, ордена, медали, значки, и он их перебирает, стараясь не греметь, чтобы не разбудить кого-то. Этот сон с крестами и медалями в жестяной коробке потом повторялся в его жизни. Утром, завтракая на кухне и глядя на серую бетонную излучку моста, на человечков, автомобильчики, на серо-желтый, с шапкою снега дворец на противоположной стороне реки, он сказал, что позвонит после занятий и придет вечером. Он больше не пришел в тот дом никогда.

Вот что вспомнилось Глебову, кое-что благодаря усилиям памяти, а кое-что помимо воли, само собой, ночью после того дня, когда он встретил Левку Шулепникова в мебельном магазине. Одно казалось странным, и он так и заснул в своем кабинете на втором этаже, с окном в сад, не разгадав загадки: отчего Левка не захотел узнавать его?

В апреле 1974 года Глебов ехал поездом в Париж на конгресс МАЛЭ (Международной ассоциации литературоведов и эссеистов, где он был членом правления секции эссеистики) и встретил в вагоне Левкину мать Алину Федоровну. Она ехала в тот же город по приглашению сестры, покинувшей Россию пятьдесят три года назад. Алина Федоровна превратилась в седую сутулую старуху, но Глебов узнал ее сразу: то же смугло-фаянсовое горбоносое лицо, острый, посверкнувавший взгляд

и та же, знакомая с детства папироска в зубах. Часами стояла в коридоре у окна и курила. Глебов подошел, напомнил о себе, но разговор не вязался. Вдруг, как когда-то давно, он почувствовал стену высокомерия, окружавшую эту женщину. Господи, да с чего бы? Все разрушено, жизнь исчезла, сын погиб, и о нем не хочется говорить, и, однако, старая дама сощуривалась, будто смотрела на Глебова в лорнет, и спрашивала величественно-равнодушно: «Ах так? Эссеистики? Это что же, интересно?» После Варшавы она немного разговорила, и он узнал, что она получает пенсию за первого мужа, Прохорова-Плунге, старого коммуниста, реабилитированного посмертно, что у нее хорошая однокомнатная квартира на проспекте Мира, недалеко от метро, где она жила одна, не желая никого видеть: ни милого сына, ни бывшей невестки, восемь лет назад бросившей сына, потому что выдержать его не может ни один человек, ни внука, семнадцатилетнего лоботряса, вспоминающего о ней, лишь когда она собирается к родственникам в Париж. Тогда притаскивается как бы навестить и проведать, лучший внук на земле, и между прочим подсовывает заказик, напечатанный на машинке: джинсы, ремень, зажигалка, голубая рубашка в талию, навывпуск, с накладными карманами, все очень дельно и продуманно. Всю жизнь она жила для других, теперь хочется пожить для себя. После Берлина она сделалась еще разговорчивей и откровенней. «Говорят, будто русское дворянство выродилось, я и в Париже это слышала, а я вам скажу обратное: наша кровь самая прочная, потому что мы вынесли все». На перроне в Париже Глебов увидел горбоносую старуху, чем-то похожую на Алину Федоровну, но более чахлую, суетливую, одетую вовсе не по-парижски, в балахонистом старомодном плаще, рядом с нею были молодой человек и девушка, они зашебетали вокруг Алины Федоровны, та отвечала то по-русски, то по-французски, все двинулись с толпой по перрону, а Глебов постоял минуту-другую, ожидая, что Алина Федоровна оглянется и попрощается с ним. Но Алина Федоровна не оглянулась. Зато раздался вкрадчивый голос на ломаном русском языке: «Рад приветствовать вас, господин Глебофф, в городе Париже! Позвольте ваши вализы. Это все?» Молодой, коричневорумяный, сочногубый господин с усиками по фамилии, кажется, Секюло, которого Глебов помнил по конгрессам в Осло и в Загребе, подхватил единственный

чемодан Глебова и, улыбаясь, кивая головой в туго натянутой на затылок белой клетчатой кепке, левой рукой показал куда-то вдаль и тоже устремился в толпу.

Знакомый воздух парижского вокзала, в котором было слито много всего, и это создавало впечатление какой-то горьковатой и душной сладости, охватил Глебова, как зной. Через сорок минут он уже ходил быстрыми шагами по темной гостиничной комнате, выходящей окнами на узкую улицу недалеко от Pigalle, и, мурлыча что-то, разгружал чемодан, хлопал дверьми шкафов, чуть ли не бегом спешил в ванную комнату, раскладывая под зеркалом туалетные принадлежности...

Работая над книгой о двадцатых годах, я натолкнулся на фамилию Ганчука Н. В., который играл заметную роль в тогдашних дискуссиях, в особенности в спорах вокруг журнала «В литературном дозоре», гремевших в двадцать пятом и двадцать шестом. Кто-то сказал, что Ганчук еще жив. Я разыскал его с немалым трудом. Он жил одиноко в тесной однокомнатной квартирке, загроможденной книгами — стеллажи были даже на кухне, — в блочной новостройке возле Речного вокзала. Старую квартиру, где я когда-то бывал — о чем он, разумеется, забыл, да и я помнил слабо, — он отдал добровольно, потому что жить там одному после смерти Сони стало невозможно. А здесь, говорил он, превосходный микроклимат, пахнет бором, можно ходить на лыжах. Ему было восемьдесят шесть. Он ссохся, согнулся, голова ушла в плечи, но на скулах еще теплился неизбежный до конца ганчуковский румянец. И, когда он с усилием протягивал локтем вперед скрюченную правую руку и цепкими пальцами захватывал вашу кисть, ощущался намек на прежнюю мощь. «Аз есмь!» — говорило рукопожатие, хотя глаза слезились, а язык ворочался через силу. В углу прихожей стояли лыжи. Востроносенькая старуха в седых аккуратных куделечках приходила помогать по хозяйству. Однажды я слышал, как она тихонько напевала на кухне.

Несколько раз я приезжал к Ганчуку с магнитофоном, стараясь выведать у него подробности, относящиеся к шуму и гаму двадцатых годов — ведь свидетелей тех полуполюгендарных лет почти не осталось, — но, к сожалению, выведал немного. И дело не в том, что память старца ослабла. Он не хотел вспоминать. Ему было неинтересно. Мне все происходившее тогда было

гораздо интереснее, чем ему, и как-то он спросил с удивлением и даже с досадой: «Господи твоя воля, неужто и эта моя статья не прошла мимо вас? И охота возиться со всей этой жеребятиной...» Зато с удовольствием разговаривал о какой-нибудь многосерийной муре, передававшейся по телевизору, или о новости, вычитанной из «Науки и жизни». Он выписывал восемнадцать газет и журналов.

В годовщину Сониной смерти, в октябре, мы поехали на кладбище. Соня была похоронена на территории старого крематория, вблизи Донского монастыря. Крематорий уже полтора года был закрыт. Москва сжигала где-то в другом месте, за городом. Говорили, что далеко, неудобно, неуютно. То-то был уют здесь, у Донского! На кладбище пускали до семи вечера, а мы приехали без десяти семь. Такси остановили на площадке перед воротами. Тьма была на земле, угольно-темными стояли деревья, угольно темнела стена, но небо еще пылало сумеречно и жило — с криком летали вороны. Привратник громыхал железом, собираясь запираť ворота, и в эту минуту мы подошли. Я вел старика под руку. Привратник не хотел нас пускать. Начался спор в темноте. Мы угрожали, упрасивали, пытались дать ему денег, но привратник отвечал все более грубо и неуступчиво. Ганчук упирал на то, что он персональный пенсионер, что ему восемьдесят шесть и он может умереть каждый миг, а привратник хриплым, злобным голосом орал, что он тоже человек и хочет приходить домой вовремя.

— Но вы не имеете права без десяти минут...

— А продуктовые без пятнадцати закрывают!

— Да как вы сравниваете? У вас есть совесть?

— А вы не учите! Можно сравнивать. Подумаешь, сравнивать нельзя.

— Дайте вашу фамилию! — кричал слабым голосом Ганчук. — Немедленно назовите. Я буду писать.

— Прохоров! — рявкнул привратник. — Лев, к примеру, Михайлович! Ну и что? Куда писать будете? На тот свет?

— Шулепа... — сказал я тихо. — Пусти нас.

Человек, неразличимый во мраке, замолчал и откатнулся от проема ворот. Мы прошли. В тишине, нарушаемой криком ворон, скрипели мои каблуки и шуршали подметки Ганчука, которыми он вез по асфальту. Двигались мы очень медленно. Вот так же, наверно, он хо-

дил на лыжах. Когда удалились от ворот шагов на двадцать, я сказал Ганчуку:

— По-моему, это парень из нашего класса. Ну да шут с ним.

Обогнули черный, недышащий крематорий и стали искать могилу, что оказалось в потемках делом небыстрым. Старик наклонялся и ощупывал камни. Наконец произнес, тяжело дыша:

— Это здесь...

Он присел на корточки и долго делал что-то, сидя так что-то стряхивал, перебирал, шелестел сухой листвой.

Я думал о том, что нет ничего страшнее мертвой смерти. Погасший крематорий — это мертвая смерть. И Левка Шулепа в воротах кладбища... Вдруг я понял старика, который не хотел вспоминать. Оглушающе орали вороны, кружась и кружась над нашими головами, очень рассерженные чем-то. Было похоже, что вы вступили в их владения. Или, может быть, начинался их час, когда мы не смели тут появляться. На деревьях вокруг было множество темных и жирных гнезд.

Старик шептал, разговаривая сам с собой:

— Какой нелепый, неосмысленный мир! Соня лежит в земле, ее одноклассник не пускает нас сюда, а мне восемьдесят шесть... А? Зачем? Кто объяснит? — Он стискивал мою руку цепкой клешней. — И как не хочется этот мир покидать...

Когда через полчаса мы выбрались со двора к выходу, ворота были раскрыты, а привратник исчез. Такси ждало нас. Ехали молча, и только когда спустились к площади, повернули туннелем на Садовую, Ганчук придвинулся к шоферу и чуть слышно попросил ехать скорей: хотел успеть на какую-то передачу по телевизору. Слепили огни, разгорался вечер, нескончаемо тянулся город, который я так любил, так помнил, так знал, так старался понять...

А вскоре и привратник в изношенном кожаном реглане на цигейке, в каких ходили летчики в конце сороковых годов, вышел на аллею, ведущую вдоль монастырской стены, повернул налево и оказался на широкой улице, где сел в троллейбус. Спустя несколько минут он проезжал мостом через реку, смотрел на приземистый, бесформенно длинный дом на набережной, горящий тысячью окон, находил по привычке окно старой квартиры, где промелькнула счастливейшая пора, и грезил: а вдруг чудо, еще одна перемена в его жизни?..

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

РОМАН

Знаете ли, я скажу вам секрет: все это, быть может, было вовсе не сон!
Ф. Достоевский. «Сон смешного человека»

I

Когда-то я жил в этом доме. Нет — тот дом давно умер, исчез, я жил в другом доме, но в этих стенах, громадных, темно-серых, бетонированных, похожих на крепость. Дом возвышался над двухэтажной мелкотой, особнячками, церквушками, колоколенками, старыми фабриками, набережными с гранитным парапетом, и с обеих сторон его обтекала река. Он стоял на острове и был похож на корабль, тяжеловесный и несуразный, без матч, без руля и без труб, громоздкий ящик, ковчег, набитый людьми, готовый к отплытию. Куда? Никто не знал, никто не догадывался об этом. Людям, которые проходили по улице мимо его стен, мерцавших сотнями маленьких крепостных окон, дом казался несокрушимым и вечным, как скала: его стены за тридцать лет не изменили своего темно-серого цвета.

Но я-то знал, что старый дом умер. Он умер давно, когда я покинул его. Так происходит с домами: мы покидаем их, и они умирают.

II

Октябрьской ночью 1942 года после одиннадцатисуточного переползания с одной среднеазиатской станции на другую эшелон дотянулся до Куйбышева. Откочевали назад то знойные, то ледяные ржавые казахстанские степи, отдышала полынь в открытые двери тамбура, отмаячили навсегда старухи, сидевшие на корточках с мисками, где в тинистой жиже плавали бараньи кишки и что-то еще баранье, черное. Пошли дожди, настал холод. В Куйбышеве мертво стояли в тупике, никто ничего не знал. Разнесся слух, что на Москву отправят не раньше, чем в понедельник. Внезапно на рассвете объявили, что отправляется какой-то непредвиденный воинский эшелон, к нему прицеплено два вагона, и надо

спешно, не теряя ни минуты, пересаживаться туда. Прыгали, бежали, спотыкаясь, волокли узлы в серой знобщей мгле. Игорь тащил очень тяжелый, из толстой кожи отцовский чемодан, набитый вещами, бельем, банками, фруктами, сахаром, одеялами — бабушка насовала все, что можно, чтобы ей и Женьке было меньше везти, — и мешок с двумя зимними пальто, своим и Женькиным, двумя парами валенок, и еще веревочную авоську, где лежала буханка черного хлеба и книжка очерков Эренбурга «Война», купленная в Ташкенте на вокзале. Игорь читал книжку в дороге, лежа в духоте и кислом воздухе под потолком. Чемодан и мешок Игорь связал поясным ремнем и перекинул через плечо. Сумку с черной буханкой нес в руке. Ремень лопнул, не выдержав тяжести. Спутники Игоря проходили мимо, сочувственно вскрикивали, но помочь не могли: каждый тащил свое.

Одновременно нести чемодан и мешок не удавалось, тогда Игорь решил передвигаться короткими перебежками. Оставив мешок, он перенес чемодан на пятнадцать шагов вперед, затем вернулся к мешку. Все его товарищи уже пробежали вперед. Взяв мешок, Игорь двинулся к чемодану и увидел, что высокая фигура, неясно различимая в рассветной мгле и слегка скривившаяся от веса чемодана, торопливо удаляется в глубь перрона. Бросив мешок, чтобы идти быстрее, Игорь последовал за удалявшейся фигурой; он не побежал, не закричал, ибо и то и другое казалось ему несколько стыдным и преждевременным. Зачем поднимать панику? Человек с родным отцовским чемоданом ускорил шаги, теперь все как будто стало ясно — мысли работали затрудненно, все напоминало тяжкий утренний сон перед пробуждением, — и Игорь побежал. Не очень быстро, чтобы не выглядеть паникером. Похититель нырнул вправо, за вагоны, и исчез. Преследовать было страшновато: можно упустить эшелон. Игорь бегом вернулся к тому месту, где он оставил мешок, но мешка не было. В руках у Игоря осталась сумка с буханкой черного хлеба и книжка очерков Эренбурга. Перрон опустел. С обеих сторон чернели глухо и немо стены товарных вагонов.

Игорь побежал в страхе от мысли, что отстанет от своих. Куда они провалились? Он бежал сквозь строй вагонов и кричал, звал. Дверь одного товарного вагона с тихим визгом сдвинулась, и на уровне пола показалась голова в лохматой шапке, странная голова, лежав-

шая на полу, щекой к полу, и как будто не имевшая туловища, отрезанная голова, и гаркнула матом. Сейчас же Игорь услышал другие голоса, заплакал ребенок, его успокаивала женщина. Игорь бежал вперед уже не по перрону, а по земле, но с обеих сторон по-прежнему стояли не имевшие конца эшелоны, он бежал, как по дну ущелья, вдруг показалось, что плывет по реке, стиснутой узкими берегами, и тонет. Нечем стало дышать. Тело сникло, он понимал, что надо действовать, двигаться, махать руками, но сил не было: такое же мгновенное, смертное оцепенение он испытал однажды, когда тонул на Габайском пляже, в июле, шагнул и потерял дно. Он остановился — будто кто-то невидимый с силой дернул за руку, тогда, на Габае, это был Володька — и понял, что надо вернуться к тому месту, откуда начал бежать. Кинулся назад. Вдруг подумал: «Хорошо, что нет чемодана и мешка. Я бы не смог бежать!» Он несся из последних сил, невероятно быстро, как на соревновании, внезапно остановившись, молотил в двери закрытых товарных вагонов, орал: «Эй, кто живой?»

На площадке одного вагона возникла фигура в тулупе, с винтовкой, зажатой в сгибе локтя, и хриплый голос — не поймешь, мужской ли, женский — стал незлобно ругаться: чего орешь, шалопут? Игорь объяснил, что ищет воинский эшелон на Москву. Тулуп сказал, что тут все воинские и все на Москву, но дал совет:

— Спроси вон того мужика, по той пути ходит, колеса стучает. Сигай сюда!

Игорь вскочил на площадку, протолкался мимо тулупа, так и не разобрав, мужчина в него закутан или женщина, спрыгнул на другую сторону и стал оглядываться, ища мужика, который стучает колеса, но никого не было видно ни там, ни здесь. Игорь напрягал зрение, оттягивал пальцем веко — он был близорук, а очки остались в чемодане, — потом закричал с отчаянием:

— Где ж твой мужик?

В то же время раздался нежный звук стали, ударяемой о сталь, и Игорь побежал туда, на звук, все еще никого не видя, совсем ослепнув от тяжести, сдавившей грудь: отстал, отстал! Железнодорожник с фонарем, стоявший на карачках возле колеса и оттого не видный издали, выслушал и махнул рукой.

— Через два пути на третий, и бежи вбок!

Игорь прыгал, пролезал под платформами, на кото-

рых стояли накрытые брезентом орудия, ждал, пока пройдет какой-то бесконечный состав из одних цистерн, бежал, спрашивал, звал и наконец нашел, вскочил на подножку и влетел в вагон — это был темный, теплый, пахнувший жильем и махоркой некупированный вагон, все полки которого были, кажется, заняты, но Игоря это несколько не расстроило, он с радостью повалился прямо на пол в проходе.

Спутники Игоря — их было шестеро, четыре пария и две девушки, все москвичи, оказавшиеся в Ташкенте в эвакуации и так же, как Игорь, завербовавшиеся там на военные заводы, чтобы вернуться в Москву, — спрашивали, что с ним было и куда он, чертов сын, подевался? Никто не знал, что у него свистнули чемодан и мешок, да и никто не поверил бы этому, глядя на то, с каким радостным видом он растянулся на полу. Когда же он рассказал историю в подробностях, все изумились, сначала пожалели его, а потом стали хохотать. По вагону ходили военные с фонарями, кого-то искали, потом пришли два контролера — проверяли билеты и пропуска на въезд в Москву, — они тоже смеялись. Поезд вдруг тронулся, веселье стало всеобщим, хохотали незнакомые люди, лежавшие на дальних полках, и те, кто из любопытства подошел поближе и кто пробирался в другой вагон и остановился лишь на минуту узнать, почему смеются. Игорь почувствовал себя в некотором роде знаменитостью. Кто-то нашел ему место.

— Эй, юморист, полезай сюда!

Еще кто-то послал ему кусок сала с хлебом.

Игорь забрался на третью полку, положил сумку с черняшкой под голову и стал жевать сало. Он сильно проголодался. Хотя сало было не очень свежее, исходило почему-то запах табака, Игорь грыз и сосал его с удовольствием. Кроме того, положение знаменитости и гусара, которому плевать на потерю багажа, обязывало есть какое угодно, пусть самое рискованное сало. Если бы Игорю предложили сейчас стакан водки, он бы хватил разом, не моргнув.

— Малый, а тебе сколько лет? — спросил кто-то, лежавший на полке напротив.

Игорь посмотрел: человек был укрыт шинелью, вроде как больной или раненый. Пристально и неприятно глядел черными глазами на Игоря, и тот ответил не сразу и без охоты:

— Шестнадцать..

— В Москве у тебя кто есть?

— Ну, есть...

— Ждут тебя?

Игорь грубо спросил:

— А вам какое дело?

— А никакого, конечно, до тебя, дурака, нет... — сказал человек и тихо закрыл глаза.

Игорь сопел, размышляя: оскорбиться или нет? Решил: не стоит. Человек был жалок. Может быть, умирал. Но гусарское самочувствие исчезло, сделалось тоскливо. Колеса стучали по мосту, проезжали Волгу. Внизу говорили о сводке, кто-то слышал на вокзале в Куйбышеве шестичасовое радио: тяжелые оборонительные бои в районе Сталинграда и Моздока. То же самое, что все последние дни. Слишком уж скупо. А что там на самом деле? Еще говорили о боях в Ливни, о том, что англичане хитрят, а американцы не умеют. В Москве, говорили, за жиры дают хлопковое масло, только не такое, как было в Ташкенте, а более светлое, обезжиренное. Чаю нет, все пьют кофе черный, желудевый или ячменный.

Голоса снизу доносились рвано, в промежутки, когда колеса стучали тише. Вдруг голоса возвысились, зазвучали сварливо, вперевой:

— А вас не спрашивают!

— Нет, я спрашиваю...

— В чужой разговор...

— Распространяете...

— Брось ты с ним! Не видишь, что ли...

Игорь думал о тех, кто его ждет в Москве. Впрочем, было неведомо, ждут или нет. Бабушка написала письмо своей двоюродной сестре Вере, еще более старой, чем бабушка, и совсем квелей старухе — поэтому не могла никуда тронуться из Москвы, — о том, что Игорь получил пропуск и приедет в октябре, но ответа ни от бабушки Веры, ни от ее дочери тети Дины пока не было, так что не знали, можно ли у них остановиться, здоровы ли они и живы ли вообще. Игорь мог, конечно, жить и один в комнате на Большой Калужской (цела ли комната?), но бабушка считала, что ей будет спокойней, если Игорь поселится у бабушки Веры. Все это были подробности, не имевшие значения. Главное то, что он возвращается. И эта дурацкая, из чаплиновской комедии, история с чемоданом и мешком — лишь малая цена за возвращение, ничтожная цена, пустяки, не надо огор-

чаться. А все-таки что же там было? Ну, пустяки, ба-рахло, ну, валенки, зимнее меховое пальто, переделанное из отцовской бекешки. Ну, какие-то кофты, одеяла, простыни, скатерти, всякая мура. Очки вот жалко. Без очков — хана. Но можно заказать новые. А вот что действительно жалко — дневники, вся школьная жизнь с седьмого класса по девятый. Три толстые общие тетради. Все, начиная с переезда из того дома на Большую Калужскую, когда они остались втроем — он, бабушка и Женька, — новая школа, ребята, Дом пионеров, два лета в Серебряном бору и одно лето в Шабанове. Сколько там дорогого, ценного, смешного, изумительного! Как часто он смеялся, перечитывая некоторые страницы. Все остальное мура. Заснуть и забыть. Завтра вечером будет Москва. И он заснул, хотя в шели маскировочной бумаги серело, загорался день.

Ему приснилась старая квартира, та, где жили раньше с отцом. Большая темноватая столовая, рядом с нею комната бабушки, отгороженная от столовой портьерой болотного цвета; в бабушкиной комнате всегда было солнечно, окно во всю стену и дверь на балкон, там стоял платяной шкаф, тот самый, из которого однажды зимой, перед Новым годом, совершенно неожиданно — никто его не трогал — выпало большое, вделанное в дверь зеркало и разбилось.

III

Елка стояла в столовой почти посередине, обеденный стол сдвинут к пианино. Комната стала тесной, запахла лесом, дачей, лыжами, собакой Моркой, верандой с белыми окнами и грязным, мокрым полом, где стучали валенками о доски, бросали рукавицы на голый стол, без клеенки — все вещи на веранде имели какой-то жалкий, промерзший вид — и, распахнув обитую войлоком дверь, вбегали в тепло, в дымный, кухонный, сухой уют с треском печи. Всем этим пахла хвоя, это был запах каникул. Через два дня Горик и Женька должны были ехать на дачу, но не к себе в Серебряный, а к Петру Варфоломеевичу Снякину, дяде Пете, старому товарищу отца и бабушки еще по ссылке и гражданской войне. У дяди Пети тоже были внуки, двое мальчишек, но Горик знал их мало и, хотя его очень привлекал неведомый Звенигород, называемый Русской Швейцарией,

возможность покататься на лыжах с гор и пожить на прекрасной сняжинской даче, про которую мама говорила, что это не дача, а дворец, а бабушка с легким неодобрением рассуждала о том, как меняются люди, было немного жаль расставаться с привычным Бором.

На елку пришла Женькина подруга, тонконогая черноглазая девчонка Ася из ее класса, очень важничавшая, но Горик не обращал на нее внимания, и пришел двоюродный брат Горика Валера со своим отцом дядей Мишей. Из школьных товарищей не пришел никто: Леня Карась с матерью уехал в Ленинград, он часто ездил в Ленинград к родственникам, у Марата Скамейкина самого была елка с гостями, а Володька Сапог уехал на дачу в Валентиновку. Но Горик не жалел о том, что никого из них нет. Не прочь был отдохнуть от них: Леня Карась с его выдумками и тайнами порой угнетал Горика, он чувствовал, что впадает в зависимость, в какое-то рабство к нему; Сапог был малый компанейский, но любитель врать и хвастать, а Скамейкин — большой хитрец. Без них Горик жить не мог, он любил их, они были лучшие и единственные друзья, но от этой дружбы он уставал.

С Валерой Горик виделся редко — дядя Миша жил за городом, в поселке Кратово, — но, уж когда братец приезжал в Москву, они с Гориком устраивали такой «тарарам», такой «маленький шум на лужайке», такой «бедлам», по выражению мамы, что у соседей внизу качались люстры. Часами они могли кататься по полу, сидеть друг на друге верхом, кружиться и пыхтеть, стискивая один другого что есть мочи, стараясь вырвать крик боли или хотя бы еле слышное «сдаюсь». И чем больше они потели, разлохмачивались, растрепывались, изваживаясь в пыли, чем сильнее задыхались и изнуряли друг друга, тем радостнее и легче себя чувствовали; это было как наркотик, они делались пьяные от возни, понимали умом, что пора остановиться, что дело кончится скандалом, но остановиться было выше их сил.

Возня происходила рядом с елкой, на большом диване, от которого, если елозить по нему носом, шел слабый запах дезинфекции, и его твердая, шершавая ткань скребла щеки, и на нем было два валика, которыми братья дрались, тихо смеясь, сладострастно хрипя, норовя ударить друг друга посильней по больному месту. Девчонки по другую сторону елки играли в какую-то настольную игру. Они были сами по себе, а Горик и Ва-

лера сами по себе. Но в миг паузы Валера прошептал Горику на ухо: «Знаешь, почему мы тут возимся?» — «Ну?» — спросил Горик. «Потому что перед этой Асей показываемся». Горик промолчал, пораженный. Горику было одиннадцать с половиной лет, а Валере просто одиннадцать, и он не такой уж сообразительный, гораздо меньше читал, но сказал правду. Как же он так угадал про Асю? Уязвленный чужой пронизательностью, Горик спрыгнул с дивана и крикнул: «Айда в кабинет!» Они побежали в отцовский кабинет, там было темно, зажгли свет, все взрослые собрались зачем-то в комнате у бабушки и разговаривали, совсем забыв о ребятах.

Кабинет был велик, полон таинственных вещей. Там в четырех шкафах теснились книги, тысячи книг, многие из которых были совершенно неинтересны, в бумажных переплетах, трепанные, пыльные, никому не нужные, старые, но были и очень красивые энциклопедии в коже, с золотыми корешками и множеством картинок внутри, с которых Горик давно уже для разных нужд поотдирал прозрачную папиросную бумагу. Там висело в простенке между одним из шкафов и окном отцовское оружие: английский карабин, маленький винчестер с зеленым лакированным ложем, бельгийское охотничье двуствольное ружье, шашка в старинных ножнах, казачья плетеная нагайка, мягкая и гибкая, с хвостиком на конце, китайский широкий меч с двумя шелковыми лентами, алой и темно-зеленой (этот меч отец привез из Китая, им рубили головы преступникам, и Горик видел в альбоме, который отец тоже привез оттуда, фотографию такой казни: отец по утрам, а иногда и днем делал специальную китайскую гимнастику с этим мечом, размахивал им, становился в позы, и однажды, когда пришла в гости тетя Дина, Горик вздумал показать ей редкостное зрелище, отца, размахивающего мечом, распахнул дверь кабинета — тетя Дина вскрикнула «Ах, боже!», прикрыла дверь, а отец больно щелкнул Горика по макушке, сказав «Идиот!»). В углу кабинета стояла пика с длинным бамбуковым древком, четырехгранным наконечником и клочком сивой гривы, привязанным чуть пониже наконечника. Пикой отцу подарили в Монголии, когда он путешествовал в пустыне Гоби. Этой пикой было удобно закрывать форточки, а иногда мама использовала ее для других целей: заметив где-нибудь высоко на стене клопа, мама брала пикой, нацепляла на нее кусочек ваты, смоченной водой, и клоп бывал на-

стигнут. У мамы Горика было замечательно острое зрение. Более острым зрением обладала лишь бабушка, которая у себя на работе в секретариате занималась в стрелковом кружке и даже получила значок «ворошиловского стрелка».

Пол кабинета застилал толстый и громадный, во всю комнату, персидский ковер. Возиться на ковре было гораздо удобнее, чем на диване. Горик и Валера опустили шторы, чтобы в комнату не проникал свет даже от дальних окон, и устроили «японскую дуэль»: поединок, который происходит обычно в полном мраке. Противника надо угадывать по шороху, по дыханию. Несколько раз они набрасывались друг на друга в темноте и после короткой яростной схватки разбегались по углам. Однажды кинулись друг на друга так неловко, что стукнулись головами и оба завопили от боли. Вбежали взрослые, включили свет. У Горика был здоровенный «фингал» на лбу, у Валеры из носа хлестала кровь.

Поднялся шум, забегали, закричали, оказывали первую помощь и одновременно ругались нещадно. Злее всех ругался дядя Миша.

— Здоровенный оболтус! — кричал он Валере. — Чем ты думал? Каким местом? Почему не мог спокойно посидеть и почитать книжку?

— Наш тоже хорош, — сказала мать и сильно дернула Горика за руку, чтобы он повернулся к ней другим боком: она вправляла его рубашку в штаны. — Когда приходят ребята, всегда начинает беситься. Смотри, что ты сделал с белой рубашкой.

— Неужели у вас нет других, более интересных занятий? — спросила бабушка.

Их повели в ванную комнату, продолжая осыпать упреками. Дядя Миша грозил сейчас же забрать Валерку и увезти в Кратово. Было ясно, что взрослые возбуждены чем-то помимо драки (и драки-то не было), уж очень они взбеленились. В конце концов, Валера приходил в гости нечасто, сегодня был праздник, они имели право побузить. Подумаешь! Горик надулся и отвечал матери односложно. Она не должна была так сильно дергать его за руку. Тем более раненого человека. Вместо жалости подняли такой крик.

Когда вернулись в столовую и сели на диван, дядя Миша стал рассуждать о прошлом; Горик заметил, что дядя Миша любил вспоминать прошлое, когда немного выпьет, лицо его покрывалось красными пятнами, стано-

вилось бугристым, тяжелым, на лысой голове выступал пот, дядя Миша расхаживал с сердитым видом по комнате и рассуждал, рассуждал, рассуждал, грозя кому-то пальцем. Теперь он рассуждал — специально для Валерки и Горика — о том, как он и его брат, то есть отец Горика, жили в молодые годы, как они мыкались по чужим домам, зарабатывали себе на хлеб и так далее и тому подобное. Конечно, они жили плохо, никто не спорит, ведь они жили в царское время. Ничего нового он не открыл. Валера даже демонстративно отвернулся и рассматривал корешки книг на черной этажерке, стоявшей возле дивана. Горик уважал дядю Мишу, который был героем гражданской войны, краснознаменцем, воевал с басмачами и до сих пор имел звание комполка, ходил в военной форме, в гимнастерке с широким командирским поясом, но отчего-то Горяку бывало иногда его жаль. Может, оттого, что он был уже не боевой командир, а работал в Осоавиахиме, а может, оттого, что Горик часто слышал, как отец говорил матери: «Вот черт, Мишу жалко...» У дяди Миши непрерывно случались неприятности то по службе, то дома. То он ругался с начальством, то влезал в долгие тяжбы, защищая кого-то от мерзавцев и негодяев или выводя кого-то на чистую воду, то ссорился с женой, выгонял ее из дома, снова привозил, и Валера мотался с квартиры на квартиру.

Мать Горика говорила: «Михаил не умеет ладить с людьми. У него тяжелый характер. Вот удивительно: два брата, а совсем разные!» Но Горяку казалось, что дело в чем-то другом. Однажды он видел, как дядя Миша с отцом играли в шахматы. Дядя Миша приехал тогда тоже с какой-то неприятностью, кажется, на него один мерзавец и негодяй написал донос в Общество политкаторжан, и дяде Мише надо было оправдываться и что-то доказывать — вместо того, чтобы просто пойти и «натереть ему рыло», — и отец кому-то звонил по телефону насчет дяди Миши, долго объяснял, чертыхался, называл кого-то дураком, потом они с дядей Мишей оделись и пошли в соседний подъезд к одному старому товарищу, с кем отец был в ссылке, пришли через два часа и сели играть в шахматы. И дядя Миша проиграл отцу пять партий подряд. Он так разозлился, что ударил кулаком по доске и все фигуры разлетелись. «Конечно, я тебе проигрываю! — сказал он. — Потому что у меня башка занята другим».

И вот Горяку казалось, что у дяди Миши всегда

башка занята другим. Поэтому у него и неприятности. Сегодня тоже наверняка случилась какая-нибудь неприятность. Дядя Миша ходил, скрипя сапогами, блестя стеклами пенсне, на щеках и скулах пунцовели пятна — не от гнева, а оттого, что выпил на кухне рюмку-другую водки, — говорил сердито и много, но было, однако, видно, что он думает о другом.

— Мы с Николаем о такой жизни, как ваша, лоботрясы вы этакие, даже мечтать не могли...

— Не знаем мы, какая у них будет жизнь, — ввернул отец. И, как показалось Горик, ввернул очень умно.

— Как же не знаем? Великолепная жизнь, им все дано, — сказала бабушка, расставляя блюда и чашки для чая на столе. На нем стояли две вазы с самодельным бабушкиным печеньем и лежала раскрытая коробка круглых, в виде раковин, вафель с шоколадной начинкой. Это были любимые вафли, Женька их уже потихоньку таскала, но Горик, как находившийся под следствием, вынужден был сидеть, не двигаясь, и пожирать вафли глазами. Женька взяла пятаю. Правда, две она отдала Асе. — У них все права, — продолжала бабушка. — Кроме одного права: плохо учиться. Женичка, ты же не мыла рук. Ася, Женичка, бегите в ванную и мойте руки.

Через полтора часа всех ребят, кроме Аси, которую мать Горика проводила домой, уложили спать в детской. Валера, бедняга, сразу захрапел, Женька тоже заснула, а Горик долго лежал, прислушиваясь к звукам и голосам. Он слышал, как пришел другой дядя, мамин брат Сергей, студент университета, с ним какие-то мужчины и женщины, наверное, тоже студенты, много чужих голосов, один чужой женский голос смеялся очень звонко и нахально, весь этот шум прокатился в глубь коридора, из столовой раздалась музыка, кто-то заиграл на пианино и сейчас же перестал. Через дверь с матовым стеклом сочился из кухни тонкий, свежий запах печенья. Бабушка всегда пекла одно и то же печенье, сухое, коричневого цвета, в виде ромбиков, нарезанных зубчатым колесиком, и с одним и тем же запахом. У Горика заняло сердце: ему захотелось печенья. Захотелось в столовую, где разговаривали студенты. Захотелось увидеть собаку Морку, почувствовать запах снега, побежать на лыжах через речку к холмам, и чтобы Ася увидела, как он летит стремглав с самого высокого холма, где два трамплина.

В кабинете Николая Григорьевича собрался срочный семейный совет. Как быть? Везти ли ребят на дачу к Снякиным? Сергей принес тревожный слух насчет Ивана Варфоломеевича Снякина, брата Петра. Будто бы его нет. Будто бы три дня уж, как нет. «А точно ли это? — сомневался Николай Григорьевич. — В столовке что-то не говорили. Я не слышал». Сергей сказал, что сообщил человек осведомленный, из театральных кругов. Смехота! Старый каторжанин, бомбист, согласился директорствовать в музыкальном театре. И поделом дураку: не соглашайся на постыдные предложения, не унижай себя. Так полагал рассвирепевший Михаил Григорьевич, который знал Ивана еще по Александровскому централу.

Из столовой, где собралась молодежь, слышны были голоса, запели песню. Новую прекрасную песню из кинокартины: «Крутится, вертится шар голубой...» Бабушка вполголоса подпевала.

— Сережа, ты ступай в столовую, — сказал Николай Григорьевич.

— Ступаю, ступаю. «Герцеговника» не нужна? — Сергей взял с письменного стола коробку папирос «Герцеговина флор», предназначению гостям, так как Николай Григорьевич уже пятый месяц бросил курить, и пошел к двери. На секунду остановившись, сделал страшные, веселые глаза и зашептал: — Вы тут недолго, бояре, а то Мотю прозеваете. Мотя такие стихи будет читать — закачаетесь!

Ему было двадцать два. Михаил Григорьевич смотрел ему вслед с недоумением: какие стихи? Елизавета Семеновна, мать Горика, сказала, что надо сейчас же позвонить Петру Варфоломеевичу и все станет ясно. Они с братом очень дружны.

— Еще бы! — сказала бабушка. — В двадцать шестом оба подписали платформу ста сорока восьми. Но Петя гораздо порядочней. Вот за Петю я могу ручаться где хотите.

— И жена Ивана Варфоломеевича всегда у них на даче, у дяди Пети, — сказала Елизавета Семеновна.

Она сняла телефонную трубку, но бабушка остановила ее.

— Лиза, стой. А что, если он подтвердит?

— Как — что?

— Ты повезешь детей или нет?

— Я не знаю... — Елизавета Семеновна стояла в нерешительности. — Им, наверно, будет не до того.

— Тогда не звони. Петя нам не звонил, и нам не нужно навязываться, — сказала бабушка. — Он бы позвонил вчера или даже сегодня, если б они нас ждали. Звонить не нужно категорически!

Николай Григорьевич шагнул к телефону.

— Почему же не нужно? Глупости! — Резко двигая пальцем, он набирал номер. — Может, как раз потому, что... — Он замолк. Всем четверым были слышны гудки. — Думаю, что вранье. Давид мог знать, я его видел в столовке. Никто не подходит, значит, он на даче и все в ажуре.... — Он снова умолк. Гудки продолжались. Вдруг он спросил: — Ты, Варфоломеич? Я уж думал, вы там все перемерли или сгорели, шут вас возьми. Да, да. Ждали, ждали, и вот. Ничего. Сравнительно да. Что? — Николай Григорьевич посмотрел на брата, потом на бабушку и сделал губами движение, означавшее «плохо». Он продолжал слушать, что ему говорили, сохраняя все то же выражение крепко поджатых и несколько надутых губ. Потом его губы разжались, он вздохнул, выпрямился и сказал другим голосом: — Вот мы и нагрянем все шестеро, и я с Лизой. Ребята настроились. А? Давай нагрянем? Погода-то пропадает. Ну, как хочешь. Ладно. Всем привет. А я завтра зайду.

Николай Григорьевич почесал трубкой затылок, присвистнул и повесил трубку. Елизавета Семеновна смотрела на мужа, хмурясь.

— Что он сказал конкретно? — спросила бабушка.

— Сказал, что с Иваном недоразумение. Ничего конкретного. Он уже звонил Давиду, тот пытался узнать — бесполезно.

— Господи, какое несчастье! Что же у Вани могло быть? — спросила Елизавета Семеновна.

— Что-то было, — сказала бабушка. — На пустом месте такие вещи не случаются, как ты знаешь. Между прочим, Иван Снякин никогда не был мне симпатичен. Во-первых, вся эта смена жен. Во-вторых — отношение к детям. Ведь своего старшего сына, от первой жены, он не захотел воспитывать, отдал в «лесную школу». По требованию этой теперешней, артистки. Мы были тогда все возмущены: и Иван Иванович, и Берта, и Коля Лацис. Берта помогала устраивать в «лесную школу», она же в Наркомпросе, но она тоже возмущалась...

Николай Григорьевич, усмехнувшись, хотел что-то сказать, но только покрутил головой и вышел из кабинета. А Михаил Григорьевич снял пенсне — его лицо

без пенсне показалось большим, усталым, под глазами мешки — и сказал слабым голосом:

— Ерунду ты порешь, матушка. Обывательские разговорчики вместо настоящей партийной оценки.

Тихо открылась дверь, и вошла мать Горика. Она постояла неподвижно в темноте, прислушиваясь и стараясь понять, спят дети или нет. Женя и Валерка спали, а Горик лежал с открытыми глазами. Он сказал шепотом:

— Ма, я не сплю.

Мать подошла на цыпочках и села на край кровати. Она притронулась ладонью ко лбу Горика, где была шишка; рука ее была холодная.

— Сынок, мы поедем послезавтра к себе, в Серебряный бор.

— Правда? — Горик обрадовался. — Ух, здорово! Мне так не хотелось ехать в этот самый Звенигород! А ты поедешь?

— Конечно. И я, и папа. И, может быть, Валерку возьмем, если Миша его отпустит и если вы дадите слово, что будете вести себя хорошо.

— Конечно, дадим! Непременно дадим! Обязательно дадим! Ура-ура-ура! Да здравствует наш любимый, несравненный, драгоценный Серебряный бор! — в возбуждении восклицал шепотом Горик. Он уснул счастливый.

На другой день, тридцать первого декабря, когда все сидели утром за завтраком в столовой, в бабушкиной комнате раздался внезапно оглушительный грохот. Было похоже, что кто-то выбил балконное окно. Побежали туда и увидели, что разбилось не окно, а зеркало. Весь паркет был усыпан сверкающими осколками. Никто не мог понять, каким образом и почему старинное толстое зеркало выпало из двери платяного шкафа, запертой к тому же на ключ. Это была загадочная история. Домашняя работница Мария Ивановна сказала, что это к войне. Отец Горика сказал, что война с Гитлером и Муссолини, разумеется, будет, но не скоро. А Горик подумал о том — и это поразило его, — что в мире происходят вещи, которые не может объяснить никто, даже отец, самый умный человек на свете, и мать, тоже очень умная и самая добрая. Ни один человек, никто и никогда не объяснил Горiku, почему в то утро упало зеркало.

IV

От вокзала до Страстного бульвара, где жила тетя Дина, Игорь шел пешком, совсем налегке; хлеб он доел, а книжку Эренбурга сунул в карман. Москва поразила тишиной, малолюдством — даже на вокзальной площади людей почти не было, троллейбусы шли пустые — и чем-то глубоко и тяжело растрогала. Он словно увидел родное лицо, но изменившееся и настрадавшееся в долгой разлуке. На площади перед метро «Кировская» стояли несколько человек и слушали новости из репродуктора, установленного на фонарном столбе. «Немцы болеют от гитлеровских эрзацев, — читал торжественным голосом диктор. — Как заявил в Женеве прибывший из Германии голландский врач, долгое время практиковавший в одной из дрезденских клиник...» Лица слушающих выражали сосредоточенное, несколько оцепенелое внимание. Может быть, они и не слушали, а думали о своем. Или терпеливо ждали чего-то важного, что должен был сказать диктор.

Пошел слабый дождь. Игорю не хотелось садиться в трамвай. Он шел бульваром, заваленным опавшей, гниющей листвой, останавливался у газетных витрин, читал. Умер художник Нестеров. Рязанская область закончила уборку картофеля. Волнения во Франции. Исполком Моссовета одобрил инициативу жильцов дома № 16 по Н. Басманной и № 19 по Спартаковской улицам по активному участию в подготовке к зиме: участие в ремонте отопления, крыш, утеплении зданий, завозе топлива, его хранении, эксплуатации. 450 лет назад Христофор Колумб открыл Америку. Этому знаменательному событию посвящена выставка, открывшаяся на днях в библиотеке. А дочь белорусской партизанки Татьяну и внука Юру фашистские изверги загнали в погреб и забросали гранатами...

Дом на Страстном знакомо, громадно чернел сквозь дождевой туман. Внутри, в клетках дворов, было пустынно. Когда-то эта цепь проходных дворов была оживленнейшим местом: по ним проходили, сокращая себе путь, с Большой Дмитровки на Страстную площадь, а по утрам здесь толпами шли хозяйки за покупками в Елисеевский магазин и навстречу им, снизу, шли другие на Палашевский рынок. Игорь свернул направо, в тупиковый двор и подошел к подъезду. Это был, впрочем, не подъезд, а небольшая, довольно грязная и старая,

много раз крашенная дверь с железной ручкой, лестница за ней была такая же грязная и старая, она поднималась вверх короткими зигзагами и по своей крутизне напоминала винтовую. Лестница огибала пустое вертикальное пространство, такое узкое, что если бы кто-то вздумал кончать тут счеты с жизнью, то должен был бы лететь вниз стоймя, солдатиком. На третьем этаже была выбита ограда, край лестницы висел над обрывом; Игорь прошел эти несколько ступеней с осторожностью, прижимаясь к стене. «Ну и ну! Как же тут бабушка Вера ходит?» — подумал он с изумлением.

Он нажимал кнопку звонка и улыбался.

Его радовали этот сырой день, пустые дворы, перекрещенные бумажными лентами окна. Это была Москва. Он вернулся. Дверь не открывали. Он позвонил еще раз и ждал, продолжая улыбаться. Потом, догадавшись, что звонок не работает, сильно постучал. Сразу же зашаркали, завозились с замком, женский голос спросил:

— Кто там?

— Я к Дине Александровне...

В первую секунду он не узнал тетю Дину — худая старушенция. Какое желтое, опавшее лицо! На плечи тети Дины был наброшен, как у боксеров, выходящих на ринг, махровый халат, который совсем гнул ее и заставлял вытягивать шею вперед. Выражение лица у тети Дины было испуганное. Она вскрикнула:

— Ах, Горик! — и сейчас же, оглянувшись назад, очень громко и напряженно: — Мама, Горик приехал! Это Горик!

Вышла бабушка Вера. Она ничуть не изменилась. Она тихо шла по коридору вдоль стены, подняв сухонькое, кивающее, детское личико в мелко-кудрявом, седом венчике, и улыбалась издали. Подойдя, обняла Игоря легкими руками, пригнула голову, поцеловала, и он вспомнил этот старушечий запах комода, лежалости и сухих духов. Обе принялись хлопотать, сняли с него пальто.

— Я принесу чайник!

— Мама, не суетись. Принеси лучше полотенце. Ходи медленно!

— Я вовсе не сучусь, и даже не суетюсь. Видите, этот глагол мне чужд, я даже не знаю, как его спрягать...

— Баба Вера, ты молодчина, — сказал Игорь радостно.

Он сидел на стуле и стаскивал башмаки, несколько прохудившиеся. В Ташкенте, где месяцами не бывало дождей, они служили неплохо, но в первый же час в Москве сдались, он промочил ноги.

— Почему ты шел пешком? — спрашивала тетя Дина.

— Я так проголодался, так соскучился по Москве! Читал афиши, объявления. Знаю, например, что производится набор аптекарских учеников для аптек Москвы. А что? На худой конец! Вечер Хенкина в театре эстрады — рядом, на Малой Дмитровке...

— Постой, Горик. А где твой багаж?

Он рассказал. Лицо тети Дины побледнело. Она опустила на сундук и сказала:

— Я получила письмо три дня назад. Тетя Нюта написала очень подробно, что она с тобой посылает — ты же знаешь свою бабушку, — по пунктам...

— Да, барахла было много.

— И продуктов тоже, она писала.

— Да, — сказал Игорь. — Продуктов тоже...

Тетя Дина сидела на сундуке, с удивленным видом разглядывая пол.

— Как же так, я не понимаю? — сказала она тихо и развела руками. — Как можно быть таким рассеянным? Как можно, зная, что едешь в голодный город...

Игорь стоял перед нею босой, в мучительном оцепенении. В правой руке он сжимал влажные носки. Только сейчас он внезапно осознал, как ужасно, непоправимо, жестоко было то, что произошло с ним и в чем он был, конечно же, виноват. Как всегда, осознание приходило к нему позже, чем следовало, и тем сокрушительней. Он готов был тут же, босой, кинуться бежать из дома. Бабушка Вера пришлепала с полотенцем в прихожую и остановилась, не понимая, отчего Игорь замер в такой странной позе, а тетя Дина сидит на сундуке.

— Дина, что случилось? — спросила она. — Что-нибудь с Нютой?

— Нет, нет, ничего с твоей Нютой, — сказала тетя Дина. — Иди, пожалуйста, в комнату. Он будет мыться, а потом мы станем пить чай и я тебя позову.

Бабушка Вера нащупала рукой гвоздь в стене, на который были наколоты какие-то квитанции, повесила на него полотенце и зашлепала обратно в комнату.

— Мама совсем почти не видит, — сказала тетя Дина. — И стала в последнее время очень плохо слышать. Вообще мы живем... я не знаю, как мы живем. Мы живем на одну служащую карточку! Ты представляешь? Маринка поступила на курсы иностранных языков при военном ведомстве, устроить было невероятно сложно, я нажала все кнопки и устроила, ее приняли, но не успели дать ни карточек, ничего, и она заболела. Больше месяца лежит. Какое-то тлеющее воспаление легких, каждый день температура. Она там, в комнате, ты потом к ней зайди, ты ее не узнаешь. Нужно давать мед. А где его достанешь? Я ждала тебя, скажу тебе честно, еще и потому с таким нетерпением, что тетя Нюта писала, что посылает с тобой банку меда.

— Мед я тебе достану... — пробормотал Игорь сквозь зубы.

— Где ты его достанешь, мой милый? Ты не представляешь, как живет Москва. Надо иметь очень большие связи или очень большие деньги. У меня уже нет ни того, ни другого. Одного я все-таки не понимаю: как можно допустить, чтобы у тебя на глазах... Ах, бог с ним! — Она порывисто поднялась с сундука. — Сейчас согрею воду. Помоешься, и будем пить чай. Что случилось, то случилось. Не будем огорчаться, правда, Горик? — она шлепнула Игоря по щеке, это был шлепок примирения и прощения, но все же он оказался чуть сильнее, чем нужно, как слабая пощечина. — Сядь на стул, я поищу какие-нибудь носки Бориса Афанасьевича.

Через полчаса Игорь помылся, переоделся в сухое и пил чай на кухне вместе с тетей Диной и бабушкой Верой. Собственно, пили не чай, а отвар шиповника с сахаринном.

— Хорошо, что нет соседей. Можно посидеть на кухне, — говорила тетя Дина. — К нам жуткую парочку подселили, вот уже год. В комнату Розалии Викторовны. Ты помнишь Розалию Викторовну?

Еще бы не помнить Розалию Викторовну! У нее был низкий голос, темная челка, длинные пальцы с утолщенными суставами, манера постоянно улыбаться сухими бесцветными губами — рот был неприятный, мятый, весь в морщинках, как кусок бумаги, скомканной в кулаке, — и редкостная способность мучить людей. Две зимы она мучила Игоря и Женьку уроками музы-

ки, но потом мама с нею внезапно рассталась. Сказала, что она нечистоплотная.

— А что стало с Розалией Викторовной?

— Она куда-то переселилась. А может, совсем уехала из Москвы. Не знаю точно. Она была странная, с причудами, но нынешние, которых нам вселили, это ужас!

Тонкие ломтики черного хлеба лежали на красивой фарфоровой доске, имевшей форму лопатки с короткой ручкой. У тети Дины всегда было много красивой старинной посуды. Чашки, из которых пили отвар шиповника, были, наверное, столетнего возраста, на их доньшках красовались замысловатые вензеля. Тетя Дина брала ломтики хлеба, наносила на них изящным серебряным ножиком почти незримый слой масла и давала Игорю и бабушке Вере.

Возбуждение все еще не покидало тетю Дину. То она, махнув рукой, говорила: «Ну, конечно! Не будем переживать. Кто первый заговорит, с того штраф», — и рассказывала о новых соседях, жуткой парочке, о своей работе в музыкальном издательстве, о каком-то полковнике, который ухаживает за Мариной, и вдруг в середине рассказа начинала иронически улыбаться и прерывала себя: «А если посмотреть на всю историю с комической стороны? Вообразите: идет этакий шляпа...»; то в ней просыпался гнев, и она проклинала подлецов и сволочей, которые пользуются людской бедой; то возникали неожиданные идеи, она предлагала написать заявление в Министерство внутренних дел или же начальнику милиции куйбышевского вокзала. «Что же, что война. Они обязаны заняться и начать розыск...»

Бабушка Вера молча пила отвар и жевала хлеб. Зубов у нее, наверное, почти не осталось, и она жевала, не переставая, помогая деснами и даже губами. Ее лицо при этом сжималось и разжималось, как гармошка, и, когда сжималось, принимало выражение забавно-напыщенное. Бабушка Вера отставила чашку и стала медленно, сгорбленной спиной вверх, подниматься из-за стола.

— Диночка, — сказала она. — Целый час ты не можешь съехать с этих чемоданов. Стыдно, ей-богу. Ну, привез бы он провизию или нет — какая разница? Через десять дней все равно бы все съели.

Тетя Дина взглянула на мать отрешенно.

— Ты права, мама... Конечно, мамочка... Стыдно,

стыдно, невыразимо стыдно! — Она закрыла лицо ладонями. — Стыдно, что ни о чем другом я не могу говорить. Стыдно, что я так раскисла... Очень стыдно, но, я думаю, Горик меня простит. Ты простишь, Горик? — Голос ее задержался. — Ведь я одна забочусь о том, чтобы всех накормить. Я одна приношу хлеб в дом. Ты понимаешь, Горик? Я должна бегать по очередям, добывать, продавать. Керосин, лекарство, доктор, картошка, последний день талона на крупу, талон на табак меняю на мыло — у меня голова кругом! У меня нет сна. И меня все обманывают, я все теряю, ничего не успеваю. — Лицо тети Дины исказилось гримасой, рот растянулся, и она заревела, продолжая говорить нелепым, орущим голосом: — Тебе хорошо, ты старуха! Ты можешь сидеть дома и ждать. И говорить: «Это не стыдно! А то стыдно!» А мне ничего не стыдно, понимаешь? Потому что я должна бороться! Я должна спасти свою дочь! И тебя! Ни одной секунды мне не может быть стыдно, нехороший ты человек...

Бабушка Вера, не спеша, держась за стенку и мелко-мелко кивая головой, двигалась из кухни в коридор. Тетя Дина кричала ей вслед:

— Как же у тебя хватило совести! Злая ты, злая женщина!

Последнюю фразу тетя Дина выкрикнула особенно яростно и громко, чтобы бабушка Вера, уже скрывшаяся в коридоре, услышала. Потом тетя Дина подошла к кухонной раковине, открыла кран и стала мыть лицо холодной водой и сморкаться.

Игорь, все время сидевший за столом, поднялся и пошел в коридор. Он не знал, можно ли ему сейчас идти в комнату, и в нерешительности топтался в прихожей, делая вид, что ищет что-то в карманах пальто. Потоптавшись, сел на сундук. Тетя Дина не появлялась. Он слышал, как она гремела в кухне посудой, двигала стулья. Наверно, ей было неловко после всего этого. Вот сейчас ей было по-настоящему стыдно. А что, если надеть пальто и тихо уйти? Игорь думал о тете Дине с жалостью. Он помнил ее совсем другой. Нет, уйти было бы проще всего.

Он рассматривал висевшие на стене в прихожей несколько старых фотографий и гравюр в темных рамках. Без очков он видел плохо, и пришлось встать с сундука, чтобы подойти к картинкам ближе. Когда-то он все их видел, но совершенно забыл, и теперь они всплы-

вали в памяти — этот старик с цилиндром, женщина в пышном белом платье с такой тонкой талией, что была похожа на песочные часы, поэт Боратынский, вид города Пармы. Все эти картинки принадлежали исчезающему времени, тому жаркому лету за три года перед войной, когда он гостил в Шабанове, в музейной усадьбе. Дача в Серебряном бору тогда уже не существовала, и бабушка попросила тетю Дину взять его на лето к себе. А Женя уехала с другой родственницей на Украину. Тетя Дина жила в самой усадьбе композитора, в маленькой комнате на первом этаже, с окнами в сад, сырой темный сад со столетними елями, с липовой аллеей, спускающейся вниз к реке; на лужайке по утрам стояла художница, бледная женщина с надменным лицом, и писала кусты сирени, они были на холсте розовые, хотя давно отцвели, а небо почему-то зеленое, но Игорь не решался спросить, что это значит. Он слонялся по музейным залам, где-то потрескивали сами собой полы, в шкафах за стеклом блестели старинные переплеты; вечерами на открытой веранде пили чай из самовара, всегда на столе были подогретые белые булочки, черносмородиновое варенье, и внучатый племянник композитора, очень похожий на него, с такой же бородкой, рассказывал о том, как жили в Париже перед первой мировой войной... Были и другие люди, они тоже рассказывали интересные истории, был один музыковед, пьяница, но добрейшая душа, был австриец, бежавший из Вены от фашистов, он умел держать тарелку на лбу и ухаживал за художницей с надменным лицом, а тетя Дина играла на рояле «Времена года». Иногда, очень редко, приезжала Марина на велосипеде. Она мало занимала Игоря. Ему шел тринадцатый год, а ей восемнадцатый, она была толстая, важная, всегда с нею были кавалеры. Шабаново она называла деревней. Тетя Дина страдала из-за нее, говорила, что она «с фокусами». А Игорю нравилось жить в музейной усадьбе, сидеть до ночи за столом на веранде — вот только комары донимали — и слушать малопонятные разговоры. Однажды он слышал, как тетя Дина и внучатый племянник композитора о чем-то спорили на скамейке в саду, тетя Дина сердилась, тот ее успокаивал и вдруг закричал на Игоря: «Что за манера торчать рядом, когда взрослые разговаривают!». Прошло несколько дней, Игорь с музыковедом ходили на речку купаться — как раз тогда Игорь уронил в воду свои ботинки, когда пе-

репывал речку, и музыковед спас их, нырнул и достал, — так вот тогда под секретом, а также под градусами он сообщил Игорю, что тетя Дина отказалась от мужа. «Прости меня, Егор, но твоя тетушка с этих пор для меня — тьфу», — сказал пьяный музыковед. Игорь знал, что тетя Дина жила с мужем, отцом Марины, плохо. Все говорили, что в молодости тетя Дина была очень красива, а муж ей попался неудачный. Однажды Игорь застал тетю Дину плачущей, потом она уехала в Москву, вернулась, снова были прогулки, купание в холодной, с глинистым берегом речонке, вечерами снова сидели за самоваром, ели подогретые булочки, и тетя Дина играла на рояле «Времена года». Вскоре появился Борис Афанасьевич, очень большой, толстый, в очках, с черной бородой и усами. Игоря переселили в комнату рядом с чердаком, тетя Дина сделалась веселая, пела песни и играла с Борисом Афанасьевичем в шахматы, Марина перестала приезжать, а музыковед устроил однажды пьяный скандал, и вызывали милицию.

— Такой стал Горик? Ого! Потрясающе! — Игорь увидел бледную, с большим носом, рыжеволосую девушку, стоявшую в дверях прихожей. На девушке был халат с кистями, она держала руки скрещенными на груди, обнимая ладонями худые плечи, словно ей было зябко. — Никогда бы не узнала...

— Я тоже вас... — Он запнулся, почувствовав, что говорит что-то не то, но мужественно закончил: — Наверное, не узнал бы!

— Так ужасно я изменилась?

— Нет, но вы... Вы же болеете...

— Да, да. Я болею. Совсем забыла, что болею. А почему мама так орала на бедную бабушку?

Игорь пожал плечами.

— Может, из-за этой смешной истории, которая случилась с твоим багажом? Мне бабушка рассказала. Боже, это же гениальная история! Ты гений, Горик. Ах, как жаль, что тебе не удалось все-таки опоздать на поезд...

Тетя Дина вышла из кухни, неся на подносе что-то, покрытое полотенцем.

— Зачем ты встала? — спросила она дочь. — Я не су питье и лекарство.

— А зачем ты кричала? Я думала, грабители, воздушная тревога или Бочкин вернулся. Ты меня разбудила. Я спала!

Последнюю фразу она произнесла с вызовом и прошла мимо матери и мимо Игоря в ванную, горделиво подняв свой большой нос и распушив движением головы рыжие волосы. За нею прошла волна ее запаха: лекарств и голого тела. Игорь почувствовал, что между матерью и дочерью есть какая-то напряженность и он почему-то эту напряженность усилил.

Тетя Дина сказала, посмотрев на него со слабой улыбкой:

— Вот чепуха, правда же? Какие-то чемоданы в голове, а немцы на Волге, Ленинград в окружении. Ты помнишь Славского? В Шабанове он жил одно лето вместе с тобой. Ленинградский музыковед, чудный человек. Погиб в августе под обстрелом. Иди сюда, я покажу, где ты будешь спать... От Бориса Афанасьевича никаких вестей уже четырнадцать месяцев...

Из ванной раздался крик Марины:

— Постели ему в моей комнате на кушетке! Мы будем с ним разговаривать!

— Перестаны! — тетя Дина с досадой махнула рукой. — Он рабочий человек, а ты бездельница. Он будет вставать в шесть утра. Идем, Горик...

Из прихожей шел коридор, заставленный какими-то фанерными ящиками, мешками, банками, корытом, шкафчиками; этого хлама раньше тут не было, по-видимому, привезли неведомые Бочкины, занимавшие комнату Розалин Викторовны. Эта комната находилась в глубине коридора, на белой двери чернел большой всякий замок. Справа по коридору было две двери. Игорь вошел вслед за тетей Диной в первую. Увидел комнату и вспомнил, что близко под окном должен быть виден железный скат крыши, но теперь окно было закрыто черной светомаскировочной бумагой. Бабушка Вера сидела за столом и, держа у глаза лупу, читала книгу.

Муторней всего первый утренний час, с восьми. На улице еще тьма, как ночью, в цехе горит электричество, впрочем, не горит, а тлеет: две чуть живые лампочки качаются на длинных проводах над волочильным станом, третья возле отжигательной печи, но там обычно и без того светло от горящего горна, и еще одна лампочка едва проблескивает сквозь закопченные стекла перегородки там, вдали, над верстаком слесарей. Для такой громады, как заготовительный цех, света, конечно, мало, да где взять больше? И потом привыкли. Вот

только холод по утрам. К холоду не привыкнешь. Тяжелый предзимний ветер леденит ноги, дует без перестану в распахнутые ворота — по утрам завозят трубы. Две женщины-грузчицы и старый мужик, чернорабочий по прозвищу Урюк, таскают трубы, зажав их штук по шесть локтем и боком, сначала по цементному полу, потом по бетонному полу, и трубы сначала дребезжат, потом гремят и, наконец, сваливаются с грохотом в кучу возле отжигальной печи.

Но ни дребезжание и грохот труб, ни холод, гуляющий по цеху — ворота остаются открытыми долго, потому что грузчицы и Урюк особенно не торопятся, — не могут заставить Игоря проснуться по-настоящему. Мысли работают хоть и медленно, но четко, а тело разбито, вяло, движения вязнут в полудремоте.

Игорь ходит по трапу вдоль десятиметрового трубоволочного стана и возит по рельсам, держа за рукоять, тележку со стальными зубами. Этими зубами тележка схватывает конец железной трубы, просунутой в матрицу с прямоугольным отверстием, и тянет по стану уже ставшую квадратной трубу, уже не трубу, а профиль. Работа простая: ходи туда-назад. Подошел к матрице — дерг ручку вверх! — зубами схватил и тащи. Дошел до конца трапа — и снова дерг вверх! — зубы разжались, профиль вываливается, бросай его в сторону. И так круглый день с перерывом на обед от двенадцати до половины первого. Напарник Игоря Колька подтаскивает от печи к стану трубы и уносит готовые профили, а работница Настя всовывает трубы в матрицу и обмазывает концы масляным составом, чтобы уменьшить трение.

Двенадцать дней уже, как Игорь в «заготовке», и ему тут нравится. А вначале неделю ишачил такелажником, то есть попросту грузчиком, так распорядились в отделе кадров. Кадровик Оганов, читая справку его с ташкентского завода, где сказано, что Игорь имеет специальность станочника-гвоздильщика третьего разряда, не то смеялся, не то злился очень, выпучивая черные глазки: «Это что за специальность такая? Откуда? Гвоздильщики-мудильщики! Тут оборонный завод, а не шарашка при базаре. Ах, прохиндеи, жулики, навербовали дерьма! А числишься небось станочником, квалифицированной силой. Пойдешь в такелажники в транспортный цех, парень ты вроде крепкий. Поворочай там, погвозди, если ты такой гвоздильщик». И «гвоздил» не-

делю ящики, разгружая машины, посылали и на вокзалы, и на другие заводы, и в речной порт. Потом потребовался один человек в заготовительный цех на волочильный стан, никто из грузчиков не хотел: они все уже там сбились, слепились в шайку, пятеро женщин, два мужика и два парнишки Игоревых лет, им грузчицкая работа нравилась, потому что выпадали часы безделья, сиди покуривай, а в «заготовке» не посидишь. Игоря и турнули: пускай, мол, новенький катится. Так он и попал из гвоздильщиков в волочильщики.

Называлось так: рабочий-станочник трубоволочильного стана, 4-й разряд. В первый же день, как оформился на завод, дали хлебную рабочую карточку — 700 граммов и продовольственную, и еще ватник новенький, очень хороший, за 60 рублей. Обещали тоже ботинки выдать, но не раньше Ноябрьских. На волочилке работать чем хорошо? Нету беготни, ходишь себе и размышляешь, туда-сюда, дерг-дерг. Правой рукой дергаешь, в левой самокрутка с махрой — курить Игорь еще в Ташкенте на чугунолитейном научился, — а когда правая занемет, повернешься боком и левой дергаешь. Так боком и ходишь.

Колька поначалу встретил Игоря злобно, называл не иначе, как Косой или Очки (тетя Дина нашла Игорю очки Бориса Афанасьевича, правда, слабоватые, минус три, а ему нужно минус пять!), орал в лицо Игорю песенки вроде «Ношу очки я рраговые не для того, чтобы лучше зреть...», а в столовой однажды цапнул Игореву пайку хлеба со стола и начал спокойно жевать, глядя на Игоря с улыбкой: что, мол, сделаешь? Игорь отмалчивался прежде, плевал на него с высокой горы, а тут вдруг взбесился: схватил Кольку за грудь и так его молча затряс, что, когда отпустил, тот с перепугу на колени хряпнулся. И с тех пор все. Ни наглости, ни Очки.

Росту Колька небольшого, на вид совсем шкет, мелочь кривоногая, Игорь с ним одной бы ручкой справился, а лет ему немало: семнадцать с половиной. Весной Кольке в армию. Перестав дразнить Игоря очками, он теперь мучает его рассказами — врет, конечно, как змей! — о девчонках и женщинах, которых будто бы победил. Рассказывает он грубо, по-хулигански, при Насте, а ей все равно — она не слышит, думает свое, — Игорь же мучается, не показывая вида. Главное, что невыносимо: при Насте. Ей лет тридцать, она невзрачна,

желтолица, всегда закутана в серый платок, всегда молчит, не улыбнется, и вот эта женская смиренность и покорство, над чем измывается Колька, так же невыносимы Игорю, как и Колькина грубость.

Но показать это, оборвать Кольку, заступиться за тихую и бессловесную Настю у Игоря не хватает духу. Вроде стыдно как-то. Вроде будет он тогда не мужчина.

Бригадиров в «заготовке» двое — Колесников и Чума. Колесников говорит глухо, двигается не спеша, лицо у него какое-то потухшее, бесцветное, он больной — кашляет. Иногда часами дохает и дохает, слова не может вымолвить. А Чума ни минутки не устоит на месте, оттого и кличка такая, весь день бегаёт, кричит, волнуется, учит, подгоняет, матерится и сам ишачит, как черт. Он и смахивает на черта — малорослый, сутуленький, руки длинные, лицо большое, темное, впитавшее в кожу копоть и масляные испарения навечно, лицо старой обезьяны, с глазками-сверлами, упрятанными глубоко под узкий, козырьком лобик. Игорю кажется, что таким мог быть Квазимодо.

— Что вы там портки сушите? Давайте работайте, давайте! — орет Чума.

Он всегда орет. В цехе, правда, шум немолкнувший, гудит волочилка, грохочет пневматический молот. Но Колесников обязательно подойдет близко и скажет, что надо, а у Чумы нет терпения — орет издали, трясет руками. А хоть и подбежит иногда — тоже орет.

Бригадиры командуют и волочильщиками, и слесарями, что пилят матрицы за перегородкой, и грузчиками, и кузнецами, которые работают у горна и пневмомолота, откатывают концы труб. И Чума не просто кричит, подгоняет и приказывает, а сам то и дело впрягается: то кувалдой машет, то у слесарей горбатится за верстаком, разъяренный медлительностью грузчиков, хватая охапку труб и волочит к горну. Он уже старый, под полтинник, а то и больше, но силы у него много, даже не поверишь. Недавно привезли слесаря точильный станок, установили неправильно. Чума разбушевался, разматерился и в сердцах как рванул, словно репу из грядки, из пола выдрал. А в станке весу килограммов сто.

Никто не знает, как в точности зовут Чуму — имя и фамилия какие-то трудные. Все привыкли: Чума и Чума, Чумовой. Начальник цеха Авдейчик однажды так серьезно ему запузырил: «Товарищ Чума, я вас очень прошу...»

— Игорь, пойдй сюда немедленно! — издали кричит Чума. — Коля, стань за тележку!

Игорь дотягивает профиль — дерг! — и конец трубы, вырвавшись из стальной челюсти, подпрыгивает, как живой. Игорь поднимает двумя руками в рукавицах — одной рукой с конца не поднять — долгий и тяжелый колыхающийся профиль и перебрасывает его через стан, где лежат ворохом, штук с полсотни, металлически и масляно поблескивающие профили. Иногда, глядя на то, как медленно и с трудом, с писком даже выползает из прямоугольника матрицы новенький, аккуратный граненый профиль, Игорь испытывает почти физическое чувство удовольствия: сотворилась вещь, мир обогатился новой вещью, сделанной с его помощью, его руками. Эта работа вот чем хороша: видишь, как делается вещь, а не просто — таскай, при, грузи. Профили идут на каркасы авиационных радиаторов, те собираются в пятом цехе, потом их везут недалеко, через шоссе, на завод номер такой-то — Игорь знал, какой номер, и вся округа знала, — а уж там собирают полностью, от и до, самолеты. И очень скоро, через несколько, может быть, дней после того, как Игорь вытянул профиль, самолет с радиатором, в который всажен этот профиль, выгнутый, обпаянный и выкрашенный, как нужно, летит бомбить немцев.

Наспех вытирая нитяными концами руки — хотя он работает в рукавицах, ладони всегда непонятно как успевают измазаться, — Игорь идет к Чуме.

— Бежи к Авдейчику. На второй этаж.

— А зачем? — интересуется Игорь.

— Бежи одной ногой. Эй, женщина, куда столько мажешь, куда?! — внезапно кричит Чума Насте. Своими глазками-сверлышками он видит издалека и в каких хочешь потемках и сумерках, словно кот. — Ты дома маслица кладешь — экономишь? А как же, скажи! Мне на месяц пятьсот граммов, я уж так его...

Игорь проходит мимо бухающего пневмомолота, мимо горна, через ворота в соседний цех и по винтовой железной лестнице поднимается наверх. Зачем он понадобился? С начальником цеха Игорь за все дни разговаривал дважды: первый раз, когда пришел оформляться, второй раз, когда Авдейчик забежал мимолетно в цех и спросил что-то насчет матриц. Волочильщики — черная кость, парни «заготовки». Вызывать волочиль-

щика к начальнику цеха так же нелепо, как вызывать грузчицу Пашку или Урюка. Но зачем-то зовут! Внезапная тревога охватывает Игоря. Одно-единственное объяснение понятно ему: что-нибудь с анкетой, раскрыли, узнали. Кадровик Оганов не захотел разговаривать сам, велел Авдейчику. Могут сразу уволить. Могут еще хуже: за сокрытие факта с целью, чтоб проникнуть на оборонный объект... Странное равнодушие подступает вместо тревоги. Он идет, не торопясь, по мосткам второго этажа, хлопает ладонью по железному поручню, размышляет спокойно: «А что особенного? Написал правильно. Умер в таком-то году. Мне же ответили официально: умер от воспаления легких. Мать работает в Казахстане по своей специальности. Она зоотехник. Работает зоотехником в совхозе. Что особенного? Ни с кем он не советовался, ни с тетей Диной, ни с Мариной — решил сам. Хватит, советовался однажды. В Ташкенте весной, когда окончил школу, ребят набирали в военное спецучилище — и его тоже, хотя он младше других, ему шестнадцать. Училище готовило каких-то хитрых радистов, анкета на три листа. Первая в жизни. Бабушка сказала: «Пиши, как есть. Всегда надо писать и говорить правду, тогда ничего не страшно». Не приняли. Бабушка сказала: «Со своей точки зрения они правы». В августе приехал вербовщик вербовать подростков и молодежь на московские заводы. Тоже была анкета, но краткая, на один лист. Он не написал ничего. От бабушки пришлось скрыть. Она допытывалась: «Ты написал правду, я надеюсь?» В том листке и вопроса такого не было, так что можно сказать, он написал правду. И поехал. И еще: глубинным, тайным, каким-то даже чужим и оттого, наверное, истинным умом понимал, что та правда, которую требовалось написать, не была правдой. И обман, значит, не был настоящим обманом. Был всего-навсего обманом обмана. Это никому пока не известно, и, может быть, еще долго не будет известно, и ему самому известно не окончательно, но он чувал, что правда тут не простая, какая-то двойная, секретная.

Успокоился и смирился, пока шел длинной дорогой, но, когда толкнулся — «Можно?» — в фанерную клетку начальника, увидел Авдейчика за столом, желтоволосого, с красной, сухой, почему-то казавшейся Игорю петушиной физиономией, стало тоскливо.

— Говорят, ты умеешь малевать лозунги. Верно или нет? Чего молчишь?

— Откуда вы взяли?

— Не ты мне вопросы задаешь, а я тебе. В художественной школе учился?

— Ну да...

— Вот и походи в цехком, возьми кумач и после работы напишешь быстренько и красиво лозунг. На!

Авдейчик протягивает записку с текстом. Игорь читает с тупой радостью, едва вникая в смысл: «Рабочие и работницы, инженеры и техники! Увеличивайте выпуск продукции для производства истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков!»

К двенадцати ночи Игорь добирается до дому. Ужинает в комнате, потому что на кухне Бочкины затеяли кипятить белье. Тетя Дина приносит из кухни тарелку обжигающего картофельного супа, Игорь с жадностью ест суп с хлебом и пьет кофе. Ни Марина, ни бабушка Вера не спят, все тревожились из-за того, что его долго не было, обычно он приходит к девяти. Женщины тоже не прочь бы поесть суп, он хоть и водянист, но горяч, однако они съели свои порции днем, кроме того, «много жидкого вредно», а Игорю нужно есть много, он мужчина. И женщины пьют кофе, ненатуральный, разумеется, без цикория, пахнувший размокшей сосновой доской, но очень горячий и с сахаром. Такой кофе пить гораздо полезней, говорит тетя Дина, он не дает бессонницы, а, наоборот, вгоняет в сон.

И верно, как только Игорь наливается кофейно-суповой бурдой и ощущает животом лживое, одурманивающее и приятное чувство в спученности, его сразу начинает клонить ко сну, веки слипаются, он зевает и на вопросы отвечает односложно и вяло. Тете Дине все же удастся постепенно вытянуть из Игоря историю с лозунгом: как его вызвал Авдейчик, как Игорь удивился, но не показал вида, как он корпел после работы три часа, сделал все, что нужно, натянул полотнище, отбил веревкой, натертой мелом, линни, разграфил, разметил, написал очень красиво и вдруг, когда кончил, когда поставил уже восклицательный знак, обнаружил, черт бы его взял, что пропущены две буквы в слове «штурмовиков». Получилось так: «Увеличивайте выпуск продукции для производства истребителей, штурмиков, бомбардировщиков!» Вот гадость-то. И почему так вышло? Ведь Игорь так старался, зная себя, зная, что в школе, ри-

суя лозунги и заголовки в стенгазетах, всегда что-нибудь путал, пропускал буквы. Сегодня уж он напрягся и сосредоточился, как никогда. Хотелось сделать лучше. Лозунг должен висеть в цехе над воротами, и Игорь, когда идет с тележкой к матрице, будет все время его видеть и читать. Что было делать? Стирать кумач, сушить его, гладить — целая история. Можно было, конечно, вписать аккуратно сверху две буквы «ов», как это делается в школьных тетрадях, но это выглядело бы омерзительно. Пока он в панике ломал голову, пришел Авдейчик, бегло посмотрел, похвалил и велел немедленно вешать. Игорь ничего ему не сказал. Так и висит со «штурмиками». Пока никто не заметил, правда, Игорь сразу ушел домой. Есть большие, знаменитые штурмы — например, штурм Измаила или штурм Перекопа, и есть маленькие, скромные штурмики. Интересно, что ему скажут завтра? А если ничего не скажут — признаться ли самому или пускай висит?

Начинается дискуссия. Все возбуждены, забыли про сон и торопятся высказать свою точку зрения на внезапно возникшую коварную проблему. Игорь тоже взволновался, и сонливость его исчезла, так же, впрочем, как и чувство в спученности; неплохо бы еще рубануть супу с хлебом. Беда в том, что, как ни говорите, тут есть политическая подоплека. Могут быть неприятности. Бабушка Вера считает, что надо завтра утром во всем признаться и лозунг переделать. Зачем же играть с огнем? Чистосердечное признание. (Все бабушки стоят горой за признание. Можно подумать, что они уже признались во всем, что натворили за долгую жизнь.) Тетя Дина нервно стискивает ладони.

— Боже, боже, какой ты растяпа, Горик!

Она полагает, что признаваться глупо — почему не признался сразу? — а нужно сделать дома новый лозунг, кумач она берется достать, и незаметно заменить. По мнению же Марины, не нужно трепыхаться, пусть висит, как висит: никто этих лозунгов так дотошно не читает.

— Держу пари на тыщу рублей, что он благополучно провисит до конца войны!

— Марина, ну как же можно?! — тетя Дина возмущена не предположением дочери, а ее недалекновидностью и легкомыслием.

Игорь наконец соглашается с хитрым планом тети Дины: написать новый лозунг и незаметно заменить. Те-

тя Дина предлагает сделать это в воскресенье у ее знакомой, живущей в Гнездиновском, в бывшем доме Нирензее, там больше коридоры и можно расстелить ку-мач любой длины.

— Хорошо, — говорит Игорь, — но меня удивляет одно. Откуда он узнал, что я учился в художественной школе?

— Горик, ты будешь меня ругать, но это, наверное, моя вина, — говорит тетя Дина с несколько торжественной и робкой улыбкой. И выпрямляется с готовностью принять какой угодно укор и удар.

— То есть?

— Горик, я не могла выносить твои рассказы. Я мучительно думала, не спала две ночи... Лиза в своем единственном письме писала мне: «Позаботься о том, чтобы способности Горика не пропали...» И вот Горик в о л о ч н т какие-то трубы по двенадцать часов, приходит грязный, в мазуте...

— Ну, ясно, ясно! Что дальше?

— Дальше я стала думать, я мучительно думала, перебирала, кто у меня есть. И нашла одного человека из главка — он брат моей хорошей знакомой Фани Громовой...

— Дина Александровна в своем репертуаре, — говорит Марина насмешливо.

— Его фамилия Громов. Ты не слышал?

— Нет.

— Я попросила Фаню, та меня познакомила, я все ему сказала, он был очень мил...

— Что ты все сказала?

— Я сказала, что ты мой племянник, одаренный художник...

— Какой я, к чертям, художник! — выпаливает Игорь в бешенстве. — Проучился год в изостудии Дома пионеров, подумаешь! Зачем это? Кто тебя просил? Мне совершенно ни к черту не нужно, и я не хочу, не хочу!

— Но, прости, Горик, я думала только о хорошем.

— Не надо было, ах, не надо, Дина! — шепчет бабушка Вера.

— Мама всегда думает о хорошем, а получается пшик, — говорит Марина. — Типичная история.

— Ну, и что Громов? Кто он такой, во-первых?

— Он из главка, Горик, крупный работник, по транспорту. Заведует транспортом, так что от него зависят все заводы. Ты понял? Он обещал поговорить с каким-

то человеком на вашем заводе, а тот, по-видимому, говорил с начальником цеха...

— И бедного Горика запрягли после работы на три часа писать плакаты. Хо-хо! — смеется Марина. — А мы тут волнуемся и не знаем, в чем дело. Оказывается, во всем виновата Дина Александровна...

Тетя Дина ударяет ладонью по столу.

— Перестань издеваться над матерью, слышишь — треснувшим голосом вскрикивает она. — Негодяйка! — Лицо тети Дины покрывается бледностью. — Все время издевается над матерью.

— Я?

— Ты! Издеваешься совершенно открыто, беспардонно, пользуешься тем, что...

— Молчу! Все! Извините, Дина Александровна. Вы всегда правы, я забыла...

Марина идет в свою комнату, по дороге с усмешкой шлепнув Игоря по загривку. Слышно через стенку, как она там закатывается кашлем. Игорь, подавленный всем, что только что узнал, молча разбирает свою постель. Он спит на кровати возле окна, где раньше спала бабушка Вера, а бабушка Вера спит в комнате Марины на кушетке. Наскоро помывшись, Игорь бухается в постель, ложится набок, сгибает колени, накрывается с головой. Но разговоры, хоть и тихие, в комнате продолжают. Игорь заметил, что в семье тети Дины любят разговаривать ночами. Вновь появляется Марина, и они с матерью шепчутся, иногда совсем тихо, а иногда довольно громко, так что Игорю слышно.

— Нет, Мариша, это не причина...

— А почему ты считаешь, что ты всегда и во всем права? Почему бы ради разнообразия...

— Потому что я хочу вам добра, идиоты вы!

— Мамошка, вспомни: ты писала письма в Министерство высшего образования и чем это кончилось...

— Если бы не твой скандал!

— Конечно, когда вызывает директор...

— А почему ты не сказала ему того же, что мне?

— Боже мой, я не могла, как ты не понимаешь!

Скрипучий шепот бабушки Веры:

— Перестаньте! Дайте ему спать.

Он спит. Он видит во сне зимнюю дорогу, по которой идет с отцом ранним январским вечером, справа от дороги заборы, слева лужайка под снегом, исчерканная бороздками лыжней, но в сумерках лыжней не видно,

и лужайка кажется нетронуто-белой, посередине ее стоит дуб, дальше смутно чернеет ивняк на берегу невидимого под снегом болотца, еще дальше колышется темной полосой лес, и там, в гущине, почти неразличимая во тьме, мерещится чья-то дача с одиноко светящимся окном. Тихо скрипят на утоптанной твердой дороге валенки. Ясно зеленеет небо. Запах курящегося табака отцовской трубки разносится в морозном воздухе. «Сейчас дойдем до оврага и постреляем», — говорит отец, сжимая Игореву руку своей рукой. И вдруг Игорь идет один, а отца нет. Чья-то высокая фигура маячит впереди на дороге. Стоит неподвижно, почти сливаясь с темнотою забора. Игорю кажется, что неведомый человек ждет его, и знобящая тревога одолевает его, уже не тревога, а растущий с каждой секундой страх перед темной, поджидающей его фигурой. Игорь совсем один на пустынной просеке, и нужно идти вперед, а ноги не слушаются, он не может сделать ни шага, он прирастает к окаменело-снежной дороге. Фигура, стоящая у забора, внезапно оказывается рядом с ним, и он видит, что это женщина, очень высокая, большая женщина, в пальто до пят, чем-то напоминающем шинель, с воротником из серого каракуля, глухо застегнутым под подбородком, в серой шапочке, из такого же каракуля, похожей на невысокую офицерскую папаху, а лицо у женщины круглое, полное и багрово-румяное оттого, что она долго стоит на морозе и ждет его. Женщина смотрит на Игоря глазами-щелочками и улыбается, а он отчетливо видит на ее лице небольшие черные закрученные усы и черную бородку, сердце его останавливается. Это женщина его ужаса. Несколько раз она уже являлась ему и смотрела вот так же, улыбаясь из-под усов, закрученных двумя черными колечками...

V

Стояла пушкинская зима. Все пронизывалось его стихами: снег, небо, замерзшая река, сад перед школой с голыми черными деревьями и гуляющими по снегу воронами и старинный дом, где прежде помещалась гимназия, где были коленчатые темные лестницы, на которых происходили молчаливые драки, где были залы с наощенным паркетом и где на главной лестнице каменные, желтоватые, под старую кость ступени были

вогнуты посередке, как в храме, истертые почти вековой бегом мальчиков.

Из репродуктора каждый день разносилось что-нибудь пушкинское и утром, и вечером. В газетах бок о бок с карикатурами на Франко и Гитлера, фотографиями писателей-орденоносцев и грузинских танцоров, приехавших в Москву на декаду грузинского искусства, рядом с гневными заголовками «Нет пощады изменникам!» и «Смести с лица земли предателей и убийц!» печатались портреты нежного юноши в кудрях и господина в цилиндре, сидящего на скамейке или гуляющего по набережной Мойки. «Мороз и солнце: день чудесный! — по утрам декламировал Горик. — Еще ты дремлешь, друг прелестный... — и он запускал подушкой в Женю, любившую спать долго. — Пора, кра-са-ви-ца...» — слово «красавица» Горик произносил с ужасающей гримасой, чуть лн не скрежеща зубами, чтобы было ясно, что ни о какой красавице тут не может быть и речи.

Вечерами Горик мастирил альбом — подарок школьному литкружку и экспонат для пушкинской выставки (с томящей надеждой получить за него первый приз). В большой «блок для рисования» клеивались портреты, картины и иллюстрации, вырезанные из журналов, газет и даже, тайком от матери, из некоторых книг, и тушью, печатными буквами переписывались знаменитые стихи. Например: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» — и тут же была наклеена вырезанная из газеты «За индустриализацию», которую выписывал отец, картинка, изображавшая памятник Пушкину на Тверском бульваре. К сожалению, все картинки, вырезанные из газет, пожелтели от проступившего клея.

Мать Горика была увлечена альбомом не меньше сына. Елизавета Семеновна любила поэзию (особенно сатиру Маяковского, а также стихи Веры Инбер, Саши Черного и Агнивцева, многие из которых помнила наизусть) и сама нередко с удовольствием писала длинные юмористические стихи, которые очень нравились ее сослуживцам по Наркомзему и публиковались в стенной печати.

«Семья Баюковых к столетию со дня смерти Пушкина!» — такой лозунг выкинула Елизавета Семеновна в январе, когда жили на даче во время каникул. Кто выучит больше строк «Евгения Онегина?» Кроме Николая Григорьевича, который редко приезжал на дачу и вообще плохо запоминал стихи — он знал наизусть од-

но-единственное, попавшееся где-то в ссылке стихотворение про Сакья-Муни: «По горам, среди ущелий темных...» — соревновались все, включая бабушку, Сергея и знакомую девушку Сергея Валу, гостившую на даче. С утра до вечера бубнили стихи. К концу каникул победителем определился Горик, второй была Елизавета Семеновна, потом Женя, Сергей, его знакомая Валя, и на последнем месте оказалась бабушка, сумевшая дойти только до: «Потом мусью ее сменил; ребенок был резов, но мил».

Горик получил от матери награду — пакет марок французских колоний. Правда, он и зубрил как сумасшедший. Иногда просыпался ночью в испуге: забыл строчку! И лежал в темноте, мучаясь, не в силах уснуть, пока не вспоминалось. Главное, хотел выиграть у этого хвастуна Сергея и показать его знакомой Вале, что Сергуня вовсе не такой умный, каким представляется. Подумаешь, студент, курит папироски и покрикивает: «Помалкивай» да «Не твое цыплячье дело!».

Радость омрачилась тем, что Сергуню обошел не только Горик, но и мама, и даже Женька. А Сергунина Валя сказала, что она где-то читала, что память развивается за счет ума. Ну, это они просто оправдывались, старались позолотить собственную пилюлю, и мама им резонно заметила, что Ленин обладал блестящей памятью.

Человек, который выучил за десять дней триста двадцать строк стихов, обязан был победить на школьном конкурсе. И выиграть первый приз — бронзовый бюст Пушкина. Елизавета Семеновна твердо считала, что так и случится, хотя ни единым словом, ни взглядом не выказывала своей уверенности Горикю. Это было нечто само собой разумеющееся, и Елизавету Семеновну не поколебал даже тот факт, что Горик учился в пятом классе, а в конкурсе участвовали все классы, вплоть до десятого. Елизавету Семеновну отличали оптимизм и искренняя вера в то, что ее семья — лучшая семья в мире, а ее дети своими способностями, воспитанием и заложенным в них нравственным зарядом превосходят любых других детей, знакомых и незнакомых.

Когда на торжественном вечере Горик услышал, что первый приз получил мальчик из восьмого за статуэтку из пластилина «Молодой товарищ Сталин читает Пушкина», второй приз присужден девочке, которая вы-

шила шелковыми нитками покрывку для подушки на сюжет из «Сказки о царе Салтане», а третий приз отхватил Леня Карась — хорош друг, работал втихаря, от всех скрывал! — за портрет цветными карандашами друга Пушкина Кюхельбекера (правда, надо сказать, портрет был мировецкий, самый лучший на выставке), Горик, обомлевший и ужаленный в сердце, все же в первую секунду подумал о маме. Это будет для нее такой удар! Горик решил не передавать тяжелую весть сразу, сначала немного подготовить.

Ведь мама так надеялась, что их альбом — да, да, именно их альбом, она отдала ему столько сил, приносила журналы, отыскивала повсюду малейшее, связанное с Пушкиным — возьмет хоть какой-нибудь приз, а он не взял ничего и выглядел как-то бедненько рядом с великолепным хламом, скульптурами, резьбой, вышивками, выжиганием, что все вместе вызывало у Горика острое, как боль в желудке, чувство зависти. Один мальчик сделал чертовски замечательную голову (ту самую, что встретил Руслан), совсем как живую, в натуральную величину человеческой головы, она застыла в миг чиха, приоткрыв рот и сморщив лицо. Шлем был сделан из буденовки, обклеенной золотой бумагой, борода и усы настоящие, из волос черного пуделя. Все были в восторге от этой головы. Но мальчик, ее сделавший, не получил никакого приза потому, что внезапно переехал из своего дома и больше не учился в школе. Эту голову на второй день убрали с выставки и куда-то выбросили.

Горик не мог смотреть на свой альбомчик, засунутый в укромное место, в угол зала. Там, верно, имелись грязные места, подчищенные кляксы, кое-где из-под картинок выдавался клей и, самое неприятное, на второй странице в заголовке, написанном акварелью, оказалась пропущенной буква «з». Вместо «произведения» получилось «проиведения». Хотелось все это забыть. Вечером, слоняясь по двору, Горик придумывал, как лучше подготовить мать к неприятности. Леня Карась, слонявшийся вместе с ним, не мог понять, что томит его приятеля. К восьми вечера мороз окреп и началась метель. На заднем дворе — на так называемой вонючке, — когда Горик и Леня уже собрались расходиться, к ним пристали ребята из дома четыре. Это был двухэтажный домишко на набережной, где жила тьма-тьмушая пацанов, издавна враждовавших с мальчишками из большо-

го дома. Пацаны из дома четыре имели непонятно уж почему кличку «трухлявые».

«Трухлявые» остерегались заходить в громадные дворы большого дома, где бывало много взрослых, гуляли шоферы возле машин в ожидании начальства, выходили из своих подъездов вахтеры подышать воздухом и размять ноги, куда забредали милиционеры с улицы; зато на набережной, у кино, под мостом «трухлявые», всегда ходившие шайкой, брали свое. Предводительствовал у них Костя Чепец, свирепый драчун. Говорили, будто он носит в рукавице свинчатку.

Перед Гориком из пурги внезапно вырос незнакомый, маленького роста пацан и спросил ясно и звонко:

— А по ха не хо?

Горику было известно это, ставшее за последние дни крылатым выражение, означавшее в сокращении: «А по харе не хочешь?». Ошеломленный наглостью ничтожного на вид пацана, Горик грозно сказал:

— Ну, хо!

Пацан вытянул руку со сжатым кулаком, и тут же кто-то толкнул Горика в спину с такой силой, что Горик мотнулся всем телом и его лицо ударилось о кулак пацана. Сзади, ухмыляясь, стоял Чепец.

— Ты чего?

— Да ты сам просил!

— Я?

— Ты!

Колени Горика подгибались от страха, но он шагнул навстречу зловешей и скалоподобной, почти квадратной в черном меховом полушубке фигуре Чепца и замахнулся. Неизвестно откуда, подобно молнии, удар в подбородок кинул Горика навзничь. Когда он поднялся с кружащейся, затуманенной головой, то увидел, что Леня дерется с тремя или четырьмя «трухлявыми», пальто его растерзано, шапка сбита, и вдруг все «трухлявые» исчезли вмиг, как стая воробьев, а Леня лежит на снегу. Горик подбежал к нему.

Леня встал сам, зажимая ладонью нос.

— Жуба нет... — сказал он и сплюнул темной слюной.

Нашли шапку. Леня приложил снег к носу и к глазу, но кровь не останавливалась. Неожиданно Леня покачнулся и снова рухнул на снег. Голова его запрокинулась. Горик видел однажды, как Леня бился в припадке на полу в классе во время перемены, как его держа-

ли за ноги и за голову, как лицо его стало неузнаваемо страшным, багровым, дергалось одной щекой, глаза закатились и смотрели почти запавшими глазными яблоками в разные стороны, и все девчонки тогда с визгом выбежали в зал, а мальчишки остались и смотрели. Через несколько минут Леня перестал дергаться, его подняли, увели в учительскую, там он полежал, отдышался и вернулся к уроку географии. Потом ребята спросили, помнит ли он что-нибудь, и он сказал, что не помнит ничего, только как будто красные кони перед глазами: налетели откуда-то, все застлали, одно красное. И еще это красное настигало Леню в драках: он впадал в ярость. Ребята знали это, боялись его, даже старшие остерегались трогать. Чепец, наверное, сначала не разглядел в темяте, что нарвался на Леню, оттого они так быстро и смылись.

Горик испугался, что сейчас начнется припадок, но Леня посидел-посидел на снегу, запрокинув голову, с закрытыми глазами, потом протянул Горику руку, и тот его поднял и встал рядом, чтобы Леня мог обнять его за плечи.

— Сволочь Чепец... Бил в поддыхало... — сквозь колотящиеся зубы сказал Леня. — Ну, я ему сделаю...

Идти к Лене домой, пугать Лину Аркадьевну было нельзя, решили пойти к Горику. Стоя на лестничной площадке перед открытой дверью, Горик выпалил матери все: про драку, про то, что Лене нельзя домой, про Ленин третний приз и про свое ничего.

Елизавета Семеновна так затряслась, увидя окровавленного Леню, что ничего, кажется, не поняла и даже не расслышала про конкурс. Но немного погодя, она вдруг спросила у Горика шепотом:

— Неужели ничего? Так-таки ничего?

У Лени действительно был выбит зуб. Правда, этот зуб шатался и раньше. Уходя, Леня сказал Горику, что решил дать одну железную клятву. Какую именно, он откроет это завтра, после второго урока. Горик давно заметил, что Леня Карась всегда полон каких-то секретных фантазий, сопряженных с клятвами и тайнами, но привыкнуть к неиссякаемой Лениной таинственности он не мог. Она причиняла ему боль. И заставляла ревниво и преданно любить друга, загадочного, как граф Калиостро. Весь вечер и часть ночи Горик мучился, стараясь догадаться, какую же клятву придумал Леня.

За ужином Сергей, очень ехидный человек, долго и

отвратительно шутил по поводу неудачи с альбомом.

— Значит, говоришь, твое «произведение» не «произвело» впечатления? Выходит, так?

— А ты и так не сделаешь!

— Это другой вопрос. У меня никогда не хватило бы твоего конского терпения...

— Се-ре-жа! — Елизавета Семеновна тихонько стучала пальцем по столу, глядя на брата осуждающе круглыми глазами. Сергей в ответ ей подмигивал. Она едва заметно качала головой. Он, не обращая внимания, продолжал:

— И я никогда не стремился, чтоб ты знал, к призам, наградам, пышкам и коврижкам. Премии только портят истинного художника. Чоб ты знал: Верещагин отказался от звания академика именно по причине...

— А я и не хотел! Подумаешь! — выкрикнул Горик, чувствуя, как в нем поднимаются обида, боль и ненависть к Сергею.

— Никогда не надо делать специально на премию. — Сергей наставительно качал пальцем. — Надо для себя. Для души. Понял? Для собственного удовольствия...

— Не знаю, зачем ты взялся читать ему мораль. Горик, по-моему, все понимает и нимало не огорчен, — сказала Елизавета Семеновна. — Так мне кажется. Правда, Горь? Было бы, ей-богу, глупо огорчаться из-за таких пустяков. А время зря не потрачено. Горик еще лучше узнал и полюбил Пушкина, запомнил много стихов. Познакомился с такими художниками, как Бенуа, Лансере...

Горик крепился, но, когда Женя вдруг сказала, что он сделал самый лучший альбом и девочки из третьего «Б» сегодня спрашивали, правда ли, что это сделал ее брат, Горик не выдержал, вскочил из-за стола и бросился в детскую. Все вдруг обнажилось. Он понял, что гнусно и непоправимо унижен. Ему вспомнились вечера под лампой, его труды, надежды, безвозвратно испорченные книги. Маленький пацан вышел из пурги и спросил: «А по ха не хо?» — и кто-то предательски, со зверской силой ударил в спину. Лежа на кровати, уткнув воспаленное лицо в подушку, Горик думал о мире, где все так несправедливо и непрочно. Почему? За что? Ему хотелось мстить, но было еще неясно кому. Вообще всем — кто присуждает несправедливые призы, кто выскакивает из пурги, кто бьет в спину, кто издевается и злорадствует по поводу неудач.

Спускаясь в лифте, где густел устойчивый запах лака и дыма хорошего трубчатого табака — с тех пор, как пять месяцев назад Николай Григорьевич бросил курить, он стал неприязненно повсюду улавливать запах табачного дыма, даже определять сорта,—Николай Григорьевич вдруг решил, что, если будет ждать «роллс-ройс», тогда дело худо, если же подадут «эмку», обойдется. Никогда прежде ничего не загадывал. Даже в ссылках, где гадание о будущем было такой же необходимой страстью, как разговор, как охота или писание писем. Но Лиза с ее полудетским и шуточным суеверием в последний год научила его этой игре. Он стал загадывать: на очки, на стариков, на номера трамваев. Просто оттого, что он много думал о Лизе. Это было связано с ней.

Стоял «роллс-ройс», черный, как гроб. Гранитный цоколь и белая облицовка качнулись назад, близко заглядывавшие лица прохожих, путь которых через Охотный ряд на несколько секунд преградил длинный автомобиль, были по-зимнему мрачны. Николай Григорьевич ехал для бесцельного разговора. Он уже понял из двух слов, сказанных только что по телефону, что Давид ничего не сделает. Наверное; просто не может. А признаться в том, что не может, для человека, который еще недавно мог, нелегко. Тогда он пойдет к Флоринскому. В пятницу на приеме в честь финского министра иностранных дел Холсти Николай Григорьевич пересилил себя и, подойдя к молодецки румяному, зализанному, в безукоризненном смокинге Флоринскому, сказал, что хотел бы поговорить с ним по срочному делу: «А ты зайди! Мы же теперь соседи, зайди вечером», — попростецки отозвался Флоринский. «Ладно. Зайду», — небрежно кивнул Николай Григорьевич, и на сердце у него отлегло. Только через минуту он вспомнил, что Арсений Флоринский никогда не говорил ему «ты», что последний раз они разговаривали лет пять назад и что в двадцатом году, когда Флоринский работал в трибунале дивизии, его называли не иначе как Арсюшка и гоняли, как простого ординарца.

Неделю назад позвонила семнадцатилетняя дочка Лизиной сестры Дины с просьбой о встрече, но так, чтоб никто не знал. Боялась, наверно, матери. Николай Григорьевич догадывался, что разговор пойдет о Никодимове, отце Маринки, с которым Дина уже пять лет жила, по существу, в разводе. Павел Иванович Никодимов

мов, по кличке Папа, был старый товарищ по Березовской и Иркутской ссылкам, отличный мужик, честнейший и принципиальный до глупости, а в житейском понимании недотепа и дундук, из-за чего, кажется, и вышел разлад с Диной. В годы войны в нем что-то надломилось, он стал оборонцем, а в семнадцатом после апреля и вовсе сник, завял и ушел окончательно и твердо в инженерию; строил турбины. Неприятности у него начались давно, с тридцать первого года. Все его за что-то цепляли, тягали, куда-то припутывали: то к «делу Виккерса», то к делу инженеров-уральцев наподобие «Промпартии». Давиду и Николаю Григорьевичу удавалось выручать. Однажды в Гаграх на отдыхе, лет шесть назад, Николай Григорьевич получил телеграмму: «Умоляю спасти легкими очень плох зиму не выдержит — ундина»

С каждым годом Николаю Григорьевичу было все ту же обращаться по таким делам: тех, кого он знал, когда работал в коллегии, давно не существовало, одни умерли, другие исчезли, третьи были оттеснены, четвертые хоть и работали на прежних местах, но настолько разительно переменялись, что обращаться к ним было непосильно. Один Давид не менялся. Но он уже ничего не значил. Или почти ничего. Там заправляли люди молодые и неожиданные вроде Арсюшки Флоринского. Павла все-таки удалось вытащить из группового дела, Николай Григорьевич устроил его в системе своего комитета: в трест «Уралосталь». А Дина, так хлопотавшая за мужа, ехать с ним на Урал отказалась и осталась с дочкой в Москве. В конце прошлого года возникла необходимость послать специалиста в Англию на завод, поставлявший в «Уралосталь» турбины. Лучшей кандидатурой был, конечно, Павел. Николай Григорьевич предвидел затруднения, но все-таки утвердил кандидатуру Никодимова, хотя Мусиенко, заместитель Николая Григорьевича и куратор двадцати уральских заводов, возражал очень резко. Конфликт разросся, Николай Григорьевич не уступал, Мусиенко упорствовал (тезисы были элементарны: с одной стороны — «политическое недоверие», с другой — «бездоказательные обвинения» и «деловые качества»), дело дошло до СНК, а Павел жил в своем Златоусте, ничего не подозревая. Николай Григорьевич взял верх. Никодимова утвердили. В начале января его вызвали в Москву для оформления командировки, а десятого января Николай Григорьевич

получил официальное сообщение — его принес плотоядно сияющий Мусиенко — о том, что Павел арестован в поезде по дороге из Челябинска в Москву и ему предъявлено обвинение в контрреволюционной деятельности. Уже прошел месяц, но подробностей выяснить не удалось, а несколько дней назад Маринка показала тетрадь Павла с его записями о своих мытарствах 1931 и 1932 годов. Называлась тетрадка: «Чего я никогда себе не прощу»

Николай Григорьевич перечитал тетрадь дважды. Обстоятельным канцелярским слогом, каким пишутся инженерные отчеты, Павел излагал, как и в чем его обвинили в 1931 году и почему он подписал тогда «сознание». Из записи получалось, что его просто околпачили или, скорее, с о б л а з н и л и в исконном значении этого слова, близком к понятию смущения, околдования духа. Интересен был метод соблазна. На Павла давили именно по линии его «дундукства», то есть его сугубой и дурацкой совестливости. Тетрадь привезла незнакомая женщина, родственница тех людей, у кого Павел снимал в Златоусте комнату. По-видимому, записи делались год или два назад. Зачем? Скорее всего, это был род исповеди, мемуаров для себя и одновременно некий обет. «Никогда больше ложных показаний, следовательно, никакого вранья я не подписывал и подписывать, разумеется, не стану».

Николай Григорьевич обещал привезти тетрадь Давиду, с которым он говорил третьего дня по телефону и который сказал, что попробует навести справки о Павле. И вот он ехал к старику — без всякой надежды. Он опять подумал о Лизе, и его сердце стиснула нежность. Но это была нежность к чему-то гораздо большему, к февральскому вечеру, к снегу, к темным домам, и Лиза была частицей всего этого. Он вытащил из портфеля тетрадь, включил лампочку в потолке своего тихо по гололеду катящегося гроба и, приблизив тетрадь к близоруким глазам, стал листать ее, ища одно место. Это было чрезвычайно важное и нужное место. В нем туманился какой-то ответ — может быть, тень ответа — на то мучающее недоумение, что было главной тоской и главной загадкой последних лет, последнего месяца.

«...И досаднее всего, что я не столько струсил, написавши в 1931 году две строчки «сознания», сколько проявил доверие к людям, вовсе его не заслуживавшим Те-

перь тем более мне необходима выдержка! Возьмем литературный пример: Хаджи-Мурат Л. Н. Толстого. Совершенно реальный тип, взятый с натуры. Он рассказывает русскому офицеру, как он растерялся, когда при нем стали убивать его начальника и молочного брата, и он один ускакал от многочисленных убийц. «Как же ты струсил, ты, знаменитый храбрец?» — спросил его офицер. Да, он струсил, но он стиснул зубы и больше никогда этого не делал — всю жизнь!

Другой пример: евангельский апостол Петр. Петр, наверное, даже не существовал в действительности. Но эта фигура, несомненно, списана с какого-то живого человека. Он был предан Христу и, когда того стали арестовывать, выхватил нож и ранил того, кто пытался арестовать. Но Христос взял да и запретил Петру защищать его! И Петр перестал что-либо понимать. Не зная, что делать, он даже стал отрекаться от Христа, когда у ночного костра страж начал признавать его как ученика. А потом Петр одумался и полностью оправдал свое имя Петр, что значит — камень. Разгадка в обоих случаях такая: не трусость решила все. Решили растерянность и недоумение. Ведь и у меня огромную роль сыграло изумление — разве способны эти блюстители законности на пакость? И вывод один: стисни зубы и скажи: «Раз обманули — больше не обманете...»

Машина поворачивала, съезжая с моста. Со стороны «Ударника» темным потоком шла толпа — наверное, только что кончился сеанс, — некоторые бежали, норовя проскочить перед самыми фарами медленно едущего «роллс-ройса». Арка, поворот налево — двор, в котором жил Николай Григорьевич, остался справа, — и машина остановилась напротив четырнадцатого подъезда.

С Давидом, как с братом Мишкой, говорить можно было в открытую. Николай Григорьевич однажды и на всю жизнь, с села Байшихинского на Енисее, когда впервые увидел маленького бородатенького человека с глазами навывкат, услышал его разговор о письмах, которые тогда сочинялись дураками в надежде на амнистию по случаю романовского юбилея, уверовал в то, что бородатенький — умница.

Жил Давид на девятом этаже, в квартирке из двух комнат, загроможденных книжными шкафами. Семьи у Давида никогда не было. Лет восемь назад он взял из детдома парнишку Вальку, сейчас Вальке было пятна-

дцать, учился он скверно, болтался во дворе со шпаной. Какой из Давида воспитатель, когда он до ночи массажи воспитывал других: в комиссиях, комитетах, на пленумах? Дома оставалась старушка Василиса Евгеньевна, навек преданная Давиду за какое-то его «святое дело» в восемнадцатом году, кого-то он спас от расстрела. Спасал Давид многих. Казнил тоже. Он работал в партконтроле, в комиссиях по чистке, в прокуратуре.

Старик коротышка с большой головой младенца в белом пуху, в пенсне, с недовольно оттопыренными толстыми губами, в сползших с живота старых пижамных штанах и в пижамной же, но другого цвета кофте и в шлепанцах на босу ногу, Давид встретил Николая Григорьевича в коридоре. Он кивнул и, не сказав ни слова, повернулся и пошел, шаркая, в кабинет. Старик не держал во рту шелухи, всех этих бессмысленных: «Заходите», «Пожалуйста», «Как дела?», «Будьте здоровы».

Он схватил тетрадку и сразу стал читать. Сочинение было длинное, он читал долго, изредка кроме сопения издавая носом и горлом еще другие звуки, вроде всхрапывания и слабого кряхтения. Вошла старушка в платке с сохлым коричневатым личиком, Василиса Евгеньевна, принесла чай. Пока Давид читал, она примостила свое легкое, из воздушных косточек тельце напротив Николая Григорьевича, на краю кресла, и шепотом спрашивала о доме, все ли здоровы, как Елизавета Семеновна, как бабушка Аня Генриховна, как дети и не надо ли творожка, она взяла два кило в распределителе, а им много, никто не ест

Давид вдруг отшвырнул тетрадь.

— Не могу я читать это! Мне вспоминается софизм гимназических времен: один китаец сказал, что все китайцы лгут. Вот он утверждает, что он честный человек и что лишь однажды сказал неправду, признав себя нечестным человеком, и что никогда больше неправды говорить не станет. Так? Сегодня утром мне сообщили— это досконально точно, — что недавно на допросе он признался в том, что состоял в террористической организации, что с двадцать девятого года завербован германской разведкой, и назвал четырнадцать человек своих сообщников.

— Господи, спаси и помилуй... — тихонько зевая и крестя рот, Василиса Евгеньевна побрела из комнаты.

— Так. Ну? — сказал Николай Григорьевич.

— Стало быть, я уже ничего не понимаю. Когда он был честен? Тогда ли, когда впервые назвал себя вредителем, состоявшим в терроризации? Или тогда, когда признал эти показания ложными и поклялся никогда больше не лгать? Согласись, что оба утверждения, хотя они взаимно исключают друг друга, при той новой информации, которую мы получили сегодня утром, ведут к е д и н о м у выводу...

— Постой, можешь просто, без талмудизма сказать: ты веришь в то, что Павел враг?

Положив короткие ручки на колени, старик печально и твердо смотрел Николаю Григорьевичу в глаза. Такой же слегка остекленевший взгляд был у него — Николаю Григорьевичу вспомнилось, — когда судили Пуятину в двадцать первом году. Вот оно, великое минералогическое свойство этого характера: проходят десятилетия, а он остается самим собой.

— Я Павла знаю тридцать лет, так же, как ты, — сказал Давид. — Он был отчаянный парень. Он же был бомбист. В Березове, помню, он написал брошюру о борьбе с провокацией, очень дельную...

— Когда это было!

— Коля, запомни: люди меняются только внешне, надевают другое платье, другие шапки, но их голая суть остается. Почему ты думаешь, что Павлу все должно было нравиться, что происходит? Ничто не должно было вызывать протеста? Я знаю, он давно отошел от политики. Но именно поэтому он мог сохранить старомодные представления о формах протеста, борьбы...

— Да не верю я в это!

— А я не верю в то, — закричал вдруг Давид, — что ты, я, Павел, любой из нас мог бы подписать заведомую неправду даже под давлением...

— Но ведь подписывают! И в августе, и вот в январе — мы же с тобой говорили... И ты говорил о «временном безумии»...

— Там дело другое. Но чтобы наш Папа, Пашка Никодимов, который не хочет знать ничего, кроме своих турбин и котлов, чтобы он подписал ложь под давлением ли страха, посулов, шантажа, чего угодно — не может бы ты! Исключено! Брехня! Когда в Орловской тюрьме следователь, мерзавец, пытался заставить меня назвать товарища по одному экску — мы взяли тогда кассу в Витковском переулке без единого выстрела, то-

варищем был, кстати, Жорж Рапопорт, ты его должен помнить, который бежал потом в Америку с Завильчанским, — так вот, я ему, мерзавцу, сказал: «Скорее волосы вырастут на этой ладони, чем я скажу вам, милостивый государь, хоть слово!» И сунул ему ладонь в нос, вот так! — Давид приблизил свою ладонь к лицу Николая Григорьевича. — Меня — в одиночку, я — голодовку, голодал восемнадцать дней... А тут — выдать четырнадцать человек! Вот что меня сразило. Ты представляешь, что бы мы сделали с ним в Байшихинском, если б узнали о нем такое? Убили бы, как собаку!

Николай Григорьевич думал: «А вдруг Давид прав?.. Ведь он не говорил этого об Иване Снякине, хотя, правда, об Иване ему ничего не удалось узнать... Человек, доведенный до крайности, отвергнутый, в тоске, черт его знает, на что способен».

— Старые впечатления оседают в нас, как хронические болезни вроде радикулита или язвы, и мешают воспринимать, Коля...

Мысль о том, что Давид прав, постепенно проникала в Николая Григорьевича, превращаясь в убеждение и в некоторое даже облегчение души. Было, конечно, больно думать о Павле, о его гибели, о судьбе Маринки (за Дину Николай Григорьевич был почему-то спокоен), но одновременно возникло чувство покоя, ибо восстанавливался разрушенный было хаосом и необъяснимостью порядок мира. Николай Григорьевич вдруг спросил — этого потребовало возникающее чувство покоя, желавшее быть полным:

— Среди тех четырнадцати, кого он выдал, нет ли моей фамилии? А? — Он засмеялся. — Могла быть. Я устраивал его в «Уралосталь»...

— Не знаю. Зачем спрашивать чепуху?

— Я рекомендовал его недавно в командировку на заводы Дженкинса в Англию. Боролся за него люто, так как считаю его лучшим специалистом на Урале. Кроме того, он ведь какой-то мне родственник, очень дальний... — Николай Григорьевич опять коротко засмеялся. Он почувствовал, что говорит унижительное. — Хотя теперь уже никакой.

— Не знаю. Мне неизвестно, — сказал Давид сухо.

Ему не понравились слова Николая Григорьевича, которого он любил и считал честнейшим работником. Даже шутливое предположение, что Николай Григорьевич мог попасть в список заговорщиков, показалось ему

диким и дурацким. Он сердито засопел, засвиристел, выпуская воздух через нижнюю выпяченную губу, готовясь тотчас же и очень грубо обрезать Николая Григорьевича, если тот вздумает развивать тему дальше. Но тут в комнату без стука и спроса вошел долговязый, на голову выше Давида, белобрысый Валька и скрипуче сказал:

— Давид, дай мне полтинник на кино!

Старик отпер шкаф, стал рыться, бренча копейками, в кармане брюк. Валька стоял посреди комнаты, подбоченясь и в нетерпении слегка выстукивая одной ногой чечетку.

— Как ты говоришь с отцом? Какой он тебе Давид? — вдруг озлившись, сказал Николай Григорьевич.

— А что? — Валька посмотрел невинно. — Он же не Иван, не Селифан какой-нибудь, верно же? Давид — он и есть Давид...

Хотелось щелкнуть его по башке, имевшей форму огурца, башке второгодника и хитрого тупицы, но Николай Григорьевич сдержался, заметив метнувшийся к нему испуганный и какой-то покорный взгляд Давида. Николай Григорьевич отошел к окну. Он слышал, как Давид спросил:

— А какая картинна в «Ударнике»? — и скрипучий хохоток Вальки:

— А ты чего, собираешься пойти?

Уже месяцев шесть Давид не работал в прокуратуре. Его выжил Вышинский. Теперь он занимал какую-то почетную, но десятистепенную должность в Наркомпро-се, писал статьи, выступал с лекциями. Это была, конечно, отставка. Он работал сейчас над большой статьей о Ленском расстреле, и Николай Григорьевич покинул его за столом, заваленным книгами и листами бумаги, написанными крупным поспешным почерком человека, работающего в упоении. Давид обещал сделать все, чтобы помочь Павлу материально — послать деньги, вещи. Но морально он ему не сочувствовал. Выдать! Четырнадцать человек!

Ощущение возникающего покоя вдруг пропало. Николай Григорьевич ушел, подавленный тоской: то была не личная, не направленная на самого себя тоска, а тоска вообще, смутная и не имевшая границ и оттого не поддававшаяся лечению. Может быть, так подействовало одиночество Давида — на девятом этаже, в пещере из книг и старых бумаг, одиночество со старушкой Ва-

силой Евгеньевной, которая сидела вечерами на кухне и читала «Пионерскую правду» (газета выписывалась специально для нее), с оболтусом Валькой, убежавшим до ночи. Николаю Григорьевичу захотелось скорей домой, к Лизе, к детям, к тому, что было беззаветно, прочно, единственно, но в этот вечер он пришел домой поздно.

Он встретил Флоринского.

Во дворе, возвращаясь от Давида, наткнулся на его автомобиль. Флоринский с сыном, дочкой и двумя то ли приятелями, то ли адъютантами приехал с динамовских кортов, где смотрел какие-то теннисные соревнования. От Флоринского пахло коньяком, и он с преувеличенным, азартным радушием стал зазывать Николая Григорьевича зайти к нему сейчас же в гости.

— Ты же грозился! Пользуйся случаем! Обычно я прихожу в четыре утра...

Это «ты» и развязный тон опять резанули. Николай Григорьевич хотел было холодно отказать, сославшись на то, что поздно и его ждут дома — Давид сказал, что Флоринский опасный тип и соваться к нему не следует, — но заколебался, подумав, что такого случая может действительно больше не представиться. Он посмотрел на окна своей квартиры в углу двора. В столовой горел оранжевый свет, в детской было темно. Значит, ребята легли, он опоздал. Лиза знала, что он зайдет к Давиду, и пока еще не беспокоилась. Зайти? В этом громадном доме, доме-городе с населением в десять тысяч человек, жило множество знакомых Николая Григорьевича, но он почти никогда и ни к кому не заходил в гости. Давид был свой, он не в счет. А сейчас тянуло зайти, узнать, даже не узнать, а почувствовать — Арсюшка, конечно, не станет рассказывать всего, что знает, а знает он достаточно, он все-таки там, где пекут и варят, и на его руках, платье остаются запахи этой кухни, этой готовки, варки, горячих брызг.

Пока шли к подъезду и потом поднимались в лифте, обсуждали теннисный матч какого-то чешского гастролера с нашим сильнейшим чемпионом. Николай Григорьевич ничего не понимал в этих спортивных делах и слушал разговор вполуха. Наш чемпион проиграл, кажется, в пух и прах, все этим возмущались. Особенно возмущался сын Флоринского, он был просто бледен от гнева:

— У него это не в первый раз! Саботажник чертов! Отец, ты должен сказать...

— Я уже говорил, — кивнул Флоринский. — Совсем потеряли ответственность...

Дочка Флоринского вдруг спросила:

— А Игорь уроки уже сделал?

— Не знаю, — Николай Григорьевич, улыбаясь, посмотрел на девочку. Она была рыжеватенькая, лобастая, с серьезным и каким-то затуманенным взглядом. — Ты знакома с Игорем?

— А мы в одном классе. У нас сегодня был Пушкинский вечер...

Дверь открыла жена Флоринского, крупная, восточного типа женщина, считавшаяся красавицей. Про нее что-то рассказывали, но Николай Григорьевич забыл, что именно. Что-то о ее прежних мужьях. Усадили за стол, стали угощать, Николай Григорьевич выпил рюмку коньяку, очень настаивали. Шел разговор о вчерашнем концерте в Большом театре, Козловский был изумителен, Нежданова бесподобна, доклад очень глубокий, какой анализ, ничуть не хуже Анатолия Васильевича. Николай Григорьевич наливался угрюмостью. «Хуже! Анатолий-то Васильевич не дошел бы до того, чтобы доклад о Пушкине заканчивать словами: «Книги Пушкина накаляют любовь к великому Сталину».

Приход сюда был бессмыслен. Флоринский рассказывал о каком-то приеме у Ежова третьего дня в честь велопробега пограничников. Агранов сострил, Николай Иваныч поморщился, Николай Иваныч сказал, Николай Иваныч провозгласил... Прислуга, дородная дама в наkolке, чем-то похожая на жену Флоринского, такая же черноволосая, гладкая, с белой кожей, несла, трясясь и придерживая плечом и подбородком, поднос с закусками, нагруженный, как подвода. Арсюшка хотел сначала ошеломить, а потом разговаривать. Николай Григорьевич, скучая, оглядывал столовую, имевшую музейный вид: какая-то темная старина в бронзовых рамах, фарфор, хрусталь, буржуазность. «Ну и ну! — думал Николай Григорьевич. — Кто ж тебе ворожит? В прежние времена твое бы место — в райотделе, уполномоченным».

Арсений Иустинович Флоринский, хоть и выпил за день немало, был совершенно трезв и сквозь шуточный разговор, закуску и музыку (дочка завела патефон с французскими пластинками) смотрел на нечаянного гостя с тайно-жадным вниманием. Заметной чертой характера Арсения Иустиновича, чертой, определявшей многие

поступки и, может быть, само поступательное и энергичное движение его жизни, было редкое злопамятство. Коварство природы заключалось в том, что столь отвратительным свойством она наградила человека на вид простодушного, со здоровым спортивным румянцем, располагающей улыбкой и голубыми глазами.

В злобной памяти Арсения Иустиновича хорошо сохранился эпизод: осенью двадцатого года он, молоденький мальчик в кожанке до колен, с маузером на боку, секретарь ревтрибунала города Владикавказа, примчался на дрезине в Ростов, где стоял штаб фронта, и прямиком в бывший парамоновский особняк, на второй этаж, к члену реввоенсовета Баюкову. Трибунал города Петровска присудил к расстрелу следователя местной ЧК Бедемеллера А. Г., попросту Сашку, двоюродного брата Арсения Иустиновича, за использование мандата ЧК в корыстных целях, вымогательство и грабеж населения. Приговор, как полагалось, был послан на утверждение в трибунал фронта, и Сашкиной жизни оставались считанные часы. Баюков среди членов РВС был известен как либерал, писал обыкновенно «приостановить исполнение», кроме того, он еще с девятнадцатого года, с Саратова, знал Арсения Иустиновича, называл его Арсюшкой и однажды помог его матери старухе, послал ей мешок муки. К изумлению Арсения Иустиновича, Баюков очень резко и грубо ему сказал: «Мы можем простить любого, но не чекиста». И Сашка Бедемеллер, не доживший до двадцати трех лет, был расстрелян на рассвете в балке под городом. Арсений Иустинович отлично запомнил этот день — темный, удушливый ноябрь — не потому, что сильно горевал о Сашке, но потому, что Баюков так беспощадно отверг его доверительную и почти что слезию просьбу. В этой беспощадности было главное, что поразило. Ведь Баюков был добрый человек и к нему, к Арсюшке, относился почти как к сыну или младшему брату. И, хотя память сохранила внезапную, злорадную ненависть: «А ЧК совсем не то, что ты думаешь, старик!» — и ощущение, что он, юноша еще, угадал что-то и увидел дальше, чем Баюков с его шестнадцатилетним партийным стажем, но запомнился также великий и заразительный пример беспощадности, беспощадности, и м е ю щ е й п р а в о.

Потом годами не виделись, Арсений Иустинович учился, работал в следственных органах на Украине, в Закавказье, встретились году в двадцать пятом, на пле-

нуме Верхсуда в Москве — Баюков был тогда крупный чин в Военной коллегии, носил четыре ромба, называл Арсения Иустиновича по-прежнему Арсюшкой и улыбался покровительственно, как юному провинциалу, — потом Арсения Иустиновича перевели в Среднюю Азию, там была сеча, но он выбрался невредимым, попал в Семипалатинск, оттуда в Москву, выдвинулся после закрытого «дела военспецов», где сумел проявить себя почти гениально, со «старым революционером» уже не встречались, того сшибли на хозяйственную работу, как и следовало ждать, и он там чах и тух, занимаясь неизвестно чем. Теперь он прозябал в СНК, в каком-то занюханном, бесполезном комитете. И от прежней важности не осталось ничего, кроме лысины и очков. Он-то думал, наверное, что о нем забыли, и раза два на каких-то приемах — на большие приемы его, разумеется, теперь не зовут, кому он интересен — делал вид, что не замечает или не узнает Арсения Иустиновича, но Арсений Иустинович помнил все прекрасно. Его память была, как сейф, где хранилось множество ценных вещей. Он помнил, например, имя женщины, с которой у «старого революционера» был, по слухам, роман в Ростове, и чья она родственница, и что о ней говорил один человек, причастный к назаровскому мятежу.

Едва обосновавшись на новой должности, Флоринский сразу поинтересовался рядом лиц, в том числе Баюковым. Бумаги были занятные. Например, справка, составленная более года назад, в январе 1936-го, старшим лейтенантом имярек, о том, что Баюков является скрытым троцкистом, контрреволюционно настроен и был связан со Смилгой, Зиновьевым, Каменевым. Одной этой справки было достаточно, чтобы вбить ему очки в лоб, но день еще не настал. Когда он подошел в финском посольстве как ни в чем не бывало, стараясь сохранять остатки бывшего величия, и, криво посмеиваясь, попросил о встрече, Арсений Иустинович даже обрадовался: недурно было бы разработать его поподробней, вплотную. Пусть зайдет, поглядит квартиру. Арсений Иустинович гордился новой квартирой, куда переехал недавно из 4-го дома Советов: сто двадцать метров одной жилой площади! Кабинет гигантский. Жаль, что работать в нем не удастся, дома только завтракаешь да спишь.

Радостное чувство власти, но не грубой, полицейской, а истинной, тайной, имеющей близость к року и божест-

венному промыслу,— тончайшее наслаждение, ради которого единственно и стоило жить, ибо все прочие оргазмы жизни так или иначе доступны миллионам, как общий городской пляж в Ялте, родном городе Арсения Иустиновича, где он родился в конце века в семье судебного чиновника, обнищавшего от болезней и умершего в один год с Толстым, — не покидало Арсения Иустиновича, и он с истомной доброжелательной улыбкой смотрел на Николая Григорьевича и кивал ему, ободряя глазами.

— Балычка, Николай Григорьевич! Икорки бери! Еще рюмку, Николай Григорьевич!

Метель унялась, был мороз, ясно, на дворе тихо лежал оранжевый — от тысячи абажуров, смотревших в окно, — снег. Дворники усердно скребли, стучали, торопясь расчистить дорожки для гуляющих, что вышли по совету кремлевских врачей на вечерний терренкур: похватать морозцу перед сном. Николай Григорьевич тоже шел медленно, дыша морозом, разгоняя легкий коньячный хмель. Странный фрукт этот Арсюшка Флоринский! Час разговаривали, и ничего не разъяснилось, все только затемнилось и запуталось. Не дурак, значит, если умеет путать. Нет, не дурак, не дурак. То есть он дурак, разумеется, но не в том смысле, в каком можно подумать о нем, поговорив с ним десять минут. На такие места, куда его вытащили, люди зря не попадают. О Павле он расспросил подробно, записал, обещал узнать и выяснить, в чем дело, но у Николая Григорьевича во время разговора неотвязно было гадостное ощущение, будто все, что Арсюшка спрашивает якобы сочувственно и записывает тонким караидашником на листах бумаги, лежавших в красивом, из красной кожи бюваре посреди стола, нужно ему не для того, чтобы помочь Павлу и установить истину, а для того, чтобы как-то и что-то выудить из него, из Николая Григорьевича, вызнать какие-то сведения. И, как ни стремился Николай Григорьевич свести разговор на тон небрежно открытой, приятельской беседы, Арсюшка исподволь, но упорно противился этому, и выходило похоже на допрос свидетеля по делу. Он даже имел наглость поучать Николая Григорьевича и советовать, как себя вести в нынешние времена. («Времена серьезные в высшей степени. Можешь мне поверить, я-то знаю. Через несколько дней — скажу по секрету — будет пленум... На местах страшно обюрократились, а о бди-

тельности забыли... Говорят, выступит Иосиф Виссарионович... Главное звено: борьба с нарушителями демократии, с врагами, которые маскируются партийными билетами... Псевдокоммунисты... Мой совет: оборвать все связи с оппозицией, все личные отношения — я знаю, формально ты никогда... но фактически твои дружеские...»)

Николай Григорьевич накалялся злостью, но терпел, убеждая себя в том, что все это, быть может, принесет пользу Павлу. И, только уходя, понял, что никакой пользы не будет. Смутная тоска, напавшая на него в квартире Давида, охватила с такой силой, что защемило сердце. Вдруг он увидел ясно: Арсюшка далеко уже не Арсюшка. Время этой собачьей клички давно прошло. Арсений Иустинович Флоринский, действительный тайный советник, сенатор, вхож к государю, один из заправил департамента. И то, как он подал руку на прощание, как блеснули департаментским холодом его глаза — он даже не вышел в коридор, простился в дверях кабинета, — было фактом, над которым не стоило потешаться, его следовало молча и хладнокровно принять.

Дома были гости: Дина со своей матерью, умницей старушкой Верой Андреевной, и дочкой Мариной. Марина сразу сделала Николаю Григорьевичу знак, чтобы он не проговорился при матери. Через несколько минут она забежала в кабинет, спросила шепотом:

— Дядя Коля, ну как?

Николай Григорьевич сказал только, что Давид Шварц обещал помочь посылкой вещей и денег. О чудовищном признании Павла рассказывать было, конечно, нельзя, да Николай Григорьевич и не верил в него по настоящему.

— У вас неприятности из-за папы? — спросила Марина.

— С чего ты взяла?

— Анна Генриховна сказала. Будто вы за него ходатайствовали и теперь...

— Никаких неприятностей. Как видишь, я жив-здоров.

В столовой две бабушки, Анна Генриховна и Вера Андреевна, играли на пианино в четыре руки. В канделябрах старого «Беккера» горели тонкие свечи, оставшиеся от детской елки, их двойные отражения колебались в черном окне, и пахло сладкой свечной гарью и

домашним печеньем с корицей. Николаю Григорьевичу вдруг страстно захотелось горячего крепкого чаю.

Перед сном Николай Григорьевич стоял у окна в кабинете — был миг тишины, гости ушли, Лиза была в ванной, бабушка спала в своей комнате за портьерой — и, погасив свет, оставив только ночник над диваном, смотрел на двор, на тысячи окон, еще полных вечерней жизни, оранжевых, желтых, красных, редко где попадался зеленоватый абажур, а в одном окне из тысячи горел голубоватый свет, и думал как-то странно, разом о нескольких вещах, мысли накладывались пластами, были стеклянны, одна просвечивала сквозь другую: он думал о том, как много домов было в его жизни, начиная с Темерника, Саратова, Екатеринбургa, потом в Осыпках, в Питере на Четырнадцатой линии, в Москве в «Метрополе», в салон-вагонах, в Гельсингфорсе на Альберт-гаттан, в Дайрене, бог знает где, но нигде не было дома, все было зыбко, куда-то катилось, вечный салон-вагон. Это чувство возникло только здесь, Лиза и дети, жизнь завершается, должно же это когда-то быть, ведь ради этого, ради э т о г о же делаются революции, но вдруг показалось с мгновенной и сумасшедшей силой, что и эта светящаяся в ночи пирамида уюта, вавилонская башня из абажуров тоже временная, тоже летит, как прах по ветру. Жильцы выключают свет в своих комнатах и, наслаждаясь темнотой, летят куда-то в еще большую темноту. Вот что на секунду померещилось Николаю Григорьевичу перед сном, когда он стоял у окна.

Сколько Горик себя помнил, он всегда чем-то тайно и тихо гордился: альбомом марок, велосипедом, мускулами, умением выбивать чечетку, отцом, дядей, двоюродным братом, домом, в котором жил, и многим другим, иногда совсем нелепым и незначительным. Года два назад он гордился тем, что большой палец левой руки мог выгнуть почти под прямым углом, чего не удавалось сделать никому в классе. Мало того, он сам не мог сделать того же большим пальцем своей же собственной правой руки! Это удивительное свойство левой руки было, разумеется, предметом зависти. Некоторые мучились переменаами напролет, стараясь выгнуть свои большие пальцы под прямым углом, но все было тщетно. А он выходил, гуляючи, из класса, правая рука засунута в карман, а левой небрежно помахивал как бы между про-

чим, как бы посылая воздушные приветы — и большой палец его левой руки, выгнутый легко и безукоризненно, стоял, как взведенный курок. Горик гордился и другими таинственными свойствами своего организма. Он, например, не выносил клубники — сейчас же покрывался сыпью. Своими толстыми губами умел издавать звук, похожий на звук пробки, вылетающей из бутылки.

В прошлом году Горик очень гордился искусством игры «в города». Никто не мог его победить ни в школе, ни дома. Однажды играли дома, и, когда все выдохлись на букву «а», Горик назвал Асунсьон (у него было еще штук десять в запасе, самых заковыристых, вроде: Антофагаста, Антананариву, Акапулько), а отец вдруг засмеялся: «Ну, брат, не сочиняй, хитрый Митрий!» — «Кто сочиняет? — возмутился Горик. — Это столица Парагвая!» — «Брось, брось! Придумал тут же, не сходя с места». Горик побежал в свою комнату и принес атлас. Отец был изумлен. А Горика стало неловко оттого, что он слишком наглядно доказал отцу, что знает географию лучше, и, хотя мысленно нашел этому оправдание — отец был сиротой, воспитывался в детском приюте и никогда в жизни не собирал марок, а вся Горикина география пошла от марок, — все же он чувствовал себя виноватым. Не надо было бежать за атласом. Отец сам запросился, стал спорить. И, однако, сердце Горика тихо и тайно ликовало: в мире уже были вещи, известные ему и неизвестные отцу!

Горик понимал, что тщеславиться и гордиться чем-либо нехорошо, но, как курильщик, который тянется к табачному дурману и не может жить без него, хотя понимает всю его вредность, он уже не мог существовать без знакомого и привычного щекотания гордости, гордости все равно чем, но постоянной, иной раз даже бессознательной. Бывало, он невольно обнажал свое тщеславие напоказ, и это кончалось конфузом. Как-то на уроке немецкого языка вместо того, чтобы просто поднять руку и попросить у учительницы разрешения выйти, Горик обратился к ней с длинной немецкой фразой: «Erlauben Sie mir bitte gehen gorthin wohin der Kaizer Zu Fußgeht». Класс затих. Никто ни шиша не понял. Учительница кивнула, и он гордо вышел. Конечно, он знал немецкий намного лучше всех в классе потому, что третий год занимался с Марией Адольфовной. Когда он вернулся, его встретили злым хохотом. «Ну как? Все в порядке? Донес? — кричал Володька Са-

пог. — Успел?» Пока Горик отсутствовал, учительница, разумеется, объяснила его вопрос; но это восприняли не как изысканную аристократическую шутку, на что Горик рассчитывал, а как грубую похвальбу, и немедленно отомстили.

Другим свойством, тайно изнуравшим Горика не менее, чем тщеславие, была ревность. Это было тайное тайных, спрятано так глубоко, что он сам себе не признавался в том, что это было, но было и мучило, и осталось потом надолго одним из самых острых, терзающих воспоминаний. Все считали, что Леня Крастынь, или, по-школьному, Леня Карась,— выдающийся талант нашего времени. Леня увлекался палеонтологией, джиуджитсу, научно-фантастическими романами — он писал их сам в толстых общих тетрадах, — рисованием и закалкой воли. До декабря месяца он ходил в коротких штанах, закаляя волю и тело. Кроме того, он в п а д а л в я р о с т ь. Он был близорук, иногда приходил в школу в очках, страдал плоскостопием и был самый низкорослый в классе, но его боялись трогать даже такие дылды, как Тучин и Меерзон, по прозвищу Мерзило, зная о том, что он в п а д а е т в я р о с т ь. И такой человек был другом Горика. Впрочем, настоящим ли? А может, Горик просто пользовался тем, что они были соседями, он жил в седьмом подъезде, Леня в восьмом, и они часто ходили вместе в школу и вместе возвращались? Многие мечтали о дружбе с Ленею. Володя Сапожников, и Марат, и Меерзон жили в этом же доме, но в других дворах. Неужели же только то счастливое обстоятельство, что Горик и Леня случайно оказались жильцами соседних подъездов — вот что томило! — и явилось причиной тех долгих увлекательных бесед по дороге из школы и в школу, которые они вели о бронтозаврах и птеродактилях, испанских событиях и борьбе кардинальской гвардии с мушкетерами короля.

Обычно Леня звонил в четверть девятого. «Ты готов?» — «Готов!» — отвечал Горик, даже если не был совсем готов, что случалось чаще, ибо он был соня и «кунктатор», то есть «медлитель», как говорил отец. Поспешно одеваясь, дожевывая на ходу, он хватал портфель и бежал вниз по лестнице. Они встречались под аркой. Если Леня оказывался там раньше и ждал Горика минуту или полминуты, он всегда отпускал какое-нибудь ехидное замечание: «Не мог оторваться от пончиков?» Или же: «У тебя яичница на подбородке, ми-

лейший». Иногда мог сказать злое: «Только такие барчуки, как ты, жрут по утрам пирожные». Вообще Леня был вспыльчив, легко закипал, но так же легко отходил, обид не помнил. Если он не звонил в четверть девятого, Горик иной раз звонил ему сам, но чаще самолюбие удерживало от звонка. Раза два было так — он звонил, Карась говорил: «Ты иди, я немного задерживаюсь», — а потом Горик выходил и видел, как Леня спокойно шествует с Володькой или с Маратом, или с обоими вместе. Володька Сапог и Марат Ремейко жили во дворе, где кинотеатр, в четырнадцатом подъезде, и обыкновенно ходили вдвоем, но они, конечно, рады были принять Леню в компанию. Впервые, когда Леня таким способом изменил Горику, Горнка поразило иное: как раз накануне Леня высказывался и о том, и о другом почти с презрением. Про Марата он сказал, что это «хитрая обезьяна», только и занят тем, что читает в энциклопедии статьи «Размножение», а про Володьку — что он истинный «сапог», редкий тупица и с ним не о чем разговаривать. Однако они шли втроем по набережной и разговаривали прекрасно. Горик сделал вид, что его это вовсе не задело, обогнал их, независимо поздоровался, а на переменке спросил у Лени как бы невзначай: «О чем это вы утром на набережной...» — «Да Марат рассказывал про Испанию. Один их знакомый оттуда приехал». Черт возьми, Горику сделалось обидно, и он понял, почему Леня поперся с ними. «Да? — сказал он. — И что же?» — «Ты разве не знаешь Маратика? Запоминает всякую ерунду, анекдоты...»

Но через неделю Леня снова шел с Ремейкиным-Скамейкиным по набережной, а Горик плелся сзади, и ему не хотелось обгонять их и независимо здороваться.

На другой день после драки с Чепцом Горик зябнул утром под аркой и ждал Леню с нетерпением. Он помнил, что тот намекал на какую-то страшную клятву.

Леня появился непроницаемый и быстрый, на ходу погруженный в думу. Только свежий, свекольного оттенка фингал под глазом сообщал какое-то комическое несоответствие его серьезному, бледному от напряжения мысли облику.

— Ну? — спросил Горик.

— Что? — сказал Леня.

— Как насчет клятвы?

— А! На перемене после второго урока, я же ска-
зал...

Первый урок был немецкий. Эсфирь Семеновна очень нервничала. На предыдущем ее уроке случился скандал: лишь только она заговорила о диктанте, как поднялся шум и гам, все стали топтать ногами и стучать по крышкам парт, как это делали в Государственной думе (судя по новому изумительнейшему фильму «Ленин в 1918 году»). Кое-как при помощи старосты Эсфирь утихомирила класс, опять завела речь о предстоящем диктанте, но ее опять сбили — начали организованно гудеть. Эсфирь помчалась в учительскую и пришла с групповодом Елизаветой Александровной. Весь гнев почему-то обрушился на Мерзилу, которого выгнали из класса. Вот почему Эсфирь Семеновна сегодня нервничала, и Горик даже испытывал нечто вроде сочувствия к ней, глядя на то, как резко двигалась ее маленькая красная головка на красной же, чем-то похожей на петушиную, морщинистой шее и как настороженно метались ее взгляды туда-сюда. Есть такие учителя, один вид которых, беспомощность, неловкость, ординарность и отсутствие чувства юмора вызывают желание изводить их. Такой неудачницей была Эсфирь Семеновна. Ее уделом было служить мишенью для скрытых издевательств и попадать впросак. Неожиданно загудела труба завода «Красный факел», находившегося рядом со школой, за кирпичной стеной.

— Кто гудит? — завопила Эсфирь Семеновна.

На втором уроке тоже удалось посмеяться. Был русский. Вызвали Володьку Сапожникова и спросили про наречие: изменяется оно или нет?

— Изменяется! — твердо ответил толстяк. Сапог всегда держался у доски крайне уверенно. А на сей раз он заметил, что новичок, сидевший на первой парте — как оказалось потом, большой шутник, — едва заметно кивал.

— Подумай хорошенько, Сапожников. Изменяется?

— Да! — еще более твердый ответ.

— По чему?

— По... по лицам.

— Ну, проспрягай мне хотя бы, хотя бы наречие «реже».

— Реже! Я режу, ты режешь, он режет...

Все грохотали, но Сапог был невозмутим — его ничем не прошибешь. И только, идя к своей парте, показал новичку кулак.

Настала перемена после второго урока. Горик полу-

чил записку от Лени, написанную простейшим цифровым шифром, прочитать которую было делом одной минуты: «На втором этаже у окна напротив физкабинета». Окно выходило в сад. Была видна набережная, берег, стылый под снегом кремлевский холм, часть стены с башней и дворец. Пришел Сапог, сел на подоконник и стал есть пирожки. На каждой перемене он что-нибудь ел. Появление Сапога обескуражило Горика: неужели Леня такой дурак, что решил посвятить в свою тайну и этого болтуна? Затем прибежал Марат и как ни в чем не бывало сказал:

— Вы уже здесь?

Значит, и этот приглашен. Горик насупился. Ленина тайна теряла свою прелесть. А ведь он, как участник драки с Чепцом и самый близкий сосед Карася, имел право быть посвященным первым.

Но пришел Леня, и обиды исчезли.

Леня сказал:

— Я предлагаю организовать ОИППХ. Что это значит, спросите вы? Общество по изучению пещер и подземных ходов.

Трое смотрели на Леню в ошеломлении. Сапог закашлялся — его рот был полон непрожеванной пищи.

— Подробности, — сказал Леня, — я сообщу на следующей перемене. А сейчас мы должны делать вид, как будто ничего не случилось.

Горика было поручено достать электрический фонарик, свечи и спички. Свечи и спички он просто вынул из ящика кухонного стола, где Маруся хранила всякую хозяйственную хурду-мурду, но с фонариком пришлось повозиться. У Сережки был прекрасный фонарик-жужелица, Николай Григорьевич привез его из Германии и подарил Сережке ко дню рождения. Матово-черный, изящный овал, удобно помещавшийся на ладони. Горик отлично знал, где фонарик хранится: в Сережкиной комнате, в книжном шкафу, внизу. Взять его было легко, но Сережа непременно заметит. Он как собака на сене, своими вещами не пользуется, но стережет их зорко. Оставалось одно: соврать что-нибудь и попросить.

Первый выезд в пещеры — по Павелецкой дороге, станция Горки — Леня назначил на двадцать третье февраля, на День Красной Армии. До этого следовало тщательно готовиться, закаляться физически и морально. Каждый вечер все четверо брали лыжи, уходили на Болото и бегали там до очумелости по заснеженному

пустырю, где когда-то был парк, который вырубили. «Где фонарик?» — ежедневно допрашивал Леня, держа наготове книжечку. В этой книжечке по пунктам было отмечено, кому что поручено, что исполнено и что нет. Сапог занимался едой: копил сахар, сухари, шоколад, кое-что покупал. У него и денег было больше, чем у других, его мать Ольга Федоровна была добрая женщина, а отец работал в Наркомторге. Скамейкин обеспечивал бечевку и номера. Он должен был написать на отдельных листках размером в половину тетрадного листа три сотни номеров. Леня отвечал за все. У него были компас, карта и оружие — финский нож.

— Где фонарик?

— Сережки не было дома... Сегодня я обязательно...

— Ты просто экспроприруй, и все. Не для себя ведь, а для общества. Для ОИППХа. Тут нет ничего дурного. Все революционеры делали экспроприации.

Горик еще никогда в жизни ничего не экспроприировал. Только, может быть, три или четыре раза — марки. Но ведь все филателисты занимаются такой простодушной экспроприацией. Горика учил сам Сережка, два года назад отдавший Горика свою коллекцию: незаметно облизать языком ладонь (это удобно сделать, если сидеть, пригорюнившись) и потом опустить руку на рассыпанную по столу грудку марок, показывая на какую-нибудь пальцем: «Вот эту меняешь?» После чего спокойно убирать руку и засовывать ее в карман — к влажной ладони обязательно прилипнут одна, две, а то и три марки. Этот приемчик можно повторить за один сеанс обмена несколько раз, постепенно набивая карман чужими марками. Помнится, у Мерзилы Горик однажды унес таким способом четырнадцать марок. Правда, попалась одна дрянь.

Но марки — дело одно, а фонарик, например, — совсем другое. Взять его без спроса казалось Горика немислимо. Он мучился, придумывая, что бы наврать. Наконец придумал: пусть попросит Женька. Ей Сережа даст, ничего не заподозрив. Женька согласилась, потребовав за услугу металлический карандаш.

Вечером долго сидели в столовой после ужина. Взрослые говорили о всякой всячине, о войне, политике, древних хеттах, врагах народа, о полярном лагере Шмидта, о Карле Радеке, который еще недавно жил в этом же подъезде, и Горик иногда видел его, рыженького, на лестнице, о писателе Фейхтвангере, о том, что

пала Малага и что атакой руководил германский морской штаб с крейсера «Адмирал Шпеер», как всегда, отец спорил с бабушкой, а Сережка спорил со всеми. Кто бы что бы ни говорил, Сережка сейчас же доказывал обратное. Недаром мама говорит, что Сережка «противно спорит». Если бабушка замечала, что статья какого-то грузина в «Известиях» о том, что грузины произошли от древних хеттов, очень интересна, Сережка утверждал, что эта статья — бред. Если отец говорил, что падение Малаги еще ничего не решает, Сережка заявлял, что падение Малаги решает все, ибо Мадрид теперь в два счета будет отрезан от моря. Когда мама сказала, что Лион Фейхтвангер — умнейший писатель, Сережка, лишь бы поспорить, сказал: «Прости меня, но, по-моему, он идиот».

Бабушка наконец не выдержала и сказала, что он пока еще не академик, не профессор, а лишь только студент третьего курса. И к тому же не с блестящими отметками. Сережка, конечно, надулся и замолчал. Сам он любил делать другим замечания и ехидничать, но тронуть его — боже упаси. Они с отцом пили лимонную настойку, и Сережка был уже красный, говорил чересчур громко, а отец, сняв очки, улыбался как-то посторонне. Отец пошутил насчет того, что Сережка не академик, не профессор, но зато жених, а это кое-что значит. И тут Сережка окончательно обиделся и сказал, что его личные дела никого не касаются.

Настала неприятная тишина, и Горик подумал, что сейчас не совсем удобный момент просить фонарк. Но особенно затягивать было тоже нельзя, потому что скоро погонят спать. Горик сидел боком в кресле, перекинув ноги через мягкий подлокотник, а в другой подлокотник упершись спиной, листал старинный трепаный том Жуковского, как будто рассматривая картинки, а сам поглядывал косо на Женьку. Он ее гипнотизировал. Женька сидела с большими за столом и вышивала восьмигранную салфетку по методу Марии Адольфовны. То же дурацкое занятие! Из школы носит одни «посы», а вечером занимается ерундой. Женька прекрасно поддавалась гипнозу, он заметил давно. Конечно, при наличии у гипнотизера сильной воли. Он внушал ей: «Фонарик! Фонарик! Фонарик!» А она отвечала: «Надоело! Отстань!»

Мама сказала, что обещал прийти дядя Миша, но

почему-то опаздывает. Отец встрепнулся. «Разве Михаил звонил?» Они заговорили о рукописи, которую написал дядя Миша и которую отец должен был кому-то передать и не передал. Бабушка стала отчитывать отца. Мама подтвердила: «Верно, Коля, нехорошо, Миша звонил три раза. Его это сердит...»

Отец, взволнованный, ходил вдоль стола, тер с ожесточением лысину.

— Вот черт, виноват я, конечно! Не получалось Серго увидеть... Можно было, конечно, специально...

— Коля, какой вы необязательный, — качала головой бабушка. — А второй экземпляр?

— Он просил только об одном: передать Серго. Остальные экземпляры хотел передать сам, обычным порядком: в Политбюро, в Президиум... Ах ты, черт меня дра! Все напрасно, книга не пойдет, но я обязан был...

— Тем более Миша сейчас... — сказала мама.

— В том-то и дело, — сказал отец.

Бабушка, продолжая ворчать и качать укоризненно головой, ушла в свою комнату и вернулась с очками на носу, держа газету. Она изъявила желание прочитать вслух заметку из позавчерашнего номера под названием: «Опасная игрушка». Никто не возражал, а мама даже сказала:

— Конечно, почитай,— и бабушка стала читать. Бабушка любила читать вслух. Она говорила, что в молодости ей предлагали стать актрисой, но дедушка отсоветовал, сказав, что нужно отдать все силы революции, а потом получилось так, что дедушка сам отошел от революции и даже разошелся с бабушкой из-за революции, а бабушка так увлеклась революцией, что забыла обо всем остальном. Но читала она до сих пор очень хорошо и красиво.

— «Безупречно здоровый девятимесячный ребенок внезапно занемог,— читала бабушка.— У него пропал сон, расстроилась деятельность кишечника, появились странные движения рта, до крови растрескались губы. Ребенок начал быстро терять в весе. Ни мать, ни наблюдавший за ребенком врач не могли определить причины заболевания...»

— Страсти-мордасти,— сказал Сережка, доставая из кармана портсигар, оттуда папиросу, постукивая ею по портсигару и разминая тщательно и не спеша, но не закуривая, потому что в столовой бабушка курить ему

не разрешала. Он даже вытащил спички, сунул папиросу в зубы — играл на нервах.

— «Врач предполагал наличие какой-то инфекции! — повысив голос и грозно поглядев на Сережу, но не замечая его папиросы, а просто требуя тишины, продолжала читать бабушка. — Третьего февраля, спустя две недели, мать обнаружила на пеленках какие-то крупинки. Это были острые осколки камней — кварца (Женька на цыпочках подошла к Сережке, что-то сказала ему на ухо. Он кивнул, и Женька вышла из комнаты)... гранита и полевого шпата, некоторые величиной с булавочную голову, и каменная пыль. И сразу стала понятна причина болезни ребенка...»

— Очень интересно! — сказал Сережка нахальным голосом. — Наверно, вредительство?

— «Когда ребенок брал игрушку в рот... — Бабушка почему-то показала на Сережку пальцем. — Ее швы расходились и содержимое оказывалось во рту и в желудке ребенка». Ясно вам? «Если после этого взять погрешку за ручку и трясти ее, из нее камни не просыпаются — так хитро сработана эта игрушка». И дальше...

Отец сказал что-то маме, вышел на цыпочках из комнаты.

— Дальше, — сказала бабушка, — указан адрес фабрики, которая выпустила эту действительно вредительскую игрушку. Между прочим — Ленинград. Тоже показательно. Жалко, кстати, что Николай Григорьевич ушел. Он всегда говорит, что я паникую...

— Знаешь, мама! — Сережка встал так резко, что стул едва не упал, но, о чем Сережка заговорил, Горик уже не слышал. Он проскользнул в коридор, оттуда в детскую, где было темно и раздавалось заветное жужжание: Женька забавлялась фонариком. Горик подбежал к ней.

— Давай!

Она спрятала руку за спину.

— А карандаш?

— Сейчас дам... Есть же люди! — Он чуть не задохнулся от возмущения: так не верить родному брату! Нашарил в потемках — а зажигать свет не хотелось, чтобы не нарушать очарования жужжащей и светящей добычи, и Женька тоже не зажигала, продолжала жужжать и метать по стенам зигзаги луча — свой валявшийся на полу портфель, нащупал под тетрадками, на дне, металлический карандаш и вытащил его безо всякого

сожаления.— На! — сказал он. — Давай сюда и спасибо.

— А что сказать, если он завтра попросит?

— Скажи — забыла в школе.

Она убежала, а Горик постоял немного в темноте, пожуужал, пометал лучиком.

Потом все испортил Марат, это трепло и женский угодник: протрепался Кате Флоринской и даже позвал ее пойти вместе в пещеры. Леня был ошарашен, когда Катя вдруг подошла к нему и спросила, можно ли ей взять с собой старшего брата. Ничего еще не поняв, Леня отвегил: «Ни в коем случае!» Потом, поняв, он расสวิршел. «Какой же я осел! Все вы трепачи и ненадежные люди, — говорил он. — Вы трусливы, как зайцы, и блудливы, как кошки!» Леня терпеть не мог женщин. Никогда ни к одной девчонке он не обращался с вопросом, они были для него, как пустое место, а если какая-нибудь девчонка случайно спрашивала что-нибудь у Лени, он напыживался, каменел и цедил сквозь зубы невнятное.

Как-то они гуляли с Гориком на дворе, и Карась предложил поклясться друг другу в том, что они никогда не станут иметь дело с девчонками. Поклялись. Горик отнесся к клятве легко. Он не имел дел с девчонками, такие дела и не предполагались, так что никакого урона себе он этой клятвой не наносил и вообще ни малейшего значения для жизни Горика клятва иметь не могла, просто он согласился на нее, чтобы сделать товарищу приятное. Но однажды Леня дал ему почитать свой научно-фантастический роман «Пещерный клад» — три толстые тетради в ледериновых переплетах, исписанные мелкими, без помарок чернильными строчечками,— Горик по неосторожности показал роман Женьке, она не смогла прочесть больше двух страниц, но Леня все равно страшно оскорбился, назвал Горика предателем и клятвопреступником и не разговаривал с ним несколько дней.

Обозлившись и теперь, Леня заявил, что поход откладывается на неопределенное время — до улучшения погоды. Сказал, что из-за оттепели нельзя подойти ко входу в пещеру, все затопило. Может, так и было. Тянулась мутная, тревожная зима: то холода, то метели, то сырости.

Вдруг после выходного Леня на первом уроке подсел к Горикку за парту и показал левую ладонь, искромсан-

ную ужасной раной, как будто кто-то железным гребешком содрал кожу. Почти вся ладонь от того места, где щупают пульс, до верхней поперечной складки была намазана зеленкой.

— Молчи, понял? — зашептал Леня. — Я вчера в пещеру лазил. Один. Ух, там красота, елки-палки! Тепло-тепло! Просто жутко тепло, градусов шестнадцать по Цельсию, я весь потный вылез. До второго зала дошел, оставил записку и назад. А это я рукавицу потерял и в первом зале, когда прыгал, сорвался...

Горик слушал потрясенно.

— Как же ты... один?

— А что? Одному здорово. Ты молчи. Никому!.. Мы с тобой вдвоем — понял? — в следующий выходной...

На перемене Вовка, заподозрив что-то, подкатился к Горику и стал выпытывать, что ему Карась шептал.

— Да так, ничего особенного.

— Ничего особенного? А чего ж ты глаза вытаращил, я видел...

Было неприятно врать. Главное, Горик не понимал смысла: если уж наказывать, то Скамейкина, а Сапог ни при чем.

Оттепель сменилась стужей. Когда шли по набережной в школу, синяя морозная мгла вставала над Кремлем и на гранитном парапете лежал пушистый и толстый утренний слой снега, который хорошо было сбивать палкой, портфелем или просто варежкой.

Катя Флоринская спросила у Горика: отчего Леня Карась так ее ненавидит? Горик в смущении — Катя его чем-то томила, она была новенькая, загадочная — вынужден был сказать, что Леня вообще относится к женщинам отрицательно. Горику хотелось рассказать Кате все и позвать с собой в следующее воскресенье, но чтоб без Марата, без никого, вдвоем, но он, конечно, ничего не сказал и только смотрел, усмехаясь криво и нагло, на Катю. Она была очень огорчена. Они стояли в среднем дворе, рядом с задним, служебным входом в «Гастроном», возле которого всегда лежали горы деревянных ящиков, грязная бумага, стружки, куски картона. Горик держал двумя руками портфель и стучал по нему коленями, то одним коленом, то другим. Потом они разошлись: Горик пошел в свой седьмой подъезд, Катя в свой десятый.

А Марат Ремейкин-Скамейкин погибал у всех на глазах. Он носил заграничный Катин ранец, держа его

неуклюже за лямки, что выглядело глупо, потому что ни один дурак так ранцы не носит. Потеряв всякую совесть, он ждал Катю утром у подъезда. Затеял драку из-за Кати с одним гигантом из седьмого класса, который стал приставать к Кате в раздевалке, и пришлось вмешиваться, спасти Скамейкина. (Гиганта втроем повалили на пол и чуть не задушили под ворохом пальто.) Все это было бесстыдно и унижительно. И, когда Леня сказал Горик, что Марат должен быть, как разложенец, исключен из членов ОИППХа, Горик радостно согласился. Он не вполне точно представлял себе значение слова «разложенец», в его сознании возникла отвратительная картина, темно-коричневая, насквозь прогнившая и жидкая от гнилости груша.

Чем ближе подступал назначенный Леней срок — выходной, — тем сильнее становилось Гориково волнение, которое надо было скрывать. Ночь на четверг он почти не спал. С одной стороны, его преследовали картины ужасной смерти в пещерах и подземельях, приходившие на память из книг Гюго, Дюма, Густава Эмара, но силою воли он побеждал страх и был, в сущности, готов на все; с другой же стороны, еще более мучительной, чем страх, была необходимость соблюдения тайны, чего требовал Леня. Какая-то садистская пытка: погибнуть он соглашался, но погибнуть в неизвестности, так, чтобы даже мама не знала, где и как он погиб! Несколько раз среди ночи Горик решал встать, пойти к кабинету, вызвать маму и кое в чем ей признаться, кое на что намекнуть. Но окончательной решимости с малодушничать каждый раз не хватало.

В школу Горик шел с головной болью, на уроках сидел в отупении, плохо соображал. В другую ночь Горик заснул быстро, лишь только лег, но сон был тяжелый, снилась какая-то река, плоты возле берега, он плавал рядом — на глубоком месте, где «с ручками», — и его затягивало холодной струей под плоты, забивало все дальше, вглубь, в темноту.

В столовой поздно сидели, пили чай, вдруг увидели: Горик, босой, в ночной рубашке, вышел из детской и, протягивая руки, шаря ими в воздухе, как шарят в потемках, зашлепал через всю столовую к креслу. Глаза были закрыты, он спал. Все перепугались, отец схватил Горика на руки — тот не проснулся, — понес в детскую, уложил. Мама так встревожилась, что не хотела Горика пускать на другой день в школу. Но все же пус-

тила. Горик ничего на утро не помнил и очень удивился, когда ему рассказали. И немедленно, по своему обыкновению, стал гордиться: рассказывал всем в школе, что ходил ночью по квартире, как настоящий лунатик.

Мама сказала: «Он очень перенервничал с пушкинским юбилеем».

Бабушка сказала: «Он слишком много читает. Надо давать ему не больше одной книги в неделю. А он их глотает, как сумасшедший».

Отец сказал: «Он растет. В этом все дело. И не устраивайте панику».

Никто не знал, что с ним происходит. И он крепился — никому, ничего. Но тут, как на грех, явились дядя Миша с Валеркой и остались ночевать. Валерка весь вечер хвалился, рассказывая, какие мать подарила ему финские прыжковые лыжи и как он ездил с ребятами на одну далекую станцию по Казанской дороге — прыгать с трамплина. И как наврал отцу, будто ходил на лыжную экскурсию с классом, а если б отец узнал правду, он бы дал такого ремня, что будь здоров, и переломал бы лыжи, он и так эти лыжи ненавидит, потому что их подарила мать, даже требовал, чтоб Валерка отказался от них. Нашел идиотика — отказываться от финских прыжковых лыж! Слушать Валеркину похвальбу было непереносимо. Горик терпел, боролся с собой долго, но, когда уже легли спать, не вынес и открыл Валерке все. Тот сразу завял со своими прыжковыми лыжами. И начал канючить, чтоб Горик взял его с собой в пещеру. Горик пообещал.

На душе Горика стало легче: теперь было кому в случае чего рассказать маме о том, как и где погиб ее сын, мужественный, сдержанный и очень молчаливый человек.

Когда он вернулся из школы на другой день, Валерки уже не было, его увезли куда-то к матери или к тетке, но дядя Миша остался. И первое, что дядя Миша сказал — лукаво и тихонько, на ухо Горику, — было:

— Ну, браток, будешь сегодня ответ держать перед батькой!

У Горика даже в животе похолодело. Неужели Валерка, гад, протрепался? Мама три дня назад уехала в командировку в совхоз, отец был на работе, бабушка тоже. Засунув пальцы под ремень своего широкого блестящего пояса, дядя Миша расхаживал по комнате и

загадочно посматривал на Горика, ничего не говоря. Он ждал, что Горик сам все выложит. Но Горик молчал. Он помнил, как однажды учил Леня: ни в чем не признаваться и все отрицать.

— Вот что, Игорь Николаевич, — сказал дядя Миша, — все твои злоумышления стали нам известны. Отец уже звонил мамаше этого вашего героя — как его? — который все закаляется, ходит с голыми коленями до декабря месяца, чтоб схватить костный туберкулез.

— Лене? — ужасаясь, вскрикнул Горик.

— Может быть. Он какой-то больной. Отец говорит, что у него припадки. Как же можно ходить с припадочным в пещеры? А тем более пускать его туда одного? Ну? Ты же взрослый мужик, должен соображать. Я всегда считал, Игорь Николаевич, что ты мужик с головой, не то что мой обормот...

— Уж, во всяком случае, я не предатель! — пробормотал Горик дрожащим голосом.

— Хочешь сказать, что Валерий тебя предал? Верно, но ты предал своего Леню, разболтал Валерию. Так что хороши оба. Но дело-то вот в чем... Мать этого Лени... Кто она такая?

— Обыкновенная женщина. В типографии работает.

— А отец?

— Отец с ними не живет. Он военный. Комбриг, по моему. Он на Кавказе где-то.

— Комбриг? Как фамилия?

— Крастынь.

— Одного Крастыня я знал по Дальнему Востоку. Ну, неважно. Мать, странная особа, стала смеяться в телефон, просто заливается хохотом — отец рассказывал — и сказала, что ее Ленька все брешет, не верьте ему, он вообще, говорит, фантазер, мечтатель, и пороть его некому. Ни в какие пещеры он не лазил и не ползет, а руку поранил — в кино хотел попасть без билета, перелезал через стену у вас тут, на заднем дворе, и рюхнулся. Отца, милый друг, возмутило то, что ты от всех в тайне, молчком-молчком собирался ехать куда-то на электричке...

Горик слушал остолбенело, потом тихо пошел в детскую, бросил на пол портфель и лег на свою кровать.

Вскоре пришла с работы бабушка, явился Сережка, пришла Женька с пластики, приехала мама, продрогшая, усталая, в заиндевелем брезентовом плаще поверх

полушубка, с рюкзаком, где обязательно бывали какие-нибудь подарки — на сей раз деревянные игрушки, купленные в одном забытом богом городке на базаре, — и, как всегда после таких отлучек из дома, мама была очень веселая. Она сразу побежала принимать ванну. Была как раз пятница, день горячей воды.

Дядя Миша, как благородный человек, ничего не рассказал ни маме, ни бабушке. Все ждали Николая Григорьевича, он почему-то задерживался. Горик, полежав немного с видом человека в полном отчаянии и вызвав этим приятное волнение у Женьки (она подходила несколько раз и спрашивала с испугом «Что с тобой?»), но он молчал, да и, по совести говоря, он сам толком не знал, что с ним), с бешеной энергией взялся готовить уроки: сделал русский, примеры, четыре задачи, нарисовал контурную карту, а отца все не было. Дядя Миша тоже нетерпеливо ждал его и даже поругивался: «Вот чертушка, куда он запропал?» Отец должен был сегодня увидеть Орджоникидзе и узнать у него про рукопись дяди Миши. Разговор об этой рукописи было много. Называлась она «Ожидание боя». О будущей войне. Бабушка и мама говорили, что рукопись очень интересная, Сережка сказал, что кое с чем он не согласен, а отец хотя и хвалил рукопись, но сказал маме — Горик случайно услышал, — что Михаил занимается не своим делом. Они с дядей Мишей однажды поссорились, дядя Миша кричал: «Твое дело отдать, а что ты там думаешь, меня не интересуешь!» От того, что скажет Орджоникидзе, зависело многое: напечатают ли рукопись, вернут ли дядю Мишу на работу в Военную академию и пустят ли его наконец в Испанию, куда он давно и безуспешно стремился.

Поэтому дядя Миша нервничал, ожидая отца. Кроме того, он хотел вернуться сегодня же в Кратово и боялся опоздать на последнюю электричку.

Вместо отца неожиданно приехал Гриша, мамин брат, живший в Коломне и работавший на коломенском заводе инженером, со своей женой Зоей. Гриша рассказал, что как раз вчера он был с заводской делегацией у Орджоникидзе, приглашали Серго на конференцию дизелистов в Коломну, но Серго поехать не сможет — конференция начнется завтра, — он передал письменное приветствие, Гриша вытряс из портфеля листок бумаги, всем показывал: «Поздравляю дизелистов Коломзавода! Боритесь за 240 тысяч лошадиных сил в год!»

— Мы напечатаем типографским способом, — говорил Гриша, — здесь будет маленький портретик Серго, и раздадим всем делегатам как подарок...

Сережка и Гриша сели на диване играть в шахматы. Горнк пристроился смотреть. Дядя Миша тоже подходил иногда, смотрел секунду и командирским тоном приказывал: офицера гони! Бей турой! Уводить королеву, уводить к чертовой бабушке! Он тыкал пальцем в доску, хватал фигуры, переставлял. Сережка, презрительно усмехаясь, но не говоря ни слова, ставил фигуры на место, и Гриша своим деликатным, тонким голосом просил:

— Михаил Григорьевич, ради бога...

Дядя Миша играл в шахматы очень плохо. Наверное, хуже всех. Но он любил вмешиваться и давать советы... Сережка наконец не выдержал и сказал вежливо, но ехидно:

— Дядя Миша, мы сейчас доиграем, а ты потом спокойно сыграешь с бабушкой, ладно?

Бабушка играла ничуть не хуже дяди Миши, но дядя Миша взъярился:

— Ах ты, щенок! Наглец! Да я тебя в матче изничтожу, сотру в порошок! Котлету из тебя...

Сережка тут же предложил сыграть на деньги матч из десяти партий. Он частенько таким образом «доил» дядю Мишу, но дядя Миша почему-то упорно бросался с ним играть и с возмущением отвергал фору, а Сережка предлагал даже ладью. Они успели сыграть пять партий, дядя Миша все проиграл, и в это время позвонил отец и сказал, что находится на пути домой. Это значило, что он где-то застрял, к кому-то зашел. Может быть, даже здесь, в доме.

Через полчаса он приехал, вошел в шубе и в шапке в столовую. Лицо у него было серое, какое-то слепое, ни на кого не глядя, он сказал:

— Серго умер.

Бабушка вскрикнула. Все остальные молча смотрели на отца, он повторил:

— Серго умер. Четыре часа назад. Сказали, будто от паралича сердца.

Горика впервые в жизни болезненно и мгновенно, как током, пронизало сострадание, но не к умершему Серго, а к отцу, который показался Горика вдруг старым, слабым, и к бабушке, она плакала, не стыдясь слез, и к дяде Мише, который как-то отчужденно застыл на

диване и долго, в то время как все разговаривали, молча глядел в окно. Было непонятное и пугающее в том, как подействовала на всех смерть Серго, он ведь не был ни родственником, ни близким другом, как, например, Давид Шварц. Правда, отец рассказывал, что сдружился с Серго на Кавказском фронте, где они оба были членами Реввоенсовета. Потом их пути разошлись. Серго стремительно выдвинулся, стал одним из руководителей, а Николай Григорьевич, постепенно снижаясь, превратился в обыкновенного ответственного работника, каких тысячи. Обратиться к Серго с просьбой было для Николая Григорьевича делом не очень простым и даже не очень приятным. И все же он знал, что когда-нибудь, в «день икс», сможет пойти к нему — не с рукописью Михаила, не с просьбой поддержать на Политбюро, а с каким-то последним, смертельно важным вопросом, на который Серго ответит, непременно ответит всю правду, какую будет знать. Но не «день икс», а смерть сравняла их и сблизила снова.

Три дня больше ни о чем — только о Серго, о Серго. Бабушка с красным, измятым от слез лицом читала газеты. «Обострили его болезнь самым гнусным предательством... Доконали нашего Серго... Пусть же вечное проклятье...» В понедельник был траурный день, не ходили в школу, а у Горика как раз в этот день обнаружилась ангина, и он очень жалел, что ангина пропала зря, без пользы. Снова приехал дядя Миша с Валеркой, Валерку не пускали в детскую, чтоб не заразился, и он, приоткрыв дверь, показывал разные рожи, изображал Петрушку, а дядя Миша с отцом опять поругались, мама их успокаивала, дядя Миша хватал Валерку за руку, и они уходили, хлопала дверь, отец кричал, они возвращались. И зима все тянулась, река лежала под снегом, а Канава возле «Ударника» не замерзала, над черной водой всегда клубился пар.

VI

Завертели морозы, и в заготовительном цехе от холода совсем пропасть. Колька бежит к горну, накаляет там бракованную матрицу. Раскалив ее добела, притаскивает на крюке, бросает на стан, и все трое снимают рукавицы и греют руки. Если в цеху в это время показывается Колесников или, еще хуже, Чума, Колька

крюком быстро спихивает ее на пол, и они снова принимаются волочить, с жалостью поглядывая на матрицу, которая шипит на сыром, мазутном полу и бесполезно тратит свой жар.

Вообще-то насчет огня в «заготовке» хорошо, вольно. И погреться, и покурить — всегда пожалуйста, горн рядом, не то что в других цехах. Когда прикурить, например, бегут к горну, выволакивают клещами из огня какую-нибудь раскаленную штуку, матрицу или болт, хоть сто человек прикуривай. Теплень у горна! Молотобойцы работают в одних маечках, и то все мокрые, а волочильщики в ватниках зубами стучат.

Молотобойцев было трое. Одного, молодого и крепкого, взяли недавно в армию, а двое оставшихся — пожилые мужики, оба из Белоруссии, попавшие в Москву как беженцы — не справляются, кузнец дядя Вася орет на них, называет «филонами». Начальник цеха обещал перевести в молотобойцы одного разнорабочего, но пока что Чума то и дело просит Игоря или Кольку подсобить кузнецам. Колька нарочно бьет кувалдой слабо и неловко, чтоб разозлить дядю Васю и чтоб тот его прогнал, и садится спиной к печке, покуривает. А Игоря подводит его непобедимое тщеславие, его давнишняя тяга гордиться, все равно чем и перед кем. Ему хочется, чтобы дядя Вася, белорусы, Чума, грузчицы — все видели и поражались тому, как лихо он машет кувалдой, с какой силой наносит удар. Сила у Игоря, конечно, есть, но не такая уж большая, чтобы ей поражаться.

Дядя Вася вынимает из горна трубу с пылающим, раскаленным концом и кладет этот конец на наковальню, а Игорь должен несколькими ударами разможжить конец, превратить его в узенький плоский хвостик, способный проткнуться в отверстие матрицы и удобный для того, чтобы его схватила зубами тележка. Вот и все дела. Игорь со зверским выражением лица высоко вскидывает кувалду и лупит ею с такой яростью, что дядя Вася морщится: легче, легче. Белорусы и вовсе не смотрят на старания Игоря. А сам он через четверть часа чувствует, что выдохся, и недоумевает: как же эти костлявые мужички, у которых и бицепсов не видно, машут кувалдой по двенадцать часов в день?

В ночную смену, если сядешь у печки курить, можно и заснуть ненароком — тепло сморит. Минуту или две дремлет Игорь, думая во сне о чем-то цветном, ярком, чего никогда не было, о чем-то похожем на лесную лу-

жайку, где растут маслята, где он сам лежит в трусах на стареньком, разогревшемся от солнца тканевом одеяле, сквозь которое покалывают сосновые иглы, читает книгу и постепенно сникает в дреме, оглушенный тишиной, солнцем, лесом. И вдруг — точно что-то стреляет в нем — просыпается. С треском лопнула в огне дровина. Махорочная самокрутка еще тлеет в руке.

Ползут профили, скрипит гнущаяся сталь, щелкает зубами тележка, дерг — вперед, дерг — назад. И медленно, долго, сырой самокруткой тлеет ночь...

Колька третий день не работает: намастачил себе бюллетень, расковырял зубилом болячку на правой руке. Сидит с утра на койке в общежитии и играет в карты, в очко или в «три листика», с такими же, как он, больными прохиндеями. Вместо Кольки Чума поставил на волочительный стан подсобника узбека по прозвищу Урюк. Это молчаливый, покладистый и здоровенный мужик. Никто про него толком ничего не знает. «Эй, Урюк! Почему урюк?» — кричат ему мальчишки во дворе. Урюк молчит, не слышит. Лет ему пятьдесят, а то шестьдесят или больше. «Билизован»... — говорит он про себя. У Игоря всегда тоскливо сжималось сердце, когда он случайно издали замечал Урюка, который брел среди женщин-грузчиц, отставая от них, углубленный в какие-то думы, нелепый в своем халате поверх ватника, в солдатских сапогах и черной бараньей папахе, ноги он ставил носками в стороны, смотрел вниз, руки слегка растопыривал, отчего казалось, готов сейчас же взяться за любую работу. И правда, он был безответен, помыкали им все, и грузчицы, и молотобойцы, заставлявшие возить дрова к печи, и даже Колька, который кричал тоном начальника: «Эй, Урюк, оттащи эвон-то отсюда!» Урюк покорно оттаскивал «эвон-то».

Теперь он так же покорно, молча и легко переносит трубы от отжигальной печи к стану и потом тащит готовые профили к воротам, где грузчицы громоздят их на тележки.

За два дня Урюк сказал с Игорем, может быть, десять слов. На третий день, вернее, на третью ночь — всю неделю Игорь работает в ночную — собираются в полночь идти в столовую. Игорь ладонью сшибает вниз рубильник, выключает стан, Настя поспешно трет руки нитяными концами, сбрасывает спецовку — они торопятся, чтобы, вернувшись после еды, хоть четверть часа посидеть в покое, покурить. Урюк никуда не торопит-

ся: садится к печи, заворачивается в халат и, похуже, намерен кемарить.

— Ты что? — удивляется Игорь. — В столовую не пойдешь?

— Йок, — мотает головой Урюк.

— Чего ж так?.. — зевая, говорит Настя. И они с Игорем уходят.

Урюк не идет в столовую и в следующую ночь, и в третью. Пока Игорь и Настя хлебают суп из перловки и едят картофельные котлеты, жаренные на хлопковом масле, Урюк дремлет у печи. Они возвращаются, будят его, Игорь включает рубильник — и ползут профили, скрипит сталь, щелкает зубами тележка...

Наконец наступает такое утро, когда Урюк не хочет идти никуда, ни в столовую, ни домой в общежитие. Он садится к печи и говорит, что будет тут спать до вечера. В общежитии, говорит он, холодно, а тут тепло.

— Ишь, надумал!.. — зевая, говорит Настя и уходит. У нее двое детей и старуха мать, ей некогда разговаривать.

Игорь садится рядом с Урюком, прислоняется к кирпичной кладке печи, ощущая спиной широкое и не очень жаркое, как раз такое, как нужно, расслабляющее нежное тепло.

— Что у тебя случилось? — спрашивает Игорь.

Урюк бормочет невнятное.

— Слушай, я тебе принес тут для смеха...

Игорь роется в карманах брюк, в ватнике — ищет засохшую урючинку, которую вчера обнаружил в своем ташкентском пиджаке и специально берег, чтобы показать Урюку. Урюку, наверно, будет очень приятно увидеть урюк. Такое маленькое твердое, почти окостеневшее ядрышко, оно проскочило сквозь дырку в кармане и застряло под подкладкой. Это, видно, когда Игорь возвращался с Янги-Юльской стройки в конце августа, когда бежал оттуда, услышав, что в Ташкенте вербуют молодежь на московские заводы, а там в августе стояла невыносимая жара, ночью в палатках духота не спадала, свистели фаланги, они набежали со всей степи, почуяв гниющие остатки мяса, хотя эти остатки закапывали в песок; но ни духота, ни фаланги не мешали сну, Игорь спал там мертвецки, без сновидений, как никогда прежде, от многочасового махания кетменем ныли спина и руки, он ведь должен был продемонстрировать свою силу, быть «пальваном», богатырем, и однажды,

распалясь, он махнул, не глядя, и какой-то дурак подвернулся под кетмень — один парень из соседней школы, — и кетмень зацепил его по кумполу. У Игоря от ужаса подкосились ноги, а парень остался лежать на песчаном откосе, его унесли на носилках, но все кончилось хорошо, он выжил; одну девчонку ночью утащили в степь дезертиры, и она чуть не умерла, ее нашли без сознания, всю разодранную, точно ее трепали собаки, это была толстая девушка, эвакуированная из Одессы... Наутро все вооружились кто как мог и побежали в степь искать дезертиров, чтоб отомстить, но никого не нашли; и все-таки там было ничего, там было сытно, давали баранье мясо и плов, густой плов, иногда мясной, а иногда бухарский, с абрикосами; абрикосов там было завались, но виноград еще не поспел, и, когда Игорь бежал оттуда с одним малым, тоже москвичом, они шли целый день степью, к вечеру добрались до колхозного сада и наелись там абрикосов и яблок, как удавы, набили животы, не могли двигаться, урючинка под подкладкой осталась, наверно, с того ужина, в саду вечером, когда уже гасло небо и запели лягушки.

— Вот! — говорит Игорь, радостно протягивая ладонь, на которой лежит превратившаяся в косточку урючинка. — Видал? Возьми!

Бородатый берет урючинку, смотрит на нее равнодушно и бросает на пол.

...Бабушка была очень разгневана, когда узнала, что он ушел с канала самовольно. «Как! Стройку еще не закончили, а ты сбежал! Когда весь народ напрягает силы...» Она даже хотела пойти в школу и пожаловаться директору, совсем с ума сошла. А что Игорю школа? Он ее закончил и расплевался с ней. Директор там был болван, занятый только своим садом и торговлей на базаре. Это верно, он ненавидел эвакуированных и мог от ненависти сделать любую пакость, но тогда, в августе, он не имел уже никакой власти над Игорем. Игорь мог сказать ему все, что накипело, и несколько раз его подмывало высказаться на улице, когда они встречались нос к носу, но он себя сдерживал: боялся, что тот будет мстить Жене, ей предстояло еще учиться в восьмом. И вот к такому человеку старуха собиралась пойти жаловаться. Она просто рехнулась. Ей не хотелось, чтоб он уезжал в Москву, в этом было все дело. С нею становилось труднее, особенно с тех пор, как она взяла и

себе в комнату Давида Шварца, и другая старуха, жившая в этой же комнате, протестовала.

Эта другая старуха, Синякова, тоже с дореволюционным стажем, была отвратительная особа. Она все время пыжилась, гордилась какими-то заслугами и к другим старикам, в том числе к бабушке и к Давиду Шварцу, относилась с высокомерным презрением. А бабушка рассказывала, что когда-то, когда бабушка работала в секретариате, эта женщина перед нею заискивала и Давид Шварц в двадцать каком-то году спас ее во время чистки от исключения. Но теперь бабушка была обыкновенной несчастной старухой, жившей на пенсию и бедствовавшей, как другие, а Давид Шварц из грозного, всесоюзно известного судьи превратился в больного полупомешанного старичка и Синякова могла презирать их, издеваться над ними. Она называла их оппортунистами и то и дело пускала ехидные замечания вроде: «Это вам не Серебряный бор». Однажды колхозники привезли в подарок мед, Синяковой почему-то не досталось, и она побежала в райком с жалобой: почему мед получили оппортунисты, а не она, кристальный член партии, ни разу не подписавшая ни одной оппортунистической платформы...

Иногда Синякова втравляла бабушку в политические споры. Делала это хитро: начинала тихонько, издаleка, постепенно нагнала, говорила подлости, ложь, и бабушка, не выдержав, вступала с ней в перепалку. Последним торжествующим доводом Синяковой было: «Вот я здесь, я честный человек. А где твой зять? Где твоя дочь?» Она была толстая, большая, с красным задубенелым лицом и синенькими глазками-щелочками. Без левой руки. Говорила, что потеряла руку на гражданской войне. Но Игорь не верил ей.

Бабушка говорила, что она случайный человек в партии. Несмотря на то, что безрукая, умела и любила драться. Как-то подралась с одним стариком возле титана: то ли она хотела получить кипяток без очереди, то ли он стремился к тому же. Она била его чайником по спине и кричала: «Ты бундовец! Я знаю, что ты бундовец!». Давида Шварца она тоже называла бундовцем, хотя бабушка говорила, что это смехотворная ложь, Шварц никогда бундовцем не был и, наоборот, всегда резко критиковал бундовцев. Однажды Синякова замахнулась на бабушку. Женя как раз входила в комнату и, схватив с подоконника ножницы, подскочила

к громадной старухе. «Если вы хоть пальцем тронете мою бабушку, я вам проколю живот!» Синякова долго потом разорялась, грозила милицией, называла Женю «вражьей кровью», но все-таки Женя оказалась единственным человеком в комнате, а может, в поселке, кого она побаивалась. Каким-то чутьем чуяла, что Женя и правда может кольнуть ножницами в живот. Игорь-то знал, что может: Женя отчаянная, на нее «находит», как на Леню Карася.

Давида Шварца Синякова ненавидела особенно злобно. Наверное, как раз потому, что когда-то он ей сделал добро. Она старалась выжить его из комнаты: говорила про него и про бабушку гадости, смеялась над его жалким видом, нарочно открывала окна, чтоб простудить его. Бабушка больше всего страдала из-за этих синяковских издевательств над Шварцем, поэтому вспыхивали скандалы с криками и взаимными угрозами: «Ты ответишь за свои слова!» — «Я подам на тебя в КПК!» Игорь не мог слышать криков, не мог видеть белого лица бабушки. Он уходил. Если б Синякова была мужчиной, он бы ударил ее. Но со старухой не знал, что делать.

На крики сползались другие старики и старухи, начинались разбирательства, пересуды, товарищеские укоризны и увещевания, тем более долгие и любовно-щастельные, что всем этим старикам и старухам делать было абсолютно нечего. Синякова твердила свое: «Я хочу, чтобы этого аморального человека убрали из комнаты!» Аморальность Давида Шварца заключалась в том, что он объявил, что не будет ни мыться, ни бриться до «возвращения в Москву»: в его больном сознании тут была какая-то связь с зарокami его молодости, когда он объявлял голодовки в тюрьмах или отказывался отвечать следователю. Это был его ответ войне, фашистам, эвакуации, невгодам и ужасам здешней жизни, своему унижительному положению, которого он не понимал в полной мере, но, наверное, ощущал, как ощущают погоду, перемену давления. Заставить Шварца помыться могла одна бабушка, и то ей удавалось это с трудом и не всегда. Кроме бабушки, он никому не был нужен. Единственная сестра Давида Шварца умерла перед войной, приемный сын Валька был неизвестно где, то ли в военном училище, то ли на фронте, ничего не писал, а старушка Василиса Евгеньевна осталась в

Москве и тоже ничего не писала. Бабушка не могла отпустить его из своей комнаты, как бы ни ярилась Синякова, потому что знала — без нее он погибнет.

Давид Шварц не замечал, не видел и не слышал, какие страсти бушевали вокруг него. Разбирательство его «дела» в присутствии нескольких крикливых стариков происходило иногда прямо над его головой, но он безучастно и молча лежал на койке и смотрел на спорящих так, точно они были на другой планете. Мозг его был занят каким-то упорным размышлением. Внезапно его лицо могло осветиться отблеском здешней мысли, он вдруг хмурился, садился на койке и вскрикивал сурово и гневно, как когда-то: «Перестаньте шуметь! Идиоты», — но прежнее размышление сейчас же одолевало его, он вновь погружался в полусон, ложился навзничь и смотрел на крикунов издали. Старик очень страдал от жары, сбрасывал с себя одежду и почти весь день проводил в кальсонах. Мог в кальсонах пойти в столовую. Игорь сам дважды перехватывал его на дороге и силою тащил в дом. Бабушка плакала: «Если б ты знал, какой это был человек! Какой ум!» Она считала, что человека уже нет, осталась лишь никчемная, неопрятная оболочка. И все-таки бабушка любила и жалела Давида Шварца. Иногда Игорю казалось, что она любит старика больше, чем его, Игоря, и даже больше, чем Женю.

На Шварца бабушка никогда не сердилась, а Игорь и Женя ее часто раздражали, она ругала их из-за пустяков, один раз даже ударила Игоря по лицу. С легкостью могла назвать его негодяем, лгуном, дрянцом. Особенно быстро воспламенялось ее раздражение после какого-нибудь разговора с Синяковой. Игорь так и знал: если утром была у них ссора, значит, днем бабушка непременно начнет цепляться к нему и к Жене. С Синяковой она сдерживалась изо всех сил, зато с ними распускала нервы вовсю. Нет, то были не истерики, то были злые несправедливости. Правда, бабушка никогда не терзала Игоря и Женю при Синяковой. При «этой бандитке» семья должна была выглядеть сплоченной и дружной.

Среди стариков были и неплохие люди. Некоторые сочувствовали бабушке в ее борьбе с Синяковой, другие жалели Давида Шварца, навещали его, приносили фрукты, орехи — он очень любил грецкие орехи. Одна

старушонка как-то подошла к Игорю, когда он сидел в одиночестве на берегу Боз-су, и тихо сказала: «А я твоего папу знала по Кавказскому фронту. Я его очень уважала. Он был настоящий большевик». И, не дожидаясь ответа, пугливо оглянувшись, ушла и больше никогда не подходила к Игорю, даже не здоровалась с ним.

Почти все старики считали, что с Давидом Шварцем дело окончательно плохо. За три года перед началом войны его уже сажали в сумасшедший дом, продержали там несколько месяцев и выпустили, но бабушка говорила, что он «уже не тот». Ему даже дали работу: научным сотрудником в каком-то этнографическом музее. Игорь помнил тогдашние разговоры. Одни негодовали: «Это издевательство — засунуть Давида Шварца в музей!» Другие, и среди них бабушка, возражали: «Наоборот, это акт гуманности. Ему дали работу, чтобы он почувствовал себя человеком. Работа его вылечит». Бабушка и теперь верила в то, что его что-то вылечит. «Давиду надо вернуться в Москву, — говорила она. — Как только он вернется, он выздоровеет».

Иногда Игорю казалось, что старик безнадёжен, но иногда он случайно ловил его осмысленный, сосредоточенный и глубокий взгляд — это бывало, когда Шварц «работал», то есть, лежа на койке, писал на длинных листах бумаги какие-то бесконечные ряды цифр, — и Игорю на мгновение мерещилось, что старик придумывается, обманывает всех. Но в следующее мгновение он понимал, что это пустая надежда. Бумаги, испещренные цифровыми строчками, Шварц прятал под подушку, но часто они оставались лежать на постели, валялись на полу, и бабушка, Игорь и Женя всегда их подбирали, а Снякова, конечно, рвала и жгла. Некоторые листки она садистски накалывала в уборной на гвоздь. Что означали эти цифры, понять никто не мог. Бабушка много раз спрашивала у Шварца и ласково, и очень строго, и неожиданно, чтоб застать врасплох: «Давид, что ты пишешь?» Он отвечал сердито: «Это тебя не касается». И все же, зная, что он не в себе, бабушка верила, что в его записях кроется что-то важное. Она думала, что он пишет старым подпольным шифром свои воспоминания, и поэтому старалась сохранять бумажки, собирала их и прятала в чемодан. Все эти бумажки пропали вместе с чемоданом, который исчез у Игоря на глазах на куйбышевском перроне.

— Ну что ж ты? — говорит Игорь и выпрямляется. Он чувствует, что спина нагрелась. — Почему не идешь домой?

— Ай! — Урюк машет рукой. — Далекий дорог домой.

«Тут в самом деле можно остаться и спать», — думает Игорь и вновь откидывается спиной к печке, закрывает глаза. Он видит речку Боз-су, желтую от ила, всякий выгнутый мостик, который скрипит и шатается, где вечерами подкарауливают людей бандиты. Поздним вечером он провожает молодую женщину, врачиху, которая приезжала к бабушке делать уколы, они осторожно спускаются по вырубленным в каменистой земле ступеням, Игорь придерживает молодую женщину за локоть, чтоб она не споткнулась, и кто-то вдруг говорит из темноты: «Киргиз, остановись!». Страх горячей волной обдаёт все внутри — Игорь знает, что означает этот голос, это сигнал кому-то, стоящему на другом берегу реки, — но он твердыми шагами ведет женщину через мост, который скрипит и гнется, кругом тьма, они переходят на противоположный берег и поднимаются по каменистым ступеням наверх. Теперь они спасены. Вдали видны фонари и вагон трамвая на конечной остановке. «Ты меня выручил. Спасибо!» — говорит женщина и, неожиданно обняв его голову, целует в губы. Он ощущает мягкий рот, раздвинутые губы, их какой-то овощной, баклажанный вкус. Она уходит. Он не может опомниться, это первый поцелуй в его жизни, и теперь он знает, что поцелуи имеют овощной, баклажанный вкус. Обрат-но он бежит вприпрыжку, раскачивается на мосту, на-свистывает, взлетая по ступеням наверх, и его никто не трогает. А еще выше между двумя берегами протяну-ся деревянный желоб, в нем течет арычная вода, и не-которые смельчаки, кому лень спускаться вниз к мосту, перебираются через речку по желобу.

Берега речки поросли джидой и орехом. Когда пере-двигаешься боком по балке, поддерживающей желоб, делаешь трясущимися ногами мелкие шажки и, согнув-шись, цепляешься за желоб руками, внизу жирной лист-вой зеленеет джида, серебрится орех, а вода то корич-невая, как глина, то слепит глаза солнечным блеском, смотреть вниз нельзя, надо смотреть на балку или на свои руки, держащиеся за желоб. Впервые пройдя по желобу, Игорь испытывает гордость собой: молодец, не тронулся! Бабушке он, конечно, не рассказывает об этом

подвиге. Зачем пугать людей? И вот дождливой зимой он бежит из школы и видит: по желобу ползет бабушка. В ее руке бидон. Она ходила за молоком. Переступает по балке очень медленно, едва-едва. Дождавшись, когда наконец она благополучно добирается до берега, он кричит в ярости: «Что ты делаешь? С ума сошла! Не смей этого делать никогда больше!» Бабушка сконфужена, она бормочет насчет мокрой погоды, скользких ступенек и того, что с ее сердцем подниматься по ступенькам трудно...

О чем-то долго говорит Урюк. Игорь вникает в конец его речи. Что он тут делает? Откуда он? Такие мужики стоят на базаре с мешками орехов, с сушеными дынями, с яйцами, луком и качают литыми бородами: нет! Нет!

— ...Сколько тысяч людей нет издес, все на меня не глядят, а только скажут: «Урюк!» Урюк идет, скажут! Грязный, скажут, черт! Зачем, скажут, пришел? Билизовал, я пришел...

— Да ты пойми: раньше тебя дразнили мальчишки, а теперь просто зовут так! Вчера Колесииков начальнику говорит: «Урюк, мол, здорово работает, две нормы вытянул». А начальник секретарю: «Впиши Урюку премиальные в этот месяц. И ботинки выдайте, пару». Ну, что они, дразнят тебя?

— Я работать шел. Билизовали меня... Конечно, слов не знаю...

— Почему домой-то не идешь, ядрена-матрена?

На базаре, куда можно удрать из школы, где месяц ногами февральскую грязь, где инвалиды без ног, на костылях, в тележках торгуют махоркой, показывают фокусы на чемоданах, хрипят и поют, где меняют ношеное белье на сахар, где старые еврейки продают старые покрывала с обсыпавшейся позолотой, где бродят воры, недавние басмачи, выздоравливающие из соседнего госпиталя, голодные девочки, несчастные женщины, нищенски одетые спекулянты, пожилые обтертые франты в шубах дореволюционного покроя и без копейки денег в карманах, где можно продать залатанные галоши, что Игорю удастся к концу дня, он ходит с сорока рублями по рядам, не зная, что купить, пока один старый узбек, сидящий под навесом, не зовет его: «Эй, бача, поди сюда! Дыню хочешь? Ай, сладкий, возьми!» Он протягивает тяжелый моток прекрасной сушеной дыни. Ее можно нарезать маленькими кусочками и пить с

нею чай долго, недели две. «Сколько стоит?» — «Возьми, ешь...» — говорит продавец, и его глаза становятся прозрачными, как у кошки, рот растягивается в улыбке. «Бача!» — говорит он и обнимает ладонью Игореву ногу выше колена. Игорь отшатывается и вдруг бежит прочь. Вслед кричат «Ур! Ур!», как кричат, когда ловят и бьют воров. Не надо было бежать. Надо было идти с достоинством, как человек, которого оскорбили. Но тогда бы все эти продавцы...

Урюк проиграл обеденную карточку. Играл в карты в общежитии и проиграл карточку. Ай, ничего, осталось пять дней, начнется другой месяц, другая карточка.

— Во что играл-то? В «три листика»?

— Не знаю, — говорит Урюк. — Колька играл.

— Как же ты, глупый человек, берешься играть в игру, в которую нельзя выиграть? Ведь в «три листика» играют у вас в Ташкенте на базаре!

Урюк не был в Ташкенте на базаре. Он и в самом Ташкенте не был, только видел в окно вагона.

Игорь идет на второй этаж, к начальнику цеха. Надо спасти человека — какой день без обеда! Авдейчику некогда разговаривать о мелких подробностях жизни подсобников, проживающих в общежитии, он шлет Игоря к комсоргу Вале Котляр, в инструментальный цех. Комсомольская организация тут общая, потому что цеха соседние, в одном корпусе, только в инструментальном комсомольцев человек сорок, а в «заготовке» всего-то, может, пяток ребят в группе слесарей, где пилят матрицы. Валя Котляр — технолог. Она очень маленького роста, как гномик, белые кудряшки, пронзительный голос, сапоги и ватник делают ее крохотную фигурку квадратной. Вся история с картами ее возмущает, но помогать Урюку ей неохота.

— Дураков не навyrучаешься! У нас тут заботы поважней. В нашем же цехе три парня — представляешь, гады? — производство открыли. Ножи делать. Как в Америке. И торговали на Тишинке. Ну, зажигалки — ладно, ну, мундштуки наборные — ладно, но чтоб такие финяры в ночную смену точить из напильников...

И все-таки они идут в общежитие. Для подмоги Валя берет одного здорового малого из цеха.

— Что-то я тебя первый раз вижу, — вдруг подозрительно говорит Валя Игорю. — Ты где на учете?

Игорь объясняет, что нигде не на учете, потому что

не комсомолец, а работает он трубоволочишкой.

— Готовься, будем принимать, — заявляет Валя. — Такие люди нам нужны. Собираешься вступать в ряды?

— Конечно! Чего ж... — Игорь пожимает плечами. Он и раньше думал о вступлении в комсомол, думал часто и много, но каждый раз не до конца, не хватало решимости. То, что он ответил Вале так спокойно и будто бы равнодушно, было неправдой. Он весь напрягся, услышав внезапное предложение. И — снова не до конца, снова решение откладывается на «потом», на «когда-нибудь», когда отступить — перед собственным малодушием — будет некуда.

Колька сидит на полу в окружении пацанов и кого-то обманывает в «три листика».

— Это кто же набрехал? — орет Колька и сверлит Урюка благородно гневным, испепеляющим взглядом.

Ни о какой обеденной карточке он, конечно, понятия не имеет. У него и своей-то нет. Украли, должно быть, сволочи, жулики, прямо из штанов увели. В столовой, должно быть. Он, когда обед ест, совсем дурной бывает, как глухарь, ничего не слышит, не замечает, особенно когда первое ест, суп, например, с клецками или щи мясные. Когда второе дают, он уже ничего, отошел, а когда первое — свободно могли увести. Нател! Обыщите! Летят из тумбочки какие-то тряпки, железки, обломок абразивного камня, куски проволоки, выворачиваются с руганью карманы, взлетает одеяло, под которым серый, в пятнах матрац. Вот! Вот! Нател! Глядите! Зачем же ты набрехал, черт нехороший?

Урюк ничего не отвечает и как будто не понимает смысла всей этой сцены и Колькиных криков.

— Он сказал правду! — говорит Игорь, с отвращением чувствуя, что у него дрожит голос.

— А ты молчи. С тобой потом... — отвечает Колька, не глядя.

— Ай... — говорит Урюк.

Он ложится на койку и поворачивается лицом к стене.

— Еще раз увидим карты, — говорит Валя, пистолетиком наставив на Кольку детский указательный палец, — выслем из общежития, так и знай!

— Напугали! Мне и так весной — ту-ту, ать-два... Через два дня Игорь получает зарплату, большую, «под расчет»: шестьсот двадцать рублей. Никогда еще он не получал сразу так много денег. В Ташкенте, ког-

да работал на чугунолитейном заводе, выработал однажды семьсот три рубля, но за целый месяц. А тут шестьсот двадцать за две недели! В возбужденном Игоре почти бежит по переулку, обдумывая, как потратить эти деньги, что купить. Необходимых вещей много: надо, первое, вареники на рынке достать, а то в заводских, казенных срам же ходить, сколько можно, в метро и троллейбусах руку из кармана не вытащить; во-вторых, носки порвались, тоже на рынке есть, вязаные, по шестьдесят рублей пара на Минаевском. Четыреста тугриков тете Дине дать на «прокорм». Маринке меду раздобыть, тоже на Минаевском видел, сто рублей стеклянная банка. Целую банку взять. Что еще? Вроде ничего больше. Расческу еще, а то потерял. Хотя расческу необязательно, можно и самому сделать. Ребята из алюминия отличные делают, тонкой ножовочкой. В книжный магазинчик бы заглянуть, чего-нибудь из книг прихватить с полочки. По истории искусства, например. Собрание картин Третьяковской галереи, альбом — ценная вещь! Еще в одном магазине была ценнейшая книга: «История гипнотизма».

В конце заводского забора, на углу, где переулок раздваивается — направо к метро, налево к общежитию, к Бутырскому валу, — висит на доске газета, и Игорь останавливается прочитать, что идет в кино. Уже порядочно рассвело, и, приблизив к стеклу лицо, напругаясь, можно читать. Сзади с гулким говором, шумом, топоча по деревянному настилу тротуара, бежит к метро ночная смена. В «Москве» идет американская комедия «Три мушкетера», в «Центральном» — «Маскарад». Но уж в «Новости дня», на бульвар, Игорь непременно пойдет! А что, если прямо на рынок за медом, да и табаку купить, а оттуда домой, спать? Английское наступление в Ливии. Бои на подступах к Бизерте. Потребление 20—30 граммов сухих дрожжей в сутки обеспечивает требуемое питание белками здорового человека. 1 кг пищевых дрожжей дает 4250 калорий, 1 кг жирного мяса — 1720 калорий.

Внезапная вялость охватывает Игоря. Он переходит на другую сторону переулочка, где безлюдно и можно идти медленно. Никуда не хочется спешить, ни в кино, ни на рынок, ни домой. Если б он мог домой! Но там, куда он придет через час, там нет его дома. Там добрые люди, сердечные, там их дом, а его дом где-то в другом месте. Нет, и не там, где стоит под замком

нежилая комната с замороженными книгами, и не там, за четыре тысячи километров, где в обмазанном глиной бараке живут старушка и девочка, они ненавидят этот барак, они видят во сне свое бегство оттуда. И не там, у моста, где высится серая громада, мерцающая сотнями крепостных окон. Есть ли у него дом на земле? В степи, где зной, где стужа, где он никогда не был, есть маленький дом, охраняемый пулеметами, где мается родная душа. Так, может быть, там? Никуда не хочется идти, и он останавливается и стоит, прислонясь к забору. Белеет снег на крышах. За кирпичной стеной, в которую упирается переулок, видны черные коробки складов, за ними какие-то дома, трубы, дым в сером рассветном небе, дальше — невидимая, скрытая домами линия окружной дороги, выходящая к пригородному перрону Белорусского вокзала, и снова, за Бутырским валом, дома, трубы, дымы, бесконечный город. Пустынный город, где нет одного-единственного дома, нет даже маленькой комнаты, необходимой для жизни.

Мимо кирпичной стены дорога ведет к общежитию. Валя Котляр рассказала про Кольку и других ребят из общежития: их называют «витебские», они из детдома, из Витебской области. Все круглые сироты, и Колька такой же. Детдом попал под бомбежку в первые же дни, воспитатели погибли. Ребят кое-кого сумели эвакуировать. Они говорят: «Мы второй раз потеряли родителей».

А если до Кольки добежать? Проведать дурачка? Он до сих пор на бюллетене, теперь заболел по-настоящему. Никакой вражды и неприязни к нему Игорь не испытывает. Глупо все вышло с картами, с допросом. Валя схватила карты, стала рвать, Колька на нее с кулаками, Игорь и тот парень из инструментального — на Кольку, помяли его. И куда он, шкет тщедушный, бросается? Дружки его стояли, смотрели, никто не двинулся. Может, были в проигрыше и не возражали, чтоб игра прекратилась. А Урюк как лежал лицом к стене, так и не повернулся. И вот, когда возвращались переулком, Валя рассказала про детдом, все вдруг перевернулось в душе у Игоря. Валя тогда сказала: «Ты молодец, правильно действовал! Ты из какой вообще семьи? Какого происхождения?» — «Как это: какого происхождения?» — спросил Игорь. Смысл вопроса он примерно понял, но хотелось понять точ-

нее. Кроме того, было почему-то приятно выглядеть сероватым, не очень понятливым. «Ну, твои родители кто: из рабочих или из интеллигентов, из служащих?» — «Из интеллигентов. То есть, вернее, из служащих. Но вообще-то отец был рабочим...» Валя сказала: «Такие люди нам нужны. Готовься, будем принимать!»

Игорь быстро пересекает заснеженную мостовую, доходит до кирпичной стены и поворачивает налево. Дорога к общежитию идет мимо заднего заводского двора. Выходят трое ребят из-за угла. Вырастают, как три дерева, перед самым лицом. Один берет Игоря за шарф и молча, легонько тянет в сторону, в переулок. Игорь послушно делает шаг за ним. Сопротивляться значило бы проявить трусость. Они хотят с ним драться и выбирают для этого проулок, где темновато, никто не увидит, и он шагает за ними, ибо гордость не позволяет ни сопротивляться, ни кричать, ни бежать. Он поспешно срывает очки, прячет в карман брюк — первое дело перед дракой. Вот только непонятно, кто такие и за что хотят бить. Парень, держащий Игоря за шарф, приближает свое лицо к лицу Игоря — оно какое-то косое, бледное, один глаз зеленоватый, другой голубой — и говорит, не разжимая зубов:

— Зачем на Колю Колыванова стучал, сука? За стук что бывает, знаешь? — И неизвестно кому приказывает: — Заряжай!

Из-за спины парня вылетает кулак, и боль вонзается в середину лица, очень сильная боль, как будто с размаху ударили в лицо поленом. Игорь опрокидывается назад, рвется, пытаясь оттолкнуть того, кто держит его за шарф, держит крепко, пригибая голову вниз, но новый удар с другой стороны валит Игоря на колени, шарф сам собою разматывается, и Игорь, почувствовав на секунду освобождение, успевает вскочить и ответить ударом. Он бьет куда попало, и его бьют в шесть кулаков в ухо, в живот, он согнулся, почему-то он все еще стоит на ногах, он видит красные кулаки и понимает, что это его кровь.

— Запомнишь, сука! Вынимай из него гроши!

Кто-то сзади со спины срывает пальто. Шапка уже сбита. Повалили на снег, один стискивает голову, другие ломают руки, роются в ватнике, выворачивают карманы. Внезапно оглушительно зарокотало рядом наверху:

— В последний час! — гремит радио. — Успешное... наступление... наших войск... в районе Сталинграда!

Все четверо застывают на мгновение. Тот, кто ломал

Игорева руки, не разжимает своих, а кто стискивал голову, наваливается на Игореву лицо животом, чтоб Игорь не вывернулся. И замерли, слушают.

— На днях наши войска, расположенные на подступах к Сталинграду, перешли в наступление против немецко-фашистских войск. Наступление началось в двух направлениях: с северо-запада и с юга от Сталинграда. Прорвав оборонительные линии противника протяжением 30 километров на северо-западе, в районе города Серафимович...

Кто-то, сидевший на Игоревых ногах, поднимается, и двое других тоже поднимаются и молча, не посмотрев на лежащего с окровавленным лицом Игоря, уходят. Игорь садится спиной к кирпичной стене, первым делом осторожно, со страхом сует руку в брючный карман за очками — целы, не разбились! — прикладывает снег к губам, к глазам и слушает. И ему радостно, его радость огромна, он счастлив. Он встает на непрочных ногах, чтобы быть ближе к репродуктору, который там, на столбе.

— За три дня напряженных боев, — чигает полным блаженства голосом диктор, — преодолевая сопротивление противника, продвинулись на шестьдесят — семьдесят километров... Нашими войсками заняты город Калач, станица Кривомузгинская... Тринадцать тысяч пленных... триста шестьдесят орудий...

А день совсем белый, снежный, переулочек пуст. Владя стоит человек и тоже слушает или, может быть, смотрит на Игоря. Никогда раньше Игорь не испытывал этого странного ощущения: он счастлив, напряженно, бесконечно и истинно счастлив, но это его чувство существует как бы отдельно, как бы вне его и помимомо; это чувство живет самостоятельной жизнью, оно зримо, его можно увидеть, как можно увидеть, например, облачко от дыхания на морозе, и оно не имеет никакого отношения к человеку в разорванном пальто, который идет, пошатываясь, и выплевывает изо рта кровь.

Подарки надо делать небрежно, мимоходом и, главное, никак не обнаруживая приятного возбуждения и гордости самим собой, которые при этом испытываешь. Надо не спеша раздеться, спросить: «Ну, как вы тут?» — помыться, отчистить тщательно руки, кое-где пемзой, выковырять ножницами мазут из-под ногтей, походить немного по комнате, можно выпить чашку чая или же-

лудевого кофе, выкурить самокрутку и потом уже внезапно сказать: «Да! Я тут принес какую-то ерунду...» Пойти в прихожую, где остались лежать как бы забытые на сундуке под газетой банка меда, бумажный фунтик с тремястами граммами риса и толстые вязаные носки для бабушки Веры, которая жалуется, что у нее мерзнут ноги. Все это сгрести и положить в комнате на стол со словами: «Штучки-дрючки с нашей полочки», — а самому сесть в сторону и, дымя самокруткой, углубиться в газету.

Рис куплен для тети Дины — врач прописал ей рисовый отвар.

Бабушка Вера обрадованно укоряет Игоря в том, что он мот, но сейчас же влезает в носки и шлепает в них туда-сюда, как в новых туфлях. Выходит из своей комнаты Марина, успевает сказать: «Боже, какая роскошная жизнь...» — и застывает, с ужасом глядя на Игоря. Он прикладывает палец к губам. Бабушка совсем почти потеряла зрение и, слава богу, не видит его рожи. А рожа у него действительно страшная, в кровоподтеках, рот в запекшейся крови, сам испугался, увидев себя в ванной в зеркале. Правда, благодаря этой роже на рынке он заслужил снисхождение: одна старушка уступила носки всего за сорок рублей, а банку меда он купил за восемьдесят.

— Что с тобой? — шепчет Марина и тянет Игоря в свою комнату.

Они садятся на постель, неряшливо прикрытую одеялом. Игорь рассказывает, привалившись спиной к стене, нога на ногу, в зубах самокрутка.

— Ну, я ему дал апперкотом... Он мне прямой правой... Я ушел нырком... Тут они дали серию, я закрылся...

В комнате Марины всегда душно, пахнет лекарствами. Светомаскировочную черную штору Марина никогда не поднимает — зачем поднимать, если окно выходит в узкий щелевидный двор, неба не видно, напротив стена другого дома, настолько близкая, что при желании ее можно достать, вытянув руку с длинной палкой, например, со шваброй, — и в комнате Марины не гаснет электричество, маленький ночничок над изголовьем.

— Жил на свете рыцарь бедный, — говорит Марина и притрагивается ладонью к его щеке, губам. — С виду сумрачный и бледный...

Возле губ ее ладонь задерживается, едва касаясь, как бы ожидая чего-то. Он умолкает и сидит, закрыв

глаза, погруженный в ощущение этой близкой и легкой, пахнувшей лекарством ладони. Когда через несколько секунд он открывает глаза, то видит лицо Марины рядом со своим, совсем, вблизи и слышит ее испуганный шепот:

— Мой бедный изувеченный брат... Ложись сейчас же и отдыхай...

Смеется или вправду жалеет? Она внимательно разглядывает его синяки под глазами и требует, чтобы он снял очки. Он снимает. Тушит самокрутку в пепельнице. Губами она притрагивается к одному синяку, к другому. Слышно, как по коридору шлепает бабушка Вера. Остановившись на пороге комнаты, старушка спрашивает:

— Горик, почему ты не идешь отдыхать?

— Он спит! — шепчет Марина. — Здесь ему спокойней, пусть спит...

Марина не отодвигается от Игоря, наоборот, прижимается к нему, она лежит на животе поперек постели, свесив ноги, и тянется губами к его синякам. Нет, это не поцелуи, это нежные целительные прикосновения. У Марины очень доброе сердце. Она любит Игоря, как старшая сестра, и сейчас, видно, очень сильно сострадает ему. Но все-таки хорошо, что бабушка Вера ничего не видит. Со стороны можно подумать, что Марина его целует, а она просто дышит, дует, холодит его воспаленную кожу. Губы касаются его распухших, израненных губ, на мгновение прижимаются к ним. Бабушка Вера шлепает назад, к себе.

— Тебе не больно? Не неприятно? — осведомляется Марина. Он качает головой. Нет, конечно, ему не больно и совсем не неприятно, даже наоборот, ему приятно, необыкновенно и удивительно приятно, но признаваться в таких вещах не мужское дело. Поэтому, покачивая головой, он замирает и на всякий случай закрывает глаза.

Марина уходит, постелив ему постель и выключив ночник. Он дышит запахом ее подушки, пахнувшей ее лицом, ее волосами. И, лежа в темноте, думает о ней. Какая странная! Ей ничего не стоит обнять человека, прижаться к нему, даже поцеловать его и тут же улетучиться, исчезнуть, забыть обо всем. Из соседней комнаты слышен ее капризный голос:

— Бабушка, опять ты куда-то задевала игольницу!

Она считает его мальчиком, в этом все дело. Конечно, она старше его на пять лет, ей, слава богу, уже

двадцать два, у нее есть жених, военный инженер, который служит на Севере, и есть два поклонника, они навещают ее, приносят подарки, особенно усердствует один майор, толстенький, с бараньей прической, всегда от него пахнет одеколоном, а другой какой-то занюханый студентик, хромой, с палкой, зовут Яшей, Марина относится к нему гораздо лучше, чем к майору, жалеет его, считает очень талантливым и несчастным и всегда норовит его покормить. Но ведь он, Игорь, тоже не мальчик!! Слава богу, он каждый день слышит от Кольки такие истории, что закачаешься. Через две недели ему исполнится семнадцать. Правой рукой он выжимает квадратную двадцатикилограммовую гирю четырнадцать раз. Если она еще раз попробует к нему прижаться — она вообще-то не в его вкусе, ему не нравятся такие худые длинные лица с большими носами, — если она еще раз попробует, он ее обнимет так, что у нее косточки затрещат. Оттого, что он отчетливо себе представляет, как это произойдет, его бросает вдруг в жар, и он начинает ворочаться под одеялом, никак не находя удобного положения: на правом боку не может лежать потому, что болит ребро, на левом — потому, что подушка прикасается к кровоподтеку под глазом. Наконец укладывается на спине. Когда-то мама приходила в детскую и, если он лежал навзничь, поворачивала его на бок, потому что от лежания на спине нагревается мозжечок и могут сниться кошмары. Но теперь он так устает, что не до кошмаров. Все стремительней, радостней он летит в сон. Последняя мысль, пронизывающая эту радость, эту стремительность, вот какая: прорвали фронт под Сталинградом, освободили Калач, тринадцать тысяч пленных.

Просыпается неизвестно когда; вокруг тишина, мрак. Может быть, уже поздний вечер, может быть — полдень. Все тело болит, ноют плечи, спина. Игорь делает два шага, и его шатает, вот чертовщина! Значит, не выспался, спал очень мало, сейчас не больше часу дня. Бабушка Вера сидит у стола и, глядя в лупу, разбирает на клеенке рис. Тетя Дина еще не пришла со службы. Марина в институте, сегодня там вечерняя лекция. Четверть седьмого.

— Горик, тебе письмо. Спал, спал и вѣспал...

Из Ташкента, от бабушки. Ее остроугольный почерк на самодельном конверте из тетрадной обложки. «Баюкову Игорю Николаевичу». Как всегда, бабушка пишет

чрезвычайно сухо и конспиративно. «Хлопоты о том, о чем мы мечтаем, пока ни к чему не привели. Говорят, это будет не раньше, чем через полгода. Причина, из-за которой я начала хлопоты, по-прежнему остается... Он перенес грипп, здесь некоторые болели...» Читай так: переезд в Москву откладывается. Здоровье Давида Шварца по-прежнему плохо. Там была тяжелая эпидемия гриппа. (Бабушка писала в ЦК о том, что Шварцу для поправления здоровья необходимо вернуться в Москву, а она, близкий и единственный друг, должна его сопровождать.) «Я работаю сейчас надомницей для артели, вяжу сети, работа ответственная, оборонного значения... Мы слушали по радио речь и завидуем вам, что вы в Москве». («Чему завидовать? Мы тоже слушали по радио».) «Замечательно сказано о том, что фашистским палачам не уйти от возмездия... Во втором ящике стола справа должна быть черная папка, там лежит Женичкина метрика, Васины облигации, спрячь их... Нет ли новых известий от Васи? Напиши немедленно, если есть, а то мы волнуемся, последнее письмо от него было в августе...»

Под Васей бабушка шифрует маму. От мамы действительно писем нет давно. Ей разрешается писать раз в месяц, но вот уже три с половиной месяца от нее ни слуху ни духу. Но бабушка Вера считает, что было бы странно, если бы во время войны письма из лагеря доставлялись бесперебойно.

— Представляю, в каком волнении Нюта! — говорит бабушка Вера. — Но по письму не скажешь, правда же? Какой характер! Не устаю изумляться...

Бабушка Вера всегда говорит о своей двоюродной сестре с почтительным восхищением, но где-то в глубине таится оттенок тончайшей и привычной насмешки.

— Это не человек, это какой-то железный шкаф. Когда случилось несчастье с твоей мамой, она полтора месяца скрывала от нас — от меня и от Дины; близких людей, — говорила, что Лиза в командировке. Зачем это было нужно, ты не знаешь? Мы же не Гринберги, не Володичевы, которые стали переходить на другую сторону улицы и отворачиваться, когда встречали Нюту в магазине. Мы же родные люди. А когда у Гриши, твоего дяди, открылся туберкулез и его отправили в санаторий — это было всем известно, — она уверяла нас, что уехал на практику...

Бабушка Вера любит разговаривать о той, другой

бабушке, перебирать прошлое, молодость, их совместную жизнь в Петербурге и Ростове, их мужей, которые были дружны между собой и погибли почти одновременно в годы революции. Игорю слушать интересно, хотя он понимает, что все эти сведения бесполезны, ненужны. Его родная бабушка никогда ни о чем не вспоминает. Однажды она сказала нечто, поразившее Игоря: «Я не помню, как мое настоящее имя и настоящая фамилия. И меня это не интересует». Вот уже сорок лет она живет под именем, полученным в подполье — Анна Генриховна Вирская, — и даже ее сестра, бабушка Вера, зовет ее Нютой.

— Нюта вяжет сети! Господи, помилуй! Во-первых, бедные сети... Во-вторых, бедная Нюта: она совсем отвыкла от физической работы... Ведь в последние годы работала в этом, как его, секретариате, кажется? Да, да, она была большой человек, ответственный работник. И я гордилась, моя кузина — такая важная персона! А? Очень гордилась, да, да!

Бабушка Вера смеется, кивая подслеповатой головкой. В ее сочувствии, ее смехе Игорь угадывает тень давнишней, теперь уже исчезнувшей тайной сестринской зависти. И ему делается неприятно.

— Я Нюту всегда любила. Мы были очень близки в юности. Но наши жизни так складывались, что почти никогда мы не были одновременно в равном положении... Когда я была здесь, она была там. Когда я оказывалась там, она поднималась сюда.—Бабушка Вера, продолжая улыбаться оттого, что рассказывание доставляет ей удовольствие, показывает движениями рук какие-то символические «там» и «здесь». — Это, конечно, осложняло отношения. Но я все равно любила Нюту, уважала как человека, как оригинальную личность, хотя не понимала ее увлечений. Я была совсем далека от политики. А мой муж Александр Ионович, наоборот, был человек очень живой, бурный, с общественным темпераментом, как полагается адвокату. Он был тоже социаль-демократ, но какого-то особого толка, я точно не знаю. После февраля работал, например, в комиссии Временного правительства по разоблачению провокаторов. Мы жили много лет на Литейном. У нас была прекрасная квартира из семи комнат. Помню, твоя бабушка пришла ко мне году примерно в двенадцатом, в ноябре — мы как раз собрались с Александром Ионовичем в Париж, ездили

туда чуть ли не каждую зиму, — просила помочь каким-то двум товарищам. Она была так плохо одета, такая несчастная, худенькая. Мне стало ее безумно жалко, как сейчас помню. На губе ее был фурункул. Я хотела ее покормить, оставить дома, но она отказалась. Александр Ионович чем-то помог. Он был благороднейший человек. И знаешь, Горик, мне на всю жизнь врезалось, как боль, это воспоминание: Нюта уходит ночью в дождь, куда-то на вокзал, а я остаюсь в теплой квартире с чемоданом для Парижа...

По ее кивающему, в слепой улыбке личику никак не скажешь, чтобы она испытывала сейчас боль от этого воспоминания. Наоборот, вспоминать ей, кажется, очень приятно, и она даже отложила лупу и перестала перебирать рис, чтобы полностью отдаться переживанию.

— А потом роли переменялись, потом Александр Ионович застрял в Новороссийске, не успев эвакуироваться — он не служил в Добровольческой армии, но отступал с ними, он был человек глубоко штатский, — а я была в Ростове, получила от него трагическое известие, что ему грозит расстрел, помчалась к Нюте, она работала в политотделе фронта, умоляла ее, рыдала, и она, конечно, сделала что могла. Пошла к твоему отцу, Николай Григорьевич дал телеграмму, и Александра Ионовича спасли. Тогда в Новороссийске из тех, оставшихся «добровольцев» отобрали для работы в советских органах большую группу юристов, кто соглашался честно работать. Николай Григорьевич был человек гуманный, умел людям верить. Александр Ионович работал с ним очень хорошо, кажется, в трибунале фронта, не помню точно, где, на Большой Садовой. И вот был какой-то большой мятеж, Александра Ионовича послали на разбор дела, он, конечно, хотел разбирать по совести, но его обвинили, что он потворствует, что он, знаешь ли, спец не пролетарского происхождения, отстранили от работы и грозили всякими карами, тогда он бежал в Крым. К своему брату, профессору. Конечно, он совершил ошибку. Не надо было бежать. Я осталась с детьми в Ростове совершенно без средств. Но с ним поступили жестоко. После взятия Крыма он был расстрелян, его брат тоже. Твой отец ничего не мог сделать, а Нюта, когда я пришла к ней, сказала: «Если б мой сын совершил дезертирство, я бы, не задумываясь, отдала такой же приказ. Другое дело, когда людей расстреливают по

ошибке — это трагедия». Я запомнила фразу: «это трагедия». А то, что было с Александром Ионовичем, не трагедия. Я понимаю, она говорила о муже, своем дедушке, который погиб несчастной смертью незадолго до этого в Баку. Его расстреляли совсем уж ни за что. Он давно отошел от политики, работал инженером на нефтяных промыслах. Был изумительный человек, необыкновенной доброты, бескорыстия. Я всегда жалела, что Нюта с ним разошлась. Александр Ионович дружил с ним году в пятом, в шестом, до его отъезда в Баку, и, помню, говорил мне: «Андриан Павлович мухи не обидит». А? — Бабушка Вера шурит темные водянистые глазки, пытаюсь всмотреться в лицо Игоря. — Александр Ионович был большой шутник, должна тебе сказать... В двадцатых годах мы потом очень бедствовали, Нюта нам помогала... А пять лет назад поздно ночью она пришла ко мне и сказала: «Вера, если что-то со мной случится, обещаю, что не оставишь Горика и Женичку...» И, знаешь, опять мне стало ее безумно жаль, когда она уходила. Тоже, кстати, шел дождь. Она была такая старенькая, в старом пальто. У нее не было зонта. Я дала ей свой зонт...

Палец бабушки Веры передвигает по клеенке в кучку белого риса черную порченную рисинку. Значит, и в лупу старушка не видит ничего.

— Перестань напрягать зрение, — говорит Игорь. Непонятно почему он испытывает легкое раздражение. — Дай-ка я переберу!

Он делает резкое движение к столу. Бабушка Вера испуганно прикрывает кучки риса ладонями.

— Нет, нет! Я сама!

— Но ты должна дать отдых глазам. Чем бабушку жалеть, ты бы себя пожалела, свои глаза.

— Это моя работа. Я сама...

— Зачем делать бессмысленную работу? Какой-то сизифов труд... — говорит он, горячась. — Сизифов труд при помощи лупы! — Он умолкает, запнувшись.

Бабушка Вера тоже молчит. Она молчит долго. Игорь понимает, что старушка обижена. Слишком грубо: бессмысленная работа, сизифов труд! Пусть делает это единственное, что она может делать, и пусть ей кажется, что это важно. Игорь ерзает на стуле и даже вспотел: ему стыдно и хочется загладить грубость. Но слова для заглаживания никак не подбираются, и он

продолжает молчать, угрюмо насупившись. Хлопнула входная дверь, кто-то протопал по коридору, щелкнул замок соседской комнаты. Судя по топанию — Бочкин. Очень медленно от одной кучки риса к другой бабушка Вера перетаскивает пальцем по рисинке. Лицо ее с приставленной к глазу лупой низко опущено. Игорь видит зеленоватое темя, белые волосы. Вдруг вспоминается, что когда-то в детстве он лазил в пещеры и видел там, под землей, белую траву.

— Сизиф был рабом? — неожиданно спрашивает бабушка Вера.

— Кто? Сизиф? Сначала царем, потом рабом. Где-то в подземном мире...

— Как всякий человек. Сначала он царь, потом раб. Старость — это рабство... — Она молчит, наклоняет голову ниже. — Особенно такая бесполезная старость, как моя. Зачем я живу? Кому от этого польза, от моего прозябания?

— Ну, что ты говоришь!

— Мне самой? Давно уже нет. Моим близким? Я ничего не могу. Только ем их хлеб и раздражаю разговорами... Я раздражаю себя саму — тем, что я беспомощна, безглаза...

— Тебя же все любят, баба Вера!

— Я знаю... — Она кивает, кивает, не может остановиться. Медленно ползет по клеенке ее коротенький костяной палец. — Может быть, для них я и живу.

И еще разговор с бабушкой Верой. Тоже вечером, и тоже они вдвоем в комнате. Игорь только что отужинал — съел тарелку супа, выпил чашку кофе — и лежит на диване с газетой.

Бабушка Вера, присев рядом с ним на диван, обращается с неожиданной просьбой: поговорить с Мариной насчет ее поведения.

— Она тебя уважает. Не знаю уж за что... — Бабушка Вера шутливо постукивает его легоньким кулачком в бок. — Может быть, просто потому, что никого другого в семье она уважать не привыкла. А ты какой-никакой мужчина... Ты должен ей сказать... Приведи примеры из истории, литературы... Ты же любишь литературу...

Игорь морщит лоб. О чем сказать? Какие примеры?

— Что в течение тысячелетий главной добродетелью женщины, — шепчет бабушка Вера, — считалась ее верность жениху, который воюет... Володя пишет

нежные письма, высылает деньги... А тут этот Яша, этот Всеволод Васильевич... Я не могу понять... Меня, конечно, не спрашивают... Кто я такая?

— Но мне неудобно, — говорит Игорь. — Это уж ваше с тетей Диной дело.

— Мы с тетей Диной бессильны. Я давно не имею права голоса, а Дину она просто не уважает. Да, да! Она ее не слушает. Она ее жалеет, конечно, и любит, как мать, но уважения нет. Когда Дина как-то попробовала что-то сказать, она ее обрезала: «Мама, ты отказалась от живого мужа, так что не учи меня благородному поведению». Вот видишь! Я не оправдываю Дину. Она поступила против совести. Но, во-первых, она думала о той же Марине, о ее судьбе. И, во-вторых, Дина и Павел Иванович жили недружно еще до того, как все случилось... Я знаю, что пережила твоя мать. Знаю, что в Наркомземе от нее требовали, чтобы она отказалась... И Нюта, между прочим, при всей ее твердокаменности говорила Лизе: «Коля бы тебя не похвалил. Ты должна спастись детей. А то, что ты подпишешь какую-то бумажку, это сушая чепуха, вздор, Коля поймет, все поймут». Но Лиза не смогла...

Игорь думает: она не смогла стать другой. Превратиться в другого человека. Он видит давнее лето на даче, приезд тети Дины с высоким усатым человеком, Павлом Ивановичем, отец боролся с ним на Габайском пляже, стояла августовская жара, туда приехали на двух лодках, по пути соревновались, какая лодка быстрее, и Игорь сидел на руле. В тот день отец уронил в воду очки, и мама долго ныряла, пока не нашла их на дне.

— Ты говоришь: поймут. Но ведь Марина не захотела понять тетю Дину. Хотя сделано было ради нее...

— Я этого не говорила! Это сказала Нюта. Правда, я не уверена в том, что она сказала это только лишь...

— Ну?

— Ну, ты же знаешь свою бабушку. Она не похожа на обычных людей. Прежде всего она человек дисциплины...

Бочкин прошел в ванную, гремя там тазами. Зашумела вода. Сейчас он разведет свою гадость: разложит в тазы куски кожи, вытащит банки с кислотой, с ворванью. В ванную не зайдешь.

— Горик, лоди, пожалуйста, поставь суп. Скоро Дина придет. И я тебя прошу: ни Марине, ни Дине ни

слова, что я... Но ты сам... — Бабушка Вера закрывает лицо ладонями. — Поговори с Мариной! Она же гибнет! Неужели вы не видите, что девочка гибнет... ведь ее отчислили из института, она обманывает, не ходит ни на какие...

Бабушка Вера задыхается... Она плачет без слез, как плачут очень старые люди.

Игорь обещает поговорить с Мариной. А что ему остается делать? Но поговорить никак не удастся: вечерами ее нет, а утром он уходит слишком рано.

Однажды он просыпается ночью от голода. Может, и не от самого настоящего голода, того, что когтит человека зверским желанием есть что угодно, лишь бы наесться, набить живот. Нет, ему не все равно что есть и чем набивать живот. Щи из квашеной капусты, например, какими кормят в столовой, он есть бы не стал. Овощную «безлимитку» тоже, пожалуй, не стал бы. Он просыпается от совершенно четкого и могучего, изнутри прущего желания: пожевать кусочек черного хлеба. Хочется тихо встать, подойти на цыпочках к буфету, открыть с максимальной осторожностью — чтоб не разбудить бабушку и тетю Дину — стеклянную дверцу, достать хлебницу и отрезать от вчерашней буханки ломтик толщиной примерно в десять миллиметров. Посыпать солью и запить водой из-под крана. Несколько секунд Игорь лежит недвижно, глядя во мрак и изумляясь этой хлебной причуде, разбудившей его среди ночи.

Сна ни в одном глазу, а желание ощутить во рту знакомую вязкую кислоту черняшки жжет все сильнее. Но он продолжает лежать. Нет, у него не хватит сил пойти к шкафу и совершить воровство. А что же, как не воровство: под покровом ночи оттяпать кусок от общей буханки? Ну и срам будет, если проснется тетя Дина. Баба-то Вера ничего не услышит, хоть из пушек пали. В том-то и весь ужас, весь стыд, что делается ночью, когда другие спят. Если бы вечером, у всех на виду он подошел бы к шкафу и со словами: «Что-то я малость того...» — спокойно отрезал кусочек хлеба, это было бы вполне прилично и естественно. Но вот ночью, втихаря... Нет, невозможно! В десять вечера было возможно, а сейчас — он дотянулся рукой до буфетника, всмотрелся в светящиеся цифры, — в три ночи совершенно немыслимо. Лучше погибнуть от голода. Представить только: тетя Дина вдруг просыпает-

ся, мало ли отчего, кольнуло в боку, и видит, как ее племянник стоит, белея кальсонами, у буфета...

Между тем желание черняшки — ничего больше, никаких пирожных, огурцов, ливерных колбас, ничего, кроме простой черняшечки, — становится нестерпимым. Печет внутри так, точно там, в желудке, поставлен горчичник. Бессознательно Игорь начинает примериваться, как бесшумней откинуть одеяло и как спустить левую ногу на пол, чтобы ничего не задеть. Какой все же вздор лезет со сна в голову! Неужели добрые люди, которые любят его как сына, пожалеют ему маленький ломтик хлеба, граммов сорок или пятьдесят? Единственная неловкость: то, что ночью. Но ведь будить среди ночи, чтобы сообщить о своем непобедимом желании пожевать хлебушка, было бы еще большей неловкостью. Было бы просто подлостью, тем более что бабушка мучается бессонницей, засыпает с трудом. А вообще-то в этом доме он главный, так сказать, «немец, хлебник аккуратный, в бумажном колпаке» — по рабочей карточке он зашибает семьсот граммов, тетя Дина по служащей зашибает пятьсот, бабушка Вера ничего, Марина тоже ничего.

Последнее гнусное соображение приходит в голову, когда он уже крадетса босиком к буфету. С куском хлеба, посыпанным солью, и стаканом он скользит затем на кухню.

Зажигает свет, наполняет стакан водой и садится на стол — чтоб босые ноги не стояли на холодном полу, а болтались в воздухе — и принимается за трапезу. Мысли его не успевают ни на чем сосредоточиться, переносясь от Кольки, Авдейчика, новых матриц, которые слишком быстро выходят из строя, и криков Чумы по этому поводу (вчера перетягивали всю позавчерашнюю партию профилей, забракованных контролерами; матрицы необычайно быстро обрываются, и никто не заметил), от слухов насчет того, что скоро многих вернут с Урала, будут перестановки в цехах, выдадут ордера на шапки-ушанки к Новому году, от всего заводского, ставшего мучающим и близким, к наступлению западнее Ржева, к прорыву фронта, ко вчерашнему митингу в цехе, к Сталинграду и Тулону, где французские моряки взорвали свои корабли, капитаны оставались на мостиках и почти все погибли. И вдруг он явственно слышит, как во входной двери поскрипывает ключ.

Кто-то поворачивает ключ так же медленно и осторожно, как только что действовал он сам, открывая дверцу буфета.

Игорь гасит на кухне свет и на всякий случай вооружается кухонным ножом. Ключ продолжает скрипеть. Наконец дверь отворилась, слышны шепот, топтание на пороге, ставят что-то тяжелое. Голос Марины:

— Не надо, пусть здесь...

Еще какая-то возня, тяжелое передвигают по полу, шепчутся.

— Нет. Нельзя, потому что...

— Но я прошу!..

— Иди сюда! Вот сюда, на кухню...

Они входят на кухню. Зажигается свет. Игорь вжимается в стену, загоразивается шкафом, но все же он на виду. В первую секунду он испытывает пронизывающий насквозь и убивающий, как разряд молнии, стыд, но затем ему становится все равно, его чувства убиты, и он погружается в оцепенелое и тупое равнодушие. Он слышит, как Марина вскрикивает, хохочет, он видит, как она падает на табуретку, как на щеках ее возникают красные пятна, из глаз катятся слезы. Он видит кожаную бекешу Всеволода Васильевича, его выпученные голубые глаза и рот, кричащий:

— Идиот! Так пугать женщину!

Потом Всеволод Васильевич исчезает. Марина сидит на табуретке, а Игорь все еще не может выйти из-за шкафа, потому что тогда он обнаружится весь с головы до ног. Марина, стискивая руками голову, бормочет что-то насчет «ужасного зрелища», насчет того, что не может видеть «этой гадости», «какой позор» и что-то еще. Он ничего не понимает.

Внезапно она говорит ясным, трезвым голосом:

— Молодые люди и зимой должны носить трусы, но не эту гадость...

Тогда он догадывается, что она пьяна. Она закрывает пальцами глаза и, нетвердо ступая, толкаясь растопыренными локтями в стенки, выбирается из кухни. Из коридора слышно ее бормотание, она разговаривает сама с собой:

— Здесь осторожно, дурочка... Не споткнись, моя родная... Здесь картошка, мешок картошки, сорок кил...

Он стоит неподвижно, вслушиваясь, сжимая кулаки. Кровь, остановившаяся было, вновь бурлит в жилах и

бросает в жар. Он так ненавидит человека с выпученными голубыми глазами, и так любит пьяную девочку, и так униженно ощущает себя, свою ничтожность, что ему хочется упасть, умереть.

Он наливает в стакан воды, садится на стол, дожевывает свою черняшку. Потом идет по коридору к комнатке Марины, открывает без стука дверь и говорит в темноту:

— Маринка, мне нужно с тобой поговорить...

VII

Лыжи оставили у входа, засыпали их для маскировки снегом, сверху наложили ветвей. Первым полез Ленья. Очищенное от раскисшего снега, грязи и прошлогодних листьев отверстие было маленьким и невзрачным. Никак не верилось, что эта нора вела в какие-то гигантские катакомбы. Сначала следовало просунуть в отверстие ноги, а потом проталкиваться внутрь всем телом. Ленья сказал, что за первым ходом метров через пять-шесть будет обрывчик, с которого удобнее сползть именно так: ногами вперед.

— Адью! — сказал Ленья, и его голова в кожаном летчицком шлеме исчезла в черной дыре.

— А Сапог все равно тут не пролез бы-бы-бы со своими окороками... — Марат нарочно стучал зубами и трясся, словно от страха. Но, хотя он дурачился, физиономия у него была на самом деле бледная.

Уползла и его ушаика. Горик просунул ноги в нору и, отталкиваясь руками и локтями, помогая плечами, стал вбуравливаться в тесную и узкую лазейку. Если б не знать, что эта теснота скоро кончится и начнутся просторные ходы и залы, как обещал Ленья, можно было бы прийти в отчаяние. Горик двигался чересчур быстро, потому что услышал снизу полупридушенный голос Марата:

— Эй, тихо... Голова...

— Ах, вот что! — Горик раза два ткнулся ногой во что-то нетвердое, ускользящее. Еще более издалека донесся голос Лени:

— Прыгай!

Марат, видно, прыгнул. Горик почувствовал, что теснота кончилась, ноги оказались в пустоте над обрывом. Прыгать, не зная истинной высоты, было боязно,

и Горик несколько мгновений болтал ногами в воздухе, сдвигаясь вниз по миллиметру и тщетно пытаясь достать носками ботинок дно.

— Да прыгай же! — сказал кто-то, потянув Горика за ногу, и Горик сверзился наземь. Можно было не падать, а просто встать на ноги — земля оказалась рядом, не более чем в полуметре от его ботинок, — но от напряжения и дрожи в коленях он не удержался и рухнул.

Все трое зажгли свои свечи и увидели небольшой, с низким потолком полукруглый зал, из которого чернело провалами два выхода. Зал был замечательно уютный. Он напоминал гостиную с занавешенными окнами. На полу валялись какие-то бумажки, кости, консервные банки и труп маленькой собачонки. Собачка умерла, по-видимому, давно, потому что трупик ссохся, превратился почти в скелет, обтянутый темной кожей. В залике стоял теплый затхлый, но очень приятный запах песчаниковых стен. Леня уверенно направился к одному из черных провалов, откуда начинался коридор. Теперь было ясно, что Карась сказал правду: он тут старожил. И маме своей он, значит, загнул насчет кино и насчет того, что перелезал будто бы через стену и ободрал кожу на ладонях. Он был тут, факт. А Лину Аркадьевну не захотел пугать. Но как же он, змей горыныч, смог пойти сюда в одиночку? Ехать поездом из Москвы, идти на лыжах, продирается сквозь этот капкан, калеча себе руки и уничтожая пальто, все лишь затем, чтобы побыть одному — со свечкой в руке — в этом гробовом мраке. Это был поступок ужасной силы, даже мысль о таком поступке приводила Горика в содрогание, и он отбрасывал ее, стараясь не думать и ничего не спрашивать у Лени, ибо пока еще он мог сомневаться, но, как только узнал бы точно, не в силах был бы относиться к Лене, как прежде, как к обыкновенному человеку. Поэтому лучше думать, что Карась загнул, что он был тут не один, а с кем-то из взрослых, с каким-нибудь, например, профессором, специалистом по изучению пещер. Он не мог, не имел права прийти сюда один. Если б он так поступил, он бы чудовищно и непомерно возвысился надо всеми и одновременно унизил бы всех вокруг.

Коридоры и залы сменялись новыми коридорами и залами. Леня то и дело вынимал из планшетки лист бумаги, что-то отмечал карандашом: составлял

план пещеры. Этот план он хотел передать в дар Географическому обществу, за что всех троих, по его расчету, должны были избрать членами общества. И возможно даже — почетными членами. Все это было заманчиво и прекрасно, особенно когда говорилось об этом там, наверху, но теперь Горика томило две вещи. Первая: то, что за довольно длинный отрезок пути Марат положил всего девять или десять бумажных номеров. Леня велел оставлять номера только там, где коридоры разветвлялись, это было, конечно, разумно, но все же иные коридоры были так длинны, изломанны, с такими сложными изгибами, что спокойней было бы класть номера чаще. Таково было мнение Горика, которого он, конечно, не высказывал, чтоб не выглядеть чересчур осторожным. Кроме того, что Леня велел беречь номера — а их наделали больше ста штук! — это говорило еще и о том, что аппетит у Карася разыгрался и он намерен ходить по своей любимой пещере еще часов пять. А Горика казалось, что уже все ясно и можно понемногу подгрести к выходу. Походили, посмотрели, дальше то же самое — еще зал, еще коридор.

Другое, что томило, — мысль о Володьке. От него по тайнствениому настоянию Лени поход был скрыт, но Сапог мог случайно, по недомыслию или со зла позвонить домой и обнаружить вранье. Горик сказал, что поедет с классом на экскурсию в Горки Ленинские. Скорее всего, Сапог звонить не станет, догадался, что его почему-то отшили: в субботу у него был такой померкший, убитый вид, что даже жаль его стало. Вообще-то Горик считал, что Сапог — человек несерьезный, болтун и враль и в секретные дела посвящать его не следует, поэтому даже обрадовался, когда Леня вдруг заявил, что по особым причинам Сапог должен быть исключен из ОИППХа — о причинах Леня обещал доложить позднее, когда удостоверится в точности фактов. Он только сказал, что преступления Марата — его беззастенчивая, у всех на виду беготня за Каткой Флоринской и то, что он растрепал ей про пещеры — ничто по сравнению с этими «особыми причинами»! Но в чем конкретно дело, проклятый темнила не сообщил.

Горик на него надулся. «Ладно! Я тебе тоже одну вещь не скажу». Никакой «вещи», разумеется, не было. Была обида, застрявшая в Горике еще с утра, когда

Карась вздумал над ним покуражиться. Иногда на Карася находила такая гадость: покуражиться над товарищамн.

На первой перемене он подошел к Горик и сказал: «Будем узнавать крокодилов!» — «Давай!» — охотно согласился Горик, не предполагая подвоха.

«Крокодилами» Ленья и Горик называли тех, которые знают лишь то, что проходят в школе, словом, невежд, полузнаек. «Крокодилам» противостоят «осьминоги», люди начитанные, сведущие во многих науках. «Крокодилов» в классе полно, а «осьминогов» — раз-два, и обчелся. Ленья, Горик и еще человека три, не больше. Распознавать «крокодилов» — премилое дело, увлекательнейшая забава. Вот Горик и подумал, что Карась предлагает ему позабавиться, пощупать кое-кого, задать контрольные вопросы. Ленья показал ему какой-то рисунок в книге и спросил: «Что это за цветок?» Горик посмотрел, пожал плечами. «А черт его знает!» — «Не знаешь?» — «Нет». — «Удивительно! Это раффлезия, растет на островах Суматра и Ява. Такую вещь каждый осьминог должен знать!» И отошел, посмеиваясь, как бы говоря: «А ты, оказывается, крокодил, братец».

Горик, ошарашенный такой низостью, весь урок обдумывал, как отомстить, и на следующей перемене подозвал Леню. «Лень, — сказал он как можно простодушней, — ты не знаешь случайно: кто такие мормоны?» «Не знаю», — признался Ленья. «Неужели не знаешь?» — «Нет». — «Удивительно! Это каждый крокодил должен знать. Не говоря уже об осьминогах». Тут хвастливый профессор все понял, покраснел как рак и, скривив губы, сказал презрительно: «Все с меня слизываеть, хорошая обезьянка!»

И до конца уроков они не разговаривали. Только на обратном пути Карась неожиданно догнал Горика на набережной и сказал сухим тоном: «Ты пока еще член ОИППХа и должен знать, что через три дня мы идем в пещеру». Тут-то Карась и сообщил насчет Сапога, Горик, который совсем было его простил, вновь надулся. Если б Сапог на другой день подошел к Горик и спросил: «Ребя, за что?» — Горик наверняка потребовал бы от Лени немедленных объяснений, но Сапог не подошел. Сапог притих, ни с кем не разговаривал, вид у него был невероятно печальный. Похоже, он понимал безнадежность своего положения.

Эта покорность судьбе была совсем не в его, Сапоговым, характере и лишь подтверждала подозрения, что тут дело нечисто. Толстяк что-то за собой знал!

Через час-полтора блужданий по коридорам и залам вышли наконец в Круглый, или Царский, зал. Именно сюда Леня стремился попасть, здесь был обещан привал. Зал был велик, стены и потолок терялись в темноте, три свечи не могли осветить ничего, кроме клочка каменистого пола под ногами, и эта подземельная безграничность была еще тягостней, чем теснота. Посреди зала лежали громадные плоские камни, один из них приспособили под стол, разложили еду: вареное мясо, яйца, хлеб. Но не было аппетита. Один Леня энергично молотил челюстями и при этом, не умолкая, рассказывал о принципе выработки камня в восемнадцатом веке, когда возникла каменоломня. Пол-Москвы, оказывается, построили из белого камня, который выломали здесь, в этих залах. Затем он сказал, что Царский зал, в котором они сидели, должен быть поблизости от старого, главного входа, сейчас заваленного камнями, замурованного, и, стало быть, они ушли очень далеко от той норы. Это сообщение не слишком обрадовало Горика и Марата. Они как бы невзначай поглядели друг на друга, желая что-то сказать, но промолчали. Леня считал, что должны быть где-то другие выходы. Не может быть, чтобы существовал только один выход из такого гигантского лабиринта. Наверняка есть другие, надо их искать.

Марат и Горик продолжали вяло жевать. И вдруг Горик спросил — не хотел спрашивать, вырвалось само собой:

— Карась, а ты, верно, ходил сюда один?

— Верно, — сказал Леня.

«Зачем же я спрашиваю?» — с отчаянием подумал Горик. У него даже что-то дрогнуло и заболело внутри, когда он услышал «верно». Но все было кончено, стрела сидела глубоко в сердце, и чуть качалось ее оперение.

— Для чего же один? — слабым голосом спросил Горик.

— Для того чтоб проверить себя, — безжалостно отрубил Леня.

В тишине слышалось, как с металлическим хрустом жуют его челюсти.

— Ну, ты вообще... — вздохнул Марат

— А знаете ли вы, какие пещеры Европы наименее исследованы? — спросил Ленья, не замечая ни потрясенности Горика, ни почтительного вздоха Марата. — Испании и Португалии! Как же, это любой крокодил обязан знать...

Сейчас он мог хамить и куражиться сколько угодно. Горик был повержен. У него не было сил не то что отвечать, но даже обижаться. Великий человек — он проверял себя! И остался доволен проверкой!

— Я бы тоже хотел проверить себя... когда-нибудь, — робко и завистливо заметил Горик.

— Проще пареной репы. Вообще проверять себя надо не когда-нибудь, не раз в сто лет, а постоянно. Ну, хоть раз в месяц, — сказал Ленья. — Можем вместе провериться, если хочешь.

— Давай, — согласился Горик.

— И я с вами! Сапога возьмем, черт с ним, — сказал Марат. — Пусть толстенький себя проверит, ему это не повредит.

Вдруг Ленья сообщил ошеломительную новость насчет Сапога: его отец, оказывается, враг народа и германский шпион! Несколько дней назад он был разоблачен и арестован. Горик и Марат ничего подобного не слышали. Они даже не поверили своим ушам. Но Ленья сказал, что узнал точно, это подтвердила одна женщина, знакомая его матери, портниха тетя Таисия, которая живет в том же подъезде, где Сапожниковы. Новость была страшно интересная: выходит, они знакомы с самым настоящим шпионом! Преотлично знакомы, много раз здоровались за руку, разговаривали о том о сем. Отец Сапога был толстый человек, ходивший в белой рубашке и в подтяжках, которые всегда у него почему-то болтались, не надетые на плечи. Он смотрел на Горика черным неулыбающимся глазом, глупо подмигивал и спрашивал казенным голосом: «Ну-с, что нового на пионерском фронте?» И такой обыкновенный человек с болтающимися подтяжками был германским шпионом! Ни за что не скажешь. Но именно потому, что это было так невероятно, Горик поверил: настоящих шпионов никогда сразу не отличишь. Это только в кинофильмах показывают шпионов, которые с первой же минуты бросаются в глаза. Любому дураку из четвертого класса, сидящему в зале, давно все ясно, а на экране разведчики мучаются, ломают головы...

— И по этой причине, — сказал Леня, — Сапожников должен быть исключен из ОИППХа.

— Почему? — удивился Марат, но тут же добавил: — Вообще-то да...

Но Горику это показалось нечестным. Сапог же не виноват в том, что у него папаша — шпион. Откуда ему знать? Он же не интересуется отцовскими делами, правда же?

— А знаешь, что говорил мой отец? — сказал Леня, и его лицо при свете свечи стало жестким и скуластым, как у индейца. — Он недавно приезжал в Москву на пленум. Видел Сталина, Ворошилова. И вот он говорит, что сейчас самое труднейшее время, еще труднее, чем война. Потому что кругом враги. Вредители, шпионы, диверсанты, двурушники и так далее. Англия и Франция, говорит, переполнены немецкими шпионами. Почему же, говорит, их у нас не должно быть? Они есть, еще больше, чем там, но их разоблачить трудно, потому что, говорит, они прикрываются партийными билетами и прошлыми заслугами. Вообще очень хитро маскируются, гады.

Он умолк, морща лоб.

— Ну? — спросил Горик.

— Что «ну»? Баранки гну! Если б мы взяли Володьку в пещеру, он бы проболтался отцу, и тот передал все сведения о пещере в германский штаб. А пещеры играют очень важную роль на войне. Ясно вам, лопухи?

«Лопухи» молчали. Все, что Карась сказал, было ясно и мудро, но от этой мудрости сделалось вдруг скучно. Игра кончалась. Начиналось что-то другое. Но им не хотелось верить в это. Почти всю свою жизнь, длинную у одного и короткую, несчастную у другого, они не верили в то, что игра кончилась.

Все разделились на два враждующих лагеря: одни за Сереежину Валу, другие против Сереежиной Вали. За — бабушка, мама, Женька, дядя Миша, Валерка, домработница Маруся; против — отец, Горик, тетя Дина, сам Сереежка, дядя Гриша и его жена Зоя. Все было понятно, кроме одного: почему дядя Миша «за»? Наверно, только потому, что он неизменно спорил с отцом, и особенно с Сереежкой. Если они против, значит, он «за». Свистопляска началась однажды вечером, когда бабушка пришла с работы очень возбужденная и сказала, что к ней в секретариат приходила

Сережкина Валя, плакала, даже рыдала, жаловалась на Сережку и называла его подлецом. Все это было рассказано за ужином одним взрослым, но Горик, несколько раз забежавший в столовую с учебником по геометрии — как бы спросить у отца насчет одной заковыристой задачки, — хотя и делал вид, что ничего не соображает и ничем не интересуется, кроме геометрии, хотя бабушка всякий раз понижала голос, когда он вбегал, сумел все отлично понять. Услышанное поразило его. Он никогда не видел, как рыдают, но картина рыдающей Вали мгновенно возникла в его воображении. Это было нечто величественное и в то же время пугающее. Главное, что он понял, — Сережка не хочет больше быть женихом Вали и нашел себе другую невесту. Эту другую, по имени Ада, Горик уже видел раза три, Сережка приводил ее в гости, а однажды все вместе ходили в кино на «Арсен из Марабды», мировую картину про кавказских разбойников.

Ада была гораздо красивее Вали. Во-первых, Валя в очках, черная с черными глазами и смуглым, мулатским цветом лица. А если присмотреться, можно заметить у нее маленькие черные усики, какие бывают у ребят из десятого класса. Валя — студентка, учится с Сережкой на одном курсе, а Ада — художница, работает на киностудии и может доставать билеты на любой фильм без очереди. У Ады светлые кудрявые волосы, она играет в теннис, весело смеется, любит петь: «Нас утро встречает прохладой». Но некоторые говорят, что Ада не может быть настоящей невестой для Сережки, потому что у нее есть муж, ответственный работник, который живет здесь же в доме, в другом дворе. Но Сережка говорит, что с этим мужем Ада жить не хочет и все равно уйдет от него. Бабушка считает, что нельзя так обманывать человека, то есть Валю, как это сделал Сережка. А отец говорит, что, как бы ни складывались отношения, нельзя приходить по такому поводу в секретариат.

Как-то пришла Валя и долго сидела в комнате бабушки за портьерой болотного цвета. На другой день появилась Ада и пробыла целый час в кабинете отца, куда забежали то мама, то Сережка, но бабушка проходила мимо дверей кабинета с невозмутимым и гордым лицом. Горик слышал, как она сказала: «Нет, мне там делать нечего!» Потом Валя приходила прощаться. Она уезжала в другой город. Зашла вдруг в детскую —

никогда не заходила — и сказала, протянув Горик у руку: «До свидания, Горик! Желаю тебе всего-всего хорошего. Желаю тебе вырасти счастливым и честным человеком». Горик ответил: «Хорошо». Он не знал, что еще сказать, а Валя не уходила. Она сказала: «Помнишь, как мы катались на лыжах на даче?» Он помнил. «И учили Пушкина...» — «Ага», — сказал он. Ему сделалось ее жаль, потому что он вспомнил, как отвратительно она каталась на лыжах и плохо запоминала стихи. Губы ее задержались, в глазах заблестело, и Горик испугался, подумав, что сейчас будет рыдать, но Валя кивнула и вышла.

Еще через несколько дней Сережка устроил новую свистопляску. Он кричал на бабушку, ссорился с мамой, выбрасывал свои вещи из комнаты в коридор и бегал куда-то с кожаным чемоданом, набитым книгами, бумагами. Он сказал, что не может жить в доме с людьми, которые его не уважают и не верят ни одному его слову. И тоже уехал в другой город. Но через два дня вернулся. Стояла удушливая весна. Зазеленели газоны. В школьном саду знойно пахло землей, свежей масляной краской, которой покрывались скамейки и низкий деревянный заборчик. На переменах разрешалось выходить в сад, а старшеклассникам — на набережную и прогуливаться там вдоль гранитного парапета.

Горик и Марат смотрели на старшеклассников через ограду. Все, кто был ниже девятого класса, не имели права выбегать на уютный, нагретый солнцем асфальт набережной — могли попасть под машину. Горик подошел к воротам и крикнул: «Эй, волосатики! Звонки!» Старшеклассники гурьбой повалили через дорогу, продолжая с важным видом разговаривать. И, только войдя во двор, заметили, что никто в школу не торопится. Горик и Марат бросились наутек, крича: «Обманули дурачка на четыре кулачка!» Один из старшеклассников, здоровенный верзила с разбойничьим, багрово-красным лицом, ринулся за Гориком и Маратом. Те побежали на задний двор, надеясь, что верзила отстанет, побоявшись грязи и луж. Но тот мчался за ними, разбрызгивая лужи и храпя, как лось. Его дружки и девчонки подбадривали разбойника криками: «Лови их! Держи! Ату!» Пробежав задний двор, Горик и Марат юркнули на черную лестницу — слава богу, какой-то добрый человек оставил открытой

двери! — и молнией устремились вверх, на третий этаж. Им чудилось, что верзила бежит следом. Честно говоря, они струхнули: на черной лестнице всегда темно, безлюдно и верзила мог беспрепятственно навешать пилюль, никто не услышал бы криков о помощи. На третьем этаже они остановились, едва переводя дыхание. Нет, все было тихо. По-видимому, добежав до черного хода, багроворожий понял, что его попытка догнать вряд ли увенчается успехом, и прекратил преследование.

Багроворожий оказался братом Ады. Его звали Лева. Их отец был замнаркома, жил в одиннадцатом подъезде. Как-то Ада пришла с этим Левою к Сережке, оба были с теннисными ракетками в чехлах и звали Сережку с собой — ехать на Петровку, на динамовские корты, — и Лева, увидев в коридоре Горика, сказал: «Эге, попался!» Больше он ничего не сказал. Горик вышел на балкон и смотрел сверху, как они идут втроем по двору: две светлые головы — Ады и Левы и черная — Сережки. Сережка говорил, что Лева играл в теннис с самим Анри Коше, когда тот приезжал в Москву, и Анри Коше предсказал, что из Левы выйдет толк.

В тот апрельский день с балкона Горик последний раз видел Леву. Накануне майских праздников разнеслась ужасная весть: Лева арестован милицией, над ним и еще четверьмя ребятами будет суд. Они грабили квартиры. Лева украл у своего отца пистолет. И в это дело был замешан Валька, сын Давида Шварца. Вальку не арестовали, как других, но вызывали к следователю и допрашивали. В грабежах он не участвовал, но знал о них и чем-то даже помогал грабителям. У себя в комнате, например, он несколько дней позволил жить одному парню, убежавшему из дома, а Давиду сказал, что этого парня бьет отец, бывший поп, за то, что парень вступил в комсомол. Этот мифический комсомолец оказался чуть ли не главным заводилой в шайке.

Давид Шварц пришел советоваться, что делать с Валькой.

Все сидели в столовой, кроме Жени, которая, болея ангиной, лежала в изоляции в бабушкиной комнате. Бабушка гневалась особенно сильно, но обрушивалась почему-то на Сережку:

— Я тебе говорила, что мне не нравится вся семья! Ты со мной спорил. Теперь видишь, какое разложение...

— При чем семья? Его отец — уважаемый человек. Работал, кстати, с Орджоникидзе. Вот домой он приходил только ночью, это да, такая работа. Ада тоже порядочная, честная женщина, но она, как ты знаешь, не может воспитывать брата, потому что замужем и живет отдельно...

— Порядочная женщина не станет, будучи замужем...

— Это, по-моему, не касается! — багровел Сергей.

— Нет, касается. Это касается морали всех, всей семьи.

— О чем ты говоришь? Какой вздор! — кипятился Сергей. — А Анна Каренина? Постыдись!

— Сережа, ты не отмахивайся, в чем-то мама права, — рассудительно говорила мать Горика. — Почему такое случилось именно в той семье? Я не могу, например, представить себе, чтобы ты или Горик выкрали из стола Николая Григорьевича пистолет и пошли бы грабить квартиры. Возможно это? По-моему, невозможно. И так же не могу себе представить, как можно, разлюбив человека, изменяя ему, продолжать жить с ним в квартире, встречаться ежедневно...

— А что она должна делать?

— Уйти.

— Куда?

— К человеку, которого любит, очевидно.

— В шестиметровую комнату? У нее холсты, рамы, мольберт — где все это поместится? И вообще демагогия: ни ты, ни мама не хотите, чтобы Ада сюда пришла. Для вас это кошмарный сон. И она это чувствует. Зачем говорить зря?

— Хорошо, пусть не сюда, пусть уйдет к отцу, — не сдавалась мать Горика. — У него достаточно большая квартира, найдется место для дочери.

— Вот именно! Да, да, — кивала бабушка. — У меня тоже не укладывается... Такая беспринципность, такой цинизм...

— Как же вы, черт вас возьми, легко решаете чужие проблемы! А если она не может вернуться к отцу? Если так сложились отношения с мачехой? Что тогда? Прыгать с Каменного моста? Пулю в лоб?

Горик сидел и слушал с огромным интересом. О нем забыли. И он старался ни звуком, ни малейшим шевелением тела не обращать на себя внимания. Бабушка упорно гнула свое:

— Я что хочу сказать, эта семья мне неприятна. Я знаю их отца, он очень малопринципиальный человек: то подписывает какие-то платформы, то с такой же легкостью отказывается. Таким людям, знаете ли, веры нет...

— Ну и что — подписывал платформы? Какая аморальность! Значит, имел свое мнение, пускай ошибочное.

— Мы с Николаем Григорьевичем почему-то так не ошибались: против партии, против генеральной линии. Мы ошибались вместе с партией, может быть...

— Допустим! Ну, хорошо! — закричал Сережка, вскочив. Его лицо вдруг покраснело у глаз пятнами, и это означало, что он не владеет собой. — Вот сидит Давид Александрович Шварц, так? Уважаемый всеми нами и, кроме нас, еще сотнями, тысячами людей. Так? А что случилось с Валентином? Значит, мы должны Валькины грехи объяснить какими-то, ну... свойствами Давида Александровича? Так, что ли?

— Объясните, пожалуйста, — прохрипел Шварц. — И будет неглупо.

Он сидел на диване, отдуваясь, храпя, и поворачивал свои выпуклые, налитые усталостью, в желтоватых белках глаза то к одному, то к другому. Скорей всего, он не слушал, что говорили, а размышлял. Смотреть на него было забавно. Вдруг на его толстых губах надувались пузыри, он начинал ковырять пальцем в носу, делал это сосредоточенно, у всех на виду, не заботясь о том, что делать так неприлично.

Бабушка сказала, что самое разумное отдать Вальку в «лесную школу». Отец Горика присвистнул.

— Вот тебе иа! А кто же ругал Ваню Снякина за то, что тот отдал сына в «лесную»?

— Не путай, Николай Григорьевич! Я знаю, что говорю, — отрезала бабушка. Она обещала переговорить со своей подругой Бертой, страшенькой бородатой старухой, невероятной курильщицей, которая работала в Наркомпросе как раз по «лесным школам». — У Снякиных были все условия воспитывать мальчишку дома, — сказала бабушка строго. — Но его жена слишком любила комфорт и легкую жизнь. Сейчас, правда, она живет без всякого комфорта где-то на севере. Я, конечно, не злорадствую, наоборот, сочувствую ей. А у Давида таких условий нет и не было.

Вопрос о «лесной школе» был решен. Мама, любив-

шая все рационализировать, тут же предложила устроить Вальку в шабановскую «лесную школу», потому что в Шабанове, в музее композитора, работает тетя Дина, она могла бы навестить Вальку, а он мог бы приходиться к ней в гости.

Давид Шварц кивал, соглашаясь со всеми, а потом сказал:

— Это хороший план. Не знаю только, согласится ли он.

Все возмутились этой фразой. Николай Григорьевич требовал, чтобы Вальку прислали к нему и он с ним крепко поговорит, а бабушка твердила:

— Вот результаты твоей политики!

Но Давид Шварц сказал, что, если б Валька был его родным сыном, он поступил бы с ним по всей строгости, а так он обязан его жалеть. Тогда мама раздраженно сказала:

— Горик, ты что тут сидишь? Марш спать немедленно!

Уходя, Горик слышал, как Сережка сказал неестественным, нахальным голосом:

— Почему ж так? Можно и наоборот — пожестче.

После этого было молчание. Может, они принялись все одновременно пить чай или есть конфеты. Но, уйдя уже далеко по коридору, Горик продолжал ощущать странную неуклюжесть этого молчания. Он думал об этом молчании, сидя в уборной, потом в ванной комнате и после ванной, и когда ложился спать. Ему было немного стыдно за Сережку, за его нахальный голос и за что-то еще, чего определить в точности не удавалось. Горик перекалывался с боку на бок и долго не мог заснуть.

Сережка был такой же не родной сын для бабушки, как Валька для Шварца. Только Давид Шварц взял Вальку из детского дома недавно, лет семь назад, а бабушка взяла Сережку после гражданской войны, во время голода, когда Сережке было пять лет. Он по-русски не говорил, потому что чуваш и родился на Волге в чувашской деревне. Но никто, конечно — ни бабушка, ни мама, ни дядя Гриша, ни отец, ни Горик и ни Женяка, — не показывал виду, что Сережка не родной сын бабушки. Горик даже не знал об этом много лет. Мама рассказала только в прошлом году. И вот недавно, когда Горик за что-то обозлился на Сережку и поругался с ним, назвав его «длинным дураком», мама сказала,

чтобы он никогда не смел ругать Сережку и говорить ему грубости. «А если он первый?» — спросил Горик. «Ты все равно должен сдержаться и промолчать».

Поздним вечером Сергей надел костюм, взял на руку плащ, сунул в карман коробку «Герцеговины флор» — эти папиросы он почти не тратил, берег для торжественных случаев — и заглянул в столовую, чтобы сказать: «Ну, пока! Пойду пройдусь перед сном». За чайным столом еще сидели Давид Александрович и бабушка. Они взглянули на него как будто из глубокого сна. Разумеется, Анна Генриховна, мать Сергея, которую он, как и все в доме, называл бабушкой или даже по-гориковски «бабишкой», никогда не требовала отчета, куда, с кем, надолго ли. Но сейчас, когда он произнес в двенадцатом часу ночи свое «пока», она посмотрела на него отчужденно. Кажется, даже не поняла, что он уходит. Но Лиза, наткнувшись на него в большом коридоре, все сообразила, и лицо ее кисло и слабо скривилось. Она вздохнула.

— Ой, Сережа... — на что Сергей отрывисто пробормотал:

— Скоро приду! Но дверь закройте на один замок...

Было тепло. Какие-то люди с горящими угольками папирос стояли кружком на асфальте перед подъездом и разговаривали вполголоса. Доносились слова: «Но здесь она неподражаема...» — «Где?» — «В «Лебедином». — «Ах, в «Лебедином», я же не спорю, я говорю о...» Уходя по асфальтированной дорожке от этой кучки людей, дымивших папиросами перед сном и рассуждавших о балете, Сергей думал: это всерьез или понарошке? Слишком много людей делают вид, что увлечены чепухой. Половина ребят на курсе бредят футболом. Только и слышишь: Ильин, Старостин, беки, хавбеки. Другие помешались на шахматах. Чертят таблицы, дуются даже на лекциях. Как считаешь, кто победит в отложенной, Левенфиш или Юдович? Так и хотелось сказать дураку: «Милый, я тоже играю в шахматы, но не притворяюсь, что мне так уж безумно важно знать, кто победит — Левеифиш или Юдович, Мейерхольд или Керженцев? Кто победит: республика или фашисты? Это коснется тебя лично, дурака, это проедет по твоей жизни, а в шахматы будешь играть в раю». Вот что хотел сказать Сергей, но не сказал вчера, когда один человек подполз к нему после общефакультетского собрания, на котором громили профессора Успенского как «троцкист-

та и идеологического диверсанта», и спросил: «Как считаешь, кто победит в отложенной, Левенфиш или Юдович?» Он посмотрел в пустые заячьи глаза под очками и, мгновение помолчав, сказал: «Я считаю вообще-то, что у Левенфиша шансов побольше». И воспоминание об этом миге молчания, о том, что он сказал и чего не сказал, гнало его, гнало по асфальту за угол, в другой двор, к угловому подъезду.

Всегда, когда он подходил к этому подъезду, его грыз ерундовый и глупый страшок: перед вахтером. Перед его равнодушно-зорким взглядом и возможным вопросом. К счастью, в этом же подъезде на седьмом этаже — Ада жила на четвертом — жил товарищ школьных лет Борис Володичев, сейчас студент юридического института. С Борисом он почти не встречался, взаимные интересы иссякли, но можно было на вопрос «куда» ответить — к нему. Еще ни разу не спрашивали, потому что вахтеры попадались знакомые, помнившие Сергея во времена, когда он действительно ходил в гости к Борису. Сергей предупредительно здоровался, и вахтеры, кивая в ответ, ленились задавать лишние, но полагавшиеся по инструкции вопросы. Жители дома относились к вахтерам с привычной опасливостью, как относятся, например, к железным ящикам с надписью: «Осторожно! Ток высокого напряжения!» Бояться не боялись, но подолгу задерживаться вблизи избегали. Сергей, конечно, на это плевал, но тут была замешана женщина.

Он отвалил на себя тяжелую дверь, и нехорошее предчувствие заколотилось в сердце. Очень уж поздно, половина двенадцатого. Так и есть, вахтер новый. Сергей сказал «здравствуйте», в два скачка миновал первую лестницу и шагнул налево, к лифту. Вахтер остановил его снизу властным голосом: «Гражданин! К кому?» Еще никогда, ни в одном подъезде его так не окликали... Сергей посмотрел внимательней: молодой толстяк, хорошо выбритый, с пухлыми, сочными губами. Лицо показалось Сергею напудренным, а взгляд темных маленьких глаз под темными бровями каким-то театрально-пристальным. Такому хорошо бы выйти на сцену и запеть тенором: «Ой, Галына, ой, дивчына...» Зачем-то улыбаясь, Сергей сказал:

— К Володичеву.

— А не поздно? — спросил вахтер, поворачиваясь и идя к телефону, висящему на стене. При этом тол-

стяк зевал, нежно похлопывая ладонью по разинутому рту
Эта необычная фамильярность тона и исполненные достоинства движения обнаруживали человека, знающего себе цену.

«Этот все будет делать по инструкции, — подумал Сергей. — А если Борьки нет дома?» Вахтер набрал номер и долго молчал. Видно, там уже легли спать. Сергей лихорадочно придумывал: что сказать Борьке?

— К вам тут гражданин... — Вахтер вопросительно и малопочтительно чуть поднял к Сергею подбородок. — Как?

— Вирский.

— Вирский. — Вахтер помолчал, потом повесил трубку.

Он ничего не сказал Сергею, не посмотрел на него, а просто молча направился от телефона к своему стулу, на котором лежала круглая, зеленого цвета, плоская байковая подушечка. Сергей открыл лифт и нажал кнопку седьмого этажа. Дверь в квартиру Володичевых была отворена. На пороге стояла мать Бориса, в халате, как видно, со сна, с пятнами белой, нездоровой, мятой кожи вокруг глаз-буравчиков, которыми она сверлила Сергея. Володичева не произносила ни слова, но всем своим ошарашенным видом кричала: «Что? Говори! Но, если что-нибудь страшное, ты не должен был, не смел...» Сергей поспешно объяснил, что пришел к Борису по незначительному, но абсолютно неотложному делу. Когда-то он давал Борису книгу «Мастера искусства об искусстве», том первый, но завтра эта книга ему понадобится для семинара. Бориса дома не было, он еще не вернулся из института с праздничного вечера. Пошли к нему в комнату, рылись в шкафах, нашли книгу, потом Володичева, благодушествуя, расспрашивала про бабушку: они работали вместе в секретариате. О бабушке Володичева всегда говорила с великим почтением. И бабушка о Володичевой отзывалась тоже с похвалой, особенно о ее безудержном трудолюбии и непомерной добросовестности. Сергей слышал такие выражения: «Мария Степановна у нас двужилыная!», «Марию Степановну никто не пересилит!» Это значило, что Володичева могла свободно высиживать на работе до двенадцати, до часу и до трех ночи. Наконец Сергей выпутался из расспросов Володичевой — о Николае Григорьевиче, Лизе, ее детях, планах на лето, здоровье Давида Шварца, которого Володичева, по ее словам, «безумно

уважала» — и вырвался на лестничный простор. Часы показывали без пяти двенадцать. Сергей спустился на три этажа ниже и позвонил в квартиру, находившуюся как раз под квартирой Володичевых.

Ада открыла сразу. Знакомый, раздражающий запах мастики — в этой квартире всегда сияли полы. Ада терла паркет сама, ежедневно — даже теперь, когда жизнь треснула поперек, все нарушилось, перестал готовиться обед, ушла домработница. Но коридор сиял. Ада прыгала, наслаждаясь не хуже полотера, по утрам — ради зарядки, а после еды — чтоб не толстеть. Квартира была редкая для этого дома, маленькая, из двух комнат. И жили в ней двое: Ада и Воловик. Ада говорила, что с Воловиком все кончено, но Сергей не мог поверить этому в глубине души, хотя говорил ей, что верит. Воловик читал лекции в институте, где Сергей учился. Он был редактором философского журнала, шел в гору. И этот невзрачный, с темным лицом язвенника, пятидесятилетний задохлик имел права на Аду, молодую, таинственную, как Настасья Филипповна из романа «Идиот» Достоевского. Она могла быть его дочерью, но он сделал ее женой, обольстив наmeshливым и желчным умом, громадной памятью, умением идти в гору и своим нерастраченным пылом, законсервированным в силу многих причин. До тридцати лет Воловику было недосуг интересоваться женщинами; он жил идеями, нелегальщиной, борьбой; после тридцати — женщины утратили к нему интерес, ибо он слишком истощил себя в борьбе и только теперь, когда он превратился в задохлика, решил вскрыть грубым консервным ножом эту банку. И густое зловоние потекло оттуда. Ничего нельзя хранить бесконечно.

Не было человека в мире, которого Сергей ненавидел бы более, чем Воловика. Он не спрашивал Аду, но почему-то был убежден, что Воловик поставил ее в безвыходное положение, одурманил хитростью, загнал в капкан. Было так: прошлым летом на Николиной горе, куда Сергей ездил погостить к приятелю, он познакомился с Адой на волейбольной площадке. Потом осенью пришел к Воловику сдавать зачет: того раздуло флюсом, он сидел дома, как старая баба, повязавшись шерстяным платком. И увидел Аду. Потом они пошли в консерваторию на «Орфея и Эвридику». Потом встречались во дворе, гуляли по набережной до Стрелки и обратно. Все истинное началось недавно. Воловик яростно вопло-

шал в жизнь решения февральско-мартовского пленума: пропадал до ночи на совещаниях, конференциях, громил, выкорчевывал, разоблачал. Его фамилия мелькала в отчетах. Сергей не мог без сжимания кулаков читать: «...т. Воловик на фактах раскрыл вражескую подоплеку выступлений». Это было, может быть, подлостью, но, когда Сергей, обнимая Аду, вспоминал вдруг воловиковские фразочки, страсть его бурно возрастала.

Он пытался разгадать: что соединило этих разных людей? И что так внезапно отбросило друг от друга? Видимо, было общее, какие-то струны звучали в унисон, но было и что-то непреодолимо чужое. Этим общим, по догадке Сергея, была чувственность, поспешная и ранняя — Ады, запоздалая, ожесточившаяся — лысого сатира. И еще: насмешливость ко всему, что окружало, к людям, словам, вещам. А чужим была суть того и другой, которая постепенно очищалась и, наконец, к исходу четвертого года вышла наружу: сутью одного была подделка, вранье, сутью другой — природа, истинность. Так казалось Сергею, и ему страстно хотелось, чтобы это было правдой.

— Идем пить чай. Хочешь чаю? — не дожидаясь ответа, она вела его за руку по коридорчику на кухню.— Садись!

Он сел к столу. Смотрел на ее чуть выгнутую сильную спину с круглыми боками, спину неутомимой волейболистки, пока она возилась у газовой плиты, чиркала спичками, полоскала чайник. Все ее движения были упруги, полны тайной силы. Она возилась как-то слишком долго, молча, стоя к нему спиной, и он не видел ее лица, тревога вдруг овладела им. Он сказал, что договорился со своим другом, который живет на Дмитровке, и в июне можно переехать в его квартиру на все лето.

— Сергей, я не могу оставить Зиновия Борисовича, — сказала Ада, повернувшись к нему. И он увидел в ее глазах что-то жалкое, понял, что она говорит правду. — Сейчас не могу...

Ошеломленный, он молчал мгновение, потом рванул к двери.

— Подожди! Я хочу... объяснить тебе... Сережа!

— Зачем? Прощай! Я вижу, ты действительно не можешь. А почему, это не так важно.

Но она сильной рукой оттянула его от двери. Он снова сел в угол на табуретку. У него не было сил ни слу-

шать, ни спрашивать. Она сказала, что все изменилось за последние несколько дней: Воловику грозят смертельные неприятности. Арестованы два члена редколлегии и его заместитель в журнале. Три дня назад было отчетно-перевыборное собрание сотрудников журнала, где Воловика топтали его друзья, никто не заступился, никто не опроверг диких обвинений. Во вчерашнем номере «Известий» есть заметка об этом собрании.

— Неужели не читал?

— Нет.

Ада пошла в комнату за газетой.

«Она его любит? — ужаснулся Сергей. — Этого пустозвона, эту жулябию?.. Но ведь столько было сказано о том, как он ей ненавистен, как непереносимы его прикосновения. Но я не могу с ней расстаться, не могу, не могу!»

— Уйти от него сейчас низко... Это все равно что... — Она бросила на стол газету. — Я думала, что нападки на него связаны, может быть, со мной, с этой Левиной историей, но он говорит — это не имеет значения. Он сказал, что уголовщина — прекрасное, чистое дело, он с радостью украл бы у кого-нибудь бумажник и сел в тюрьму. Переждать, как он говорит, полгода. А когда уезжал вчера на Николину гору, вдруг сказал: «Запомни, единственное, что я любил в жизни, это ты...»

Сергей, с трудом вникая, читал газетную заметку на последней полосе. «Выступавшие товарищи на ряде примеров показали, как притупление бдительности и отсутствие самокритики облегчают врагам народа их подлую деятельность. Так, разоблаченный в настоящее время троцкистский вредитель, бывший заместитель главного редактора...»

— А зачем он поехал на Николину гору? — спросил Сергей.

— Там на даче есть какие-то документы, которые могут понадобиться. Что-то подтверждающее его работу в годы гражданской войны. И потом надо попасть к Александру Васильевичу, наши дачи рядом. Александр Васильевич к нему всегда относился хорошо.

— Почему-то я за него не волнуюсь, — сказал Сергей, неприятно задетый словами Ады «надо попасть» и «наши дачи». Она говорила как единомышленница Воловика. Раньше она всегда отделяла себя от него. Сострадание? Для такой, как Ада, это почти любовь. Не дай бог с ним что-то случится, тогда она будет потеря-

на навсегда, свихнется от сострадания. Он ловил в скачущих газетных столбцах строчку...

Вот: «...еще несколько лет назад выпустил книгу, кишашую антимарксистскими положениями. Никакой критике эта стряпня не подвергалась. Мало того, главный редактор журнала Воловик считал возможным держать замаскированного врага на должности своего заместителя. Большевицкий метод подбора кадров сплошь и рядом подменялся «принципом» делячества и семейственности. Только этим можно объяснить, что такие заклятые враги народа, как Смирнов и Урбанович, представляющие собой полное ничтожество в научном отношении... Идиотская болезнь — беспечность привела к тому, что в 1936 году журнал поместил статью о борьбе т. Сталина за диалектический материализм, написанную врагом народа... С настороженным вниманием была заслушана речь Воловика, выступавшего дважды по требованию актива... Беспринципное, лишённое истинной самокритики и путаное выступление главного редактора не удовлетворило... откат на позиции меньшевистствующего идеализма... в условиях отрыва теории от практики... решительно положить конец, выкурить из всех нор».

— Какой-то бред, ничего непонятно... — Сергей стискивал ладонями виски. Внезапно заболела голова, как бывало в минуты сильного мозгового напряжения, но, как ни напрягался, ничего не мог понять. — Ведь он им нужен... Зачем же это делается?

Ада смотрела в окно. По ее остановившемуся взгляду он понял, что она не слышит. Увидел, что она объята состраданием, мощным и всепожирающим, как тяжелое опьянение, как боль всего тела, бывающая при болезнях сердца, почувствовал зависть к Воловику и с угроенной силой ненависть к нему. Раньше он завидовал ему и ненавидел его только за то, что он и Ада спали на одном диване, что их подушки лежали рядом, что он видел ее по утрам в халате и без халата, и за то, что Воловик был ее первым мужчиной. Но теперь его мука ото всех этих ощущений громадно усилилась, ибо он почувствовал боль ее души, причиненную другим. И, странно, его собственное чувство любви тоже громадно и необъяснимо усилилось, толкнуло к ней: обнять, успокоить.

— Родная моя, ну что ты? Все обойдется... У него заслуги... — И, успокаивая ее, стал рассказывать, как

Воловик выступал на общениститутском собрании, как он громил и клеймил, невзирая на авторитеты, в точности как требовалось «критиковать, невзирая на лица и переживания этих лиц». С каким страхом обращался к нему директор, а представитель МК несколько раз в своем выступлении повторил: «Как указывал здесь товарищ Воловик». Так что, по мнению Сергея, бояться не следовало. Он-то как раз должен быть в порядке. Он из тех, кто бьет, но не из тех, кого бьют. Если ему и досталось слегка, то это недоразумение, которое непременно будет исправлено. Даже разумные люди поддаются психозу — вот, например... И он рассказал, какой вздор молот один его приятель, студент, казалось, неглупый малый, но, как выяснилось, большой дурак.

Ада успокоилась и заговорила о том, что происходит на студии. Она рассказывала почти со смехом, потому что на студии тоже творилась какая-то ерунда. Одного оператора, старика, обвинили в подрывной деятельности за то, что он неудачно снял кадр посещения Сталиным строительства канала Москва — Волга: один из кадров был испорчен, лицо Сталина затемняла тень дерева. Этот кадр оператор, он же режиссер ленты, сам забраковал и не вставил в сюжет, но кто-то вытащил пленку из корзины — а вся пленка со Сталиным, малейшие обрезки ее должны учитываться, их нельзя уничтожать, — и завертелось дело о преступном замысле, провокационной вылазке. В многотиражке появилась заметка «Наглая выходка врага». Бедный старик не знает, как спастись, даже бросился за помощью к Аде: хотел, чтоб Воловик позвонил директору или парторгу студии, но Воловик отказался. С Воловиком происходит что-то неясное. Какие-то колесики побежали в обратную сторону. Это началось с марта. Он перестал понимать юмор. Он весь как-то перекосялся, переменил мнения обо всем, обо всех. Давида Шварца раньше очень уважал, заказывал ему статьи для журнала, добивался этих статей, а теперь иначе, как «ханжа» или «старый путаник», не называет. С отцом Ады, которого он тоже уважал и даже любил, недавно вдребезги разругался. А на днях пришел в гости старый его товарищ по ИКП, милейший человек, сейчас он инвалид, тяжелый сердечник, который позволил себе безобидно пошутить о Сталине — что-то по поводу его роста и роста Ежова, о том, что Ежов совсем коротышка, меньше Сталина, и что Сталину, мол, это должно нравиться. И

вдруг Воловик стал на него орать: «Не смейте в моем доме! Я не желаю слушать!» Тот человек встал и, не прощаясь, ушел. Ночью Воловик не мог спать, стонал, терзался.

— Он слабый, — говорила Ада. — И это самое опасное. Он может признать все что угодно, подпишет любое обвинение и погибнет...

— Не погибнет твой Зиновий Борисович. Я тебя уверяю, не погибнет, — говорил Сергей. — И в воде он не потонет, и в огне не сгорит.

На самом-то деле он не был так уж уверен в том, что у Воловика обойдется. Тот был близок к Бухарину, а Бухарина уже открыто, в газетах называли врагом. Но Сергею почему-то приятнее было думать именно так: что Воловик неуязвим.

— Он погибнет, — сказала Ада. — Я чувствую...

— Ну и шут с ним! — вдруг взорвался Сергей и схватил ее за руки. — Что ж, если он погибнет, нам тоже погибать? Да или нет?

Она молчала. Он повторил:

— Да или нет? Отвечай!

Она сказала:

— Не надо меня ни о чем спрашивать.

Потом они пошли в комнату Ады и больше не говорили, потому что все было ясно, ничего сделать было нельзя, и расстаться тоже было нельзя. Перед тем как лечь, Ада распахнула окно. Тепло ночи с шарканьем чьих-то ног по асфальту вошло в комнату. Они стали забывать о том, что их только что волновало. Забывали с трудом, постепенно, но потом сами не заметили, как забывание стало полным, окончательным, навсегда, затемняющим сознание, душным, как ночь, И они уснули. Звонок в дверь разбудил их. Они вскочили разом, сели на диване, оцепенело прислушиваясь, надеясь на то, что звонок обоим приснился. Но звонок прозвенел вновь. Сергей взял часы, лежавшие на деревянной полке в изголовье дивана. Без четверти четыре. Он подумал: «Сейчас я ему все скажу. Так даже лучше!» Страх и оцепенение исчезли. Он обнял Аду, прижал к себе, говоря:

— Так даже лучше. Пусты! Я открою!

— Холодные руки, — сказала Ада, высвобождаясь. Он чувствовал, что она дрожит.

— Я открою.

— Нет. Оставайся здесь...

Она прошла в коридорчик, шелкнула выключателем. Сергей вышел за нею следом и остановился в дверях. Третий раз продолжительно, с убивающей силой зазвонил звонок. Он все еще звонил, когда Ада, одной рукой придерживая халат под подбородком, другой отмыкала замок. Сергей вдруг подумал: «А если не Воловик? Надо спросить...» Выше русой головы Ады появилась фуражка защитного цвета с такого же цвета лакированным козырьком, и, когда Ада отступила на шаг, в коридор вошел незнакомый, высокого роста, очень прямо державшийся молодой человек в гимнастерке, в ремнях, в сапогах. Не здороваясь, он пошел прямо на Сергея, и следом за ним вошел второй, очень похожий на первого, тоже высокий, прямо державшийся, тоже в гимнастерке, в ремнях и с таким же бледным, ничего не выражающим лицом, как у первого, и затем — все похожие, как братья, с одинаково бледными, несколько сонными лицами, — появились третий, четвертый, пятый. Они сразу заставили собой весь коридорчик. Двое, вошедшие последними, держали в руках свернутыми пустые холщовые мешки. Вид у всех пятерых, несмотря на молодецкую выправку, был усталый. Один откровенно зевал. В первую минуту, пока длилось это вхождение из-за кулис на сцену новых людей, ничего не говорилось и ничего не было слышно, кроме стука сапог. Ада, прижатая спиной к вешалке, все еще придерживая одной рукой края халата на груди, читала какую-то бумажку. Сергей видел ее побелевшие щеки и горящие глаза, бегающие по строчкам.

— А где Зиновий Борисович? — услышал Сергей ее чужой голос.

— Там, где полагается, — ответил человек, вошедший первым, он как будто ждал, чтобы Ада дочитала написанное, вернее, ждал, чтобы прошли четыре или пять секунд, положенные для чтения таких бумажек.

— Что там написано? — не выдержав, спросил Сергей.

— Это ордер на обыск, — сказала Ада, продолжая смотреть на бумажку. — Написано: «Произвести обыск на квартире Воловика З. Б. и арест его». Я не понимаю.

— Чего вы не понимаете? — уже грубо сказал первый, потерявший, видимо, терпение. — Где кабинет хозяина?

— Кабинет вот. Но я не понимаю: где Зиновий Борисович?

Пятеро быстро разошлись по комнатам, и начался обыск. Трое работали в кабинете, двое вошли в комнату Ады, где на диване еще лежала неубранная постель. Никто не ответил на ее вопрос. Было ясно, что Воловик арестован. По-видимому, на даче. Может быть, он сидел внизу в машине, а может, был уже на Лубянке. Сергей, подойдя к Аде, спросил одними губами:

— Мне уходить?

— Я боюсь, — сказала Ада едва слышно, хотя по ней это совсем не было видно. Она держалась спокойно, только очень сильно побледнела. Он обнял ее, давая понять, что никуда не уйдет. На него не обращали внимания. Неубранная постель никого не смутила. Кто-то просто содрал ее, схватив за углы, одним резким движением на пол. Отодвинув диван от стены, стали поднимать и швырять на пол диванные подушки. Сергей и Ада из коридорчика смотрели сквозь открытые двери на то, что делается в комнатах. Ада непрерывно ходила по коридорчику туда-сюда, а Сергей стоял неподвижно. Одну за другой он курил папиросы из коробки «Герцеговина флор». Пришла мысль: они должны знать, что Сталин любит курить именно эти папиросы. Может, поэтому отнеслись к нему снисходительно и не спрашивают: «Кто вы? Ваши документы!» Каждую секунду он ждал, что спросят. Никаких документов не было. Зачем, впрочем, спрашивать? Они могли догадаться о том, что он тут делал. Наверное, догадались. Эта сфера жизни их не интересует. Они сосредоточены на другом. Вот если б он захотел вдруг уйти, это могло вызвать подозрения, и они бы всполошились: «А почему, собственно, вы хотите уйти?» Надо стоять неподвижно, со спокойным видом.

Именно так он и стоял, хотя сердце его колотилось и все в нем напряглось. Он боялся, что, если спросят фамилию и узнают, что он Вирский, неприятности будут у мамы. Больше чем за кого-либо он боялся за нее. Ведь она работала в Секретариате.

В кабинете Воловика ящики из письменного стола были вынуты, поставлены на ковер, и два человека рылись в них быстро, споро и в то же время небрежно, не задерживаясь подолгу ни на одной бумажке. Казалось, они искали что-то определенное. Сергей подумал: может, ищут письма от Бухарина? Какой-нибудь тайный бухаринский циркуляр, который тот рассылал своим единомышленникам.

Некоторые бумаги и целые папки они бросали в мешок, который держал наготове третий. В мешок засунули пишущую машинку и бинокль. Один взял со стола бронзовый разрезательный нож, сделанный в виде красивого кинжала и, подумав, тоже бросил в мешок. А в комнате Ады работа кипела вокруг ее большого стола, заваленного картонами, тюбиками, банками красок, листами и обрывками белой бумаги. Содержимое ящиков вытряхивали, как мусор из мусорного ведра. Ада заикнулась было о том, что стол принадлежит ей и в нем хранятся ее личные вещи, но старший, не пускаясь в объяснения, прикрикнул из кабинета на своих подчиненных:

— Продолжайте, продолжайте!

Около семи утра дело закончилось. На кабинет наложили печать. Запах пыли, старых бумаг, табачного дыма, нафталина и ежесекундное напряжение усилили у Сергея головную боль. Он изнемогал и изумлялся Аде, насколько она сильнее его. Все три часа ходила по коридорчику, не присела ни на минуту. Уходя, старший сказал ей, что справки о муже можно получить на Кузнецком мосту, дом 15, в приемной НКВД. С десяти до двух.

Четверо, дымя папиросами, вышли на лестничную площадку, а пятый сказал Сергею, что хочет помыть руки, и попросил мыло. Сергей проводил его в ванную. Руки не отмывались, потому что были испачканы масляной краской. Сергей принес флакон со скипидаром. Он сделал это непроизвольно, не из услужливости, а просто потому, что хотелось, чтобы скорее ушли. Пока тот оттирал руки скипидаром, намыливал и полоскал их под краном, Сергей смотрел на его простецкое, с выпирающими скулами и скупым щелястым ртом лицо, на то, как он деловито и старательно собирает губы в пучок, поднимая при этом брови и чуть кряхтя — не столько от усталости, сколько, должно быть, от каких-то посторонних забот, и думал: «Такой сделает все, что прикажут, только будет при этом кряхтеть и собирать свой крестьянский ротик в пучок». Но что-то в этой злой мысли было пустое. Злоба была какая-то рассеянная, ненастоящая.

— Я, видишь, с дежурства прямо к теще в Павшино. Жинка у ней сейчас, — стал объяснять тот. — Всю неделю не виделась. Какой неделю! Больше... — И, посмотрев на Сергея, неожиданно ослабился. — Мужик

у твоей бабы совсем червивый, гниль, а она ничего, форсовая... — Он мигнул как бы с одобрением и побежал, ступая на носки, по коридору, догонять своих.

Один из четырех ждал его на лестничной площадке, они заговорили вполголоса. Сергей захлопнул дверь. Ада сидела на краю разгромленного дивана, смотрела на пол. Сергей опустился рядом, обнял ее. Они просидели так, не двигаясь и молча, минут двадцать. Стало совсем светло. Небо синело, предвещая теплый день. С Каменного моста отчетливо и одиноко звенел трамвай. Ада сказала, что не может быть здесь, пойдет к отцу, и встала. Даже не встала, а рванулась с дивана. Она принялась поспешно собирать, складывать в папку какие-то листы с рисунками, потом вдруг бросила папку на пол и сказала, что не может идти к отцу. Он и так убит историей слевой. Что ж, добивать его? И там эта дура, его жена.

— Так, — сказал Сергей. — Пойдем ко мне. Пошли!

— К тебе... А ты думаешь, Анна Гевриховна обрадуется, когда увидит меня? И все узнает?

— Ну и что? Мало ли... — Сергей нахмурился. Он представил себе выражение лица матери, когда она откроет дверь — она всегда встает раньше всех, даже раньше Маруси — и в половине восьмого увидит в дверях Сергея и Аду; лицо ее после мига оторопелости примет выражение холодной и несколько презрительной учтивости, и она скажет: «Здрассте». Затем он представил себе второе выражение лица мамы, когда она услышит о Воловке; неодобрение — вот что оно изобразит, очень суровое и прямое неодобрение, слегка смягченное внезапным человеческим сочувствием к Аде. Она сразу будет что-нибудь предлагать: «Может, вы хотите поесть, Ада? Вы, наверное, голодны?» Или: «Не хотите таблетку от головной боли?»

— Мы поговорим с Николаем Григорьевичем, — сказал Сергей. — Он знаком с Флоринским. И можно еще через Шварца, у него связи в прокуратуре.

— Что можно?

— Узнать...

— Нет, — сказала Ада. — Я не хочу видеть твою мать и твою сестру. Вообще не хочу видеть никого. Даже отца. Я сама себе... — Она закрыла ладонью глаза. Он почувствовал, что сейчас она произнесет какую-то громкую, самобичующую фразу, вроде «я сама себе отвратительна», «я сама себе гадка» или «если б я не

обманывала его», но она промолчала, и он испугался. Произнесенное вслух было бы неправдой, но то, что она промолчала, говорило о другом. Бессмысленное чувство вины терзало ее.

То, чего он боялся, случилось: она уходила от него. Уходила к человеку, которого никогда не любила. Вся сила которого заключалась в его жутком бессилии, в том, что он погибал, исчезал.

— Ты хочешь, чтоб я сейчас ушел? — спросил Сергей после молчания.

— Да. — Она кивнула. — Ты сейчас уйди, Сережа. А в девять часов я поеду на Кузнецкий мост.

VIII

Николай Григорьевич положил на сундук в прихожей тяжелый пакет с какой-то снедью, буграми апельсинов, чем-то стеклянным, постукивавшим внутри, все было прочно упаковано в белую гляцевую бумагу и перевязано ленточкой — пришлось ради этого, нужного детям и кому-то еще, кто нуждался в доказательствах, что мир по-прежнему прочно упакован и перевязан ленточкой, выстоять нудную очередь в столовке. Минут десять топтания на месте и выматывающих разговоров. Впрочем, Николай Григорьевич умел обрубать свои ощущения. Старался не слышать шуток, старых анекдотов, мнимопраздничной болтовни о пустяках, не видеть лиц, на которых не было ничего, кроме улыбок, ясных и непорочных. Больше половины людей, толпившихся в очереди за пакетами, были незнакомы Николаю Григорьевичу. Может, они в самом деле уверенно глядели вдаль? Знакомых с каждым днем в столовке встречалось все меньше. Но когда-то должен был наступить конец. Не могло же это длиться бесконечно! Вручение пакета свидетельствовало о некоем эфемерном благополучии — на сегодняшний день. Пожалуй, даже на вчерашний вечер, когда списки утверждались в хозяйстве. Кое-кто не получил пакета, хотя имел право. Несколько часов, разделявших утверждение списков и получение пакетов, было громадным сроком. И главное, что было в этом сроке, — ночь.

Старик Исайченков, подойдя сзади, шепнул: Кларин, Миронов, Суходольская. Про Кларина еще утром сказал Николаю Григорьевичу Федя Лерберг, когда ехали

в лифте. Кларин должен был пасть, ничего удивительного, наоборот, удивлялись тому, что держится долго, но Миронов? И Вероника Суходольская? Сталин ее ценил. Во время второй генеральной чистки Давид хотел исключить Суходольскую — какие-то махинации с дачным кооперативом, но Сталин защитил. В махинациях уличили мужа, она была как будто непричастна, но все равно не спаслась бы, если б не поддержка сверху. Впрочем, с той поры прошло девять лет... И отношения Сталина к Веронике или к тем обстоятельствам, которые заставляли когда-то защищать ее, могли много раз измениться. Но мимо Сталина это не прошло. Тут могли быть еще два объяснения: ему представлены очень серьезные разоблачения или же... Или же — все это вырывается из его рук. Еще не вырвалось, но уже рвется, трещит. Самое страшное, как считают иные. Николай Григорьевич так не считал. Наоборот, ему мерещилась тут надежда, какой-то шанс на спасение. О своем спасении Николай Григорьевич не думал. Ему сорок семь лет, жизнь прожита. Да и как-то так вышло, что о своем спасении никогда не думалось: странная, ничем не объяснимая, сначала молодая, а потом просто глупая торчала в душе уверенность, что ничего дурного с ним лично никогда не случится. Ну, убьют в крайнем случае. Или заболит тифом, умрет в бреду. Разобьется на автодрезине, как Володька Крылов. А что еще? Все это уже почти было. Нет, за себя страха нет, есть страх за Лизу, за детей, но это почти то же, что за себя, так что можно сказать, что и этого страха нет, чересчур личное, никого не касается, практически не существует, а есть страх за то, ради чего прошла жизнь.

В ящике лежала вечерняя почта: пачка поздравительных открыток, «Вечерняя Москва», «Литературная газета», которую выписывала Лиза, три каких-то письма. Дом был пуст. Ребята гуляли, бабушка еще утром предупредила, что задержится в секретариате, а Лиза, как всегда, праздновала Первомайский вечер в Наркомземе — всю ночь сочиняла стихи для стенгазеты и рисовала карикатуры. Газеты Николай Григорьевич проглядел мигом, открытки тоже не представляли интереса. Одно письмо было от старого друга из Кисловодска, где друг лечился, обычное поздравление, другое, написанное детским почерком, адресовалось Горику, а третье — без марки, без штемпеля, просто белый конверт: «Бякову Н. Г.». Кто-то без помощи почты бросил в ящик.

На листке из блокнота почерком непонятно знакомым, женским, размашистым, ударившим в сердце, значилось: «Коля, я приходила, но никого не застала. Очень нужно тебя увидеть. Около восьми вечера буду в аптеке на Большой Полянке. Извини, Мария Полуб.» Маша Полубоярова! Не виделась двенадцать лет. Откуда? Она же где-то в Батайске или Таганроге. Последний раз встретились в Алушке, в санатории, в двадцать пятом году, и Маша тогда была уже с мужем, каким-то черноватым, неприятной внешности.

Почему в аптеке на Большой Полянке?

Лиза ничего не знала о существовании Маши. И никто не знал, кроме Мишкиной жены Ванды и самого Мишки. Да и они забыли, наверно, прошло столько лет. А Маша Полубоярова существовала кратко, но грозно и неизгладимо в жизни Николая Григорьевича. Несколько месяцев — осень и зима двадцатого года в Ростове. Назаровский мятеж. Внезапное известие: машинистка Донпродкома, девятнадцатилетняя девица, устроенная в Донпродком Николаем Григорьевичем по просьбе Мишкиной Ванды, — сестра полковника Полубоярова, одного из главарей назаровцев. Отчего скрывала? Боялась, что расстреляют и няня, беспомощная старуха, погибнет. Был такой Кравчук в ревтрибунале, стучал коробкой маузера по столу, кричал: «А вы, буржуйская гниль, без няnek жизни не мыслите?!» Ванда знала Машу с детства, по новочеркасской гимназии, но тут притихла, боялась пискинуть в защиту, и Михаил был далеко: со своей Девятой кавдивизией на Польском фронте. Маша Полубоярова жила вдвоем с няней. Мать давно умерла, отец пропал безвестно на германском, а брат ушел с добровольцами. И вдруг — с десантом. Ей-то откуда знать? Николай Григорьевич спас девицу. Поверил глазам, голосу. И потом уж, когда узнал ближе, понял, что поверил правильно: редко встречал людей такой открытости и наивной доброты, как эта смуглая, синеглазая, с черкесской кровью. А Николаю Григорьевичу было тогда — что ж? — тридцать лет, носил он бороду, звали его Стариком.

В аптеке на деревянной скамье сидела немолодая, невзрачная на вид женщина, смотрела испуганно. Увидев Николая Григорьевича, тотчас поднялась и — без улыбки — протянула руку. А рука-то была не Машина, грубая, красная, пальчики сморщенные, как морковки. И совсем ледяная.

— Ты озябла, что ли? — спросил Николай Григорьевич. — Смотри, даже зубами стучишь...

— Нет, — сказала Маша с усилием. — Это я волновалась, что увижу тебя. Думала, ты забыл меня или просто не придешь.

И вдруг улыбулась, и он узнал ее.

На Маше было нелепое для мая теплое клетчатое пальто с оторочкой из рыжего меха и такая же шапочка. Николай Григорьевич спросил, почему она не захотела зайти в дом, не позвонила хотя бы.

— А чего-то не понравилось, как меня постовой в подъезде выспрашивал: кто, да что, да к кому. — Она опять усмехнулась, но в глазах ее опять мелькнула тень испуга. — Лучше по улицам погуляем. Тем более праздник, иллюминация. Красота! Я всегда мечтала в Москву попасть на праздники. Сейчас на трамвае через Театральную площадь ехала, мимо Манежа — такая прелесть! Все сверкает, горит, как в театре, очень здорово.

— Погуляем, если хочешь, но потом все-таки зайдем ко мне.

— Ну, пожалуйста, хорошо. Зайдем к тебе. — Маша взяла его под руку. — А ты образцовый муж, Коля, да?

Она засмеялась. Он тоже засмеялся — ему стало вдруг легко и как-то забавно. Как будто он увидел что-то приятно знакомое и давным-давно забытое.

— О да! — сказал он. — Конечно.

— Зайдем, зайдем. Обязательно зайдем. Старшему твоему сколько?

— Двенадцатый год. Здоровенный архаровец, с тебя ростом.

— Значит, он родился, знаешь, когда? Как раз в том году, когда мы виделись с тобой в Алушке, да? Я была уже с Яшей, а ты все играл в шахматы со Шварцем, Давидом Александровичем. — Она спросила быстро: — Шварц здоров?

— Да, — сказал он.

— Вот только с твоей супругой я не знакома. А вдруг ей не понравится, что я...

— Что?

— Ну вот так свалилась на праздники, не спросясь. Чужая тетка. Хотя... — Она сделала решительное движение кистью. — Мне важно тебя увидеть. А все остальное — ерунда.

Шли по улице в сторону Канавы. Маша сказала, что

остановилась у дальней родственницы, которая сейчас болеет. Для нее и лекарство брала в аптеке. Сказала, что вчера разыскала Ванду, встретила с ней, узнала про все ее невзгоды, несчастья, надежды. Значит, разошлись с Михаилом? Николай Григорьевич не знал твердо. Вроде бы разошлись, а вроде и нет: то опять вместе, то Михаил у нее ночует на Арбате, то Ванда к нему ездит в Кратово. Валерку жалко во всей этой кутерьме. Но Маша из слов Ванды поняла, что разошлись окончательно. Комнатка на Арбате крохотная в огромной коммунальной квартире, где двадцать восемь соседей, шесть семей. Однако Ванда не унывает, надеется на перемену судьбы. У нее есть какой-то человек — да, да, Николай Григорьевич знает про человека, — какой-то дипломат, вдовец с двумя маленькими детьми. Ванда, конечно, сдала, располнела, но все еще красивая, милая, совсем седая, этакая маркиза восемнадцатого века. В тридцать семь лет вся седая! Но, как всегда, как двадцать лет назад, поразительное равнодушие ко всему, что не касается ее личности. Точнее говоря, ее личной жизни. Какая-то совершенно ветхозаветная и наивная аполитичность. Ничем не интересуется, ничего не знает. Вся в мечтах, в глупостях. Дипломат задурил ей голову, обещал, что на будущий год поедут во Францию, поселятся на Лазурном берегу, и она ни о чем другом не может ни говорить, ни думать. Волнуется, что не пустят за границу, потому что у нее во Франции старшая сестра с матерью. Словом, Ванда это Ванда, птичка божья. А Маша приехала в Москву только затем, чтоб увидеть Николая Григорьевича.

— Да ну? — Николай Григорьевич усмехнулся, будто не веря. Но уже догадывался, что она говорит правду.

— Потому что, Коля, ты единственный человек, который может объяснить. В прошлом месяце арестовали Яшу... — взяв за руку, она резким движением остановила его. И он вдруг вспомнил ее манеру двигаться резко. Они стояли на мосту через Канаву и, облокотясь на перила, смотрели в черную воду. Здесь, на мосту, было темновато, зато начало Полянки и особенно кинотеатр «Ударник» сияли иллюминацией. Толпа возле «Ударника» была озарена сверху ярко-белыми и розовыми снопами прожекторов и светом сотен висевших гирляндами лампочек. Дальше, на новом громадном мосту и на набережной Москвы-реки, тоже все пылало огнями.

Что он мог объяснить? Он слушал. Странные мани-

пуляции производит с людьми время. Нет, не старение самое удивительное, не одряхление плоти, а перемены, которые происходят в составе души. И следов не осталось от той новочеркасской гимназистки, поклонницы Веры Холодной, сестры добровольца, только случайно не оказавшейся в Константинополе или в Париже. Перед Николаем Григорьевичем была советская дама, жена ответственного работника, рассуждавшая разумно и политически зрело. «Мне объявили, что Яша какой-то японский шпион. Ну, что за бред, прости господи? Что за ерунда собачья? Такого честнейшего человека, такого фанатичного коммуниста нет, наверно, на всей Владикавказской дороге. Я добилась через знакомых, очень сложным путем приема у работника, который ведет дело Яши, некоего Сахарнова. И оказалось, что это никакой не Сахарнов, а Борис Пчелинцев, приятель моего брата по Атаманскому училищу, я его отлично помню, сын войскового старшины. Я сразу его узнала, и он меня тоже. Конечно, он удивился, потому что я уже не Маркова, а Сливянская и он ожидал увидеть какую-то совсем другую Сливянскую. Я говорю: «Борис, я тебя умоляю разобраться в деле Якова Сливянского, моего мужа, честнейшего коммуниста...» Он стал вдруг кричать: «Ваш муж японский шпион, мразь, провокатор!» И что-то еще орал, орал. Не помню, как я оттуда ушла. Мне посоветовали уехать куда-нибудь. Отвезла детей к его родным в Каменку, и вот я здесь. Но я прошу не защиты, а объяснения. Что это все значит, Коля? Почему Пчелинцев сидит в краевом управлении, а Яша в тюрьме? Здесь, в Москве, чего-то не знают? Из моих знакомых арестованы девять человек. И самое страшное, знаешь, что? Все мы толстокожие, пока не коснется нашей шкуры. И я такая же сволочь. Пока Яшу не взяли, я думала: а шут его знает, может, Гончаренко в чем-то и замешан, и Федя Клепиков мог где-то оплошать, а Гнедов — из бывших офицеров, так что ничего странного. Ты понимаешь? Сейчас, наверное, Яшины знакомые думают: что ж, жена из казачьей семьи, сестра назаровца...

Николаю Григорьевичу за последние месяцы часто приходило то же на ум. Слишком легко верят в виновность других: в то, что «что-то есть», и чересчур спокойны за собственную персону. Это грозный факт, и он не предвещает добра. Но несчастной Маше говорить об этом не следует. Нужно успокоить. Только вот как?

— Я тебя столько лет не видела. Иногда слышала о тебе, мелькала твоя фамилия в газете... — Маша глядела, неуверенно улыбаясь. — Даже не знаю, как ты вообще... Может, ты иначе думаешь? Почему ты молчишь?

Николай Григорьевич видел эту женщину молодой. Поэтому он молчал. И все вокруг нее он видел молодым.

— Пойдем-ка домой. Попьем чайку и поговорим.— Он потянул ее за руку.

— Нет, стой! Сначала скажи: что ты думаешь обо всем этом?

Николай Григорьевич вздохнул. Ну, что он думает? Он думает, что власть не переменилась. И здесь в общих чертах знают о том, что происходит на местах. Однако знать — одно, а объяснить — другое. Нет, один Пчелинцев ничего не решает. Даже тысяча Пчелинцевых ничего не решает. Даже Флоринский, Арсюшка, который сейчас помощником у Ежова, — помнит ли она его по Ростову? Молодой такой идиот в красных немецких сапогах? — даже этот Арсюшка, находящийся сейчас на такой вышке, сам по себе ничего не значит. Николаю Григорьевичу кажется, что подоплека этих странных политических конвульсий — страх перед фашизмом. Возможно даже провокация со стороны фашизма. Влияние Гитлера несомненно. Других объяснений нет. А что же другое? Но должен быть конец. Не может же это длиться бесконечно, иначе все друг друга перегрызут. Волна идет на убыль, есть сведения, что кое-кого уже освобождают...

Маша обрадовалась.

— Правда? Освобождают?

Николай Григорьевич подтвердил. Он действительно слышал, что кто-то из старых партийцев, арестованных в феврале, недавно вернулся.

В тот вечер затащить Машу в дом не удалось — она спешила к больной родственнице. Но обещала в один из праздничных дней обязательно прийти.

Николай Григорьевич особенно не настаивал. Он замечал, как за последние годы гас интерес к людям, даже некогда близким. Круг становился все уже. Когда-то море людей окружало его, годы и города подполья, ссылки, войны бросали навстречу сотни редкостно прекрасных людей, которые на лету становились друзьями, но вот уже нет никого — они-то есть, но необходимость дружбы исчезла, — никого, кроме Давида, Мишки, еще

двух или трех. И осталась в круге Лиза с детьми. Поэтому Маша, прилетевшая издалека, как воспоминание, не пробудила ничего, кроме деловых мыслей и привычной, грызущей время от времени где-то в середине груди, под сердцем, тяжести.

Ребята выбежали навстречу, Горик кричал:

— Мы идем с Ленькой, с Ленькой! Ты обещал! — а Женя молчала с непроницаемо-мрачным лицом, и Николай Григорьевич, как всегда, когда видел маленькое насупленное лицо дочки, вспоминал свою суровую мать. На парад на Красную площадь Николай Григорьевич брал обычно троих: Горика, Женю и кого-то из их товарищей. Из-за этой третьей кандидатуры вспыхивали распри. Чаще побеждал сын с помощью довода, что, мол, военный парад — дело мужское, девчонкам там делать нечего. И верю, силы желания попасть на трибуны были у них несоизмеримы. Но сегодня крики Горика, его телячья взбудораженность раздражали Николая Григорьевича, зато мрачность дочки соответствовала его настроению, и он сказал холодно:

— Перестань орать, а то и тебя не возьму.

Сын, обидевшись, юркнул в детскую.

В столовой пили чай. Лиза что-то возбужденно рассказывала, по-видимому, о вечере в Наркомземе, декламировала стихи — свои, что ли? — ее со вниманием слушали бабушка и бабушкина приятельница по работе в секретариате, старая партийная функционерка Эрна Ивановна, жена Коли Лациса, которую Николай Григорьевич недолюбливал, считая дурой. Но бабушка ее ценила. Говорила, что она человек кристальной честности. Эрна Ивановна хохотала басом, а бабушка смотрела на дочку с нескрываемой гордостью и, когда Николай Григорьевич вошел в столовую, сделала пальцем знак, чтобы он не перебивал декламацию. Лиза читала про какого-то Игната Иваныча, завотделом, «который был когда-то смелым, но постепенно, год от года он смелость растерял в угоду желанью жить благополучно и праспокойно, хоть и скучно». Тут же сидел Михаил в новенькой командирской гимнастерке с орденом, приклебывал громко чай из блюдца, уставясь запотевшими стеклами пенсне в стол и даже не подняв головы при появлении брата.

Николай Григорьевич тихонько, стараясь не шуметь, присел к столу, налил себе чай. Лиза читала еще несколько минут. Ребята тоже пришли слушать. Когда

Лиза кончила, все стали хлопать в ладоши. Эрна Ивановна заявила басом и, как всегда, безапелляционно, что Лиза должна бы стать поэтом, а не зоотехником, на что бабушка заметила: виноват Николай Григорьевич, заставивший Лизу идти в Тимирязевку.

— Коля, куда ты пропал, интересно знать? — спросила Лиза.

— Ходил на свидание. К одной даме, — ответил Николай Григорьевич, зная, что этот ответ не вызовет у Лизы, как у ценительницы юмора, ничего, кроме легкой улыбки. Знал, что она совершенно спокойна за него так же, как он был совершенно спокоен за нее, и они оба, каждый в отдельности, были совершенно спокойны за себя. Но все же почему-то не хотелось, чтобы Лиза спросила: «А к какой даме?» — и ему пришлось бы сказать.

Лиза не спросила. По вечерам она читала вслух ребятам «Трех мушкетеров», и сейчас они все трое взгромоздились на диван, Лиза зажгла настенную лампу, а Горик все еще с выражением обиды и независимости пробежал мимо Николая Григорьевича в детскую, чтобы взять книгу.

— Послушай-ка, братец, — сказал Михаил. — Эти балбесы из военного издательства вернули мне рукопись. Резолюция дурацкая: «На эту тему у нас запланирована книга комдива Богинца». А от Михаила Николаевича ни ответа, ни привета. Ты мог бы ему звякнуть?

Брат, как всегда, являлся с каким-то недовольством или просьбами. Тон был такой, будто Николай Григорьевич имел отношение к «этим балбесам из военного издательства» или даже принадлежал к числу их... Николай Григорьевич сказал, что Михаилу Николаевичу сейчас, наверное, недосуг заниматься делами издательства. И подумал: «Как Мишка не понимает? Все-таки оторванность от большой работы, бирючьа жизнь в этом Кратове, у черта на рогах не проходят даром... Будет Михаил Николаевич заниматься его рукописью, как же!»

Михаил с подозрительностью поглядел на брата.

— Почему же недосуг? По-моему, он как раз в порядке.

— Прошел слух, что не вполне.

— Брехня! — Михаил решительно рубанул ладонью. Ну, конечно, в Кратове ведь все знают из первых рук.

— Этот друг всегда будет в порядке. Я за него не волнуюсь. Скажи, что просто неохота звонить.

— Нет, не скажу! Не скажу, потому что дело не в «неохоте», а в «некстати». Некстати, понимаешь? Ты там на хуторе не очень-то представляешь...

— Что не очень-то? Чего не представляю? — повысил голос Михаил, который всегда болезненно и грубо реагировал на слова брата, сказанные даже в шутку, намекающие на его кратовскую пенсионную жизнь. — Бросьте вы! Все представляю прекрасно. И давно предвидел. Да, да, еще раньше вас! Спорил с вами, умниками. Помнишь разговор у Денисыча в двадцать пятом году? В декабре?

— Разговоров было много. Пошли-ка в кабинет.

Но брат уже скрипел зубами, уже сапоги ему жали, раздражение кипело. Он встал, прошелся по комнате, резкими движениями сдвигая со своего пути стулья. И тут очень удачно вступила Эрна Ивановна.

— Да, кстати, Миша! — сказала она. — А где твой Валерий?

— У матери.

— Ах, так? У матери? Он что же, теперь с ней?

Кристалльная честность старой дуры заключалась в том, что она простодушно и бесцеремонно вмешивалась в личную жизнь товарищей, давала советы и расставляла оценки.

— Нет, — мрачно глядя на Эрну Ивановну, сказал Михаил. — На праздники поехали в Ленинград.

— Когда же поехали? — спросил Николай Григорьевич.

— Сегодня едут. Стрелой.

— Вдвоем? — удивилась бабушка, хорошо знавшая лень и скарденность Ванды.

— Не знаю, — еще более мрачно ответил Михаил. — Кажется, с этим господином из Наркоминдела. А что, это так важно знать?

— Ах, вот это мне не нравится! — Эрна Ивановна досадливо шлепнула ладонью по столу и уже приготовилась дать товарищеский совет, но бабушка, соображавшая побольше, прервала ее:

— Ничего, очень хорошо, посмотрит Ленинград...

— Вы нам дадите читать или нет? — спросила Лиза с дивана.

Николай Григорьевич потянул брата к двери.

Но Эрна Ивановна не успокаивалась. Вдруг тоненько зафыркала, захихикала в нос и крикнула:

— Миша, Миша! Ты знаешь, что говорят у нас, в

Доме политкаторжан? Что ты женился! Это правда?

Михаил остановился в дверях. Не оборачиваясь и тыча назад, через плечо, в Эрну Ивановну большим пальцем, сказал брату:

— Ты понял, почему я на их собрания не хожу? Нет, ты понял? Я уж и скрылся от них за сорок верст, ни с кем не вижусь, на письма не отвечаю, а все жгучий интерес к моей персоне. Что за напасть за такая?

— А возможно, и вправду женился? — спросил Николай Григорьевич. — Признайся уж, злодей.

Михаил шепнул что-то ругательное и, махнув рукой, вышел из столовой.

Эрна Ивановна, хохоча, кричала вслед:

— На молоденькой, говорят!.. А? Верно?

Пришли в кабинет, заперлись. Михаил косился. В стенном шкафу Николая Григорьевича всегда стоял замаскированный книгами графинчик. Выпили по две рюмки, Михаил зарозовел, отмяк, снял шашку со стены, стал рубить воздух и, как обычно, корить Николая Григорьевича за то, что тот держит драгунскую шашку вместо казачьей.

— Выброси ты эту дрянь! Или мне отдай.

Он кричал от удовольствия, подсвистывал, люстра была в опасности. Через минуту стал задыхаться. Николай Григорьевич угрюмо смотрел на брата. Тяжесть в середине груди вновь сделалась ощутимей. Он думал: брату пятьдесят три, выглядит на шестьдесят, разрушен временем, невзгодами и все же еще мальчишка в душе. Люди, которые в юности были стариками, в старости делаются мальчишками. И размахивают игрушечными шашками в своих кабинетах и на дачных верандах, где сосновые доски медленно оттаивают после долгой зимы.

Они обсуждали то, что рассказала Маша про их родной город. Сама Маша интересовала их мало. Брат вспомнил ее с трудом. Потом говорили о Сталине, которого знали и помнили гораздо лучше, с давних времен. Николай Григорьевич был с ним в Енисейской ссылке, а Михаил Григорьевич узнал в Питере в начале семнадцатого, когда оба почти одновременно вернулись из Сибири, и потом через год работали вместе на Царицынском фронте — первые стычки, угрозы Сталина, ругань Михаила и окончательный раздор. Была какая-то встреча братьев, когда Николай Григорьевич ехал с юга в Москву, и Михаил, смеясь, сказал: «Ну если Коба заберет власть в Царицыне — наломает дров!». Сме-

ялись, потому что не верили. Ни казак, ни военный. Но тот забрал власть в Царицыне очень скоро. Оттеснил Минина, убрал латыша Карла. Михаила отправили в Москву на командирские курсы. Раньше многих братья поняли, что это, когда такой человек забирает власть. Еще никто не догадывался. А они уже знали. Головы хрустели в его кулаке, как спелые, просохшие на солнце орехи. «Ты помнишь, что я тебе говорил...» «Ты? Это я тебе сказал, старому обалдую!» Но тайная вражда к тому, другому, с черной бородкой, в пенсне, говоруну и позеру, тоже умевшему трещать черепами в кулаке, была сильнее. Недоверие к одному и вражда к другому, переплетаясь, тянулись через годы и наполняли их. И то, что казалось анекдотом в Царицыне, становилось силой, распростертой наподобие громадной, не имеющей меры, железной плиты. Она висела, покачиваясь. На нее смотрели привычно, как смотрят снизу на небеса. Но ведь должен был наступить час, когда плита эта упадет, не могла же она висеть и покачиваться вечно.

Михаил сидел на краю дивана, ссутулясь, опять посерев лицом, слушал с жадным вниманием. После молчания сказал:

— Знаешь, Колька, а мы сей год не дотянем...

Николай Григорьевич не ответил. Походил по ковру в мягких туфлях, нагнулся, счистил с брючины полосу пыли, неведомо откуда взявшуюся, — может, от детского велосипеда, который стаскивал сегодня с антресолей? — и, разгибаясь, чувствуя шум в ушах, сказал:

— А вполне возможно. — И сказало как-то спокойно, рассеянно даже. — Вполне, мой милый. Но дело-то вот в чем... Война грядет. И очень скоро. Так что внутренняя наша пря кончится поневоле, все наденем шинели и пойдем бить фашистов...

Заговорили об этом, Михаил предположил — мысль не новая, уже слышанная: а не провокация ли со стороны немчуры? Вся эта кампания, разгром кадров? Николай Григорьевич считал, что немецкая кишка тонка для такой провокации. Это, пожалуй, наше добротное отечественное производство. Причем с древними традициями еще со времен Ивана Васильевича, когда вырубались бояре, чтоб укрепить единоличную власть. Вопрос только, на что обратится эта власть? К какой цели будет направлена?

Михаил махал рукой: «А тебе все цель нужна? Без цели куда? С целью чай пьешь, в сортир ходишь?» Николай Григорьевич, сердясь — ибо разговор приближался к болезненному пункту, — объяснял, что во всяком движении привык видеть логику, начало и конец. «Ну, конечно, ты наблюдаешь! — издевался брат. — Видишь логику. А движение тащит тебя, как кутенка, ты даже не барахтаешься». «А в чем заключается твоё барахтанье? В том, что переселился на дачу и возделываешь огородик?» — «Хотя бы, черт вас подрал! В том, что не участвую, не служу, не езжу в черном «роллсройсе», ядри вашу в корень наблюдателей...» Кончилось, как обычно, руганью, новыми прикладываниями к коньяку. Стали вырывать из памяти дела двадцатилетней давности, Ростов восемнадцатого года, только что взятый отрядами Сиверса и Антонова-Овсеенко. Все это уже не могло волновать, но было нужно для спора. Михаил все стремился доказать — и это злило Николая Григорьевича, — что он, младший и удачливый брат, тоже замешан, хотя и косвенно, в той чудовищной неразберихе, «своя своих не познаша», которая сейчас творится. Тут была и ревность, копившаяся годами, и разочарование всей своей, по существу, разбитой, долгой жизни, и даже доля злорадства, и искренняя, смертельная тревога — главное, что кипело в сердце, — за дело, которое стало судьбой.

И Николай Григорьевич понимал это, и видел за всеми злобными наскаками, несправедливостью и грубыми словами вот эту тревогу. Поэтому его собственная злость исчезала, едва возникнув. Он не мог долго сердиться на брата, старого дебошира, родного крикуна, на этого фантастического неудачника, у которого к концу жизни не осталось ничего — ни дела, ни семьи, ни дома.

Стучались в дверь. Николай Григорьевич открыл.

Вошел Сергей, не здороваясь, глядя странно.

— Слыхали, что вчера ночью арестовали Воловика?

— Нет, — сказал Николай Григорьевич.

— А кто такой Воловик? — спросил Михаил.

— При мне был обыск. Прошлой ночью. Но самого Воловика дома не было. Были только Ада и я...

— Ничего не понимаю, — сказал Михаил, поднявшись с дивана, и налил в рюмку коньяку. — Какой Воловик? Какая Ада?

— Есть такой Воловик. Но его-то зачем? — Николай Григорьевич с изумлением смотрел на Сергея. — Черт

их знает, совсем с глузду съехали... А где ты был эти два дня? Вчера и сегодня?

— У Ады. Я утром звонил маме. Она так разъярилась...

— Не знаю, не сказала мне ни слова.

— Ну как же — конспирация! Наше знаменитое качество. Можно? — Сергей налил себе коньяку и тоже выпил. — Ночь мы, конечно, не спали. Даже не раздевались. Ада была уверена, что сегодня придут за ней, но, слава богу, никто не пришел. А на рассвете была такая история. Мы сидим в ее комнате с балконом, окно выходит на тот двор, где котельная. На задний. И вот часов около шести утра видим, как мимо окна сверху летит женщина в черном, старуха. С седыми волосами. Совершенно беззвучно, головой вниз. Утром лифтер сказал, что ночью взяли одного старика, а на рассвете его жена прыгнула с балкона, с восьмого этажа.

— Как фамилия? — спросил Николай Григорьевич.

— Не знаю. Какая-то старая старуха, вся седая.

— Старуха? С балкона? — переспросил Михаил с выражением безгласности. Он был уже сильно пьян. Как ему мало теперь нужно!

— Вот что, милый друг, не ходил бы ты сейчас к своей Аде. Повремени недельку. Просто дружеский тебе совет, — сказал Николай Григорьевич. — Встречайтесь в другом месте, на улице, где угодно. Пускай к нам приходит.

— А вам тоже, Николай Григорьевич, дружеский совет, — сказал Сергей. — Уберите все это к лешему.

— Что?

— Да вон то, — Сергей носком ботинка показал на металлический ящик, стоявший под письменным столом. В этом ящике, запертом на замок, Николай Григорьевич хранил оружие, три пистолета и патроны.

— Не имеет значения, — сказал Николай Григорьевич.

— Нет, имеет.

— Ни малейшего. И, кстати, на браунинг у меня есть разрешение, а те две штуки — подарки РВС фронта и армии. А... — Он презрительно взмахнул пальцами. — А-а...

— Я ж вам говорю... — зашептал Сергей почти с отчаянием.

— Ладно, перестань. Ты мало в этом смыслишь.

Некоторое время молчали.

Сергей, выпив, задымил папиросой. С улицы, со стороны набережной напротив клуба, отрывочно неслась музыка. Может быть, играл оркестр, а может, радио.

Михаил бормотал:

— Ни в коем случае... — И качал пальцем многозначительно. — Ни за что. Никогда.

— Вы о чем, дядя Миша? — спросил Сергей.

— Он знает. Никогда.

Вошла бабушка и, холодно и несколько высокомерно глядя на Сергея, позвала его в столовую ужинать. Потом, когда ушла наконец Эрна Ивановна, все сошлись в кабинете и долго разговаривали. Ребята легли спать. Наверху, где жил какой-то новый человек, уже встречали праздник: раздавалась музыка, пляски, стучали пятками в пол. Бабушка рассказывала о событиях в секретариате. Как всегда, о главном умалчивала, главное держалось в тайне, железный характер, к которому все в доме привыкли и не пытались расшатать. Единственное, что сообщила: в «Правде» сразу после праздника должна появиться громадная статья крупного чекиста. Потом разговор съехал на Серебряный бор, ибо Николай Григорьевич тоже сообщил новость, слышанную в столовке: Арсюшка Флоринский сделался соседом и по Серебряному бору, получил дачу. Ну да, за забором, двухэтажная, с солярием, теннисным кортом.

Отсюда разговор стал ветвиться: к судьбе Паши Никодимова, в коей Флоринский обещал разобраться, но уже третий месяц ни слуху ни духу, и к Серебряному бору, дачным заботам. Кооператив прислал требование уплатить срочно по жировкам за первый квартал и за водопроводные работы, намеченные на май. Денег не было, думали, где достать. Лиза очень бодро пообещала достать у себя в Наркомземе, в кассе взаимопомощи.

Николай Григорьевич хотел было сказать: «О чем вы хлопочете? Какая дача? Какой водопровод?», но женщины обсуждали эти дела с таким честным энтузиазмом, что язык не поворачивался их пресечь. Часов в одиннадцать вышли пройтись перед сном. Вечер был теплый. На мосту стояли войска, приготовленные к завтрашнему параду. Михаил, слегка протрезвев на воздухе, принялся рассуждать о преимуществах танкеток перед тяжелыми танками. Слушать его было скучно, а спорить с ним опасно. В глубине души Николай Григорьевич был убежден, что разбирается в военных вопросах лучше брата, хотя и не кончал Военной академии. Кремль был высе-

чен из тьмы прожекторами, и в черном небе над ним висел прицепленный к невидимому и замаскированному аэростату портрет Сталина. Гигантское лицо сверкало и переливалось в серебряном свете прожекторов. Оно было почти неподвижно, лишь едва заметно надувалось от легкого ветра посередине, а мимо сверкающего портрета проплывали самолеты, несущие портреты поменьше: Маркса, Энгельса, Ленина и снова Сталина. Все остановилось на мосту и смотрели на эту медленно проплывающую в темном небе, озаренную снизу вереницу знакомых лиц. Самолеты с небольшими портретами, рюкзачка и четко соблюдая строй, исчезли из пределов досягаемости прожекторов, гул моторов удалялся, в небе над Кремлем остался висеть один громадный портрет. Там была мимолетность, временность, проплывание, исчезновение, а здесь—прочность, вечность. Портрет светился в черном небе наподобие киноэкрана невероятных размеров. И одновременно его стояние в воздухе казалось сверхъестественным, было чудом и отдаленно напоминало неподвижное парение маленького паучка, висящего на незримой нитке. Проход в Александровский сад закрыли. Военный регулировщик показывал направо, пришлось повернуть к библиотеке Ленина и потом через Ленивку снова пройти на мост и вернуться домой.

В первом часу ночи, когда Михаил уже храпел на диване, Лиза спала в детской с ребятами, а Николай Григорьевич выходил в халате, в шлепанцах на босу ногу из ванной, раздался звонок в дверь.

Николай Григорьевич быстро прошел в кабинет и стал одеваться. Сердце колотилось толчками, руки не слушались. Он почувствовал гнусную слабость где-то внутри, под животом, чего не было очень давно, может быть с детских лет. Никто в квартире еще не слышал звонка. Люди за дверью ждали. Сейчас они позвонят снова, длиннее, тверже. Надо ли что-то уничтожить? Ничего. Вот этот час. Он настал. Никто не может избежать смерти, и никто не минует этот час, который настал для него. Почему он должен быть счастливей других? Нет, он не хочет никаких льгот. Белая рубашка никак не застегивалась на груди, запонки не находились. Засунул куда-то десять минут назад. Ведь только что были здесь. Ну хорошо, можно без них. Грязные носки оставил в ванной, чистые брать не хотелось, было некогда, тяжело. Уже томило страшное знобящее нетерпение. Снова раздался звонок — на этот раз долгий, на-

пряженный, как и положено быть. И кто-то постукивает пальцем в дверь. Разбудить Лизу или пойти сразу открыть?

Еще не решив, как лучше, он уже шел по коридору. Твердой рукой отбросил цепочку, она загремела, качаясь.

На площадке стоял Валерка.

— Ты? Откуда ты, чертов сын?

— А я с вокзала. Удрал... Батька здесь?

— Здесь. Иди. Раздевайся. Мойся. — Николай Григорьевич подождал, пока племянник снимет пальтишко и кепку, взяв его за ухо, придвинул к себе и очень сладко и крепко, с оттяжкой вlepил ему в макушку щелчка. Валерка даже подпрыгнул, сказал шепотом «ой!», но, видимо, принял как должное — послушно побежал на цыпочках в ванную.

Белым квадратом стояли краснофлотцы, синим — летчики, зеленым — пограничники, оливково-стальным — Пролетарская дивизия. Все это Горик видел не раз и понимал отлично, потому что так было на всех парадах. И так же на всех парадах ровно в десять, когда часы на Спасской башне вбивали в тишину над площадью последний, проникающий во все сердца колокольню-звонкий удар, из ворот легким галопом выезжал Ворошилов, и начиналось: «Ааа... Ааа...» Как будто вслед за цокотом ворошиловского коня раскатывался громадный ковер, состоящий из живого слитного шума. Шум катился волнами. Ковер разворачивался и разворачивался, опоясывая площадь. Но каждый раз снова — хотя было знакомо и видно — в минуты этого «Аааа...» Горика охватывал озноб, в животе дрожало от восторга, ладони потели, сжимались в кулаки и он беззвучно кричал со всеми: «Ааа...»

Кроме того, он испытывал приятное чувство самодовольства от сознания, что привел на это замечательное зрелище Леню и тот должен быть ему благодарен. Ведь мало кто из их класса может увидеть парад на Красной площади. Пожалуй, только Катька Флоринская да еще тот новенький, чей отец — замнаркома. Раньше ходил на парады Сапог, но теперь-то бедняга сидит дома. Горик изредка поглядывал на товарища, стараясь прочесть на его напряженно-внимательном, несколько бледном лице какие-либо следы благодарности, но пока ничего не обнаруживал. Карась как будто даже за-

был, с кем пришел сюда. Не отрываясь, он глядел на марширующие войска, не произносил ни слова, будто окаменел. Валерка, наоборот, не стоял на месте, вертелся между взрослыми, то и дело куда-то протыривался, однажды исчез надолго и, вернувшись, сообщил, что протырился к самому Мавзолею, близко-близко, видел Сталина, Молотова, Калинина, всех, всех... Дядя Миша дернул его за ворот матросской курточки и сказал очень злобно:

— Если еще раз, поганец, куда-нибудь удерешь...

— Подумаешь! — ответил Валерка. И, помолчав, шепнул: — Какой командир...

Тогда дядя Миша сильно треснул его по заднему месту. А Леня ничего этого не слышал, даже не обернулся.

Скакала конница, колыхались пики, алым и голубым рябили в глазах казацьи башлыки, на трибунах радостно шелестели:

— Впервые... Казаки... А вы знаете, впервые в параде участвуют красные казаки...

Какая-то женщина смеялась:

— Нет, не могу на них смотреть!

Но все вокруг хлопали в ладоши, кто-то кричал:

— Ура, казаки!

Горику хотелось, чтобы стоявшие рядом — в особенности Леня — знали, что его отец самый настоящий донской казак, и он спросил нарочно громким голосом:

— Пап, это донские казаки или кубанские?

Николай Григорьевич, к удивлению Горика, ответил равнодушно:

— Да наверно уж... Я думаю, да...

Зато дядя Миша объяснил: сводная казацья дивизия. Впереди шли донцы, вторыми — кубанцы, за ними — терцы. Потом мчались по влажной от утреннего дождя брусчатке бесшумные самокаты, потом, треща наперебой и оглушительно хлопая, катились мотоциклы с колясками, в которых стояли пулеметы. Это была новинка. Вот это да! Мотоциклы с пулеметами! Хорошенький сюрприз для иностранных военных атташе, вот уж они, наверное, кривятся и бледнеют от злости на своей трибуне. Горик кричал: «Ура, мотоциклисты!» На гусеницах ползли тяжелые противотанковые орудия, за ними лавиной шли танки — танки-лилипуты и танки-великаны, дым выхлопных газов застилал воздух, было трудно дышать, как в настоящем бою, земля содрогалась, ревело небо от грома моторов истребителей и скорост-

ных бомбардировщиков, люди на трибунах, казалось, вот-вот оглохнут, женщины затыкали уши, их лица выражали ужас, но Горик и Карась стояли с непоколебимым спокойствием. Они могли бы стоять так два часа, три, четыре, сколько нужно.

И потом, когда уже подгибались ноги, а руки устали хлопать, когда от шума, треска, мелькания, музыки кружилась голова, когда прошли физкультурники, пробежали испанские ребята в забавных двурогих шапочках, которые почему-то назывались пилотками, прошагали весельчаки на ходулях, когда радио гремело: «Включаем канал! Кричат первые пароходы!.. Включаем Мадрид! Говорит Мадрид!» — когда выглянуло солнце, стало жарко и отец сказал, что пора домой, там ждут с обедом, а Горик, едва держась на ногах, ответил, что обязательно должен досмотреть до конца... что было тогда? Отец сказал:

— Ничего, досмотришь в следующий раз. В будущем году.

И вдруг Горика подумалось, что отец говорит неправду, следующего раза не будет. Непонятно откуда это взялось. Просто вдруг подумалось сердцем, восторженным, полумертвым от усталости. А может быть, отец так улыбнулся и сжал руку Горика. Подумалось — и все, ни с того ни с сего.

Горик кивнул, и они стали пробираться к выходу, в сторону Александровского сада.

А вечером было много гостей, человек двадцать. Приехали из Коломны дядя Гриша с Зоей. Пришла одна старая знакомая отца, еще по гражданской войне, тетя Маруся из Ростова, симпатичная тетка, принесла подарки: игру «Аквариум» (при помощи магнита на удочке вылавливать бумажных рыб) и прекрасно изданную книгу «Губерт в стране чудес», про немецкого мальчика, который приехал в Советский Союз. У Горика такая книга уже была, но он, разумеется, промолчал, чтобы не огорчать тетю Марусю. Перед ужином Валерка устроил небольшой скандал, не хотел принимать ванну — он здорово измызгался, когда играли в мушкетеров и ползали по-пластунски на заднем дворе, возле церкви, — и дядя Миша учил его ремнем в кабинете. Валерка орал благим матом, женщины за него заступались, но дядя Миша был разъярен, не хотел слушать, всех выгонял. Вдруг звонок — пришла Валеркина мать, тетя Ванда. Все страшно изумились. Оказывается, тетя Ванда, не

доехав до Ленинграда, пересела на московский поезд и вернулась обратно. Потому что очень беспокоилась за Валерку, этакое негодяя. Он ведь удрал незаметно, обманул мамашу, сказав, что постоит до отхода поезда в тамбуре, и она, этакая шляпа, вместе со своим Дмитрием Васильевичем спохватилась, когда поезд уже отъехал. Горик-то знал, в чем дело, — Валерка ни за что не хотел ехать вместе с Дмитрием Васильевичем, но тетя Ванда его заставляла. Она обещала купить ему фотоаппарат. Теперь тетя Ванда плакала, обнимала Валерку и говорила: «Ах, какое счастье! Боже мой!» Она думала, что он погиб под колесами. Валерка сказал, что больше так делать не будет и что хочет жить с тетей Ваидой, а не с дядей Мишей, потому что «отец руки распускает». Дядя Миша от такой наглости вышел из себя, закатил сыночку хорошую оплеуху. И правильно сделал, не будь предателем. Тетя Ваида снова плакала, кричала: «Не могу здесь жить! Уеду от всех! Маша, возьми меня с собой в Ростов, там прошло мое детство!» Тетя Маруся сказала, что она согласна. Кое-как все это успокоилось, бабушка и баба Вера стали играть на пианино в четыре руки, потом сели ужинать, было три торта, несколько бутылок «Крем-сода», не считая вина, и самодельное мороженое, очень вкусное, хотя немного жидкое и напоминающее запахом кипяченое молоко. Сережка полдня провозился, ремонтируя мороженицу. Во время ужина с Гориком произошел конфуз. Он вдруг увидел на скатерти рядом со своей чашкой клопа и громко оповестил об этом всех присутствующих. «Клоп! — крикнул он бодрым и, пожалуй, даже радостным голосом. — Смотрите, клоп!»

Трудно сказать, что побудило Горика так закричать. Ведь он впервые за весь вечер раскрыл рот. Больше часа он сидел среди взрослых, скованный и угнетенный собственным молчанием, неумением принимать участие в застольном разговоре — Женька была куда развязней его, про Марину и говорить нечего, она, не умолкая, рассказывала всякие глупости, и даже Валерка пропищал какой-то анекдот, — и вот, мучаясь своей бездарностью и глядя в основном на скатерть, Горик увидел клопа. Ему показалось, что это забавно, может всех развеселить. И он сам как-то выделится на общем фоне. Действительно, его радостный возглас произвел впечатлительные бомбы. Поднялась суматоха, кто-то вскочил, кто-то стал хохотать. Особенно громко хохотали тетя Дина и

бабушка Вера. Потом, когда уже все забыли про клопа, Горик случайно зашел в кабинет и увидел отца, стоящего возле окна и глядевшего во двор. Было полутемно, горела одна маленькая лампа над диваном.

— Пап... — начал Горик, подходя к отцу. Отец вдруг повернулся и больно шлепнул Горика по щеке, сказав «Идиот!». Горик понял, что отец все еще помнит про клопа. И это его расстроило. Он никак не мог заснуть и, когда Женька уже спала мертвым сном и Валерка тоже храпел на кушетке, он босиком, в одной рубашке подбежал к столовой, на секунду открыл дверь и вызвал маму. Она пришла и села на кровать. Они долго шептались. Сначала для отвода глаз он говорил обо всяких школьных делах, а потом спросил, забудут ли когда-нибудь про этого клопа.

— Конечно, забудут, — сказала мама. — Я думаю, что уже завтра или, в крайнем случае, послезавтра забудут. Главное, чтобы ты сам забыл.

Но прошло много лет...

ВРЕМЯ И МЕСТО

РОМАН В ТРИНАДЦАТИ ГЛАВАХ

Время и место вашего рождения
Национальность
Были ли вы
Состояли ли вы
Ваше участие
Дата вашей смерти

Из сна

ПЛЯЖИ ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ

Надо ли вспоминать о солнечном, шумном, воняющем веселой паровозной гарью перроне, где мальчик, охваченный непонятной дрожью, держал за палец отца и спрашивал: «Ты вернешься к восемнадцатому?» Надо ли вспоминать, о чем говорили отец с матерью, не слышавшие мальчика? «Ты мне обещал! Ты мне обещал!» — ныл мальчик и дергал отца за палец. Надо ли вспоминать об августе, который давно истаял, как след самолета в синеве? Надо ли — о людях, испарившихся, как облака? Надо ли — о кусках дерна, унесенных течением, об остроконечных башнях из сырого песка, смытых рекой, об улицах, которых не существует, о том, как блестела до белизны металлическая ручка на спинке трамвайного сиденья, качался пол, в открытые окна летело громахание Москвы, мать смотрела сердито, ничего не слыша, мальчик вдруг закричал: «Ведь он обещал!» — и топнул в отчаянии ногой? Надо ли — о том, как мать шлепнула его по щеке, лицо ее сморщилось, глаза зажмурились, и он увидел, что она плачет?

Надо ли — о когда-то мелькнувших слезах?

Надо ли — о том, как мальчик мечтал пойти с отцом на авиационный парад, увидеть прекрасное зрелище не с берега, а подойти как можно ближе, как в прошлом году, переплыть на лодке, пройти огородами Строгино и приблизиться к Тушинскому полю вплотную, через картофельные гряды, там очень удобно стоять и смотреть, задрав голову, замечательно видно без бинокля, тем более что бинокль остался в Москве, мама его забыла; о том, как отец не вернулся из Киева

ни пятнадцатого, ни шестнадцатого, мама волновалась и разговаривала раздраженно, ждала телеграмму, мальчику говорила неправду, и однажды он услышал, как она сказала сестре: «Проклятые лошади! Он их так любит! Я уверена, он мог бы не ехать на маневры, сам попросился, не может жить без своих лошадок!» — но мальчик понял, что и тут неправда, хотя мама в сердцах схватила со стола фотографию любимого отцовского коня Звездочета и бросила ее на пол, так что рама раскололась, стекло разбилось на множество осколков, а мама испугалась и сидела в кресле, не двигаясь, целый час; о том, как отец не вернулся даже накануне парада, семнадцатого, и они с мамой поехали в город и сидели в пыльной квартире до вечера, ожидая, что принесут телеграмму, но телеграмму не принесли?

Надо ли все это?

Мальчика звали Саша Антипов. Ему было одиннадцать лет. Отец Саши не вернулся из Киева никогда. Мальчик Саша вырос и давно состарился. Поэтому никому ничего не надо.

Он выпрыгивает из постели и босой бежит на террасу. В городе босиком не ходишь, а здесь раздолье, можно бегать босым целый день, только вечером мать заставляет надевать тапки, да и то не всегда: иногда приезжает из города слишком поздно, и, как она говорит, и з м о ч а л е н н а я, и сама забывает про тапки. Последнее время почти каждый вечер приезжает и з м о ч а л е н н а я. То забудет привезти масло, то хлеб, то какую-нибудь важную книгу, про которую он напоминал ей двенадцать раз. «Совсем из головы вон!» — говорит мать и слабо машет и з м о ч а л е н н о й рукой. Ему хочется рассердиться, сказать что-нибудь злое, обидное, потому что он ужасно расстроен, мечтал об этой книге весь день, но что-то его останавливает, и он, мужественно подавив огорчение, убегает во двор, к ребятам. Все дело как раз в том, что он обещал книгу ребятам. Они примут его за обманщика. Но ребята, к счастью, тоже забыли про книгу, поэтому все улаживается. Ах, что может быть лучше, чем ходить босиком! В комнатах толстые шершавые доски пола холодят ступни, но на террасе, которая залита солнцем, пол уже теплый, а выйдешь на крыльцо, там и вовсе солнцепек, сразу обдаст свежим жаром раннего августовского утра, запахами сада, сосны, земли. Он скатывается, стуча пят-

ками, по крутому и высокому крыльцу, бежит садовой тропинкой, еще сыроватой после ночи, и выбегает на большую каменную дорогу, которая ведет к воротам. Здесь бежать невозможно, дорога стара, разбита, она гораздо старше дач, вся состоит из выбоин и дыр с острыми краями; из нее удобно выламывать мелкие камни для борьбы с врагами, но бежать босиком по этим камням опасно, и он осторожно идет обочиной, мимо кустов сирени и, миновав ворота, выходит на шоссе. Гудрон успел нагреться, через три часа он станет таким горячим, что голой ногой не ступишь, тогда придется пылить рядом, зарывая ноги в нежнейшую и пухлую от сухости, кофейного цвета пыль, которая, чуть тронуть, вздымается облаком. Но сейчас, ранним утром, шлепать по гудрону одно удовольствие. Пробежав шагов полтора, он сворачивает в редкий сосновый лесок, тянувшийся по всему берегу. Здесь босые ноги вновь ступают осторожно, потому что в опавшей хвое попадаются шишки, кусочки стекла, притаились коварные сосновые корни, только и ожидающие того, чтобы ударить по пальцу. И вот он на берегу на обрыве, а все уже там, внизу: Алешка в красных плавках, толстый Петух и загорелый, как чертик, Чуня. Он вопит им радостно, машет руками и прыгает с разбега грандиозным прыжком вниз, на песок.

— Ага, Сащке разогревать!

— Чур, не мне!

— Почему?

— Я позавчера разогревал!

— Петух, твоя очередь.

— Моя-а? Ой, холодища... нет, бр-р!

— Петух, ты самый жирный, тебе не страшно. Валий разогревай.

— Ты тоже не худенький.

— Ладно, чего с ним разговаривать! Бросай его!

— Держи Петуха! Стоп! Хватай за ногу... Эй, не брыкайся!

Три мальчика хватают четвертого, самого смуглого и толстого, и, несмотря на то что он яростно отбивается, вывертывается и орет дурным голосом, разносящимся далеко по реке, тащат его к воде, и, зайдя до колен, начинают раскачивать, стараясь бросить подальше. Но он тяжел, бросить не удастся, к тому же он крепко вцепился в своих мучителей, и кончается тем, что все четверо с криками, гогом, взметнув брызги, валятся в во-

ду тут же у берега. Мальчик, которого зовут Петухом, злорадно кричит:

— Что? Разогрели? — и, вырвавшись из свалки, быстро плывет к середине реки. Голова его опущена, руки загребают часто и сильно, а ноги вспенивают воду, как хороший мотор. Трое тотчас бросаются в погоню.

— Лови его! Ауп Петуху! Ауп ему! — «Делать ауп» — это значит топить. Нажимать на макушку и вгонять человека под воду. Саше, конечно, «ауп» не делают, он плавает не очень-то здорово. Но топить Петуха — милое дело. Через две минуты все четверо уже далеко от берега, на середине реки, где волна прозрачна, оглушает, спит, где нет ничего, кроме стука в ушах и густого, забивающего нос запаха речной воды и ощущения бездны под ногами, страшной, холодящей живот. Догнав Петуха, мальчики начинают по очереди прыгать ему на плечи, вдавливая его в воду, или же, ладонью нажимая на черную блестящую макушку, заставляют Петуха погружаться под воду, при этом все четверо, и Петух тоже, выкрикивают: «Ауп!» Утонуть Петух не может, он слишком толст, кроме того, он занимается в секции плавания «Юного динамовца». Не успев погрузиться, черная Петухова голова выскакивает, как пробка, на поверхность. Но все же после шести или семи «аупов» Петух начинает захлебываться, на лице его исчезает улыбка и мелькает выражение бессмысленно-испуганное, он кричит что-то булькающим, неразборчивым голосом и поднимает обе руки — сдается. Мальчики сразу оставляют его в покое, и только один из них вдруг снова в азарте прыгает на Петуха и топит его, но тот уже не выскакивает, как пробка, он появляется не сразу, отплыв в сторону, широко разевает рот, жадно дышит, и лицо его делается плоским и скучным. Тот же азартный мальчик делает движение к Петуху, но его останавливают: «Кончай!» Все четверо не спеша плывут к противоположному берегу, Петух плывет позади всех, он повернулся на спину, лежит, раскинув руки, отдыхает.

Противоположный берег — низкий, луговой, прибрежное дно скользко и неприятно, в иле, в водорослях. Взбалтывая мутную воду, разрывая ногами водоросли, мальчики устало выбирают на берег, вспрыгивают по глинистому двухметровому откосу наверх, где начинается луг, и ложатся животами на траву. Река еще холодна, мальчики дрожат, губы их посинели, тела вжимаются в землю, ища тепла. Надо бы побегать, чтобы

согреться, но все четверо без сил. Несколько минут они не двигаются, не разговаривают, только тяжело дышат, стучат зубами и сладостно бурчат и хрипят, наслаждаясь проникающим в них теплом: снизу, от земли, и сверху, с безоблачного неба, откуда палит небыстро разгорающееся августовское солнце.

Наконец мальчик в красных плавках, Алеша, приподнимается, садится на траве, сложив ноги по-турецки, и смотрит на реку. Поросший сосной высокий берег с крутым песчаным спуском, откуда они приплыли, лежит сейчас в тени. Все там лиловое, смутное, туманно-солнечное. Кто-то плещется вблизи самого берега, но от дали не видно кто, слышны женские голоса, смех, хлопанье рук по воде.

Мальчик, которого зовут Чуня, тоже садится и, обняв руками колени, смотрит на противоположный берег. Он кажется таким далеким, уютным. Затевают спор: кто купается на том берегу? Вглядываются напряженно, изо всех сил и высказывают предположения. Чуня говорит, что купаются его родичи, Петуху кажется, что Графиня со своими собачками, а Алеша говорит — Галька Большая. Спорят, горячатся. Саша тоже, приставив ладонь к глазам, заслоняясь от солнца, от блеска реки, пытается что-то увидеть на том берегу, но, как ни напрягает зрение, как ни прищуривается, не может разглядеть ничего, кроме лиловой каймы леса над половою реки, и поэтому не участвует в споре. Он близорук, у него даже есть очки, правда, надевает их редко, только в кино. Зато слух у него превосходный. Прислушавшись, различает чей-то знакомый высокий и звонкий голос: «Немедленно возвращайся!» Вероятно, мать Гальки Большой командует с берега.

— Галька Большая уехала, — говорит Чуня. — Это мои полоскаются.

— Куда уехала? Бреши!

— Уехала, — говорит Чуня и не добавляет ничего. Но все ему верят. Его отец комендант. Они живут в домике лесничества.

— Не бреши, Чунявый... — лениво тянет Алеша, но видно, что спорить ему неохота.

— А я видал, как они документы жгли.

— Какие документы?

— Бумаги всякие, письма. Слышим вдруг, с ихней террасы гарью пахнет. Мать говорит: полезай на чердак, посмотри в шелку, чего делают. А я часто в шелку

смотрел. Гальку видел, мамашу ее видел, старичка их-него, они его купали по выходным. У него тут все висит, как тряпочки.

— Ну, дальше что?

— А то, что Галькина мать бумаги жгла. На керосинке.

Наступило молчание — не знали, что сказать. Тайная тоска томила Сашу. Ничего плохого не случилось в его жизни, но захотелось домой — а вдруг пришла телеграмма? Правда, теперь уже все равно. Парад прошел.

— Подглядывать, между прочим, не-хо-ро-шо, — говорит Алеша.

— Подумаешь! Они все равно уехали.

— Вот бродяга, все знает точно! — усмехается Алеша. — Первое лето живет и все знает точно. Может, ты шпион? В щелки подглядываешь и все знаешь?

— Наверное, шпион! — смеется Петух.

Чуня вскакивает на ноги.

— Кто шпион? — Лицо его покраснело. Он стоит, сжав кулаки.

— Да ты.

— Я?

— Ну ты. А дальше? — Мальчик в красных плавках поднимается на ноги. Он немного ниже Чуня, но шире в плечах.

— Дурак ты, — Чуня зло сплевывает и, не желая того, попадает на босую Алешкину ногу.

— За плевков ответишь, — говорит Алеша, поднимая правую ногу, на которую попал плевков, и намереваясь ударить именно этой, опозоренной ногой.

— А ты за шпиона ответишь! — кричит Чуня и убегает. Пробежав шагов двадцать вдоль берега по траве, он останавливается и кричит: — Сами вы шпионы! У вас весь участок шпионский! Эй вы, шпионы, шпионы, шпиончики!

— Ну смотри, Чунявый, мы тебе навтыкаем, — грозит кулаком Алеша.

— На площадку не приходи, — добавляет Петух.

Чуня скоком прыгает в воду и плывет, суматошно махая руками, брызгаясь, торопясь, как видно, в большом страхе. Отплыв немного, поворачивается и кричит:

— Эй вы, пончики-шпиончики! — Трое оставшихся на берегу мечут в него комья сухой глины, мечут в спешке, не целясь, и все мимо. Чуня ныряет, спасаясь от

пуль. Наверное, сам себе представляется Чапаем, потому что, выныривая на миг, орет истошно: — Вре-ешь! Не возьме-ешь!

Мальчики один за другим бросаются за ним в погоню. На середине реки Петух догоняет его, но в глазах Чуни такой испуг и мольба, что у Петуха не подымается рука делать Чуне «ауп», и он лишь презрительным жестом, ладонью плещет Чуне в лицо и говорит:

— Ладно, живи.

Все четверо почти одновременно доплывают до берега, задыхаясь, отплевываясь и ковыляя по мелким камушкам, выбирают на гладкий песок, и первое, что Саша видит, знакомая рыжая собачонка, прыгающая от нетерпения.

— Они меня топить хотели! И дразнили шпионом! — счастливым голосом заливается Чуня.

На песчаном склоне сидят двое: усатый бритоголовый отец Чуни по имени Поликарпич в черных трусах и толстая мать Чуни в чем-то голубом, белая, необмерная, в круглых складках. Мать Чуни улыбается, отец тоже смеется, лицо у него, как у kota, усатое.

— Это как такое: топить? Разве дозволяет товарищ Сталин топить?

Он хихикает, машет костлявой рукой и пытается встать. Рядом с ними на одеяле еда в тарелках, патефон. Наигрывает «Марфушу». Не с первого раза, но все же отец Чуни поднимается и делает шаг к воде, Петух и Алеша бросаются наутек. А Саша не умеет убежать, стоит как вкопанный. Отец Чуни приближается к нему, по-прежнему улыбаясь плоским кошачьим ртом, весело играя глазами, и вдруг цепкой рукой хватается Сашу за ухо.

— Это почему такое: топить? Разрешение имеете? Без разрешения никому ничего нельзя... Ни-ни... Не дозволяю... — бормочет он, закручивая Сашино ухо с такой силой, что боль пронизывает Сашу от головы до пят.

— Беги! Беги! — кричат Петух и Алеша.

Но вырваться из железной руки невозможно. И пожаловаться на ужасную боль нельзя. Поэтому Саша молчит, стискивает зубы, на глазах его выступают слезы. Патефон наигрывает: «Марфуша все хлопочет, Марфуша замуж хочет...» Отец Чуни гнет Сашину голову к земле, все ниже, ниже, стараясь вырвать крик о по-

щадет, но Саша готов умереть, но не закричать. «И будет верная она жена...» Отец Чуни бормочет.

— В Совнаркомке сказано, топи, говорят, щенят, пока слепые... Так что разрешают... Можно... Пожалуйста... Дави.

— Отпусти мальчика, — слышит Саша голос женщины. — Он без тебя нахлебается.

Пальцы разжались, и Саша, оглушенный болью, карабкается по песчаному склону наверх. Там на скамейке над обрывом сидят сестра и мама. Они смотрят странно, холодно, не возмущаются Поликарпычем, не выражают сочувствия, не восхищаются его мужеством.

— Мы зовем тебя полчаса, — говорит мама. — Ты не слышал?

— Нет, — говорит Саша.

— Пойдем, быстро позавтракаешь, и поедем в Москву.

— В Москву? — удивляется Саша. — Будем ждать телеграмму?

— Нет, — говорит мама. — Телеграмму ждать не будем. Просто поедем на несколько дней. У меня там дела.

Саша видит, они обе уже одеты, сестра в своей красной кофте, в войлочной кавказской шляпе и с сумкой, в которой книги. Он оглядывается на реку, на луг, на все это просторное, солнечное, что он должен покинуть на несколько дней. Блестит в искрящемся плеске река, белым сахарным куполом стоит над лугом, над избами в мареве горизонта, над невидимым полем Тушинского аэродрома круглобкое кучевое облако. Оно не испарилось, не исчезло в синеве до сих пор; по-прежнему в августе белая гора возвышается над старым деревенским аэродромом, над многоэтажными домами, над излучиной реки, одетой в гранит, чуть заметно под напором западного ветра передвигаясь к востоку, к центру Москвы, и вслед за облаком медленно передвигается точно такая же, как когда-то, и легчайшая прозрачная тень, и машины внизу то ныряют в эту прозрачность, то выскакивают на солнцепек, сверкая черными и салатными лакированными частями, летят серебряной дугою шоссе в Шереметьево, в Лондон, в Вену, в Бомбей, в Каула-Лумпур. Надо ли вспоминать? Бог ты мой, так же глупо, как: надо ли жить? Ведь вспоминать и жить — это цельно, слитно, не уничтожаемо одно без другого и составляет вместе некий глагол, которому названия нет.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК

Это вот что: шаркающая толпа на знойном асфальте, гул голосов, ключья музыки отовсюду, ее пух, ее сор, музыкальные перышки летают в воздухе, невидимые оркестры где-то выбивают свои перины, обертки мороженого под ногами, в урнах сам собой загорается мусор, растекание толпы, человеческий вар в лабиринтах аллей, краткие спазмы, тугая пульсация, запахи листвы, сигарет, потных тел, шашлыков, гниловатой воды пруда, вокруг которого валунами сидят бетонные лягушки, тихая поднебесная жизнь гигантского колеса, закупоренные в люльках счастливыцы, чье-то бормотание в микрофон, хохот перед зеркалами, в которых страшно себя узнать, гром динамика над площадкой, охотничий бег милиционера, ныряющего в толпе, постепенная тишина, шепот деревьев, одинокие озабоченные собаки в пустынных аллеях, запах реки и лип, из-за куста рябины выпадение серолицего человека со спущенными штанами, хлопок выстрела, надвигается вечер, прохладой дышит овраг, лучше обойти его стороной, все это неизведанный континент, здесь есть свои джунгли, свои пещеры, свои коварные туземцы, добрые незнакомцы, здесь сочятся, пресекаясь, чахлым ручейком мое детство...

Я живу неподалеку, мой дом безлюден. Кончатся уроки в школе, и я вместо того, чтобы бежать домой — что там делать, в пустыне комнат? — иду к Левке Гордееву, который живет во флигеле во дворе больницы, мы садимся в палисаднике за дощатый «козловый» стол, вечерами тут «забивают козла», и дуемся в шахматы до потемок, пока мужики не прогонят нас. Левка страстно любит шахматы. Я тоже люблю, но меньше. Могу без них обойтись. Иногда играю с ним безо всякой охоты, просто потому, что он пристаёт. Левка не похож на шахматиста, он похож на хулигана: мордастый, широкоскулый, белобрыйса челка, хмурый из-под лба прищур. И ходит он хулиганской раскачкой. Но раскачка оттого, что Левка чуть хромоват, щурится он от близорукости, а широкие скулы обманчивы — человек он мягкий, нерешительный, даже, пожалуй, трусоватый. Мать свою он почитает, отчима побаивается, хотя отчим больной и жалкий, никакого вреда сделать не может, а ребят Левка сторонится. Они его дразнят: «Эй, Гордей! Дать по морде?» Однако в шахматной игре Левка смел и упорен, что меня удивляет. Сражается он до по-

следней пешки. Левкина мать кормит нас обедом. Левка приносит из дома тарелки, бросает на дощатый стол батон, чтобы рвать руками, так вкусней, и мы хлебаем суп, рвем батон, едим замечательную пшеничную кашу или жареную картошку, не отрываясь от шахмат. Левкина мать Агния Васильевна спрашивает одно и то же: «А твои родители где ж?» — «В командировке», — отвечаю я. «Вона как! — говорит она с некоторым изумлением, будто слыша впервые. — С кем же ты проживаешь?» — «С бабушкой». — «Вона как...» — Левкина мать продолжает тихо изумляться и покачивает лобастой головой, желтовато-смуглой, похожей на грушевидную реторту из нашего химического кабинета, мне такие головы не нравятся, и, покачивая ею, она шепчет неодобрительно. Понять нельзя, к кому неодобрение относится — ко мне, к бабушке, к родителям, уехавшим в командировку, или к кому-то еще. Агния Васильевна работает медсестрой в больнице, и, слава богу, времени на разговоры у нее мало. Она прибегает на полчаса среди дня, готовит еду Левке, кормит Станислава Семеновича, Левкиного отчима, который лежит в темной комнате на кровати и ничего не хочет: ни работать, ни читать, ни писать, ни разговаривать, ни слушать радио. В этом заключается его болезнь — ничего не хотеть. Вечерами он запрещает зажигать свет, и Левка делает уроки на кухне.

Станислав Семенович работал до болезни на фабрике гравером. Левка рассказывает: мать взяла отчима прямо из больницы, он почти совсем поправился, врачи хотели выписывать, да было некуда. В одиночку Станислав Семенович жить не мог, а жена от него почему-то отказалась. Даже в дом его не пускала. Остался он без кола, без двора, иди куда хочешь, хоть с Крымского моста в воду, и Левкина мать его пожалела. Было это давно. Мой друг ходил тогда в первый класс. Станислав Семенович иногда чувствует себя превосходно, читает газету, разговаривает здраво и даже работает: режет печати для собственного удовольствия или по заказу, для любителей. А еще работает за столом, пишет что-то в конторской книге. Иногда уезжает куда-то, нарядившись как можно лучше, в белой рубашке, с галстуком, берет зонт, портфель, туда засовывает одну или две из своих конторских книг (Левка говорит, что в этих книгах он ведет научные изыскания), надевает галоши и пропадает на целый день. Обычно возвращается еле

живой, с темным, мрачным лицом, вешает портфель на гвоздь, ложится на кровать и погружается в молчание. И опять какая-то пружинка ломается в нем, он не желает утром вставать, поворачивается к стене, накрывается с головой, только черноватый курчавый клок торчит из-под одеяла, свет велит гасить, окно занавесить и может лежать так впотьмах часами, как будто спит, но на самом деле не спит. Однажды я слышу фразу, которую он тихонько, но ясно произносит, лежа лицом к стене: «Они надеются, что я...» И еще много раз шепотом, как-то трезво посмеиваясь: «Они надеются, конечно... На то, что я...» Я не знаю и не пытаюсь понять, кто о них, которые почему-то надеются на Станислава Семеновича.

Станислав Семенович — невнятная принадлежность Левкиной жизни. Вроде барометра, который висит в прихожей для неведомой надобности. Левка в барометре ничего не понимает, никто не понимает, но все привыкли, не замечают, барометр должен висеть в прихожей. Агния Васильевна должна бегать с чемоданчиком на ушколы. Мы с Левкой должны с отвращением готовить уроки, играть в шахматы, протыриваться без билета в кинотеатр «Авангард», пролезать сквозь пролом в железной ограде в парк. А Станислав Семенович должен лежать в темной комнате и болеть. И правда, он невероятно больной! Однажды увидел его в трусах — ноги у него, как палочки...

Вечером Агния Васильевна возвращается с работы, мы все еще стучим фигурами, лупим по двадцать партий без передыха, хотя я вполне могу без этого обойтись, и Левкина мать вновь принимается за свое: «А твоя бабка где работает?» Я отвечал ей тысячу раз! Но странная женщина продолжает пытаться: «Приходит, говоришь, поздно? И ты все один? Экой ты неудалый. Неужто другой родни у вас нет?» Она не обращает внимания на наше шахматное безумие — моя бабушка давно бы отняла шахматы, может, выбросила бы доску с фигурами в окно, как выбросила однажды великолепный самодельный арбалет, — она не замечает того, что мы пропадаем в парке до ночи, воюем со сторожами, скрываемся от милиции, уроки наши в загоне, учимся мы хуже некуда, ее это не интересует, она никогда не спрашивает о школе, зато ее интересуют пустяки. «Скажи-ка, не могла бы твоя бабка достать, случаем, маленьких попугайчиков? Страсть хочу маленьких попугайчи-

ков! Сегодня один больной рассказывал...» Ее желания, новости, страхи имеют один источник: «Сегодня больной рассказывал». Левка называет ее чулда. Слово это, которое я ни прежде, ни после в своей жизни не слышал, означает, наверно, и несуразность, и придурковатость, и какую-то нелепую комическую доброту, не имеющую границ.

То она приводит блохастого пса с перебитыми лапами, то какого-нибудь уличного гнилоглазого кота. То в две комнаты, где повернуться негде, втискивается и живет полмесяца орава родственников из тьмутаракани, Левкина мать спит на полу. А то говорит мне: «Слушай-ка, а живи у нас, хочишь?» Левка рад. Ему главное — в шахматы резаться с утра до ночи. «Соглашайся! Не бойсь. Моя чулида все тебе купит, чего надо. Она знаешь какая трудолюбивая...»

Знаю, она и после работы, и в выходной тормошится, бегаёт, ни минуты не отдохнет, кому банки, кому постирать, кому укол сделать, на это великая мастерица. Доктора говорили: «Лучше Агнии во всей Москве медсестры нет!» А Левка насмешничает: «Мамаша икру мечет». Да как было не метать? Это я теперь понимаю. Среди ночи стучат: «Агния дома? Агния, умоляем! Просим! Заплатим сколько хотите! Агния, милая! Он только вам доверяет! Можно попросить товарища Агнию?»

Все так туго сплелось, так крепко перевязано одно с другим, как будто не может существовать отдельно: доброта и безвыходность, ликование и печаль, сладчайшая радость и смерть, и прочее, прочее, что кажется таким далеким. Например, парк и больница. Там люди веселятся, здесь страдают; а граница между тем и другим — ветхий забор из тонких железных прутьев. Стоит его перелезть, и вы там. Я понял это давно. Тоска — это хлам осени под ногами, музыка, толпа на набережной, красные фонари, скрип дебаркадера. Опустелый дом — это дощатый стол, игра в шахматы до одурения, усталая надоедливая женщина с некрасивой головой, похожей на грушу. Это чужое горе и ненужная доброта.

Я живу на окраине, где новые дома стоят вразброс, напоминая громадные одинокие сундуки, и хожу в школу в здании старой гимназии, теперь этого здания нет, на его месте стоит фиолетово-зеленый небоскреб Комитета стандартов. Напротив школы, через улицу, прячутся за оградой, за деревьями — они прячутся и поныне, как прятались двести лет назад, — скучные, нищенский

желтизны каменные дома больницы, а сразу за ними, за двориком, где мы дуемся в шахматы, спуск с холма, начинается парк, его тыльная сторона, мусорные задворки, непролазная чаща, овраги, свалки, ржавое железо, обрывистые тропки, по которым надо прыгать или мчаться стремглав, наподобие горных козлов, или же красться с осторожностью индейцев, прислушиваясь к малейшему хрусту веток. Когда вечером на эстраде пикирует оркестр или гремит динамик на танцплощадке, в Левкином флигеле — если ветер с реки — бывает хорошо слышно, и Станислав Семенович, сев на кровати, закрыв уши ладонями, шепчет: «Собачья свадьба...»

До меня долетает шепот Левкиной матери: «Стась, а Стась, дать поесть?» Молчит. «Стась, щец налить?» Молчит. Но, верно, качает отказно головой. «Ничего не хочишь? Чайку? А в сад посидеть?» Долго тихо, потом прыск, смешок: «А меня хочишь?» Догадываюсь об ужасном, сердце мое колотится, я впиваюсь слухом — ничего услышать не могу, не желаю, от страха и унижения бросило в пот, и все же впиваюсь помимо воли, — однако по-прежнему тихо, кровать не скрипит, ничего дыхания не слышать, потом глухой, как в ведро, голос: «Убрать хочу...» — «Кого?» — «Музыку». — «Зачем? Где?» — ахает Левкина мать. Опять голос ведра: «Везде убрать. Не нужна...»

А как-то вижу, сидит рядом с ним на кровати, жмет его голову к груди, гладит по впалой щеке, а сама в окно глядит, плачет... Отчего плачет? Забыл, не помню, не догадался, не знал никогда. Теперь правды не откопать. Сколько лет прошло. Нет их никого во флигелечке, старом голицынском, для челяди, крашенном вечной охрой, ни Левки, ни его матери, ни больного Станислава Семеновича, ни племянницы по имени Миньона, никого. Снег почернел, зима кончилась, парк закрыт, и музыка замолчала — каток растаял, — и тут возникла Миньона, которую звали Минкой. Из города Мелитополя. Левкина двоюродная сестра. Ей лет шестнадцать, а может быть, восемнадцать, круглая сирота, родители куда-то делись, не помню, отчего и куда. Да скорей всего туда же, куда и мои. Левка сказал: чу ли да в Мелитополь уехала, чтоб сеструху в детский дом не забрали. Вернулась через неделю, с нею рыжая девчонка, лицо длинное, бледное, глаза черные, как у цыганки, идет с чемоданчиком горделиво, на Агнию не глядит, как будто посторонняя, а Агния два громадных узла тащит.

Поселилась Миньона в кладовке под лестницей, там всякий скарб стоял ломаный. А весной, когда открылся парк — открывается он обыкновенно первого мая для народных гуляний, но павильоны начинают работать спустя недели две, — устроили Миньону в павильон «Досуг»: выдавать игры, шахматы, домино. Сидела там с двенадцати до позднего вечера, а мы с Левкой бегали к ней в гости. Сначала бегали просто так, брали детский бильярд или шахматы, играли с другими мальчишками, со взрослыми, часто с одним старичком, который давал нам фору коня, всегда выигрывал и угощал нас мятными конфетами, а потом пришлось бегать в «Досуг» чуть ли не каждый вечер — охранять Минку. Потому что к ней приставали. Ну, не только хулиганы, просто всякие мужчины, шахматисты и бильярдисты. Ведь она была красавица. И мы это понимали и понимали, почему к ней пристают, и нам было ее очень жалко. Она никогда нас ни о чем не просила, просила Агния Васильевна: «Ребята, пойдите к Миньоночке пораньше, а то у меня душа беспокойная!» — и Минка радовалась, когда мы влетали в поздний час в павильон и рассаживались по-хозяйски в креслах, хватали журналы, шахматы, углублялись в свои дела и всем независимым видом показывали Минке, что и она может сколько угодно заниматься своими делами, может нас не замечать, не знакомить с мужчинами, которые всегда крутились возле ее столика, говорили любезности, разную чепуху, но пусть знает, на всякий случай мы тут.

Левка ходил с большой палкой, а у меня в кармане лежал бронзовый ножик для разрезания книг, похожий на настоящий кинжал. И Минка, правда, иногда не замечала нас до последней минуты, когда уже пора уходить, а иногда говорила кому-то: «А вот мой брат Лев! А вот его товарищ!» Мужчины поглядывали на нас безо всякого интереса. Некоторые фальшиво улыбались, а один неприятный субъект, приехавший на велосипеде, брюки его всегда засунуты в носки, сказал гадкую фразу: «Мальчики, уже поздно, вам пора спать». И как было здорово, когда он предложил Миньоне сесть на раму велосипеда, он, мол, довезет ее домой, а она отказалась! «Нет, — говорит, — меня пришли встречать, а я поеду на велосипеде? Это невозможно». Тот обиделся и ворчал: «Кто их просил приходить? Подумаешь, телохранители, ерунда какая...»

А сначала Миньону все жалели, потому что она много плакала. Запрется в чулане, никого не пускает. Ее зовут, в дверь стучат, умоляют и упрасивают — Левкина мать никогда ни на кого не сердилась, ругаться не умела, даже говорить громко не могла, а все только шепотом, — Миньона не отзывается. Пугались сначала: не обижается ли? Не больна? Ведь Левкина мать никогда прежде Миньоны не видела, почти ничего о ней не знала, только кое-что из писем сестры, Миньониной матери, и вдруг схватилась единым духом и понеслась в Мелитополь, а спросить — зачем? Для чего чужую девчонку, хотя и родственницу, седьмая вода на киселе, в свою семью брать и в чулане селить? Теперь подумаешь: ни черта не понятно, блажь какая-то, вздор... А тогда все было понятно. И даже: никак иначе нельзя. Мозги-то легкие, недоспелые, одно светлое и доброе на уме, и жизнь представляется лучезарной, не смотря на боль, на страдания. Это потом уж, спустя годы,образишь вдруг и ужаснешься: как же все удалось? Как же они — мы — этакую глыбищу переворотили? И я ведь оставался один, а потом, когда возникла тетя Маруся, забытая родственница — никогда не знал в точности степени мифического родства! — мне, дураку, бесконечная доброта и наивная отвага показались в порядке вещей. Ну вот. Агния стучит, волнуется, вскрикивает полупшепотом: «Миньоночка, ты здорова?» Наконец дверь отворится, по Минке ничего не видеть, лицо лишь чуть бледнее обычного, глаза черные затуманены, глядят не мигая. Но, хоть и не видеть, догадаться можно, что плакала. На это она большой спец: одними губами, взглядом беглым, секундным умеет показать одно, дать понять о другом и намекнуть еще на что-то. «Миньоночка, неужто опять слезилась?» — всполошится Агния, в лице жар мгновенный от сочувствия. Минка отрицает: «Нет, тетя Агния, не волнуйтесь, пожалуйста... ничего подобного...» Но что-то в слабой улыбке, в ускользящем взоре выдает — плакала. Не хочет признаваться, потому что горда.

В Мелитополе Минка жила в большой квартире, а тут чулан без окон... Левка так и понимал ее горе, а я понимал иначе. Мне казалось, я знаю все ее мысли, угадываю вздохи, понимаю, почему она запирается в чулане и не желает никому отворять, но, когда она сказала: «Ты счастливый, у тебя есть бабушка», — я изумился этим словам и подумал, что лишь теперь понял

ее до конца. Мне и в голову не приходило, что я счастливый! Левкина мать так Миньону жалела, что уступила ей свою кровать в комнате, а сама стала спать в чулане. Мне, говорит, все равно, на каких досках храпеть, я как колода валюсь, бесчувственная. Да и когда спать? Ее и ночью дергали, то в больницу, то к кому-нибудь домой, укол срочный... В Мелнтополе Миньона училась в музыкальной школе, играла на пианино — играла прекрасно, сам слышал, ее в нашу школу позвали однажды на пионерский костер, Агния постаралась, обещали какого-то кумача дать, так Минка целый вечер одна барабанила, хоть бы что, все поразнились! — и в Левкином доме без музыки она, конечно, скучала. Агния выпросила у какого-то больного старую мандолину. И вот вечерами Миньона на кровати с мандолиной, волосы распущены, как у русалки, дренькает чуть слышно и слабым голосом напевает. Уж так слабо, что слов не понять. Потому что Агния просит: «Тихочко, тихочко. А то Стасю беспокойство...»

Тут Агния разрывалась: и Минке радость дать, и Станислава Семеновича не мучить. Он от музыки мучился. Как заиграет внизу оркестр, он за голову хватался или зубами начинал скрипеть. Но к мандолине как-то быстро привык, сперва просто слушал, безучастно, не выказывая ни протеста, ни неудовольствия, потом стал просить: сыграй то или это. И, когда это случилось впервые и Станислав Семенович, услышав музыку, не стал содрогаться, кривить лицо и бормотать злобное, а сел на кровати, смотрел в окно померкшими глазами, слушал терпеливо, потом попросил: «Нет, ты сыграй, что давеча играла, когда дождь шел», — Левкина мать очень обрадовалась. Все обрадовались. Потому что человек вдруг чего-то захотел. И стала Минка по его просьбе в свободное время играть и разговаривать с ним, и он ей стал отвечать, рассказывать про то, что он в своих конторских книгах писал; была там какая-то тайна, о чем я смутно догадывался, не о самой тайне, а о том, что писанина его неспроста, не только ради исторической справки. Заголовок у него был такой: «Историческая справка», это я сам читал. На одной конторской книге наклеена бумажка, и на ней чернилами: «Историческая справка». Что-то насчет прошлого Нескучного сада и Первой градской больницы. Нас с Левкой это совсем не интересовало, а Агния Васильевна полагала, что занятия Станислава Семеновича есть при-

знак болезни, и потому, когда он садился за свой гроссбух, огорчалась еще сильнее, чем когда он тихо и молча лежал в потемках. «Господи, — шептала она, глядя с великим состраданием, — пошла писать губерния...»

Никто не желал вникать в его писания, считая их вздором безумца, да, может, они таковы и были, а когда он собирал свои книги в портфель и уходил куда-то с важным видом, мы с Левкой хихикали. Помню, что графа Орлова он за что-то ругал и что дом Орлова стоял на месте теперешней больницы. Еще помню: у графа была племянница, необыкновенно богатая и некрасивая, она так и не вышла замуж, потому что подозревала женихов в том, что зарятся на богатство. Это все, что застряло в памяти, обрывки случайно слышанного. Но Миньона почему-то хотела обо всем этом знать подробно, и он ей рассказывал, даже иногда читал из своих трудов, они ходили по больничному двору, гуляли в парке, в Нескучном, и он все объяснял и показывал. И потом как-то вдруг выздоровел. Это произошло в течение одного лета. В начале июня, когда я уезжал из Москвы, он был еще болен, а в сентябре, когда я вернулся, он был уже здоров и ходил на службу. В сентябре началась война. Гитлер напал на Польшу. В парке все было, как всегда — медленно вращалось колесо, шумели деревья, утиными голосами кричали речные трамвайчики, люди в белых рубашках толпились возле силомеров и, хохоча, лупили кулаками что есть мочи по черной блестящей бабке. В павильоне «Досуг» женщина с пышной рыжей прической сидела за столиком и, красиво подперев пальцами голову, читала книгу; в первую минуту я не узнал Миньону.

Не помню почему, но дружба с Левкой стала понемногу гаснуть. Кажется, нам наскучили шахматы. Я увлекся чем-то другим. Он стал дружить с Володькой Агзабаковым, здоровенным детинкой, второгодником, который ходил в парк на танцплощадку и знакомился с девчонками старше нас. Он умел танцевать. А Левка таскался за ним, как хвостик, и пытался учиться танцевать, что выглядело смехотворно, ибо он был неуклюж и робок, маленького роста, девчонки танцевать с ним не хотели. Однажды я забрел на танцплощадку и увидел отвратительное зрелище: Левка танцует! Мне хотелось от стыда провалиться сквозь землю. Но Левке был нужен тип вроде Агабабова, который мог бы его защищать. Те-

перь уж ему никто не говорил: «Эй, Гордей! Дать по мордей?» — потому что Агабабова боялись. Агабабов брился, у него был бас, как у мужчины. Он даже похвалялся тем, что после танцев водит девчонок в овраг и делает с ними то, что мужчины делают с женщинами. Но тут он, возможно, врал. Мне хотелось так думать. Была унизительна мысль, что гнусный Агабабов, который сам про себя не стеснялся говорить «Агабабов любит бабов», продвинулся так далеко. Впрочем, наглыми действиями в классе Агабабов пугал меня, подтверждая худшие опасения: он мог, например, легко и свободно протянуть руку и пощупать заплывшие жиром лопатки нашей толстухи Мыльниковой, сидевшей перед ним. И вот этот неприятный человек, перед которым Левка непристойно холуйствовал (помогал ему по математике и физике, то есть, попросту говоря, решал для него контрольные), стал завсегдатаем в Левкином флигеле, а я почти перестал там бывать. Однажды напросился поиграть в шахматы — раньше-то бывало наоборот, Левка просил, а я соглашался, и то лишь оттого, что в пустом доме была тоска, а теперь он с некоторым колебанием согласился на полчаса, не больше, потому что в пять должен прийти Агабабов и они куда-то пойдут.

Я брел знакомым путем через больничный двор с пожелтевшими деревьями, под арку, тропой, уложенной старыми камнями, между которыми темнела глина, воздух был сырой, пахнул лекарствами, и мне не хотелось идти к Левке. Я шел через силу. Ведь я его когда-то любил. Он предлагал жить у него дома. Между нами не случилось ничего плохого, и, однако, я чувствовал, все кончилось. Левка, зевая, расставлял фигуры, а Миньона сказала: «Здравствуй, Алик!», хотя меня зовут вовсе не Алик. Она забыла. А я забыл, что у нее черные ресницы, как у куклы, и яркие губы. Волосы темно-рыжие, это я помнил всегда. Она расчесывала их, сидя перед зеркалом, белым гребнем, и волосы трещали. «Ого! — сказал Левка, делая ход. — Сколько в тебе электричества». — «Да, Левик, — сказала Миньона. — Я электрическая женщина» Левка, конечно, ничего не заметил, но мне фраза Миньоны не понравилась и не понравилось, что она назвала себя женщиной. Я играл плохо, и проиграл три партии подряд. Я все время попадал в ловушки, потому что думал не о шахматах. Пришел Агабабов и тут же потребовал, чтобы Миньона

с ним танцевала. Она куда-то спешила, говорила, что ей некогда, опаздывает, в другой раз, но он приставал, хватал за руки, вел себя как хулиган, а Левка и не думал ее защищать. Впрочем, она сама могла себя защитить. Я думаю, она была не слабей Агабабова, если бы дело дошло до борьбы. Агабабову было пятнадцать, а ей девятнадцать. Но он, этакая дубина, был одного с ней роста, даже повыше. Все-таки он заставил ее танцевать, он кривлялся, орал дурным голосом какой-то мотив, а Миньона хохотала, пыталась вырваться, однако он держал ее крепко, и она волей-неволей подчинилась и делала нужные па. И так они носились по комнате, с грохотом опрокидывая стулья, роняя посуду. Агабабов дико вопил, а Миньона, смеясь, кричала: «Перестань! Дурак! Сумасшедший! Лева, уйми его!» Левка пожимал плечами и криво улыбался. В разгар этой кутерьмы вошел Станислав Семенович. Он был не так худ, как прежде, но показался мне седым и старым. У него появилась черновато-седая чахлая борода. Станислав Семенович повесил ржавый портфель на гвоздь, бегло оглядел комнату, всех нас, и что-то вроде улыбки мелькнуло. Он сел на кровать и произнес шепотом: «Продолжайте, продолжайте... Кстати, здесь, на Калужской, всегда давали балы...»

Продолжать никому не хотелось. Была тягостная минута, я не вытерпел и вышел во двор. Вскоре за мной вышли Агабабов и Левка. «Задохлик, — сказал Агабабов и сплюнул. — Да я, если захочу, буду с ней в «Шестиграннике» встречаться. Буду с ней в «Шестиграннике» танцевать». Это была неслыханная похвальба. Разумеется, я не поверил, но промолчал. «Шестигранник» — ресторан в парке, где вечерами творилось черт знает что. Потом быстрыми шагами из дома вышла Миньона, на ней было зеленое пальто, зеленый беретик, черная сумочка в руке, Миньона пробежала мимо нас, а когда Агабабов хотел было уцепить ее под руку, отдернула руку и сказала: «Отстань, мелюзга». Отворилась дверь, и Станислав Семенович слабо крикнул: «Когда ты вернешься?» Миньона не ответила. Начался дождь. Была осень. Пахло лекарствами. Все кончилось на больничном дворе, и здесь же, под дождем, начиналось что-то другое. Левкина мать в белом халате бежала вслед, был выдающий крик: «Тебя Стась спрашивает! Почему не отвечаешь, гадина?» — «Замолчи!» — крикнул Левка и дернул мать за руку с такой силой, что она упала.

И был зимний день, когда я прибежал в Левкин дом в последний раз. Лютый морозный день, очень яркий, солнечный, всю ночь шел снег, и Калужская была завалена снегом, троллейбусы еле двигались, на большой перемене мы бежали через улицу, и было похоже, будто бежим по снежному полю. Находились дураки, которые хохотали и толкали друг друга в снег. Я догадывался, отчего они радуются: можно пропустить урок химии оттого, что сейчас бегут к Левке. Утром один парень сказал — Левкина мать удавилась. Я увидел белый, сверкающий на солнце двор и черную, настежь раскрытую дверь в дом. Раскрытая дверь как будто ударила — в этом доме было не нужно тепло! На дворе стояли кружком несколько женщин, а Левка сидел за «козловым» столиком и смотрел в сторону, хотя нас сразу заметил. Мы подошли, поздоровались, он кивнул, продолжая смотреть в сторону. Я не знал, о чем с ним говорить. А Левка молчал и смотрел в сторону. Я заметил, что он дрожит. Может, он сидел тут давно и замерз. Какая-то женщина стала звать его в дом, но Левка сказал «Нет», и на его лице появилась кривоватая улыбка, какая бывала, когда он проигрывал и должен был сдаться. Ведь он так не любил проигрывать. Он сражался до последней пешки. Я почувствовал, что он мой друг, я его люблю. Я положил руку ему на плечо и сказал: «Лев, хочешь бронзовый кинжал? На всякий пожарный случай?» Он не ответил и плечом стряхнул мою руку. Уйти от него я не мог, но и стоять возле него было мучительно, а идти в дом я боялся. Ребята заходили, смотрели на Левкину мать, она лежала в гробу. Потом какой-то мужчина вышел из дома, стал всех прогонять, ругался негромко, но сердито: «Вы что тут не видели? А ну, марш отсюда, огольцы!» Стал выталкивать ребят со двора, отогнал их далеко, я тоже хотел уйти, но Левка схватил меня за руку и остановил. Я сел на скамейку. Мороз был очень сильный. Я начал дрожать. Женщина рассказывала шепотом: «Малый воротился со школы, а на чулане на двери записка: «Осторожно, я здесь вишу...» Это, значит, позаботилась, чтоб не напугать...» Лицо Левкиной матери было темного, йодистого цвета. Станислав Семенович лежал, как обычно, на кровати, накрывшись с головой одеялом и повернувшись к стене, но, как только мы вошли, он живо отогнул край одеяла и поглядел на меня. Мне кажется, он меня не узнал.

Он глядел на меня зорким и несколько удивленным взглядом, как на чужого.

Станислава Семеновича вскоре забрали в больницу, а Левка уехал к родственникам в другой город. После того зимнего дня я больше его не видел. Говорили, будто он погиб на войне. Агабабов тоже воевал, был летчиком, вернулся с наградами и работал в гражданской авиации где-то на Кавказе. А записи в конторских книгах попали ко мне случайно, через одну пожилую даму, концертмейстера областной филармонии, которая передала их мне по просьбе некоей Марины Осиповны, уехавшей за границу. Эта Марина Осиповна тоже работала в филармонии пианисткой. Я не сразу сообразил, что Марина Осиповна — та рыжая девчонка, которую звали Миньона. В записях не было ничего, кроме сбивчиво и нудно, с бесконечными повторениями рассказанной истории Нескучного сада и нынешнего Парка культуры, но долубезумный автор доказывал, что истинным владельцем всей территории и устройтеlem сада был оберпровиантмейстер Николай Максимович Походяшин, отец которого был простой извозчик, составивший себе миллионное состояние открытием медных рудников. Сей Походяшин, почивший в бозе почти двести лет назад, был понуждаем продать имение за бесценок графу Орлову, по поводу чего автор записей гневно сокрушался. Кое-где глухо намекалось на то, что автор является по материнской линии потомком оберпровиантмейстера. Однако автор не претендовал ни на что, кроме установки медной — непременно медной — доски на воротах парка с указанием заслуг семьи Походяшиных. В конце рукописи, писанной чернилами, была странная запись карандашом большими неровными буквами: «Но нет прекраснейшего, чем...» — и дальше следовали пустые страницы и полная неизвестность. Во время войны парк был пуст и тих, на набережной, где раньше бывали гулянья, колыхались громадными серебристыми облаками отдыхающие азростаты. Вечером они поднимались на невидимых паутинках в небо и ослепительно горели на солнце. Они напоминали чудовищного размера коконы, из которых должны были когда-нибудь появиться фантастические бабочки. Может быть, они и появились. Я редко бываю в парке. И не имею представления о том, что там сейчас происходит.

Дом выходит окнами на бульвар, где много снега, собак, повязанных платками бабок, стариков с мешками, милиционеров, китайцев, продающих розовые бумажные игрушки, в стороне чернеет, как башня, громадный каменный человек по имени Тимирязев, а в другой стороне, очень далеко, стоит такой же черный Пушкин, к нему можно подойти, еще лучше подъехать на санках и увидеть, что он грустный. Нянька Таня, собираясь со мной гулять, спрашивает у мамы: «Куды иттить — к энтому Пушкину или к энтому Пушкину?» Между бульваром и домом громыхает трамвай. Дребезжание трамвая — первое, что долетает до меня из сырого снежного мира. Я боюсь трамвая. Все говорят, что он страшный. Иногда меня ставят на подоконник, я смотрю вниз и вижу: трамвай несется куда-то, как сумасшедший, над его крышей сверкают ослепительные оранжевые искры. Но речь не обо мне. Речь пойдет об Антипове, который тоже жил прежде на Тверском бульваре и на свет появился поблизости, в родильном доме на Молчановке, но потом переехал в другое место. Однако его связывало с бульваром очень многое.

В начале сорок шестого года к Антипову приехала мать, которой он не видел восемь лет. Когда они расстались, ему было двенадцать, он был толстенький, кудрявый, дома ходил в бархатных коротких штанах, очков не носил, хотя был близорук, в классе сидел за первой партой, указательным пальцем часто оттягивал кожу возле угла левого глаза, отчего глаз сощуривался и видел немного лучше, а теперь Антипову было двадцать, он был студент второго курса, худой, с широкими костлявыми плечами, носил очки в некрасивой красно-коричневой оправе, про которую сестра говорила, что она «тараканьего цвета», дома ходил в чем попало, в обносках лыжного костюма из ржавой фланели, в старнковских шлепанцах, и когда в десять часов вечера мать позвонила в квартиру на шестом этаже незнакомого дома — во время ее отсутствия дети переехали из прежней квартиры сюда, на окраину, — и с колотящимся сердцем прислушивалась к шлепающим

шагам в коридоре, которые показались шагами старика, испугалась, о старике никто в письмах ничего не писал, и вдруг дверь, щелкнув замком, отворилась, она увидела в полутемном коридоре высокую очкастую фигуру мужчины, отшатнулась и ахнула: «Шурка?» — а Антипов увидел маленькую женщину в ватнике, в платке, с чемоданчиком, сиротливо обшитым холстом, возле ее ног на полу, секунду глядел на женщину молча, потом протянул руки и сказал: «Мама?» И в их слабых вскриках прозвучал вопросительный тон, но не потому, что не узнали друг друга, хотя не узнать было немудрено, а потому, что мгновенным порывом было спросить: как было то? Как это? И как все за эти восемь лет? И можно ли, боже мой, наконец, в самом-то деле, можно ли верить глазам, рукам и губам? Мать почувствовала, что от сына пахнет табаком, а сын заметил, что лицо и одежда матери пропитаны паровозной гарью.

Мать ехала до Москвы шесть суток. Вот об этом она и рассказывала, когда сели пить чай вместе с сестрой Людмилой и Фаиной, женой брата матери, который лечился в госпитале после тяжелого ранения, а Фаина с маленькой Леночкой жила с Антиповыми в одной комнате коммунальной квартиры. Конечно, было бы лучше пить чай без Фаины, потому что у Антипова и особенно у сестры отношения с Фаиной за последний год испортились, но деться было некуда, а на кухне одна из соседок, Околелова, устроила гладку и заняла стол. Фаина вела себя смиренно и выказала искреннюю радость, увидев мать Антипова, которую знала по рассказам, поцеловала ее, даже всплакнула, а Людмила глядела на мать странным, испуганно-ошеломленным взглядом и не могла говорить от волнения. Они должны были пересказать друг другу такие горы дней, такое множество встреч, испытаний, страданий, счастливых минут, что это казалось непосильным делом, не стоит и браться, и они бессознательно — так было легче — начали с самого простого, с того, что случилось вчера и позавчера. Они как бы откинули навсегда минувшее, то, что состарило мать, превратило сестру в сутулую плаксивую тетку, а Антипова сделало взрослым человеком, и, смеясь, рассказывали о вчерашних пустяках: о том, как сестра ездила в Вешняки на смежное предприятие, перепутала накладные, потому что весь день высчитывала, когда придет поезд,

выходило, что завтра утром, начальница сделала ей выговор, и о том, как Антипов убежал с лекции, чтобы посидеть над рассказом, надо его переделать и переписать, скоро он должен читать на семинаре Киянова, это очень ответственно.

А мать рассказала о том, что случилось с нею в поезде: она лежала на верхней полке, внизу двое мужчин, один, военный, как-то косо поглядывал, и матери казалось, что он догадывается, откуда она едет. Она с ним не заговаривала. Внезапным толчком среди ночи поезд остановился. Мать проснулась и вдруг поняла, что это она остановила поезд — случайно во сне сорвала ручку тормоза. Люди в вагоне просыпались, гомонили, спрашивали: в чем дело? Почему стоим? Поезд стоял в непроглядной тьме. По коридору быстрыми шагами кто-то шел, хлопали двери, резкий голос спрашивал: «В вашем купе? Здесь?» Мать в один миг со смертельной ясностью представила себе: обнаружат сорванный кран, потребуют документы, а ее главные документы хотя и в порядке, но разрешение на въезд в Москву не оформлено до конца, мать не поехала в областной город, где нужно было получить подпись начальника областного управления, без которой разрешение не вполне действительно, оно действительно при добром отношении и недействительно при казенном, при злом, а тут как раз могло проявиться злое, потому что люди озлобляются, когда непредвиденная остановка замедляет путь домой, но мать была невиновна, она не могла поехать в областной центр за подписью, потому что пропустила бы этот поезд, пришлось бы ждать еще две недели, что было свыше человеческих сил, и она рискнула, не будучи рискованым и очень храбрым человеком, просто не могла ждать, и вот теперь из-за нелепой случайности ее задержат, увидят неправильно оформленное разрешение и отдадут под суд. За самовольную остановку поездалагается от одного до пяти лет тюрьмы. Нет, подумала мать, я ничего не выдержу больше. Я умру здесь, в вагоне, у меня разорвется сердце. Открылась дверь купе, и начальство в черном картузе просунуло голову: «У вас тут что?» Военный взглянул на мать сурово, посмотрел на начальника в черном картузе и ответил: «У нас нормально. Все спали». Дверь захлопнулась. Начальник ушел. Мать лежала ни жива ни мертва. Военный погасил свет в купе, и жизнь про-

должалась. Антипов подумал: из этого можно сделать рассказ. Фаина что-то спрашивала, как обычно, глупое, насчет военного — к какому роду войск он принадлежал? — а Антипов уже размышлял, проектировал, что тут изменить, что оставить. Выходило так, что рассказ не получится. Это становилось болезнью, он жил теперь, последние года полтора, какой-то двойной жизнью: все, что случалось с ним, с его друзьями, с далекими знакомыми, о которых он узнавал понаслышке, окружал загадочный ореол возможного воплощения. Надо было этот ореол увидеть и тайный смысл разгадать. Не все годилось для воплощения, но все должно было подвергаться моментальной проверке; как феноменальный счетчик Араго, который, едва завидя цифры, тут же невольно начинал производить в уме математические действия, так и он тотчас почти бессознательно принимался отгадывать и примерять. Для того чтобы скоропалительные догадки и летучие соображения не испарялись, он завел записную книжку — Борис Георгиевич говорил о пользе записных книжек — и заносил туда мысли, словечки, сравнения, анекдоты. Кто-то поразил Антипова, заявив, что для прозы нужны анекдоты. Великий роман можно свести к анекдоту. Надо собирать все подряд, все глупости, дурацкие истории, чепуху, авось пригодится. Он не расставался с книжечкой ни днем, ни ночью, делал записи на лекциях, в метро, в троллейбусах, в пивном баре; однажды его задержали и потребовали предъявить документы, потому что он записывал в метро, а рядом сидели двое, ведшие всю дорогу какой-то неясный разговор, они-то и заподозрили Антипова.

И вот теперь, в четыре утра, когда решили наконец идти спать, Антипов, придя в комнату, где он снимал угол за сто рублей в месяц у некоего техника по наладке текстильных станков Валерия Измайловича — тот бывал здесь редко, почти все время ночевал у каких-то своих родственников или друзей и даже хотел от комнаты как-то избавиться, обменять ее на что-то, — тут же сел к столу и записал в книжечку: «От мамы пахнет паровозной гарью. Ватник несуразен, велик, с чужого плеча. Чемодан обшит мешковиной. История с тормозом и военным, который мрачно молчал». Подумавай, приписал: «Может быть, человек вернулся из немецкого плена?»

Когда он погасил настольную лампу и лег, раздал-

ся тихий стук в дверь, вошла мать. Спросила шепотом:

— Ты спишь?

— Нет, — ответил Антипов.

Мать стояла возле кровати. Он почувствовал, что она плачет беззвучно. Он привстал, положил руки на одеяло и сказал:

— Мама, садись сюда, если хочешь...

Мать продолжала стоять, неразличимая в темноте, не садилась и ничего не говорила, он догадывался, что ее душат слезы. Потом вдруг наклонилась и спросила, можно ли поцеловать его. Он сказал: «Да». Мать поцеловала Антипова, как когда-то целовала кудрявого мальчика в старой пустоватой комнате с высоким потолком на сон грядущий. От лица матери уже не пахло паровозной гарью, а пахло простым мылом и чем-то еще, от чего у Антипова сжалось сердце. Засыпая, думал: написать рассказ «Поцелуй». Но «Поцелуй» был у Чехова. Тогда, может быть, так: «На сон грядущий». Но и «На сон грядущий» было у кого-то. Кажется, у Хемингуэя. Сквозь сон томило — все уже написано.

2

Семинар отменили. Киянов заболел. Секретарь кафедры Сусанна Владимировна, женщина в возрасте, лет сорока, но живая, бойкая, кокетливая, с черным плутовским взором, отозвала Антипова в сторону и зашептала:

— Саша, вы не могли бы по просьбе кафедры... Собственно, это и моя личная просьба... Я вам дам талоны и деньги... — Быстрым движением она вынула из сумочки бумажный пакетик и сунула его в карман антиповской куртки. — Навестите Бориса Георгиевича, а? Он совершенно один, без всякой помощи, жена в больнице. Согласны? Было бы так благородно с вашей стороны!

— А для чего деньги? — краснея, спросил Антипов, которому почудилось оскорбительное.

— Купите, пожалуйста, хлеба, сахара и табаку. Если табаку нет, возьмите папирос. Он курит иногда «Казбек». Зайдите в Елисейский, потом на Бронную. Вы знаете, где Борис Георгиевич живет?

Антипов кивнул. Сусанна Владимировна, несмотря на ее возраст, немного смущала Антипова. У нее была

тонкая талия, а все, что ниже талии, поражало необыкновенной круглотой и объемом. Антипов бормотал, соглашаясь, глядя в сторону. С утра его волновало ожидание вечернего чтения — нечто подобное он испытывал в дни, когда надо было идти к зубному врачу, — и теперь, когда все отменилось, чувствовал досаду и облегчение одновременно. Поэтому внимание его было разболтано и он не заметил странности: того, что Сусанна Владимировна таинственно отвела его в угол — чего делать вовсе не нужно, коль речь идет о просьбе кафедры, — а бумажный пакетик, который сунула ему в карман, был приготовлен заранее. Все это он сообразил после. Теперь же покорно пошел в Елисейский, постоял за сахаром, потом взял хлеб и табак и двинулся назад через бульвар на Бронную. Идти к Борису Георгиевичу было боязно: вдруг тот будет недоволен? Скажет: «Зачем это вы себя утруждали? Я вас не просил». Ведь он холодноватый, язвительный, держит своих учеников на расстоянии и даже тех, к кому благоволит — Володю Гусельщикова, Элку Пугач и хитромудрого Квашина, — не приглашает в дом. Вроде бы потому, что жена больна. Не хочет, чтоб ее видели. У нее бывают приступы тяжелой депрессии. Тут Антипов догадался: все боятся к нему идти, вот и запрягли Сашку Антипова! Потому что Антипов — новенький, ни он Бориса Георгиевича, ни Борис Георгиевич его не знает по-настоящему. Три месяца назад Антипов взял на заводе расчет, перевелся с вечернего отделения на дневное и стал посещать семинар Княнова. Читал у него лишь раз, и результат был неясен. Не то чтобы ругали особенно, но и не хвалили. Нет, не хвалили вовсе. Никто не проронил слова «талант». Но, правда, никто не сказал и слова «серость», или «бездарность», или «нет никакой надежды», или «перейти в другой институт». А Борис Георгиевич молчал, пыхтел трубкой и произнес загадочно: «Что такое Антипов, мы узнаем, когда прочитаем второй рассказ. Ренар говорил, что одну гениальную страницу может написать каждый. Все дело в том, чтобы написать триста». И Антипов возликовал: эти слова можно было расценивать в том смысле, что в рукописи Антипова есть одна гениальная страница! Но антиповский друг Мирон охладил ликование: сказал, что Борис Георгиевич любит повторять эти слова Ренара. Повторял их раз восемь.

Возле высокого дома номер семнадцать, на том углу, откуда ведет ход в проходные дворы — именно в этом доме жил автор в раннем детстве и с высоты третьего этажа тупо и жадно разглядывал снежный бульвар с черными деревьями, но Антипов о том не знал, — встретился Антипову Витька Котов, он же Виктуар, он же попросту Кот, бежавший куда-то своей жидконогой подпрыгивающей побегой.

— Ты куда? — спросил Антипов.

— На Арбат. К одной даме. Она такой супчик рыбный делает, закачаешься!

Антипов взял Кота под руку и повлек за собой. По дороге уговаривал: дама не убежит, супчик можно потом разогреть, а навестить старого писателя из гуманных соображений, знаешь, как замечательно! Кот пошел не сопротивляясь. По дороге рассказывал какую-то чушь о своих успехах у женщин, успехи достигались на бегу, на ходу, на лестнице, словом, с невероятной легкостью, и вдруг спросил:

— Как считаешь, Киянов — писатель ничего?

— По-моему, ничего. Я его до войны читал.

— Ха! До войны мы всякую дребедень читали, — сказал Кот. — Что в руки попадалось, то и читали. А по-моему, средневатый. У него языка нет. Интригу вяжет, а языка нет. Вот Михаил Тетерин был — это да! Его приятель. Вот этот, говорят, был сила! Они какой-то журнал издавали в двадцатых годах. Мне один мужик рассказывал. Тетерин, говорит, был кумир молодежи, хотя выпустил всего две книги: роман «Аквариум» и сборник рассказов. А Киянов был при нем вроде бы второй номер.

— Что-то я такого не слышал, — сказал Антипов.

— Вот услышал от меня. «Спасибо» скажи. Спасибо, мол, Виктуар Евдокимыч, что просвещаете меня, горемычного.

— А я с тобой не согласен, — сказал Антипов. — Насчет Киянова. Что ж, и «Звезда-полюнь» — плохая книга?

— Ты серьезно? — Котов захохотал. — Перестань!

— По-моему, вещь недурная.

— А по-моему, плешь.

Антипов вспомнил: на одном из последних семинаров Виктуару крепко досталось. Борис Георгиевич разнес его рассказ в пух и прах, да и ребята несли. Од-

на Сусанна Владимировна лепетала что-то в защиту. И Антипов сказал:

— Сусанна, конечно, больше понимает, чем Киянов.

— Сусанна? — Котов сделал недоумевающее лицо. — Намека не понял. Не по адресу, мой милый. Это не моя весовая категория...

Остановились перед парадным старого трехэтажного дома на Большой Бронной. Кот почему-то медлил, не поднимался, а Антипов уже стоял на верхней ступеньке. Парадное было распахнуто и чернело изнутри каким-то нежильем. Антипов сюда приходил однажды с ребятами, провожали Бориса Георгиевича после семинара до парадного.

— Чего-то неохота идти... — говорит Кот в нерешительности. — Черт его знает, неохота, и все.

— Почему?

— Ну, неохота, брат. Я ему деньги должен. В прошлом году сидел без стипендии, голодный как пес, ну и попросил сдуру. Какие деньги! Сто рублей. А у кого просить? Всем задолжал. Сказал: на бумагу. Роман пишу. Он спросил: «Сколько нужно?» Сотни, говорю, две или три. Ну, говорит, это не на бумагу, и дал сотню. Отдать я ему, конечно, отдам, да все не получается, сам знаешь... Опять с февраля стипендию шаркнули, немецкий не сдал.

— Ладно, пойдем, — сказал Антипов. — Потом расскажешь.

— Постой! Я ж говорю, неловко идти. Или, как думаешь, ничего? Он, конечно, без моей сотни не обедняет, но как-то все же не то. Я ему, когда вижу, всякий раз говорю: «Борис Георгиевич, я все помню, ваш должник. У меня рассказ в «Молодом колхознике» приняли, получу гонорар, отдам». Он кивает — ладно, мол, хорошо. А у самого физиономия постная. В последнее время стал как-то раздраженно отвечать и смотрит сердито. А тут недавно с такой злостью «Одно из двух, Котов, либо отдайте эти несчастные сто рублей, либо прекратите, ради Христа, постоянно про них вспоминать».

— Все! Пошли! — Антипов тянул Котова за руку. — Чего ты затеял у него под окнами?

— Нет, постой, дай досказать, — шептал Котов, упираясь. — Этот вопрос и психологически интересно разобран. Неужто он такой скупердяй? Или, может, тут нравственный принцип? А элемент зависти ты не до-

пускаешь? Для него, конечно, сто рублей — несчастные, для меня — сумма. Нет, это очень загадочная история. И она мне поперек горла. Я лучше последнюю рубашку продам, лишь бы таких разговоров не слышать. Я их вообще не терплю, разговоров подобного рода. — Вдруг он повысил голос, стал чуть ли не кричать, и Антипов подумал: нарочно, чтоб услышали. — А что же теперь делать, если взять негде? На семинар к нему не ходить? Руки на себя наложить? Да если по-честному, по гамбургскому счету, зачем ему эту сотню у бедного студента тягать? А? Как считаешь, отдавать или нет? По-моему, не обязательно вроде...

Антипов нашарил в кармане бумажку, протянул.

— Отдадим, и дело с концом! Пошли!

Котов вертел бумажку, глядя на Антипова изучающе и недобро.

— А я раньше мая не смогу соответствовать. Они мне пятый номер обещают.

— В мае отдашь.

— Ну, спасибо. В мае отдам. Пока!

— Ты куда? — удивился Антипов.

Виктуар бежал, подпрыгивая, по мгlistой улице прочь.

— Опаздываю, Сань! Спасибо тебе! Отдам!

Антипов смотрел ему вслед и думал: написать рассказ «Рыбный супчик». Все было ясно, кроме дамы, которая живет на Арбате. У Антипова не было знакомых дам. Кроме, пожалуй, двух — его собственной кузины Тамары и одной врачихи, знакомой сестры. Поднимаясь по лестнице на третий этаж, Антипов обдумывал: как соединить Кота, рыбный супчик и Тамару? Тихо насвистывая, нажал кнопку звонка. Дверь отомкнулась, обнаружила почти такую же темноту, как на лестнице, щелкнул выключатель, зажглось что-то жалкое в невероятной высоте и осветило женщину, похожую на стог, в халате с головы до пят. Женщина произнесла сурово и жестко, как слова вердикта:

— Этот звонок не трогать. Им в нижний звонить. А этот не трогать никогда.

И, шелестя и роняя сухие травинки, поплыла куда-то во тьму квартиры, а Антипов побрел в другую сторону наугад. Он шел по длинному коридору мимо закрытых дверей и возле одной из них, сам не зная почему, остановился и постучал. Седенький приземистый человек, то ли горбун, то ли просто не имеющий

шей, уставился на Антипова в тревоге, клоня голову набок, и вдруг вскричал:

— Ах, да! Будьте любезны!

Антипов пошел вслед за седеньким, который пятился и жестами звал Антипова за собой, они прошли одну комнату, другую, третью, какую-то кишку из комнат, как в старинных дворцах, и верно, мелькало нечто дворцовое: то стулья с высокими спинками, то две, три картины, блеснула бронза, но все выглядело как-то пыльно, неряшливо, вразнобой. При этом фотографии на стенах, помятые коврики, цветы в горшках. В третьей комнате на полу была расстелена газета, на которой лежало две стопки трепаных книг без обложек, каждая стопка обвязана шнурком.

— Здесь! — сказал седенький, показывая на стопки.

— Что это? — спросил Антипов.

— Ради этого мы вас вызывали. Можете посмотреть, юноша. Тут все цело до последней странички.

— Я студент из семинара Бориса Георгиевича... — начал Антипов.

— Меня это не касается! — седенький жестом пресек Антипова. — Кто вы, меня не интересует. Ведь вы Маркуша?

— Нет, не Маркуша. Я принес хлеб, сахар и табак, — сказал Антипов, на что-то сердясь и норовя вынуть из портфеля покупки.

Седенький таинственным образом исчез, затем его голос донесся из глубины четвертой, еще неведомой комнаты:

— Ваша фамилия?

Антипов назвался. После паузы, наполненной шаркающим движением за стеной, воркотней голосов, долетел знакомый хриплый и слабый бас:

— Антипов, входите, коли пришли...

Антипов вошел. Комната оказалась угловой. Именно здесь протекала жизнь — стоял письменный стол в бумажном хламе, в книгах, в пепле, к одной стене тулился узкий диванчик, к другой тонконогий изящный столик, загроможденный чашками, тарелками. Борис Георгиевич сидел на диванчике, запахнувшись во что-то байковое, из-под чего белела ночная сорочка, а внизу торчали ноги в темно-синих хороших брюках и в штиблетах. Похоже, он оделся наполовину и почему-то прекратил. Лицо у Бориса Георгиевича было и вправду больное, опухшее, с набрякшими веками, со-

щуренные глаза смотрели сквозь очки высокомерно и, как показалось Антипову, враждебно. Никогда Антипов не видел у Бориса Георгиевича таких узких недобрых глаз, да и вообще узнать его было трудно.

— Что это? Спасибо, положите. Бросьте там... — Княнов махнул рукою в неясном направлении, имея в виду тонконогий столик, а может быть, подоконник или форточку. — Напрасно вы это. Теперь Гриша тут, он все достанет, не надо беспокоиться. Впрочем, я вас благодарю. — Сидя на диванчике, он попытался церемонно поклониться.

Байковый халат, ночная сорочка и весь болезненный, затрапезный облик Бориса Георгиевича поразили Антипова — он привык видеть его элегантно, в красном клетчатом пиджаке, в рубашке с галстуком, с трубкой. Всегда Княнова сопровождал особый писательский запах благополучия: трубочного табака и одеколона. А тут в комнате воздух был затхловат. И пахло несчастьем. Все говорило о том, что следует немедленно уходить. И Борис Георгиевич подталкивал к этому решению — стал вдруг зевать и, залезши рукою под сорочку, почесывать грудь. Антипов поспешно кивнул и метнулся к двери. Когда он пробежал третью комнату, его криком позвали назад:

— Одну минуту, Антипов! Хотел вас спросить... Вы что же, собирались нынче читать?

— Да, — сказал Антипов.

— Рассказ или отрывок?

— Рассказ.

— Мгм. Так, так. Рассказ. Вы сядьте на минуту... Гриша, подай стул. — Сядьте, я вас прошу.

Борис Георгиевич запахнулся в байковый балахон, сел на диванчике удобнее, нога на ногу, уставился на Антипова хмурым и, как показалось Антипову, испытующим взором.

— О чем рассказ, если не секрет?

— Ну, как... Трудно объяснить... О молодом человеке вообще... Описывается завод.

— Какой завод?

— Ну, скажем, авиационный. Который делает радиаторы.

— Понимаю. Благодарю вас. Очень жаль, что чтение не состоялось... Извините меня... Впрочем, причины уважительные... Скажите, Антипов, а вот с этими

дарами вы сами догадались притащиться ко мне или кто-нибудь надоумил? Только честно.

— Честно, сам не догадался. Сусанна Владимировна надоумила.

— Что? — Борис Георгиевич даже привскочил на диванчике. — А что я тебе сказал, Григорий? Вот результаты твоей деятельности!

— Борис, ничего страшного...

— Да не надо было! Кто тебя за язык тянул? — Борис Георгиевич стиснул руками голову, сполз с диванчика и стал, пошатываясь, мотаться по комнате, бормоча: — Знаешь, кто ты такой? Ты мелкая провинциальная балда! Извините, Антипов... Вы ни при чем... Просто этот гражданин вместо помощи и облегчения умеет все еще больше запутать... Ах, шут с ним! Реникса, как говорил Антон Павлович.

— Я пойду, — сказал Антипов. — До свиданья, Борис Георгиевич.

— Нет! Садитесь. Сейчас он принесет лекарство, и я почувствую себя человеком... Признайтесь, Антипов, небось смотрите на меня и думаете: у старика жидкая борода, как у Ван Гога... И ногти серые, нечищенные... Да и проза у него какая-то серая. Сейчас так не пишут. Сейчас этак длинно, пышно, развесисто, под Толстого, у старика какой-то поганый телеграфный стиль. А? Угадал? Неси, что ж ты стоишь!

Горбатенький побежал, торопясь, приседая на одну ногу, в соседнюю комнату.

— Григорий Наумыч, старинный друг. Наверное, единственный, кто остался. Он бесконечно добр. Но от доброты делает глупости. Мы учились в одной гимназии в Ярославле — он, я и Миша Тетерин. Слышали такого писателя?

— Конечно, — сказал Антипов, — роман «Аквариум», рассказы...

— Верно! — Киянов посмотрел с изумлением. — Рад за вас! Миша, стало быть, существует. Это приятно... Теперь скажите следующее, Антипов! — Борис Георгиевич подобрался, выпрямился и опять стал сверлить Антипова оком. — Что было вам сказано, когда просили принести эти, эти, эти... — вытянул руку и теребил пальцами в воздухе, подыскивая нужное слово, — дары данайцев...

— Ничего, просто сказали, что было бы хорошо... Надо бы навестить...

— Да почем ей знать: надо или не надо? — закричал Борис Георгиевич. — Боже мой, какие странные люди! Видят внешние обстоятельства и пытаются решать глубинные вещи! Как будто бы надо, а на самом деле не надо, черт побери! Вот вы, Антипов, должны помнить — поступки и фразы на поверхности, а магма внутри...

— Так что не верьте крикам дорогого учителя, — сказал Григорий Наумович. — Все это кокетство. На! — Он подал Борису Георгиевичу рюмку на блюде и спросил у Антипова: — Дать?

— Зачем спрашиваешь? Неси!

— Пусть человек пойдет в столовую и возьмет рюмку. Я ему налью.

Антипов пошел в столовую, там было темновато, он шарил по столу, по крышке буфета, ища рюмку. Антипов пил водку редко и через силу. Григорий Наумович зажег свет и, открыв буфет, откуда пахнуло корицей, достал рюмку, что-то при этом невнятное бормоча. Антипов вслушался: седенький шептал о невзгодах Бориса Георгиевича. Валентину Павловну забрала в больницу, она попадает туда регулярно, эта беда вергла Бориса Георгиевича в другую беду, и, кроме того, обнаружились всякие мелкие неприятности, о которых не хочется говорить. Недаром нам присылают хлеб и сахар. Он так и сказал: «нам».

— Валентина Павловна, между нами говоря, плоха, — шептал Григорий Наумович. — Война ее разрушила... Гибель Димы, единственного сына, вот что их сломило...

— Хотите, я что-нибудь сделаю? — спросил Антипов. — Я могу быть уборщиком, могу почистить картошку...

— Нет, спасибо, не надо. И, кроме того, в этом доме могу помогать только я, старый хрен и друг...

Вернулись в угловую комнату, и Гриша налил Антипову водки. Антипов выпил. Только сейчас он заметил портрет юноши — чубатого, насмешливого, улыбающегося, с папиросой в углу рта, в белой рубашке, с галстуком, — висел над диванчиком. Наверное, это был сын. Борис Георгиевич смотрел на Антипова мрачно, в упор, но Антипов не испытывал никакого неудобства от этого. Борис Георгиевич сказал:

— Ну что ж? Читайте рассказ.

— Сейчас? — удивился Антипов.

— Конечно. Ведь он лежит, как я подозреваю, в портфеле и ждет не дождется, когда его начнут читать. Поэтому не испытывайте терпения.

— Вашего?

— Его. — Борис Георгиевич указал на портфель.

Антипов понимал, что читать не нужно, что это глупость, но так хотелось прочесть! Вынул рукопись и начал читать. Борис Георгиевич вновь водрузился на диванчик, Гриша набросил на него плед, и Борис Георгиевич, устроившись как-то плотно, мягко, удобно, закинув руку под голову, стал слушать. Антипов изредка на него поглядывал. Большое мясистое лицо Бориса Георгиевича с набрякшими мешками щек, седыми бровями, седою щеточкой усов постепенно клонилось долу и принимало ослепелое выражение, толстые губы раскрылись, глаза сощурились, и в комнате стал слышен едва уловимый свист, не оставляющий сомнения в том, что Бориса Георгиевича одолевает сон. Антипов преврал чтение, сказав:

— В другой раз, Борис Георгиевич. Вы устали, я вижу...

Борис Георгиевич кивнул. По-прежнему держа руку под головой, с полуоткрытыми глазами, он сказал неожиданно трезво и ясно:

— Пожалуй. Верно, я устал. Но дело вот в чем. Вы помните стихи Тютчева: «Не то, что мните вы, природа не слепок, не бездушный лик...» Так вот, не то, что мните вы, литература не слепок, не фраза, не окаянный труд, как вас учат. Литература — это страдание. Вам не приходилось страдать, Антипов? Нет? И слава богу. Но, значит, пока вам нечего сказать людям. А учить вас, как делать фразу, мне скучно. Извините, Антипов! Возможно, завтра я стану говорить иное, но запомните, сейчас говорю истинное.

— Мне кажется, ты не совсем прав, — сказал Григорий Наумович. — Литература не страдание, а скорее, может быть, сострадание.

— Это одно и то же. Милые, ничего, кроме мысли и страдания, нет на земле, достойного литературы. Сказано же: я жить хочу, чтоб мыслить и страдать... — Борис Георгиевич закрыл ладонью глаза. Губы его сжались пучком, приняли выражение странное, какой-то детской обиды. «Старость — это накопление обид, — подумал Антипов. — Господи, как страшно!»

Антипов попрощался. По коридору навстречу бе-

жал, толкнув в потемках, какой-то шумный, лохматый, топающий сапогами и говоривший сам с собой: «Кто ж его не знает? Его все знают... «Звезда-полюнь» и прочее...» — «Откуда?» — спрашивал за спиной голос Григория Наумовича. «От верблюда! — хохотал шумный. — Маркуша, из книжного! Вообще-то пою, занимаюсь вокалом, а книги — так, увлечение...» Хлопнула дверь. Шумный гудел за стеной. Покупающие книги веселятся, продающие страдают. Улица была пуста, как ночью. В немногих окнах горел свет. Антипов шел, подавленный тягостным размышлением. Нет, ему, к сожалению, не приходилось страдать. Правда, лет десять назад он лишился отца, потом через полгода исчезла мать, потом его и сестру выслали из Москвы, был голод, работа в цехе, злобность старика Терентьяча, придирки начальника, однажды избили ребята из литейного, однажды чуть не отдали под суд, женщины не замечают его, он некрасив, неловок, неудачлив, но все это были ненастоящие страдания. А когда будут настоящие? Неужели только с годами, со старостью? Антипов был в отчаянии. Он чувствовал, что еще долго не станет писателем. Поздней ночью Антипов пришел домой, поднялся пешком на шестой этаж, открыл дверь ключом и вошел в спящую мертвым сном квартиру. Проскользнув в комнату, взял папку рукописей и на цыпочках прошел на кухню, где можно было зажечь свет и читать. Чтобы согреть кухню, включил газ. В мусорном ведре шуршали тараканы. Антипов читал все рассказы подряд до трех часов ночи, все более огорчаясь и испытывая отвращение к написанному, где не было никаких страданий. Затем он стал сжигать рукописи в газовом пламени над плитой, один рассказ за другим, что длилось долго. Черные хлопья летали по кухне.

Вдруг прошаркала, щурясь от света, Людмила в шлепанцах, в длинной ночной рубашке и спросила:

— Откуда дым?

— Жгу свои произведения, — сказал Антипов.

— А! — сказала сестра и села к столу, положив голову на руки.

— Ты что? — спросил Антипов.

— Не могу я с ней, — сказала сестра, не поднимая головы. — Просто не в силах... Она мне как чужая... Ведь так ждала маму все годы! И вот она вернулась...

Сестра зарыдала неслышным, глухим воем, уткнувшись в руку. Антипов стоял рядом, не зная, что сказать.

ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР — II

1

Тлела вялая, сырая зима. На бульваре было темно, бесснежно, по утрам деревья серебрились от влаги, едва переходившей в изморозь, от земли шел туман, к середине дня туман и изморозь исчезали, все вновь чернело, блестело, к вечеру опять напозала мгла. Москву одолевал грипп. Говорили, много людей умерло от гриппа. В трамваях от сырых воротников шел синий запах. Все кашляло, чихало, сморкалось. Фаина уже несколько дней лежала с высокой температурой, сестра и мать за нею ухаживали, а девочку отвезли к знакомым, чтобы не заразилась. И в эту гнилую пору, в середине февраля, жизнь Антипова переломилась, чего никто не заметил. А он навсегда запомнил сырой обманчивый воздух ненастоящей весны. Запомнил очереди в аптеках. Запомнил отвар шиповника и запах чеснока, реявший в московских квартирах. Все это соединилось с тем сокровенным, что можно было бы назвать — освобождение от страха. До чего это было ничтожно, как выяснилось потом! И как это было громадно в ту сырость! Антипова одурманивал тайный и вязкий страх: страх того, что он кем-то не станет и чего-то не сможет. Все опасности мира казались менее страшными, чем это — не стать и не смочь. Тем более, что все вокруг кем-то понемногу становились и что-то уже могли.

Один там, другой здесь, третий еще в каком-нибудь жалком журнальчике, четвертый хвалился тем, что зарабатывает деньги на радио, а пятый врал, будто его повесть берет «Октябрь». Так же они ввали в женщинах. А может быть, и не ввали. Этот вопрос — врут или нет? — был для Антипова мучительным, почти столь же мучительным, как страх не стать и не смочь. И это было то, что постоянно и бессознательно занимало его ум, что было фоном всех мыслей о друзьях и приятелях, но вот только разговаривать об этом он не мог ни с кем. Потому что не желал беречь запретную боль, отталкивал и боялся ее, старался про

нее забыть. И забывал в течение дня. Впрочем, однажды в миг слабости или под влиянием жигулевского пива — сидели в баре на Пушкинской, грызли раков — сам заговорил с Мироном и признался в своей тайне, которая показалась Мирону ерундой, не стоящей внимания. Как Антипов потом раскaiвался! Мирон взял тайну на вооружение и вроде из добрых чувств, из желания помочь терзал Антипова советами и поучениями, показывая свою над ним власть. Ведь всякая тайна есть власть. А та, скрытно палящая — не тайна, а рана, — которую по слабодушию обнаружил Антипов, дала Мирону жгучую власть, и он ею пользовался, этакая скотина. На семинаре Бориса Георгиевича, когда Мирон читал рассказ, довольно слабенький, о любви советского солдата и польской девушки, ребята его долбали, и Антипов тоже долбал, сказав опрометчиво: «Так в жизни не бывает!» Мирон прервал наглым смешком: «Ты у нас знаток в любовных делах!». И сказано было с такой интонацией, что для всех, конечно, все стало ясно. Эта реплика была равносильна предательству. Антипов решил так и сказать Мирону после семинара, порвать с ним отношения, но вышло не до того, все горячились, кричали, Мирон доругивался со своими критиками, и, когда Антипов, улучив минуту, сказал ему тихо: «А ты все же трепло!» — тот ничего не понял. Поглядел с недоумением и спросил: «Почему? Считаешь, надо сокращать?» Вот так: сам, того не замечая, делает мелкие пакости и искренне изумляется, когда ему говорят: «Подлец!».

Но самое удивительное, ведь он поистине хотел Антипову помочь — как будто можно в таких делах помогать! — норовил познакомиться с кем-то, чуть ли не силой тащил в один дом, где, по его словам, жили две милые девушки, сочинявшие стихи: «Эта выгнутая мебель одинаково годна и для юношеских танцев, и для старческого сна...» Но Антипов догадывался, что все это бывает не так. Может быть, у других так, но у него должно быть не так. В глубине разумной догадки таился все тот же страх. Он отказался пойти в дом с выгнутой мебелью, но испытал к Мирону нечто вроде благодарности: тот проявлял заботу, как умел. Ни минуты не сомневался Антипов в том, что порою, когда Мирона вдруг окатывали приливы благотворения, он горячо желал Антипову удачи и готов

был оказать любую помощь, вплоть до физической. Но иногда точно бес толкал его насмешничать, язвить, показывать тайную власть, и Антипов старался быть в такие минуты от него подальше. Он мог, например, в компании спросить, подмигивая: «Отчего такой бледный, Шурик? Все амуры? Ты себя береги, брат, ты нужен отечественной словесности». Люди, конечно, принимали за шутку, пропускали мимо ушей, но Антипов ощущал всю ядовитую колкость этой болтовни и накалялся ненавистью, готов был Мирона ударить, хотя, разумеется, не показывал вида. По-настоящему ненавидеть Мирона он не умел. И отклеиться от него не мог. В Мироне было много соблазнов. И он был первый, кто привел Антипова на семинар Бориса Георгиевича, кто терпеливо выслушивал антиповское мараканье трехлетней давности — как все начинающие, Антипов страстно пытал приятелей чтением вслух! — что-то в этих вещичках находил, чем-то умилялся и говорил, хлопая Антипова по плечу: «Старик, ты можешь!» В прошлом году он защищал Антипова перед дирекцией, когда грозил перевод на заочное отделение за участие в «капустнике», который дирекцию рассердил. А однажды на бульваре вдвоем хорошо дрались с какими-то забулдыгами. Вообще в трудные поры он показывал себя товарищем. И этот же человек мог в коридоре в присутствии ребят, многозначительно глянув на Антипова, сказать: «Тот, кто не спал с женщиной, не может стать настоящим писателем!» Ребята согласно хмыкали. Все, по-видимому, уже спали с женщинами. Или только делали такой вид. Антипов тоже кивнул, соглашаясь, хотя внутренние передернуло привычной мгновенной ненавистью: «Сукин сын! Он метнул на меня взгляд!»

Антипов поссорился с Валерием Измайловичем, и тот отказался сдавать ему угол. Вот гадость: куда-то переселяться, искать крышу над головой, уезжать от матери и сестры! Но в одной комнате, где все стеснились гуртом, жить стало невозможно. В сорок четвертом приютили Фаину, совершили благое дело и роковую оплошность, теперь все кончено. Она тут прописана, а у матери и прописки нет. Все в эти февральские дни стянулось узлом: бездомность, внезапная ослепительная мечта напечататься и появление Наташи. Никто не знал, почему Валерий Измайлович отказал

Антипову. Матери Антипов сказал кратко: «Он антисанитарный тип. И больше ничего». Тогда мать попыталась втихомолку выяснить у Валерия Измайловича, в чем дело, унижалась и просила простить сына, если он в чем провинился, но Валерий Измайлович отвечал неясно: с одной стороны, Антипов храпит, а он, как контуженный в голову, храпа не выносит, с другой стороны, должен приехать племянник из Томска, а с третьей, выходило так, будто он и не совсем уж против сдавать Антипову угол, но тот сам капризничает и ведет себя грубо. Была какая-то туманная чепуха. Мать встревожилась. Ей почудилось, что сыну угрожают опасности. Когда Антипов узнал, что мать пала так низко, что втайне от него просила Валерия Измайловича смилостивиться, он сказал, что будет жить у тетки Маргариты, у Мирона, ночевать на вокзале, где угодно, но не у этого типа.

— А тебя, мама, прошу в мои дела не включаться! — сказал Антипов неожиданно резко. И сам испугался. Впервые повысил на мать голос. Она, побледнев, ушла из комнаты. Весь день Антипова был испорчен, он мучился стыдом, а мать еще добавила:

— Не поверила Валерию Измайловичу, а теперь вижу, ты действительно груб.

Он не мог ничего объяснить.

Поздним вечером отправился ночевать к Мирону. Мать собрала в чемоданчик белье, он положил книги, бритву, рукопись. Мать весь день скорбно молчала, но тут не выдержала:

— Сын, извини меня, если я ненароком... Ведь я от тебя отвыкла... Ты понимаешь, что значит: не видеть детей восемь лет...

— Ах, мама, ерунда! — Он обнял ее и прижал к себе. — Я понимаю.

— Нет, не понимаешь. Не можешь понять. И не дай бог...

— Ну ладно, не обращай внимания. Ты меня тоже прости.

— А как трудно было с Людой!

— Я знаю. Но ведь сейчас нетрудно, правда же?

— Да... Спустила год... Я столько плакала из-за нее, и она тоже... Ты не замечаешь, у тебя своя жизнь, ты занят творчеством.

— Ах, мать... — Он усмехнулся. — Не творчеством, а суетой. Ведь ни черта не выходит.

— Нет, сын, я в тебя верю, очень уважаю твою работу... Но так горько — хотела облегчить вам жизнь, а вместо этого ничего не могу, только усложняю, заняла место, и ты должен из-за меня... — мать опять была на грани слез, — уходить куда-то из дома... Может, мне уехать, хотя бы временно? Это тебе поможет?

— Нет. Это худшее, что может быть. Но с тем типом ты больше, пожалуйста, не разговаривай.

Мать кивала обещающе и сквозь слезы со страстным вниманием глядела на сына — пыталась догадаться, какие темные силы ему угрожают.

Мирон жил на Солянке, в старом доме, на втором этаже. В том доме, что стоит на взгорке, на завороте Солянки к площади Ногина. Квартира была громадная, с запутанными коридорами, с бесчисленными жильцами, в двух комнатах ютилась семья Мирона — отец с матерью и младшим братом в одной, Мирон занимал другую. Отец Мирона был адвокат, но какой-то мелкотравчатый, неуспешный, работал в области, мотался по электричкам и вид имел совсем не адвокатский — походил на заморенного жизнью провинциального счетовода, кладовщика, ветеринара, живущего на скудную копейку. И мать была вровень ему: такая же малоросленькая, согбенная, суетливая, с жилистыми руками судомойки и прачки. Они были добрые люди. И, когда Антипов приходил к ним, он ощущал эту особую доброту бедных людей, которая во сто крат слаще доброты богатых. Его усаживали за стол, покрытый клеенкой, истертой и перемытой до такой степени, что рисунок исчез, осталась лысая белизна, наливали чаю, давали хлеб, кусочек сыру, ставили на середину стола блюдо с леденцами и расспрашивали Антипова о матери, о сестре очень дотошно и дельно, давали советы, радовались хорошим новостям, огорчались из-за дурных. Ни мать, ни сестру они не знали и никогда не видели, но интересовались их жизнью, как близкие люди. Отец Мирона передавал матери Антипова всякие советы, как писать заявления, кому звонить, куда идти. Мать Мирона передавала советы хозяйственные и медицинские. Она отлично знала особенности московских рынков, почему-то предпочитала Палашовский. Все в этой семье давали советы. Мирон говорил: «Коли обнял девушку, надо держать крепко. Как можно крепче». Даже тринадцатилетний Сенька

давал советы, где покупать дешевые рассыпные папиросы.

Миرون будто стеснялся своих родителей. Всегда норовил поскорей утащить Антипова к себе. Половину его комнаты занимал обширный диван, покрытый ковром, на этом диване Мирон проводил большую часть времени: тут он валялся с книгами, тут размышлял, лежа навзничь, закинув ногу на ногу и куря трубку, тут по ночам, а то и днями происходило нечто, о чем Антипов не хотел думать. На диване впритык к стене лежало несколько подушек. Мирон говорил, что устраивает из подушек комбинации. Антипов не желал об этом знать. Здесь же на диване Мирон иногда работал — лежа на животе, писал карандашом в больших блокнотах, которые ему доставал отец. И здесь он сразу же развалился, как турецкий паша, подмял под себя подушки, запалил трубку и приготовился слушать — Антипов не утерпел и напросился прочесть десять страниц рукописи, незаконченный рассказ. Всего будет страниц двенадцать. Так, ерунда, ничего серьезного, для газетки «Молодой москвич». Сусанна Владимировна сосватала. У нее там знакомый, некий Ройтек, недурной мужик. Спрашивается: если ерунда, зачем читать в двенадцатом часу ночи? Этой странности никто не заметил: ни автор, палимый изнутри единственным желанием прочитать, ни хозяин дома, такой же воспаленный сочинитель, полагавший, что и он может вскоре, возможно, этой же ночью обрушить на гостя одну, две главы новой повести. Теперь уж он имел право на такой немилосердный поступок. Однако одно задело хозяина — почему Сусанна сосватала с Ройтеком Антипова, а не его?

И, пока Антипов читал свои десять страниц, хозяин дома предавался размышлениям, как быть с Сусанной дальше и стоит ли, собственно, быть дальше? В том, что Ройтека пронесли мимо, проявлено неудовольствие. Не приговорен же он к Сусанне, как раб к галере? Он человек вольный. Впрочем, не безгранично. От Сусанны можно освободиться, но от Сусанны Владимировны — опасно, да и нельзя.

Когда Антипов закончил чтение — Мирон почти ничего не понял, слушал вполуха, что-то о детстве, лирическое, с рекой и лодкой, — Мирон спросил:

— А что такое Ройтек?

— Ройтек? — переспросил Антипов. — Он завотде-

лом. Мужик деловой, авторитетный, мне понравился. Разговаривал вежливо. Если, говорит, принесете к середине марта, попадете в мартовскую литстраницу. Да ну, ерунда! Я не верю. И газетка чахленькая.

— Это верно, — сказал Мирон. — Газетка чахленькая. Если уж начинать, то где-то по-крупному А тут все равно что нигде.

«Завидует», — решил Антипов. И спросил:

— Ну, а как тебе рассказик показался?

— Рассказик-то? Да рассказик подходящий. В самый раз для них. Чахленький.

Антипов хмыкнул. Ему самому, когда читал, рассказ понравился очень. «Вот так и надо! Я нашел что-то важное, — думал Антипов, обрадованный. — Недаром Мироша загрузил».

Мирон опять вскипятил чайник, принес в комнату; пили, разговаривали, спать не хотелось. Мирон допытывался: отчего ссора с Валерием Измайловичем? Антипов отвечал глухо, желания рассказывать не было. Мирон приставал: как же так? Ведь он тебя любил? Приглашал в консерваторию? Давал деньги в долг? А вот так, пришлось дать по морде, оказался скотиной. Говорить о Валерии Измайловиче было несносно, зато хотелось рассказать, однако боялся, про Наташу. Ведь Мирон сердцеед, знаток, женщины к нему льнут — так он рассказывал о себе, Антипов безоговорочно верил. Мирон мог бы дать нужный совет, в чем Антипов нуждался. Ах, нет, нет! Не в совете дело, черт с ним, с советом, просто поговорить, открыться, выпустить пар... Томила охота исповедаться... Может, с этой тайной надеждой он и прибежал ночевать к Мирону, а не к тетке Маргарите... Но удерживало вот что — теперь-то Антипов знал! — Мирон человек легкомысленный, ради красного словца погубит родного отца, и тут была ловушка. Мечась между соблазном и страхом ловушки, Антипов во втором часу ночи стал все же помимо воли склоняться к соблазну. Он глухо пробормотал, что у него есть сейчас один кадр, который, вероятно, вполне может быть, хотя и не точно, но довольно реально, не так уж плох.

— Для чего? — спросил Мирон.

— Ну, для любви, разумеется.

— Для любви или для плотских наслаждений?

— Я думаю все-таки... — Антипов умолк в затруднении, морща лоб. — Для того, вероятно, но и для

другого тоже... — «Она бы услышала!» — подумал он, ужасаясь. Мирон благородно предложил: если есть желание — рассказывай, если нет — будем спать. Он зевал и понемногу разоблачался, остался в трусах и в майке. По совести говоря, надо бы спать, но Антипова уже потащило — две недели назад увидел впервые в Зачатьевском переулке, в общежитии театрального института, привел Котов, у него там девчонка, Лана, а эта Лана живет в комнате с Викой, у которой подруга Наташа. Но Наташа живет не там. Она на Ленинке, возле набережной. Там у них какая-то шпана во дворе, чуть с ними не сцепился. Они бы измолотили. Наташа в черном трико, тоненькая, смуглая, изображала циркачку. Ее предки — ссыльные поляки, мать казачка. Она из Благовещенска. Очень талантливая. Играла с одним здоровенным усатым балбесом в тельняшке, он изображал силача — подымал якобы штанги и гири, надувал щеки, выпучивал глаза, потом вдруг, забыв, что держит штангу, сморкался, а она, как у Пикассо, девочка на шаре. Потом балбес вырывал свое сердце, бросал ей, она им играла, как мячиком, очень здорово, нет, верно, девчонка талантливая. Только у нее, кажется, с этим усачом амуры...

— Ты ему крепко дал? — спросил Мирон.

— Кому?

— Валерию Измайловичу.

— Да при чем тут! Я рассказываю, а ты не слушаешь. Тут каждая подробность важна.

— Я слушаю. С усачом амуры...

Антипов умолк, обиженный. Тоже разделся, лег на раскладушке возле окна. Мирон погасил свет. Антипов, помолчав, спросил:

— Рассказывать или нет?

— Давай, — сказал Мирон. — Только ответь: ты ему дал, как я тебя учил? Крюком снизу?

— Ну тебя к черту, — сказал Антипов. И продолжал рассказывать. Главное, хотелось дать понять, что Наташа — необыкновенная. Она живет тяжелой жизнью. Платит за комнату триста рублей. Но и зарабатывает сама: выступает в клубах, в домах культуры с этим усатым. Да! Вышла комедия с Виктуаром! Все пришли к Лане и Вике, набилось человек десять, вдруг Кот изъясляет желание читать главу из романа. Нахально вынул рукопись, садится посреди комнаты и начинает: бу-бу-бу-бу! Что-то нудное. Все стали поти-

хоньку смываться. Антипов и Вика сидят. Он к ним: а вы чего задержались? Освободите помещение! А? Остроумный малый! Это он чтобы с Ланочкой остаться вдвоем...

— Ты с ним поосторожнее, — сказал Мирон.

Ну ладно, не в этом дело. Не о Котике речь. Вика ужасно разозлилась, а Наташа смеялась. Она что-то забыла в комнате, а назад-то пути нет — там заперлись. Сели на подоконник и стали ждать. Что-то важное, без чего Наташа не могла вернуться домой. Чуть ли не сумку с деньгами. А он просто так сидел, как товарищ Котова. Вроде бы его ждал. Разумеется, глупее глупого! Вика кипела от злости и наконец ушла. Остались вдвоем. Она спрашивает: не может ли Антипов, коли он занимается литературой, сочинить несколько реприз для эстрады? Репризы — это то же, что анекдоты, но в виде сценок. Чтобы усатый мог включить их в программу. Говорит: мой друг Боря хорошо заплатит, за одну репризу пятьдесят, за очень удачную сто. Антипову это, конечно, не понравилось, но все же стал вспоминать разные анекдоты, то английские, то про сумасшедших, она знала все наперед, и вдруг бац! Тихим голосом рассказала такой, что он ахнул. Хотя, конечно, не показал вида. Про вдову на похоронах. Медленно и печально. Да, уж это был анекдотец! Тут сразу стало ясно — не анекдот, а сигнал. Надо действовать. Вроде красной ракеты. И руку вот так на ее руку будто случайно кладет...

Послышалось легкое посвистывание. Мирон спал. Антипов повернулся на бок, лицом к окну, стал вспоминать и думать: как бы все это могло продолжаться. И скоро заснул. Ему приснилась Сусанна Владимировна, у нее были усы, липкие холодные руки, вдруг она прилепала босиком к кровати Антипова, разбудила его легким толчком в плечо и сказала: «Тепло, светло и мухи не кусают». Ему пришлось подвинуться, и она легла рядом с ним на узкую кровать, что было неудобно. Было холодно, он чувствовал, как рука Сусанны Владимировны дрожит. Душил приторный запах одеколона. Отвратительно было дышать этим запахом, он отодвигался к стене, все ближе, вплотную, Сусанна Владимировна двигалась за ним, не отпускала его, прилипла к нему, как сырая простыня, и шептала в ухо: «Тепло, светло и мухи не кусают». Он почувствовал: рука Сусанны Владимировны пробирается под

резинку трусов. С яростью ударил локтем, Сусанна Владимировна скатилась с кровати на пол, он бил ее ногами, она уползала, пряталась, хрипела из-под стола задавленным шепотом: «Человек, который не спал с женщиной...»

Мирон дал совет: пускай Борис Георгиевич напишет два слова или хотя бы позвонит Ройтеку. Рассказ был закончен, назывался «Река и лодка» и казался Антипову если не шедевром, то лучшим из того, что им создано в жизни. А иной раз мерещилось — шедевр! Нет, что верно, то верно, рассказ получился. В нем были тонкие описания, как у Паустовского, и разговоры незначительные, но со смыслом, как у Хемингуэя. Это был, в сущности, рассказ ни о чем. Не все понимали такую прозу. Мать и сестра, когда он прочел им рассказ ночью на кухне, были озадачены: мать в смущении призналась, что не все расслышала, а сестра сказала, что рассказ хороший, но скучный. Зато тетка Маргарита, которая печатала рассказ на своей машинке, пришла в восторг и изумление: «Шура, ты чудно пишешь! Как Анри де Ренье! Я так любила Анри де Ренье!» Тетка Маргарита понимала в литературе больше, чем мать и сестра. Ее покойный муж работал в издательстве. В квартире тетки Маргариты, где Антипов нашел пристанище, книг было немного, но все ценные — издательства «Академия». И, кроме того, тетка работала машинисткой, печатала рукописи писателям и драматургам. Через свою знакомую она немного знала Бориса Георгиевича. Непонимание сестры и матери совсем не огорчило Антипова, а восторг тетки Маргариты его ободрил. Мирон не говорил теперь, что рассказ чахленький, но и хвалил сквозь зубы. Однако совет дал мудрый! В делах практических он гений, это неоспоримо. А как мгновенно Мирон сообразил, что делать с Наташей! «Ты ее пригласи в субботу ко мне. Я кое-что почитаю. Скажи, мой друг будет читать репризы. Сочиняет замечательные репризы. И все будет в порядке, положишься на меня. Старики уедут в субботу в Малаховку».

Вечером на семинаре Антипов напряженно размышлял, как подкатиться к Борису Георгиевичу. Совет-то был мудрый, но выполнить нелегко. С Борисом Георгиевичем все было нелегко. То он болен, то неразговорчив, то раздражен. Как попросишь? Однажды ска-

зал: «Вы, друзья, обязаны пробиваться сами. Как мы пробивались. Ни на кого не надеясь. Литература — это не служба, куда поступают по знакомству». А сам, между прочим, помогал Квашнину. Носил его рукопись в журнал, хлопотал, дошло до верстки, да почему-то не выгорело. Главный редактор срубил. Бедного Толю называют «автор нашумевшей верстки». Толю неизвестно почему любит, к Володе Гусельщикову доброжелателен, к Эллочке тоже — что странно, она совсем уж инфузория! — а к остальным равнодушен. Правда, ребята говорят: если на него нажать, он сделает.

Антипов размышлял, томился, плохо слушал, ребята бубнили свои замечания, автор только что прочитанного рассказа, бледный, раздавленный, чиркал слабой рукой в блокноте, Сусайна Владимировна вела по обыкновению дневник в толстой тетради самодельного переплета — вести дневник было совсем необязательно, сидеть ей тут тоже было не нужно, однако она усердно записывала все речи Бориса Георгиевича, его замечания и шутки, — а Борис Георгиевич, куря трубку, смотрел в окно. Настроение у него, как видно, было плохое.

Когда все кончилось и надо было решаться — просить Бориса Георгиевича или нет? — Антипов пал духом и склонился к тому, что просить нельзя, дурная минута, а просить позже нет смысла, поэтому все отпадает, но вдруг выступил Мирон.

— Борис Георгиевич, а вот у Антипова, — начал он тоном ябедника, тыча в Антипова пальцем, — есть к вам просьба. Только он стесняется. Видите, покраснел? Достоевский написал бы: покраснел как рак...

Борис Георгиевич бегло, без особого интереса взглянул на Антипова. Тот, пораженный новым предательством Мирона, стоял, как в столбняке.

— Какая же просьба, Антипов?

— Он лишился дара речи. Я объясню: у него есть новый рассказ, очень приличный. Ему что-то обещают в одной газете, но, так как он лопух и не умеет делать дела, рассказ своим ходом не пройдет. Если бы хоть два слова или, может быть, звонок, чтоб подтолкнуть...

— Кому звонок?

Вокруг стояли члены семинара и слушали, замерев. Всем было любопытно, чем кончится разговор. Большого испытания придумать было нельзя. Антипов мертво глядел в пол.

— Есть такая газета «Молодой москвич». Ну, не бог весть что, конечно. Там выпускают литературную страницу... — разглагольствовал как ни в чем не бывало Мирон. — И есть там товарищ Ройтек, завотделом...

— Ройтек? — спросил Борис Георгиевич, и его рука, державшая шляпу, стала медленно подниматься. Он надел шляпу и сказал: — Ройтеку я звонить не стану.

Поклонился и пошел к выходу. За ним устремились, как всегда, Эллочка и Толя—проводить до Бронной. Мирон обнял Антипова за плечи, тот резко стряхнул руку. Быстрыми шагами, не оглядываясь, грохоча рабочими заводскими ботинками, побежал по коридору. Мирон что-то кричал сзади. Антипов мысленно клялся: порвать с ним раз и навсегда! Когда пробегал в ярости, в унижении и в стыде, никого не видя, мимо двери канцелярии, раздался властный крик Сусанны Владимировны:

— Антипов! Зайдите ко мне!

Он шагнул в распахнутую дверь, Сусанна Владимировна смотрела, улыбаясь, и качала укоризненно головой. Жестом показала Антипову, чтобы сел напротив. Когда Сусанна Владимировна сидела за обширным столом, она выглядела стройнее и выше, вид имела царственный, особенно царственной была высокая шея, как на почтовых марках с изображением королевских особ. Антипов тупо смотрел на прекрасную шею Сусанны Владимировны и слушал шепот:

— Вы это зря затеяли. С Ройтеком я поговорю сама. У них там сложности. Не надо было, не посоветовавшись... Но мне нужно с вами о другом. Только не здесь. Можете прийти ко мне домой?

— Могу, — сказал Антипов.

— Завтра можете? Приходите завтра. Я буду весь день дома. Сразу после занятий, хорошо? — Она протянула руку и крепко встряхнула руку Антипова. Что-то в ее повадке было такое обнадеживающее, товарищеское, отчего Антипов успокоился и пошел в раздевалку, насвистывая.

Заболела тетка Маргарита, ухаживать за нею пришла дальняя родственница, а Антипова отослали к матери. Как-нибудь переночует. Хотя бы на кухне. К Мирону не пойдет ни за какие коврижки! Дома бы-

ло уютно, мирно, славно, пекли оладьи, стоял сладкий праздничный запах, трещало масло, пахло, как до войны, когда жили без карточек, и мать с сестрой громко о чем-то судачили, смеялись, оказывается, Фанна с дочкой уехали к брату матери на неделю, а соседка Околелова в командировку. Так что квартира принадлежала Антиповым, кроме комнаты Валерия Измайловича. Этот тип был дома. Гладил на кухне брюки. Он ходил по квартире в полосатых пижамных штанах, в майке и босиком. Мать старалась на него не смотреть и с ним не сталкиваться, а сестра, наоборот, испепеляла его презирающим взглядом. Но они ничего не знали. Антипов им не рассказал.

— Шура, я уйду до завтрашнего вечера, так что берите ключ, — вдруг заговорил Валерий Измайлович совершенно спокойно, будто ничего не случилось. — Пожалуйста, можете ночевать. Только возьмите чистое белье...

Антипов смотрел на него с изумлением. Круглое печеное личико в седом бобрике еще носило след ночной схватки — тщательно запудренный под глазом сияк.

— Вы меня простили? — спросил Антипов.

— Шура, вы же знаете, я не могу сердиться на вас. — И, помолчав: — Долго...

Он протягивал ключ. Антипов качнул головой. В немигающих глазах Валерия Измайловича стыло темное собачье выражение — готовности ко всему.

— А вы меня не простили? — тихо спросил Валерий Измайлович.

— Нет... — пробормотал Антипов.

— Жаль. Я лучше вас. Ну, бог с вами! Значит, не нужно? — Он покачивал ключом на веревочке. — Знаете, что удивляет: ведь вы хотите стать писателем, а совсем неспособны проникнуть в душу другого человека...

На другой день сразу из столовки, которая находилась рядом, на бульваре, Антипов побежал к Сусанне. Она жила через два дома, ближе к Тимирязеву. Антипов бежал, охваченный тайным смятением: было ясно, что Сусанна Владимировна пригласила неспроста. Какой-то тут был умысел. Антипова преследовало воспоминание о кошмарном сне на квартире у Мирона, когда Сусанна Владимировна, превратившаяся в Валерия Измайловича, шептала: «Тепло, светло и мухи не

кусают». Воспоминание не исчезало, постепенно меняясь, превращаясь из гадости в нечто приторное, но сладкое. Среди дня вдруг всплывали подробности: голая рука Сусанны Владимировны, круглый и мощный торс, статная шея с почтовой марки. И в те мгновения дневного сна, когда в памяти возникали картины, все чудовищно перепутывалось и он сам не мог бы сказать, кого бил локтем в сырой живот, кого загонял под стол: Сусанну Владимировну или Валерия Измайловича? Надо всем реяла мысль о Наташе. Но это было другое.

Антипов бежал по обледенелой аллее бульвара и думал: если бы Сусанна отдала свою прекрасную шею, но не стала бы требовать Наташу, он бы согласился. Чем ближе был дом с граненым стеклянным подъездом, тем сильнее Антипова охватывал страх. И, когда увидел Сусанну в коротком халате, с почти голой грудью, с крепкими, как бутылки, толстыми в икрах ногами и босиком — как Валерий Измайлович! — сердце Антипова безнадежно заколотилось. В руках Сусанны была мокрая тряпка. Происходила уборка, протирка мебели, обмахивание книжных полок, Антипов сидел на краю дивана, смотрел то в окно, то на книги, то на живые, облегающие мощную выпуклость складки халата и слушал: с Ройтеком она поговорила, рассказ будет напечатан, надо только переделать и сократить.

Она села на диван, положила на колени тряпку. Вошла седая женщина с папиросой во рту, глянула черным пронзительным оком и сказала: «Саночка, не забудь, что придут гости». Сусанна Владимировна кивнула и, подождав, пока женщина выйдет, сообщила шепотом: получено неприятное письмо. На имя директора. От некоего Селиманова, соседа по квартире. Он информирует, что Антипов враждебно настроен, читает недопустимые книги, например эмигранта Бунина, что его мать живет без прописки в Москве. Верно это или оговор? Антипов сказал: верно.

— Почему не написали, Шура, про мать? — шепотом ужаснулась Сусанна Владимировна.

— Потому что меня бы... — шепотом ответил Антипов и осекся. — Сам понимаете, почему.

— А что ж теперь делать, Шура, милый? Отдавать это письмо нельзя. Хорошо, что оно попало ко мне, а не к Лене. Может, все и обойдется. Ладно. Выброшу

его к чертовой матери, порву на мелкие кусочки. Хорошо?

Она всматривалась в него с испуганным и жадным вниманием, будто от его ответа все зависело. Но Антипов не знал, как поступить. Наверное, порвать на мелкие кусочки лучше всего. Он видел, под вырезом халата клубилось белое, полное, пышное, без возраста, что Сусанна Владимировна позабыла прикрыть, но не замечал и не понимал того, что видит. Мысли гнали его домой. Тот сказал: тепло, светло и мухи не кусают, и от этого случилось непоправимое. Потому что мухи кусают, иногда смертельно. Например, мухи-цеце.

— Кто этот Селиманов?

— Никто. Где-то вкалывает. Я его недавно побил. Теперь, наверно, побью как следует.

— Нет! Вы с ума сошли! Вы и меня погубите, и себя. Ни в коем случае. Я страшно рискую...

— А для чего рассказали?

— Для того, чтоб вы знали. Надо знать. Я попробую скрыть, но человек особой злобности захочет проверить результаты и напишет еще раз. Какого рода эта сволочь, особо злобная или так себе, средне?

Антипов вспомнил тоскливое, собачье выражение глаз Валерия Измайловича и сказал:

— Средне.

Провожая до двери, Сусанна Владимировна вдруг, вскрикнув, ткнулась лбом в плечо Антипова, зашептала:

— Господи, как мне вас жаль. — И громко, обычным властным голосом, каким разговаривала в канцелярии: — А Роме Ройтеку в редакцию позвоните сейчас же! Там нужны поправки! Желаю успеха!

Антипов вышел на улицу, пересек бульвар, сел в трамвай, который шел в сторону Чистых прудов, при этом толком не соображал и даже забыл, куда едет. Он сел в трамвай для того, чтобы куда-то поехать. И так наугад он поднялся на третий этаж шумного грязноватого старого здания, которое недавно вызывало трепет, а теперь он двигался по его коридорам машинально, не глядя по сторонам, и ткнулся в беленую, как в больнице, хлипкую дверь в полустеклянной перегородке в конце коридора. Ройтек был кудлат, седовато-рыж, но молод, краснощек, вострый нос вскидывал высоко, смотрел через очки цепко, разгова-

ривал быстро, трубку держал криво в углу рта, что придавало лицу лихое, несколько ковбойское выражение. Ничуть не удивившись появлению Антипова и не сказав ни слова приветствия, даже не предложив сесть — что не было, разумеется, проявлением грубости или неуважения, а означало лишь крайнюю, обыкновенную в газете степень занятости, к чему молодой литератор должен безропотно привыкать, — Ройтек тут же протараторил категорические требования: сократить вдвое, убрать описание реки, убрать смерть родителей, ввести отъезд на стройку. И, наконец, плавание должно стать прощанием. Если будет готово за два дня, пойдет в мартовскую «странницу». Почему-то Антипов понял, что возражать бесполезно, следует сказать «слушаюсь!» и бежать опрометью делать исправления. Но как можно сокращать и переделывать рассказ ни о чем? Кроме того, Антипов никогда не уезжал на стройку и не знал, как это происходит.

— Какое прощание вы имеете в виду? — спросил Антипов. — Героя с девушкой?

— Пожалуй, нет. Пусть уезжают оба. Сделайте так: они уезжают на стройку оба. Прощание с родными местами.

Антипов в ошеломлении смотрел на рукопись, сворачивал ее, разворачивал, не находя сил ни уйти, ни сказать что-либо решительное. Наконец пробормотал:

— По-моему, это значит уничтожить рассказ..

— Почему же? — спросил Ройтек и, вынув трубку из угла рта, но держа рот по-прежнему криво, выпустил дым в лицо Антипова.

— Роман Викторович, есть вещи, которые не поддаются...—Антипов продолжал стоять, хотя надо было бы уйти. Ройтек вновь окатил его струей дыма. Антипов подумал: он меня выкуривает. Бальзак говорил: в искусстве главное выдержка. Выдержка, о которой чернь не подозревает. Глухо, но с неожиданным упрямством Антипов проговорил:

— Понимаете, Роман Викторович, этот рассказ ни о чем. Его надо принимать или не принимать. Не все поддается переделке.

— Вздор! Поддается все. Запомните, молодой человек, все настоящее переделке поддается, а то, что не поддается, чепуха и гниль. Только гниль не выдер-

живает и расползается. Добротный материал всегда можно перелицевать.

Антипов задумался, потом сказал:

— Нет. Я не согласен.

— Вы, кажется, занимаетесь в семинаре Бори Княнова? Вот пусть он вам расскажет, сколько раз он переделывал «Звезду-полынь». В первом варианте это было нечто совершенно иное. Кстати, передайте ему сердечный привет!

— Передам. До свидания.

— Постойте! А нет ли у вас чего другого?

Антипов ответил язвительно:

— Боюсь, для вашей газеты ничего подходящего нет. Впрочем, есть какие-то юмористические рассказы. На первом курсе писал.

— Юмор? Тащите! Юмор нужен всегда!

Ройтек ободряюще потряс Антипова за плечи, одновременно легонько направляя его к дверям.

Придя домой, Антипов перерыл все ящики стола — в общей комнате в углу стоял его маленький письменный стол, редко теперь служивший делу отечественной словесности, потому что в комнате всегда кто-нибудь торчал, серьезно работать было, разумеется, нельзя, — но ничего из тех рассказиков не нашел. По-видимому, сжег их со всем мусором год назад. Однако у сестры сохранился случайно экземпляр рассказа «Колышкин — счастливый неудачник», на студенческую тему, и Антипов отвез пять пожелтевших, из папиросной бумаги страниц на Чистые пруды. Он надеялся, что Ройтек пробежит глазами тут же: подумаешь, пять страниц! Но у того не было лишней минуты. Он кивнул и сунул папиросные листочки в стол.

Антипов притащился домой через силу. От мглы и влаги нечем было дышать. Почерневшие сугробы дымилась, воздух был сыр и душил испариной. Померили температуру — тридцать восемь и пять.

Он болел неделю. Первые три дня трепало люто, до отшиба памяти, потом стало полегче, но тяжелей оттого, что одолевали мысли. В них ничего хорошего не было. Как только яснил ум и крепла память, возвращалось то, что отлетало в часы дурноты: безнадежные встречи с Наташей, их было три, не сулившие ничего, сообщение Сусанны, страх за мать, неудача с рассказом. Пыточность мыслей состояла в том, что он не

мог — не было сил — размышлять подробно и в отдельности, а все купно, сплавом, давило монолитной плитой, из-под которой спастись не помогали ни порошки, ни отвар шиповника, ни драгоценный новейший пенициллин, добытый с громадным трудом через знакомых теткой Маргаритой. Тяжким комом катилось все вместе — он неудачник, женщины таких не любят, мать должна уехать куда-то, поэтому усатый Боря в тельняшке так же отвратителен, как Ройтек, как Валерий Измайлович, который совершил гнусное предательство, за что Мирона били ногой, он молчал, потому что знал, за что бьют, это плохо, бить ногой человека нельзя, непоправимая глупость. Мирон мог дать хороший совет, и он любил Антипова, так мало людей любят Антипова, а теперь исчез навсегда, если бы не держать силою ее руки и не прижимать к себе, она бы поцеловала сама, как тогда, в первый раз, на Ленивке, но он испортил, все уничтожил, она боится Боря, теперь все пропало, он замучился ждать на улице полтора часа, и потом еще она говорит: «Я не люблю Чехова, мне его скучно читать...»

Выплыл однажды из дремы, Антипов увидел сгорбленного человека на коленях возле кровати, трясущего желтой плоской головой. Человек оказался Валерием Измайловичем. Бормотал что-то совсем непонятное, а Антипов, привстав, слабо махал на него рукой, отгоняя. Валерий Измайлович все пытался антиповскую руку поймать, но ртом, губами, отчего рот его был открыт и он головою вздергивал наподобие собаки. «Бейте меня, Шура, колотите меня... Я последний негодяй перед вами... Бейте! Бейте!» — дергал головою Валерий Измайлович. Антипов хотел спросить: для чего он возник тут, в темной пустой комнате? Когда вечер? Когда все куда-то ушли? Валерий Измайлович сам пытался объяснить, губы прыгали, зубами щелкал, городил чушь. «И я вас не лучше... Такой же... Отец был коннозаводчик... Все я знаю... Зачем же я негодяй? — Вдруг захрипел, заплакал, еще сильнее согнулся, почти головою в пол. Было его жаль. Но как во сне: ни сказать, ни сделать ничего нельзя. А может, то и был сон. — Все оттого, Шура... Сами знаете... Прости меня, Шура! Бей! Прости!» — и опять антиповскую руку ртом ловил. Исчез куда-то.

Когда снова вытряхнулся Антипов из забытья, никого нет, одна мать за столом, по клеенке пальцем во-

лит, крупу перебирает. Так и не понять, был он тут или померещилось? Другой раз проснулся и увидел Мирона — сидит на кровати.

— Ну, как дела, обормот? — хлопал с дурацкой силой Антипова по плечу. — Оклемался?

— Ты откуда? — испугавшись, спросил Антипов.

— Пришел на вас посмотреть. Мордочка похудела, но ничего. Жить будете. А между прочим, — понизив голос, — о вас наводят справки.

— Кто?

— Одна особа. Из одного заведения. Учебного, я имею в виду. Виктуар допытывался: где ты и что с тобой? Я кратко объяснил.

— Ну?

— Все. Его просили узнать, удивлялись, что вы пропали.

— А... — Антипов закрыл глаза. Накатил легкий жар. Помолчав, сказал: — Она сказала, что не любит Чехова.

— Это худо. Это не годится.

— Да. Я огорчен. Мне это очень не понравилось. — Антипов лежал с закрытыми глазами. Он был рад тому, что Мирон пришел.

Клуб находился на окраине, за Краснопресненскими прудами, надо ехать трамваем, потом плутать черными ночными переулками, мимо заборов, складов, в приречной котловине. Вся вода Москвы, все выжатые сугробы, мокрые снега стекались сюда. Антипов прыгал по лужам, попадал в воду по щиколотку, чертыхался, радовался, ничего не замечал и думал о том, как он Наташу изумит. Она сказала: найти клуб невозможно, надо быть следопытом, к тому же родившимся на Красной Пресне. Но он выманил адрес. Зал был большой, пустоватый, люди сидели не в первых, а в задних рядах, переговаривались, перекрикивались, скрипели креслами, то и дело хлопали двери, в зале шло какое-то свое действие, на сцене свое: опять усатый богатырь в тельняшке подымал штангу, опять сморкался, вырывал сердце, перебрасывал из ладони в ладонь, как пылающий уголь, опять тоненькая, в черном трико, с черными глазами на шафрановом яблочном личике танцевала, играя с невидимым сердцем...

— Ты пришел? — Улыбалась, глядя на него обве-

денными тушью громадными красивыми глазами. — Молодец! Я рада.

— Вы Наталью проводите? — спросил Боря. Антипов закивал поспешно.

— Разумеется, провожу!

— Тогда я исчез.

И правда, он исчез колдовским образом, мгновенно, посреди улицы. Правда, на улице не было ни одного фонаря. Дома с погашенными окнами тоже исчезли. Из дождевого мрака выползал вяло громыхающий трамвай. Наташа сидела напротив, не улыбаясь. Она перестала улыбаться, как только Боря исчез. В трамвае ехали долго, Наташа рассказывала об училище, о подруге, которая снималась в кино, теперь ее приглашают в театр, о том, какой талантливый Боря, и о том, что она сама ни о чем не мечтает, кроме того, чтобы просто жить в Москве. Все равно как. Пускай даже не артисткой. Незаметно доехали до центра, народ прибывал, тетка вдвинулась между Антиповым и Наташей, разговаривать стало нельзя, Антипов уступил тетке место и встал над Наташей, загораживая ее от напора людей. Было приятно загораживать ее от напора людей. Он смотрел на темно-зеленую, с поднятыми вверх полями и ямкой посередине шляпку Наташи, узкий из черного меха воротничок, на тонкие руки, совсем детские, устало лежавшие на коленях, без перчаток, и незнакомое чувство обнимало его, как первый в жизни хмель...

Во дворе дома на Ленивке захотел ее обнять, как тогда, она уклонилась, ушла в подъезд, он смело пошел за ней и там, в темноте под лестницей, крепко взял за плечи и, ни слова не говоря, стал целовать. Она стояла как неживая. Но и не делала попыток вырваться. Потом он понял, что ей это нравится, она осторожно положила руку на его плечи, обняла за шею, стала сама целовать робко, потом горячее, искусней, ошеломительней, потом с такой страстью, что его это поразило, хотя он не показал вида. Он не предполагал, что поцелуи могут быть такими. Казалось, что все целуются одинаково, ничего нового тут придумать нельзя. Но то, что она делала губами и языком, было необыкновенно. Ничего похожего в жизни Антипова не случилось. Они стояли под лестницей, может быть, полчаса, не разговаривали, только целовались. Антипов чувствовал, как у него распухли губы. Наконец она шепнула:

— Прощай... — И побежала по лестнице. Остановившись наверху, спросила: — Ты завтра не придешь? После занятий?

— Приду

— Можешь немного помочь?

— Могу. — Он мог все.

Надо было перевезти пианино. Из квартиры, где жила родственница Бори, недавно умершая, в дом на Ленивке. Антипов позвал Мирона, а Боря был с долговязым приятелем по имени Левочка. Антипов хотел, чтоб Мирон взглянул опытным глазом на Наташу и на усатого Борю и сказал бы, что все это значит. Можно ли страстно целоваться и одновременно любить другого? Необыкновенные поцелуи под лестницей не давали Антипову ночью спать. Мирон осведомлялся деловито, как осведомляется доктор о симптомах болезни: Антипова приглашали в дом? Сам он делал попытки? Хотел ли как-то развить то, что было достигнуто под лестницей? Что именно сказал Боря, когда прощались? Антипов добросовестно отвечал. Понимал, что, чем точнее ответы, тем правильнее будет диагноз. «Сами по себе поцелуи любого качества не означают ровно ничего», — заявил Мирон. Антипов огорчился. Ему казалось, что такие поцелуи должны все же кое-что означать. «Очень минимально. Почти ничего. Для нее это рутинное дело». Как ни был Антипов подозрителен, как ни помнил про склонность Мирона к мелким козням, он, омрачившись, почуял: проклятый сердцеед прав. Никуда эта волна не вынесет. Вчерашние страсти умрут под лестницей. Гибельным роком прозвучало: «Вы Наталью проводите?» И затем исчез с несокрушимым спокойствием.

Нет и в помине прежнего, ни в голосе, ни во взглядах, ни в бледном, желтоватом, нежном, замороженном, чуть раскосом лице с бесцветными лепестками губ — да было ли, боже мой? Стоя на площадке в халатике, дрожа от холода, шепчет в волнении:

— Мальчики, хочу вас предупредить... Только чтоб Боря не знал... Не давайте ему ввязываться, он ужасно горячий, начнет их кидать, а они его... Кулаками не смогут, ножами убьют...

Боря приехал с грузовиком. Был мрачен, оделся, как работяга, — в грязный ватник, в сапоги. Прыгнул в кабину, трое перелезли через борт в кузов. Антипов пока еще ничего не понимал. В кузове долговязый

Левочка объяснил у Борискиной жены померла бабка, совсем чахлая, обнищала, а когда-то жила хорошо, в богатстве, муж был в промкооперации. А разве у Бориса жена? Как же, есть, зараза, Матильдой зовут. Она свою бабку знать не хотела, никогда ни яблочка, ни рубля, а у бабки другой родни нету, ну и доходила по-тихому. А тут Наташка явилась, душа-человек, стала ее жалеть, приезжала к ней, то да се, и безо всяких расчетов, просто от жалости. Она ведь девчонка жалостливая. Ничего ей не нужно, только дай пожалеть. Уж он-то знает. Он ее и с Бориской свел. Сделал очередную глупость. (Левочка махнул рукой в досаде и замолк переживая. Его серое продолговатое лицо уличного дебила с непомерно тяжелым подбородком и черными глазками в глубоких глазницах уныло качалось от тряски грузовика и от переживаний.) Бабка ее, конечно, полюбила и, помирая, оставила бумагу: всякую мелкую дребедень Матильде, заразе, а пианино Наташке. Потому что Наташка на ней играть умеет. Я, говорит, на ней играю, а бабка плачет. Ну, еще книжку нашли, сорок три рубля, неизвестно кому, это Матильде пойдет, как ближайшей наследнице, а тут еще дальние налетели, про них слуху не было. Как старуху переворачивать, простыни менять, да щи варить, да на бандуре играть, никого нет, а тут как псы сбежались, всю комнату перерыли, деньги искали. Матрацы пороли, паркет поднимали, во дураки. Кто-то болтнул, будто бабка богатая. Не может, говорят, быть, чтоб не наворовал. А мы не знаем, чего когда было, да только теперь пусто! Теперь требуют: бандуру продать и деньги делить. А бумага, дескать, не годится, потому что бабка на последнем году тронулась. Наташке на это дело чихать, она ее от души жалела, ничего ей не надо, а Бориска — нет! Он дарма не отдаст. Он им бандуру не уступит. Давай судиться, рядиться, а пока у Наташки постоит, как покойница желала.

— Вот и едем брать долю, — закончил Левочка и, выпятив серый тяжелый подбородок, плюнул через борт.

— Это значит — кольем запастись, кирпичами? Драка будет? — спросил Мирон.

— Да ну — сказал Левочка. — Отдадут. С ним не поспоришь.

Проехали мимо рынка, народ теснился в воротах,

мелькнули бабы с красными, зелеными искусственными цветами, улица пошла ухабистая, как в селе, по обеим сторонам деревья, на тротуаре под деревьями все стояли бабы и ребятишки с букетами, поблизости было кладбище, и вот свернули куда-то, в еще более деревенскую улочку, и медленно вкатились во двор двухэтажного дома. С лаем кинулась к машине собака. Простоволосая женщина в черном пальто внакидку, в галошах на босу ногу стояла в дверях с мусорным ведром. Поглядела на грузовик, на вылезавшего из кабины Бору и сказала неприязненно:

— А их нету.

— У меня ключ, — сказал Боря жестким голосом.

Женщина качала головой, глядя на прыгавших через борт. Пошли на второй этаж. Левочка нес лямки. Антипов видел такие лямки и сам ими пользовался на заводе, когда таскали станки. Ему хотелось взглянуть бывалым человеком и здоровяком, особенно в глазах Бори. Поэтому он рвался вперед, скорее в дело, и шел за Борей следом, а Левочка и Мирон шли сзади.

— Ну и втравил ты меня... — бурчал Мирон в спину Антипова, поднимаясь по лестнице. — И что я за обормот? Мне это нужно? А тебе нужно?

Боря возился с ключом в дверях.

— Любишь работать на дядю? — шептал Мирон.

— Почему на дядю?

— Абсолютно на дядю.

— Заткнись...

Ключ не открывал. Боря ругался шепотом.

— Суки, замок заменили... А ну! — Отойдя шага на два, кинулся мощным носорожьим корпусом в дверь, она треснула и распалась.

В угловой комнате стоял запах гнилой воды, нафталина, смерти. На полу валялось много бумаг, какие-то веревки, пуговицы, фотографии. Оторвавшийся от проволочной ветки розовый бумажный цветок. Тряпка висела на зеркале. Забыли снять. Поднятый на попа, стоял располосованный матрац с клочьями ваты. После смерти человека издыхали вещи. Пианино, за которым приехали, было отодвинуто от стены — за ним искали. Оно было убогого вида, серо-черное от пыли. Подняли, потащили. Антипов первый схватил лямки и пошел передом. Боря сзади, Левочке и Мирону делать было нечего. Они подмостились помогать на лестнице.

— Я не жлоб... За Наташку обидно... — хрипел Боря. — Сколько она из-за старухи времени отняла у себя, у меня... А у самой ни шиша нет...

— Женщину надо обеспечивать, — сказал Мирон.

— Верно, — согласился Боря. — Вот и берем законное. Чтоб не пропало.

Белесый парень в телогрейке, такой же мазутной, как у Бори, разговаривал с шофером. Рядом стоял старик с пегой кривой бородой, а поодаль кучкою жалась к стене женщины. Белесый парень оглянулся и сказал:

— Мы тебе макитру пробьем. Артист хренов.

— Иди, иди, — ответил Боря.

Старик с кривой бородой вдруг закричал визгливо:

— Самоуправничать! Не позволяю!

— Тихо! — крикнул Мирон и погрозил старику пальцем. Шофер вылез из кабины, стали впятером громоздить пианино в кузов. Толкали его по доскам. Валил сырой снег. Женщины что-то кричали. Мирон и Левочка кричали в ответ. Антипову было не совсем ясно: хорошо он делает или нет? Зачем это нужно? Одно понимал — она попросила, и он старался сделать как можно лучше. Было когда-то в лесу — ушел в чашу без дороги, все дальше, дальше, в буреломы, в густоту, и вот уже все кругом незнакомо и неизвестно зачем. В комнате на Ленивке Наташа плакала, обвиняя Борю. Антипов и Мирон напились водки. Левочка с Борей ругался, требовал, чтобы тот вернул какие-то книги, Боря говорил: «Отстань, шизофреник!» Ничего не помня, кроме того, что Наташа целовала его, прощаясь, Антипов вышел на угольный двор, сел на что-то деревянное и мокрое. Давила невыносимая усталость. Не знал, как от этой усталости спастись. Ему казалось, что усталость можно разодрать на себе и сбросить, как мокрое платье. В темном провале ворот, что вели на Ленивку, стояли кучкою люди, курили и разговаривали.

Антипов сидел, поеживаясь, норовя стряхнуть мокрое, и ждал, что в дверях подъезда появятся Мирон, Левочка и Боря, но никто не появлялся. Главное, надо было, чтоб появился Мирон. У него спросить: ну что? Какие впечатления, черт побери? И Антипов упорно и терпеливо сидел. Прождав полчаса, он побрел через ворота и оказался на улице, где ему понравилась — тут было хорошо освещено. Витрина магазина

сияла огненно. Тут можно было еще немного подождать, и Антипов пересек улицу, на другой стороне удобно сел на какое-то железо. Надо непременно дожидаться Мирона. Вода текла вниз к набережной и едва уловимо хлопотала. Антипов увидел, как из ворот выбежал человек, за ним бежали трое, остановились перед витриной магазина, стало хорошо видно. Один на голову выше троих. Некоторое время разговаривали, потом маленький вдруг присел за спиной высокого, другой толкнул высокого в грудь, тот упал навзничь. А третий, стоявший сзади, ударил с разбегу и со всей силой упавшего ногой по голове, как бьют по мячу. Трое убежали, один остался лежать. Люди, вышедшие из магазина, останавливались возле лежащего, и скоро вокруг него собралась толпа.

Почему-то он оказался в доме на Тверском, там были Мирон и Левочка, громко орали, кипятились, спорили друг с другом, звонили в больницу, ничего не могли толком узнать. Мирон ругался по телефону и кричал, что будет жаловаться. Сусанна вспомнила знакомого, который работал в больнице, нашли телефон, дозвонились. Он там уже не работал. Назвал другую фамилию: доктор Малюткин. Мирон и Левочка пропали. Мирон не успел ничего сказать, кроме загадочного «Твоя кличка — отвались!» Антипов и Сусанна вдвоем продолжали звонить, то занято, то никто не отвечал, наконец ответили: состояние крайней тяжести. Наташа была там, откуда отвечал голос, и Антипову казалось, что он слышит плач. Велели позвонить через три часа. Это значило: в два ночи. Антипов не мог развязать шнурок, дернул, разорвал. Погас свет. Кто-то стучал в дверь. Она помогала и говорила: «Дивно! Дивно!» Было не так, как он предполагал. Было стыдно своей худобы, впалого живота. Ровно в два она зажгла ночник с розовато-оранжевым колпаком, зашлепала к столу, стала звонить: без очков он туманно видел, какая она большая, розовато-оранжевая, с просторной спиной, с высокой шеей, как на почтовых марках. Она сидела вполоборота, положив одну розовато-оранжевую ногу на другую, и покачивала ею. Соединили сразу, опять состояние было крайней тяжести. Потом она вышла в коридор, там кто-то ходил, скрипнула дверь, донесся шепот: «Ты приняла лекарство?» Она скоро вернулась:

покурили, выпили холодного чаю и погасили свет.

Ранним утром он брел по ветреному сырому бульвару, вдруг будто что-то толкнуло, остановился возле газетной витрины и увидел: «Колышкин — счастливый неудачник». Фельетон Александра Антипова. Прочел весь фельетон от строчки до строчки — все было, как он написал. Он обрадовался, но ненадолго. Придя домой, лег на кровать сестры и проспал до вечера.

Борис Георгиевич сказал: это пока еще не рассказ, а оболочка рассказа. Нужно наполнить оболочку содержанием, то есть мотивировками. Тут нет главного: почему, собственно, человеку пробили макитру? Как мы дошли до жизни такой? Все имеет причины, чаще невидимые. Но вы должны видеть цепь. Антипов думал: разве кто-нибудь объяснит, почему она появилась и почему исчезла?

ЯКИМАНКА

Ночью разгружали баржус боеприпасами в речном порту, на рассвете поехали в казарму, тесно сидели на скамейках вдоль бортов в закрытом кузове, одни дымили махрой в потемках, другие дремали, все были измучены ночной работой, и на полпути, когда проезжали Большую Калужскую, я выскочил из автобуса и побежал к Плетневым. Снег нелепо белел на тротуарах, по которым в сторону центра шли люди. Несмотря на рассветный час, людей было много. Поперек улицы красноармейцы вбивали торчком рельсы. Какая-то конная часть двигалась шагом к заставе. Я остановился и смотрел; лошади были крупные, задастые, вышагивали степенно, лица всадников тоже были степенны, застылы и смугловаты от легкого морозца, и на них было выражение сумрачной, тяжелой усталости. В неторопливом цоканье, в сумрачных лицах кавалеристов, в том, как они мерно и плавно покачивались в седлах, была какая-то уверенность прежних, прекрасных времен. Я глядел на них и думал: что же сказать Оле Плетневой теперь? Когда все исчезло? Когда затуманились дни? Забылись предательства? Оля, конечно же, совершила предательство. Но это случилось в конце мая. И теперь не имело значения. Все забыто. Нет, не забыто, но не имело

значения. Олина мать звонила третьего дня и сказала бабушке, что она в отчаянии, ни на что не может решиться. Надо уезжать, но тащить Елизавету Гавриловну невозможно — совсем почти не двигается, до сих пор нет голоса, объясняются знаками. И сама ни в какую не хочет. Бабушка была на Олину мать сердита, но сказала, что Елизавета Гавриловна не несет ответственности за сомнительное поведение дочери — я смутно догадывался в чем, но уточнять не стал, было неприятно, бог с ними, я их простил, — и сказала, чтоб я сбегал к Плетневым и помог им, если нужно. Вот я и бежал к ним, выпрыгнув из автобуса. Было в запасе часа два. О том, что случилось в конце мая, я старался не думать. Собственно, я об этом забыл. Такая ничтожная чепуха и муть! Очень легко можно подобную чепуху забыть. С Елизаветой Гавриловной бабушка дружила со времен царских ссылок, называла ее Ласиком и говорила, что Ласик — замечательная женщина: в ссылке выучилась гончарному делу и неплохо подрабатывала на цветочных горшках. Ласику было восемьдесят два. Прошлой зимой Ласика разбил паралич. Бабушка первое время навещала ее часто, очень жалела, но потом энтузиазм сострадания стал стихать, и последние полтора месяца она не бывала там вовсе. Однажды обмолвилась: «Плетневы не выдержали испытания». Может быть, и так. Но я старался об этом не думать.

В одной квартире с Плетневыми жила женщина, похожая на сову. Она отворила дверь и спросила, глядя на меня еще более круглым, еще более совиным взором, чем всегда:

— Ты ничего не слышал?

— Где? — спросил я.

— По радио? Только что?

— Нет.

— Говорят, должен выступать товарищ Пронин, из Моссовета. Я уж не знаю, для чего и зачем, но говорят, будет выступать. Ты не слышал?

Женщина стояла на пороге в длинном бумазейном халате, седоватые волосы всклокочены, сплетенные руки она прижимала к груди и хрустела пальцами, а черные глазки перескакивали с одного моего глаза на другой.

— Не слышал? — повторила она.

— Нет, — сказал я.

— А не знаешь, зоомагазин на Арбате открыт?

Я пожал плечами.

— Позавчера был закрыт. Как думаешь, теперь уже не откроют?

— Мы города не видим, — сказал я. — Мы то в казарме, то где-нибудь на складах, на дежурстве.

— Что же нам делать? — воскликнула женщина. — Какое безобразие!

Я сел на сундук в коридоре, ноги мои подгибались, болела спина. Только сейчас я почувствовал боль. Ящики были очень тяжелые. Никогда прежде я не таскал таких тяжелых ящиков, каждый, наверное, пудов пять. Мы брали ящик вдвоем и карабкались по трапу на набережную, переднему было неловко, заднему тяжело. Я чаще всего шел задним, мне казалось, что я сильнее других. Там были ребята из восьмого класса, моложе меня. Почему-то я был совсем спокоен и не понимал всей этой суматохи. Я сказал женщине: не надо впадать в панику, Москву не отдадут. Ни за что не отдадут. Только не надо впадать в панику. Наш ротный Усачев, старый пожарник, сказал, что паника хуже пожара. Пожар можно погасить, а панику, говорит, нелзя.

Женщина сказала, что она в панике из-за рыб. У нее аквариум. И она не знает, что делать. Не может же она уехать, а рыб оставить на съедение кошке. Женщина куда-то метнулась со слабым возгласом: «Безобразие!» Никто из Плетневых не показывался, но я слышал голоса из дальних комнат: голос Ольги Анисимовны и тонкий, высокий Олин. Они спорили о чем-то. Я все еще сидел на сундуке, когда Оля выскочила из комнаты, помчалась к выходу и, увидев меня, без удивления, без «здравствуйте» крикнула:

— Я бегу на второй этаж! Отдавать Кузьку! — Кот был прижат к груди. Светлые пышные Олины волосы мелькнули секундно — вдруг я увидел ту нестерпимую ночь, когда я ждал ее на веранде до двух ночи. Она пришла молчаливая, продрогшая, чужая, тут же легла и заснула мертвым сном. И я всю ночь мучился: «Неужели так можно? Так делают? И все это в порядке вещей?»

— Бабушка велела мне зайти... — пробормотал я Оле в спину.

— Сейчас вернусь! — крикнула Оля с лестницы.

Я вошел в комнату, где все было сдвинуто, вещи

стояли косо, разбросанно, посуда лежала на диване, белье на столе. Ольга Анисимовна кидала на пол из шкафа платья, громоздя кучей. Я поздоровался и сказал, что бабушка прислала меня помогать: что-нибудь связать, отнести, вынуть, достать, погрузить, сломать, отнять у соседей и так далее. Наверное, тон был дурацкий, потому что Ольга Анисимовна посмотрела удивленно. И сказала: «Спасибо, спасибо! Вот и Маркуша обещал зайти, но мы сами не знаем, какая нам нужна помощь». Маркуша был двоюродный Олин брат. Мне он не очень нравился. Он был крикун, толстый, шумливый и нечист на руку по части книг. Это я знал точно. Говорила сама Оля: книгу, которая ему нужна, он мог просто стибрить и унести. Было холодно, пахло горелой бумагой. Гораздо холодней, чем в нашей квартире, где, впрочем, я не был несколько дней. На верхнем этаже бегали, стучали, слышались громкие голоса, потолок дрожал от тяжелых ударов. Ольга Анисимовна, сидя на куче платьев, вздрагивала от каждого такого удара.

— Боже мой, вчера целый день, сегодня колотят... То ли расшибают что-то, то ли сколачивают... Ящики, что ли...

Наверху грохнула дверь. Топот на лестнице. Ольга Анисимовна смотрела на мать, сидевшую в кресле возле окна, а Елизавета Гавриловна глядела на меня прозрачным выпуклым глазом. Ее лицо с желтым костяным лбом было так туго обтянуто кожей, что казалось неживым.

— Мама, вот и Андрюша пришел помогать нам, — сказала Ольга Анисимовна. — И Нюта звонила, тоже предлагает помощь. Все нам сочувствуют и уверены, что мы уезжаем. Давай собираться, мамочка. А? Давай? Уедем ненадолго, на месяц, полтора, может быть, два, вернемся к Новому году. А? Мамочка?

Костяное лицо не выражало никакого ответа.

— Все не может решиться, — объяснила Ольга Анисимовна, кивая на мать, как на неодушевленный предмет. — Утром вроде соглашалась, а сейчас опять не хочет. Но ведь силой взять нельзя, не правда ли?

— Конечно, — сказал я.

— Была б я одна, — сказала Ольга Анисимовна, — без старых и малых, я бы, не раздумывая, ушла рыть окопы или в лазарет, я не боюсь. Ни за что бы не тронулась с места. А с ними ума не приложу. Эшелон

уходит завтра в двенадцать... Мама! — Ольга Анисимовна присела перед матерью на колени и стала вглядываться ей в глаза. — Ответь глазами, мамочка, ведь надо решать: ты поедешь или нет? Если «да», моргни один раз, если «нет», два, как всегда.

Желтые веки старухи медленно опустились раз, потом еще раз. Наверху опять стали колотить в пол.

— Не хочет... — прошептала Ольга Анисимовна и закрыла ладонями лицо. Так она стояла на коленях, опустив голову, будто молясь или размышляя о чем-то в великом сокрушении, в это время зазвонил телефон. — Да! — воскликнула Ольга Анисимовна, схватив трубку так нетерпеливо и жадно, словно ждала сообщения о том, что война кончилась. — Нет, нет! Здравствуй! Да, да! Спасибо, не надо, ты управься сама, а у нас столько друзей... — Затем последовала долгая пауза, во время которой глаза Ольги Анисимовны все более округлялись и она поводила ими то на меня, то на мать. — Не говори чепухи! По-моему, кто-то злонамеренно распускает слухи. Я не верю.

Положив трубку, сказала:

— Сейчас можно придумать любой вздор, и люди будут повторять. Это моя знакомая. Тоже хочет приехать помогать. А у нее двое маленьких.

Я спросил, о каком вздоре идет речь.

— А! — Ольга Анисимовна махнула рукой. — Глупости! Будто сегодня отключат водопровод по всему городу. И надо запастись водой...

В коридоре раздались голоса, вошла Оля, за нею, неловко кланяясь, вошел бородатый мужчина, держа за руку девочку лет семи. Девочка махала ручкой, повторяя: «До свидания! До свидания!» Мужчина что-то бубнил, а Оля быстро, волнуясь, рассказывала, что Кузьку отдала, ключи от стола на кухне тоже отдала, и еще что-то про шкаф, про ключи. Сказала, что Волковы уезжают, наняли огромный грузовик, загородили весь двор. Мужчина продолжал гудеть, мотать бородой и стал целовать руки Ольге Анисимовне и Елизавете Гавриловне. Девочка заплакала. В комнату заглянула женщина, похожая на сову, и спросила: не знает ли Ольга Анисимовна хороших людей, кому можно оставить аквариум с рыбками? Ольга Анисимовна ей ничего не ответила. Мужчина и девочка вытолкались в коридор. Закрыв за ними дверь, Ольга Анисимовна сказала

— Мама ехать не хочет.

— Опять? — удивилась Оля.

— Вот только что спрашивала.

— Может, ты не поняла? Ведь утром она ясно ответила...

— Спроси сама. Не знаю, что делать. Ты видела, во что превратился этот человек? — Ольга Анисимовна кивнула вслед бородатому. — Какой кошмар! Выглядит стариком, глаза безумные. Нет, не желаю поддаваться сумасшествию!

— Надо позвонить на Воздвиженку.

— Они предлагали ее взять, но мы не согласились, а теперь поздно. Они эвакуируются. В другую больницу ее не возьмут. Будем ждать второй эшелон? Через три дня?

Оля молчала. Вдруг присела перед Елизаветой Гавриловой на корточки и взяла ее за руки.

— Ласик! Ничего не бойся. Я буду с тобой, буду за тобой ухаживать. Ты хочешь, чтоб я осталась с тобой в Москве? Нет? А поехать с нами в Камышлов? Поедем в Камышлов, Ласик, хорошо? Нет. Ничего не хочет... Погоди, хочешь тут остаться одна? Совсем одна? А кто будет тебе помогать? Думаешь, Зоя или Софья Александровна смогут приходить каждый день? Это бред, Ласик, это невозможно...

В пол наверху опять стали бухать. Похоже было, что бьют топором. Внезапно всунулась женская голова в очках, очень низко, будто женщина была карлица или ходила, согнувшись в три погибели, и прошелестела скороговоркой:

— Анисимовна, чего скажу: товарищ Сталин будет выступать нынче вечером! И даст приказ уходить с Москвы!

— Закройте двери! — не своим голосом закричала Ольга Анисимовна.

— Не терпится, чтоб мы уехали, — сказала Оля. — Будет тут шуровать. В первую очередь заберет, конечно, мясорубку. Она на нее давно зарится. Ничтожество!

— Мясорубку я возьму, — сказала Ольга Анисимовна.

— Еще чего!

— Нет, мясорубку возьму непременно. Ты не спорь, мясорубка — необходимая вещь.

— А я такую тяжесть таскать не намерена.

— Хорошо, буду таскать я.

— Мама, ты страшно наивная. Во-первых, в Камышлове не придется жарить котлеты, во-вторых, мы никуда не поедем. Я слышала сегодня, в Москву прибывают огромные войска из Сибири. К празднику немцев наверняка отгонят, это точно.

— Если бы... — Ольга Анисимовна села к столу, подперев седую старую голову рукой, и глядела в окно. Там шел снег. Он выпал невероятно рано. Это что-нибудь да значило. Я подумал: хорошо, что небо закрыто тучами, налета не будет.

— В Москве теперь морские зенитки, — сказал я. — Они бьют очень далеко, чуть ли не на десять километров.

— А знаешь, Андрюша, мама была совсем не плоха месяц назад. Она еще ходила, правда, с трудом, — сказала Ольга Анисимовна.

— Как она ходила, мамочка? Пять шагов по комнате?

— Нет, ходила все же. Могла, прости меня, сама дойти до туалета. У нее двигались руки.

— Руки и сейчас двигаются.

— Нет, сейчас мама совершенно беспомощна.

— Неправда. Смотри!

Худые, с согнутыми пальцами руки старухи стали медленно подниматься и, подержавшись немного в воздухе, упали на колени.

— Мама, если трудно, ты, пожалуйста, не демонстрируй, — сказала Ольга Анисимовна. — Обязательно надо взять сторону Оли. Без этого ты не можешь. Какая ты упрямая, мама.

— Ой, она жутко упрямая, — сказала Оля и хихикнула.

Ольга Анисимовна поднялась со скорбным, торжественным видом на лице и, пристукнув кулачком по столу, сказала:

— Что ж, дети мои, я вижу, вы настроены определенно. Я не возражаю. В таком случае принимаем решение...

Где-то рядом оглушающе, с треском разорвала воздух зенитка. Задрожали стекла. Странно — стреляют днем, небо в тучах. Спустя минуту грохнуло снова. Опять задрожали стекла. Стреляли, верю, с крыши высокого дома у Заставы или из парка. Включили радио — нет, тревоги не было, передавался рассказ, ар-

тист читал задушевым, доверительным полушепотом, будто выдавал секрет, но не свой. Я объяснил женщинам: прорвался одинокий самолет, вероятно, разведчик, вывалился из тучи, по нему и бабахнули. У новых морских зениток совсем другой звук. Они уж лупят так лупят.

Ольга Анисимовна, наклонясь к матери, сказала жалобно:

— Мамочка, без тебя нельзя! Эшелон предназначен для старых большевиков и политкаторжан. Если тебя не будет, нас никто не возьмет. Я не возражаю, но ты должна понять...

Старуха Елизавета Гавриловна думала: как они глупы! Несносно, безнадежно глупы. Две бездарные молодые женщины. Не понимают простой вещи. Как же объяснить? Еще недавно могла писать, хотя бы каракулями, разбирали с трудом, но все же было общение, была какая-то связь. Даже объясняла некоторые сложные моменты, о которых они, бедные, не имели понятия, например, причины исторической вражды Германии к России. Написала одно слово «нефть», и они поняли, закивали головами. Человек есть животное общественное. Как только уходит это свойство, как только рубятся нити связи с себе подобными — не непременно с родными, с другими людьми вообще, — человек перестает существовать. Я теперь не существую. Зачем обо мне заботиться? Глупые люди, не хотят понять. Они меня любят. Но любовь не в том, чтобы бессмысленно ломать руки и хныкать, а в том, чтобы догадаться, чего любимый человек хочет больше всего. Неужели трудно сообразить, если не хочет того, не хочет этого, не хочет пятого, десятого, тогда что же остается? То, о чем боятся спросить, то и есть. Ведь, кажется, куда проще, куда очевидней. Старшая Оля не так глупа, как робка, труслива, ею руководит не любовь, а душевная трусость, потому что надо сделать усилие и даже пойти на жертву, пожертвовать величайшей привычкой жизни — привычкой иметь мать. Ведь вот когда я узнала о смерти мамы — в Усть-Камне, на поселении, — долго мучилась, хотела умереть сама, но потом постепенно возвратилась к жизни. Вдруг такое одиночество на пустой земле, адская боль, но нельзя же, боже мой, настолько бояться боли, чтобы совсем не думать о близких! Как им объяснить, не

имея ни языка, ни рук? То, чего они боятся, не страшно. Это спасение. Николаев приехал вместе с Аней, с которой венчался в тюрьме после приговора, чтобы пойти с нею добровольно в Сибирь, и его встретили холодно, весьма холодно, никто не восторгался благородством и мужеством, доброе, глазастое, рябое лицо, хороший парень, истинный пролетарий, питерский, но нельзя простить того, что добровольно пошел в тюрьму, оставил боевой пост. Спорили неделями в избе у Южакова. Какие морозы! Белый туман. И полная тишина. Вдруг пушечный выстрел — лопаются замерзшая земля. Сильный треск поблизости, от него вздрагиваешь, это трескается от мороза бревенчатая стена дома. Николаев наконец прощен, ему разрешено пользоваться библиотекой. Но через шесть лет снова тот же вопрос: можно ли уйти от борьбы? Аня умерла, умер ребенок, ровесник Оли, Николаев от горя не может жить, вздумал покончить с собой. Время тяжелое, не ему одному невмочь — кончают с собой в Нерчинске, в Зерентуе и у нас. Инокентий утопился в Енисее. Однако вокруг Николаева почему-то бешеный спор — имеет ли право? Накалилась борьба, ждем побойща. Николаев говорит: «Никто не может лишить человека права уйти. Когда жизнь теряет смысл». Застылое, обледенелое лицо, остановившийся взгляд. Он сидит перед нами готовым мертвецом. Поняли наконец, проку от него не будет. Такой человек в бою не союзник, а обуза. Из него вытекли все соки жизни. Как из меня. Так сильно он любил Аню. Борьбы нет, ничего нет, все кончилось, нет смысла, не нужно. А как же борьба до последнего вздоха? Нет, нет, кончилось, борьба исчезла. Нет никакой борьбы. Я сама дала ему револьвер. Они должны спокойно уехать завтрашним поездом, а я останусь здесь. Через три или четыре дня и меня здесь не будет. Револьвера не прошу. Просто уйти и оставить меня одну. Это единственно умное, что можно сделать. Как же дуракам объяснить?

2

Было так: она приехала по моему приглашению, мы купались, перебрались паромом на другой берег, потом она попросила Олега покатасть ее на лодке и исчезла до двух часов ночи. Ну что это было, как не предательство? Но мне хотелось сказать, что я ее прос-

тил. Я в самом деле ее простил. Однако я никак не мог собраться с духом заговорить об этом и дотянул до того, что настала пора уходить. Усачев требовал: к двенадцати надо быть в казарме. Тут меня попросили залезть на антресоли в соседней комнате, я взял стремянку и полез. Я ворошил в потемках старые вещи, одно откладывал вглубь, другое бросал на пол, искали какой-то чемодан. Стоя на верхней перекладине и залезши с головой во мрак антресолей, я сказал Оле, которая держала стремянку:

— Между прочим, я тебя простил.

Возможно, она меня не слышала, потому что не ответила. Выбираясь с чемоданом в руке, я вновь сказал, обращаясь в глубину антресолей:

— Я тебя простил.

Она и теперь молчала. Я спрыгнул на пол, уронив чемодан, от которого шарахнулась пыль. Оля, присев, раскрыла его, он был набит истлевшей обувью. Она стала выбрасывать обувь. Когда выбросила последнее, сказала холодно:

— Не знаю, за что меня прощать.

Почему-то я обрадовался. Поспешно стал думать, как ей сказать самое главное? Ведь мы расставались, и я обязан был сказать.

— Оля, — сказал я, — мы, может, не увидимся больше никогда, я хочу, чтоб ты знала...

— Что?

Я запнулся и не нашел лучшего, как пробормотать:

— Что я тебя простил.

Оля улыбнулась, хотела сказать что-то интересное и важное для меня, но тут в комнату вошли Ольга Анисимовна и Маркуша. Маркуша был толстый, румяный, рыжий, в тесной гимнастерке, которая обтягивала его животик и круглые плечи, и в старых, разбитых сапогах. Он служил в зенитных частях в Москве, но на солдата был не похож. В руках Маркуша держал большую брезентовую сумку.

— Тетя Оля, я возьму только самое ценное, — говорил Маркуша, подойдя к шкафу и поспешно выхватывая оттуда книги и бросая их в сумку. — Потом верну, разумеется. А то пропадут. Надо же спасать...

Он бросал книги, почти их не разглядывая. Наверное, прекрасно в книгах разбирался. Вдруг, заметив меня, крикнул:

— А, здравствуйте, доктор! И вы здесь?

— Маркуша, — сказала Ольга Анисимовна, — а что у вас говорят? О положении дел?

— Положение суровое, — сказал Маркуша и запел: — Но сурово брови мы насупим, если враг захочет нас...

— Ну, а все-таки?

— Не могу знать. Я не бог, не царь и не герой. А эти книжечки подальше! — Он бросил на пол две книжки в бумажных переплетах. — Сжечь немедленно! Хотя, собственно говоря... — бормотал что-то, как бы споря сам с собой, и пожимал плечами. Ольга Анисимовна вышла в другую комнату и громко заговорила с матерью. Оля вышла за ней. Маркуша шепнул мне: — Немцы в сорока километрах. Вам это известно, доктор?

Ольга Анисимовна вернулась и сказала, что сегодня ехать все равно не удастся, поедут следующим эшелонном, через три дня. Видно было, что она успокоилась. Решение принято. Спокойным голосом обратилась к дочери:

— Пойди поставь, пожалуйста, чайник. Наконец можно выпить чайку. Только ступай тихо, мама хочет поспать. Пускай подремлет. Маркуша, в ванной стоят два чистых ведра, набери в них, пожалуйста, воду. На всякий случай.

Елизавета Гавриловна не хотела спать. Она закрыла глаза потому, что стало скучно смотреть на суету людей в комнате. Увидела: сырой, вымерзший за зиму откос, ярчайшая синева, бревна, вкопанные в землю, в глубине двора дом, собака на крыльце, злобная ездовая лайка, и захолонуло от страха сердце. Потому что пора решаться. Идти или нет? Подняться по крыльцу или плюнуть на деньги, вернуться в укромное место и ждать утра? Утром придет пароход. Завтра она и Даша, переодетые монашками, должны с двумя матросами пробраться туда и спрятаться в кочегарке. В Тобольске осмотр, матросы обещают спасти, вынимается доска, есть лаз в каморку, которая рядом с колесом. Туда никто не проникнет! И вдруг известие: вам деньги, лежат в волостном правлении, старшина просил передать. Какие деньги, откуда, совершенно непонятно, идти за ними или тут хитрая западня? Деньги нужны позарез, а уж тем более такие большие, восемьдесят рублей, и не с кем посоветоваться. Идти или нет? Даша хмурит сухонь-

кое скуластое личико. «Иди!» Старая боль. Умерла в двадцать первом году на Украине. Деньги нужны, чтобы добраться до Тюмени, оттуда в Екатеринбург, потом в Питер, волостной старшина все делает медленно, перебирает негнушными корявыми пальцами пачку переводов, читает будто по складам, смотрит бумаги, очищает перо и уставился пьяным, болотным оком. «Откуда ждете деньги?» Болотное, мутное око сощуривается испытующе. За окном ярчайшая синь, завтра придет пароход, громадная жизнь, Оля никогда не узнает этой жизни, внучка Оля тоже никогда не узнает, они глупы, родные мои, нету слез в глазах, но надо плакать, плакать перед разлукой, пароход причалил, трап переброшен, надо плакать, прощаясь. «Я жду деньги из разных мест. У меня много друзей. Все пришли меня провожать. Жду деньги из Петербурга, из Москвы, из Ростова, Вятки, может быть, они из Перми или Елизаветграда». Старшина раздумывает. Снова роется корявыми пальцами в бумагах. Сощуривает мутный глаз. Всякую секунду могут вломиться стражники, которых он вызвал, мы с Дашей скрываемся третий день, убежали из-под надзора, и эти деньги, чтобы нас заманить в волость, арестовать, но вот они, вот деньги, можно взять их в руки и бежать опрометью. «Пересчитайте». — «Да не нужно! Я верю!» — «Пересчитайте, сказано!» Ледяной ветер врывается в каморку, гудит машина, шлепает колесо, брызги влетают сквозь щель, громадная жизнь впереди, она останавливается, как колесо, просто брызги перестают лететь, машина не гудит, бедные дети пьют чай, будто ничего не случилось. Они погибают, погибают, они погибают, прикованные к постели, не могут двигаться, говорить, я должна кормить их с ложечки, убирать за ними, переодевать их, выносить судно, должна по глазам угадывать, что они хотят мне сказать, несчастные девочки, как они смогут жить без меня...

Наша казарма помещалась на Якиманке, в старом каменном здании, где была когда-то монастырская гостиница, а перед войной в этих сводчатых комнатах располагался детский сад. И вот теперь казарма пожарной роты. Меня встретили усмешками, хохотом, кто-то крикнул: «Писатель пришел!» А Лашпек подбежал и сунул мне под нос кулак: «Я те дам лягушачий рот!» Я те пасть порву за такие слова!» Меня оле-

денила ужасная догадка — они нашли мой дневник! Я хранил его под матрацем. Ничего более дорогого и сокровенного в жизни не было: я писал тайно и наспех, иногда зашифровывал, что было сладостью часов дежурства в холодной проходной, где на шкафчике, украшенном зайцами и грибочками, оставшимися от детского сада, стоял телефон и где висели две картинки: «Аленушка» Васнецова и действия противопожарного взвода. Ничего особенного я про ребят не писал. Ну, про Леню Колыванова, что он хитрец, норовит делать работу полегче, на дровяном складе выбирает небольшие чурбаки и таскает недалеко. Про Гудыма написал с сочувствием, над ним все издеваются, а он не может за себя постоять. Про Лашпека, что у него лягушачий рот и что он, видать, из блатных. Да ведь чистая правда! Лашпек известен во всех дворах между Якиманкой и Большой Полянкой. Он грабил пацанов, которые приходили в кино «Авангард» за билетами. А про остальных и про Усачева я написал и вовсе плохо. И, однако, все они теперь смотрели на меня злобно. Леня Колыванов дразнил меня зеленой тетрадкой, прыгая у дальней стены за кроватями.

— Отдай! — крикнул я, ринувшись к Колыванову.

Кто-то подставил мне ногу, и я упал.

Теперь Лашпек размахивал зеленой тетрадкой перед моим носом.

— А дневник-то останется у нас! В нашем архиве! — говорил он насмешливо. — Тут про одну Оленьку писано. Я ее знаю, она в четырнадцатой школе училась, десятый кончила. Можно ей показать, на крайний случай. Более, говорит, подлого человека, чем О., я в жизни не встречал...

— Отдай, скотина! — крикнул я, сидя там, куда грохнулся, между кроватями.

— Еще чего! А ключи от квартиры, где деньги лежат, не хочешь? А почитаем! Только почерк у тебя хреновый, как курица лапой. «Бабушка, — говорит, — против того, чтоб я ее приглашал, потому что Плетневы не выдержали испытания...» Это кто такие — Плетневы?

Тут меня будто чем-то подбросило с пола, я прыгнул к Лашпеку, схватил его за горло, повалил на кровать, он со страшной силой ударил меня в глаз, но я продолжал его душить, кто-то тянул меня сзади за ногу, он опять ударил меня в глаз, мы скатились на

пол, он хрипел, плевался, его лапа с ногтями впиалась в мое лицо, и мы услышали команду:

— Отставить!

Наш коротконогий пузанчик Усачев стоял в дверях и смотрел на нас темным печальным взглядом.

— Баловство кончай. С баловством опоздали... — Голос у него всегда глухой, плохо внятный, как будто он говорил со сна и не прокашлялся. — Собирайтесь на дровяной склад обратно. Четыре вагона наши. Второй взвод на дежурство, бери гидропульт, рукав, машина стоит. А двоих требуется... — Он обвел всех глазами, остановился на нас с Лашпеком. — Вот вы, лохматые, которые чертили... Пойдете в военкомат разносить повестки.

На улице была зима. Она пала внезапно, но казалось, она стоит давно. По снежному тротуару брел человек в шубе на меху, в меховом треухе, в валенках, волоча тележку на колесах, на ней стояли один на другом два сундука, обвязанные веревкой, на верхнем лежала боком швейная машина в футляре. Позади шла женщина, закутанная в платок, и толкала тележку палкой, упираясь в нижний сундук. Помогать этим старым людям было глупо, кругом было много старых людей, и все что-нибудь тащили. Снег никто не убирал. Но на тротуаре он был растоптан людьми. Все шли к Малому Каменному мосту, в сторону центра. Несколько человек в черных бушлатах втаскивали в полуподвальные окна мешки с песком. Мы спустились Якиманкою вниз и переулком вышли на Большую Полянку, где было многолюдней, тут толпою шли женщины с детьми, один мальчик плакал, женщина причитала, остальные шли бодро, возбужденно, то шагом, то впобежку, они куда-то опаздывали, женщины подгоняли детей, все двигались в сторону центра. А навстречу к Серпуховке ехали военные грузовики. Мы хотели разглядеть, что они везут, но кузова грузовиков плотно закрывал брезент. Когда вышли на набережную, Лашпек сказал:

— Сучонок, ты мне глотку помял.

— А ты мне в глаз засадил, — сказал я.

Я не испытывал к нему зла. Мне кажется, и он ко мне не испытывал, потому что, как вышли на улицу, так сразу забыли о ерунде. Он спросил, когда мне призываться. Я сказал: через два года. А ему было через три месяца. И он спросил, как я думаю. не

кончится ли война? Я сказал, что, думаю, еще не кончится. Думаю, кончится месяцев через шесть.

Мы разносили повестки до вечера. В одном доме плакали, в другом угощали конфетами, в третьем встретили на лестнице и просили потаскать вещи вниз, в четвертом жгли бумагу, а еще в каком-то доме нас будто ждали, шла гулянка, новобранец был пьян, требовал, чтоб мы выпили, сплясали, и Лашпек плясал. Как только вернулись в казарму, я повалился спать. В час ночи нас подняли по тревоге. Пожаров не было.

На другой день к вечеру, когда Усачев отпустил домой, я приехал в нашу холодную квартиру, бабушка угощала меня треской и чаем, и я у нее спросил: почему Плетневы не выдержали испытания? Бабушка сказала, что во время дискуссии о профсоюзах в двадцатом году Ольга и ее муж Николай проявили осторожность, что не понравилось моему отцу, но он их простил, однако потом, когда отца не стало, они вновь проявили осторожность, правда, теперь это не имело значения. Николай на фронте, Ольга мучается с Елизаветой Гавриловной, и все прежнее стоит забыть. Как всегда, я относился к словам бабушки с сомнением. И нетерпеливо спросил:

— Так что же, в конечном счете, выдержали испытание или нет?

— Откуда я знаю, что будет в конечном счете? — сказала бабушка раздраженно. — Все это неинтересно. Помоги мне разбирать стол...

Синий зимний сумрак стоял на улице. Я прибежал на Большую Калужскую. Мне отворила карлица в очках, та, что вчера заглядывала в комнату.

— А они нынче утром сбегли.

Как так? Ведь собирались через три дня? Я шагнул вперед, желая войти в квартиру, навестить Елизавету Гавриловну, но карлица положила лапку на косяк двери.

— А тебе чего тут не хватает?

— Хочу старушку проведать, Елизавету Гавриловну.

— Дак они и бабку забрали. Нету бабки. И никого тут проведывать нету.

— Как же Елизавету Гавриловну-то? — изумился я. — Она не хотела.

— А пришли два мужика, взяли на носилки и понесли рабу божию, не спросясь. Хочу, не хочу. Ей,

сказали, отдельная купе будет. Ой, бабка у них хорошая! Я ее любила. — Карлица всхлинула и приложила платок к глазам. Но ее правая лапка по-прежнему упиралась в косяк. Она еще раз два всхлинула, то ли икнула, а затем сказала спокойно: — Так что проводить тут вовсе никого нету.

И я ушел. Улица была мрачна, ни одной щелки не светило в домах. Не улица, а подвал. Но зато в небе было светло—гуляли прожектора. Проехал троллейбус, тоже без света, окна замаскированы бумагой, он ехал медленно, я догнал его и прыгнул сзади на бампер, ухватившись за поручни, к которым привязывают веревки от штанг. Теперь я часто ездил на бампере. Милиционеры не останавливали меня. Я простоял на бампере всю Большую Калужскую, а посреди площади троллейбус остановился — пропускал пешую колонну, шедшую снизу, от парка. Впереди колонны шагал человек с фонарем. В потемках было трудно разглядеть людей в колонне, но по тому, как вразной они шли, по сплошному топоту, по нестройному пению можно было догадаться, что идут ополченцы. Они пели:

Не выйдет фашистским бандитам
В московских дворцах пировать!
Придется фашистским бандитам
В московских снегах помирать!

Я спрыгнул на землю и подошел к колонне ближе. Некоторые из троллейбуса тоже вышли и смотрели на ополченцев. Колонна была бесконечная. Прошла одна часть, за нею поднималась от Крымского моста другая, опять впереди шел человек с фонарем, опять донеслось: «Не выйдет фашистским бандитам...» Тут пели лучше, стройнее. В темноте мелькали то очки, то борода. Иные не пели, а разговаривали вполголоса, спорили, смеялись. Вдруг грянуло мощным хором: «В московских снегах помирать!» От этой черной, беспорядочно топающей толпы невоенных людей шла какая-то ветровая, надземная сила, которой я тогда не почувствовал. Она долетела до меня теперь, спустя почти сорок лет. И в этом ветре унеслись многие, среди них три женщины, кого я не успел проводить.

ПЕРЕУЛОК ЗА БЕЛОРУССКИМ ВОКЗАЛОМ

Мы делали радиаторы для самолетов.

Москва была еще глухой, безглазой, в потемках бродили троллейбусы и трамваи, аэростаты лежали на площадях, только метро осталось таким, как прежде, в вагонах люди дремали или читали книги, магазины были тихи, рынки бессмысленно оживленны, но громадная тяжесть отпустила, люди вздохнули, стали понемногу мечтать — война перемогалась и прожигаящим землю ледником отползала на запад. Год назад, когда я работал подсобником в заготовительном цехе, было все другое. По-другому грохотал пневматический молот, и другой запах был у машинного масла, у мазутных концов, у хлеба, у махорки. И, когда я выходил после смены и плелся переулком к метро, запах снега и дыма был другой, чем теперь. Ледник отполз далеко. Год назад Терентьичу не пришла бы в голову эта дурь насчет меня и Надежды. Насчет абразивной кладовки, где стояла железная кровать, на которой Терентьич спал, когда оставался ночевать на заводе. Он считал, что у меня с Надеждой роман. Старик был туповат и подозрителен, а подозрительность туповатых людей несносна. Всех вокруг он в чем-нибудь подозревал. Про Сашку Антипова у него сложилась легенда, будто Сашка подослан начальством следить за ним, Терентьичем, хорошо ли он содержит инструмент и правильно ли распределяет. Поэтому Терентьич то робел перед Сашкой, вел с ним патриотические беседы, объяснял, какой у него идеальный порядок на стеллажах и каким способом он этих достижений добился, а то взрывался вдруг раздражением, злобно ворчал: «Присылают тут всяких... Руки пообломать...» Про нас с Надеждой он тоже временами, когда бывал не в духе, мучился болями в животе, говорил язвительно туманные мерзости, отчего я ненатурально и вызывающе хохотал, а Надя расстраивалась до слез. Другую раздатчицу, пожилую желтолицую Людмилу-горбунью, старик подозревал в том, что она роману потворствует и, когда мы уединяемся в абразивной кладовке, стоит на страже нашего покоя и даже закрывает окошко, так что люди из цехов не могут получить инструмент. Надя была старше меня лет на десять, казалась немолодой, унылой, неинтересной, правда, со следами былой красоты — ей было лет двадцать восемь, — все-

гда озабоченной мыслями о доме, о муже-инвалиде, о болезнях, о картошке, а следы былой красоты выражались в усталых бледных глазах и пышных, слегка вьющихся ярко-золотистых волосах, заплетенных в косу, которые она красила, о чем я не догадывался. Надин муж, инвалид, был братом Людмилы-горбуни, они жили вместе. До войны Надя работала гримершей в театре, а теперь раздатчицей в инструментальном складе, ходила в телогрейке, в платке, стучала сапогами, как солдат. Какой мог быть роман? Но старик был идиот, он даже своего начальника Льва Филипповича Зенина подозревал черт-те в чем, никогда не пускал его на склад одного. До смешного: придет Зенин с гостями из наркомата или с начальниками цехов, бегают по складу, показывают свои богатства, а Терентьич за ним, как тень, неотступно. Вдруг Зенин вздумает драгоценное сверлышко или чудеснейший надфилек, какого ни на одном складе в целой Москве нет, гостям всучить? Без документа, без подписи? А то и попросту стибрят, в карман положат, и до свидания — народ теперь отчаянный, инструменту нигде никакого нет.

Мы работали по двенадцать часов, от восьми до восьми, потому что считались не отделом, а цехом. Делали радиаторы для самолетов. Я вставал в шесть и приходил домой в десять, полтора часа в один конец на дорогу. Не было времени почитать книгу. В метро я спал. Какой же мог быть роман? Да у меня вообще их никогда не было. Я знал про них только из книг, которых давно не читал. Представление о романах было такое же, как о радиаторах для самолетов. Я ни разу не видел готового радиатора. Сначала я тянул на волочильном стане трубы, потом в кузнечном цехе отжигал концы труб, потом точил матрицы, потом ремонтировал штампы для матриц, но, для чего и зачем это нужно, понимал смутно или, если честно, не понимал совсем. И не торопился понять. Было не до того. Я думал: успею, пойму когда-нибудь в другой раз. В выходной я мчался на Пушкинскую площадь и смотрел в кинотеатре «Новости дня» последние фильмы. Это было важнее всего. Гораздо важнее романов. Дурь втемяшилась Терентьичу однажды после ночной, когда он пришел раньше срока и застал Надю спящей в абразивной кладовке. Я был в мастерской и не слышал, как он колотил в дверь. Старик так разозлился из-за того, что заставили ждать, что стал поносить

Надю отвратительной бранью, она расплакалась — а она вообще слезилась легко, — и я за нее вступился. Он вдруг замолк, поглядел на меня с изумлением и сказал: «Ах ты, курячий сын!» Больше ничего не сказал, но с тех пор намекал и подшучивал ядовито. Все это был вздор, сначала я хохотал, потом сердился, потом перестал обращать внимание, а потом ноябрь сорок третьего, канун праздника, освобожден Киев, по этому поводу в Москве салют. Мы побежали на третий этаж, где разрешалось поднять светомаскировочную штору, и смотрели на розовые, голубые, белые вспышки ракет, хлопали в ладоши и кричали «ура». Тогда салюты были в новинку. Первый прогремел в Москве три месяца назад, в начале августа, по случаю взятия Орла и Белгорода. Зенитки палили с крыши нашего завода, как будто рвались бомбы, стекла дрожали, и на миг белым меловым светом озарялись узкий двор между корпусами, громадные темные окна и люди внизу, стоявшие в оцепенении, глядя в небо. Не могли оторваться от неба до последнего залпа. Я видел белые, поднятые вверх лица. К салютам еще не привыкли, они были каким-то ошеломительным знаком новой жизни, бело-розово-голубой, и, может быть, счастья, которое не за горами.

Лев Филиппович позвал на минуту всех к себе, на второй этаж, и дал каждому по глотку спирта и по кусочку сахара. Хлебнули, загомонили, поздравляли друг друга со слезами на глазах, у раздатчицы Полины сын погиб под Киевом в сорок втором, а Лев Филиппович, сам киевлянин, всю родню там потерял. Сашка Антипов бормотал мне в ухо: «Мой отец тоже... Поехал в Киев, и все...» А Надя, конечно, разнюнилась больше всех, бросилась целовать сначала Людмилу, потом меня. Горячими ладонями схватила мое лицо, быстро прикоснулась губами к моей щеке совсем близко к губам, так что был настоящий молниеносный поцелуй, а других целовать не стала. Слезы у нее так и лились, и она улыбалась, как пьяная. Лев Филиппович сказал: «Надежда, не горячись. По случаю праздника, товарищи, можете получить талоны на обувь. Распишитесь». Опять мы кричали «ура», толклись в тесном кабинете Льва Филипповича и не хотели расходиться. Но больше меня не целовали.

Вместе с Сашкой мы шли черным сырым переулком к метро, мимо табачной фабрики, за угол, мимо

часового завода, радостные люди обгоняли нас, мальчишки бежали по мостовой. Сашка сказал угрюмо:

— Эта женщина меня волнует.

Я сразу понял, что он про Надю.

— У тебя были романы? — спросил я.

— Смотря что называть романами. Вообще-то были. Еще в школе.

— Настоящие? — спросил я с сомнением.

— Смотря что называть настоящими. В какой-то мере да. Но эта женщина волнует меня по-настоящему. Хотя она годится мне в тетки и у нее такое несчастное, измятое лицо.

— Но со следами былой красоты, — заметил я.

— Пожалуй, — согласился он. — Я ж говорю, в ней что-то есть.

— Она годится, — сказал я, — не только в тетки.

— Годится, годится, — сказал он.

Так мы поговорили степенно, с достоинством и остались довольны разговором. Но мне Антипов не нравился. В нем было что-то вызывавшее беспокойство. Я долго не мог понять, потом догадался — он был слншком похож на меня. Даже внешне: тоже в очках, молчаливый, медлительный. Черт возьми, мне хотелось одному быть молчаливым и медлительным. Мы оказались почти полные ровесники, я на полгода моложе. Оба жили без родителей, я с бабушкой, а он со старшей сестрой и неродной теткой. И он так же, как я, занимался бумагомаранием и мечтал после войны учиться в Литинституте. Я не решался говорить вслух о своих мечтах, а для него это было простым и давно обдуманым делом, о котором он рассуждал беспечно, как о том, например, что в ближайший выходной надо ехать в Кунцево за картошкой. «В будущем году, когда я поступлю на заочное...» — говорил он без тени сомнения. И я почему-то стал поддерживать этот тон. Вдруг я уверенно заявил ему, что для того, чтобы стать писателем, необязательно учиться в Литературном институте. Я, например, делать этого не собираюсь. Он стал со мной спорить и объяснять что-то несколько свысока, как знаток. Но я отвечал еще более напористо и высокомерно. Мы долго спорили, в результате чего выяснилось, что перед войной оба посещали литкружок Дома пионеров в переулке Стопани. Но друг друга не помнили. Это новое свидетельство похожести не примирило, а еще более разожгло

соперничество, о котором никто не догадывался, кроме нас. Впрочем, оно происходило скрытно и, может быть, бессознательно. Он не нравился мне потому, что я чуял в нем свое плохое. И ничего не мог поделать с собой. Мое плохое немедленно, как радиоприемник, настроенный на волну, откликалось на его плохое. Я слышал в его голосе похвалюбу, когда он говорил о Литинституте, и не мог удержаться, чтобы чем-то не похвалиться, хотя бы переулком Стопани. На что он отвечал еще большей похвальбой и осведомленностью, а я старался его осведомленность принизить. Наши судьбы были горько близки, и мы это знали, но никогда не разговаривали о больном и горьком. Зато он рассказывал о том, какая у них была квартира и какая дача в Серебряном Бору, и какая моторная лодка, и какой черный английский автомобиль приезжал за отцом каждое утро, и как он лечился в поликлинике на Воздвиженке и однажды лежал с дифтеритом в отдельной палате, приносили меню, он выбирал себе сладкое, и это жалкое, запоздалое тщеславие почему-то так на меня влияло, что я тоже начинал бормотать постыдное. Например, о том, что за отцом приезжал не старый рыдван, а новенькая, только что с завода «эмка». И что на озере мы катались не на моторной лодке, а на моторном катере. Мы хорохорились и похвалялись неведомо чем. А то начинали соревноваться в силе — он поднимал двадцатикилограммовую гирию одиннадцать раз, а я девятнадцать. И я побеждал его в перегибании рук. Только для того, чтобы не отстать от него, я заметил небрежно: «Она годится...». И он, как знающий человек, подтвердил: «Годится, годится».

Мы делали радиаторы для самолетов. Ни меня, ни Сашку не брали на фронт из-за плохого зрения, а когда после школы мы подали заявление в военное училище, нам был отказ. Поэтому ничем, кроме радиаторов, мы помочь не могли. В мастерской при инструментальном складе за темным, каменной прочности верстаком — он стоял здесь еще в те времена, когда прежний хозяин, француз, клепал в этих корпусах велосипеды, — мы пилили квадратные отверстия в матрицах сквозь которые протягивались стальные трубы, ставившиеся потом ребрами радиаторов. Теревтыч тоже горбатился за верстаком, но успевал бросать на нас косые, подозрительные взгляды. Мы ему не нравились.

Мы не так держали пилу, не так стояли у тисков и не так с ним разговаривали, как полагалось. Я задевал его ненужными шутками, а Сашка пускался с ним в спор. Когда Сашка появился у нас, Лев Филиппович сказал старику, чтобы тот давал парню работу полегче, не перегружал сверхурочными, потому что Сашка готовится в институт и пишет стихи. Для Терентьича все это было пустой звук. Он понял одно — начальство хлопочет, стало быть, парень непростой. Надо с ним быть настороже. А Лев Филиппович вовсе не хлопотал, лишь хотел угодить одному человеку из главка, могущественному в области фрезерного дела, который знал Сашкиного отца по гражданской войне, сохранил к нему тайное уважение и теперь хотел помочь его сыну, помочь чуть-чуть, совсем немного и так, чтобы никто не знал, что он помогает. Лев Филиппович надеялся через этого человека получить иаряды на два нужных станка, которые другим путем достать было совершенно невысмыслимо, и человек из главка пообещал, но обещания не выполнил. Видимо, он не смог. Лев Филиппович затаил обиду, ссориться с тем человеком не стал, но к Сашке Антипову охладел заметно. И настали для Сашки худые времена: Лев Филиппович делал его всякой бочке затычкой, гонял в роли носильщика в нудные поездки с агентом Виктором Ивановичем, посылал на самую тяжелую, грязную работу — то в транспортный отдел, то в бригаду такелажников. Тут как раз прибыли из Сибири станки и оборудование двух цехов, эвакуированных в сорок первом году, и надо было таскать, монтировать, людей не хватало, из каждого цеха выделяли троих, четверых, а из нашего, инструментального, всегда брали двух станочников и Сашку Антипова, иногда еще меня. Но Сашку непременно. Он ни от каких трудов не отказывался. Смотришь, к концу дня идут по коридору двое, впереди Виктор Иванович, сухолицый румяный туберкулезник, подтянутый, щеголеватый, с портфелем и с папиросой «Казбек» в золотых зубах (курить Виктор Иванович давно бросил, но коробку «Казбека» носил с собой для угощения, всегда жевал незажженную папиросу), а позади плетется, согнувшись, с мешком за плечами, заморенный, взмокший, в запотевших очках Сашка Антипов. И лицо у него такое серое, безропотное и все же горделивое. Никому не жаловался на то, что Зенин угнетает, да, может, и не замечал этого.

А в мешках мы таскали инструмент. Лев Филиппович постоянно что-то где-то добывал, выпрашивал, выменивал, и два его агента без усталости колесили по московским складам, конторам, заводам, базам, а то ездили и за город, в Люберцы и Томилино.

И все шло чередом до истории с картошкой. Тут Лев Филиппович переборщил. Настала минута, когда выдержка его покинула — вообще-то он был терпеливый и хитрый, отменного здоровья, по этажам и коридорам не ходил, а бегал, в столовой с мискою щей тоже всегда впопыху, разговаривал быстро и не очень внятно, в черных маслянистых глазах что-то неистово сверкало, а на заводе он проводил дни и ночи, часто ночевал в отделе на кожаном диванчике, — и вот выдержка Льва Филипповича покинула, и он спросил у Сашки прямо: «Скажи, намерен ли твой родственник выполнить обещание?» — «Какой родственник?» — «Который в главке. Который звонил Василию Аркадьевичу насчет тебя». Сашка не понимал, о чем речь. Он ничего не знал про главк. Никаких родственников, кроме сестры, у него в Москве не было. Тут, видя Сашкино недоумение и не поверив ему, Лев Филиппович заорал в ярости: «Да какого дьявола ты мне нужен? Мне нужны винторезные станки, а не грузчик, который сочиняет стишки! Какой от тебя прок отделу?» Крик происходил в мастерской, неподалеку были Люда и Надя, и мы все трое — Терентьич молчал — вступились за Сашку и сказали, что он малый трудолюбивый, исполнительный, работает хорошо и прок от него есть. Лев Филиппович, рассердившись, убежал и так хлопнул дверь, что задрожало стекло, как во время зенитной пальбы. Терентьич, втайне довольный — даже улыбки скрыть не мог, — сказал, что, видно, от Василия Аркадьевича, главного инженера, нашему Льву проборка. «Да разве винторезные достанешь? Они нынче на вес золота. Тут не психовать надо, а головой думать». Весь день Лев Филиппович был в дурном настроении, на своих, отдельских, рычал, цеховых кладовщиков гонял и распекал по-пустому, и ходить к нему с «требованиями» боялись. За весь день подписал только два «требования», а остальные — или нету в наличии, или вам это без надобности, или обойдетесь. Но вечером прибежал в ЦИС будто бы что-то найти, зашустрил между стеллажами, Терентьич за ним — хоть не вплотную, но из вида не упускал —

и потом мимоходом Сашке: «Ты меня извини, Антипов, погорячился. Я тебе глупость сказал, не обращай внимания, ерунда. Я к тебе отношусь неплохо». И Сашка добродушно ответил: «Да ладно, Лев Филиппович, я уж позабыл». Он, конечно, не позабыл, но думал с досадой не о Льве Филипповиче, а о сестре Людмиле. Догадался — это она устроила пакость с якобы родственником из главка. Пожали друг другу руки, и, уже уходя, Лев Филиппович подмигнул Сашке и сказал вполголоса: «Ты все же насчет станков побеспокойся. Если я эту винторезку не достану, они мне голову отвинтят. Или отрежут, как хочешь». Сашка тут прямо завопил в голос: «Да я-то при чем, Лев Филиппович? Я этого типа в глаза не видел!» Лев Филиппович качал рукой успокоительно, улыбался. «Ничего, ничего, сделаешь, познакомишься...»

Сашка ушел домой убитый, поругался с сестрой, не разговаривал с ней целую неделю. Она уж сама, чтобы примириться с братом и как-то ему помочь, пошла к тому типу домой, просила насчет станков, но тот отказал. Все у Сашки разладилось и становилось хуже. И чем больше на него сердилось начальство — а Лев Филиппович, хоть вроде бы и извинился, продолжал на Сашку дуться, копил раздражение, верил в то, что Сашка силен по части винторезных станков, но не хочет действовать, потому что ленив, неблагодарен, и Терентьич, заметив перемену начальства, стал тоже придирчив и злобноват, — и чем более это становилось заметно, тем скорее исчезала моя давешняя неприязнь, и Сашка начинал мне нравиться. Я удивлялся тому, как спокойно и миролюбиво он все переносит. Нет, я бы не смог! Я бы давно расплевался с Зениным, а старика за его придирки и нудность послал бы куда подальше. И меня бы Терентьич не заставил идти за табаком, тем более менял табак на капусту. Дудки! У них с Сашкой вышел спор. Табачная фабрика была напротив, через переулок, и, когда грузовики с тюками табачных листьев медленно подъезжали снизу и разворачивались, чтобы въехать в ворота, мальчишки успевали крюками зацепить и сбросить на землю один или два тюка. Потом торговали листьями на Тишинском рынке или тут же, у завода, меняли на хлеб. И на капусту. Нам давали иногда сверж карточек кое-что — например, суфле и капусту. Ведь мы делали радиаторы для самолетов. Суфле было из сои, сладковатая ка-

шица, похожая на раскисшее мороженое довоенных времен. Но главное достоинство суфле, за что все его любили, заключалось в том, что его давали в подарок, по безлимитным талонам. Оно так и называлось «безлимитное суфле». Его можно было только съесть, набить им живот, а капусту еще можно было поменять на что-то хорошее. И вот Терентьич попросил Сашку — ои, впрочем, никогда ничего не просил, а ворчливым тоном полуприказал, сообщая свой приказ в пространство, — взять, когда пойдет обедать, его, Терентьича, кочан и поменять у пацанов на листья. Сашке почему-то братья за это не хотелось. Он сказал — не пойду, потому что пацанов гоняют, а тех, кто покупает, могут забарабать, как скупщиков краденого. Но на самом деле не хотел, верно, угождать старику. Терентьич стал над ним тихо насмехаться: «Да ты, видать, храбрец! Вот ты какой! Забарабают его... Да весь завод покупает... А я думал, тебя из-за плохого зрения не берут!» Сашка молчал, терпел, потом вдруг крикнул: «Ладно, заткнитесь!» — схватил стариковский кочан и убежал. И было ясно, что непременно с ним что-то случится.

Через десять минут Льву Филипповичу звонок из проходной, затем из комендатуры. Беда! Лев Филиппович пришел к нам в мрачной ярости, набросился сразу на всех, Сашку назвал кретином, Терентьича почему-то старым кулацким валенком и с криком: «У меня от дел голова пухнет, а тут еще из-за дерьма неприятности!» — помчался в заводоуправление на правее. Он мог от Сашки отречься запросто. На кой ему Сашка нужен! А блюстители порядка решили завести уголовное дело, чтоб другим было неповадно, дирекция табачной фабрики требовала беспощадности. Объясняли так: «Наша продукция тоже военная. Табак идет на фронт. Расхитители отнимают радость у бойцов и подрывают дух армии. Надо судить их по законам военного времени». И вот Сашка попал в такой переплет. Потом-то оказалось, все еще более грозно! Мы перепугались. Сашку целый день не выпускали из комендатуры, и мы не сразу узнали, что произошло. Лев Филиппович рассказал, возмущаясь кретинизмом Сашки: Сашку окликнул охранник, дежурный во дворе столовой, в ту минуту, когда малолетний преступник ссыпал из газеты в Сашкину шапку листья. Окликнул лениво и беззлобно, на что надо было реагировать простым бегством или хотя бы уходом быстрым шагом

в любую сторону, лучше на улицу. Мальчишки это и сделали, но наш обалдуй остался стоять, тупо глядя на охранника. Свидетели говорят, что было впечатление, что человек в столбняке. Ну, охраннику ничего не оставалось делать, как подойти и спросить: почему и на каком основании? И этот тип отвечал все по правде. Теперь его нельзя было отпустить, и охранник поволок его через проходную в комендатуру. Наш комендант, как известно, далеко не светильник разума. И вот сошлись: упрямый кретин и далеко не светильник разума. Лев Филиппович вошел в комнату в ту минуту, когда комендант, бешено стуча кулаком, допытывался: чей кочан? А Сашка, бледный, но спокойный, твердил: «Этого, разумеется, я вам сказать не могу». Все было вздором — и то, чего допытывался комендант, и бессмысленное запирательство Сашки, — но, странным образом, вздор разрастался, тяжелел, наливался силой, и, хотя Сашку выпустили из комендатуры, была вызвана милиция, и у него взяли подписку о невыезде. А на другой день, лишь только Сашка пришел в мастерскую, его потребовали в отдел к товарищу Смерину. И он провёл там глухо весь день. Мы не знали о нем ничего.

День был на редкость тихий, без людей. Из цехов не приходили. У Терентьича от переживаний открылась язва, и он лег в больницу. Слесарь Лобов, тощий угрюмый мужик, страдавший астмой, пользуясь отсутствием Терентьича, весь день точил наборные, из плексигласа мундштуки, а я к вечеру зашел на склад: покурить и поговорить с женщинами. Надя меня чем-то влекла. Может, тем, что глупый Терентьич продолжал нас подозревать и даже повесил замок на абразивной кладовке, а Надя от этого нервничала и стала меня сторониться. Но теперь, когда Терентьича не было, она изменилась: без смущения смотрела на меня, разговаривала просто и терпеливо, зато меня, как говорится, будто мытуха разбирала в ее присутствии. Все хотелось ее проверить насчет одной смутной догадки. Говорили мы про Сашку: как вначале он всем не нравился и как теперь — хоть и с шутками, со смехом — мы его от души жалели. Просто не верилось, что из-за пустяка — да все подряд эти листья у мальчишек рвут — может случиться плохое. Но время было жесткое, смертью насыщенное, и мы делали радиаторы для самолетов. А у товарища Смерина лицо было как сургуч, брови черные и усы черным квадратиком.

Больше всех перепугалась горбатенькая Люда.
— Ой, не верю, что Лев его выручит! Пропал па-
рень...

— Да ничего! — говорил Виктор Иванович беспечно, а на деле злорадствуя. Он с Сашкой не любил ездить, потому что тот всегда заводился с ним спорить по всякому поводу и вообще норовил показать, что он грамотней. — Постирают малость и повесят сушиться. Он ведь упрямый козел.

— Ой, что вы, Виктор Иванович! Он простой, Сашка...

— Балда он, а не простой. Книг начитал, а ума не вынес. И водку пить не умеет. Маленькими глоточками пьет, как чай.

— Кто его научит? Он же сирота, горемыка, — не унималась сердобольная Люда. — Ни матери, ни отца...

Прибежал Лев Филиппович, схватил какой-то инструмент и мимоходом, — или, лучше сказать, мимоходом — сообщил, что Сашка все не признается, чей котан и кто послал. Оттого держат. Хотят добиться. Хотят показательный шум устроить и наказать примерно. А этот тип дурацким поведением своим потворствует.

— Они еще придумают, будто я посылал на табак менять! А что? Неплохая идея! Хотя всем известно, что я не курю... — Лев Филиппович махнул рукою то ли в досаде, то ли в испуге и умчался.

И было неясно, предпринимает ли что-либо, чтобы Сашку спасти, или вправду рукой махнул? Потом через секретаря директора, знакомую Виктора Ивановича, узнали: предпринимает. Был у директора. Разговаривал с парторгом завода. Ну, и с Олсуфьевым, Василием Аркадьевичем, главным инженером, имел, конечно, беседу, потому что Сашка возник отсюда, от Василия Аркадьевича. Но минута была невезучая — конец месяца, никому ни до чего. Директор сказал: «Вы чужую работу на меня не наклеивайте. Я в дела охраны не вмешиваюсь». Сашку вечером из комендатуры не выпустили, остался там на ночь, а утром пришел человек и пригласил меня в заводоуправление к товарищу Смерину В натопленной жарко комнатке сидел краснолицый, с черным хохолком Смерин и, откинувшись назад, рассматривал меня издали, голову слегка клоня набок, как художник, всматривающийся в модель.

— Догадываетесь, зачем вызвали?

— Нет, — сказал я. — То есть, может быть, да...

— Может быть? Ничего себе — может быть...

Смерин покачивал головой и хмыкал, как бы пораженный наглостью моего ответа. Я впервые был здесь и впервые разговаривал со Смериним. В его манере говорить отрывисто, с паузами была какая-то многозначительность. Он будто все время предлагал собеседнику догадаться о чем-то главном. Вдруг спросил:

— Вы хороший физиономист?

— Не знаю, — сказал я.

— Посмотрите на карточку. Видите этого человека? На кого он похож?

Протянул мне карточку. Мужчина средних лет, черноволосый, в пенсне, в светлом тесном костюме, в белой рубашке, в галстуке, держит на коленях кудрявого пацана лет пяти. Я сказал, что человек незнакомый. Никогда не видел.

— Вы правы. Его не видели. А этого видите каждый день. — Он ткнул пальцем в пацана. — Перед вами фотография Антипова, отца того техника по инструменту, который задержан при попытке купить табак, похищенный с фабрики. Будет показательный суд. Руководство фабрики взмолилось: положите конец грабёжам среди бела дня! Мы обязаны действовать и ударить воров и спекулянтов по лапам...

И затем вопрос: кто дал Антипову приказание купить табак? Я сказал, что не знаю. Знаю лишь, что Антипов не курит и табак ему не нужен. Это было правдой, Сашка закурил через два года. Смерину мой ответ не понравился.

— Покрываете? — Зажмурил один глаз, а другой, черный, мохнатый, уставил дулом в меня. — Неправильно делаете. Зря, зря. Имейте в виду, теперь всякий пустяк, хотя бы такая мелочь — ну, табачку схватили у мальчишек, какой грех! — имеет другую подкладку. Ты согласен?

— Да, — сказал я. — Хотя подкладку можно, конечно, подшить...

— Это как?

— Ну, как подшивают...

Смерин ударил ладонью по столу.

— Ты шутки брось. Подкладку не шьют, а обнаруживают. Понятно вам? А думаете, случайно у вас в гнездышке Черелова, горбатая, курильщица неистовая, так ведь она монашкой была, пока монастырь не за-

крыли и всем дурам под зад... А старичок, завскладом? Вот хитрая лиса! Все чужими руками. А сам чуть что — язва открылась, и в больницу нырнул. Старичок из раскулаченных, нам хорошо известно. Он в Москве с тридцать второго года. Еще Новикова Надежда, тоже фрукт: дома муж инвалид, а она... Чего стесняться? Война все спишет. Ну, и вас два гаврика. И как это вас всех в одно место сунули? А что делать, когда людей нехватка, скажи. Вот вы и пользуетесь, господа хорошие. — Глядел сурово и черные брови над переносьем сводил. — Я бы вас, конечно, сюда на работу не взял. Да за всем не уследишь. Война, брат, великая, и победа будет громадной ценой...

Я сидел смиренно, слушал, вникал, старался понять. Вдруг открылось: главное неудовольствие не против Сашки, не против бывшей монашки или раскулаченного Терентьяча, а против Льва Филипповича Зенина. И надо узнать: случайно или не случайно подобралась люди? Зенин, разумеется, не сам подбирал, а кто-то ему подбрасывал. Антипова, к примеру, кто? Не главный ли инженер Василий Аркадьевич Олсуфьев? Было бы важно уточнить. И насчет Череповой: не ведет ли религиозных бесед, не приносит ли каких-либо книг? Я отвечал то, что знал. А не знал я ничего. Олсуфьева в глаза не видел. Религиозных бесед не слышал. Многозначительность разговора становилась все туманней. Дело запутывалось. В его глазах я был человек, не пользующийся доверием — он сказал прямо, — и, однако, он откровенничал и даже просил моей помощи. Но помочь я не мог, ибо ничего не знал. Про Олсуфьева слышал, но про его заместителя Майданникова впервые. Про табак и капусту, с чего все началось, мы оба забыли. Но, когда он неожиданно встал и сказал: «Вы свободны!» — я спросил: а если обойтись без показательного суда? Он ответил: «Все зависит от Антипова. И от тебя». Я не стал выяснять, что он имеет в виду.

Когда вернулся в мастерскую, Сашка был там, согнувшись над тисками, пилил ожесточенно матрицу. У него всегда, когда работал, появлялось в лице и во всей фигуре выражение судорожного и несколько суеетливого напряжения. Терентьяч учил его: «Легше, легше! Чего на тиски, как на бабу, жмешь?» Я спросил у Сашки:

— Спал ночью?

— Почти нет.

— Почему не отпускали?

— Отпустили, да поздно. Метро не работало. Я там остался, да не спалось ни черта... — Он помолчал, вытер запястьем пот со щек. Лицо было грязное. — Не пойму, чего хотят.

— А все-таки?

— Кто их знает. Наказать для примера, что ли.

— Ну, а ты?

— Что я? Наказывайте. — Сашка пожал плечами. —

Я не возражаю.

Шла война, были нужны самолеты, мы делали для них радиаторы, а все остальное не имело значения. Подошла Люда и, глядя на Сашу радостно — глаза лучились, — шепнула:

— Слава тебе, господи... Я за тебя молилась...

— Ну! — сказал Сашка. — Это здорово.

Он ждал, что в мастерскую придет Надя, но той было некогда. Она осталась в ЦИСе главной, пока Терентьич лечил в больнице язву, сиречь перепуг. Через три дня Терентьич явился — исхудалый, тихий, в серебряной бороде, шаркал по цементному полу, как истинный старик, ничем не интересовался, а на Сашку смотрел робко и с ожиданием. Но Сашка ему рассказывать не стал. Терентьич узнал от женщин. Как-то утром вынул из кармана и протянул Сашке свернутый кольцом старый, трепанный, из толстой кожи пояс.

— Возьми-ка... А то, гляжу, твой не годится... Штаны потеряешь... — Глядел хмуро, без улыбки. — От сына остался.

Сын Терентьича, сапер, погиб в сорок первом. Терентьич никогда о нем не говорил, будто не было сына, не было горя, и вообще на судьбу не жаловался. И поэтому теперь, когда заговорил, да еще подарил сынов пояс, все удивились. Какая-то сила в душе Терентьича, делавшая ее, душу, тугой и жесткой, ослабла. И перепуг еще лихорадил старика, потому что антиповское дело не кончилось. Старика бы посидеть в больнице еще деньков пять, но страх за стеллажи — а вдруг что случится с замечательными корундовыми резцами и тончайшими, грифельного цвета нафилечками в вошеной бумаге? — этот страх пересилил. Лев Филиппович целую неделю был мрачен, ходил по коридору, не поднимая глаз, молчком, разговаривал отрывисто, и понять было нельзя, на каком мы свете. Говорили,

будто его тоже вызывал Смерин и Лев Филиппович вернулся от него серый от злости и с маху зарезал громадное «требование» пятого цеха — сократил вдвое. Получился скандал, Лев Филиппович и начальник пятого орали друг на друга на лестнице. Начальник пятого орал: «Правильно говорят, разогнать вашу шашку пора!»

Я боялся, разгон начнется скоро. К тому дело шло. Вечером я забрел в ЦИС, к раздатчицам, и, проходя мимо стеклянной переборки с окошком, услышал, как Надя вполголоса рассказывает: «Я говорю, напишите, говорю, наркомуну. Надо же, говорю, парня спасти. А он: что мне, больше всех надо? А мою башку кто спасет? Ах ты, говорю, такой-сякой, если, говорю, не напишешь, не рассчитывай...» — тут она прыснула, зашептала неслышное. И горбунья шептала, обе смеялись. Я остановился в дверях — заходить или нет? Шепот и прыск женщин меня не ободрили. Но Люда увидела через стекло, замахала длинной, как у обезьянки, быстрой рукой.

— Поди сюда! Поди, поди, поди!

Я зашел и сел на ящик рядом со столиком.

— Наш-то со Смериним поругался страсть! — зашептала Люда, глаза лучистые от волнения враскос.

— Откуда знаете?

— Сам рассказал. Одному человеку. Снимайте, говорит, меня с работы и отправляйте на фронт, хоть в штрафбат. Я давно прошусь. У меня, говорит, немцы всю семью побили, так что на фронте мне интересней. Решайте.

— А Смерин?

— Не беспокойтесь, сказал, без вас решим. Засорили, говорит, отдел чуждым элементом. А наш ему... как же он сказал-то, Надя?

— Он сказал: ваша забота — элементы, а моя — инструменты. Как-то вроде этого, остроумно.

Женщины смеялись, поглядывая на меня лукаво. Я понял, какому одному человеку Лев Филиппович рассказывал. Что-то подобное я подозревал, поэтому не особенно огорчился, когда подтвердилось. Огорчился, конечно, но не смертельно. Я спросил: будет ли Лев Филиппович выручать Сашку? Есть ли у него возможности? Надя сказала:

— Будет. — И добавила, помолчав: — Возможности небольшие есть. Никакого суда он, конечно, не хочет

и будет противиться всеми силами. Ну, а что получится...

Она развела руками. Я поверил всему, что она сказала. И в первую очередь своей догадке. А Сашка жил в странном спокойствии, не ведая о том, что бури вокруг него и вокруг всех нас не стихают. В выходной день уговорились пойти в кино. Февраль был на исходе, сырой, ледяной, скучный. И вот, возвращаясь после сеанса — смотрели «Большой вальс», нас обонх это сильно растрогало или, лучше сказать, разобрало — и спускаясь быстрым шагом по улице Горького к метро, торопясь домой до начала комендантского часа, то есть до половины двенадцатого, мы неожиданно разоткровенничались. Я рассказал про Олю, про то, как она приехала летом ко мне и провела вечер и ночь с моим другом, как я ее презирал, и жалел, и мучился, и в октябре сорок первого с нею простился, она сейчас в эвакуации неизвестно где, но я не могу ее забыть. Какие бы женщины ни попадались на моем пути, я мысленно возвращаюсь к Оле. Между прочим, она несколько похожа на Франческу Гааль. Такой же овал лица и такая же улыбка. Нет, я не могу ее забыть, хотя она меня предала. Сашка тоже рассказал историю, случившуюся недавно. Он пришел в ЦИС, разговаривал с Надей и Людой, Терентьич болтался тут же поблизости у стеллажей, и вдруг погас свет. Отключили ток по всему заводу. Внизу перестал бухать пневматический молот, наверху стало тихо, замолчали станки инструментального, и стеклянная переборка не звенит. Терентьич путается в потемках, ворчит: «Где свеча? Людмила, ищи свечу!» Люда ничего не найдет, тыркается, спотыкается, бедная, а Сашка сидит на стуле молча. Свечу не нашли, Терентьич, ворча, ушаркал вдоль переборки к выходу, а Сашка оцепенел, потому что минута единственная: Надя вблизи, и тихо, и тьма. Вдруг голос Нади: «Саш, хочешь закурить?» Рука легкая выпорхнула из тьмы, прикоснулась к плечу, к щеке, к губам, сердце стучало, рука с легкими пальцами — в них легкое дрожание — замерла на губах, остановилась как бы впопыхах, как бы в забывчивости, ощупывая тьму, на одну лишь секундочку или на две, потому что во вторую секунду он губами ответил легким пальцам. Не успел еще ничего сообразить, где-то чиркали спичкой, скрипел стул, вдруг загорелось. Он сидит за раздаточным столиком, с другого края у того

же столика Люда, а Надя далеко. Не ее рука. Какие нежные, бестелесные пальцы у горбуны! Надя курит спокойно, протягивает издали папиросу Сашке — да ведь он не курит, Надя все забывает, — а горбуня закрыла пальцами лицо, склонила голову, черную, гладковолосую, как перья старой большой вороны, низко к столу и лепечет что-то беззвучно.

— Знаешь, был, конечно, момент ужаса... Нет, вру... Неправда... — бормотал Сашка. — Момент какого-то переворота... Все вдруг переверотилось... Но дело в том, что Люда ведь хорошая, она самая хорошая, наверно, среди нас... У нее пальцы добрые... Она меня пожалела... Но тот миг, когда я вдруг поверил, возликовал — до безумия, понимаешь? — был миг такой силы... такого...

Не объяснил чего. Я понял — счастья. Это случилось с ним в инструментальном складе в феврале сорок четвертого, днем, во мраке, когда обрубали ток и когда шла война, пожирившая радиаторы для самолетов. У меня сжалось сердце от сочувствия к нему. Сказать ему? Предупредить? Так и не решился.

Наступил март. Лев Филиппович прибежал однажды в мастерскую, накинулся на Терентьича и на нас с гневом:

— Где штампы А-12? Все бросить, отремонтировать штампы! Что за публика? Что за разгильдяи? Вчера русским языком было сказано: с утра все к черту, только штампы, штампы и штампы! И стоит ли из-за вас головой колотиться в стенку? А? Ну? — он пробежал мимо верстака, вернулся бегом обратно и сказал: — Антипов, можешь писать стихи дальше. Тебе будет объявлен строгий выговор, и больше ничего. Смерин меня запомнит! Пусть он скажет, где такой инструментальный отдел, как у нас! Где такой фонд сверла? А такие фрезы? Вся Москва к нам бегаёт, попрошайничает. От Зенина освободиться легко, а что дальше? Кстати, Антипов, я звонил твоему родственнику в главк. Имей в виду, он сказал, что никакой твой не родственник и тебя не знает. Но я нажал на другие рычаги... Что вы делаете, Терентьич?! — вдруг заорал он не своим голосом. — Кто берет для этой цели ножовку?

Он подскочил к Терентьичу, вырвал из его рук ножовку и отбросил ее с отращением. После чего устремился на склад, и я видел через стекло, как, пробегая мимо стола раздатчиц, он прикоснулся к золотистой

голове Нади, потрепал ее мгновенно и исчез за углом стеллажа. Потом Надя рассказала Люде, а Люда по секрету мне, как Лев Филиппович признался: «Я б его не стал выручать, да вдруг вспомнил: он сирота. Я сам сирота по вине войны. А мы, сироты, должны помогать друг другу... Все кругом сироты, и должны помогать...» Вот так сказал Лев Филиппович. Но война передвигалась на запад, легче становилось дышать. Старое должно было пропасть навек, а с каждым днем ясно и близилось новое. И предвестьем нового случилось то, что было забыто, слабый знак лучших времен, а мы с Сашкой и вовсе не знали, что это такое — вечеринка.

Пригласила Люда, ей исполнилось сорок, и где-то вблизи был женский праздник, и радостные дела на фронте, всякую неделю салюты, очищена почти целиком Украина, наши ломают на Ленинградском и Волховском, так что в удобный для всех выходной вечеринка! Дощатый кривобокий домик в переулке возле Нижней Масловки, недалеко от завода. Вечеринка — это вот что: сложились по пятьдесят рублей, Лев Филиппович дал сто, купили по талонам водку, конфеты, несколько банок рыбных консервов «частик», принесли кто картошку, кто лук, кто свеклу, сделали винегрет, сели тесно вокруг стола, шумели, кричали, пили водку из рюмок, потом чай, потом опять водку, пели песни, была духота, натопили ужасно, но все веселились, было необыкновенно весело. В моей жизни ничего веселее не было. И в Сашкиной тоже. Опять мы сцепились, кто кого переборет, Виктор Иванович поставил десятку за меня, Лев Филиппович за Сашку, расчистили стол, уперлись локтями, схватились и стали жать друг друга изо всех сил, но я перехитрил, сразу навалился плечом, чего никто не заметил, и он стал медленно гнуться, гнуться, и, как ни гримасничал, ни скрипел зубами, я его придавил. Все кричали, поздравляли меня, а Сашка помрачнел и глядел злобно. Я впервые заметил, как злобно он может глядеть. Наверно, огорчился оттого, что придавил его при Наде. Вдруг Лев Филиппович: «А ну, давай за Антипова отомщу!» Рукав закатал до локтя, маслянистый глаз сощурил, а рука у него хотя и тонкая, но жилистая, в рыжих волосках, и вдруг, не успев я путем взяться, напер всем корпусом, нагло, в нарушение правил и прижал, конечно, мою руку к столу. Что ж удивительного?

Напал внезапно, как все равно Германия на нас. Я протестовал, он хохочет: «Вот так-то! Смекалка!»

И тут муж Нади Серафим, горбоносый, лицо в синеватых пятнах, инвалид на костылях, который не проронил ни слова за столом и песен не пел, вдруг произнес каким-то жутким, будто со дна реки, булькающим голосом: «Хотите на спор — любого сворочу!» Сказано было так, что никто бороться с ним не захотел. Вроде бы даже не слышали. Потому что все, лишь поглядев на богатырские плечи, на мощные ухватистые руки, непомерно развитые от костылей, и услышав небывалый голос, поверили — своротит. Один глаз Серафима был затекший, темною щелью, а другой белый, круглый, красивый, смотрел строго, я не сразу догадался — искусственный. Ногу и глаз Серафим потерял одновременно от взрыва бомбы. От выпитой водки Серафим сидел, покачиваясь, и временами как-то глухо, неразличимо в общем шуме гудел, будто стоял. Люда и Надя были с распушенными волосами. У Люды волосы черные, а у Нади светятся, как золотой пух, косу расплела и по плечам разбросала. Пели в два голоса очень ладно. У горбуньи голос тоненький, нежный, как у девочки, а Надя низко вела. В комнате Люды — стол накрыли здесь, где посвободнее, Надя с Серафимом помещались в соседней, дверь распахнута — стояло в углу пианино, Люда играла без передышки. И откуда силы в тщедушном тельце? Если б не горб и не лицо блеклое, желатиновое, и правда как девочка. Ничего монашеского я в комнате не заметил. Только вот икона в углу.

— Сейчас полечку отчубучу! — вскрикивала Люда, пальцы длинные взметывала выше головы. Пальцы летали без усталости. А когда останавливалась на минуту — перевести дух, в рваных нотах пошуршать, — успевала радостно, торопясь, рассказать про молодого человека редкой красоты, скрипичного мастера, зовут Валерьяном, который был влюблен в нее до войны. умолял выйти замуж, а она, глупая, отвергла. Придет, бывало, в эту комнатку — еще мама была жива, а Серафим и Надя тут не жили, — сядет вот так и просит тихо: «Играй, играй, милая! Слушать тебя могу без конца и без счета!». И слушает, глаза закрыв. Ресницы темные, длиннющие. А то, бывало, устроится прямо вот здесь, на половике, как собачка, и ну руки ловить губами — тут уж не поиграешь... Я слушал, поражал-

ся. Каким надо быть удивительным человеком, чтобы полюбить горбунию!

— И все ты врешь, Людмила, — говорил Виктор Иванович. — Играешь ты хорошо, а врать не надо.

— Почему же вру, Виктор Иванович? — В голосе Люды никакой обиды, все та же радость, оглушенность. — Ни чуточки не вру. Вон письма его в шкатулке. Он мне каждый свободный денек весточку шлет. С Белорусского фронта.

— Да ты небось сама пишешь?

— Ой, Виктор Иванович! Я нынче именинница, зачем меня срамить? — Смеясь, махала обезьяньей лапкой.

Сидели долго, до одиннадцати, вплотную до урочного часа, и здесь, как на заводе, внезапно гас свет, хохотали, рассказывали впотьмах неприличные анекдоты, Виктор Иванович знал их много, и такие, что о-го-го! Свет зажегся, Люда побежала к соседям просить папирос или махорки, а потом, когда вернулась, все сидели покойно, удобно и болтали весело — про Терентича, про его бабу, которую он боится до смерти, она его не пустила гулять, а он так ее «любит», что норовит переночевать в абразивной кладовке, лишь бы не дома, и про его подозрительность, про то, что кладовка распалает его воображение, про всю эту чепуху, — вдруг увидели, как над столом стал медленно подниматься и повис костыль. Серафим безо всякой улыбки и молча держал костыль одной рукой над столом.

— Что ты это, Сима? — спросила Люда.

— Опусти сейчас же! — сказала Надя.

Серафим не убирал костыля. Направлял его в сторону Льва Филипповича и теперь держал широкую рукоятку костыля с вытертой, залоснившейся кожаной подушкой в точности над головою нашего начальника

— Что это значит? — Лев Филиппович хмыкнул и отодвинул рукою костыль, но Серафим опять направил его к темновато-рыжей копне волос Льва Филипповича. Вообще-то никакого вреда Льву Филипповичу от костыля не было. Костыль висел на расстоянии примерно вершка, не касаясь волос. Но, конечно, такое висение было неприятно, разговор не вязался, все замолкли. Лев Филиппович раза два отбросил костыль рукой, но Серафим упорно возвращал его на прежнюю точку в воздухе. Надо сказать, он держал эту тяжесть одной рукой с легкостью. Лев Филиппович мог бы, наверно,

схватить костыль и вырвать из рук Серафима, который сидел напротив, но тогда был бы скандал или драка, чего Лев Филиппович не хотел, поэтому он замер, притихший и даже как будто испуганный, не решаясь встать и уйти, чтобы не задеть костыль головой, и был похож на жука, над которым навис сачок. Затем он вдруг перестроился и попытался делать вид, что никакого костыля нет, все в порядке и можно как ни в чем не бывало продолжать разговор о Терентьевиче.

— Нет, видите, в чем дело, — говорил он, — Михаил Терентьевич человек непростой... Он попал на завод после долгой жизни, после, ну, скажем, разных передряг... Но несмотря на то, что, понимаете ли...

Как ни хотел Лев Филиппович оставаться спокойным, ему это не удавалось, он краснел, напрягал шею, губы ненужно и бесконтрольно сжимались, а костыль над головой начал подрагивать — рука Серафима устала. Но, может, костыль примеривался, как лучше грохнуться на вздыбленную шевелюру. И все натянулось до предела, сейчас должно было что-то случиться, взрыв, вопль. У Серафима было мокрое застылое лицо, голова тряслась. Надя проскользнула к нему и, обняв, прошептала:

— Сима, родной, зачем ты это?

Серафим молчал. Рука его сильно дрожала.

— Боже мой, да зачем же...

— А вот так они висели над нами, — вдруг сообщил Серафим голосом со дна реки. — Не нравится? Не хотите?

— Это было давно, Сима. Не вспоминай.

— Почему давно?

— Давно, давно, Сима, не спорь... — шептала Надя, обнимая Серафима. — Я была тогда под Волоколамском, на лесоразработках... Там много девчонок погибло. Мы получали восемьсот граммов, и я привозила хлеб маме... Сбегали в Москву без спроса на один день... А девчонки погибали, знаете как? Давило... Соснами... Никак мы не могли научиться...

— Они сбросят и уходят все разом, — сказал Серафим. — Завалятся набок таким макарном...

Костыль поворотился в воздухе и, сделав плавный широкий круг над нашими головами, опустился вниз и исчез под столом. Надя поцеловала Серафима в темя и погладила щеку в синих пятнах. Лев Филиппович встал.

— Ну что ж, господа офицеры... — Вынул расческу, стал расчесывать волосы. — Спасибо за ласку. Мы пойдем. А картошку я вам доставлю. Мне должны в одном месте мешок. Надо его доставить.

Когда шли почти бегом к метро, только и говорили об истории с костью. Сашка сказал, что Серафим, вероятно, немного сошел с резьбы в результате ранения. Но мне казалось, что тут другое. Сашка не догадывался. Лев Филиппович вздыхал: «Бедная Надежда! Жить с таким чучелом!» Сашка сказал: «Помоему, он хороший человек». — «Ну, хороший, и что? А с хорошим чучелом радость?» Виктор Иванович, который считал, что обо всем следует говорить прямо, без обиняков, заметил: «А вам не надо было, Лев Филиппович, на вечеринку приходить». Лев Филиппович удивился: «Почему же?» — «Сами знаете. Не надо было. Оттого и вышло». Лев Филиппович пожимал плечами, головой крутил, бормотал: «Ну, не знаю, не знаю...» В метро было пусто. До центра доехали вместе, там расстались: Лев Филиппович поехал к себе на Кировскую, Виктор Иванович на Курский, а мы с Сашкой — к Парку культуры, только я выходил раньше, у библиотеки Ленина, пересаживался на троллейбус. Пока шли безлюдным переходом, где женщины уже мыли швабрами пол и стоял химический, ночной, подземный запах, Сашка рассказал — опять, когда погас свет, была такая же ерунда, как в ЦИСе. Она гладила его лицо, прижимала ладонь к губам. Понравилось ей! Но он ее руку отбросил. И, наверное, грубо. Не сдержался, какое-то внезапное отвращение. Зачем она это делает? Теперь Сашка переживал. Он просто мучился этим воспоминанием.

— У меня чувство, будто я ее ударил. Какая же я сволочь!

Я его успокоил: ничего подобного, он не сволочь. Я бы сам, может, так поступил. Но главное вот что: вечеринка удалась. Вечеринка вышла замечательная. С этим он был согласен. И мы втайне верили и боялись верить в то, что предстоит еще много замечательных вечеринок в жизни!

С каждым месяцем мы делали все больше радиаторов для самолетов. Наш завод получил переходящее знамя, и об этом писали в газетах. На склад стали поступать американские инструменты в яркой упаковке. Особенно нравились мне абразивные камни,

очень красивые. Вот уж Терентьичу было от чего трястись! В столовой на обед давали свиную тушенку. Иногда по мясным талонам получали банки с розовой невиданной колбасой, ее можно было есть ложкой, как мед. Еще лучше жарить на сковороде с картошкой. Она была сочная, для жарения не требовалось масла. Но эти сласти бывали редко, а главной едой, спасительной и не надоедавшей никогда, была картошка. И те, у кого она исчезала, испытывали беспокойство и страх. Она была важнее всего — важнее свиной тушенки, важнее сахара, спичек, керосина, мыла.

Лев Филиппович сказал: в Одинцове на даче есть мешок картошки. Он принадлежит ему. Хозяин мешка кое-чем обязан Льву Филипповичу, и по договоренности отплата производится картошкой. Там поблизости есть завод, где надо взять инструмент, две пачки сверл, их легко положить в карман. Он выпишет командировку. Можно съездить среди дня. И тут Виктор Иванович вдруг уперся — у него бывали дни, когда его охватывало какое-то тупое, раздраженное упрямство, — и сказал, что за сверлами поедет, а за мешком картошки нет.

— Лев Филиппович, да побойтесь бога! Нельзя же так, в конце концов! — заговорил он своим истовым голосом правдолюбца. — Ведь это ваша личная картошка, не правда ли? А вы хотите в рабочее время да чужими руками.

— Я хочу не для себя.

— А для кого, позвольте узнать?

— Для инвалида войны.

— Ах, для инвалида войны! — Виктор Иванович засмеялся. — Такая любовь к инвалидам войны! Тогда тем более не поеду. Было бы вовсе глупо. Нет, это категорически невозможно — тащить мешок электричкой, еще неизвестно, какой мешок...

— Да не вам же тащить, Виктор Иванович! — крикнул Лев Филиппович, и его мелкие черные глазки сверкнули гневно. — Ребята потащут. Разве вы когда что таскали?

— Ну, не знаю, Лев Филиппович. А почему ребята должны таскать? Разве они за тем пришли на наш завод, чтоб таскать вам картошку?

— Да я их попрошу! Черт вас взял! — заорал Лев Филиппович, краснея лицом, шеей, белками глаз. — Неужто они не сделают? Неужто в них бла-

годарности нет? Я попрошу по-дружески, после работы, в выходной день...

Мы с Сашкой стояли тут же, но они нас как будто не замечали.

— После работы другое дело. Может, они и согласятся, — пожимал плечами Виктор Иванович. — Это, собственно, их дело.

— Вот именно! Не ваше! — гремел Лев Филиппович. — Смотрите, какая рабочая совесть нашлась! Давайте отправляйтесь в главк к Супрунову и привозите наряды! Без нарядов не возвращайтесь! А то любите мотаться попусту.

— Я бы не согласился, — сказал Виктор Иванович, жуя папиросу.

— Отправляйтесь, пожалуйста! — крикнул Лев Филиппович и, когда агент вышел, чертыхнулся. — Хоть бы ты скапугился от своей чахотки...

Мы стояли молча. Ехать за картошкой нам, конечно, не хотелось. Да еще в выходной. В рабочий день куда ни шло. Да и то. Поэтому мы не заговаривали с ним, и, так же, как они с Виктором Ивановичем как бы не замечали нас, мы как бы не слышали всего разговора. Лев Филиппович потоптался в мастерской, посуетился на складе, вернулся, но так ни о чем и не попросил. Наверно, надеялся, что мы сами предложим, а мы не предложили. Когда он ушел, Терентьич сказал:

— Верно, ребята. Пушай сам ишачит или, на край случай, машину берет.

Из склада неслышным шагом выпорхнула горбунья.

— А мы тоже говорим, — зашептала, — пускай машину в гараже попросит. Зачем это нужно на себе таскать? Правда же?

— Да ведь картошка для вас, — сказал слесарь Лобов. — Ну!

— Почему для нас?

— Для Серафима, для Надьки. А ты не знала?

— Неужели знала? — Люда в некотором смущении махнула лапкой. — Я в ихние дела не вмешиваюсь...

И на этом все рассосалось. Мы не набивались, он не просил. Да и вообще вся свара затеялась лишь потому, что Виктор Иванович в тот день утром встал в своей комнатке на Разгуляе в дурном настроении — болела спина, а это означало худое.

Перед выходным Сашка мне вдруг сказал, что завтра поедет в Одинцово за картошкой — он Льву Филипповичу пообещал, тот дал адрес. Мне это не понравилось. Тут был оттенок штрейкбрехерства. Ведь мы оба уклонились вначале, надо уж эту линию держать, а то выходит, что все плохие, а он хороший. Я заметил иронически:

— Нельзя подводить начальство?

— Да, — сказал Сашка. — Не хочу. Он мне добро делал, и я помню.

— Ну, ну, — сказал я. — Это замечательно: сделать добро и тут же попросить за него рассчитаться.

— Он сказал, что полмешка отдаст Серафиму. А Серафим-то привезти не может.

— Да? — спросил я так же иронически. — С какой бы стати такая любовь к Серафиму? Я имею в виду не его, а тебя?

Он взглянул на меня ошалело, и в одну секунду его взгляд стал злобным. Ничего не сказав, он отошел. Я занялся своим делом. Мы работали в мастерской. Целый час мы не сказали друг другу ни слова, хотя с другими разговаривали, заходил Виктор Иванович, обсуждали события, второй фронт, а потом мне надо было пойти в соседний цех, и я, проходя мимо Сашки, сказал:

— Имей в виду, будешь иметь дурацкий и глупый вид.

Сашка не ответил. После работы мы шли к метро врозь — он торопился, побежал вперед. Даже споткнулся, бедный. А что произошло в выходной день, я узнал вечером.

Он приехал в Одинцово днем, но, пока нырял в сугробах, искал улицу и дом среди заколоченных дач, настали сумерки. Наконец отыскал домик с верандой, в окне горела свеча. Кто-то, держа дверь на цепочке, долго выспрашивал: от кого, для чего? Сашка сунул в дверь записку Льва Филипповича. Открыл малорослый старичок в длинной, чуть не до колен, вязаной кофте, в валенках, горло обмотано шарфом, говорил сипло. Оказалось, фотограф и дальний родственник Льва Филипповича. По комнате прыгала собачонка. На ней был вязаный жилет. В комнате стоял холод и было тускло от одинокой свечи. Старичок сказал, что сейчас работы мало и он не понимает, как он еще живет. «Но я согласен умереть хоть сегодня, — говорил он. —

Пожалуйста, я готов. Все мои близкие на том свете. Я за жизнь не держусь». Однако мешок картошки он давать не хотел. Говорил, что картошка ему еще пригодится. Да, он должник Лёвы. Он не отрицает. Но Лёва тоже хорош: обещал изоляционную ленту и выключатели, но нет ни того ни другого. «Он не дал вам изоляционной ленты?» — «Нет». — «Вот видите. Самое большое — полведра». — «Как полведра!» Сашка испугался. Ему невероятно хотелось привезти картошку в Москву. Они стали спорить, Сашка убеждал, старичок упирался, потом попросил Сашку продать ему бекешу — на Сашке была теплая старинная, времен гражданской войны, отцовская меховая бекеша, — но Сашка говорил, что, если тот не держится за жизнь, ему не нужны ни бекеша, ни картошка. Тогда старичок признался, что его привязывает к жизни Сельма — показал на собачку, которая, дрожа обрубленным хвостиком, стояла перед Антиповым и неотрывно смотрела на него, подняв черную мордочку мудрой преданной старушонки. Так они проспорили и проторговались до темноты. И все же Сашка вырвал у фотографа мешок и в потемках попер его на станцию. Мешок был из толстой прочной бумаги, на морозе бумага трещала. Весил он килограммов пятьдесят, по утверждению Сашки, но Сашка всегда все романтизировал, поэтому, скажем, сорок, не больно тяжел, но взяться неудобно. Только на плече или на руках нести, как ребенка. На спину не получалось, он был жесткий, негнувшийся, и хвоста нет, не ухватиться. Проклятый мешок! Я Сашке не завидую. Он с ним нахлебался, пока доковылял до станции, ноги подгибались, сил не было подойти к кассе. Так и поехал без билета. Ух, мешок. Я эти мешки хорошо знал: мы получали в них американские абразивные камни.

Семичасовая электричка оказалась битком, работники торопились в Москву, в ночные смены. Сашка влез в тамбур, поставил мешок рядом стоймя. Народ подваливал на всех станциях, в тамбуре скучилась невозможная теснота, и, когда приехали на Белорусский вокзал, стали выходить скопом, мешок опрокинули. Сашка хотел крикнуть «Постойте!», но было стыдно кричать, да и кто бы послушался? Чертыхались, спотыкались, топтали по мешку, один сказал: «Тут вроде кто-то лежит». Другой: «Да пьяный небось скот». А третий определил: «Это чей-то мешок сдался». Прокопытили

его в ключья, картошку раскатали по тамбуру, половину вниз, под колеса. Сашка ползал, собирал. На вокзалах всякий свет запрещен, хоть глаз выколи, чего соберешь? А я предупреждал: будешь иметь дурацкий и глупый вид.

Сложил кучку на перроне, стал продавать, потому что взять не во что. Представляю себе, как он униженно бормотал: «Кому картошку... По дешевке... Отдам...» — а народ мимо, мимо, всем некогда, бегут на работу, кто впотымах покупать станет? Вдруг гнилая? Ничего не продал. Насовал сколько мог в карманы и пошел в метро. А кучка продержалась на перроне до утренних электричек, и тогда уж, наверное, растащили.

Поздним вечером он свалился вдруг на мою голову, я не спал, бабка уже спала, разговаривали на кухне, пили чай с сахарином, и он рассказывал всю эту ахи-нею с мешком, якобы смеясь, шутливо, но на самом деле с тайным отчаянием. Вид у него был обалделый. Он спросил: не могу ли я ему помочь продать бекешу? Почему-то он считал, что я на рынке более ловок. Я стал его отговаривать: отличная бекеша, ее можно носить еще двадцать лет, сносу не будет, ты что, с ума сошел, продавать такие бекеша? Но он сказал, что это его твердое решение: пока ехал ко мне, обдумал все варианты и понял, что бекеша — единственный выход. На другой день пошли на Даниловский рынок, я изображал покупателя, и нам удалось всучить бекешу одному типу в обгорелой шинели за семьсот пятьдесят. Мешок картошки стоил шестьсот. Мы купили еще самодельные санки и поволокли мешок по сырой, в тающем снегу Большой Серпуховской. В воздухе уже колыхалось тепло. Зима была позади. Сашка шел в телогрейке и посвистывал.

Пришли на Кировскую, в переулок, в двухэтажный дом, вход со двора, потащили вдвоем по деревянной лестнице наверх. Я у Льва Филипповича раньше не бывал. Женщина отворила дверь, показала рукой, куда идти, и шелестела сзади: «И все что-то тянут, тянут...» Лев Филиппович в белой рубашке сидел за столом и при свете настольной лампы, низко нагнувшись, разглядывал чертеж.

— А, картошка приехала! — сказал Лев Филиппович. — Это хорошо. Почему в другом мешке?

— Да тот порвался, пришлось пересыпать, — сказал Сашка. — Тот совсем пропал.

— А! — сказал Лев Филиппович. — Это жаль. Ну, молодец. Это ты правильно сделал.

За занавеской хлюпала вода, что-то постукивало, наверно, стирали. Наверно, таз стоял на табуретке, и табуретка стучала ножками в пол. Вдруг вышла Надя в длинной хламиде, вроде мужской полосатой пижамы, с рукавами, засученными до локтей, руки были мокрые.

— Ой! — вскрикнула Надя то ли обрадованно, то ли испугавшись. — Наверно, не ожидали? — Она засмеялась. — Я вот начальнику помогаю.

— Надежда мне помогает. К сожалению, не часто. Но и на том спасибо. Сейчас будем чай пить! — сказал Лев Филиппович и вышел из комнаты.

Сашка мертвенно молчал в своей излюбленной позе столбняка, с полуоткрытым ртом, а я сказал:

— Почему не ожидали? Вполне. Как раз ожидали.

— Ребята, знаете, — шепнула Надя, — я Льва Филипповича так жалею... Я вообще-то жалостливая... Кто ж ему постирает, приберется?.. У него всех, всех побили, подчистую... Даже прабабку девяноста лет...

— А нас не пожалеете? — спросил я нагло.

— Вас? — Она опять засмеялась, и лицо было пылающее, счастливое. — Чего вас жалеть? Вы молоденькие. Вас еще пожалеют.

Жалеть нас было не надо. Мы делали радиаторы для самолетов. И война приближалась к концу. Летом сорок четвертого Лев Филиппович добился того, чего хотел, — его отправили на фронт, больше мы о нем ничего не слышали. И все мы скоро разлетелись кто куда. Война сводила людей и рассыпала навек. С Сашкой я еще иногда встречался, а остальные исчезли. Темная от копоти, заматерелая, потерявшая цвет кирпичная стена бросилась мне в глаза, когда случайно — полжизни спустя — я забрел в этот переулок за Белорусским вокзалом, вдруг узнал свой завод и все вспомнил.

ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР — III

Она пропала весной, ушла, как снег, ее не было нигде, ни за что, никогда, вместо нее сверкало голубое небо, просохли аллеи, женщины копались в земле на

бульваре, нежная листва томилась в воздухе. Настало лето, ее по-прежнему не было. В доме на Ленивке, где она снимала комнату, говорили, что ничего не знают. Уехала — и концы в воду. В общежитии тоже не знали. Подруга Вика сказала, что видела ее последний раз в начале апреля, она говорила об академическом отпуске, после чего провалилась сквозь землю, она ведь с причудами. А после того, что случилось, стала вовсе «таво». Каждый день моталась на Ваганьково, на кладбище. Видели ее в пивной на Пресне с какими-то ярыжками. Да боже мой, теперь можно рассказывать всякие басни! Она исчезла, и все тут. И он стал понемногу освобождаться от нее, но однажды, придя с новым приятелем, румяным, лупоглазым и крикливым книжником Маркушей — впервые увидел его когда-то в квартире Бориса Георгневича, а потом улица свела, точнее, вот этот пятачок в проезде Художественного познакомил, — и вот, придя с Маркушей на горбатую улочку, тесную от магазинчиков и толпы, где по воскресеньям толкуются книжные барыги, истинные собиратели, пьянчужки, жулики, мелкие игроки в «железку», где все знают Маркушу и Маркуша знает всех, он встретил долговязого Левочку и спросил, не знает ли тот про Наташу. У Левочки было бескровное, теляное лицо, голова легонько качалась, к груди он прижимал растрепанный том «Нивы», прося за него сто пятьдесят, недорого. Левочке деньги были нужны срочно.

— Тебе зачем? — спросил Левочка, уставив на Антипова мутный, недобрый глаз.

— Просто интересуюсь, — сказал Антипов. — Помнишь, пианино перетаскивали?

— А? Ну, ну. Просто интересуешься... — ворчал Левочка. — Просто, знаешь, что бывает... Просто! Ишь ты, тетя Феня... А «Ниву» не желаешь взять? Пятиалтынный?

— Марафет, ты делом отвечай! — закричал Маркуша. — Про Наташу знаешь?

— А ты молчи, тля. Сперва Цвейга отдай...

И Левочка, шлепая галошами, отошел в сторону, свинтился в кучку книжников с портфелями, не сказал ни «да», ни «нет», забыл, Маркуша к нему подбежал, они шушукались, Левочка мотал длинной серой башкой. Но, когда Антипов, потолкавшись и не найдя того, что нужно — искал Бунина в любом виде, —

выбрался из толпы и пошел в сторону Кузнецкого, Левочка свистнул и, быстро шлепая, подошел.

— Постой-ка! Адресок есть. Сам провожал. Вещи ташил...

— Ну?

— Вещи — смех, одна корзинка... Два червонца...

Антипов подсчитал, в кармане было шестнадцать. Левочка дрожащими пальцами сунул бумажки за пазуху и, глядя в сторону, морща лицо, с ожесточением произнес:

— Черт с тобой: Краснодарский край, станица Лабиинская. А больше ничего не знаю, и не спрашивай.

С этого дня затеплилась мысль, даже не мысль, а фантазия, пустая надежда: сесть бы как-нибудь в поезд, пускай в бесплацкартный... Встать перед той, как лист перед травой, внезапно, чтобы ахнула и сказала: «Ты приехал? Молодец. Я рада...» Потому что все, что происходило в его жизни, не имело тайны, какой обладала она, исчезнувшая. И это мучило Антипова, и временами — ночами — сильно. Тайна Сусанны довольно быстро рассеялась, как речной туман поутру: пригрело солнце, и вместо таинственных очертаний видны некрасивые ветлы, старая лодка на берегу, дощатый настил для полоскания белья. В Москве было влажно, душно, лето началось с дождей и жары, все разлетелись кто куда — на практику, в поездки, на дачи, некоторые махнули на юг наудалую, рассчитывая покантоваться и отъесться в богатых колхозах на сборе, например, винограда. И спросить насчет командировки было не у кого. Но Сусанна оставалась в городе, и Антипов, поколебавшись — потому что зачем напускать туману, когда все развиднелось, — отправился в знакомый дом, прихватив по дороге бутылку портвейна «Три семерки» и банку крабов. Боялся, что встретят холодно, не появлялся здесь месяца полтора, но выхода не было. Однако Сусанна изумила опять — вскрикнула радостно, обняла душистыми руками и не-обмерной грудью, прижалась щекою к щеке, в мгновенном прижатии было прощение неизвестно чего и нечто едва уловимое новое, с оттенком товарищества, что было прекрасно.

— Ты куда пропал, хулиган? — громко, капризно и весело спросила Сусанна и, схватив за руку, потащила в комнату.

За круглым столом, за которым не раз сживал

Антипов, а до Антипова Мирон, а до Мирона еще какие-то товарищи, может быть, даже Борис Георгиевич, теперь сидел черный, коротко стриженный Феликс Гущин и смотрел не улыбаясь, застылым взглядом. Эта застылость не означала ничего плохого, Гущин всегда смотрел так.

— Те же и пропащая душа, Саша Антипов, — сказала Сусанна. — Надеюсь, вы не имеете ничего друг против друга? Или, как теперь говорят, вы монтируетесь?

— Вполне, — сказал Антипов.

— Мгм, — подтвердил Гущин.

Пожали руки. Гущин был странный тип, держался особняком, был неразговорчив, а если разговаривал, то не о том, о чем говорили все, а о чем-то своем, иелепом. Голос у него был тихий, и он будто совсем не заботился о том, чтобы его слышали и понимали. Писал стихи, вроде бы неплохие, но какие-то несуразные, никчемные, печатать их было нельзя — так говорили ребята из семинара. Кроме того, Гущин занимался боксом, носил на пиджаке значок мастера спорта, но Мирон утверждал, что значок липовый, Гущин не боксер, а визионер, галлюцинирует, воображает себя Метерлинком. Гущин приносил в институт перчатки и после лекций предлагал желающим поучиться боксерским приемам, стойке, ударам, тому, что может пригодиться на улице. Раза два и Антипов соблазнился на такие уроки, но Мирон его высмеял. Сусанна щебетала, разливая портвейн:

— Чудесно, что вы монтируетесь, слава богу, я устала от несоответствий. Вы все такие особенные, каждый сам по себе, каждый с комплексами. Я думала, только у нас, баб, бывают всякие квивпрокво, а теперь вижу... Вижу, вижу! — Хохотала, грозя Антипову и Гущину пальцем, точно уличая в плутовстве. — Вы хуже нас, мальчишки! Намного хуже, должна вам сказать! Но все равно люблю вас, дурачков...

И обнаженной рукой то ли шлепала, то ли гладила Гущина по плечу.

— Правда, любишь? — спросил Антипов, закусывая крабом.

— Люблю. Вы как кутята, ей-богу, тычетесь со своими папочками, тетрадочками туда-сюда, как слепые, беспомощные, а вас гоняют. Только и делают, что гоняют, бедных... Ха-ха... Хи-хи, боже мой, грех на вас

обижаться... — Прыскала со смеху, на глазах были слезы, и все старалась выгнуться попрямой, выставить горделиво свою шею почтовой марки. Никогда он не видел ее в таком состоянии. — Честно, мальчики, я вас уважаю. Я думаю, какую надо иметь адскую силу воли и несокрушимое честолюбие, чтобы, несмотря ни на что, вопреки всем очевидностям рваться...

Тут Гушин прервал оскорбительную фразу — не нарочно, а потому, что думал про свое, — и произнес:

— Человек должен бояться одного — самого себя. Не так ли? Ты, Саша Антипов, должен бояться Саши Антипова. Вы, Сусанна Владимировна, должны бояться Сусанны Владимировны...

— Что ты мелешь? Остановись! Вздор! — Она чмокнула Гушина в щеку. — С какой стати мне бояться себя? Бояться такой милой, доброй, все еще обаятельной женщины? — И опять хохотала, прыскала, горела пятнами, точила слезы и вытирала глаза пухлым запястьем. Антипов видел, что пришел зря. Все же заговорил: где бы достать командировку? Никого в Москве нет, Ройтек уехал. А командировка нужна смертельно. Сусанна предостерегающе вскинула раскрытую ладонь. — О делах не надо! За деловые разговоры штраф. Антипов, почему ты такой деловой?

— Ну вот, она навеселе, плохо соображает. Не надо было начинать.

— Нет, Антипов, милый, ответь: почему ты такой деловой? А? Приходишь только по делу? — Она дергала его за руку, требовала ответа, а пылавшее лицо ежемгновенно менялось: то улыбалось, то смотрело вдруг неприязненно. — То устраивай тебе Ромку Ройтека, то еще кого-то, то командировку... Всему учи, во всем помогай... А мне надоело, хочу, чтоб меня учили, мне помогали. Нельзя же так, Сашенька, исключительно на деловой почве...

Он краснел и мялся, униженный.

— Почему ты молчишь? Проверь меня. Скажи: «Дорогая Сусанна Владимировна, это ложь...»

— Да что опровергать... — пробормотал Антипов.

— Вот за это люблю: за то, что честный и простодушный. Такой честенький, простодушенький эгоистик. В тебе много детского. Но ты себя воспитывай, вот бери пример с Феликса. Ему ничего не нужно. Художник и дела — это гадость, это плебейство. Я вас

прошу, мальчики, я умоляю, не будьте деловыми... Правда, Феликс?

— Что? — Феликс глядел нездешними очами в пространство между Сусанной и Антиповым и вдруг заговорил стихами: — Когда я был маленький, мне было совсем легко, зимой я ходил в валенках, а летом пил молоко...

Сусанна закрыла глаза. Потом было стихотворение об атомном взрыве, о конце мира. Сусанна, видно, уже слышала эти замечательные стихи, потому что шепотом комментировала:

— Больше всего он боится бомбы... Тотальная смерть... А тут когда...

Антипову стихи показались скучными. Когда он поднялся уходить, Гушин пригласил его во вторник в институт: там пусто, можно в зале позаниматься. Перчатки он принесет.

Сусанна вдруг бросилась уговаривать Антипова остаться, обнимала его могучей рукой за шею и другой рукой, вцепившись в Гушина, тянула того зачем-то из-за стола. Освободиться было непросто. Знакомый душный запах духов одурял Антипова. Она говорила, что не хочет, чтоб они расставались, Антипов и Гушин, пусть они будут оба вместе всегда и во всем, они такие разные и так монтируются. Если сейчас все они расстанутся, будет невероятно глупо. Но Антипов проявил твердость и вырвался на простор прихожей.

Сусанна завязывала на его шее распутившийся галстук и, близко глядя в глаза, негромко, трезво сказала:

— Не огорчайся, командировку мы сделаем. «Молодой колхозник» подойдет?

— Да, — сказал Антипов.

— Вот и хорошо, все будет в порядке. Ты только попроси Бориса Георгиевича, чтобы написал рекомендацию, а мы сделаем письмо. Будь здоров, милый. — Она поцеловала его в щеку. — Не пропадай! — И слегка подтолкнула в спину, когда он шагнул за порог.

Гимназическая подруга тетки Маргариты принесла пакет — дневники погибшего мужа, который в давние времена дружил с Кияновым. Надо было Киянову передать. Разговор об этом велся давно, но подруга — Татьяна Робертовна, тетка звала ее Таней — была до странности нерешительна, колебалась, мучилась, то го-

това отдать, то раздумала, и если уж раздумала, то требовала, чтоб Антипов не обронил Борису Георгиевичу ни словечка. Так тянулось зиму, весной Татьяна Робертовна заболела, пролежала в больнице три месяца и теперь решила наконец драгоценность отдать. Почему именно Борису Георгиевичу? Ведь Киянов вел себя не вполне безукоризненно по отношению к Мише, то есть к Михаилу Ивановичу Тетерину, мужу Татьяны Робертовны. Они дружили в юности, потом Миша внезапно — после совершенно блестящего успеха «Аквариума» — стал знаменитым, Борис ревновал, произошло охлаждение, а затем случилась трагедия, и Борис проявил себя, ну, скажем, не на сто процентов джентльменом. Антипов ничего об этом не слышал. Разумеется, в литературном мире об этом не знают. Антипов не принадлежит к литературному миру. Он пока еще в предбаннике. Так вот, ничего ужасного Боря Киянов не совершил, кроме малости: снял фамилию Миши на общей пьесе, написанной в тридцать четвертом году. Татьяне Робертовне стало невозможно с ним встречаться, он тоже не горел желанием, сначала позванивал, потом оборвал, но какие-то деньги, отчисления за пьесу, переводил почтой. Пьеса патриотическая, она шла во время войны. Сейчас почти не идет. Вот, собственно, вся подоплека, отчего Татьяна Робертовна сомневалась и колебалась. А теперь решилась из-за своего состояния. Тетка Маргарита возразила: какое особенное состояние? Выписали из больницы, вид отличный, не надо на себя наговаривать.

— Я долго не проживу.

— Татьяна! Зачем ты так говоришь? — воскликнула тетка Маргарита сердито и одновременно плаксиво. — Пожалуйста, не говори так. Тем более что неправда.

— Правда. Родственников у меня нет, наследников тоже. Литературный музей брать не хочет. Кому оставить? Жива, правда, первая Мишина жена, но ты ее знаешь, я не могу с ней. Лучше уж Боре.

Антипов рассматривал невзрачное мелкое личико в мелких морщинках, мелких седоватых кудряшках ошеломленно — видел эту женщину не раз и не знал, что она жена Тетерина. Того самого, о котором он слышал, книги которого пытался достать. Спросил сразу: нет ли чего почитать Михаила Тетерина? Читает он быстро, за ночь книгу. Полная гарантия сохранности и тайны вклада. Татьяна Робертовна собрала все мелкие скла-

дочки вокруг сохлого рта, что-то этими складочками томилась выразить, губы пошевелились немного, но так и не раскрылись, молча покачала головой. Тетка Маргарита за нее объяснила: ни одной книги мужа у Татьяны Робертовны не сохранилось. Потом стали вспоминать прошлые годы, гимназию, тетка Маргарита все помиила хорошо и говорила много, а Татьяна Робертовна вставляла слова изредка и невпопад, и все что-нибудь про Мишу. Вдруг рассказала про ту ночь, когда Миша уехал в Ленинград, откуда не вернулся, какой странный сон приснился ей тогда. Будто в Мишином кабинете возле книжных полок стоит коза, надо ее доить, а она боится к козе притронуться. Миша говорит строго: «Ты должна научиться. Это крайне важно». У него была любимая фраза: «Это крайне важно». Но зачем же, боже мой? Я не хочу! Я не могу! «Нет, ты можешь, ты будешь. Это необходимо для жизни». И вдруг она слышит, как коза шепчет: «Совсем просто. Как на швейной машине. Я вас научу». Тут она проснулась от непонятного страха. На другой день он не позвонил ни утром, ни вечером, она сама позвонила друзьям, и они сказали, что он уехал к кому-то на дачу, в деревню Козино. Когда услышала «Козино», сердце оборвалось — поняла, что непременно что-то случится. Друзья разговаривали весело, ни о чем не догадывались, а она уже дрожала. Два дня места себе не находила, не было ни звонков, ни телеграмм, потом помчалась в Ленинград и там узнала. Вот еще почему никогда Борису не простит — ему позвонили из Ленинграда в тот же день и обиняками дали понять. Так что он знал. Но ей сказать побоялся. И она металась в неизвестности, хотя, если бы он сказал, если б она узнала, если б не потеряла три дня, разве что-нибудь изменилось бы? Ничего, разумеется. Удар ужаса пришелся бы на три дня раньше. Но все равно обязана была ей сказать. Потом женщины заговорили о болезнях и о ком-то, кто лечит травами.

Антипов ушел в комнатку, где спал, когда приходил к тетке, и лег на диван. В комнатке стоял сладковатый запах сухой лаванды. Тетка говорила, от моли. Антипов думал о Борисе Георгиевиче с жалостью. Он забыл, что должен к нему поехать и просить насчет командировки. А когда вспомнил и вышел в большую комнату, Татьяна Робертовны не было.

— Мы думали, ты лег спать. Поэтому Таия не по-

прощалась, — сказала тетка. — Знаешь, Таня решила так: она дневники пока что забрала. Ты сначала спроси, согласится ли он их взять. Ведь он может не согласиться, ты понимаешь? Зачем же тогда нести?

— Хорошо, — сказал Антипов. — Я спрошу. А если он скажет «да» и она опять раздумает?

— Несчастная Таня! — вздохнула тетка Маргарита и слабо махнула рукой. — Чего ты от нее требуешь...

Жарким воскресным днем Антипов спрыгнул с подножки вагона на дощатый перрон, вокруг был лес, пахло хвоей, сиял и стрекотал июльский полдень, пассажиры с сумками и рюкзаками тянулись тропкой на бугор, подъем был крутой, женщины останавливались. Антипов шел налегке, он взял поклажу у одной старухи и еще сумку у молодой женщины, которая все смеялась и что-то рассказывала. Дорога шла лесом мимо озера. Было жарко. В озере плескалось много людей, несколько лодок скрипело уключинами. Местечко было чудесное. Старуха сказала, что они дошли, кланялась и говорила: «Дай вам бог! Дай вам бог!» — и это относилось к Антипову и к молодой женщине. Антипов отдал старухе ее авоську, набитую коробками спичек и буханками хлеба. Молодая женщина обо всем говорила со смехом. «Меня зовут Гортензия, — говорила она, смеясь. — Можно просто Тезя». Она была в очках, со светлыми волосами. Спина красная от загара, в веснушках. Гортензия ничуть не стесняла Антипова. Вообще он заметил, что в последнее время перестал стесняться и конфузиться по пустякам. И даже теперь, когда шел к Киянову, незванный, с просьбой, он как ни странно, не испытывал никакой неловкости — уж очень хотелось поехать и найти в Краснодарском крае Наташу. Гортензия остановилась и сказала: «Как жарко! Не хотите искупаться?» Он сказал: «Нет, сейчас не хочу. На обратном пути». Гортензия взяла у него сумку, вышла на солнцепек и сразу стала снимать сарафан. Она была широкая в кости, с длинными ногами. Волосы были как пакля. Может быть, она красилась. А может, они казались такими белыми на солнце. Не сняв очков, побежала в воду, плюхнулась и поплыла, держа голову высоко. Антипов смотрел на нее и вспоминал Наташу. Он вспоминал Наташу даже тогда, когда думал о другом. Через полчаса стоял перед ка-

литкой в глухом заборе, нажимал кнопку звонка, слышал лай пса, потом женщина крикнула:

— Борис, ты кого-нибудь ждешь?

Прошло долгое время, прежде чем к калитке подошли, тот же голос спросил:

— Кто здесь?

Антипов назвал.

— А! Здравствуйте. Вы с Борисом Георгиевичем договаривались?

— Нет, — сказал Антипов. — Но я на минуточку...

— Проходите. Только прошу вас, Антипов... — она зашептала: — В самом деле, не засиживайтесь, хорошо? Вы извините, что говорю откровенно, без церемоний, но мы свои люди, правда же? У Бориса Георгиевича неважное состояние, не хочу его утомлять. И не говорите с ним о неприятном.

Антипов не имел понятия, о чем идет речь, но сказал: хорошо. Борис Георгиевич встретил радушно, сел на терраске, на теневой стороне. В большом доме были еще две терраски, внизу, и на втором этаже, но они принадлежали другим людям, тоже писателям. Одного писателя Антипов видел, в синих шароварах он расхаживал по дорожке, держа руки за спиной, в глубоком раздумье. Какой-то парень, видимо, сын писателя, возился с велосипедом, поставив его колесами вверх. Борис Георгиевич расспрашивал про студентов: кто что делает, куда уехал, что написал, интересовался, конечно, своими любимцами. Антипов рассказывал: Толя Квашнин устроился на лето в редакцию, отвечает на письма, Володька Гусельщиков уехал на Белое море, Элла тоже куда-то уехала. А Злата печатает в «Вечерке» театральные рецензии под псевдонимом Златникова. Дима Хомутович издал в Детгизе книжку сказок.

— Вот как? — спросил Борис Георгиевич как бы с удивлением и поднял бровь. Нет, он не выглядел больным или чем-то подавленным, наоборот, вид имел гораздо лучше, чем в городе: загорелый, улыбающийся, хотя немного сонный, все зевал и потягивался. Холщовый занавес на терраске надувался и хлопал, ветер был жаркий, пахло флоксами. Валентина Петровна принесла стакан морса и бутерброд с кусочками колбасы. Колбаса показалась Антипову замечательной. Копченая, три маленьких твердых кусочка. Он уже собрался сказать Борису Георгиевичу насчет команди-

ровки и рекомендации — минута была удачная, Валентина Петровна вышла, а ему не хотелось ни о чем просить при ней, — но Борис Георгиевич вдруг наклонился и вполголоса спросил:

— Статейку читали? Я и не знал, что я скрытый декадент. Только молчок, при Валентине Петровне ни слова! Она переживает...

Валентина Петровна вернулась, неся стакан морса и еще один бутерброд с колбасой. Борис Георгиевич взял бутерброд, стал вяло жевать.

— Борис, это было для гостя. Как вам нравится? — Она засмеялась, но за другим бутербродом не пошла, села к столу и стала обмахиваться веером. Все шло хорошо. Антипов рассказывал о новостях, о том о сем, о болезни директора, о том, что с сентября приедут корейцы и албанцы, успел сказать про «Молодой колхозник», намекнуть на рекомендацию, и Борис Георгиевич кивал благожелательно и говорил «ну да! ну да!», вдруг Валентина Петровна ни с того, ни с сего с неожиданным напором сама заговорила о запретном:

— Я не понимаю, у вас такой благостный разговор, а между тем творится бог знает что. Как вы объясняете появление таких статей, как эта, против Бориса Георгиевича? Что это значит?

— Валя! — В лице Бориса Георгиевича мелькнул испуг.

— Вы не в курсе? Ну как же, в «Литгазете» статья некоего Петренко — разумеется, псевдоним, но мы предполагаем, кто за ним скрылся — о последней очерковой книге Бориса Георгиевича...

— Валя, я прошу! — Борис Георгиевич взял жену за плечи и твердым шагом увел с террасы в комнату. Закрыв дверь, вернулся и сел в свое кресло. Стал выколачивать трубку. Но дверь слегка отворилась, в щели показалось побледневшее, с блестящими глазами лицо Валентины Петровны.

— Этот человек бывал у нас дома! Я поражаюсь бесстыдству людей! — Дверь захлопнулась.

— Не обращайтесь внимания... — пробормотал Борис Георгиевич. Мотая головой и мыча, как от боли, он стал ходить по терраске, забыв про Антипова и повторяя: — Не обращайтесь, не надо.

Он ходил долго, а Антипов не знал, что ему предпринять. Напоминать про рекомендацию было нехста-

ти. Обождасть хотя бы минут десять. Чтоб не сидеть молча, заговорил, о чем просила Татьяна Робертовна: насчет дневников. Не согласится ли Борис Георгиевич взять?

Борис Георгиевич перестал ходить и уставил глаза на Антипова с изумлением.

— Вы о ком?

— О Татьяне Робертовне.

— О жене Миши Тетерина, что ли?

— Ну да.

— Да вы-то при чем?

— Я вам рассказывал, вы не слышали. Моя тетка Маргарита Ивановна училась с нею в гимназии...

— А! Понимаю.

С неожиданной стороны раздался голос Валентины Петровны, она почему-то оказалась в саду и стояла теперь внизу, возле террасы:

— Не надо брать никаких бумаг.

— Ну почему, собственно...

— Повторяю, брать не надо.

В ее голосе звенела нервиость. Борис Георгиевич сопел трубкой, обдумывая. Было похоже, что оба в молчании решают какую-то сложную задачу. Антипов вдруг почувал: в воздухе этого дома и сада что-то переменялось. Так меняется ветер, и внезапно среди теплого дня пахнет севером. Он отчетливо понял, что прежнего разговора не будет и что эти люди хотят, чтобы он ушел. И тотчас он встал, попрощался, что-то путано объяснил насчет того, что опаздывает, и пошел поспешно к калитке, вовсе забыв про рекомендацию для «Молодого колхозника». Борис Георгиевич молча провожал до калитки и, открыв щеколду, сказал:

— Передайте, что я не понимаю задачи с этими дневниками. Пусть Татьяна Робертовна позвонит и сама скажет, чего хочет. Я немножко знаю Татьяну Робертовну и поэтому и проявляю осмотрительность. Будьте здоровы!

Он поклонился. Все было другое — и лицо, и взгляд. Пройдя несколько шагов, Антипов вспомнил про рекомендацию, но возвращаться было невозможно. Он затронул что-то недозволенное, и все разрушилось. «Черт меня знает, — думал Антипов, — обязательно влипну в чужую историю. Это какой-то рок — влипнуть в чужие истории. Ладно, обойдусь». Он возвращался на

станцию прежней дорогой, мимо озера, и увидел бело-волосую Гортензию на том месте, где они расстались; рядом на песке сидела под зонтиком девочка лет четырех, тоже в очках. И волосы у девочки были как пакля. Антипов остановился возле них, колебался: купаться или нет? Было как-то не до того. Попусту потерял день. И, кроме того, он страшно проголодался. Однако предвечерний зной томил так сильно, что он все же быстро разделся, побежал по горячему песку и прыгнул в воду. Вода была прохладная, наверно, тут был ключ, в воде плавали кусочки глины и отломившийся от берега дерн. Гортензия что-то кричала с берега, махала руками, но он не мог разобрать и без очков ничего не видел — туманное, облитое солнцем, телесного цвета пятно. Он стал медленно нырять, потом поплавал на спине, лежал недвижно, раскинув в стороны руки и ноги, и думал: если бы научиться не влипать в чужие истории. Ведь он чувал, что с дневниками дело неладно. Недаром она колебалась. Что-то ее останавливало. А он по дурацкому простодушию или, лучше сказать, по дурацкой беспечности ничего не понимал, позволил собой манипулировать, вот и влип. Когда снова взглянул на берег, увидел, что Гортензия все еще машет руками — туманное пятно верхним краем дрожало. Он подплыл ближе, Гортензия кричала: «Дожди! Дожди! Уходите!» Он и не заметил, как надвинулась туча. Где-то поблизости уже гремело. Гортензия собирала вещи, схватила зачем-то его рубашку и брюки, а его попросила взять на руки девочку. Дождь хлынул внезапно и мощно. Мальчишки бесновались на середине реки, гикая, хохоча, но все, кто был на берегу, кинулись спасаться под навес дощатого павильончика или под деревья, которыми была обсажена дорога. Бежать без очков с девочкой на руках было непросто. Девочка начала плакать, ее мама в купальнике с багровой спиной и розовыми ногами неслась вперед, как физкультурница, и смеялась. Взбежали по крыльцу на застекленную верандочку. Гортензия была тоже без очков, улыбалась бессмысленно, волосы облепили голову, она походила на мальчишку. Гроза кипела. Все за окном стало белым, как в метель. С треском и гулом грохотал ливень, молнии раскалывали округу. Девочка вдруг запрыгала, закричала, стала хлопать в ладоши, мать схватила ее и убежала в комнату. Антипов сидел в трусах на чужой веранде, оглушенный шумом воды, и думал: опять?

Влезая постепенно в историю? Он просидел так довольно долго, гроза неспешно удалялась, ливень стихал, и Гортензия вышла в байковом халатике, причесанная, в очках и вся розовая, пылающая, как видно, здорово обгорела сегодня; по-деловому спросила: «Кушать будем?» Он сказал: да. Поели котлет с помидорами и огурцами, выпили по стаканчику вишневой наливки, стало хорошо, весело, пили чай. Гортензия рассказывала о своей жизни: она работала сестрой в железнодорожной поликлинике, девчонка на неделе в саду, мужа нет, подрабатывает вязаньем, у нее тут много клиенток среди дачниц. Все это сообщалось со смехом. Антипов чувствовал, что может позволить себе с этой женщиной многое, но она ему как-то не нравилась. Хотя она была красивая, белокурая, со спортивной фигурой, такие женщины ему, в принципе, нравились... Но в ней было что-то не то. Подъехал мотоцикл, затопали по крыльцу, вошли двое, один белобрысый, широкий, с пологими плечами и без шен, как медведь, спросил: «Это что за какашка тут сидит? Возьми-ка его!» Второй взял Антипова за руку и с силой дернул из-за стола, Гортензия закричала, белобрысый толкнул ее в комнату, запер дверь, Антипов успел подумать: «Ну, вот... — и почувствовал удар под ребра, отчего исчезло дыхание, затмилось все, кроме догадки: — Это, наверно...» Еще был удар в ухо, коленом в лицо, потащили, толкнули с крыльца, и он растянулся на мокрой земле. Белобрысый кричал: «Еще раз тебя застану, поедешь отсюда на катафалке!» Антипов не мог шевельнуться, из носа и губы текла кровь, но в сознании блеснула мысль: рассказ под названием «Цепь». Ведь началось с того, что он предложил женщине понести сумку. Разумеется, надо все усложнить, цепь событий должна быть длинной, может быть, в несколько дней и даже лет, герой может на женщине жениться... Дыхание возвращалось, Антипов сел и огляделся, ничего подходящего вокруг не было. Он выворотил из земли замшелый кирпич и встал покачиваясь. Ну, например, так: герой убивает кирпичом соперника, любовника этой женщины, белобрысую сволочь. Нет, не годится. Это на поверхности. Антипов отбросил кирпич. Ноги держали плохо. Дверь веранды распахнулась, появился белобрысый и крикнул: «Земляк, извини! Я думал, ты Николай. Поди сюда, товарищ, ударь меня в ухо по справедливости».

Белобрысый и его друг помогли Антипову подняться в дом, посадили за стол, Гортензия поставила новую бутылку наливки. Белобрысого звали Лавром, он оказался братом Гортензии. Он ненавидел некоего Николая, с которым не был знаком, но прослышал, что он обижает Гортензию. «А кто сеструху обидит, тому не жить. Я твоего Николая когда-никогда покалечу». У Лавра были голубенькие, глубоко вбуравленные медвежьими глазки, не имевшие выражения: ни злого, ни доброго, ни теплого, ни холодного. Работал Лавр шофером, в войну был разведчиком, приволок сорок восемь «языков». Главная страсть Лавра — защищать справедливость и наказывать нарушителей. «Вчера в продуктовом в очереди один стал выражаться громко, я ему раз по-хорошему сказал, два, он ни фига, тогда жду на улице, заталкиваю во двор и давай метелить: «Будешь знать, как выражаться в общественном месте!» В таком духе Лавр рассказывал долго. Гортензия поглядывала на брата с каким-то глубоким, давно заданным ужасом. Она не смеялась больше, ничего не говорила, молча подавала, уносила, и Антипов ловил ее просительный взгляд. О чем-то она его умоляла. «Тут тоже: иду озером, гляжу, трое на берегу водочную посуду колотят. Что же вы, скоты, делаете? Люди здесь босиком ходят, пацаны бегают, а вы посуду колотите. А ну, говорю, собирай осколки! Чтоб все, говорю, до единого мне собрать. Они меня на смех, ну я и пошел метелить. Уж очень злой сделался. Метелил-метелил, публика набежала, стала их вырывать, одного повредил, двое сбегли. За справедливость я глотку порву...» Вторую бутылку наливки прикончили, огурцы с помидорами доели дочиста, и Лавр со своим другом сели на мотоцикл, затрещали, исчезли.

Ливень давно кончился. Был поздний вечер, звездное небо. Идти на станцию Антипов не мог. Гортензия заплакала и сказала: «Вот представь, все детство была у него как рабыня. Одни росли, ни отца, ни матери, ни бабки, ни деда. Страшно, а? — И вдруг перестала плакать, улыбнулась. — Нет, а все же, когда чего-нибудь не хотела, чего он требовал, я стояла насмерть и он не мог ничего. Я не поддавалась». Антипов смотрел на беловолосую женщину со смуглым, при электрическом свете мулатским цветом лица и думал: ее отец был ботаником. Он рано умер. Он собирал гербарии. В доме сохранилось много никому не нужных старых,

ветхих гербариев. Это было опасно, и пленительно, и пугало, и тянуло. Гортензия мучилась от ожога. Наверно, у нее поднялась температура. Она попросила помазать обгоревшие места кислым молоком, разделась до пояса, легла на топчан, и он стал ладонью осторожно — у нее все горело, каждое прикосновение приносило боль — обмазывать кислым молоком ее плечи, спину, поясницу, все длинное, пылавшее жаром тело. Кончилось тем, что не спали всю ночь. Любовь пахла кислым молоком. Заснули на рассвете, а в семь надо было везти девочку в детский сад электричкой, и они вместе пошли на станцию ясным холодноватым утром.

В конце августа Антипов приехал на жаркую, мгlistую от зноя, с жемчужными гребешками гор Кубань, ездил по станицам, сидел в дымных зальцах на колхозных собраниях, мотался в степи на линейках, исписал две записные книжки именами, цифрами, названиями, диковинными просьбами в заявлениях на листочках из школьных тетрадок, речами на собраниях, руганью на базáх, спорами о суперфосфате, кориандре, закладке силосных ям, разведении карпа, добывании запчастей, поговорками и словечками вроде «кони как слепленные», или «кобыла была, как печь», или «это осенью мы такие богачи, а весной такие старцы, что крышу разбираем», или «возьми хорошую косу, они ее так затрынкают», или «мы, колхозники, не должны бросать их в грязь лицом», или «как я пошел ходаковать», или «ежедневно при клубе работает роща» и тому подобными, неслыханно прекрасными выражениями: он похудел, обуглился, надышался горьким и пыльным простором, накурился махры, выпил незнамо сколько самогона из бурака, наелся арбузов до конца жизни, побывал в Усть-Лабинской, в Лабинской и в окружающих Лабинскую станицах, повсюду спрашивал о Наташе Станищевской, москвичке, но следов ее не было. Он потерял надежду. Но не слишком огорчался, потому что увиденное ошеломило его и к середине сентября он забыл о том, что его сюда занесло.

И вот незадолго до возвращения домой он сидит в комнате правления в «Красном кавалеристе», слушает разговоры, бредни, жалобы, просьбы, кое-что записывает — не так жадно, как в первые дни, он и этим насытился, как арбузамн, — и наблюдает за слепцом,

дядькой Якимом, как тот удивительно терпеливо закуривает. Разомнет фитиль, начнет отбивать искру на кремне, ударит трижды, поднесет к губам, раздувает, огонька нет. И так раз пятнадцать размеренным спокойным движением, а губы все не чувят жара. Наблюдает Антипов с почти исследовательским и возрастающим азартом — когда иссякнет терпение? И когда мужики заметят бедолагу и придут на помощь? Однако терпение не иссякает, а мужики захвачены шумным спором о постройке бани. «На кой три окна? В бане не надо, чтоб видать было. Сделаем два... Котел где-то вот здесь. В женской помене котел, они любят не дюже париться, в мужской поболее... А размеры какие вы ракумендуете? Я ракумендую пятнадцать метров на пятнадцать... Цокиль сделаем в полтора кирпича... Районный инженер не ракумендует строить мужскую и женскую, а обчую...»

— Тебе что, дед?

— Улик у меня есть, рочку бы мне...

Слепой все стучает методически огнивом по кремню. Молодой парень просит выписать помидоров. Нету помидоров. Ну как же? Что ж я исть буду в зиму? Я с теткой живу, на квартире стою. Председатель, смуглый, с усами, как у Чапая, вскидывается грозно: «А вы почему не в степи?» Старик просит денег на кухвайку. Денег нема. Я тебе брюки куплю. Заявление Чумакова — сто три дня сторожевал в бане, а ничего не начислили. «Так он там все дрючки стащил!» Другой старик: у меня воспитанница, отец и мать побиты немцами, она не достигла совершенных лет, но заработала сто семьдесят трудовней. Правительство теперь говорит: проводить ласковую культуру в крестьянском нашем крестьянстве. Прошу вернуть ей пшеницу за сорок пятый, сорок шестой годы...

Слепой все стучает и стучает по кремню, наконец его замечают, поднесли огонь. Тебе чего, Яким? Три кошелки соломы. На покрытие крыши. Эх, Яким, у нас для всех едино — хочешь соломы, давай сена. Накоси три кошелки — получишь солому. Кому ж косить? Бабка, сами знаете, ноги пухлые, племянница не умеет, не деревенская, за спасибо солому не дают, отказ решительный, и можно бы уходить, но слепой не уходит, сидит, слушает, соображает, неожиданно вступает с дельными замечаниями. Память у него, как книга. «Где ж этот Гринин работает?» Молчат, вспо-

минают. «Да в первой он!» — вдруг говорит слепой. «А почему нынче капуста была на Лабинском базаре?» Опять замешательство, никто толком не знает, слепой подсказывает: «Бабка Маревна говорит, по четырнадцать! И то назахватки берут...»

Антипову рассказали: немцы палили хутор, Яким людей спасал, а у самого глаза пожгло. Вернулся в сорок третьем, семьи нет, жену полицаи убили, ненавидели ее, потому что все им поперек делала, не страшилась, и за то, конечно, что муж партизанил. А детей угнали то ли в Германию, то ли здесь куда-то в трудовой лагерь, так что пропали бесследно. Осталась одна бабка, живут вдвоем на птицеферме за станцией, в балочке. И загорелось Антипову узнать про дядьку Якима побольше, расспросить про партизанскую жизнь, потому что чувствовал: тут кроется превосходнейший материал. Героизм, самопожертвование, страдания и одиночество — что может быть благодатней для прозы! Это гораздо важнее всего, что Антипову удалось узнать и записать до сих пор, и как удачно, что он встретил слепца, хотя бы за три дня до отъезда. Вечер, желтеет закат, прохлада сходит с небес, сушь и жаром дышит раскаленная за день степь, двое бредут пыльным проселком; впереди, постукивая палкой, не слишком быстро, но уверенно шагает слепой. За ним Антипов; слепой рассказывает, Антипов запоминает.

Когда пришли немцы, в станице сразу обнаружались и стали главными худшие люди. Фашизм — приход худших людей. Не требуется других объяснений. Худшие по качеству люди — они и есть разносчики заразы. Запомнить историю с девушками, которых держали в подвале. И как людей побросали в карьер и завалили камнями. Все это было недавно, четыре года назад, здесь, где сейчас тишина, звенят цикады, слабо рокочет трактор, боронят пашню под озимые, и Яким вдруг хватается Антипова за руку, останавливает его.

— Слушайте! — Ничего не слышать, кроме тихого гула, какой звучит в тишине всякого знойного вечера в степи. — Та пчела же! Слушайте лучше! Летают же, как бомбовозы!

Антипов замечает: невдали пасека, едва уловимо доносится оттуда гуд пчел. Некоторые долетают сюда, проносятся над дорогой, как пули. Они собирают с подсолнуха и маленького белого цветка, называемого «зябрик»,

который растет, как сорная трава, на пустых полях.

— И приходит теперь Пантелей, конюх, — продолжает Яким, — они его взводным сделали, фуражку дали германскую, только без орла...

Фашизм еще вот что — безнаказанность. Почему-то полагают, что им все дозволено. Чго для них нет пределов. А как это заманчиво для бедного человечества! Но тут ошибка — предел есть. Он вот в таких, как этот седой, с обгорелым, в синеватых пятнах лицом, со светло-рыжими вислыми усами. Они бросаются в огонь, спасают других, спасают человечество, и это то, чего фашизм не предвидит. Предел есть. Когда Яким вернулся ослепший в станицу, в первый день попросил отвести его на бахчу, нагнулся, стал арбузы трогать: «Дай я их хочь пощупаю...»

С вершины холма видны два крытых соломой домика, вокруг домиков по зелени рассыпались белые крошки — птицеферма. Кроме бабки Якима тут работает еще одна женщина, сейчас больная малярией. Девчонка лет двенадцати, дочка больной, кличет тоненьким голоском: «Поля-поля-поля!» Антипов сел на неведомо откуда взявшуюся тут старинную садовую скамейку, вынул книжку, карандаш, терпеливо чиркает, чтоб не забыть.

— Ну, ну? И немец, значит, вас сразу признал?

Интересно, как за три недели чуть изменилась речь, проскальзывают словечки, которых раньше Антипов не применял — «признал» вместо «узнал», — и нарочно, не подлаживаясь, а как-то само собой. Привык к этим словечкам, как к махорке, а о папиросах забыл. Яким рассказывает, Антипов строчит, откуда-то выскочила белая, с куцым задком собачонка и запрыгала, закружилась, гавкая по-дурному на небо.

— Гоняй, гоняй их! Умница, Бельчик, — говорит Яким. — Гоняй их, чертей.

Над низинкою кружат коршуны, медленные, светло-коричневые, с темными крыльями. Девчонка несется с трещоткой, крича весело:

— Шугай, шугай, шугай!

Коршуны нехотя, делая обширные петли, отдаляются ввысь, пропадают. Яким говорит, ненадолго, они висят тут, над фермой, целый день, и кое-что им порой перепадает. Из домика вышла девушка с черными распущенными волосами до плеч, несет таз с бельем, и Антипов видит — Наташа.

Вскакивает, роняя наземь книжку и карандаш.

— Ты? — говорит Наташа и подходит, улыбаясь, трогает его спокойной рукой. — А я знала, что ты появишься. Только думала, раньше.

Он ошеломленно молчит. Ведь почти забыл про нее. Нет, не забыл, но она там, давно, в неизмеримо далеком. Забыл о том, что она здесь и что приехал из-за нее. С изумлением глядит на нее: худую, почти тощую, обожженную грубым загаром, кожа облупилась на носу, на резких скулах; в прорехе короткого сарафанчика видно темное от загара тело. И видно, что под платьем нет ничего. Как же она тут ходит, при мужчине? Да ведь слепой...

— Я стала некрасивая?

Он покачал головой.

— Глупо! Как будто была красавицей... Ты смотришь на меня, как собака на жука, озадаченно... Повернув голову набок.... — она показывает.

Он видит смеющийся рот, белые зубы. Берет его за руку и ведет в дом. Большая старуха сидит на мягкой постели, должно быть, лежала, сейчас подиалась, села и кивает, трясет космочками, шепчет добродушное, у нее коричневое, в керамических складках, широкое книзу лицо и узкий, непроглядно черный кавказский глаз. Такой же, как у Наташи. Она ее прабабушка. Наташа говорила, кто-то у нее из черкесов. И откуда все это? И надолго ли? Прабабка плоха, и невозможно уехать. Еще недавно, год назад, она ходила за птицей, была совсем ничего, а теперь ноги как чурбаки. Прабабке семьдесят восемь лет.

А Яким — вот он вползает, стуча палкою по порожку — прабабкин внук, точнее сказать, внучатый племянник. Наташе он двоюродный дядя. И ему, как и бабке, помощи ждать неоткуда, родные погибли. Ему жениться надо, он не старый еще, здоровенный, рука у него, как капкан. Поймает пальцами — не вырвешься. Сила невероятная, девать некуда. А жениться не хочет.

Слепой сидит на лавке, слушает про себя, головой никнет, соглашается.

— Сватают за него одну девушку старую. Почему не хочешь, дядя Яким?

— Потому нельзя меня полюбить, — быстро произносит Яким привычный ответ. — Меня пожалуй можно. А таких-то мне не надо.

— Она говорит — может, говорит, полюблю.

— Ха! Жди! Полюбит кобыла хомут...

Голос у Якима почему-то веселый, в пшеничных усах улыбка. И какая-то в нем нервность и нетерпение — сидит беспокойно, все палкою в пол тихонько колотит. Вдруг спрашивает:

— А вы, товарищ Антипов, когда в Москву думаете вернуться?

— Дня через три.

— Так скоро? — удивляется Наташа.

— Ха! — говорит Яким. — В гостях, скажи, хорошо, а дома лучше...

Наташа ведет в птичник. Он за ней, как во сне. Рассматривает, плохо соображая, небольшой базок, где пищат за невысокой огородной цыплята, ныряет в полутьму, оглядывается, дышит тяжелым воздухом зоопарка. Пол птичника заляпан пометом. На жердях проаживаются, выжидательно косясь на Антипова, куры. Несушки забралась на верхние желоба, сидят там, невидимые в охапках соломы. И голос Наташи в этой сутеме, в птичьей вони, в ворошении, шуршании:

— Не могу вернуться туда... Когда-нибудь смогу, а сейчас нет... В октябре поеду в Саратов, там место нашли в детском театре. А может, никуда.

— Здесь останешься? С курами?

— С бабкой. Она лучшая из всей моей родни. И как жаль, что встретились под конец жизни...

Пошаркивание, постукивание, и дядька Яким влезает в душную полутьму.

— Я что хочу сказать, товарищ Антипов: волки мучают, а лисы особенно. Так что сон у петухов, как говорится, смутный...

Быстро меркнет день. Сидят при свече, в чугушке яйца, хлеб пшеничный кисловат, молоко густое, тяжелое, Антипов привык к такому, запах от молока — телесной свежести. Разговаривают до мрака, до поздних, ночных звезд, и Яким сидит тут же, хотя его не слышно, дела до него нет, он зевает, сопит, то ли дремлет, то ли сторожит что-то, не уходит. Живет он во втором домике, там, где женщина, что больна малярией. Прабабка давно заснула. Разговаривают о каких-то пустяках, о московских забылостях, ненужностях, но думает он о другом: что соединило их ненадолго? И что разбросало? И теперь зачем-то опять? И есть ли во всем этом летучем и странном смысл? Зачем-то выпал

из громадного мира слепой и, постукивая палкой, привел в зеленую котловину. Расспрашивая о пустяках, Наташа думает: смысла нет. Она разрушена смертью. И нету сил восстанавливать то, что разрушилось, поэтому смысла нет. А нашли ли того, кто убил Бориса? Того не человека, который ударил по голове, как по мячу? Она искала одно время сама, рылась по всей Пресне, среди жулья и в закусовых, у пивных ларьков, на бегах и в бильярдных, и, если б наткнулась на его след — конец. А потом поняла вдруг: сходит с ума, надо бежать. И убежала. Но убежать нельзя.

— Милый, ты не поймешь, кем он был мне. Мой первый во всем... И сейчас без него я стала другой. Даже не другим человеком, другим существом...

Ему хочется сказать, что и он стал другим за время разлуки — он напечатал рассказ и узнал, что такое любовь. Стал настоящим мужчиной во всех смыслах. Но говорить об этом вслух неловко, к тому же тут сидит слепой и слушает. Антипову слепой нравится все меньше. Нахальный! Явно показывает, что имеет на Наташу права — уж не права ли отцовства?

— Я тоже стал другой, — говорит Антипов. И добавляет со значением: — Совсем другой, можно сказать.

Взяв Наташину руку, прижимает к своему рту, она не сопротивляется. Смело потянул ее всю к себе, она гибко и тихо передвигается к нему на лавке, и он обнимает ее, прикикает губами к худой, солнцепеком каленой шее, к губам, на них горечь, они стали сухими и твердыми, но они не сопротивляются, ничто не сопротивляется, ее тело послушно и вяло и спокойно принимает его беззвучные ласки. Слепой ворохнулся, поднял голову, его настораживает наступившая тишина.

— А что, товарищ Антипов, — говорит он. — Какой ныне час?

— Ты иди, дядя Яким. Спокойной ночи. Я сейчас стелиться буду.

— А товарищ Антипов?

— Нет его. Ушел товарищ Антипов. Иди, иди, Яким Андренч!

Слепой сидит минуту или две, замерев, голову опустив на грудь, вслушивается напряженно, потом поднимается с лавки и говорит:

— Здесь он. Я его дух слышу. Брехать зачем? Да по мне, хоть тут десять останься...

И медленно выбирается из комнаты. На дворе лает собака. Холодная ночь течет в дверь. Они выходят под звезды, потом возвращаются. Наташа задувает свечу; Антипова бьет дрожь, наворачиваются слезы, и то, что происходит, совсем не похоже на то, что было с той женщиной и с Сусанной, что-то другое переполняет его. И на глазах слезы оттого, что бесконечная жалость, невозможно помочь, надо прощаться, жить дальше без нее. Утром прабабка шепчет песню, а он записывает: «За речкой за Курой, там казак коня пас, напасемши, коня за чимбур привязал, за чимбур привязал, ковыль-травушку рвал, ковыль-травушку рвал и на золу пержигал, свои раны большие перевязывать стал...» Пройдет много лет, и он поймет, что что-то другое, переполнявшее его три ночи в степи, было тем, не имеющим названия, что человек ищет всегда. И в другое утро, когда председателя брочка стоит на бугре, ездовой Володька скалится сверху, делает какие-то знаки, а слепой Яким стоит навтыжку, как солдат, и держит в руках крынку с медом, и жизнь рухнула, и томит боль то ли в сердце, то ли в животе, и Наташа сидит рядом, глядя на него с улыбкой, он записывает последнюю прабабкину песню: «А я коника седлаю, со дворика выезжаю. Бежи, мой коник, бежи, мой вороник, до тихого Дуная. Там я встану, подумаю: или мне душиться, или утопиться, иль до дому воротиться...»

ТВЕРСКОЙ БУЛЬВАР — IV

В феврале 1950 года в будний день Антипов взял на Зубовской такси, пригласил сестр на заднее сиденье Мирона и Толю Квашнина, который подвернулся случайно — Антипов и Мирон стояли в очереди на стоянке, а Толя шел мимо, и Антипов внезапно от полноты чувств пригласил и его, хотя горячей дружбы между ними никогда не было, — сам сел к водителю и громко, бойко счастливо возгласил: «На Суцевскую!» Проклевывалась весна. Дымилась на пригреве тротуары. Голубизна то пропадала, то сверкала вновь, и солнце озаряло старый добрый желток домов, кучи синеватого снега и пешеходов с бледными зимними не улыбающимися лицами, на которых было написано одно: не з н а н и е. Никто из них не знал, зачем Антипов катит на Суцевскую. А им

было бы так важно, так безумно интересно узнать!! Ведь никто в целом свете, кроме, может быть, матери и в какой-то степени сестры, которая, однако, тоже проявляла временами нестойкость, не верил в то, что это случится, что когда-нибудь он возьмет маленький фибровый чемоданчик, сядет в такси и поедет на Сушевскую. Зачем чемоданчик, он сам твердо не знал. То, что он должен был получить на Сушевской, могло вполне поместиться в кармане пиджака. Но чемоданчик зачем-то был нужен! От кого-то он слышал, что кто-то приехал за своим первым гонораром с чемоданчиком. Для Квашнина все это было полной неожиданностью — он так привык к тому, что он один процветает! — да и Мирон был всегда доброжелателен не всерьез, в них так много путаницы, невероятной путаницы, нет существ более запутанных, чем друзья, и вот он назначил им это испытание — ехать вместе и радоваться за него. Впрочем, они быстро о нем забыли и тут же, в такси, затеяли спор о какой-то рецензии, которую напечатал Квашнин на книгу общего знакомого. Мирон упрекал его:

— Ты не имел права! Ты себя унизил!

Квашнин вяло оправдывался. Но, пока доехали до Сушевской, разговор стал нервным — Мирон толкал к тому, — и они кидали друг другу резкие фразы:

— А с какой стати ты делаешь замечания?

— Да по дружбе!

— А я не желаю слушать!

— А я не желаю читать похабелы!

— Ну и не читай, только не строй из себя гимназистку...

Машина остановилась возле бетонированной лестницы. Антипов спросил:

— Вы тут не разбежитесь?

— Нет, нет! — сказал Квашнин. — Иди спокойно.

— Куда ж разбежимся, когда ты обещал кормить?

Прыгая через ступени, потом поднимаясь в лифте, битком набитом — сегодня был выплатной день, авторы спешили на шестой этаж, где помещалась бухгалтерия, — Антипов весело размышлял о себе, о друзьях, об изнурительном деле, которым они занимались на свой страх и риск и которое делало их нетерпимыми, раздражительными, мучающимися от неуверенности и чужих успехов. Это были невеселые мысли. Но в такой день он не мог ни о чем думать мрачно. И он думал

о мрачном весело. Даже громадная очередь, свившаяся кольцами в полутемном зале перед кассой и грозившая поглотить не менее часа, не поколебала настроения. «Сбегать вниз и отпустить такси!» — подумал Антипов весело. Но тут возник Виктуар Котов, узнать его было нельзя — в черном кожаном пальто, в зеленой шляпе, лицо разъял, разругянил, невиданные черные усыки аккуратно подстрижены,— нагло всунул Антипова впереди себя, и через пять минут оба получили деньги. Это была удача. Немного снижало ее лишь то, что Котов теперь привяжется и до вечера его не отодрать. Но очень скоро он догадался, что знаменитая котовская прилипчивость так же видоизменилась, как все прочее в Котове: физиономия, одежда, ботинки, усыки, походка. Он ходил теперь иначе, не торопливой побегой, а степенно. И разговаривал как-то в нос и не очень внятно. Подумать, что делает с человеком даже махонькая должность и ничтожная власть — редактор на киностудии! Нет, он не собирался прилипнуть. Хотя, когда вышли на улицу и он увидел такси, знакомые лица за стеклом да еще стоявшего возле машины и разговаривавшего с Толей Квашниным поэта Пряхина — тоже прискакал за гонораром,— Антипов почувал, как Виктуар скрытно дернулся от привычного рывка прилипнуть, тут же подавленного. Он издали сделал приятелям приветственный жест, но с верхней ступеньки парадного входа не сдвинулся. Прилипнуть хотелось, но ждал, чтоб позвали.

Он что-то бормотал о сценарном портфеле, бормотал, бормотал, не двигаясь с места, и Антипов не выдержал, спросил, не хочет ли тот присоединиться. А вы что? Да так. А куда? Да еще не знаем. Кот помялся немного для вида и дал согласие, поглядев предварительно на часы, как деловой человек. Пряхин побежал за деньгами. Мирон спросил:

— Надеюсь, ждать его не будем?

— Его и посадить некуда,— сказал Квашнин.

— Поехали в шашлычную,— предложил Котов.— Шеф, к Никитским!

— Он и там найдет,— хихикнул Квашнин.

— Кто?

— Федька Пряхин. Он же обещал: я вас найду.

— Шиш ему! — сказал Мирон.— Антипыч его не приглашал. У нас сегодня Антипыч хозяин.

— Ничего, он без приглашений. Он не гордый.

— Меня Антипыч пригласил,— сказал Котов веско,— так что я среди вас законно.

— Про тебя никто не говорит,— ворчал Мирон — А я не желаю эту харю видеть... Он мне противопоказан...

— Да не придет он,— сказал Антипов.— Почему он должен прийти?

Однако часа через два, когда поели, выпили, надышались табачным чадом, запахами шашлыков в тесном зальчике, где столы стояли впритык, как на вокзале, когда поговорили о многом, поспорили, поорали всласть, отводя душу, ибо не виделись друг с другом по неделям и месяцам, когда Квашнин уже похвалялся своей второй книжкой и тем, что рубает роман, для чего ведет спартанский образ жизни — не пьет, не встречается с женщинами, гуляет по вечерам по два часа, а Мирон похвалился тем, что военная вещь, которую он уже пятый год пилит, будет ни на что не похожа, будет о смысле жизни, судьбе науки и что ни у кого нет такой биографии, как у него, писатель — это биография, так что он за себя спокоен, ему есть о чем писать до конца жизни, а Котов успел похвалиться влиятельностью своего положения и тем, что он может оказывать благодеяния, давать на отзыв сценарии, дребедень из самотека, и что «мы платим прилично», а Антипов уже успел насладиться мыслью о том, что никто из них, проедающих аванс за его книгу, не говорит об этой книге ни слова, ее еще нет, надо писать, но дело не в том, у них просто язык не поворачивается говорить о его книге, и он думал об этом без раздражения, а весело, с любопытством к человечеству; когда уже заказали коньяк и кофе и когда Мирон опять затеял распрю с Квашниным по поводу его рецензии на роман Сибирикова, внезапно в дверях возник Пряхин и, не мешкая, твердым солдатским шагом направился к столу Антипова. Объяснил, что увидел их в окно. Спросил дружелюбно:

— Пропиваем аванс?

И оглядывался, ища свободный стул, Антипов был, в сущности, не против, Котов обрадовался брату-пьянчужке, Квашнин торжествовал по поводу своей прозорливости и намеренно суетился, вскочил, стал искать стул, а Мирон помрачнел. Почему он так не любил Пряхина, было неясно. Оба были на фронте, в партизанах, Мирон недолго, а Пряхин партизанил два года, но какая-то глубоководная неприязнь разделяла их. Официант принес стул. Пряхин, севши, спросил:

— Я не помешаю?

Мирон хмыкнул. Антипов сделал жест рукой, означающий: о чем речь? Пряхин взял чей-то пустой фужер, плеснул туда коньяку и выпренне, но с чувством произнес, обращаясь к Антипову:

— Сашенька, за тебя! Очень рад. Лиха беда начало. Я читал твои рассказы и уверен, что и повесть будет великолепная...

Он потрясал фужером. Возник какой-то новый именниный тон. Но Антипов растрогался. Пряхин тянул руку, они чокнулись. У Антипова мелькнул даже позыв расцеловаться с лохматым, похожим на добродушного медведя Федькой Пряхиным, но Мирон прервал намечавшуюся идиллическую сценку:

— Праздновать аванс? Что за вздор? По-моему, так же глупо, как праздновать известие о том, что женщина забеременела. Надо еще родить, создать.— Мирон презрительно отмахнулся от пряхинского тоста.— Мы собрались по другому поводу. А что до тебя, мой милый,— тут он повернулся к Толе,— то оправдания тебе нет, как хочешь.

— Мироша, послушай...

— Не принимаю!

— Да не было выхода, черт бы вас взял! Он же меня изнасиловал: напиши да напиши о Сибирякове. А он мне — начальник. Куда денешься?

— Писать об этом типе...

— Это было насилие! Я уступил силе. В конце концов, все так или иначе подвергаются насилию. Ты думаешь, ты избежал?

— Братцы, есть большая мудрость в английском военном уставе,— сказал Пряхин.— Знаете? Про совет женщинам? Если, говорят, вы подвергаетесь насилию и не можете спастись, то расслабьтесь и попробуйте получить удовольствие.

— Сила! — хохотал пьяный Котов.

— Опять вздор,— сказал Мирон.— Если хотите рассказывать пошлые анекдоты, не надо тут садиться.

— Мироша, заткнись,— сказал Антипов.

Пряхин встал, улыбаясь всем своим широким, здоровенным лицом.

— Братцы, прошу прощения. Один из вас чем-то раздражен, так что во избежание того-сего я пойду. Саша, еще раз приветствую! — Он поднял сжатые руки и потряс ими.— Я к тебе забегу на днях, кое-что покажу.

Он отставил в сторону стул, подняв его с необыкновенной легкостью двумя пальцами, и поклонился корректно, а Антипов вдруг вскочил.

— Федор! Стой! — закричал он. — Почему уходишь? Ты мой гость! Я тебя пригласил! Садись немедленно обратно и выпей с этим Собакевичем. Он не такой дурной, как кажется. В сущности, он золотой человек. Ты тоже золотой, Федор... — Антипов схватил Пряхина за руку, стремясь притянуть его к столу, но тот стоял, как скала. — Садись! Толя, дай стул. А ты веди себя пристойно, Собакевич. Право, не знаю, кто ты: Собакевич или Ноздрев? Какая-то смесь...

— Да пускай сидит, — пробурчал Мирон. — Только без пошлостей...

— Федор, садитесь, пожалуйста, — сказал Толя.

— Нет, нет, я пойду. Зачем же? Я сяду вон там, хочу поужинать. — Пряхин опять сделал поклон. — Желаю вам, братцы, всего самого прекрасного.

И он ушел. За столом стали говорить о нем, говорили долго. Заказали еще коньяку. Пряхин был человек странный: много старше, лет почти сорока, он лепился к их компании, приходил в Литинститут в дни выплаты стипендии, как другие бывшие студенты, сидел с молодыми в баре, учил их уму-разуму, а то и участвовал в драках, где снискал славу. Известен был не столько, как поэт — у него было три или четыре сборника стихов, — но и как заядлый книжник, собиратель, каждый год мотался в Ригу и шуровал там по магазинам, по старым квартирам. Книжки у него бывали редчайшие, и он давал их легко. Так что он был нужен, но зачем они-то, Антипов с приятелями, ему нужны? Антипов предположил: от одиночества. Мирон сказал: ни черта! Толя, как большой писатель, смотрел вглубь: тут какой-то скрытый порок. А Котов все восторгался английской военной мудростью: «Ах, умницы! Ах, подлецы! Ведь про всех!»

Вечер кончился плохо. Все сильно накачались, и, когда какие-то люди за соседним столом попросили спичек, обращаясь к Мирону вежливо, но почему-то называя его Моисеем, им было отвечено грубо и спичек не дали; люди вели себя мирно, однако через некоторое время опять стали вежливо окликать Мирона: «Моисей, нельзя ли у вас попросить?..» Мирон не откликнулся. Драки никто не хотел. Но те продолжали тихонько завывать: «Моисей, а Моисей! Мы тебе вернем коробок,

не сомневайся, ей-богу вернем!» Мирон сказал, что даст коробок на улице. Антипов расплатился, вышли на улицу, было часов одиннадцать, перешли через трамвайные пути на бульвар, совершенно безлюдный. И милиционера не было видно. Драка началась сразу, но шла как-то вяло, не драка, а толкотня. Ребята были наглые, молоденькие, студенческого облика. Вдруг появился Пряхин, и все переменялось — драка завертелась с диким ожесточением, с криками. Пряхин приговаривал: «Эк! Эк!» Одного парня он положил с маху, другого, который говорил Мирону «Моисей», схватил за шею, стал бить головой об угол скамейки, ударил раза три, приговаривая «эк!», и тот свалился, а двое других бросились бежать назад в шашлычную. Пряхин хрипел, задыхался, блестя впотьмах глазами.

— А что? Нормально! У нас на престольной всегда бывала потеха...

Двое остались лежать, Пряхин сказал, что беспокоиться не надо, встанут. Но все же поскорей разбежались, швейцар уже звонит «ноль-два».

— Пока! — крикнул он, почти бегом удаляясь к Арбату.— Сашка, я к тебе зайду. Поэму хочу почитать!

Мать и сестра пили в комнате чай. С тех пор, как год назад Фаина уехала к мужу, брату матери, в Ногинск — не хотела уезжать, упиралась как могла, но дядя Петр настоял,— жизнь дома, в особенности вечерняя и ночная жизнь решительно переменялась. Мать и сестра, например, могли за полночь распивать чай в комнате и громко разговаривать, не выключая света. А Антипов мог прийти сильно подвыпивший, шлепнуться посреди комнаты на стул, молоть глупости, пьяный вздор, хвастливо трясти пачками денег, бросить их великодушно на стол и увидеть на столе блюдец с ломтиком колбасы, чашку с кефиром, оставленные матерью для него, вспомнить, что он купил для матери и сестры коробку конфет, две банки шпрот, забыл все это в фибровом чемоданчике в раздевалке шашлычной, и вдруг окинуть взглядом все вместе, понять, ужаснуться и вскрикнуть мысленно: «Какая же я скотина!»

К середине лета деньги кончились. Книга не была готова. Настали трудные времена. Надо было продержаться хотя бы до сентября. Антипов почти ничего не зарабатывал — изредка писал кое-что для спортивного журнальчика, где работал Мирон,— но мать и сестра

старались изо всей мочи, чтобы он не отвлекался и спокойно делал свое дело. Они горячо верили в его дело. Даже больше, чем он сам. Но какое могло быть спокойствие! Все тянулись из последних сил. Сестра не смела купить себе пальто. Антипов не ходил ни в театры, ни на футбол, даже в кино бывал редко. Он чувствовал себя как в темном бесконечном туннеле, по которому надо идти, идти, не останавливаясь, не видя просвета. Надо идти, и все. Жили на двадцать рублей в день. И вот в начале октября рукопись была наконец готова, перепечатана — печатала, как всегда, тетка Маргарита, — Антипов отнес толстенькую папку в редакцию. Прочитали к Ноябрьским и сказали: нет, пока еще не годится. Надо перерабатывать. Но дали немного денег, и это смягчило удар. Мать и сестра обрадовались, купили необходимое, приготовились жить и стараться изо всей мочи дальше, но Антипов пал духом. Казалось, уже нет сил на переработку. Два дня не мог смотреть на бумагу, на третий сел к столу, недолго поработал, а затем все пошло, как прежде. В декабре у сестры был приступ аппендицита, оперировали с опозданием, начался перитонит, едва спасли. В январе нового, 1951 года Антипов наконец закончил переработку, шесть глав переделал, четыре написал заново, рукопись выросла до трехсот пятидесяти страниц, и он вновь повез ее в редакцию.

Прежнего редактора не было. Антипову не хотелось иметь дела с новым, потому что прежний, несмотря на строгость, чем-то Антипову нравился, хотя бы тем, что заключил с ним договор, и Антипов сказал, что подождет, пока прежний вернется. Ему сказали, что тот не вернется. «Никогда?» — пошутил Антипов. «Кто его знает!» — ответила девушка, которая распоряжалась рукописями. Ее шкаф напоминал камеру хранения, где стопками громоздились разнообразные папки, иногда громадной толщины. Увидев один чудовищно пухлый чемодан, Антипов с некоторым страхом спросил: неужели рукопись? Девушка сказала, что это третья часть трилогии. Две первые части уже вышли. Она назвала фамилию автора, неизвестную Антипову. Она смотрела на Антипова с сочувствием, и он, ощутив сочувствие, пожалел себя: ему показалось, что он дальше от цели, чем когда-либо. Никогда он не сможет создать ничего похожего на трилогию из трех чемоданов.

Новый редактор просил передать через девушку,

что он прочитает рукопись не раньше, чем через два месяца. Упавшим голосом Антипов спросил:

— А что вы делаете сегодня вечером?

Ее звали Таня. После кино надо было куда-то пойти, хотя бы в кафе-мороженое, но у Антипова не осталось денег. Он предполагал, что в кармане рублей пять, пересчитывать было неудобно. На площади Маяковского он попросил Таню подождать, пошел в уборную и пересчитал. Оказалось, еще меньше: четыре восемьдесят. В кафе нечего и соваться. Он вернулся к Тане, которая терпеливо ждала на том месте, где он ее оставил, хотя пошел мокрый снег, люди бежали к домам, в укрытия. Взял ее за руку, побежали обратно в кинотеатр. Стояли в вестибюле, там собралась толпа. С площади вбегали все новые, застигнутые снеговой жижей, толпа уминалась, густела. Шел настоящий дождь. Оттепель в середине января. Антипова и Таню отдавливало все дальше в глубь вестибюля, к кассам. Ему понравилось то, что она ждала под мокрым снегом. Как солдат на часах. И вообще она ему нравилась. Такая миленькая, серьезная. Ее очки залепило дождем, она сняла их, протирала платком, и он смотрел на ее круглое, чуть скуластое бледное лицо в каштановых кудрях, вылезавших из-под шапочки. Оттепель выручила Антипова, ничего не оставалось делать, как взять билеты на ближайший сеанс, тем более что толпа подтащила их к самой кассе. Смотрели видовую картину. Минутами его охватывала тоска — опять неизвестность и ожидание денег! Когда вышли из кинотеатра, снегодождь прекратился. Черное серебро безлунной ночи и мокрый асфальт. Он проводил ее до дома.

— У вас есть тайна? — спросила она.

— Есть, — сказал он, подумав.

— И у меня, — сказала Таня.

Вздохнув, он заметил:

— Тайны, наверное, есть у всех. Главная тайна: неизвестность того, что будет. Завтра — вот величайшая тайна. — Ему показалось, что говорит чересчур красиво, и пропел дурашливо: — У меня есть Та-аня, а у Тани тайна, а у тайны песня... Брум-брум-бум... Песня эта — ты...

— У Тани тайна есть, но у вас Тани нет, — сказала она без улыбки.

— Ну хорошо, передайте этому типу, чтобы он читал поскорее.

— Какому?

— Вашему Саясову. Который сказал, что не меньше двух месяцев. Я не могу ждать. Скажите, это бесчеловечно. Это нарушает все параграфы Гаагской конвенции. И противоречит всем знакам Зодиака.

Таня не отвечала. Он взял ее двумя руками за плечи, спросил «скажете?» и хотел притянуть к себе, неясно понимая зачем. Она ему нравилась, но не так, чтобы сразу за плечи и к себе. Была неопределенность. Она молча и твердо отвела его руки.

— Скажете? — повторил он, опять делая слабую попытку ее притянуть. Она покачала головой: нет. Неизвестно на что: нет. Продолжали стоять. Уж очень сурово она на него глядела. Только в юности бывает такой неподкупно суровый взгляд. Он сказал, что позвонит завтра к концу дня. Она не ответила ни «хорошо», ни «звоните», ни «до завтра»; Антипов не позвонил. Жизнь бросила его в один из тех нечаянных водоворотов, которые отшибают внезапно силы, память и временами дыхание.

Началось бестревожно. Даже и предположить было нельзя, во что это выльется. Александр Григорьевич, отец Мирона, за чашкой чая предложил Антипову принять участие в деле, которое он вел как адвокат, выступить литературным экспертом. Антипов сразу легкомысленно согласился. Ему померещилось что-то чрезвычайно занимательное и почтенное. «Литературный эксперт» звучало почти так же внушительно, как «профессор». Дав согласие, Антипов поинтересовался: каковы обязанности литературного эксперта? Пустяки, написать две-три странички заключения о литературном качестве текста, однажды прийти на суд и получить в кассе свои законные пятьсот. Это было очень кстати. Александр Григорьевич, зная от Мирона об антиповских трудностях, хотел подкинуть денег. Добрейший старик!

Прошло недели две после чаепития, но о деле Двойникова — так звали директора издательства «Литература и школа», которого обвиняли в плагиате и злоупотреблении служебным положением — не было ни слуху, ни духу. Антипов решил, что ему предпочли другого литературного эксперта, и слегка расстроился. Он уже наметил, на что потратит гонорар: купит чехословацкие ботинки на каучуке, как у Котова. Потом Александр Григорьевич вдруг позвонил и велел прийти

немедленно, познакомиться с делом, потому что экспертиза нужна срочно. Там какая-то интрига. Заместитель против директора. И замешана женщина. Но дело не в том: Двойников пал жертвой провокации, он пожилой человек, участник войны, у него больные сосуды, его надо спасти. А заместитель — бессердечное существо, карьерист, завидует Двойникову и мстит ему из-за женщины. Ах, вы бы видели женщину! Только по приговору Верховного суда можно с ней лечь. Так вот, чтобы защитить фронтовика, нужно единственное: доказать, что брошюры из серии «Русские классики», которую выпускает издательство, не есть плагиат. Дело одного вечера.

Пили чай на лысой клеенке, Александр Григорьевич объяснял, шевелил коротенькими, желтыми от табака пальцами, дымил, угощал халвой, а его жена интересовалась здоровьем сестры и матери. И Антипов быстро решил, что тут все ясно и надо бежать домой, читать брошюры. По его соображению — да и Александр Григорьевич рисовал так — выходило, что дело совершенно очевидное, фронтовик должен быть спасен, карьерист наказан, справедливость восторжествует и заключение Антипова — сушая проформа. Членам суда приятнее иметь дело с молодым писателем, а не с каким-нибудь старым хреном. Почему же с писателем? Откуда они знают? Эта мысль слабо пробрезжила, но ничуть не насторожила, ибо представление о себе было твердое — писатель. Александр Григорьевич спросил: «Диплом об окончании института имеете? Очень хорошо, надо быть во всеоружии». Антипов и тут не дрогнул. Уверенность в том, что писатель, было не сокрушить. И, как истинный писатель, он обязан был знакомиться с судебными делами, они для писателя хлеб. Лев Толстой, к примеру, участвовал в судебном процессе, защищал солдата, хотя и без успеха. Но это помогло ему в работе над «Воскресением».

Именно так говорил Антипов за ужином матери и сестре, которые робко сомневались: справится ли он и за свое ли дело взялся? В голосе матери был страх.

— Почему-то у меня дурное предчувствие. А отец Мирона — порядочный человек?

— Мама, ты получала от него столько заочных советов!

— Ты товарищ сына, он тебя любит. Это другое дело. Но порядочный ли он вообще?

— В высшей степени! — горячо подтверждал Антипов.

Он был абсолютно в этом уверен. Так же, как в том, что он писатель. И в виде последнего доказательства добавил:

— Ты бы видела их дом! Такая же нищета, как у нас. Диван продавлен, ни одного целого стула. И вообще, мать, перестань всего бояться. Хватит, понимаешь?

— Не могу, — сказала мать. — Я пуганая ворона...

Антипов всегда сердился, когда слышал это. Пуганая ворона! Сколько лет можно быть пуганой вороной? Мать сказала: вороны — мудрые птицы, сын, не относись к нам, воронам, презрительно. После ужина Антипов засел читать. Он добросовестно изучил несколько тощих брошюрок — тридцать шестого и сорок девятого годов издания — и быстро уверился в том, что ни о каком плагиате не может быть и речи, ибо с е р о е б ы л о п е р е п и с а н о с е р ы м. Суконный язык тридцать шестого мало чем отличался от суконного языка сорок девятого, а факты жизни и творчества великих писателей нельзя было переиначить, так что книжки были похожи друг на друга, как братья. Нет, это отнюдь не плагиат. Это просто р а з м н о ж е н и е м у р ы. Халтура всегда имеет как бы одно лицо. Сплагировать можно чужое изображение, чужой талант, но нельзя сплагировать то, что похоже на всех. На книжечках тридцать шестого года стояли фамилии: А. В. Озолс, И. Я. Викторович и Ю. Н. Самодуров. На книжечках сорок девятого: Т. В. Дианина, С. Г. Сухов, П. Г. Плужников, Б. В. Скопченко и Н. Ф. Тугоух. Ни одной из этих фамилий Антипов никогда не слышал. Плужников и Скопченко были «канд. фил. наук». С чистой совестью Антипов мог написать: «Статьи как первого, так и второго выпусков написаны на столь низком уровне, что о плагиате говорить нельзя. Можно говорить лишь о научной и художественной недаровитости авторов».

Немного обеспокоило Антипова вот что: рассуждения его были правильны с точки зрения большой литературы и истинной науки, а с точки зрения судебных крючков? Вдруг, подойдя буквоедски, можно все же определить, что плагиат налицо? На это, разумеется, можно сказать, что книжечки тридцать шестого тоже наверняка несамостоятельны и переписаны с какого-то еще более раннего с е р о г о. Но тут нужны раскопки. То, что казалось простым и ясным, стало слегка за-

волакиваться, чего-то главного не хватало, для того чтобы решительно заявить: плагиата нет. Антипов долго не мог заснуть и думал об этом, потом вдруг догадался, чего не хватало: людей. Действующие лица были замаскированы бумажками. Он не мог судить о них, не видя и не ощущая их как живых людей. Заснул в тревоге — дело выходило нешуточное.

Про Таню Антипов забыл. Не позвонил ей ни на другой день, ни на следующий, а в пятницу утром она позвонила сама. Голос был официальный.

— Александр Николаевич? Соединяю вас с Виктором Семеновичем. Одну минуту...

И это было все, что он услышал от нее в тот день, Виктором Семеновичем звали Саясова, нового человека, который заменил прежнего редактора и у кого находилась теперь антиповская рукопись. Антипов разговаривал с ним лишь однажды и сохранил ощущение какой-то пресноты, бескрасочности. Человек был ни то ни се.

— Сандр Николаич, добрый день, беспокоит Саясов, извините за ранний час... Я знаю, что литераторы в эту пору... Дело в том...— быстро и очень тихо говорил голос Саясова. Так тихо, что части фраз пропадали и Антипов, нервничая, вслушивался изо всех сил.— Срочную работу... Хотел бы расчистить для этой цели... Вашу рукопись в первую очередь... И вот за два дня прочитал.

— Прочитали? — ахнул Антипов, не зная, радоваться ему или трусить. Одно ухо закрыл ладонью, к другому прижал трубку и напряг слух.

— Прочитал. Вчера вечером закончил и готов соответствовать.

— Ну и...

— Я же говорю, готов соответствовать. Будем разговаривать, Сандр Николаич. Приезжайте, если можно, сегодня к концу дня.

Антипов приехал в пять. Всю дорогу гадал: к добру это или к худу? Может, Таня его просила прочитать поскорей? Тани в комнате не было. Ее шубка и вязаная шапочка не висели на вешалке возле дверей. Стол был чисто прибран, бумаги лежали аккуратными стопками слева и справа, карандаши и ручки в стаканчике, а под стеклом портрет Блока. Спросить не у кого. Оставалось одно — идти навстречу неизвестности.

Перед дверью с табличкой «В. С. Саясов» — еще

недавно тут красовалась другая табличка — сидел на стуле старикан с большой лысой головой, с фиолетовыми наростами на темени и с напряженным, изголодавшимся выражением лица. На коленях он держал, поставив ребром, папку и пальцами выбивал на ней дробь. Выжидательная поза старика — пятнистым черепом вперед — означала, что он готов ринуться в кабинет, как только в двери появится щель. Антипов сел на стул поодаль. Вдруг напало уныние — ничего хорошего срочный вызов означать не мог. Было б к добру, Саясов хотя бы одной фразой по телефону обмолвился. Но он не обнадежил никак. Интонация была вялая, какая-то еле живая. Такой еле живой тон напускают на себя начальники, чтобы категорически отказать. В этом тоне им легче отказывать. Но зачем тогда немедленно вызывать? Зачем этот садизм? Антипов стиснул зубы. Если откажут, он тут же понесет в другое издательство, на Пушкинскую, а аванс возвращать не станет. Надо сопротивляться. Надо бороться изо всех сил. Искусство требует выдержки, как писал Бальзак. Вот старикан с лысым черепом сопротивляется до последнего. Он никого не пропустит впереди себя. Какие суровые, предупреждающие, сторожевые взгляды бросает он на Антипова: «Не вздумайте, молодой человек, пытаться пройти без очереди! Я вас не пушу! Ваша очередь через двенадцать лет!»

Отворилась дверь, мелькнуло что-то блондинистое в черном костюме, тихий голос сказал:

— Товарищ Антипов, прошу.

— Но товарищ, по-моему,— пробормотал Антипов,— несколько раньше...

— Товарищ явился экспромтом, а вам я назначил, — внушительно отрезал Саясов, выделяя «назначил».

Старикан дернулся, то ли желая вскрикнуть, то ли подняться со стула, но остался сидеть, сильнее забарабанив пальцами и что-то вдруг замурлыкав, вроде песни без слов. Антипов в крайнем смущении — его житейским изъяном было мучительное неумение проникать куда-либо без очереди — шагнул поспешно за дверь, нашел стул, плюхнулся и замер. Саясов шуршал рукописью. Насупленное чело, сжатые губы выражали суровую думу. Не знал, как подступиться. А сказать должен был неприятное. Шуршание длилось, он откашлялся, снял очки, протер их темно-красным платком,

снова надел. Пошелестев еще чуть, вдруг поднял на Антипова легкий голубой взор — глаза у него маленькие, близко посаженные, как у обезьянки, — и сказал почти шепотом:

— Ну что, Саидр Николаич, будем делать книгу? А? Кинемся в эту авантюру? — Он засмеялся. У Антипова сердце заколотилось, и он тоже засмеялся. — Но предупреждаю! — Саясов поднял тонкий, мальчиковый палец. — Предупреждаю. — Потряс пальцем и опять наступил чело. — Работы предстоит немало. Очень немало. И работы серьезной...

И дальше минут пятнадцать говорил что-то туманно укорительное. Нет того, пятого, десятого, недостает этого, надо дописать то-то и, наконец, отсутствует следующее. Речь шла только о том, что отсутствует. О том, что присутствует, не говорилось вовсе. Но Антипов ободрился — он ожидал худшего. Ведь суть сводилась к тому, что книга в целом существует или, во всяком случае, будет существовать при некотором дополнительном усилии. С помощью Виктора Семеновича. Не так уж все мрачно. Бежать на Пушкинскую необязательно.

— Вот развяжусь со срочным заданием, — шептал Саясов, — мы плотно сядем, пройдемся по тексту с карандашом, и вы сделаете все что нужно.

Дело в том, что он проделал как бы первую вспашку, чтобы составить общее впечатление. А более глубокая вспашка, постраничные замечания еще последуют. На этом деловой разговор кончился. Антипов сделал движение встать, памятуя о старике, который томился за дверью, но Саясов взмахом мальчикового пальца остановил его.

— Саидр Николаич, еще такой неожиданный вопрос: вы имеете касательство к делу Двойникова?

— Имею, — сказал Антипов. — Я приглашен быть литературным экспертом.

— Правда? Значит, я не ошибся, вы — это вы! — Саясов засмеялся обрадованно. — Мне сказали, что эксперт писатель Антипов, но я был как-то не убежден, что вы. Ну, чудесно. Между прочим, тоже имею касательство — мой брат выступает истцом. Саясов Дмитрий Семенович, заместитель Двойникова. Хочу на всякий случай предостеречь: Двойников — человек опасный. Что он творил в издательстве! — Саясов, изобразив на лице брезгливую гримасу, покачал головой. Антипов

молчал. Новость была убийственная. Все стало ясно и хорошо видно — и в ширь, и в даль. Как с птичьего полета.— Вас пригласил адвокат? Такой маленький? С шевелюрой? — спросил Саясов.

— Да,— сказал Антипов.

— Где же он вас раскопал, Сандр Николаич?

— Дело в том, что... Ну, словом, он кое-что читал.

— Из вашего?

— Ну, да.

— В периодике?

— Да.

— Все ясно. Понимаю. Писателей много, выбрать трудно, обыкновенно приглашают знакомых. Чтобы эксперт был, как говорится, близок по духу, по стилю...

— Да,— согласился Антипов.

— Но, главное, эксперт должен быть честен и подтверждать то, что видит. А не то, о чем просят. Верно, Сандр Николаевич? Правда, одна только правда, и ничего, кроме правды. Как и в нашем деле, в литературе.— Саясов улыбался.— А напоследок скажу, и больше к этой теме возвращаться не станем: брата я люблю, знаю, как он настрадался, как этот жулик над ним глумился. Как сильно брат рисковал, когда начал борьбу, рисковал в буквальном смысле головой, потому что угрожали физической расправой. Я три дня ездил к нему домой и оставался там ночевать с пугачом под подушкой. Имейте в виду, этот полудохлый интеллигент—гангстер чистой воды. Сейчас все читают вздохнув американский роман «Банда Теккера», а я бы написал еще позабористей: «Банда Двойникова». Но, Сандр Николаич! — тут Саясов пристукнул ладонью по столу и, глядя строго и холодно Антипову в глаза, прошептал: — Я прошу абсолютно не связывать наши рабочие отношения со всей этой историей. Надеюсь, вы не подумали, что я хочу на вас каким-то образом надавить? Мне было бы чрезвычайно неприятно. У меня правило: мухи отдельно, котлеты отдельно. Вы не подумали так? Нет? Скажите как на духу. Может, немного все-таки подумали?

Антипов сказал, что не успел еще как следует ни о чем подумать. Но если уж совсем как на духу: что-то подобное в его испорченном сознании мелькнуло.

— Мелькнуло? — огорчился Саясов.— Этого я боялся. Неужели я похож на проходимца, который пользуется служебным положением, чтобы что-то из чело-

века выжать? Ведь как раз за это я ненавижу вашего Двойникова.

— Почему моего Двойникова?

— Конечно, вашего. Потому что адвокат успел, конечно же, вас настроить.

— Виктор Семенович, вы напрасно так говорите...

— Да, да! Прошу прощения. Я взял лишку. Чтобы уж окончательно поставить все точки над «и», выскажу свое кредо: ваш Двойников — плагиатор...

— Он не мой.

— Хорошо, не ваш Двойников — плагиатор, он передирал давние книжки, выпускал их под псевдонимами, а гонорар делил со своей любовницей Самодуровой и двумя прихвостнями. На него работали негры. Он пользовался безвыходным положением людей. Там был целый концерт, который мой брат разворошил, как осиное гнездо палкой. Вот и вся история. И никакой эксперт тут не нужен, извините меня.— Антипов поймал вдруг злобный, изменившийся взгляд.

Антипов встал, поклонился и пошел к выходу, что было глупо. Но внезапная волна враждебности, которую он почуял, подняла со стула и понесла прочь. Он услышал конец фразы: «...тут не нужен...» Уже взявшись за ручку двери, он оглянулся и увидел, что Саясов глядит на него с изумлением.

— Вы куда?

— До свидания,— сказал Антипов.— Мы договорились, по-моему.

— Я вас ничем не обидел? — Взгляд Саясова был, как прежде, голубой, легкий.— Право, было бы неприятно. Значит, мы договорились. Наша секретарь Татьяна Николаевна — вы знакомы с ней? — сообщит вам о дальнейшем.

Нужно было увидеть Мирона. Только Мирон мог помочь разобраться в этой путанице, которая грозила запутаться еще сильнее, потому что вечером того дня, когда Антипов встречался с Саясовым, позвонил Александр Григорьевич и строго — голосом работодателя — спрашивал, готово ли заключение, на что Антипов ответил, что, в общем, готово, хотя дело оказалось не таким простым. «Что значит не таким простым, Шура?» Ну, не однозначным, что ли. Можно трактовать работу Двойникова как плагиат, а можно как не плагиат, если угодно. Александр Григорьевич сказал: «Так вот, мне

надо, Шура, трактовать, как не плагиат». Антипов спросил: а нельзя ли подыскать другого эксперта? Александр Григорьевич едва не зарыдал в телефон: «Да что вы творите, Шура, дорогой? Вы режете без ножа! На среду назначено слушание дела, где я найду другого эксперта?» — «Я вам найду!» — крикнул Антипов, сразу подумав о Котове. «Нет, невозможно, Шура. Ваш отказ — козырь в руках обвинителя. Вы меня страшно подведете. Вы не представляете, как важно, если в качестве эксперта выступит молодой писатель вроде вас! Имеющий доброе имя и хорошую репутацию. Это произведет впечатление на членов суда». Тут было явное преувеличение, Антипов прекрасно это понимал, но почему-то смягчился. Еще некоторое время он слабо сопротивлялся: разве непременно должно стать известно об отказе? Александр Григорьевич рубил: «Непременно! Ваша кандидатура согласована! Это конец! Я получу инфаркт!» Тогда Антипов сказал: если уж выхода нет и отступление невозможно, он должен познакомиться с делом ближе. Александр Григорьевич согласился без энтузиазма: «Ну, пожалуйста, ради бога... Я вас познакомлю...» На этой вялой ноте разговор иссяк.

Теперь срочно требовался Мирон, но найти его было непросто: полгода назад, с тех пор как Мирон женился, он уехал из отцовской квартиры к Люсьене в Сокольники. Телефона там нет. На работе застать его невозможно, он ушел из радиокомитета и работал в маленьком спортивном журнальчике, где один телефон на всю редакцию и всегда, разумеется, занят. А у отца Мирон бывал редко, потому что Люсьена его родителей невзлюбила. Люсьена была красотка. Танцевала в «Березке», Антипову казалось, что для одного дела она хороша, но для других дел не годится, и стало скучновато встречаться с Мироном у него дома. Тем более что люди, окружавшие теперь Мирона, были неинтересны. За полгода Антипов побывал у него два раза — первый раз, когда устраивалось подобие свадьбы и когда какой-то администратор оскорбил Толю Квашнина и Мирон — Антипов видел это впервые — проявил слабодушие; другой раз забежал к Мирону случайно, и Люсьена старалась его очаровать, кокетничала и учила новому танцу «рок-н-ролл», но он оставался тверд: она годилась для одного, все прочее было скучно.

Делать нечего, в субботу Антипов поехал в Сокольники на авось. Люсьена жила в деревянном дачном до-

ме с деревянным сараем, с собачьей будкой, с колодцем во дворе. На ее квартире висел замок. Антипов написал записку: «Мироша! Ты нужен!» И поставил три креста, что значило по их шифру, принятому еще в студенческие годы, крайнюю степень срочности. Бывало, кидали на лекциях записки «Сегодня достань ключ» или «Найди десятку», и следовали пометы. крест, два креста или три. Если три, то просьба выполнялась любой ценой. И верно, Мирон примчался в воскресенье с утра.

Но накануне вечером явился другой посетитель — незванный Пряхин.

— А я, брат, как обещал, принес поэму, — сообщил радостно, выгружая из армейской кожаной сумки кипу смятых листков. — Почитаем? Я не помешал?

Радушно пригласил послушать мать и сестру, и те, хотя наметили вечер для важных домашних дел, тут же переметнулись и сказали: «Спасибо, с удовольствием». Мать, как более любезная, даже сказала: «С наслаждением!» А у Антипова упало сердце — просидит не меньше двух часов! Вечер насмарку, а он еще хотел поработать. Поэма была сюжетная, о войне, с прологом, эпилогом и отступлениями. Было хорошо зарифмовано и очень знакомо. Чтение длилось минут сорок. Антипов временами отлетал слухом и мыслью далеко, размышлял о книге, о Саясове, об Александре Григорьевиче, который проявил недюжинную настойчивость, и о том, что в них обоих, в Александре Григорьевиче и в Мироне, есть этот жестковатый стержень, незаметный сразу. Одно отступление в поэме остановило внимание — что-то о беспощадности. Описывалась казнь предателей. Антипов прислушался. Несколько строк — крепко, выразительно, с какой-то грубой, холодной силой. И вовсе не знакомо. Потом опять пошла мякина. Пряхин сказал, что отнес поэму в «Октябрь».

На мать и сестру поэма произвела впечатление. Мать вытирала глаза платком. Людмила, раскрасневшаяся от волнения, побежала на кухню ставить чайник, но Пряхин от чая отказался — он взял билеты на немецкий фильм о Рембрандте на последний сеанс. На всякий случай взял четыре билета. Мать осталась делать домашние дела, Антипов хотел поработать, и в кино с Пряхиным отправилась сестра.

— А ты проводи нас, — сказал Пряхин. — Надо покалякать.

— О поэме? Я тебя недохвалил?

— Да чего о поэме! С поэмой все ясно. Гениальная вещь. Шучу, шучу, надо поработать, знаю. Нет, о Витке Саясове. Ведь это мой близкий приятель.

— Редактор?

— Ну да, Витюня Семеныч. Две мои книги издал. Он раньше в редакции поэзии работал. Знаю его мамашу, жену, брата, семья отличная, лучших кровей...

— А мне зачем это знать? — спросил Антипов, уже догадываясь и оттого напрягшись.

— Чтобы ты был в курсе. Ведь ты с Витюней путем не знаком. Он сказал: у нас, говорит, с Антиповым произошел пустяковый разговор, он обо мне, наверно, бог знает что подумал. Ты ему объясни, говорит, что я серебряные ложки не краду и маленьких детей не кушаю. Вот я и объясняю.

— Спасибо.

— Нет, верно, он парень преотличный. Ты поверь, я в людях разбираюсь. Он, если возьмется, через главную редакцию, через все препятствия книжку протащит. Как он мою-то протащил!

— Как же?

— А вот так. Попер, попер и вытащил. А уж я в болоте совсем сидел... Саша, серьезно, ты его брательнику пособи. Это ведь не липа, а дело чистое. Я не знаю, конечно, что там у вас, но Витюня сказал: сейчас, говорит, от Антипова много зависит.

— Он тебя просил со мной поговорить?

— Он? Нет. Это я сам. А он вот только насчет серебряных ложек и что детишек не кушает...

Сестре было весело, она редко ходила в кино с молодыми людьми. Пряхин смеялся дурашливо, а Антипов насупился. Домой он возвращался мрачный. Все лишь завинчивалось и ничего не развинчивалось. Вместо работы ломай голову над ненужными загадками. Даже больше того: как выдраться из капкана? И Мирон был необходим.

Он возник утром в воскресенье, озабоченный и злобно-новатый, под вчерашним хмельком. Как вошел, сразу шлепнулся на валик дивана возле двери, показывая, что времени в обрез.

— Ну что?

Антипов рассказал. О Пряхине не упомянул, чтобы не вызывать лишнего раздражения. Ситуация шекотливая, и лучше бы всего дать отсюда стрекача. Но как? Не повредит ли отцу? И как Мирон вообще относится

к такого рода отцовским делам? Нельзя ли тут вляпаться?

— Да сколько хочешь! — Мирон хмыкнул. — А ты думал? За что экспертам деньги платят? За риск вляпаться.

Ничего толком о деле Двойникова Мирон не знал, слышал лишь, что замешана женщина, была любовницей обоих — истца и ответчика. Но кто хорош и кто плох — Двойников или Саясов, — Мирон не имел представления. К отцу он относился без всякой родственной снисходительности, пожалуй, равнодушно, его адвокатскую деятельность уважал мало и поэтому на прямой вопрос — как бы он поступил на месте Антипова, на чью бы руку сыграл? — ответил, поразмыслив, твердо.

— Боюсь, разочарую тебя, но на твоём бы месте сыграл на Саясова. Потому что для нас главное — книга. Зачем делать врагом того, кто твою книгу выпускает? Нет смысла.

— Он клялся, что одно с другим не связано.

— А ты поверил? Да в тот день, когда ты вякнешь хоть слово, книга полетит из плана вверх тормашками. Формально не сразу, но в его сознании мгновенно. А дальнейшее будет делом техники. Неужели сомневаешься? Я о Саясове что-то слышал. Он ведь друг Пряхина. Бедный отец, как он неудачно все организовал! Вот уж кто вляпался! — Мирон присвистнул и покачал головой. — Выхода у тебя нет. Отец бы меня убил, если б услышал...

Было похоже на кучу малы в темном школьном коридоре. Один хочет излупить другого, вот они барахтаются на полу, сверху валится третий, на третьего шутки ради грохается четвертый, на четвертого набрасывается пятый, желающий спасти того, кто внизу. А у того, задавленного, наступает миг ужаса. Такой миг наступил в ночь с понедельника на вторник, после двух дней разрастания кучи малы — на пятого прыгал шестой, на шестого двенадцатый... После утреннего прихода Мирона с его ледяным и не сыновним советом возник разговор за обедом с матерью и сестрой — неожиданно они тоже оказались в куче. Пряхин на обратном пути из кино рассказал все Людмиле, и рассказ был, по-видимому, настолько захватывающ и подробен, что сестра явилась домой в половине первого в необычайном волнении и перепуге. Утром она все шушукалась

с матерью, но тут был Мирон и начать разговор они не могли, а за обедом навалились на Антипова, уже задушенного тяжестью, дружно вдвоем. Сестра сказала, что он должен немедленно отказаться от этого сомнительного дела. Почему сомнительного? Твой друг сказал даже резко: грязного дела. Мой друг — заинтересованное лицо, он действует по просьбе редактора, который его печатает. Тут надо делать поправку. Но почему бы и тебе не пойти навстречу редактору, который и тебя печатает? Потому что... Антипов запнулся, он не знал, почему ему до смерти не хотелось идти навстречу редактору. Было необъяснимо. Ничего дурного Виктор Семенович ему не сделал. По всем законам логики он обязан был пойти Виктору Семеновичу навстречу, а на Александра Григорьевича наплевать, но внутри что-то стояло колом и не пускало.

— Тогда надо отказаться, Шура! — сказала мать. — Не хочу, чтоб ты влезал в эту историю.

— Почему?

— Не хочу. Я боюсь.

— Опять? — Антипов поглядел на мать пристально. Слово «ворона» витало в воздухе.

— Зачем тебе это нужно вообще? — спросила сестра. — Почему ты согласился? Ведь это ловушка.

— А захотелось поучаствовать в процессе. Меня губит любознательность: как мотылек, которого тянет на огонь, я сожгу свои крылышки. Свои чудесные серебряные крылышки.

— Федя сказал, между прочим, что тот человек настолько коварен, что может сделать в отместку зло не только тебе, но и...

— Кому еще?

— Всей семье, например.

— Ты про кого говоришь?

— Про твоего редактора.

— Бог ты мой, какие страсти! — Антипов засмеялся. — Как же он вас напугал, бедных. А мне говорил другое: что это редкий, благороднейший человек, что ему надо помочь ради его замечательных добродетелей. Где же вы, гражданин Пряхин, говорите правду?

— Ты дурачишься, — сказала сестра, — а положение твое, по-моему, пиковое.

— Ни черта. Разберемся. Только без паники.

— Шура, не забывай, мать в институте на птичьих правах...

— Ну и что?

— Ничего. Просто не забывай.

— Видишь ли, если мать так часто играет в орону, то, разумеется, на птичьих... На каких же еще?

Сестра, махнув рукой, вышла из комнаты.

— Обо мне, пожалуйста, не беспокойтесь,— сказала мать ей вдогонку.— На работе ко мне относятся безукоризненно. Очень хорошо относятся. И вообще глупости. Но я прошу, Шура, в самом деле откажись от этого неприятного поручения. Отец Мирона тебя поймет. Ему можно объяснить.

— Не знаю,— сказал Антипов.— Не уверен.

И правда, объяснить Александру Григорьевичу оказалось невозможно. На всякий довод он тут же находил противодовод, вытаскивал его мгновенно, не задумываясь, как фокусник, будто все антиповские мысли лежали у него в одном кармане, а все ответы в другом. Выходило, что отказаться теперь немыслимо по многим причинам, и в первую очередь по причинам морального характера. Люди надеются и верят в его помощь, и если теперь он уйдет в кусты, это будет удар. Одни сочтут это трусостью, другие увидят трагический знак того, что справедливость беззащитна. Когда же Антипов на полной откровенности признался в том, что боится испортить отношения с редактором, от которого зависит выход книги — а в книге вся его, Антипова, жизнь, все надежды, Александр Григорьевич должен это знать по своему сыну! — отец Мирона и тут, не раздумывая ни секунды, выхватил из кармана ответ: «Надо действовать в открытую — пойти к директору, объяснить обстоятельства и сказать, что в данной ситуации редактор не может быть объективен. Попросить другого редактора. Вот и вся механика».

Опыт, как тогда в телефонном разговоре, Александр Григорьевич непостижимым образом взял верх и заставил Антипова покориться — тот не хотел быть ни трусом, ни подлецом, ни разрушителем надежд добрых людей. Но затем Александр Григорьевич допустил ляпсус: сказал, что Двойников обещал тысячу рублей. Антипов насторожился:

— Что-о? Тысячу рублей за страничку нехудожественного текста? Взятка, что ли?

Он засмеялся. Нет, не взятка, а гонорар. Антипов радостно мотал головой.

— О нет! Денег от Двойникова я брать не стану. И вообще это как-то...

Антипов шагал по тротуару, а Александр Григорьевич семенил рядом по проезжей части. Вид у Александра Григорьевича был удрученный, но семенил он довольно быстро, норовя удержать Антипова, схватить его за карман пальто.

— Постойте! Минутку!

— Александр Григорьевич, отпустите меня, ей-богу...

— Вы не знаете обстоятельств...

— Не хочу!

— Минуту! Стойте!

Ему удалось схватить Антипова за руку, повиснуть, остановить. Он хрипло дышал, в темных, косящих от волнения и гипертонии стариковских глазах под толстыми стеклами очков горела мольба.

— Шура! Дорогой мой! Я должен вам сказать,— задыхаясь, бормотал он, крепко вцепившись в руку Антипова, боясь, что тот вырвется и убежит.— Поверьте моим преклонным летам... Я врать не буду... Вот послушайте: Двойников Лев Степанович — во всех отношениях достойный человек! Больше ничего не скажу... Хотите, верьте, хотите, нет, очень достойный человек... Я знаю, что говорю... Отвечаю... Ему многие благодарны, но в тяжелую минуту одни не могут, другие не хотят...

— Зачем он нанимает подставных лиц?

— Во-первых, надо доказать. Ах, Шура, я повторяю, повторяю,— Александр Григорьевич с ожесточением кивал,— Двойников достойнейший человек! Когда-нибудь объясню конкретно. А сейчас вы вольны поступать, как знаете. Хотите уйти? Пожалуйста, уходите. Будет инфаркт, но это неважно. Днем раньше, днем позже, какая разница. Время уже пришло. А вы свободны, Шура. Насиловать вас я, разумеется, не стану.

Он внезапно разжал руки и отпустил Антипова.

Вмиг у Антипова заняло сердце: стало жаль тяжело дышащего старичка, жаль неведомого, во всех отношениях достойного Двойникова, каких-то добрых людей, которые на что-то надеялись. Но уже решилось — он дает стрекача. Нет времени этим заниматься. И нет никакой ясности.

У входа в метро он дал стрекача: Александр Григорьевич остался наверху, расстроенный и несчастный, а Антипов нырнул под землю. Он поехал в издательство, куда утром официальным звонком его вызвала Таня.

Он предполагал, что снова состоится разговор с редактором, но тот, как ни странно, отсутствовал: у Тани на столе лежал конверт с запиской и тремя страницами замечаний по тексту. Того, что мучило Антипова,— и что, судя по всему, беспокоило Саясова,— в записке не было и следа. Сухо, делово: «А. Н.! Оставляю первую порцию постраничных замечаний, до стр. 80. К сожалению, должен срочно уйти и Вас не увижу. До встречи!»

Антипов сидел на стуле возле стола Тани и изнурял себя сомнениями: позвать в кино или нет? Подмывало позвать. Но он боялся отказа. Было похоже, что она немного обижена. Он обещал звонить, пропал, является только по делу. Но ведь она не знает! Он мог бы ей рассказать, а она могла бы кое-что разъяснить. Например: каков Саясов на самом деле? Хотя он испытывал облегчение оттого, что отказался, но было предчувствие, что тут еще не конец, вернее, Саясов этот конец не захочет признать концом. Не поднимая головы, Таня усердно выводила что-то крупным, детским почерком на листе разграфленной бумаги. Он видел тоненькую голую шею с шариком позвонка, опущенную в старании голову, золотистый пушок щеки, квадратный вырез платья на груди и какой-то намек, какой-то исток грани, разделявшей невидимое, скрытое, но доступное воображению. Когда она сидела склонившись, намек был отчетливей, когда же выпрямилась, он исчез.

— Разобрались? — спросила Таня.

— В чем?

— В том, что вам оставили.

— Да, конечно.— Он помолчал, глядя на нее далеким, скучливым взглядом, каким и она смотрела на него.— А вот в другом не разобрался.

Таня вновь склонилась писать. Ей было неинтересно, в чем Антипов не разобрался. Нет, она не собиралась ничего разъяснять. Он вдруг и нелепо спросил:

— А что за человек Виктор Семенович?

Таня улыбнулась.

— Разве не видно?

— Нет. Что?

— По-моему, видно. Как на блюде.— Помолчав и глядя на Антипова твердо и холодно, сказала: — Человек очень хороший.

Взяв бумаги и продолжая улыбаться, вышла. Не возвращалась долго, и он вышел из комнаты в коридор, еще не зная, уйти совсем или подождать в коридоре.

доре? Там он мялся некоторое время, подпирая стену, курнул, оглядывал проходящих — ни он не знал никого, ни его не знали, так что стоять бездельником было ему свободно,— заметил, что молодых немного, все больше чахлые, озабоченные, увидел маленького человека, который важно и медленно вышагивал, держа одну руку за спиной со сжатым кулачком, в ротике его торчала папироса. Он был одет в курточку цвета хаки, застегнутую на все пуговицы, вроде такой, какую носили директора оборонных заводов. Его бледное сморщенное лицо было высокомерно вскинута, и, хотя он был маленький, казалось, что на всех встречах поглядывает свысока. А встречные, как ни странно, поглядывали на него как бы снизу вверх. Вдруг из-за угла появилась Таня с кипой бумажек, вместе с нею спешили двое, все устремились вслед коротышке и, догнав его, окружив, загомонив наперебой, скрылись вдали за поворотом коридора. Антипов услышал высокий надтреснутый голосок. Вскоре Таня вернулась, на ее лице горели пунцовые пятна, глаза победно сияли.

— Я подписала все ведомости для бухгалтерии! — сказала она, размахивая бумажками.— Уж думала, что его не поймаю. Ведь сегодня последний день.

— Кого вы ловили?

— Да Германа Ивановича!

— Кто это?

— Вы не знаете Германа Ивановича? Да это наш и. о. директора вот уже второй год, пока директор болеет. Ой, он такой вздорный! Мы его боимся.

— Саясов боится?

— Конечно, боится. Да его все боятся. У него семь пятниц на неделе.

— И этот росточек ничего?

— В смысле?

— Не мешает бояться?

— А мы не видим этого. Он для нас великан. Какой-то Полифем одноглазый. Нет, он странный: он может быть добрым, сентиментальным, а может быть таким злым, просто ужас. Но от него все зависит. Наши авторы перед ним стелются. Вот сейчас, когда он проходил по коридору, вы поздоровались с ним?

— Нет.

— Это плохо. Запомнит.

— Ну да?

— Память совершенно потрясающая.

— Но он меня не знает.

— А он спросил: «Кто стоял возле вашей редакции в коридоре и курил?» Я сказала: «Молодой писатель Антипов». Он говорит: «Почему не предупреждаете авторов, что курить в коридоре нельзя?» Но я поняла, что дело не в том, что вы курили, а в том, что вы ему не понравились. Может, вы посмотрели на него как-нибудь косо.

— Нет, просто не заметил.

— Это тоже не годится. Надо замечать. Надо обращаться с ним, как с мужиком, грубоватым, здоровенным, любителем выпить, поговорить о футболе, о женщинах. Наши авторы умасливают его анекдотами. Но я вас умоляю, Саша, не идите по этому пути!

— Не пойду.

— Я так рада, что подписала расчетные ведомости! Люди смогут получить деньги послезавтра...

Он догадался, что обида, если и была, исчезла. Она вернулась в другом настроении: то ли радовалась удачному подписанию ведомостей, то ли тому, что он не ушел и ее дождался.

Провожая ее домой, он рассказал всю историю с Двойниковым и Саясовым. Почему-то сразу и безоглядно ей поверил. С какой стати? Поверил, и все. Он крепко прижимал ее, держа за локоть, к себе и нарочно шел медленно. Всю дорогу от Сушевской до Гоголевского бульвара прошли пешком. Она сказала: поддаваться на саясовский шантаж не надо. Он не столь могуществен, как можно подумать. Антипов не решился признаться, что уже отказался от дела, и в немалой степени под давлением Саясова. Почувствовал, что это ей не понравится. И для проверки осторожно предложил: «А что, если — ну его к черту? Отказаться от экспертизы вообще?» Последовала пауза, он уловил в чуть заметном движении локтя, что она слегка отдалилась. «Этим вы ему угодите». Он тоже помолчал и спросил. «Угодить не надо?» — «По-моему, — сказала она, — надо просто не обращать внимания. И сделать так, как считаешь нужным по правде». Дома у Тани он ел яичницу с салом. Танин отец налил водки. Сказал, что у него язва и он лечится водкой. Он был невысокий, худой, с лохматой седой шевелюрой, очень говорливый, смешной, рассказывал о первых днях войны, и все что-то не страшное, а смешное, быстро сделался пьян, и Таня уложила его здесь же, в комнате, на диван спать. Старшая сестра Вика осталась с отцом, а Таня и Ан-

типов пошли в маленькую соседнюю комнатку, где жили Таня и Вика. Он погасил свет, обнял Таню. И она обняла его. Стали целоваться, сначала стоя, потом сели на кровать, оба сняли очки, она шепнула «дай сюда!», положила обе пары куда-то в темноте, продолжали целоваться, обнялись удобнее, даже повалились боком на кровать, ноги их свисали с кровати, в соседней комнате ходила, громыхла стульями Вика, запело радио, его рука гладила выпуклое Танино бедро, что-то шелестело в пальцах, надо было отодвинуть, горячая, шелковистая нежность кожи, а на губах был вкус лесных орехов, вкус ее рта. Сестра свирепствовала за стеной. Не жалея отца, гремела посудой. Танина слабая рука стискивала его пальцы, не пускала дальше, Танины губы шептали вместе с поцелуем: «Не надо». Он понимал, не надо. Она девушка, он не должен, нельзя. Все разворачивалось головокружительно, ненужно, запретно, сладко, и сестра могла войти в любую минуту. Вдруг она освободилась от его объятий, села на кровати, согнувшись, — не видел в темноте, но догадывался, что сидит в привычной позе, согнувшись, — и дрожащим шепотом:

— Саша, не слушайте меня. Делайте, как он хочет. Он мстительный...

— Я не боюсь,— сказал Антипов.

— Он хуже всех.— Она помолчала.— Всех, кого я знала.

И вот в густоте ночи, в потрескивании, в мелькании по шкафу и потолку летучего света редких шуршащих внизу машин наступил — и оледенил — миг бреда, миг ужаса. Выбраться из-под навалившихся тел невозможно. Дышать нечем. Уйти нельзя. Потому что из темноты ударяет в лицо синий слепящий свет, это особая лампа, от нее струится жаркое, одурманивающее излучение — выскочить из-под нее нельзя, синий свет обессиливает, лишает воли, убивает мигренью голову — эта лампа не для исцеления, а для пытки. Прожектор, откуда льется потоком синий свет, держит и направляет кто-то невидимый. Может быть, их двое или трое. Скорее всего, там Саясов и с ним вроде бы Федька Пряхин. Но лиц Антипов не видит. Он догадывается, что они там. Они регулируют интенсивность жара, и Антипова то опалает, как из печки, и он боится, что вот-вот загорятся волосы, а то становится чуть прохладнее, и можно вздохнуть. В тот миг, когда жар усиливается,

слышен высокий, надтреснутый голосок: «Говорите!» И ему вторит басом Пряхин: «Говори, сука долбаная!» Боже мой, да что же говорить? Антипов с отчаянием понимает, что говорить не о чем. Никаких мыслей, ни крупицы, ни крошечки нет в голове. Антипов корчится в синем луче, как пойманный прожектором самолет. Надо вырваться — удрать, выпасть — из этого луча и спастись. Достаточно сделать маленькое движение, и можно выпрыгнуть из луча в блаженную темноту, но он забыл, какое движение. Забыл, забыл! Он не может спастись. Вдруг ясно видно, что за прожектором прячется не Саясов и не Федька, а сморщенная, чайного цвета мордочка с громадной папиросой во рту. Треещащим голоском мордочка говорит: «Нет, Антипов, вам курить в коридоре нельзя, а мне можно. Вам нельзя». — «Что же мне делать?» — «Я не знаю. Курить вам нельзя, а бросить папиросу я тоже не разрешаю». И — никак, ни за что, никакими силами. Антипов хочет отряхнуться от сна, от ужаса, сбросить мертвящую синеву. Отряхнуться не получается. Антипов сел на постели и с бьющимся сердцем смотрел в окно — в черноте горел синий сверкающий диск луны.

Утром часов в десять позвонил Саясов и спросил — опять еле слышно, — получил ли Антипов пакет и успел ли посмотреть замечания. Антипов сказал, что получил и посмотрел. В трубке что-то невнятно свиристело, Антипов раздражался, не мог понять, уловил только вопросительный конец фразы: все понятно? Ответил наугад: понятно, понятно! Много ли потребуется времени? Наверно, дня четыре. Очень хорошо. Опять шепот, свиристение, невнятица, и выплыла фраза: слушание дела отложено, Антипов знает? На две недели. Нет, Антипов не знает, но он принял решение: отказаться и не участвовать. Громко крикнул: к сожалению, нет времени!

После молчания голос в трубке разборчиво сказал:

— Честно признаться, Александр Николаевич, меня это не слишком устраивает.

— Почему? — удивился Антипов.

— Мне неприятно. По разным соображениям. Нет, Александр Николаевич, дорогой, мне решительно это не нравится. Выходит, я вас припер и вы отказались? Нет, нет, вы извините, но вашей жертвы я не приму.

— О какой жертве вы говорите?.. — пробормотал Антипов.

— Припирать вас никто не хотел, так что вы напрасно, как говорят в народе,— тут голос его совсем окреп, — в спапалились! Александр Николаевич, зачем вы в спапалились-то? Тем более вопрос ясный, недвусмысленный, не надо ничего усложнять. Я вас прошу, не в спапашивайтесь. И зайдите ко мне, если можно, сегодня, я вас прошу. Поговорим о рукописи. Зайдете?

Тетка Маргарита приглашала на обед на два часа. Антипов подумал, к пяти успеет в издательство. Сказал, что зайдет к концу дня. Тетка перепечатывала последний вариант повести, и, так как работа была большая, он твердо решил на сей раз с теткой рассчитаться — все прежние перепечатки она делала *gratis* и скандалила, когда пытались вручить ей деньги,— тут и мать помогла и совместными усилиями заставили ее покориться и взять подарок. Антипов продал книги, выручил за них четыреста пятьдесят, а сестра купила на эти деньги тюль на занавески, от чего тетка уж не могла отказаться. Вся эта суматоха была в декабре, с тех пор Антипов тетку не видел. Он любил у нее бывать, любил слушать ее рассказы, да и кормила она вкусно, но где взять время на все? Тетка предупредила, что на обеде никого не будет, кроме какой-то приятельницы. Антипову нравились и теткыны приятельницы, в большинстве интеллигентные, хорошо воспитанные и плохо устроенные дамы старше среднего возраста. Одна Татьяна Робертовна чего стоила: сколько интересного она знала о двадцатых и тридцатых годах! Антипов с радостью думал, что у тетки он хоть на два часа забудет об этой мороке: Двойников, Саясов, Александр Григорьевич в инфаркте, книга под топором...

Приятельница тетки оказалась не старой, красиво нарумяненной, гладко-пего-черноволосой, с большим узлом на затылке, в тесном платье, которое подчеркивало еще далеко не разрушенные округлости, на шее было гранатовое ожерелье, в тонких пальцах держала длинную тонкую сигарету, но глаза у приятельницы были старушечьи. Когда Антипов пришел, дамы сидели за столом и курили, и тетка Маргарита, продолжая прерванный разговор, произнесла:

— А Леву Двойникова я хорошо помню. Он был женат первым браком на Женечке Гарт?

— Нет, ты путаешь,— сказала приятельница.— Женя Гарт была замужем за Левиным братом Павлом...

— Боже, он был такой талантливый!

— Лева, надо сказать, был совершенно безупречен в отношении Павла,— сказала приятельница.— Ведь Женя погибла, дети воспитывались в детском доме, и Лева всегда помогал как мог...

Женщины разговаривали, а Антипов сидел оглушенный.

Во время обеда открылось: все устроено для того, чтобы познакомить его, Антипова, с теткой приятельницей Марией Васильевной Самодуровой, женою, а теперь уже, вероятно, вдовою Юрия Николаевича Самодурова, журналиста и критика, пропавшего на войне. Главная теткина дружба была с этим Юрием Николаевичем. Остальных она знала меньше. Юрий Николаевич работал в издательстве, где сейчас все стряслось. Он писал брошюры о русских классиках. Все люди вокруг Юрия Николаевича были замечательные, и Лева Двойников был замечательный. Другого такого бескорыстного человека, как Лева, не сыскать в целой Москве. Он помогал людям. Взять хотя бы Марию Васильевну: только благодаря Леве она сумела воспитать дочь, кормить мать. Но всегда должен найтись такой, который завидует бескорыстному человеку, ненавидит его и в ненависти ищет свою корысть. Потому что, имейте в виду, ненависть всегда небескорыстна.

Антипов устал, как от тяжелой работы. Устал слушать, соображать и думать: как поступить? Он сказал: все кончено, тетя Рита, вы опоздали с фрикадельками, с телячьими котлетами, с макаронами, посыпанными тертым сыром, с компотом из сухофруктов и душистым печеньем к чаю, пахнущим корицей, которое неслыханно хорошо умеют печь в этом доме. Опоздали, потому что все. Он сдался. Он отвалил. Он бросил Леву на произвол судьбы.

— Как сдался? — воскликнула тетка, и ее лицо стало вытягиваться, сохнуть и твердеть на глазах.— Как можно бросить человека на произвол...

— Можно, можно! — махал рукою Антипов.— Потому что книга под ножом гильотины. Малейшее движение, и нож летит вниз, и нет головы. У книги, разумеется. А потом, может, и у меня...

— Как? — изумилась Мария Васильевна.— Вы не скажете хотя бы, что Лев Степанович не плагиатор?..

— Нет! Не скажу! Не могу! Хотя бы! Ваш Лев Степанович — подставное лицо! — кричал Антипов, придя

в странное опьянение от компота. Он вскочил, бегал по комнате, отшвыривал по дороге стулья, ударил ногой кота, потом стал дергать балконную дверь, она была заклеена и заложена тряпками, с силою все это разодрал, открыл дверь и вышел на балкон. Старая Москва дымилась внизу синими крышами. Сырой воздух окатил Антипова до костей, он задрожал вдруг и вернулся, дрожа, в комнату. Тетя Маргарита взяла его за руку и сказала тихо:

— Ну садись, будем пить чай.

Пили чай до одиннадцати вечера. Антипов забыл, что обещал прийти в издательство.

— Я ждал вчера до семи. Ведь мы условились. Савдр Николаич, вы поступаете маловысокохудожественно, ну бог с вами, я прощаю, были причины, разумеется, вижу по вашему лицу. Хорошо, забудем. Я пригласил вас единственно вот зачем: чтобы сообщить пренеприятное известие! Дело Двойникова выходит за рамки уголовного. Выясняется, он не просто рвач и стяжатель, который использовал служебное положение, но он покровитель лиц сомнительной репутации. Делом Двойникова будут заниматься другие. Вот и все, что я вам имел сообщить, дорогой друг.

И стянулись концы мертвым узлом — сначала слегка, потом потуже, потом еще туже, потом крепче уж некуда, нерасторжимо. Затевалось невинное за чаем с карамельками в доме Мирона, а теперь до того каменно и роково, что только плюнуть остается и рукой махнуть! Понял Антипов, что как он выступит на суде, так и с книгой получится. Не с книгой — с судьбой. И оттого, что отступать некуда, и жалеть не о чем, и трусить не к лицу, понял он, что выход один — узнать правду. И он ее узнает. И была она вот такая: Двойников, и верю, норовил подзаработать за чужой счет, но он же и помогал людям щедро. Как же соединялось это в одном человеке? Да вот соединялось как-то! Все в нем было. Для своей выгоды использовал чужие статейки, и он же давал работу людям, оказавшимся сейчас в трудном положении. Одинаково горячо любил свою жену, больную женщину, и гладко-пего-черную, с пучком Марию Васильевну Самодурову, которая стала хозяйкой издательства. Был и смельчак, и трус — на войне заслужил ордена за храбрость, а дома боялся

дочери, которая его временами была. Был и старик, и юноша — мучился от любви и мучился от старческих ведугов, от болезни сердца.

Как же было Двойникова — в каждой молекуле расщепленного пополам — слить воедино? На суде н е л ь з я: чтоб ни туда, ни сюда. Там ничьих не бывает. Еще до того, как Антипов увидел на суде согбенного, желтолицего, с когда-то внушительными, напомаженными, а ныне жалкими залысынами старика, который, проходя мимо жены, сидевшей в первом ряду, улыбнулся кротко, виновато; еще до того, как увидел жалобщика Саясова, у которого автоматически ходили скулы и двигался сам собою кадык, а глаза были братнины, тесно посаженные, еще до всего Антипов решил, что если поставить гирьки на обе чаши, то гирька в е л и к о д у ш и е будет самая редкостная и удельный вес ее будет так тяжел, что она перетянет. Великодушие всегда риск, и та половина Двойникова, которая способна на риск, есть главная. Тут, подумал Антипов, скрыто запакованное тайное ядро. И Антипов подал голос в защиту той половины Двойникова...

Он заявил, что плагиата как такового не видит. Старший Саясов двигал скулами. Его брат, каменея лицом, смотрел на Антипова из глубины переполненного зала мелкими немигающими глазками, а потом неотрывно уставился в окно. Книжка Антипова выпала из плана. Автору предстояла серьезная переработка. Это значило: все рухнуло надолго. Мирон его ругал. Федька Пряхин прибежал в гневе и кричал, что он ему «этого никогда не простит» и что «между ними теперь война», в подтверждение чего забрал все свои книги, которые давал читать и раньше не спрашивал месяцами. Федька разъярился как-то чересчур. Мать и сестра тоже сердились, корили Антипова за то, что он их не послушал, а узнав, что тетка Маргарита принимала в деле участие, поссорились с нею и на некоторое время прервали отношения. Александр Григорьевич был, наверно, Антипову благодарен, но это было совсем незаметно. Он вручил ему законный гонорар, пятьсот рублей за само-мучительство в течение трех недель, затем вынул конверт. «А это обещанное Львом Степановичем». Антипов махнул рукою, чтобы конверт исчез. Александр Григорьевич, пожав плечами, положил конверт в карман. Ни Двойникова, ни Самодурову, ни старшего Саясова с автоматическими скулами Антипов никогда больше не

видел и ничего не слышал о них. И ему показалось, что вся эта история представляла интерес лишь для одного человека — для него самого.

Но ночью в начале марта, когда вдруг пал мороз и в квартире Таниной подруги, уехавшей куда-то на кулички, плохо работало отопление, горел газ на кухне, включили электроплитку, согрелись, потом лежали, не двигаясь, сомлев от жары и усталости, Таня вдруг заплакала и сказала:

— Если бы не эта сволочь, мы бы никогда с тобой...

— Если бы не что? — спросил Антипов.

— Я тебя полюбила в тот день, когда ты послал его к черту. Ведь ты знал, что будет? Знал же?

Они согревали друг друга холодными ночами весь март и половину апреля, пока подруга находилась на куличках. В апреле Антипов взял командировку от толстого журнала, где теперь работал в отделе публицистики Толя Квашнин, он и устроил командировку, и уехал на Волгу писать очерк о стройке Куйбышевской ГЭС. Жить было совершенно не на что. Не мог же он сидеть трутнем на шее у матери и сестры. Надежд на издательство не осталось, особенно после того, что он учинил в подвале перед гардеробом. Накануне Таня призналась — да, было. Однажды. Тот долго ухаживал, приглашал туда-сюда, осаждал месяца три, потом она сдалась, потому что грозил и отцу сделать неприятность. Ведь она скрывала, что был в плену. Было однажды. Да и то, можно сказать, — не было никак. И после того как отрезало, он перестал приставать. Для нее это была казнь, для него какой-то спортивный рекорд. Она рассказывала тихим голосом, вяло, безжизненно и смотрела на Антипова скучными глазами, как чужая. Он выбежал из комнаты. Когда вернулся, она стояла одетая, с сумкой в руках, спросила спокойно: «Я пойду?» — «Куда?» Он толкнул ее так сильно, что она упала на кровать. Лежала, не двигаясь, лицом в одеяло. Зачем он начал, идиот? Он прибежал не в себе. Потому что один тип оглушил его: «Вы говорите про Таню? Про секретаря редакции? Да ведь она саясовская баба». Он, еле сдерживаясь, произнес: «Она его ненавидит». — «Милый мой, — сказал тип. — Можно ненавидеть и спать». В подвале, где помещался гардероб, Антипов сидел в жестком деревянном кресле часа два, пока не увидел Саясова, тот спускался в сто-

ловую. С ним шли двое, мужчина и женщина. А следом за ними спускался по лестнице Борис Георгиевич Княнов, но Антипов хотя и видел его, но как бы не видел. Саясов же, заметив Антипова, догадался сразу, побледнел и остановился на нижней ступени лестницы. Мужчина и женщина прошли дальше к прилавку гардероба. Антипов подошел к Саясову, взял его за галстук и дернул книзу. Саясов как-то застыл, не сопротивляясь, глаза его сошлись на переносице. «Ты знаешь, сукин сын,— сказал Антипов,— за что и почему». Он опять дернул за галстук и успел дважды сильно ударить по мотавшейся голове ребром ладони, но вдруг почувствовал крушащий удар в лицо, хрустнула оправа, звякнули стекла. Вокруг кричали, дрыгали руками, ногами, выбежал гардеробщик, вопила женщина. Антипов отталкивал всех, хотел нагнуться, найти стекла. Потом брел слепо по солнечной, в весеннем зное улице, наткнулся на прохожих и, улыбаясь, бормотал: «Извините...»

Борис Георгиевич догнал Антипова на Новослободской, недалеко от метро. Сцена, которую он наблюдал в гардеробной, ошеломила его, но не очень. Он привык к тому, что многие теперешние молодые — люди со странностями и часто полагают, что сила таланта должна подтверждаться кулаками. Такие ухари бывали и в двадцатые годы. Но Антипов? От любого другого Борис Георгиевич мог бы ожидать подобных эскапад, но не от Антипова. Он и драться-то путем не умел. И белобрысый тоже оказался не боец. Антипова сшиб с ног какой-то третий, подскочивший сзади, хотел бить еще, и какая-то женщина, размахивая портфелем, кричала «Бейте его! Это хулиган!» Борис Георгиевич насилу их унял и отговорил вызывать милицию. Догнав Антипова, который шел, пошатываясь и что-то бормоча, Борис Георгиевич тронул его за плечо и спросил:

— Антипов, какая муха вас укусила?

Антипов повернул измученное слепое лицо и улыбнулся.

— О Борис Георгиевич! Видели этот бред?

— Что это значит? И кто этот господин, на кого вы набросились?

— Ах...— Антипов махнул рукой.— Долго рассказывать... Они выкинули мою рукопись из плана.

Борис Георгиевич думал: ну вот, я так и знал, выкинули рукопись, значит, надо бить по мордасам. Все

хотят взять силой. Недаром старик Тростянецкий жаловался — они все нахалы. Сидел, говорит, в приемной, ждал редактора, а ваш ученик Антипов проходит без очереди. Но все же его жаль. Он не без способностей. И драться не умеет. По-видимому, дошел до края.

И, вновь тронув Антипова за плечо, сказал:

— Послушайте, Антипов, принесите мне вашу рукопись. Посмотрим, может быть, что-нибудь...

Никаких средств для жизни в ближайшее время у Антипова не предвиделось, поэтому он взял командировку, получил командировочные и уехал. По дороге на вокзал заехал на Большую Бронную и отдал Княнову папку с повестью.

Вечереющим днем Антипов сидел на откосе, смотрел на реку, на отлогий противоположный берег с желтой каймой песка, на свинцово-голубой простор, разделенный тенью от крутояра пополам — дальняя сторона голубая, а ближняя — темный свинец, — и слушал ленивую речь Лукичева, пожилого, сохлого и большого на вид мужика, чей домик стоял поблизости, на яру. В домике было темно, сыро, поэтому Антипов вышел на солнцепек, сел на траву, а Лукичев лег рядом. Громада ясного и бездонного голубого воздуха окружала Антипова. Ему хотелось слушать, думать, вспоминать, забыться. От домика вела к реке деревянная, грубо сколоченная лестница, внизу чернели две лодки. Рядом с Лукичевым сидел на корточках пастушонок с веревкой через плечо, на веревке болталось ведро с дымящимся коровьим дерьмом — от мошки или, как ее тут называли, вохры. Лукичев говорил: «Нынешний год вам повезло, гада мало... Мошки этой, комара, одним словом, насекомца...» А рассказ был такой.

— Я тоже в Москве побывал в тридцать третьем годе... Свиной привез по железной дороге. Загнали меня в Сызрани в тупик, трое суток стоял. Потом один парень научил: сходи, говорит, к беспетчеру, скажи, дескать, корм кончился, свинья свинью ест... Так я и сделал... Пришел к беспетчеру, говорю: я тут с живностью, корм кончился, одна другую ест... Через двадцать четыре часа, говорит, немедленно отправить! Так и доехал до Москвы.

Лукичев был бакенщик. А в тридцатые годы работал директором совхоза. Почему так вышло и он из директора стал бакенщиком, Антипову было не совсем

ясно, но и спрашивать не хотелось. Мысли его были в Москве, которую он покинул неделю назад и вернуться куда должен был не скоро. Вдруг он понял, что смертельно влюблен и что все дальнейшее путешествие будет мукой.

КОНЕЦ ЗИМЫ...

Лет сто сорок назад, после пожара Москвы, этот дом, криво поставленный на излучке Рождественского бульвара, был выстроен неким Савичевым, человеком богатым и таинственным, который устроил тут какую-то закрытую ложу и нечто вроде гостиницы для членов ложи, приезжавших из далеких поместий и даже из Европы, в середине века наследники продали дом князю Урусьеву, пожелавшему превратить его в доходное здание, для чего был воздвигнут третий этаж в виде мелких комнаток, сдававшихся внаем, но дело почему-то не оправдалось, князь Урусьев оказался игрок, дом был проигран, пошел с молотка, затем лет тридцать гулял из рук в руки, пока не попал во владение к московскому негодяианту Сургутову, который переделал его на свой лад — в нижнем этаже устроил конторы, второй предоставил под квартиры солидным людям, стряпчим, коммерсантам, а третий сдавал людям попроще, но тоже не шущере. И вот в начале века в одной из квартир наверху поселился Веретенников, управляющий завода гирь и весов, заняв с большой семьей восемь комнат. До девятнадцатого года Веретенниковы жили хотя и в ужасных тревогах, но без помех, потому что сам хозяин остался на заводе кладовщиком и новая власть смотрела на него терпеливо. Только произвела, разумеется, уплотнение и забрала из восьми комнат шесть. Однако в конце девятнадцатого, не вынеся голода и еще худшего уплотнения, чем грозил сосед товарищ Ираклиев, близкий к комиссариату,— Веретенников собрался единым духом и отбыл с домочадцами неведомо куда, скорее всего на юг. Изо всей семьи осталась в доме одна Полина, дочь Веретенникова, больная ногами, и с нею вместе старушка Фелицата, чуть живая, ее ветром качало, а все же прожила с тех пор еще двадцать с лишним лет, померла в войну. Им оставили крайнюю комнату с крохотным балкончиком, на котором прежде стоял вазон, а теперь Полина сидела часами и глядела вниз, на бульвар. И радовалась тому, что

балкончик такой маховый, уютный, как футлярчик для драгоценностей, а драгоценностью в нем кресло. Был бы он больше, радовалась Полина, его бы непременно Ираклиевы уплотнили, пробили бы дверь в стене, не пожалели и половину бы уплотнили. А так уж это ее, веретенниковское, до самой смерти. Когда Антипов два года назад въехал сюда вместе с Таней и трехмесячным Степкой, он увидел рыхлую громадную старуху с багровым лицом, сидевшую в шубе и в мужской шапке-ушанке на балконе, и услышал: «Бабка Веретенникова гуляет».

На бульваре плешинами белел снег, деревья темнели сиво, голо, и по черному асфальту, по трамвайному пути и по середине бульвара бежали к Трубной площади люди. Зима кончалась, воздух был ледяной. И ледяной ветер гнал людей к Трубной. Говорили, что в Дом Союзов, где лежал покойник, будут пускать с двух, но люди тянулись уже теперь. Антипов, наверное, побежал бы со всеми, то, что случилось, волновало его страшно, ледяная стынь пробирала до дрожи, но он не мог отойти от дома, ждал Ивана Владимировича, доктора, и от нетерпения вышел на улицу. Боялся, что Иван Владимирович заплутает, не найдет дом, а сутолока на улицах такова, что старик мог и вовсе не добраться сюда из Замоскворечья, где находилась больница. Центр, говорили, закрыт, в метро не пускают, ехать он мог только через Павелецкий и Таганку. Антипов еще надеялся утром, что удастся взять такси и, отвезя Степку к бабушке, то есть к матери, что сделать необходимо, он заедет в больницу и заберет Ивана Владимировича, но такси пропали, трамвай по бульварному кольцу не ходил, пришлось бежать со Степкой на руках до Сретенки, оттуда на Покровку, где жила мать, и ровно к половине одиннадцатого, как договаривались, задыхаясь, едва не ваясь с ног, страшась, что опоздал, Антипов примчался домой, однако не опоздал. Доктора не было и теперь, спустя два часа.

Антипов стоял на обледенелом тротуаре, слушал говор людей, шедших быстрым шагом группами и поодиночке к Трубной — некоторые шли шеренгами, взявшись за руки, лица одних были скорбны, значительны, даже торжественны, другие были заплаканы, третьи мрачны, иные громко разговаривали, на них шикали, — где-то слышался смех, где-то рыдания, мальчишки шны-

ряли в толпе, во всех чувствовалось то, что испытывал Антипов, какое-то полубезумие,— и думал о том, что люди, которые будут жить через сто лет, никогда не поймут нашей душевной дрожи в тот ледяной март и того, что в такой день можно нервничать из-за такси, из-за того, что доктор опаздывает, сын капризничает, мать спрашивает подозрительно: «С чего это взялись натирать полы?»

Антипов крикнул старухе Веретенниковой, чтобы она, если увидит высокого старика в длинном черном пальто, показала бы, как пройти в дом, ворота заколочены, надо обходить соседним двором; все это Антипов накануне разъяснил по телефону, но доктор был рассеян. Веретенникова кивнула квадратной, как у медведя, в черном кожаном треухе башкой. Она разговаривала редко, все больше кивала, мотала головой или же смотрела сурово, неодобрительно.

Антипов побежал наверх. Его беспокоила Таня, он знал, что она держится из последних сил, нет ничего хуже ожидания, тем более ожидания муки, а Таня — человек нехрабрый. Так и есть, лежала бледная, левую руку положив на сердце, всем видом вызывая жалость и сочувствие, смотрела остановившимся взглядом в потолок. И, когда Антипов влетел, не изменила позы, не отвела взгляда от потолка. Нет, никто не звонил. Какая-то катастрофа, что делать? Больница не отвечает.

— Дай, пожалуйста, сердечное. Накапай двадцать пять капель,— сказала слабым ровным голосом.

Он накапал и дал. Рука Тани была холодная. Антипов трепетал от сострадания, сжал ее пальцы, сказал как можно более ласково и спокойно:

— Танюша, давай еще раз... А вдруг не надо? А? Я смотреть на тебя не могу.

— Надо,— сказала еле слышно и закрыла глаза.

В коридоре отдаленно топали, стучали дверью. Раздались рыдания. Антипов вышел в коридор. Кто-то рыдал на кухне. Было не так уж интересно знать, кто рыдает, но Антипов не мог ничем себя занять, томился, решил ждать еще полчаса и поплелся на кухню. Рыдали две женщины: Анна Артемовна, жена Варганова, горбила громоздкую спину возле окна, жирные плечи сотрясались, рыдание получалось грубое, хриплое, как у мужика, при этом Анна Артемовна бормотала невнятное, а Бэлла, жена Ираклиева, вертела в мясорубке мясо, крошила туда хлеб и при этом тоже рыдала, но

как-то задушенно, кусая губы. Слезы текли по щекам Бэллы. Женщины рыдали каждая сама по себе, повернувшись спинами и даже как бы не замечая друг друга. Антипов потоптался на кухне, торкнулся зачем-то в шкаф, в другой, наполнил водою чайник и поставил его на газ. Обе женщины были мало симпатичны ему, поэтому не стал с ними заговаривать. Была бы тут Зоя Тихомолова или Тонечка, приходившие к бабке Веретенниковой, был бы даже Сенька Ираклиев, он бы непременно заговорил, но эти две не располагали. Особенно Анна Артемовна с ее вечно шупающим, остреньким, каким-то промышленным взглядом из-под вислых бровей. Брови у нее, как и голос, мужские. Женщина с таким басом должна быть грубоватой, откровенной, простецкой, а эта ядовита, льстива, постоянно чем-нибудь промышляет, где что плохо лежит... Антипов и Таня снимали комнату у Таниной тетки Ксении Васильевны, овдовевшей несколько лет назад, тетка отдала им дальнюю комнату, в конце коридора, сама осталась в соседней, где часто принимала гостей: подруг гимназических лет, стареньких преподавательниц, унылых вдовиц; чаще других приходила в гости, даже жила неделями Екатерина Гурьевна, женщина лет пятидесяти, настрадавшаяся в местах отдаленных, потерявшая мужа, сына и квартиру в Москве, скитавшаяся по домам, живя где чужой добротой, где своим трудом, ибо была портниха. Эта Екатерина Гурьевна Антипову нравилась: замечательно умела рассказывать о своих скитаниях, и как-то странно, без горечи, без нытья, даже весело, то вспоминала шутки, то хороших людей, а люди ей попадались непременно хорошие, редко про кого скажет кратко, с неудовольствием: «Это был тип». Или: «Это была плохая женщина». И не хочет о таких распространяться. Человек она была полезный: то шила, латала, перелицовывала что-нибудь, а то и в магазин ходит и суп сварит. Знакомые Ксении Васильевны давали ей заказы на шитье с радостью, брала она недорого. Только Таня и Ксения Васильевна не решались ни о чем попросить, потому что знали, Екатерина Гурьевна не возьмет ни копейки. Но она сама им делала, без просьб. Жизнь у Екатерины Гурьевны получалась несладкая — прописки московской нет, всегда будь начеку, чуть что, собирай манатки и сматывайся от одних добрых людей к другим. Разговоры с участковым — приятного мало.

И вот Анна Артемовна, шука толстозадая, догадалась про Екатерину Гурьевну и коварным способом дала понять: заказала ей халат из какой-то лянляой, столетней давности байки, Екатерине Гурьевне не хотелось для этой бабищи шить, она тянула, отлынивала, но Ксения Васильевна, подумавши, рассудила здраво: «Надо, Гурьевна! Никуда не денешься». Екатерина Гурьевна возилась с халатом недели две — то примерки, то переделки, наконец отдала, и вечером приготовились пить чай с тортом, с бутылкой кагора, как обычно бывало, когда заказчики расплачивались и Екатерина Гурьевна угощала всех ужином. На этот раз Екатерина Гурьевна пришла без торта, без кагора и, улыбаясь смущенно, сообщила: «Сегодня, дорогие, я без гостинцев. Вот какие-то карамельки подвернулись. Говорят, хорошие, сливочные». И высыпала из бумажного кулька карамельки на блюдце. Спрашивать не стали, сама потом рассказала. Варганова надела халат, покрасовалась перед зеркалом, сказала: «Благодарю, милая. Сейчас хорошо», — и все. Когда Екатерина Гурьевна заикнулась про деньги, та сказала, наставив на Екатерину Гурьевну палец: «Запомните, не я вам должна платить, а вы мне. Понимаете, милая?» Антипов, услышав, пришел в такую ярость, что кинулся на кухню, но Таня бросилась вдогонку, повисла на нем, увела от греха. Екатерина Гурьевна и тетя Ксения всполошились: не надо, мол, шума, скандала, плюнуть на это дело и забыть, с плохими людьми не связывайся, а у Екатерины Гурьевны и вообще-то привычка — Антипов заметил то же у матери — не противиться, а смиряться. Рукой махнут и промолчат там, где он станет кипятиться. И, может быть, правы. Однако смиряться в квартире делалось все труднее — Варганова потребовала, чтоб Екатерина Гурьевна сшила ей блузку, потом чтоб переменяла подкладку на старой шубе, потом вовсе обнаглела, принесла мужнину трикотажную пижаму, нуждавшуюся в штопке, и Екатерина Гурьевна покорно исполняла заказы, но делала это теперь втайне, главным образом втайне от Антипова. Он все же узнал — варгановская пижама выдала, этот червячок с землистым личиком бегал в ней по коридору каждое утро, — и тут Антипов не вынес, подкараулил Варганову в коридоре, затолкал в ванную и, закрывши дверь, сказал: «Если не перестанете эксплуатировать Екатерину Гурьевну... Я предупреждаю... Здесь же, в этой ванной...» Разуме-

ется, глупость — что в ванной? Топить ее, что ли? Анна Артемовна перепугалась смертельно, базедовические глаза едва не вывалились, рот раскрылся, дар речи пропал. Антипов оставил ее и тут же ушел, уверенный, что, когда вернется, его будет ждать милиция, повестка к прокурору или в суд, однако вернулся в тихую, благодатную квартиру. Екатерине Гурьевне больше не давали заказов, но вряд ли она была этим довольна — прежде чувствовала себя гораздо спокойней! Антипов торжествовал, а Екатерина Гурьевна как-то призналась: «Знаете, Шура, шут бы с ней, я бы ей тряпки шила, лишь бы не иметь ее врагом. Я к вам сейчас ходить боюсь...» И, правда, стала приходить реже, а ночевать совсем избегала. Зато Анна Артемовна и землистый червячок, прежде мало замечавшие Антипова или, может быть, сторонившиеся его, теперь смотрели на него с опаской и некоторым недоумением. Они, видно, никак не могли уразуметь, что Антипов за птица: вроде он и писатель, и, как говорила одна соседка, известный, но площади своей не имел, снимал жалкую комнатенку в их клоповнике, хотя, если бы настоящий писатель, должен бы иметь квартиру; иногда за ним присылали машину и увозили куда-то на выступления или вызывали по телефону из важных редакций и учреждений, а то приплетался под дождем пешкодралом, как бродяга, и по неделям сидел безвылазно, никому не нужный; то Татьяна жарила утку, пила чай с тортом из кулинарии «Националь», а то пустой бульончик да картошка на подсолнечном масле. И еще — то разговаривал как образованный, употреблял научные слова и поминутно «извините», «разрешите», а то ругался по телефону грубо и, если был выпивши, мог нахулиганничать. Словом, человек путанный, и лучше от него быть подальше. Поэтому Антипова удивило то, что Анна Артемовна, вдруг перестав рыдать, обернулась и спросила твердым голосом:

— А вы почему не плачете, молодой человек?

— Вас это не касается, — ответил он ненаходчиво и вышел из кухни. Вышел оттого, что устыдился ненаходчивости. Обуревали другие заботы. Было ощущение, будто все летит куда-то в яму без дна — все то, что ими построено, к чему пришли в результате долгих колебаний. И виною не только отсутствие доктора, несчастный случай, бог знает что, но и грозный шум за

окнами, тысячеголосый рокот там что-то дыбилось, корчилось, сползало куда-то, как ледник, обнажая камни, голую почву, кровоточащую плоть.

Две женщины, тетя Ксения и Екатерина Гурьевна, сидели в комнате, объятые страхом. Антипов ощутил это безошибочно. Екатерина Гурьевна штопала, тетя Ксения раскладывала пасьянс, обе молчали, но по согнутым спинам, подавленным лицам, по тому, как они посмотрели на него, он почувствовал всей кожей — как чувствуют холод — присутствие страха в комнате. Да он был повсюду — на улицах, в воздухе. Один только Николай Ефимович, Танин отец, пришел вчера тепленький, под мухой, голубые глаза блестели, и все что-то подмигивал, шептал неслышное, показывал пальцем то в потолок, то в пол, то по шее проводил с лукавым видом. Женщины смотрели на него неодобрительно. Теперь они не спросили про доктора, хотя знали, что Таня и Антипов ждут. И знали зачем. Это обсуждалось долго, тетю Ксению не хотели подводить, пытались найти другое место, не находилось, тогда, поборов страх и выказав немалое благородство, тетя Ксения сама стала уговаривать остановиться на ее квартире и уговорила. Да ничего иного не оставалось. Все иное было хуже.

Доктор Иван Владимирович был сед, космат, громаден ростом, держался прямо, двигался медленно, чем-то напоминал чучело, но не страшное, а смешное, лицо было красное, будто с мороза, большой рот всегда улыбался, глаза в темных впадинах как бы налиты водой, но видел он хорошо. И всем говорил «деточка». Антипов знал его давно, Иван Владимирович был дружен с отцом, они происходили из одной деревни. Когда отца не стало, Иван Владимирович не оставил семью Антиповых, помогал чем был в силах, потом вышла разлука лет на шесть: Иван Владимирович работал хирургом во фронтовых госпиталях и после войны еще долго оставался военным врачом.

Антипова поражали два качества Ивана Владимировича: его постоянная улыбчивость и способность напевать, вернее, мурлыкать в самые роковые минуты жизни. Никогда не забыть: наутро после того, как попрощались ночью с мамой, он позвонил, ничего не подозревая, по голосу сестры все понял и немедленно приехал. И сразу в коридоре, еще не сняв галош и своего долгополого черного пальто с мерлушковым во-

ротником — он и сейчас в нем, — напевая что-то, сказал, что, если Антипов и сестра хотят, он их усыновит. Но Антипов и сестра тогда мало что понимали и ничего не хотели.

Вот и теперь, качаясь в дверях громадную черною башней, в мерлушковой шапке, улыбаясь и мурлыча, он медленно объяснял, какими путями пробирался сюда из Замоскворечья, как его везли на военном грузовике, на Солянке одной женщине стало дурно, он принял участие, внесли в дом, оказалось, на пятом месяце...

— Я говорю: деточка, вы в своем уме? Можно ли в вашем положении идти на египетские похороны? А она говорит: дедушка, я про себя вообще забыла, целиком и полностью. Я как чумовая от горя сделалась. Да, Шурочка, народ у нас замечательный, бескорыстный, все, как дети, на улицу высыпали, плачут...— И без перехода: — А я материалы подготовил, документы нашел, свои старые дневники, тетради университетские, так что за тобой дело, Шурочка. Насчет журнала «Огонек». Я в любой момент готов.

Старик давно уже намекал — не то что намекал, а робко и простодушно настаивал,— чтобы написать про него очерк в какой-нибудь журнал. Антипов однажды, когда Иван Владимирович был в гостях у матери, пообещал сглупу, да не находилось времени. И охоты, конечно. Он уже и договорился с приятелем из «Огонька», что-нибудь вроде «Верный страж здоровья» или «Сорок лет для блага людей», но постоянно откладывал. Антипов все еще оставался не профессионалом, а любителем, то есть умел писать только то, что было ему интересно. Все прочее требовало невероятных усилий. И теперь он испытывал стыд и мысленно давал себе клятву: в ближайшее же время непременно, обязательно, черт бы меня побрал...

— Помню,— сказал он.— Сделаем, Иван Владимирович.

Таня держалась изо всех сил. Она улыбалась Ивану Владимировичу, предлагала ему чаю, что было ни к чему. Иван Владимирович, бормоча сквозь мурлыканье: «Нет, деточка, после, после...» — вынимал из чемоданчика инструменты и раскладывал на столе. Улыбка не сходила с его краснотупого громадного рта. Инструменты выглядели заурядно, но именно в заурядности, в какой-то домашней обыкновенности заключался ужас. Антипов чувствовал, как его охватывает дрожь. Он не

мог заставить себя взглянуть на Таню. Взял ее руку и сжал. Она ответила легким пожатием и шепотом: «Не волнуйся!». Никогда прежде он не испытывал такой силы любви, как в секунды, когда услышал звон стальных ножей, увидел крупные узловатые пальцы, которые перебирали ножи бережно и спокойно. Как-то чересчур бережно и слишком спокойно. Иван Владимирович продолжал мурлыкать. И мурлыканье делалось невыносимым. Хотелось сказать: «Иван Владимирович, да перестаньте же петь, бога ради!» Если мука для него, то каково же Тане? Покорно делал все, о чем просили, побежал на кухню, налил в две кастрюли воды, принес одну, поставил на плитку, другую понес в комнату тети Ксении и поставил на другую плитку. Кипятить иначе было нельзя. Иван Владимирович, сидя в кресле, положив одну длинную ногу на другую, покойно беседовал с женщинами; тетю Ксению он видел впервые, но все равно называл ее деточкой, а с Екатериной Гурьевной был знаком, встречал у Антиповых. С матерью Антипова Екатерина Гурьевна сошлась на короткое время в Казахстане, потом судьба разбросала: мать работала в совхозе, Екатерина Гурьевна на комбинате. А в Москве столкнулись у общей подруги, ею оказалась Танина тетя Ксения. Но об этом Антипов узнал уже после знакомства с Таней, после Лихова переулка, после того, как оказались здесь, на Рождественском, тоже в марте, два года назад, когда все текло, бежали ручьи к Трубной и Володька, сын Тихомоловых, смиренный безумец, который не умел говорить, только мычал и сиял глазами, швырял с чердака в сырое небо голубей. Тогда Антипов забрел сюда впервые, еще не жильцом, а гостем. Увидел сборище: трудяг вроде Ивана Никитича Тихомолова, рабочего химзавода, и его жены Зои, уборщицы; доцветающих Ираклиевых с их странными сыновьями, шпанистого вида Валюшей и Борей, аспирантом, печальным и серым, как ночной мотыль, загадочную старуху Веретенникову, которая жила неведомо на какие шиши, нигде не работала, днями «гуляла» на балконе, однако ей всегда кто-нибудь помогал, и супругов Варгановых, ближайших соседей, которые соперничали с Ираклиевыми из-за того, кому царить в этом государстве пропахших супом обоев, старого паркета, бездействующей ванны, тусклых лампочек в коридоре. И, конечно, увидел тетю Ксению, которую полюбил. Полюбил, потому что стала

для Тани — нет, не матерью, но близкой душой. Отец был сам по себе, сестра жила своей жизнью. И чуть ли не в первое же утро столкнулся возле дверей ванной с седенькой, черноглазой. «Екатерина Гурьевна!» — ахнул в изумлении. «Шура!» — прошептала она. И обнялись радостно и бесшумно, испытав вдруг тайное единство — оба были тут незаконно. Все готово. Нет, не готово. Еще несколько минут, и все будет готово, готово окончательно, навечно, на все времена. Возникла какая-то новая необходимость — что-то прокипятить. Подготовка к нечеловеческой пытке любимого существа, к кромсанию плоти, к убиванию жизни. И это должно пасть ножом гильотины лишь оттого, что в редакции одного журнала отвергли рукопись в восемнадцать страниц. Нет, не рукопись, отвергли судьбу, надежду, отвергли отчаянный выкрик в глубину вселенной — как поступать тем, кто домогается счастья, ибо люди не хотят ничего другого. Только понимают по-разному. Антипов думал: счастье — это конец муки. Это то, что наступит примерно в половине шестого. Был месяц судорожных решений, колебаний, неизвестности, ночных разговоров шепотом, невозможности ни с кем поделиться, сокрытия всего ото всех, мечтаний, слез, невыносимости вида невинного Степки и страха. То, к чему склонялась их робкая душа, было избавлением от страха. Страх того, что новое существо будет мучиться тою же неизвестностью и теми же судорогами. Его спросят о том же самом. Он то же самое будет пытаться скрыть. В поту от внезапного жара будет сидеть над листом бумаги, и рука бессильно замрет над строкой: писать или нет? Он услышит слова сочувствия и слова, выкованные из стали, — те, что услышала Таня недавно: «Нет, принять на работу не можем. И в нашей системе вас не примет никто». У нее вырвалось: «Что же мне делать?» — «Не знаю». Вот от страха, что услышит «Не знаю», и никто не сможет помочь, и их не будет на земле, а Степке дай бог выбраться на белый свет самому, они все более склонялись... Иван Владимирович — друг, он не скажет «не знаю», он знает, он может, он исцеляет от страха, он не берет денег... И тогда, измучившись, не в силах решиться, отдались во власть судьбы. Как она ответит, так и будет. Спросили: примет ли судьба жалкую рукопись в восемнадцать страниц, рассказ «Високосный год», посланный в журнал три месяца назад?

Должны бы уже прочесть, но ответа не было. Антипов откладывал неприятный звонок, нет хуже нарушать редакционное молчание и напоминать о себе. Сказали так: ясности пока еще нет, мнения разделились, все решит заседание редколлегии. Состоится тогда-то. Этот срок подходил к последнему сроку, назначенному Иваном Владимировичем, и вдруг спроста решили: как будет, так будет. Судьба ответила: нет. Зам. главного, человек более влиятельный, чем сам редактор, голосом судьбы изрек: рассказ написан под Бунина, это никуда не годится. Бунин эмигрант и враг. Ах, нет! Не Бунин виною, не тупость редакторов, а — февраль со смертными холодами. Какой-то бред с убийцами в белых халатах. Приходят люди в гости, пьют чай, уходят, прощаются, благодарят, утром звонок: такой-то выпрыгнул в окно, и — насмерть. Как же так? Ведь вчера пил чай? Этого по телефону никто не объяснит. Мы сообщаем факты, а вы делайте выводы. Ну что ж, такого-то очень жаль. Нищий калека на культяпках сидит у ограды парка, в картуз собирает монеты, кричит: «А ты, очкастый, проходи мимо! У очкастых собачья кровь!» Будет кричать: «А ты, полуочкастый, проходи мимо! У полуочкастых кошачья кровь!». Перепутаны крови, перепутаны времена. Но день гильотины перепутать нельзя, он выбран давно. Две недели назад. Когда истекал воздух. Ни дня позже не мог ждать Иван Владимирович, уезжавший куда-то. Совпадение с похоронами случилось, однако, кстати: вся квартира, за исключением Бэллы, Варгановой и, конечно, старухи Веретенниковой, бросилась на улицу. И кухня почти пуста. Но Иван Владимирович рисковать не мог, поэтому электроплитка, разговоры вполголоса, занавешивание одеялами тамбура, затыкание подушками всяких щелей, чтоб никуда не проникла звериная боль.

— Эту штуку ты будешь держать в руке, Шурочка,— сказал Иван Владимирович.— Будешь мне помогать. Вот так, эдаким манером, вниз.

— Где... держать? — задохнулся Антипов.

— Я покажу где. Вот смотри, как нужно.— Он показывал пока что в воздухе. Таня лежала в соседней комнате.

— А может, кто-нибудь... лучше? Екатерина Гурьева?

— Нет, деточка, у тебя рука крепкая. Ты будешь держать лучше. Это совсем не страшно... Поверь мне.

Ничего дурного мы Танечке не сделаем. И боль вовсе не такая ужасная, как многие полагают. Боль терпимая...— Разговаривая, Иван Владимирович натягивал перчатки. Затем двинулся не спеша в комнату, где лежала Таня.— Сегодня утром, Шура, я вспомнил интереснейший эпизод, очень хорош будет для твоего очерка: как я бросил губку в министра просвещения Кассо... В девятьсот одиннадцатом году...— Тут он зашептал: — Но, разумеется, не сейчас, не сейчас! Ты помни, я расскажу...

Таня лежала, накрывшись простыней. Живот у нее был не заметен, но сейчас под простыней он выделялся. Таня смотрела на Ивана Владимировича неподвижным холодным взглядом.

За окном кричала женщина. Крик был настолько пронзителен, что Таня вздрогнула, побелев, и все будто очнулись: услышали тяжкий шум толпы. Теперь было совсем не то, что час назад — тогда шаркали, топали, разговаривали, теперь же снизу поднимался глухой, зыбкий гул, точно там не люди шли, а текла вода, может быть, лава, что-то подземное, в этом потоке текли крики, невнятные, захлебывающиеся. Но крик женщины был пронзительно ясен: «Спасите!» Подойдя к окну, Антипов увидел месиво шапок, воротников, простоволосых голов, сбитых в такую плотную гущу, что все это от густоты никуда не двигалось, а стояло. Он увидел застывшую реку камней, заледенелый поток. Остановилось движение крови. Там, где ограда бульвара кончалась, черным вспучивались грузовики, бортами к толпе, вал из военных грузовиков. Закупорились сосуды. Еще немного, и остановится сердце. Нет, толпа не стояла мертво, она качалась, перемещалась, мялась и гнулась внутри себя, чьи-то головы, руки выплывали из темного месива, и толпа все же еле заметно двигалась. Страшно медленно. Почти стояла. И все же двигалась! Светлый платок женщины качался под окном, но вот уже чуть ниже. Черным варом продавливалась толпа к площади. Мелькнуло пятном опрокинутое лицо. Слабые, как будто детские, крики неслись снизу. Антипов рванул окно, в комнату влетел холод, и стал слышен нечеловеческий вой. Нет, кричали не дети, взрослые мужчины и женщины. Кричала кровь, разрывая сосуды. Солдаты тащили кого-то через борт грузовика. И на другой грузовик втаскивали людей. Антипов смотрел вниз и не видел или, может быть, не понимал того, что

видит. Что-то случилось с глазами: они выхватывали и отмечали все в отдельности, но не соединяли в картину. Сердце Антипова колотилось. Вдруг он стал догадываться; то, что открылось внезапно из окна, было вовсе не тысячною толпой, не бульваром, не криком раздавленных, не сумерками с холодным ветром, а — оползающим временем. Это время громоподобно катилось вниз, к Трубной. То, чего никогда увидеть нельзя. И время выло нечеловеческим воем. Антипов оглянулся. Таня сидела на диване в простыне, поверх простыни пальто, и дрожала от озноба, а Иван Владимирович смотрел на Антипова и что-то говорил, блямкая губами, но Антипов не понимал его.

— Я тебя люблю, Таня, — сказал Антипов. — И ничего не нужно. Будем жить дальше.

Он сел рядом на диван. Таня взяла его руку, прижала ладонь к губам и, вдруг привалившись к нему, зарыдала. Тетя Ксения взмахивала ручками, приседая смешно: «Ой! Ой!»

С улицы донесся душераздирающий крик. Холод наполнял комнату. Иван Владимирович закрыл окно, и вновь стало казаться, что на улице кричат дети.

На кухне, куда Антипов пошел взять холодной воды, опять маячила Анна Артемовна — она будто ждала его появления.

— А я знаю, кто у вас в гостях и зачем! — зашептала она, от сладострастия и нетерпения прыгали брови. — Я у этого доктора в больнице лежала в Замоскворечье. Он очень хороший доктор и человек-душа. Только фамилию забыла. Как его фамилия-то?

— Да зачем вам?

Анна Артемовна молча смотрела на Антипова, потом сказала:

— А в милицию заявить, чтоб законов не нарушали.

— Опоздала, сволочь, — сказал Антипов. И показал фигу.

Темнел вечер, не стихал гул, кто-то прибежал с улицы; топали по коридору, кричали, шумели. В ванной рыдал и бился, как припадочный, старший ираклиевский сын Валюша, работавший неведомо где. А в комнате тети Ксении пили чай до поздней ночи, и Иван Владимирович — он не мог уйти, должен был тут оставаться ночевать — рассказывал, как в одиннадцатом году студенты университета протестовали против изгнания профессоров, и, когда министр Кассо, извест-

ный мракобес, пришел в аудиторию, он, Ванечка Горелов, швырнул в него губкой, которой обтирают трупы... За то выслали его в Вологодскую губернию, потом война, плен, интернировали, морили голодом... А с девятнадцатого года, как вернулся в Россню, работал на Тульщине...

Крики за окном были невыносимы, и Антипов побежал вниз, к заколоченному парадному, выломал его топором, и некоторые люди стали вваливаться сюда, падали на каменные плиты, бездыханные, корчась от боли, ругаясь и плача, а иные убегали от страха наверх, на третий этаж. Но большинство продолжали давиться дальше.

На балкончике, похожем на футляр, сидела в толстой шубе и в меховой шапке старуха Веретенникова и смотрела вниз, в набитую людьми, воющую предсмертно ночь. Давно нужно было идти спать, но старуха не могла оторваться. Отсюда, с балкончика, она видела в своей жизни много всего, теперь не припомнишь: видела, как конные разгоняли толпу баб, как бежали юнкера по бульвару к Сретенке, как срывали с дома напротив вывеску «Братя Шмит», как шли с флагами, с барабанами, как встречали каких-то летчиков, бросали листовки, как чернели ночами пустые дома с окнами, заклеенными бумагой, и как громом громыхали танки, разворачиваясь на Трубной, сотрясая землю так, что дрожал балкончик. По лицу старухи Веретенниковой сами собой катились слезы. Никто бы не объяснил, и она сама не знала, почему плачет.

БОЛЬШАЯ БРОННАЯ

Прошло уже недели три с тех пор, как Киянов узнал новость: Мишка вернулся, его видели в городе. Киянов изумился, но не очень: было время неожиданных новостей, внезапных перемен, невероятнейших слухов, все к этому привыкли. Когда в течение двух-трех дней не было новостей, становилось скучно. Мишка возник летом, как раз в пору грандиозных новостей и потрясающих слухов, о которых разговаривали шепотом, и они, конечно, поглотили известие о Мишкином возвращении. Всем было не до того. Но Киянову было до того, и он удивлялся: почему Мишка не появляется? От него не было ни звонков, ни приветов. Кто-то рас-

сказывал, что Мишка пока устроился за городом, в старую квартиру вернуться не может, там Татьяна Робертовна, а он привез с собой женщину. Говорили, что он поджар, плешив, похож на старого петуха, потерял зубы, но еще подвижен и бодр, хотя и хромает, ходит с палкой, ногу повредил на лесоповале. Говорили, что Татьяна Робертовна очень страдает, чуть ли не хотела отравиться. Киянов не считал ее умной, интересной, покойная Валя относилась к ней и вовсе презрительно, называла за глаза «макароной», но дело не в том, она была Мишке верна, и ее следовало пожалеть. Она сохранила его бумаги. Какие-то дневники все грозились, да так и не решилась передать Киянову, вела себя достойно, кроме того, говорили, она сейчас серьезно больна. Нет, Мишка не должен был так поступать. Но это в его стиле. Так было и в двадцатые, и в тридцатые годы — он мерил свои поступки совсем по особому счету. А после успеха «Аквариума» просто ошалел. Говорил о себе без юмора: «Такой писатель, как я». Стало быть, в чем-то главном — ну, скажем, в отношениях с женщинами, в беспощадности — Мишка не изменился. Однако вопрос таков: нужно ли его искать?

В первые дни, услышав о нем и удивляясь тому, что Мишка не появляется, Киянов ужасно нервничал, звонил туда и сюда — в первую очередь, конечно, позвонил Татьяне Робертовне, но соседка сказала, что Татьяна Робертовна в больнице, про Мишку соседка ничего не знала, — тут стали доноситься, взбудораживая, отклики и впечатления от встреч с Мишкой разных лиц в разных домах, но никто не слышал от него вопросов о Киянове, что было настолько нелепо, что даже не верилось, и Киянову казалось, что его обманывают, люди так заняты собой, что не слышат, когда говорят о других; однако день проходил за днем, Мишка не прорезывался, по просьбе Киянова ему дважды передавали кияновский телефон, он зачеркнул четвертьвековую дружбу, начиная с двенадцатого года, когда сошлись теплым сентябрьским днем во дворе гимназии в городе Ярославле, зачеркнул и выбросил, как испорченный текст в мусорную корзину, крайне странно и глупо, эти люди считают, что только их страдания подлинны, а страдания обыкновенных людей не в счет, высокомерие несчастных и обиженных жизнью, нет большей ловушки, чем это высокомерие, ибо не знаешь,

как к нему отнестись — какую бы правду ты ни сказал, она покажется неуместной, какую бы несправедливость ни допустили другие, ее воспримут как истину. Поэтому Киянов затаился и ждал. Гриша умер, никого не осталось из тех, кто знал Мышку и Киянова с мальчишеских лет. Никто не мог помочь Киянову и окольными путями вызнать: что же случилось? Киянов был наподобие жука на лесной дороге, который, услышав шум, упал навзничь и замер, притворившись мертвым.

В один из дней ожидания и тревоги Киянов увидел сон: огромное пустынное помещение вроде подземелья, освещенное тускло, почти темное, с цементным полом, с широкими лестницами, ведущими куда-то наверх, и он, Киянов, стоит на цементном полу, прячась за мощную четырехгранную колонну — в помещении все бетонировано, четырехгранно, подчинено гнусному конструктивистскому замыслу, который всегда был Киянову ненавистен так же, как подобная «левая» дребедень, это жульничество двадцатых годов,— стоит, прячась за колонну, охваченный невнятным страхом, и вдруг видит, нет, сначала слышит шум над головою, на втором этаже, какой-то грозный летучий шорох, точно распахнулись ворота и ветер метет по цементному полу множество бумаг, а затем видит, как по широкой лестнице сбегают вниз люди, они держатся плотной стеной, как марафонцы в начале пути, бегут босиком, от этого сверху был слышен не топот, а шорох шлепающих босых ног, все в чем-то белом, с белыми повязками на глазах и в руках держат что-то похожее на ножи. Куда они так стремительно, дружно бегут и что держат в руках, нельзя понять, но страх леденит сердце, Киянов вжимается в бетон, пропадает в тени колонны, его не видно, а он хорошо и близко видит, как толпа пробегает мимо.

Проснувшись с колотящимся сердцем, Киянов вспомнил: все это было, и был страх в тусклом бетонированном помещении, похожем на бомбоубежище, лет двадцать назад. Все было знакомо. Но так же непонятно, как тогда. Часы показывали четверть пятого, за окном дымился сине-серый рассвет. Не желая будить Сусанны, которая спала здесь же в комнате на диване — так завелось с тех пор, как начались ночные стенокардические приступы, Сусанна ставила ему горчичники,— он прошел в соседнюю комнату и, не одевшись как следует, в халате присел к столику красного дерева,

купленному Вале́й три года назад, когда пришли деньги за одностомник и Валя впервые за долгие годы вздохнула с облегчением и побежала в мебельную комиссионку, но недолго ей, бедной, оставалось легко дышать, зажег над столиком бра с болотного цвета шелковым колпачком и стал писать в толстой тетради, куда заносил сны. На обложке черным плакатным пером было выведено: «Сны». Киянов записал:

«14 августа 1957. Через неделю мне шестьдесят три. Много лет назад, думается, такой же сон, как нынче ночью, но более впечатляющий, цветной, люди с завязанными глазами и как попало вооруженные бежали по двору, похожему на двор моего детства в Лопухове, а нынче то же самое, но в каком-то бомбоубежище. Бомбоубежище имело вид огромных бетонированных ярусов, висящих на могучих столбах, и напоминало помещение под трибунами на стадионе «Динамо», куда недавно, лет восемь назад, я ходил со студентами, спасаясь от чего-то, мечтая заразить себя глупой страстью к футболу, но так и не заразил. Самое скверное и, кажется, непобедимое ничем — даже в этой тетради я себя невероятно редактирую. Я вижу отредактированные сны. Почему-то страшно увидеть: люди бежали с ножами! Потому что нет объяснения. Неужто выплеснулось что-то, задавленное очень давно?»

Тетрадь «Сны» появилась еще в годы войны, в эвакуации и началась с одного Валиного сна: она увидела Лешу на байдарке на озере летним днем, он уплывал от берега все дальше, Валя и Киянов махали ему рукой, он отвечал равномерным маханием весла, на котором вспыхивало солнце, и был страх, что не вернется, уплывет навсегда, махание весла становилось все сильнее, и вдруг на середине озера байдарка с вертящимся, как пропеллер, веслом стала медленно отрываться от воды, поднялась в воздух и растворилась в нем. Валя рассказывала сон так подробно, и он сразу так поразил Киянова — вдруг померещилось страшное, — что Киянову казалось, будто он видел этот сон сам. Вскоре пришло проклятое извещение. Валин сон был последним приветом от Лешы. Байдарка до сих пор в сарае на даче, на борту надпись, сделанная Лешей: «Speranza», что значит «Надежда». Из-за названия Валя отказывалась продавать лодку, хотя давали большие деньги. Сон с байдаркой был первым, затем Киянов записывал регулярно сны свои и Валины, полагая эти записи по-

лезной писательской гимнастикой и надеясь, что они когда-нибудь пригодятся, но негодились ни разу. Были времена, когда сны являлись гуще, ошеломительней, например, в конце войны и в начале пятидесятых, неизвестно почему, они возникали циклами, как грибы, а бывали целые пятилетия совсем скучные и пустые, и как раз такое время наступило теперь. Поэтому Киянов как-то тревожно встрепенулся, увидев старый сон. Записи в тетради давно стали не просто описанием увиденных ночью картин, но попыткой разгадать их, что было самым прельстительным в этом занятии. А так как работа не ладилась, начатый роман лежал колодой и вообще наблюдались признаки — пугающие, о них не хотелось думать — угасания той энергии, которую можно назвать писательским «либидо», Киянов с тем большим рвением погружался в размышления о снах и о том, что им сопутствовало, ища тут спасения. Киянов писал дальше:

«Возвращение Михаила, о чем я прежде так сильно и горячо мечтал, превратилось для меня в какое-то мучительное, все более жестокое истязание. Суть муки в том, что я чувствую свою перед ним вину. А в чем же вина? Почему я не нахожу в себе сил отыскать его, обнять радостно и заплакать с ним вместе? Нас связывает необозримо много, прошлая жизнь, как гора, мы прикованы к ней, и скажу больше — кто есть ближе и давнее его? Кто на земле помнит сейчас маму, отца, кто видел дом, где пронеслось мое детство наподобие прыгающего по траве деревянного обруча? Милая, исчезнувшая из мира игрушка! Почему-то нынешние дети не гоняют обручей. Я совсем не вижу моего старого друга — обруча — на улицах. А кто помнит незабвенного деда, героя Крымской войны, который знал Некрасова, покупал у него какую-то бричку, и эта бричка хранилась величайшей реликвией до года девятнадцатого, когда красноармейский отряд, придя в Кияновку, реквизировал бричку для нужд фронта? Дед Иван умер в начале первой войны. Ему было лет восемьдесят пять. И Миша должен помнить его хорошо, потому что боролись на ковре в дедовском кабинете, а дед был арбитром. Как глупо, что двое самых близких затаились и не хотят искать друг друга на этом торжище миллионов чужих людей. Мы всегда были вместе, начиная с приснопамятного двадцать второго года, когда приехали в Москву за жратвой и одеждой, но главным образом

для того, чтоб столицу завоевать, стали делать журнал, нас вместе лупили, на обоих рисовали карикатуры: на пышном древе современной словесности клонятся долу два чахлах, хилых листочка, на одном, напоминающем мой носатый, патрицианский профиль, написано «Княнов», на другом, курносом, надпись «Тетерин». В двадцать восьмом нависла угроза, но держались твердо, сумели доказать, отстоять. И только после тридцать четвертого, когда вышел «Аквариум» — книга талантливая, но едкая, как купорос, за нее пришлось отвечать, и он знал, на что шел, — только тогда наметилась трещина. Потому что, голубчики мои, в литературе каждый отвечает за себя. Литература не заговор равных, не тайное общество и не плотницкая артель. Кто-то сказал: литература — товар штучный. И судьба писателей штучная. Не следует обижаться на судьбу. Мы выбираем ее сами. О нет, зарпортовался! Дело обстоит сложнее. Мы выбираем ее, а она выбирает нас. Мы провоцируем выбор судьбы. Наша роль не более чем робкое предложение, на которое могут ответить отказом, но чаще, чем отказ, мы слышим от судьбы: «Да!» Криминологи полагают, что в акте убийства некоторой долей повинна жертва — она чем-то и как-то провоцирует преступника. Эта теория приложима к акту судьбы. Книга «Аквариум» была чисто литературным явлением, ее критиковали за стиль, но крючки закидывались далеко, как с помощью спиннинга: на середину реки, еще скрытую туманом. Четыре года спустя он пришел ночью и сказал: «Как хочешь, но выступать против Семена и остальных я не стану. Будь что будет. Я не могу. Не могу, не могу, черт бы меня взял!» Я видел, что он дрожит, взор воспаленный и вид, как у больного. Было лето, душная ночь, он прибежал ко мне в белых брюках, в рубашке «апаш», все распахивал ворот и обмахивался им, как будто ему трудно дышать. Я стал его успокаивать. Налил ему чаю. Он меня испугал. Он требовал, чтоб мы разговаривали шепотом и чтоб Валя не знала, никто бы не знал о его приходе, но Валя с Лешкой отдыхали в Крыму, дом был пустой, нас никто не мог услышать, однако он настаивал говорить шепотом. Я подумал: вызвать врача? Психика его всегда была хрупкой. Помню его истерики летом восемнадцатого года. Но он догадался о моих мыслях и сказал: «Не думай, что я помешался. Просто вдруг ясно увидел, что есть и что будет. Увидел конец.

И не хочу перед концом измызгаться, как свинья в луже». Хорошо помню: «...измызгаться, как свинья в луже». Ну что это, как не выбор судьбы? Давно уже перестал существовать журнальчик «Причал». Но теперь надо было на собрании проклясть этот журнальчик, как худший образец идеологии попутчиков, отречься от него, хотя жизнь заставила о нем позабыть, и заодно от бывших товарищей, с которыми не общались годами. Таковы были правила «игры в судьбу». А он хотел выломиться из правил. И пришел предупредить. Он сказал: «Остерегайтесь Ройтека. От него будет зло». Ройтек был самый молодой среди нас в том году — лет тридцать, не больше. Почему он так сказал, я не знаю и не спросил. Мишка побоялся сказать прямо, он насторожил, намекнул. И все оказалось так, как Мишка предсказывал, кроме одного: он вернулся. Стало быть, не конец. Но тогда был уверен, что конец. И сказал — для того и пришел ночью, — что, если с ним случится плохое, я должен не прятать пьесу на дно сундука, а снять его фамилию и под одной фамилией выпустить. Если пьеса пойдет, отдать половину гонорара Татьяне Робертовне. Он заботился о ней. Любил ее истинно. Хотя мы с Валею удивлялись: как можно любить этот лапшевник? И вот он взял с меня клятву, что я не расскажу о его просьбе ни ей, ни кому другому, не расскажу никогда, что я выполнил свято, ибо тайна была, разумеется, и в моих интересах, и спустя два года, когда пьеса пошла в Москве и еще в десятке театров, я стал перечислять на счет Татьяны Робертовны деньги, но автор на афише стоял один. Эти деньги, кажется, выручили ее в трудные годы, мне это известно, хотя мы не встречались. Тут дело еще вот в чем, если начистоту: по сути, пьеса моя, я написал два акта, а он лишь первый, да и тот я переделывал основательно. Я работал конец зимы и всю весну, когда он жил в Кисловодске. Я не придаю этой неравномерности труда никакого значения, считаю нас соавторами, тем более что ему приходили порой блестящие идеи и он телеграфировал из Кисловодска: «Демидова надо послать в Испанию!» — и другие, более пространные тексты, всегда бывшие мне полезными, но я обо всем забыл напрочь, когда разговаривал с ним душевно ночью, а он, может быть, помнил. А может, и нет. Ведь он такой человек, мог забыть. Если он говорил: «Такой писатель, как я», — то, видимо, считал, что его три слова весят боль-

ше, чем наши тридцать. Как бы там ни было, я поступил, как он распорядился, и помог его жене, которая теперь ему не нужна. В чем же я виноват? О том, что мы писали пьесу вдвоем, знали немногие, но знали, конечно, люди театра, с которым был договор, завлитом там служил Ромка Ройтек. Замечательно, что именно Ройтек вызвал меня в театр вскоре после исчезновения Миши и предложил сделать эту операцию, чтоб не погибла пьеса. По его словам, это был единственный шанс ее спасти. Я не признался, что о том же меня просил Миша. Я боялся Ройтека (он всегда разговаривал как-то чересчур дерзко и вольно, что не соответствовало духу времени) и не хотел обнаруживать того, что Миша накануне посадки был со мной откровенен. Ройтек дерзил и фиглярствовал, предлагая мне полный ход, а я мялся и гнул, изображая борьбу чувств, попросил два дня, затем согласился. Я ни в коем случае не желал, чтобы он догадался, что я действую по указанию Миши. Это было опасно: сговор с врагом народа. Ройтек же предлагал обыкновенное мародерство, и именно так все должно было выглядеть. Для себя он тоже вынул малую выгоду — попросил в долг три тысячи рублей. Но я предупредил: «Ромка, имей в виду, как только он вернется, я восстановлю его имя». Он поглядел с изумлением: «Ты наивен или придуришься? Да он не вернется даже через тысячу лет! Это навсегда!» Уверен, что все слухи и сплетни, которые стали постепенно сочиться по поводу моего поступка, шли от этого паршивца, хотя он твердил тогда, что должна быть гробовая тайна, что никто не должен знать об истинных авторах, ибо, если узнают, ему несдобровать. Он еще выставлял себя героем. А спустя три года, весной сорок первого, решил еще раз меня подоить и попросил по телефону полторы тысячи — выкупить путевку в Сочи. Прежнего долга не отдал. Я ему отказал, он ответил с неопределенной угрозой: «Ну ладно, смотри!» — и повесил трубку. Возможно, стал бы мне мстить, но тут грянула война, и все полетело кувырком. Рассказывают, будто он сразу же, как Миша вернулся, прилип к нему, ходит с ним повсюду, как лучший друг. О чем они могут говорить? А меня Миша не находит времени отыскать. Почему я пишу об этом теперь, после жутковатого сна, который может означать только одно — смертельную тревогу? Сон знакомый. Во мне не умерли старые времена, всколыхнулись

с появлением Миши, ведь они в моих венах, в моей плоти, еще ждущей чего-то. Смерти? Чуда? Новой жизни? Без Сусанны была бы смерть. Но и с нею тоска. Она добилась, чего хотела, хотя и поздно, под занавес, а я уступаю под напором судьбы, ибо не хочу выламываться из правил. Сегодня должен прийти некто Антипов, мой старый ученик, не знаю зачем, подарить книгу, что ли. Позвонил и напросился в гости. Он сейчас много печатается, и его хвалят. Не видел его несколько лет. Наши отношения всегда были неравноправны — и тогда, и теперь,— и в этом сложность общения. Да бог с ним. Люди забывчивы, легковерны, в конечном счете, глупы: зачем Мишка ходит с Ройтеком и слушает вздор? Ведь знает же, что почему...»

Тут Киянов закончил работу. Он устал. Часы показывали половину девятого. Сусанна напевала за стеной, затем вышла в необъятном голубом капоте с драконами, лицо пухлое, мятое, пунцовое, улыбающееся.

— Ты поработал, милый?

Никто давно не называл его «милый».

Он почувствовал теплые пальцы, скользнувшие за ворот халата и бегло потрепавшие шею. Сусанна прошелестела через комнату в коридор, пучились и исчезали вокруг мощных объемов складки капота. Он смотрел на складки и думал: «Голубой капот судьбы». Как он ни вывертывался, как ни отбивался с сорок шестого года, капот настиг его, и вот он в душной, потной и сладостной полумгле. Для этого должны были угаснуть все: сначала Леша, потом Валя, Гриша. За завтраком разговаривали об Антипове. Киянов вспоминал семинар, гениев и полугениев сороковых годов, Сусанна всех помнила превосходно, то были ее звездные годы — именно тогда, в институтском подполье затеялось то, что превратилось затем в «голубой капот», — но Киянову не хотелось ее слушать, хотелось говорить самому. В ее пылкости была фальшь. И, кроме того, она пыталась дразнить. Поэтому он пресек сурово: «Короче, я отнес его рукопись в журнал, и они быстро напечатали. С моим предисловием. Я сделал из него писателя». Она сказала: «А я сделала из него... — тут последовала пауза, — человека». Было совершенно очевидно, что имеется в виду, продолжались попытки дразнить, но его это не трогало, он испытал раздражение по другому поводу и сказал: «Удивляюсь, как ты мало меня знаешь». И, насладившись молчанием, ибо она была

обезоружена, сказал: «Я ничего не читал из того, что он потом напечатал. По-моему, способности у него были довольно умеренные». Она сказала: «По-моему, тоже».

Неприятное откладывалось напоследок, и вот накануне отъезда в Ялту, мечась по городу по всяким неотложным делам, Антипов чуть не забыл заскочить на Бронную к Киянову. А ведь так хотелось забыть! Морочили голову на киностудии, потом ждал денег в издательстве, бухгалтер застрял в банке, без денег не мог ехать в книжный магазин, да еще Таня просила купить в аптеке синюю лампу для прогревания, а так как отношения натянулись (из-за Ялты), он хотел выполнить просьбу непременно, но покупка тормозилась отсутствием денег, потом отсутствием ламп, кто-то посоветовал ехать на Даниловский рынок, он помчался на такси и купил и тут вспомнил про неприятное. Даниловский рынок был связан с неприятным: с памятью о войне, о голоде, нищете, долгих поездках сюда трамваем от Белорусского, поблизости были заводы, где он брал инструмент. Невероятно давило, но вдруг бывало нитье, как в суставах от отложения солей. Тогда же впервые издали увидел Киянова. Во дворе института. Антипов позвонил из автомата. Киянов говорил сухо: «Я ждал вас целый день. Теперь мне не совсем удобно». — «Я могу быть через пятнадцать минут!» — «Это так спешно?» — «Да, Борис Георгиевич, извините, я вам объясню!» Последовало молчание, затем Киянов сказал: «Ну, приезжайте...» Молчание означало, что Киянов догадался или, может, почуял недоброе. А визит был и вправду недобрый, и ничего поделать нельзя — ни отказаться, ни забыть. Несколько дней назад собрались у Элочки, пили чай, совещались: как быть с этой историей? Элочка почему-то горячилась больше всех: «Я не могу смотреть людям в глаза! Когда говорят такое об учителе!» Он давно был никакой ей не учитель, и сама Элочка в литературе не задержалась — работала где-то редактором технических бюллетеней, — но волнение и гнев, неясно, против кого, душили Элочку, она всех взбаламутила, собрала у себя будто на день рождения, а по сути, для «разбирательства дела Бориса Георгиевича» и для того, чтобы «выработать общую линию». Но разбирательства не получилось. Пришли только трое: Антипов, Квашнин и Хомутович.

Квашнин, приехавший на казенном автомобиле и боявшийся сидеть слишком долго, чтоб не сердить шофера директора, говорил обо всем наспех и легкомысленно: «А, ерунда! Не придавайте значения». — «Но как же не придавать,— нервничала Эллочка,— когда говорят, что твой учитель ограбил человека. Ведь я так его уважала!» — «А ты продолжай уважать,— говорил Квашнин.— Никто никого не грабил. Это называется с э л я в и. Впрочем, я всех тонкостей не знаю». Хомутович ничего не слышал и молчал ошарашенно. Антипов слышал, и не раз, об этом жужжали много, у Киянова нашлись застарелые враги, которые жаждали крови, другие люди их утихомиривали, никто не знал, что будет дальше. Антипову дали поручение, как самому молодому и деятельному. Просто другие не хотели ввязываться. Антипову не верилось, что все было именно так, как изображало всеобщее жужжание. Тут была какая-то сложность, какая-то потайная дверь. Ему не нравилось клочотание Элочки, и его злило ленивое легкомыслие Квашнина: «А, ерунда!» Он сказал, что никакой общей линии выработать с ними не станет. Попробует разобраться сам. Дима Хомутович убитым голосом спросил: «А как же его рекомендация? Больше не имеет силы?» На другой день позвонил Котов, возникший из небытия. Антипов слышал, что тот прогнан отовсюду то ли за пьянство, то ли за ничтожество и работает чуть ли не курьером в каком-то издательстве. «Старик! — хрипел Котов.— А помнишь, кто тебе первый про Михаила Тетерина говорил? Пол-литра с тебя! Ты эту скотину равнодушную, Киянова, не жалей...»

И вот он стоял перед трехэтажным домом на Большой Бронной. Не был здесь лет десять. Что-то расколдовалось в этом подъезде, в узорчатых окнах на лестнице: подъезд был обыкновенный, сырой, пахнувший неприятно, окна маленькие, все выглядело заброшенно и второразрядно. Антипов знал, что жена Киянова умерла, что он живет с Сусанной, что последняя книга Киянова — роман о двадцатых годах, он писал его лет восемь — вещь скучная, никто не может дочитать до конца. Все это порождало неловкость и незнание, как себя вести. Заводить ли речь о книге? Говорить Сусанне «ты» или «вы»? Выразить ли соболезнование по поводу смерти жены? Может, и не надо, ведь прошло уже несколько лет. Но было и нечто отрадное — какое-то тепло памяти о юных годах, о давних страхах,

о бедных радостях, обо всем, что прошло. И, кроме того, горделивое сознание: к Киянову обязан был прийти Антипов, и никто другой. Киянов это поймет и перестанет говорить сухо и улыбаться свысока, засунув руки в карманы халата, всем видом показывая, что, несмотря ни на что, он, Киянов, по-прежнему патрон, а Антипов клиент.

Но бормоталось привычным, гадким, зажатым голосом:

— Понимаете, Борис Георгиевич, она написала довольно резкое письмо... Сама пришла на бюро... Вообще настроена агрессивно...

— А что она хочет?

— Трудно понять. Чего-то очень решительного. Все время звучало слово «сатисфакция».

— И бюро постановило?

— Разобраться. И мне поручено. Я не очень-то хотел, но, возможно, это лучше, что я, а не... мало ли кто... Так я подумал... Если вы не возражаете, конечно...

— Не возражаю,— Киянов молчал, задумавшись, вертя ложкою в стакане чая.— А все же почему выбор пал на вас?

— Ну, это понятно,— сказала Сусанна.— Они знают, что Саша Антипов — твой ученик.

Голос у Сусанны был низкий, мужеподобный, как прежде. Она непомерно расширилась в боках и бюстом, но лицо все еще было миловидным, нестарым, с неугасшим блеском в глазах.

— Думаю, в другом дело, Сусанна Владимировна,— сказал Антипов.— Они знают мою судьбу и решили, что я гожусь. А я, вероятно, не гожусь. Вот давайте посоветуемся, как быть.

— Да что советоваться...— Киянов, нервничая, ломал пальцами сушки.— Я не знаю: чего она конкретно хочет? И чего вы хотите?

— Я ничего.

— Саша Антипов ничего, конечно, не хочет,— сказала Сусанна горячо.— За Сашу я ручаюсь головой.

— О чем советоваться? — Киянов сломал еще сушку и потянулся за другой. Рука была вялая, белая, в старческой гречке. Антипов отмечал мысленно: «Не забыть про сушки. Царственная рука импотента». Он рассказывал, чего хотела горбоносая женщина в очках, все время повторявшая слово «сатисфакция». Ее звали

Дина Еремеевна. На поселении в Казахстане Тетерин и Дина Еремеевна жили как муж с женой. Она сказала, что Тетерин входит во вторую десятку лучших писателей России — «вторая десятка» особенно поразила членов бюро, — что он человек гордый, настрадавшийся, ему не пристало обивать пороги и выклянчивать то, что принадлежит ему по праву, но она доведет дело до конца. Она добьется «сатисфакции», чего бы это ни стоило. У Дины все зубы были железные, она курила беспрестанно. Она обмолвилась, что работала в совхозе ветеринаром. Антипов, едва увидев ее, подумал: «Эта женщина его, наверно, спасла. Она его, возможно, вырвала из лап смерти. И если уж она что схватит своими железными зубами...» Странно, он так жалел всех, так сочувствовал всем, кто вернулся, но эта женщина его тяготила — в ее словах был металлический привкус. Тетерин на бюро не являлся. Но она приходила, разъясняла, требовала, оставила заявление, им подписанное: восстановить его имя, как автора. Речь шла не только о большой трехактной пьесе, но и о двух каких-то маленьких, одноактных, которые ставились под чужой фамилией. Но там был замешан не Киянов, а кто-то другой.

Киянов сказал слабым голосом:

— Не знаю, почему он ко мне не приходит. Мы бы попросту объяснились. Я его ничем не обидел... Сделал так, как он просил: снял фамилию, а деньги посылал жене...

— Милый,— прошептала Сусанна,— ты виноват лишь в том, что ты талантлив, известен, сохранился...

— Ах, чушь! Он талантлив не меньше. И тоже сохранился. Но боюсь...

— Чего?

— Сохранился он не таким, каким был...

Потом он сказал, что подпишет все, что Тетерину нужно. Вдруг побледнел, нахмурился, уставился перед собой неподвижным взглядом, будто внезапная и горестная мысль пришла на ум, медленно встал из-за стола и вышел в другую комнату. Сусанна налила воды в чашку, взяла пузырек с комода, где стояло не меньше дюжины пузырьков, и пошла за ним вслед. Движения ее были плавны, шаг спокойный, она улыбнулась Антипову ободряюще: ничего страшного, у нас это бывает. Антипов, оставшись один, размышлял: «В старину гонцов, которые приносили плохие известия, казнили.

Меня бы казнить. Но главное: за то, что опять влез в чужую неприятность...» Все как-то запутывалось. А у Антипова времени было в обрез. Он улетал в Ялту. Вышла Сусанна и села за стол напротив Антипова, глядя на него с улыбкой.

— Как живешь, Саша? Ты за Бориса Георгиевича не волнуйся. У него спазм. Полежит немного, и все пройдет. Ну как ты?

— Хорошо,— сказал Антипов.

— Знаю, что хорошо. О твоих успехах слышали. А как дети? У тебя двое, кажется? Парень и девочка?

— Все хорошо,— сказал Антипов.— Одно вот не знаю, хорошо ли то, что я к вам по этому делу приперся. Зря, правда? И чего меня потащило?

— Да, мы ждали, ждали! Ждали все время,— зашептала Сусанна.— А что делать? Надо эту мотню распутывать. Хотя, честно сказать, ей копейка цена... Плюнуть и растереть... На мой бы характер...

— Мне что-то кажется...— пробормотал Антипов.— Не распутаешь.

— Распутайся! Борис Георгиевич распутает. Ты не волнуйся. Вот он полежит немного, сердце успокоит и все прекрасно распутает. Тут просто объяснить надо, так и так, мол, и все распутается само собой. Не надо драматизировать. Борис Георгиевич, правда, очень уж подозрительный. Он Ромку Ройтека считает главным злодеем, а какой Ромка злодей?

Она тараторила, продолжая улыбаться и глядя на Антипова с радостным интересом. Он спросил:

— А ты как?

— Я великолепно! Мы так чудесно живем с Борисом Георгиевичем, увлеченно работаем, ходим в консерваторию. Я тоже работаю, ты со мной не шути! — Сусанна погрозила пальцем.— Пишу о драматургии, о поэтике Островского. Договор на двенадцать листов, а будет, наверно, листов пятнадцать. Ты помнишь, как я увлекалась театром в институте? Нет? Не помнишь? Странно! — Она захохотала.— Я была безумная театралка...

Он помнил только что-то похожее на ванную, полную пара. Сердце колотилось от горячего, душного воздуха. Сусанна прикоснулась к его руке.

— Саша, если хочешь знать,— зашептала,— правду... Во всем, что сейчас мучает Бориса Георгиевича, виновата Валентина Петровна. Ты знал Валентину Пет-

ровну? Своеобразная женщина... С одной стороны — больная, шизоид, постоянно в больницах, с другой — целкая, корыстная, жадная. Нет, я не отрицаю достоинства... У нее были достоинства, например изумительно легкая походка. Она заставила Бориса Георгиевича с этой пьесой... Принудила его буквально силой...

— Но разве Тетерин...

— Да, да! Тетерин просил,— шептала она,— но Борис Георгиевич колебался. Она его заставила. И вот ее нет.

Тут скрипнула дверь, вошел Киянов. Он был бледен, но улыбался как-то отрешенно, легко.

— ...а он страдает,— закончила Сусанна.

— Кто страдает? — спросил Киянов.

— Да мы тут вспоминаем... Старых знакомых... — сказала Сусанна.— Феликса Гущина помнишь? Поэта? Такого черного? Он вас боксу учил.

— Помню,— сказал Антипов.

— Ты знаешь его судьбу?

Антипов не знал. Феликс, оказывается, давно в психиатрической клинике, у него бред, будто он атомная бомба, может взорвать город. Поэтому, чтобы спасти Москву, все время куда-то убегал, его ловили в поездах, в других городах. Сусанна предлагала навестить его в больнице. Антипов согласился. Киянов слушал мрачно, без интереса. Смотрел в окно. Антипов подумал: «Надо уходить». Киянов вдруг сказал:

— Чтобы уж закончить эпизод, скажите, что меня устраивает любое решение. Пускай хоть передают дело в Верховный суд! Я не возражаю. А что вообще происходит в жизни? Расскажите-ка!

Антипов начал что-то плести о грандиозных новостях и потрясающих слухах, о которых тогда шептались все, но Киянов скоро перебил его:

— Послушайте, я расскажу вам другое, Антипов. Просто для вашего сведения... И для того, чтобы углубить общую неразбериху... Возможно, вы знаете, а возможно, и нет: в сорок шестом, когда я принял вас в свой семинар, мне дали понять, что вы лицо нежелательное и без перспектив. Что из семьи, так сказать... И посоветовали отделаться...

Сусанна кивала.

— Помню хорошо... И кто тебе советовал, помню...

— Того человека уже нет. И, кстати, он желал мне добра. Дело не в том, что я не захотел от вас отде-

латься и проявил, стало быть, некоторую неосторожность или, скажем, некоторое чрезмерное уважение к самому себе, а в том, что... что... — Он умолк, думая. — Сам не знаю... В чем-то другом... Поступок-то был ничтожный... Но бывает величие и ничтожных поступков. Ах, все равно! — Он махнул рукой. — Я не лучше и не хуже других.

На другой день Антипов поехал за город, нашел поселок, барак, комнатку на втором этаже с видом на хозяйственный двор, где штабелями и вразброс лежал горбыль, по доскам гуляли куры, сушилось белье, от летней уборной тянуло хлором, наконец вышел худой старик в ковбойке, в холщовых брюках, в рваных резиновых тапочках на босу ногу. Антипов стал его убеждать, чтобы старик поехал в Москву и встретился со старым товарищем. Надо понять, забыть, начать, старик смотрел холодно, глаза сощуривались, сохлые губы сжимались проваленно, отчего выражение лица было напыщенно-высокомерное, но Антипов видел, что старик замечательный, вернулся чудом, что не только писатель, а лесоруб, землекоп, кулачный боец, зверобой, пират, умеющий кидать ножи. Старик сказал: стояли на льдине, которая раскололась, понесло в разные стороны, и теперь уж назад выше сил человеческих, неохота прыгать. Разве нельзя пожалеть? Старик засмеялся голыми деснами: о, это самое ценное, что есть на земле, когда у человека не остается сил, у него есть еще последняя сила — сочувствие к другому, женщину выпустили из лагеря раньше срока, ее любили, провожали толпой, и она повторяла, обращаясь к провожающим: «И вы за мной! И вы за мной!», делала руками зовущие заклинательные движения, и так шла, пятясь, всю дорогу, от ворот до самого взгорка, повторяла шепотом уже неслышное никому «И вы за мной! И вы за мной!» и двигала призывно руками, и ничего другого не могла сделать для тех, кого оставляла.

Ранним утром был звонок. Киянов снял трубку и услышал знакомый, но старый и слабый, еле слышный — звонили, может быть, издалека или из автомата — голос, который сказал:

— Здравствуй, Боря. Говорит Михаил. Как ты поживаешь?

— Миша! — крикнул Киянов. — Здравствуй, дорогой! Наконец-то прорезался!

— Я был занят хлопотами, ездил в Ярославль, ту-

да, сюда, сам понимаешь. Надо как-то устроиться. Да еще зубы делаю, все вырвал, шамкаю безобразно — с людьми встречаться неловко.

«Однако встречаешься», — подумал Киянов, но внезапно нахлынувшая радость была сильнее неприятной мысли. И он крикнул счастливым голосом (так кричал, что Сусанна прибежала из кухни):

— Миша, когда увидимся?

— Увидимся, — спокойно отозвался слабый голос издалека. — Увидимся непременно. Но ты скажи-ка, у тебя сохранились какие-нибудь мои книги? Ведь я тебе что-то дарил: «Аквариум», сборники рассказов...

— Твои книги? — озадачился Киянов.

— Понимаешь, нужны для издательства. Я хлопочу о переиздании. У меня нет ни одного экземпляра, и у Татьяны нет, а скорей всего, не хочет давать. В целой Москве не могу найти, и в библиотеках нет, потому что изъяли своевременно, представляешь, конфуз? Писатель жив, а книги исчезли. Обычно наоборот: книги живы, а писатель исчез...

В трубке прыснул пронзительно знакомый, из глубины памяти смешок. Киянов вспоминал, где же Мишкины книги?

— Может, и ты уничтожил? — предположил Тетерин. — Фамилия неблагозвучная. Да еще с дарственной надписью... Нет?

— Нет, — сказал Киянов. — Не уничтожил. Помоему, они на даче. Да, на даче.

Киянов обрадовался, когда вспомнил, что книги целы: в мансарде, в холодном закутке под крышей, где хранилось кое-что, что надо было бы действительно уничтожить, да то ли позабыли, то ли рука не поднялась. Договорились так: через три дня после того, как Киянов съездит в воскресенье на дачу, встретиться днем, но где? Киянов звал к себе: место известное, живет в том же доме, где прежде, на Большой Бронной. Миша бывал много раз.

— Так, так... В том же доме... Это чудесно... — невнятно бормотал и покашливал голос в трубке. — Это очень хорошо... Мы встретимся, знаешь где? На Тверском бульваре, где стоял памятник Пушкину. Где вы поставили эту жуткую бабу на крыше.

В назначенный день встретились на бульваре, обнялись, расцеловались, смотрели друг на друга полумертвыми глазами, увидели несчастья, болезни, старость, ка-

кая-то сила бросила их через дорогу в театральный ресторан, к знаменитому Бороде, который обхватил Мишу за плечи, затрясся, заплакал, много пили, ели, курили, пили кофе, снова водку, подсаживались разные люди, мешали разговору, но и помогали, помогали вынести невыносимое вместе с салатом, окурками, болтовней о футболе, ужасными новостями о тех, кто погиб на войне, кто кого бросил, к кому ушел, было важно, что сидят вместе, их видят вместе, обнимаются пьяно, чокаются со всеми подряд, мелькали удивленные взгляды, один не подал руки, а с Мишей расцеловался, можно было не замечать, куда-то ехали на такси, болело сердце, в наплыве тепла и хмеля заговорил о пьесе, обо всей этой дряни, жалко объяснялся насчет того, что денежные дела вела Валя, сохранились квитанции, можно проверить, но Таня в больнице, Мишина голова то откидывалась назад, то плюхалась на грудь, серебристая плешь вспыхивала под фонарями, шляпа лежала на полу, Миша говорил: «Это Дина... Пускай она... Меня не касается... Меня не трогайте...» Потом встретились еще раз два, тоже на улице, шли в ресторан, однажды подсел Ройтек, Киянов держался презрительно, и тот ушел, Миша ничего не рассказывал, как-то на темной площади, когда ждали такси, Миша, сильно подвыпив, сказал: «Боря, прости меня, я прочитал твой роман... вроде бы исторический... Не надо было читать, конечно... По-моему, барахло. По-моему, чтоб написать такой роман, не надо было оставаться, — он обвел рукой площадь и, качнувшись, икнул. — Здесь. — Прости меня, Боря». Киянов мог не слышать. Тетерин бубнил невразумительно. Киянов спросил: «Помнишь, ты просил снять фамилию с пьесы, а деньги посылать Татьяне?» — «Когда? — хрипел Тетерин. — Не помню...» — «Ты прибежал ко мне ночью!» — «Ни черта не помню.. Забыл, Боря...» — «Как же ты мог!» — тихо воскликнул Киянов. «Не помню, — ухмылялся, мотая седой башкой, Тетерин. — Честно тебе скажу, не помню».

О смерти Киянова Антипов узнал в Ялте, купив газету в киоске на набережной. Было душнейшее лето. На пляже занимали место с шести утра. Антипову надоело, он хотел отсюда удрать. Больше часа Антипов простоял в очереди на переговорной, пока дозвонился в Москву одному знакомому и тот рассказал: Киянов по

ошибке принял большую дозу веронала, которым вообще-то злоупотреблял. Похороны были вчера. Народу пришло много. От бюро выступал Гвоздев, от секретариата Коровников, очень плакал его старый друг Тетерин, ему не давали слова, он был пьян, устроил шум, орал непристойно. Гвоздев получил нагоняй от Коровникова. Знакомый кричал: «Как погода в Ялте? Стоит ли приезжать? Хочу приехать дней на десять!» Антипов сказал: «Погода изумительная. Приезжайте». Антипов сел на первый попавшийся пароходик, отходивший куда-то, к вечеру оказался в Феодосии, там купался, ужинал в ресторане, деньги кончились, он заснул на скамейке на набережной мертвецким сном и проснулся на рассвете от холода — розовая мгла стояла над морем, дул ветер, что-то менялось.

НОВАЯ ЖИЗНЬ НА ОКРАИНЕ

За окном были серые кирпичи, железо крыш, солдатский строй антенн, а внизу, в провале двора, курчавилась какая-то темная ветхая гниль, еще не выметенная отсюда бульдозером. Когда-нибудь здесь будет замечательный район, один из лучших в Москве. Но пока что мокрый снег, неуют, ямы, заборы, запах масляной краски, двадцать минут автобусом до метро. Звать людей немилосердно, и, однако, он наполнялся раздражением, когда чувствовал Танино упорство и нежелание. Потому что она противилась не оттого, что даль, ямы, заборы, а оттого, что кому это нужно! И не деньги, не траты, о нет! В жадности ее не упрекнешь. И в лени тоже. Готова с утра до вечера возиться в доме, мыть, стирать, натирать полы, драить дверные ручки, развешивать занавески и готовить еду для четверых. Ну, в крайнем случае, для пятерых, если придет мать. Или для шестерых, если Людмила со своим Чилингиновым. Но тут уже будет заметна натуга. Танюша, хочешь пойти в гости? Нет. А что хочешь? С тобой вдвоем. Танюша, давай кого-нибудь пригласим на чашку чая? Пожалуйста. А у тебя желания нет? Нет. Почему? Не знаю. Ей-богу, не знаю. Я тебе отвечаю честно. Но ему мерещилось: знает. Все это началось год назад. Танюша, милая, тебе сорок два, у тебя двое детей, ты трудилась, путешествовала, знакома со множеством людей, отчего такой комплекс улитки? Гос-

поди, да ведь тоска! Нет, это у тебя со мной тоска, а у меня с тобой нет. И никогда не будет. У меня будет тоска, когда ты уйдешь. Да что же нам делать? Ничего особенного. Что хочешь, то и делай: иди к друзьям, разговаривай с ними, решай вопросы, обсуждай, сплетничай. А ты останешься дома? Буду тебя ждать. У меня много дел. Ты вернешься, мы снова будем вдвоем. И для чего громоздили квартиру? Да будь она проклята! Квартира не виновата. Не грехи на квартиру. И взгляд значительный, загадочный, тайный укор. Опять томило предчувствие: знает. Но ведь все прошло и пора забыть.

Падал сырой снег. Приближалась зима. Таня сказала:

— Я просто предупредила, встречаться после долгого антракта опасно. Ну, что общего у Квашнина, скажем, с твоим другом Мироном? Они на разных полюсах. Дышат разным воздухом. Едят разную колбасу. О чем они могут разговаривать?

— О многом, — сказал он. — Ты не понимаешь.

— Возможно.

— Ты не понимаешь, какой мощный магнит — прошлое.

— Вечер воспоминаний?

— Нет. Обыкновенное новоселье. Но дальше отступать некуда, пойми ты! Они рвутся сюда приехать. Люсьена будет тебе помогать.

Еду заказали в ресторане «Будапешт», вино Антипов взял в Столешниковом, а на Центральном рынке купил яблок, зелени, грузинскую фасоль — лобио, маринованный чеснок и толстобокую узбекскую редьку. Бродя по рынку, он размышлял над загадкой: почему женщины привязаны к прошлому гораздо меньше, чем мужчины? Прежняя жизнь отламывается у них навсегда. Народная поговорка насчет короткого ума имеет в виду не ум, а память. Ощупывая страшно дорогие помидоры и грязные пупырчатые гранаты, сам себя поправлял: но лишь в том случае, если они любят! Когда же любви нет, они становятся похожими на нас. Года два назад Таня, вернувшись с работы, рассказала: возник человек, которого она не видела восемнадцать лет. Когда-то работали вместе в издательстве. Некий Саясов, бывший редакция. Он совсем пал, бедствует, жена неизлечимо больна, и вот просил по старой дружбе помочь: принес какую-то рукопись показать главно-

му. И ты взяла? Взяла. А помнишь, как я бил его по мордасам? Да, помню, что-то было. А помнишь, за что? Она улыбнулась жалко и кивнула: помню. Он по глазам понял: помнит не то. Как же можно забыть? Ведь он ее мучил! Она клялась: все вылетело из памяти, как вылетают из дома запахи жилья, когда двери и окна настежь. Она годами не встречалась с институтскими, не говоря про школьных подруг. Ей никто не был нужен, кроме Антипова и детей. Поэтому зачем новоселье, гости, родственники, суета, маета? Он сам не мог бы ответить ясно, зачем, но почему-то было убеждение, что, если она станет саботировать и сорвет задуманное, в их жизни что-то рухнет непоправимо. И она это почувствовала и смирилась. Старушка Екатерина Гурьевна обещала: потраченные деньги вернутся, на новоселье все приходят с подарками. Но это глупости, новоселье было сбоку припека, а главное — встреча однокашников по случаю двадцатилетия окончания института. О такой встрече талдычили еще пять, десять лет назад, особенно хлопотали Эллочка и Злата. Мужики разбрелись кто куда, виделись друг с другом редко, но «в принципе относились к идее встречи положительно», как сказал Анатолий Лукич Квашнин. Все были заняты — то куда-то уезжали, то участвовали в конференциях, то болели, то заканчивали работу, — поэтому никак не удавалось назначить день, и так все протянулось с июля до ноября и совпало с переселением в новый дом в районе Аэропорта.

Мокрый снег плыл по стеклу, внизу дробились и трепетали огни, все было серо-синим, черным, немилым, чужим. Говорили, что в доме напротив в первом этаже скоро откроют булочную. Антипов стоял, покачиваясь, на кухне, прислонившись горячим лбом к стеклу, смотрел вниз, в черноту вечера, скучливо думал: ну что ж, права! Как она не хотела! Все время вертелись строчки: «Но в мире ином друг друга они не узнали». Антипов много выпил: сначала водки, потом немецкого вина «либфрауенмильх», которое принес делегга Котов, притаранил сразу десять бутылок. И он спонл Мирона и затеял всю эту свару с Квашниным. Кто-то вошел на кухню, чиркнул спичкой.

— Папа, ты почему здесь?

— Там душно.

— А это ничего?

— Ничего. Ты слышишь, как они разоряются?

Антидов оглянулся и посмотрел на сына. У того был немного испуганный вид.

— Не кури, — сказал Антипов. — Брось сигарету. Ведь у тебя соревнования.

— Ну и что? Мы не профессионалы.

Они постояли молча, глядя друг на друга испытующе. Тут на кухню вошла Люсьена с тарелками, опустила их шумно в мойку.

— А вы что, молодые люди? Тоже выясняете отношения? — спросила хохоча. Глаза горели, цвет лица был малиновый, избыточного гемоглобина, никто не дал бы ей сорока с чем-то. Черное шелковое платье, облегавшее ее, сверкало наподобие авангардистской скульптуры из круглых металлических рулонов и полушарий. — Но какой дурак Мирон, правда? Зачем полез на Квашнина? Он у меня дома получит!

— Ты его не трогай, — сказал Антипов.

— Нет, получит непременно. Надо же быть таким дураком — прийти в гости и качать права. Да разве не ясно, что Толя Квашнин никогда пальцем о палец не ударит, чтобы кому-нибудь помочь? И уж тем более Мирону. Саша, меня послали за мороженым. Где мороженое?

Он открыл холодильник и вынул коробку, за которой ездил сегодня утром.

— Спасибо. Я тебя поздравляю. — Она приблизила к нему пылающее лицо и чмокнула в щеку, потом притиснулась горячими губами к его губам. — Квартира у тебя роскошная. Я тебе где-то по-хорошему, как теперь говорят, завидую. — Опять захохотала. — И дети у тебя — дай бог. Но лучше всех Таня!

Она умчалась, шурша шелковыми рулонами, звеня браслетами, унося запах духов и двухслойных воспоминаний. Первый слой, несколько бледный и стершийся в памяти: две ночи в Ялте семь лет назад, где оказался случайно вдвоем. Он без Тани, она без Мирона. Она очень хотела с ним спать. Он не был уверен, что это нужно. Тень Мирона душила, как дурная погода. На узкой гостиничной кровати, похожей на ящик для мелкой садовой рассады, он признался в том, что дурная погода лишила его сил, но она была непреклонна. «При чем тут Мирон? Я его жалею и уважаю, не мыслю жизни без него. Но он, к сожалению, неудачник во всем!» После двух ночей, которые подтвердили истину о том, что Мирон неудачник, не было ничего никогда

и не мелькало ни малейшего намека на Ялту, но у Люсьены образовалась манера при всех пылко, по-дружески целовать Антипова в губы. Вот так же пылко впилась в него губами во время танца на Новом году в ЦДРИ год назад — и это был второй слой воспоминаний, жгучий, болезненный — и шепнула на ухо о том, что все знает. Он понял, что с этой женщиной шутки плохи. Она могла потребовать от него многого. Но она не требовала, а он вел себя осторожно.

Сын спросил:

— А все-таки объясни, Анатолий Лукич сделал дяде Миرونу какую-то гадость?

— Нет. Это старые счеты.

— Но почему же?..

— Потому что люди раздражены. Раздражены, понимаешь? Когда-то начинали вместе, шли в одной упряжке, а потом жизнь разбросала кого куда. И смириться трудно. Ну вот, скажем, Анатолий Лукич выпускает уже двенадцатую книжку, а у Мирона только первая на подходе. Он ее двадцать лет пилит. Толя мог бы, конечно, помочь при желании, он секретарь, член редсовета, то да се. Но не обязан. Никто никому не обязан, понимаешь?

Степан молчал, сосредоточенно обдумывая то, что услышал. Брови были нахмурены, смотрел в пол. Не поднимая глаз, спросил:

— А может, дядя Мирон написал что-то гениальное?

— Ну, не знаю. О войне. Он вообще-то несколько нудноват. Ушиблен Стендалем.

— А у тебя сколько книг?

— Черт знает... Кажется, семь, не то восемь.

Возвращаться в большую комнату не хотелось, но было необходимо. Антипов уже поплелся было к двери, когда навстречу быстрыми шагами влетели Таня и Эллочка. Таня держала два разбитых фужера, а Эллочка несла в вытянутых руках скомканную, в виде большого куля, залитую вином скатерть. Таня была бледна, прошла мимо, не взглянув на Антипова, у Элочки на лице мигала пьяная плутовская улыбка.

— Танюша, я все сделаю! Я уберу! — бормотала Элла и глазами объясняла Антипову нечто юмористическое. — Где у тебя совок и веник? Саша, дай совок!

— Я сама. Дай мне совок. Иди к гостям, Элла.

— Я и есть гость. Зачем мне идти? Дай совок, тебе говорят.

— Что случилось? — спросил Антипов.

— Мирон его взял за галстук, когда Котов вступился, он его толкнул... — Эллочка хихикнула. — Господи, время никого не меняет! Мне кажется, я где-то на вечеринке на Тверском. А ведь я уже бабушка.

— Саня, ты намерен все время находиться здесь? — спросила Таня. — В местах общего пользования?

— Я уже давно бабушка, — сказала Элла. — Мо-ему внуку четыре года...

— Пойдем, Степанидзе, — сказал Антипов. — Будешь разнимать.

В разгромленной большой комнате в полутьме, при свечах, все сидели не за столом, а по углам, вдоль стен, на диване, ели мороженое и разговаривали спокойно. Толстый Котов в белой рубашке с расстегнутым воротом, под которым болтался полураспушенный галстук с эмблемой Олимпийских игр в Гренобле (Виктуар там побывал в спецгруппе спортивных журналистов, хотя отношения к спорту не имел), хрипел что-то медлительно, с одышкой на ухо очкастой седой Злате, сидя к ней вполборота, развалиясь, как и полагается директору такой могучей фирмы, как пансионат «Золотое перо». Остальные обсуждали письмо Гусельщикова. Сам Володя обретался где-то на юге с какой-то женщиной. Никто точно не знал, где именно. Антипов последний раз видел Володю в ночь под Новый год, тот туманно, обвиняками что-то рассказывал о своем романе, но Антипова так кружили собственные переживания, что он ничего не запомнил. Маленький Дима Хомутович, превратившийся в мальчиковатого белобрысого старикашку, шептал восторженно и по секрету: роман классный! Злата, внезапно оторвавшись от Котова, сказала, что все это спекуляция. Злата работала в министерстве и привыкла разговаривать строго. Ее спросили: на чем? «На нашей боли!» — быстро ответила Злата. Таня разносила мороженое. Ее лицо ничего не выражало, губы были поджаты, как будто она держала во рту булавку. Мирон вдруг поднялся с бокалом в руке. «А я предлагаю тост за нас, неглубокоуважаемых!» Злата и Элла возмутились и сказали, что не надо валить всех в кучу. Мы считаем, что мы лучшее, что сейчас есть. «Мироша, — сказала Злата, — я тебе скажу словами моей свекрови, которая часто говорит моему благоверному: Колюня, ты себе цены не знаешь! Так вот, Мироша, ты себе цены не знаешь». Элла сказала: «А я, кста-

ти, считаю, что Саша написал две изумительные книги. Это шедевры русской литературы, я говорю серьезно. Пусть Саша меня простит за то, что говорю комплименты в его доме, немного бестактно, я понимаю, но это правда!» Тут все загалдели вроде бы в поддержку Эллы, на самом деле дурашливо, сводя дело к шутке, что было правильно, Антипов перехватил насмешливый взгляд Мирона, и ему опять стало скучно. Он вышел из комнаты как бы в поисках сигарет. Когда вернулся, обсуждали женщину, с которой Володя Гусельщиков уехал на юг, Люсьена знала ее по какой-то коктебельской компании. Она сказала, что женщина чрезвычайно расчетливая. Злата сказала: как бы она не просчиталась. Еще кто-то сказал, что считать сложно, много действий, извлечение корня, надо с помощью компьютера. Потом говорили о муже расчетливой женщины, который, как все согласились, вел себя не по-мужски. Но было интересно, чем все кончится. Мирон и Люсьена ушли последними. Мирон рассказывал Антипову, засыпавшему за столом, содержание последней главы своей книги, а Люсьена с Таней шептались на кухне. Было два часа ночи.

Вдруг Антипов проснулся от голоса. Он лежал в постели, под одеялом, а Таня сидела перед трюмо к нему спиной, расчесывала волосы. Она всегда сидела перед трюмо страшно долго. Было половина третьего. Он не помнил, как разделся и лег. Голос Тани был ровный, бессильный:

— Объясни, я тебя прошу, зачем ты это сделал?

— Что именно?

— Зачем? — Голос задрожал

— Да что сделал? Позвал гостей?

— Зачем всем показывал, что меня не любишь? Что у нас все кончено? Какой ты жестокий человек!

— Господи, да я ничего не показывал никому...

— Тем хуже. — Она всхлипнула. — Значит, для тебя это естественно... Значит, ты так чувствуешь...

Он молчал: хотелось спать, саднила какая-то ранка, причиненная непонятно кем и чем. Неприятен был Квашнин? Задел разговор о Гусельщикове? Не было сил возражать Тане. Она плакала. Ну и бог с ней. Горбилась сутулой спиной и прятала лицо, чтобы он не увидел в зеркало. Он упорно молчал. Он понимал, что молчанием добивает ее, но язык не повиновался, существенных мыслей не было, в голове вертелись строчки: «Но

в мире ином друг друга они не узнали». Таня обернулась, он увидел плоское измученное лицо.

— Зачем нам эта квартира, если...

— Не знаю, — сказал он. — Мне она не нужна.

Позвонила мать и попросила зайти. Антипов забеспокоился: что случилось? Ничего, просто давно не виделись. Он подумал: мать заболела. Уж очень спокойный и какой-то фальшивый, беззаботный был голос. Мать звала к себе редко, обыкновенно терпеливо ждала, когда у Антипова выберется клочок свободного времени и он заскочит на полчаса на Ленинский, а если уж звала, то по делу: забрать какую-нибудь банку варенья, или витамины, или книжки для ребят. Впрочем, такой беззаботный, загадочный зов был за последние годы дважды. Антипов приходил и узнавал неприятное. Однажды мать сообщила про болезнь Людмилы, советовалась насчет врача, он быстро нашел кого нужно, мать была в панике, Людмила держалась хладнокровно, ее муж Чилингилов оказался тряпкой, только хныкал и трясся от страха, операция длилась четыре часа, и все началось с невнятного звонка матери; другой раз мать вызвала для анекдотического разговора: Григорий Васильевич сделал ей предложение. Антипов и мать смеялись, Григорию Васильевичу семьдесят шесть, матери шестьдесят пять, разумеется, анекдот, и все же осталось какое-то беспокойство после этого смеха. У матери была, видимо, затаенная мысль о — пускай смехотворной — возможности такого события, недаром она вызвала его специально: рассказать и посмеяться. Антипов, в принципе, был не против. Пусть у матери будет личная жизнь. Она заслужила. Ведь почти тридцать лет обходилась без личной жизни, а он по себе знает, как это трудно, даже неделю без личной жизни не проживешь. Григорий Васильевич не так уж плох, чем-то даже занят, с ним можно поговорить о том о сем, выпить по рюмке. Кроме того, он безмерно уважает отца. И это всех подкупило, кроме Людмилы, которую не подкупишь. Уважение к отцу приняло у него совершенно нелепые по своей грандиозности формы. Он носит, например, фотографию отца в бумажнике и, вспоминая о нем, рассказывая в сотый раз какую-нибудь байку из времен двадцатых годов, вынимает фотографию и обращается к ней, как бы призывая отца в свидетели. Это не значит, что он знал отца хорошо, он

знал его бегло и кратко, но отец, по словам Григория Васильевича, отстоял его — не допустил исключения из партии в чистке двадцать восьмого года. Благодарность Григория Васильевича не истлела за долгие годы, и он был истинно счастлив, когда лет пять назад смог найти вдову Антипова и земно поклониться ей за все хорошее. Потом уж возникли другие замыслы. Но все было чисто, бескорыстно. Он не лукавил, когда говорил, что отец сохранил его для партии и он будет помнить об этом до конца дней! Нет, человек он в своем роде замечательный, и неприятное заключалось не в его персоне, не в комической стороне дела, а в том, что утратится и исчезнет какая-то часть душевного прибежища, вроде шалашика детских лет в глухом углу сада, скрытого от глаз и принадлежавшего ему одному. Сестре Людмиле Григорий Васильевич не нравился, она была против всего, даже против того, чтобы Григорий Васильевич приходил в гости и пил чай из семейных чашек. Она как раз бескорыстие и чистоту подвергала сомнению. И все старалась додуматься: каковы мотивы? Зачем нужна мать? Но Людмила давно жила с Чилингировым отдельно от матери, в Черемушках, и не могла следить, как выполняются ее указания. Григорий Васильевич приходил. И пил чай из семейных чашек. Антипов был не против. Разговаривая с матерью по телефону, всегда передавал приветы Григорию Васильевичу. Но, когда задумывался о будущем, становилось немного не по себе. Легко ли лишиться прибежища? Ведь самое лучшее прибежище, самое прочное, тайное, если в нем поселяется еще кто-то, перестает существовать. И в тот раз, когда мать вызвала для странного разговора, он не нашел ничего лучшего, как сказать со смехом: «Мама, а может, есть смысл проверить чувства? Несколько подождать?» И мать, смеясь, кивала, да, да! Зачем пороть горячку, надо повременить, пока жениху не стукнет, скажем, лет восемьдесят, а невесте будет под семьдесят, тогда можно что-то решать. «Давно я так не смеялась! — говорила мать, вытирая слезы. — Но я прошу, сын, об этой чепухе никому не рассказывай, а то мне стыдно. И Тане не говори. Мне кажется, она все воспринимает чересчур всерьез. С юмором у нее не блестяще, правда?»

Мать занимала комнату в двухкомнатной квартире на Большой Калужской, которая называлась теперь Ленинским проспектом, переселилась сюда несколько лет

назад, когда Людмила уехала в Черемушки. В другой комнате жила пенсионерка с неженатым сыном, вялым, пухлым, безусым, с кроличьим выражением лица, он работал где-то радиотехником, а в свободное время сидел дома, уставясь в телевизор. Мать была довольна соседством. Говорила, что люди скуповатые, больные, недалекие, говорить с ними не о чем, но тихие, а это главное. Старуха пенсионерка отворила дверь, наклонила седую голову в знак приветствия, а во взгляде, обыкновенно робком и ускользящем, мелькнуло недоброжелательство.

— У тебя все в порядке? — спросил Антипов, входя в комнату матери.

— Абсолютно, — сказала мать. — Почему ты спросил?

— Соседка посмотрела как-то косо...

— Они странные, ты же знаешь. Нет, все в порядке. Ах, да! — Мать засмеялась. — Сейчас они в некотором смятении, боятся, что Григорий Васильевич переедет сюда окончательно.

— А почему боятся?

— Ну, просто боятся люди. Уж на что я пуганая ворона, но они в десять раз пуганее. Не понимаю отчего. Ведь не пережили того, что я, всю жизнь в Москве, особенно не нуждались. А вот куда-то пойти, с кем-то поговорить, даже в ЖЭК за справкой, — для них проблема. Да я перед ними герой! Я свободно и в ЖЭКе разговариваю, и в нашей поликлинике, и в пошивочной с начальством, когда надо чего добиться... А они не могут... Тут недавно она чуть не со слезами: «Милая, я вас очень прошу, позвоните на почту, спросите, почему мне пенсию на два дня задержали...» Как тебе нравится? А у самой языка нет насчет своей пенсии спросить...

Мать так долго говорила о чепухе потому, наверное, что не решалась перейти к делу. А какое-то дело было. Антипов сказал:

— Ну слава богу, если все в порядке.

— У меня-то в порядке... — Мать сделала паузу, глядя на него выжидательно, но он молчал, совершенно не догадываясь, на что мать намекает. Она сказала: — Вчера ко мне заходила Таня.

— Правда?

— Она не была на этой квартире ни разу.

— Знаю. С какой же целью?

— Да, с какой целью...

Мать вздохнула и заговорила с усилием. Ей не хотелось этого разговора. Она никогда не вмешивалась в жизнь сына и дочери, правда, надо сказать, не было необходимости вмешиваться. Если бы возникла такая необходимость, она бы, конечно, вмешалась. Но дети ее не огорчали. Она привыкла ими гордиться. И вот приходит женщина, рыдает и говорит, что ее сын нехорош, нечестен, что он разлюбил, хочет бросить детей, что у него есть другая, что все погибло. На приеме, который невестка устроила из последних сил для четырнадцати человек, никому не нужных старых друзей, ей все стало ясно. Он вел себя красноречиво — за вечер не сказал ей ни слова. Даже слепые могли увидеть, что она для него пустое место. Но окончательно раскрыла глаза одна женщина, которая там была. Жена его закадычного друга. Она назвала имя той, с которой сейчас роман: работает на киностудии то ли редактором, то ли режиссером. Опасная хищница, известная в Москве, и, уж если в него вцепилась, она его не отпустит. А муж этой женщины большой человек, зачем ей нужен Антипов, непонятно. Просто хочет его погубить. Мать, ошеломленная услышанным, пыталась высказать сомнение или хотя бы успокоить рыдающую: а можно ли верить жене закадычного друга? Та, рыдая, кивала: можно, можно! Чистая правда! Но почему же не поговорить с сыном, если доподлинно все известно? Говорить невозможно. Собиралась с духом несколько раз, но все вокруг да около, а о главном — о женщине — не может произнести ни слова. Никогда не была в таком положении и не думала, что окажется. Врагу не пожелаешь. Чего же вы хотите, боже мой? Сама не знает, чего. Приход сюда — глупость. Пришла от малодушия, от отчаяния. И вообще она на грани каких-то плохих поступков...

Тут Антипов впервые заговорил:

— Каких же?

— Не знаю. Я растерялась. Она меня огорошила... Мне и жаль ее, конечно...

Союз «и» мать выдал. Надо было действительно дойти до отчаяния, чтобы кинуться к матери. Значит, все накапливалось давно. Он не замечал. Мать смотрела на него пристально и как-то по-новому, изучающе, по-видимому, он ее удивил...

— Сын, а эта женщина... — Несмелым движением положила руку на его руку. — Она существует?

— Да. То есть почти уже нет.

— Она какая-нибудь особенная?

— Нет. — Он покачал головой. — Ничего такого
сверх...

— Моложе Тани?

— Мама, не имеет значения. Ну, моложе. Я же ска-
зал, ее почти уже нет.

Мать вышла из комнаты — ее как будто толкнул тон
раздражения, прозвучавший в его голосе. Он смотрел
в окно и думал: почему почти уже нет? Какой вздор
Так не бывает. Не может быть «почти жизнь» или
«почти смерть».

Утром прошел мокрый снег, сейчас он уже растаял,
в асфальтовая площадка перед отелем была черная и
блестящая, а там, где асфальт кончался, виднелась
грязная земля с лохмотьями прошлогодней травы. Пе-
ред входом в отель стоял длинный автобус, ярко-крас-
ным прямоугольником алела внизу его крыша. По гряз-
ной тропинке в горы карабкались лыжники, держа лы-
жи на плечах. Лыжников было много: одни возвраща-
лись с гор, другие только еще шли. Все они несли лыжи
на плечах. Казалось странным, что где-то недале-
ко, наверху, есть снег и можно ходить на лыжах. В ко-
ридоре пахло свежeweглаженным бельем. Группа нем-
цев в ярких толстых пуловерах из искусственной шерсти
прошла навстречу, громко переговариваясь и хохоча,
щеки были красные, глаза блестящи, они возвращались
из ресторана, каждый держал в руках, как гранаты, по
две бутылки «пильзнера». За ними шел по коридору
вчерашний горбун в красной клетчатой кепке, что гу-
лял с собаками. Выражение лица у горбуна было, как
и вчера, презрительное. Никто из них даже не взгля-
нул на Антипова, хотя на его лице было все напи-
сано. В фойе перед лифтом Антипов вновь метнулся к
окну; возле алого прямоугольника автобуса теперь гус-
тела толпа, черные, темно-коричневые пальто, меховые
шапки, но зеленого пальто и белого берета он не уви-
дел. Носатый портье в золотых очках, стоявший за мас-
сивным, похожим на прилавок магазина столом реце-
пции в вестибюле, холодно посмотрел на Антипова и,
вдруг наклонившись, заговорщицким шепотом прогово-
рил по-русски:

— Мой совет поехать фуникулер на гора, на пик. Вы
увидите фуриозный ландшафт, Високи Татры.

— Большое спасибо,—сказал Антипов.—Декуи вам.

В автобусе уже сидели человек двенадцать. Но ее не было. Тут находились обе дамы из бухгалтерии Госкомитета, был старик киновед из Ленинграда, его молодой коллега, усатый красавец грузин, четверо девушек из издательства и тот тип, который всю дорогу читал роман «И один в поле воин». Еще какие-то люди бежали к автобусу. Ее не было. Антипов, охваченный тоскливым волнением, хотел уже выскочить из автобуса, но вдруг увидел зеленое пальто. Ирина не спеша поднималась к асфальтированной площадке снизу, со стороны шоссе. Люди в автобусе махали ей руками. Константин Герасимович, руководитель группы, стоя одной ногой на асфальте, другую укрепив на ступеньке автобуса, кричал что-то командное, сложив руки рупором. Дамы из бухгалтерии говорили: «Все должны ее ждать!» Ирина приближалась гуляющим шагом. Кто-то сказал: «Как будто нарочно». Еще кто-то: «Но это в ее стиле». Третий голос спросил: «А мы куда-нибудь опаздываем?», Антипов не мог отделаться от чувства, что все возгласы, нарочито громкие, сердитые, производятся для него. Мужчина, читавший роман «И один в поле воин», оторвался от книги и сказал с неожиданной свежей злобой: «Надо научиться, наконец, уважать правила общезжития!» Ирина впорхнула в автобус на излете этой реплики, что-то залепетала, ответом было молчание. Антипов похлопал по сиденью — он все время держал на нем руку, чтобы кто-нибудь не сел, — и Ирина быстро опустилась рядом, прошептав.

— Меня все ругают?

— Почему вы не пришли на завтрак? — спросил он тоже шепотом.

— Почему? — Она посмотрела удивленно. — Я проснулась в десять утра. — И совсем неслышно: — Я не привыкла к такому режиму.

— И я не привык, — сказал он.

Еловый бор подступал к шоссе. Из-за деревьев выглядывали на миг и пропадали домики пансионатов и гостиниц, мелькали по обочинам аккуратные дорожные знаки и выкрашенные красной краской ящики для мусора, прикрытые деревянными двускатными крышами, спасающими мусор от дождя. Автобус обгонял гуляющих. Все они, даже маленькие дети, были одеты по-спортивному, все в брюках и в лыжных куртках. Дети останавливались и махали автобусу руками

После долгого молчания она сказала:

— Вы привыкли.

— Нет. Не привык.

— Привыкли. Я поняла.

— Почему?

— Ну, поняла. Я просто уверена в том, что привыкли. К сожалению.

— Какие доказательства?

Они шептались отрывисто, не видя друг друга, глядя в окно.

— Доказательства есть. Приведу их когда-нибудь в другой раз. Сейчас не хочу. А сейчас утверждаю бездоказательно, но твердо — привыкли! Но ничего ужасного в этом не вижу. Просто немного жаль...

— Немного что?

— Жаль.

— Меня или себя?

Она засмеялась. Впервые за время разговора посмотрели друг на друга. Он увидел синие сияющие глаза. Группа расположилась впереди, они двое сидели на заднем сиденье, мотор ревел, никто их не видел и не мог слышать.

— Может быть, немножко, самую, самую чуточку, — показала пальцами, какая это ничтожная величина, — жаль себя. Но уж не вас, конечно.

— Неправда, — сказал он и накрыл ее пальцы ладонью. — Я не привык. И не спал ни минуты.

— Ох, мамочка... — Она качала головой. — Свежо предание!

То утро запомнилось до малейших подробностей. Накануне была ночь. Он много пил, курил, был разбит, его знобило, он был непонятно счастлив. Непонятно! Ведь уже не мальчик, когда ночь может осчастливить открытием; никакого открытия не было, но было что-то иное, сотворившее счастье. Незаметно спуск с горы кончился, отмелькали ели, дорога шла по равнине, еще темной и влажной, недавно освободившейся от снега, и вот замаячили впереди черепичные, морковного цвета кровли старого города. Все было неинтересно. Антипову хотелось, чтоб автобус сломался, чтобы все разбрелись кто куда, они бы вдвоем ушли далеко, и автобус уехал бы без них. Но автобус не сломался, благополучно достиг города и остановился на горбатой площади, мощенной брусчаткой. Подошел гид, старичок в котелке, в старомодном пальто с бархатным воротничком.

— Товарищи! Друзья!—сказал он торжественно, поднимая руку. — Будем ходить немножко быстрее, потому что находит гроза!

И он быстрыми шагами, придерживая рукой котелок, пошел через площадь, и все толпой двинулись за ним. Когда старичок остановился возле белого каменного обелиска и стал рассказывать про восстание сорок четвертого года — на этом месте фашисты расстреляли группу словацких партизан, — издали донесся первый удар грома. Низко неслись облака. Они были грифельного цвета. Брусчатка площади, стены, крыши домов — все было светлее, чем облака. У старичка погибли зять и племянник во время восстания. Он волновался, путал слова, некоторые забывал, ему подсказывали по-немецки, он обиженно благодарил и то и дело смотрел на небо. Обе дамы из Госкомитета непрерывно что-то писали. Антипов стоял возле Ирины, и она чуть заметно прислонялась к нему плечом.

— Друзья мои! — закончил старичок. — Запомните эту скромную площадь! Запомните эту совсем неприметную старую церковь с грубым крестом из камня! Здесь будет стоять наш автобус. — Придерживая котелок, он побежал по площади вниз, вдруг замер, точно остановленный порывом ветра, и крикнул: — Ах, да! Вот! Отъезд будем делать в два часа! Никто не опоздайте!

Антипов и Ирина опоздали. Гроза им содействовала. Когда спускались в хвосте толпы с горбатой площади вниз, оглушительно треснул гром, и тотчас с обвальным шумом, неся с собой внезапный холод, обрушился ливень; это был знак того, что раскололась судьба и ливень понес их в другую сторону. Они промокли насквозь, прятались во дворе под черепичным навесом, бежали куда-то, прыгали в подвал с надписью «Kavapa», хохотали, пили молочный коктейль, официант говорил «Prosím», над головами с гулом катилась вода. Через толстое стекло они видели срез ручья, он был полноводен. Но как хотелось, чтобы скорее кончился ливень! Лишь только выглянуло солнце, они побежали на площадь, сели в городской автобус и примчались в отель. Коридоры были пустыни. Они не слышали телефонных звонков, временами рассказывали друг другу что-то о себе. Она мечтала с ним познакомиться, потому что знала все его книги. Даже ее дочка двенадцати лет удивлялась: «Мама, почему ты всегда читаешь Антипова?» Хотела поставить кукольный фильм по его рас-

сказу и однажды набралась храбрости, позвонила, он ответил сухо: нет, не интересуется. Он не помнил звонка. Но верил каждому ее слову, потому что нельзя было не верить глазам, полным слез, неутомимым губам, мягчайшей коже, которая облепляла его, как жадный горячий пластырь, нельзя было подделывать стоны, абсолютной истиной звучали хриплые вскрики, он испуганно заглушал рот поцелуями и верил тому, что он для нее самый любимый, что он выше Чехова, выше Хемингуэя, Толстого, Гомера, верил, верил, верил до изнеможения, верил всем существом, верил всему. Наступила темь. Они не обедали, не ужинали. Неведомо когда спустились в ресторан, играл оркестр, горбун в глупом желтом жилете изредка стучал в барабан, поглядывая презрительно в зал, Антипов заказал бутылку шампанского. Спросил: что будет дальше? Она сказала: приедем на Киевский, расстанемся, ты позвонишь, мы встретимся, еще встретимся, потом будет скандал, потом все кончится. Но, что бы ни было, она будет любить его всю жизнь. Он недоумевал: неужели и этому верить? Ее глаза в полутьме светились. Иногда брала его пальцы и порывалась поцеловать, но он отнимал руку. Константин Герасимович легким бегом догнал в коридоре и шепнул: «Имейте в виду, больше никогда не поедете за границу!» Антипов посмотрел на коротконового человека, стриженного бобриком, и не нашелся, что ответить, а она засмеялась. Ночью гуляли в саду. Привратник ворчал, открывая дверь, Антипов дал ему кроны, и он сказал «Prosim!». Когда возвращались, озябнув, с ледяными руками, во втором часу ночи, привратник распахнул двери и поклонился: «Gute Nacht, meine Herrschaftent!» Антипов выяснял, почему она решила, что он при вы к. Оказывается, в первую ночь он бормотал во сне женское имя, но не ее и не своей жены. Чье же? Ему лучше знать. Но он не знал. Даже не мог предположить. О, значит, много имен! Не имея никакого права, она уже ревновала. И ничего не знали друг о друге, хотя казалось, что знают все. И он верил в то, что это последнее знание, исчерпанное до дна.

Дальше все было так, как она предсказала.

Перезванивались, встречались, она плакала, он мучился, чего хотел, неизвестно, она говорила, что любит его больше всех, больше дочери, муж был не в счет, его как бы не существовало, говорила, что Антипов — самый необыкновенный, добрый и прекрасный мужчина

на свете и что такого, как с ним, она ни с кем не испытывала и, хотя знает, что будет ужасный конец, она счастлива, ни о чем не жалеет. Осенью она делала фильм о народных ремеслах, поехала в Суздаль, жила в мотеле, он приезжал, слышал, как она разговаривает с мужем по телефону, голос был сухой, страшноватый, другого человека. Она отдавала приказания. Насчет автомобильных частей кому-то позвонить, что-то достать. Повидимому, он разбирался в автомобиле хуже, в ее голосе звучало раздражение. Она повсюду ездила на автомобиле. «Знаешь, почему я не люблю туристские поездки? Потому что там я без машины. Без машины я не человек». Поговорив насчет запчастей и что-то спросив о дочери, она положила трубку, прошептав: «Тупица!» Был едва слышный шепот, не для Антипова, и он слышал только благодаря отличному слуху. Но иногда говорила про мужа, что он необыкновенный, что такого порядочного и благородного во всей Москве не сыскать. Вдруг сообщила, что муж все знает, их zaseкли, он в безумной ярости и грозит их убить. «Не переживет моего ухода. Способен на чудовищные вещи». Об уходе не было и речи. Но Антипов пристал к ней душой. Этого не было в первые недели. Он не предполагал, что это будет. А теперь он скучал без ее болтовни, без ее рассуждений о том о сем, о книгах, о событиях, об общих знакомых (которые пока не догадывались о том, что они общи е), томился без запаха ее духов, ее смуглой, с восточным подмесом кожи, ее темных волос и синих глаз, привык к словам о том, что он сейчас «единственный писатель, о ком можно говорить всерьез». Дома он не слышал такого. Он не думал, что сможет оставить Таню. Слишком много прожито вместе, почти двадцать лет. Но, может быть, — именно потому? Все соки высосаны из этой жизни, не осталось ни вкуса, ни запаха, одни сухие, добротные, прочные изжеванные волокна. Таня не понимала, как он изменился за годы, и от непонимания шла беда. От непонимания была сухость во рту. А та женщина понимала. И жалела его. И могла пожертвовать ради него всем. Она говорила, что готова пожертвовать, и он верил.

Зимой встречались реже, не было места, иногда разговаривали по телефону, она начинала плакать, умоляла что-нибудь придумать, иначе она заболит, произойдет несчастье, и он находил — с помощью Мирона, который не знал, для кого, хотя проявлял страшное лю-

бопытство — нечто неудобное и рискованное, встречи получались скомканные, наспех, с горьким привкусом преддверия конца. Раза два в морозы, когда некуда было пойти, уезжали за кольцевую, останавливались в глухом месте, мотор работал, в машине было тепло, тревожно, сладко, но как-то по-американски, как-то вроде на тронх на бульваре, чокнулись и разошлись, и они чувствовали себя несчастными. Каждая встреча казалась последней. Не было будущего. У нее заболела дочь, она обо всем забыла, погрузилась в болезнь, он старался помочь, куда-то звонил, искал профессора, муж проявил себя идеально, совершил поистине чудеса настойчивости и устроил дочь в самую лучшую клинику к самому лучшему специалисту, и по этому поводу говорилось, что такой человек заслуживает вечной благодарности и она никогда не сможет причинить ему боль. Через некоторое время дочери стало лучше, она пошла в школу, и он опять испытал прилив любви к себе. Но тут у него настала черная полоса, везде все застопорилось: сценарий отвергли, роман застрял в недрах журнала. И, как на грех, от ее мужа кое-что зависело. Он занял новый пост. Ему подавали черную «Волгу», его имя мелькало в газетах: выступил такой-то, принял участие такой-то. Знакомые говорили: хорошо, что такой-то занял этот пост. Он порядочный человек. Антипова же леденила догадка: не его ли вина в том, что все застопорилось? И однажды в чужой квартире, холодной и гнусной, он высказал это предположение. Она возмутилась: «Ты с ума сошел! Он благороднейший человек. Он тебя ненавидит, конечно, но подлости не сделает». Слово «благороднейший», которое она повторяла часто, его задело. Он сказал, что благороднейшие люди отличаются как раз тем, что никого не ненавидят. Ненависть — не свойство благороднейших людей. А ты хочешь, чтоб к тебе относились по-доброму? Чтоб тебя благодарили за то, что ты отнял жену? Он сказал, что жену пока не отнял. И он единственно против неточных слов — не надо называть благороднейшим человека, который ненавидит, как все смертные. Ей это не понравилось. Может, ей не понравилось то, что он сказал: жену пока не отнял. В тот вечер простились прохладно. И она не поцеловала его, как обычно, когда прощались, в машине. Но через неделю раздалась звонки, Таня подходила к телефону, бросали трубку, он спустился вниз и позвонил из автомата. «Ты звонила?» — «Да! — сказала жалобно. — Не могу

без тебя. Прости, я тебе нагрубила...» Была страстная многочасовая встреча в квартире ее подруги, которая уехала куда-то на несколько дней. Квартира была просторная, но неряшливая, как жилище холостяка, в прихожей стояли лыжи, велосипед, а в комнатах висели фотографии красивых девушек, некоторые были изображены обнаженно и частями. Он спросил: что это значит? Она фотограф. И любит снимать женщин. А какие у тебя с ней отношения? «Замечательные! — Она смеялась, целуя его. — Она отличный товарищ. На нее можно положиться, как на мужика. Среди женщин это редко!» Поздним вечером пили чай на кухне, ели чужое печенье, чужой мармелад, курили чужие папиросы и он рассказывал о своих неприятностях: нигде ничего не двигается, деньги на исходе. Она, жалея, гладила его руку, слушала молча, спросила: много ли нужно? Не придавая разговору значения, он беспечно отмахнулся: много! Надо делать взнос за кооперативную квартиру. Через полгода въезжать. Она смотрела с ужасом. «Ты строишь квартиру?» — «Да. Я говорил тебе». — «Ты не говорил!» — «Я говорил. Ты забыла». — «Я не могла забыть такой вещи! Ты строишь квартиру. Для своей толстозадой Таньки». Она впервые высказалась о Тани злобно и назвала ее по имени. Раньше никогда ничего не говорила о ней, будто Тани не существовало. Впрочем, однажды произнесла насмешливо и таким тоном, точно догадалась о чем-то: «А, знаю! Ты любишь, чтоб здесь было много». И руками показала за спиной. Сама-то стройная и гибкая, хотя не так уж юна, гимнастическое прошлое выручает. Не надо было говорить о квартире. Он не делал из этого тайны, и она знала, конечно, но не надо было напоминать. Опять прозвенела трещинка в конце свидания. Но он не отнесся к трещинке серьезно: не могла же она, в самом деле, требовать, чтоб он отказался от квартиры! С какой стати? Ведь и она пока ни от чего не отказалась. Нет, тут был наигрыш, было желание постоянно напрягать и без того тугую нить, соединявшую их. Однако, когда он позвонил на другой день, она разговаривала едва слышно, убитым голосом, ничего нельзя было понять, наконец выяснилось — полночи проревела в ванной. Он испугался: «Ира, да что происходит?»

Идти в тот вечер было некуда. Поехали зачем-то за город, в знакомое место под деревней Песьево. Лесная дорога вела к озеру, на берегу которого была окру-

женная ветлами полянка, летом шоферы пригоняли сюда машины и мыли их водою из озера. Зимой тут были тишь, безлюдье. Было глупо ехать в такую даль для того, чтобы разговаривать: разговаривали по дороге, разговаривали у озера, а на обратном пути молчали. Он пытался выяснить: отчего она редела полночи? Вразумительного ответа не было. Оттого будто бы, что он строит квартиру и, значит, всему конец. Но конец бывает из-за другого, не из-за квартир! Значит, из-за другого. Какая разница. Важно, что конец. Неужели она хочет, чтобы он по-прежнему жил в тесноте? Не мог бы работать? Скитался бы по гостиницам и домам творчества? Он устал от такой жизни. Он уже старикашка. Ему сорок пять. Она сказала: «Ты не старикашка, и тебе ничего не нужно. Ты можешь жить где угодно. Я тебя знаю. Ты строишь квартиру не для себя, а для нее. Это ей нужно. Она настояла». Говорила правду. Но почему с такой злобой к женщине, которой сама делала зло? Таня не догадывалась о том, что сейчас ее убивают. Нельзя ли убивать как-то великодушной? Да, Таня мечтала о квартире, ей казалось, что в новом доме начнется новая жизнь и возвратятся старые времена.

Антипов тупо молчал весь путь до Москвы. Женщина говорила правду и притом была несправедлива, и, однако, он понимал ее и не мог с нею примириться. Он видел, что она любит и страдает. Но так ничего не чувствовать, кроме своих любви и страданий! Ведь она не предлагала соединиться, хотя как-то у нее вырвалось: «Было бы счастьем ничего не бояться и всю ночь рядом с тобой...» Он вспоминал самое болезненное, язвящее, что она говорила в лесу, в темной машине: «Такие люди, как вы, как ты и мой муж, достойны уважения, но и жалости. Вы с ним одной породы, только ты талантлив, а он нет. Поэтому люблю тебя, а не его. Но вы оба узники сгоревшей тюрьмы. Кандалы истлели, а вы все боитесь тронуться с места. Ведь ты писатель каких мало. Ты не смеешь заниматься чепухой! Пусть она занимается. Ты обязан жить творческой жизнью, а у тебя нет возможности, вот что ужасно!» Когда прощались, он сказал: «Дело в том, что Таня чепухой заниматься не умеет. К сожалению, должен заниматься я. Ты уж извини». — «Ну и занимайся. Извиняю, — сказала она. — Звонить мне больше не надо».

Так и простились в декабре, за десять дней до Нового года. И он мучился и старался понять: почему? Че-

го она хотела от него? Должна быть основная причина. Что-то главное скрыто, надо было догадаться, но он не догадывался. Он решил про себя: ну, что ж, книга прочитана. Была захватывающая книга. Нельзя оторваться. Но ничего больше того, что в книге написано, прочесть нельзя, значит, надо прощаться, книгу вернуть, владелец нервничает.

И, как ему было приказано, не звонил.

Тут началась суета с Новым годом, и он немного рассеялся и отвлекся. Каждый год в конце декабря затевалась эта мотня, переговоры по телефону, улаживание Тани. Идти или не идти? Куда? С кем? Таня обычно никуда не хотела, упиралась свирепо, даже, бывало, притворялась больной, лишь бы остаться дома с детьми и не делить мужа ни с кем. Но дети теперь сами не сидели дома. И Таня нынче не упиралась — ей хотелось сделать так, как хочет Антипов. А ему было все равно. Вдруг он стал прежним, добрым, кротким, покладистым, желавшим ее ласки, чего не было давно. Он ничего не объяснял. Просто однажды ночью домогался ее страстно, как в юные годы, она была счастлива, изумлена. Правда, среди ночи в бреду стал требовать от нее чего-то невозможного, она сделала вид, что не понимает, и услышала, как он засмеялся сквозь сон и забормотал невнятно.

А в ЦДРИ, куда их тащили Мирон с Люсьеной, собиралась веселая банда: режиссер Поплавков, художник Спирин, Володька Гусельщиков, кто-то из актеров, популярный поэт Самшитов, с которым Антипов познакомился в Коктебеле, друг Самшитова, переводчик с французского Кубарский и откуда-то взявшийся Ройтек. Из-за Ройтека все пошло наперекосяк и чуть не рухнуло. Поэт Самшитов сказал, что за одним столом с Ройтеком сидеть не станет. Почему? Объяснений не было. Не сядет, и все. Поэт Самшитов был знаменит, и всем хотелось, чтобы он сидел за столом. Но как быть с Ройтеком? Его пригласил Поплавков, заинтересованный в нем, ибо Ройтек был главным консультантом Центрокино и как раз теперь через дебри Центрокино продиралась заявка, по которой Поплавков надеялся поставить замечательный фильм. И он ни за что не хотел уступать Ройтека. Но Самшитов держался твердо. Мирон говорил, что при виде Ройтека он покрывается аллергической сыпью. Антипову было все равно. Ройтек давно уже не был тем разбитным газетным ловчилой, какого

помнил Антипов, он стал мастит, седовлас, выпустил штук пять книг публицистики, цепко полз по административной лестнице вверх. Гусельщиков был почему-то за Ройтека. Скорей всего, из снобизма.

Но для Антипова все вокруг осложнилось. За ужином Степан спросил: «Вы вроде будете в компании с Романом Викторовичем Ройтеком?» — «Кажется, да, — сказала Таня. — Но не уверена. Я этим мало интересуюсь». Она еще надеялась, что дело сорвется и они останутся дома. Антипов сказал: «Да. А что?» — «Папа, у нас просьба: задержитесь там подольше. Как можно дольше. Лучше всего до рассвета. И еще лучше — до вечера первого января. — Антипов смотрел с недоумением, сын продолжал веселиться: — Можете довести себя до алкоголической комы. Пусть будет легкая реанимация. Дело займет дня два, но все закончится хорошо, и вы вернетесь домой еще крепче и здоровей, чем были!» Сын бессмысленно хохотал. Таня пришла на помощь: «Ты разве не знаешь, что новая знакомая Степки — дочь Ройтека? Они будут встречать Новый год на квартире Ройтека».

Он не знал. Вот хитросплетения жизни!

Новая знакомая появилась месяц или полтора назад, звали ее, кажется, Настей. Она заменила Милу. К Миле Антипов успел привыкнуть. Но дочка Ройтека? Эта крашенная, в расписной болгарской дубленке, с ярким макиязем? Ей, наверное, лет тридцать? Двадцать шесть. Она окончила ГИК и снялась уже в трех фильмах. Наверно, была замужем? Есть дети? Замужем была. Детей нет. Антипов подумал: «А почему, собственно, такой сарказм? В моей жизни была Сусанна. Ей было сорок. И она была другом».

Таня смотрела на долговязого, ростом метр восемьдесят два, сына с тайным испугом и состраданием: испуг оттого, что боялась увидеть в характере сына то, что более всего и непобедимо страшило ее в Антипове, которого она подозревала в женолюбии, а сострадание вызывалось тем, что ей уже мерещились сыновьи беды. Когда-то давно, когда они были откровенны и сильно любили друг друга, Антипов рассказывал ей о женщинах, и она его жалела. Ему так долго не везло, пока он ее не встретил! Все эти Сусанны, Наташи, Галины не приносили ему ничего, кроме страданий и несчастий. Они не умели его понять. Неужели такая же судьба грозит Степке? Неужели и ему надо будет пройти цепь ра-

зочарований, унижений, обид, душевных мук, прежде чем он встретит достойного человека? Разумеется, он умен, в нем есть чистота, которую всякая женщина ценит, а кроме того, он сын писателя Антипова, тут тоже есть привлекательность. Ничего странного, что женщины к нему льнут. А он доверчив. Ему всего девятнадцать. Эта Анастасия Романовна, как она представилась, когда впервые пришла в дом и протянула царственным жестом, как бы на сцене, как бы для поцелуя, длинную полную руку с золотым браслетом, сразу насторожила Таню: что общего могло у нее быть с юнцом, баскетболистом, студентом, который еще недавно заикался и краснел, разговаривая с женщинами?

Об этом думала Таня, глядя на сына с пронзительным сочувствием, как на предназначенную к закланию жертву, но не решалась сказать вслух. Степан же сказал: «Да! Настя просила передать, она слышала, что ваша компания может развалиться и Ройтек, чего доброго, останется дома. Так вы уж, пожалуйста, не разваливайтесь».

В ЦДРИ был наплыв. Вся модная, светская, золотая, фарцовая, деляческая Москва рвалась в дом муз: здесь ожидалась цыгане, клоуны, гороскоп, лотерея, французские легкомысленные фильмы всю ночь. И женщины нервничали, боясь, что праздник сорвется из-за капризов мужчин, которые, по их мнению, вели себя, как женщины: с тем вожусь, с этим не вожусь. Люсьена с возмущением звонила Тане: «Мой совсем сбрендил. Сказал, что, если Ройтек появится, он устроит скандал. Что за идиотская гордыня? Кто они такие? Чем они лучше Ройтека?» Таня сказала, что все же, по ее мнению, лучше. Люсьена бушевала: «Ничем не лучше! Бездарности! Импотенты!». Позвонила жена Самшитова, с которой Антипов был знаком шапочно, и вкрадчиво объяснила позицию самого Самшитова, чтобы не было разнотолков, чтобы не выглядело выкаблучиваньем. Причины серьезные. Самшитов никогда не простит Ройтеку одного его выступления в юмористическом журнале. Коля Кубарский тогда сказал ему в лицо: вы человек с ампутированной моралью. Антипов чувствовал себя подавленным, и единственное, чего ему хотелось, позвонить. Но было невозможно. И он говорил, мучаясь: «Я понимаю вас».

Прошла неделя с тех пор, как расстались. Он бросался к каждому телефонному звонку, надеясь, что она оду-

малась и звонит первая, ведь она дала приказ не звонить и только сама могла его отменить. Тридцатого декабря в восемь утра раздался звонок, Антипов опрометью кинулся из ванной, натягивая халат, с недобритой щекой, с колотящимся сердцем, ибо решил, что звонит она, нормальные люди не звонят в такую рань, и, сорвав трубку, шепотом крикнул: «Да! Слушаю!». Но был мужской, надтреснутый, тонкий знакомый голос: «Александр Николаевич, милый, извините, что рано, но я убегаю, а дела неотложные надо как-то решить... — Был Ройтек. Антипов не разговаривал с ним по телефону лет пять. — Родной мой, мы находимся в колебании. Позвольте быть откровенным? Мы очень хотели пойти в ЦДРИ, нас позвали Женя Спирин, Юра Поплавков, Данильянцы, и вас мы знаем давно... Все очень хорошо... Мы вносим деньги... Но вдруг появляются новые действующие лица. Нас не предупреждали. Милые мои, так не делается! Это же деликатнейшее дело — составление новойодней компании. Нельзя же махом, в одну кучу». Антипов спросил: «Вы кого имеете в виду, Роман Викторович?» — «Вы знаете кого. Самшитов — пошляк. Но я бы его терпел. Однако еще Кубарский. С ним я не желаю иметь контактов».

Смысл звонка, возбудившего сильное сердцебиение и прилив тоски у Антипова, был таков: сказать товарищам, что, если Ройтеки не придут, не искать сложных причин. Виноват Кубарский. Было скучно обо всем этом думать, Антипов не думал. И никому не сказал о звонке Ройтека, о котором просто забыл. А новый семидесятый был меж тем близок: по утрам и вечерами клубился народ на елочных базарах, везде было уже пусто, хвойный сор чернел на снегу, пьянчуги продавали чахлые деревца во дворах, толпа ворочалась на площадях, катилась по проспектам, терлась морозными шубами в магазинах, тащила громадные авоськи с апельсинами и торты «Сказка», перевязанные бечевкой. Антипов слонялся по городу, останавливаясь возле телефонных будок. Везде были очереди, он терпеливо стоял, ждал и уходил, не позвонив. Не знал, что презирать в себе: малодушие или бессмысленное упрямство. Было ясно, что наступил конец. Год кончился. Гирлянды лампочек, висевшие поперек улицы, как сверкающие веревки для белья, оповещали об этом. И все же какая-то частица года еще теплилась, еще трепетала, жила! Оставались часы, мгновения. Еще можно было бросить две копейки в про-

резь и дрожащими пальцами набрать номер. Антипов проходил мимо цветочного магазина, купил букет гвоздик и привез Тане. Она обрадовалась, ее лицо бурно покраснело, как бывало когда-то.

«Саня, — сказала робко, — а может, не пойдем никуда? Может, останемся дома?» — «Может, — сказал он. — Я не против». — «Правда?» — «Правда. Можно остаться».

Она погладила его шею теплой рукой. Он пошлепал ее по толстому, плотному бедру, и она наклонилась и, сняв очки, чтоб не упали, поцеловала его в темя. Он еще раз тихонько пошлепал по бедру. Было часов семь вечера тридцатого декабря. Ребят не было дома. Таня заперлась в ванной мыть голову. Он сел в кресло у телефона, набрал номер и услышал спокойный голос Ирины: «Слушаю вас?» — «Это я, — сказал он. — Поздравляю с наступающим», — «Спасибо». — «Прими все слова и прочее...» — «Спасибо». Ее голос оставался спокойным. Она не поздравляла его в ответ, не была удивлена звонком и хотела, чтобы он поскорее положил трубку. Он спросил: «Ты где встречаешь?» — «В ЦДРИ». — «А! Ну, хорошо, может быть, увидимся».

Когда Таня вышла из ванной и села к зеркалу расчесывать волосы, он сказал, что, подумавши, решил, что будет неудобно, если они не пойдут. Черт с ним, с Ройтеком. Можно не обращать на него внимания. «Хорошо, — сказала Таня кротко. — Пойдем». Его волнение в течение суток росло. Он думал о том, что с ним происходит, ибо происходившее было не вполне понятно: почему так судорожно и слепо, почти до отчаяния он мечтал в эти дни не о встрече даже, а хотя бы о разговоре? Встреча была бы неслыханным счастьем. Но ведь неслыханное было недавно в порядке вещей, не таило в себе ничего райского, ничего ослепительного, порой удручало, порой наскучивало, порой внушало: а надо ли все это длить? Теперь же колотилось сердце, отнималось дыхание от одной мысли о том, что она будет за соседним столом. И он улучит минуту, подойдет и вырвет объяснение: чего она от него хотела?

Тридцать первого декабря надо было написать хоть несколько строк, по кодексу примет. Антипов верил в приметы, будучи атеистом. Пожалуй, он мог бы назвать себя язычником. Он сел за роман, над которым мучился уже третий год, переделывая сначала по просьбе редакции, потом взялся улучшать сам. Роман назывался

«Синдром Никифорова». Никифоров был писатель. Он жил в Москве, нынче, в шестидесятых, был уже немолод, малоизвестен, малоудачлив, терзал себя и близких каторжным сочинительством, создавая книгу, в которой хотел опровергнуть самого себя: это был анализ не сочинения в своей жизни. В редакции, где раньше бесперебойно принимали и печатали прежние книги Антипова, роман «Синдром Никифорова» вызвал недоумение и увяз, как муха, в клею бесконечных отзывов, рецензий и обсуждений. Одних внутренних рецензий накопилось восемь. Ни одна не рубила напрочь, но все требовали чего-то кардинального и существенного, а в общем хоре складывалась невнятная музыка, напоминавшая похоронную. Есть такие мухи, которые, приклеившись к смертоносной бумаге, еще долго жужжат и сучат ножками. Так и Антипов долго жужжал и сучил ножками, требовал все новых отзывов, объективных обсуждений, но каждый отзыв лишь присоединялся к хору. Рецензенты не понимали: что хотел сказать автор романа «Синдром Никифорова»? Если Никифоров малоталантлив и малоудачлив, писать о нем неинтересно. Если талантлив, но малоудачлив, надо показать социальные корни неудач на фоне жизни страны. Антипову казалось, что у него есть корни и фон. Но говорили, что фон не тот, что это вчерашний день. И вообще писать о писателе — последнее дело. Это уж когда совсем не о чем, когда человек лишен впечатлений, не знает жизни, далек от людей, тогда, с горя, о писателе. Литература такого рода всегда худосочна. Роман можно спасти, взбурлив его свежей струей, а откуда взять струю, автору видней. Тут нельзя давать рекомендаций. Но дело в том, что «Синдром Никифорова» не просто роман о писателе, а роман о писателе, пишущем роман о писателе, и даже более того — роман о писателе, пишущем роман о писателе, который тоже пишет роман о писателе, который в свою очередь что-то пишет о писателе, сочиняющем что-то вроде романа или эссе о полузабытом авторе начала девятнадцатого века, который составляет биографию одного литератора, близкого к масонам и кружку Новикова. Вся цепь или, лучше сказать, система зеркал, протянувшаяся через почти два столетия, была плодом фантазии одного человека — Никифорова, больного странной болезнью, проявление которой автор называл «синдром Никифорова». Грубо говоря, это был страх перед жизнью, точнее, перед реальностью жизни.

Читавшие рукопись, не только рецензенты, но кое-кто из друзей — Володя Гусельщиков, Лев Сергеевич Бруггер, доктор наук, Антипов подружился с ним недавно, — полагали, что Никифоров есть alter ego автора, что было ошибкой, хотя, конечно, много антиповского туда влилось, но лишь от того секундного, повседневного, что можно назвать сором жизни. Разумеется, из сора тоже порою воспламеняется нечто: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...» Но пламень Антипова был иного порядка. Тут был холодноватый анализ, было исследование: отчего произошло с его героем то страшное двенадцать лет назад? Человек, о котором думал Антипов, сочиняя Никифорова, был Борис Георгиевич Киянов, некогда поразивший: надо писать о страданиях. Но почему-то не всех это поражало и не всем было интересно про это читать. Таня считала, что «Синдром» скучен и обречен на неудачу. Антипов однажды слышал, она говорила Маринке: «Отец засел со своей бодягой надолго, так что в Ялту мы в этом году не поедем».

Может быть, и следовало поставить на «Синдроме» крест и вернуться к тому, что двигалось самоходом, хотя не всегда гладко и без потерь, но к чему привыкли издательства, читатели и что обеспечивало безбедную жизнь: к повестям о путешественниках, вольнодумцах, художниках, чудаках прошлого века. Книги Антипова не пробивались в «толстые» журналы, но регулярно печатались в детских и молодежных издательствах. Там за ним закрепилось (за последние лет шесть) прочное место по разделу «Из прошлого русской культуры». Но писание «Синдрома» было совсем другое занятие. Тут он как бы оперировал на себе. Временами бывало больно. Он отбрасывал рукопись на недели, потому что терял веру и не видел смысла. И надо было срочно что-нибудь написать, чтобы заработать деньги. Роман выходил запутаннейшей и громоздкой постройкой, почти лабиринтом, в котором читатель мог заблудиться. Как куклы в матрешке, так писатели в этом романе сидели один в чреве другого, постепенно уменьшаясь, и последний, масон Рындич, был столь крохотен и невиден, что невнимательный читатель мог просто не заметить его присутствия. Несколько больше места занимал сочинитель Рындича Клембовский, сумасброд сороковых годов, терзавшийся тайною мукой оттого, что наговорил о своих друзьях чего не следовало, но этого ни одна душа

на земле, кроме господина, который был убит в Польше, не знала! Он мог быть абсолютно спокоен относительно своего доброго имени, бедный Клембовский, но муки не оставляли его, и единственным путем их преодоления он считал проникновение в их нутро с помощью гусиного пера и фантазии, что было бы легко объяснимо нынче посредством психоанализа, а в те времена именовалось простодушно муками совести, и потому обратился к судьбе одного из недопеченных российских вольтерьянцев, который буйствовал робко, но пылко раскаивался. А о Клембовском писал Иван Герасимович Сыромятников, сын дьякона кладбищенской церкви, сотрудник «Современника», самородный талант, сгубивший себя пристрастием к чарке; о нем Никифоров знал немало, посвятил целую главу скитаниям Сыромятникова по московским трущобам и нищим мещанским домам в поисках дочерей Клембовского — это были, вероятно, лучшие страницы романа Всеволодова о Сыромятнике, которые Всеволодов написал в 1910 году в архангельской ссылке накануне бегства в Англию. Подробнее всего в романе «Синдром Никифорова» — не считая, конечно, жития самого Никифорова в тридцатые, сороковые и пятидесятые годы — говорилось о судьбе Всеволодова, мечтателя, бомбиста, поэта, матроса на торговом судне, он вернулся на родину летом семнадцатого и через два года был убит при неясных обстоятельствах на Урале. Никифоров познакомился с ним в Ярославле в доме своей родственницы незадолго перед белым восстанием восемнадцатого года. Близким человеком к Перхурову, вождю восставших, был брат Всеволодова, и перед Никифоровым пронеслась стремительная кровавая драма тех лет: Всеволодов ждал смерти в подвале Казанского монастыря, убить не успели, мятеж был подавлен, и в том же подвале в конце июля был расстрелян брат Всеволодова. Никифоров писал роман много лет с перерывами — менялись взгляды, исчезали имена, все было взрывоопасно. Временами Никифоров отрывался от романа и сочинял одноактные пьесы или переводил с французского. Он перевел три малоизвестных романа Жюль Верна. И вот эта жизнь, трепетавшая между детскими фантазиями Жюль Верна и отчаянными поползновениями заглянуть в бездну лет, жизнь обыкновенная, как снег, скучная, как вид из окна кухни на двор, жизнь, где все главное было невидимо и тикало где-то глубоко внутри наподобие часового ме-

ханизма с динамитом, стала содержанием «Синдрома». Антипов разгадывал тайну смерти Никифорова. Никифоров пытался разгадать обстоятельства смерти Всеволодова. А Всеволодова мучила безвестная кончина Сыромятникова в полной нищете, в одной из московских ночлежек, и так далее вплоть до едва проступающего сквозь туман Рындича, который кончил свои дни в покоех для безумных.

У Никифорова была жена Георгина Васильевна, или Гога, необыкновенно красивая, обаятельная и глупая женщина, которая говорила про мужа: «Коля — человек большого мужества. Но изображает трусишку. И я очень рада». Многие Никифоров делал ради Гоги. Детей не было. Были племянники — ее и его. К первым относились внимательно, почти с любовью, со вторыми были небрежны. Гога считала, что в них есть черты вырождения. Гога и в старости, когда стала толстой, бесформенной, с обрюзгшим лицом, сохранила поразительно женственный наивный взор голубых глаз и молодую улыбку, что всегда было главной силой ее обольстительности. Некоторые полагали, что Гога погубила Никифорова как писателя. Другие считали, что, наоборот, Гога спасла его в трудные годы. И тот и другой взгляды имели свои резоны, но вот уж что несомненно: после смерти Никифорова она сделала для него (для него ли?) фантастически много. Она поистине стала великой вдовой. Будучи секретарем комиссии по литнаследству, Гога сумела за девять лет после смерти Никифорова (он умер в шестидесятом от сердечного приступа) издать восемь его книг. Такого ренессанса не было и при жизни. Большой однотомник она выпустила даже в «Желдортрансиздате», протаранив министерство давнишней повестью Никифорова о железнодорожниках, изданной еще в тридцать втором году. Антипов писал о Гоге с удовольствием. Она создавала особую ауру, в которой жил и дышал Никифоров.

В шесть вечера тридцать первого декабря, запершись в кабинете и зажегши настольную лампу на гнущейся ножке, поставив и пригнув ее таким образом, чтобы черный абажур был слева и лампа ярко освещала бумагу, Антипов писал: «Подойдя в скрипящих сапогах к окну и поглядев на двор, где разгружалась телега с дровами («Отчего его сапоги так скрипят? Ведь нестерпимо! Ведь надо нарочно стараться, чтоб так скрипели, надо об этом заботиться, тоже часть механизма», — ду-

мал Никифоров), человек со скошенным затылком спросил: «Почему вы выбрали именно эту фигуру?» Никифоров сказал, что фигура вымышленная. Человек возразил: у него другое мнение. Никифоров стал объяснять, человек слушал без интереса, в мучнистых веках, на которых висели какие-то белые присоски, прятались глаза, не видно было, куда смотрят и что видят. Человек зевал, худой ладошкой пошлепывал по губам, и вдруг голос напрягся: «А я уверен, что изображаете Всеволодова!» — «Почему, откуда?» — «От вашей супруги. Она показала чистосердечно. Всеволодов, литератор, эсер, перебежчик, был арестован органами ЧК и расстрелян в девятнадцатом году». Он ответил: «Ну и что? К роману не имеет отношения. В романе выведен литератор Валдаев. И расстреляли его не чекисты, а колчаковцы». Человек со скошенным затылком сказал: «Вы хотите нас убедить...»

Антипов положил ручку, перечитал, задумался.

Было уже около семи. В соседней комнате Маринка завела магнитофон, хоть и негромко, слов не разобрать, но мелодия бубнит и раздражает. Однако нахальство! Ведь предупреждалось, что до восьми он работает. Постучал в стену. Магнитофон замолк. Но раздался громкий стук, ударили чем-то об пол, наверное, стулом. А она сказала спокойно и без всякого раздражения: «В ЦДРИ». Слова не мялись, не слушались, и все шло куда-то не туда, возникало опаснейшее — унылость, монотон. Нет, не годится. Это плохо. Надо с другого конца. Он перечеркнул страницу жирным черным карандашом, который всегда использовал для палаческой работы — зачеркивать, вычеркивать, — и на новом месте взялся за то же с другого конца. Это было о Гоге. О невинных предательствах, которые, возможно, вовсе не были предательствами, ибо, в конечном счете, Гога выручала Никифорова — сам Никифоров не догадывался, но Антипов-то знал, — и не раз, отводила от него беду. Человек со скошенным затылком стал впоследствии близким другом Гоги, а его жена имела с Гогой общую педикюршу. Вот это хорошо. Вот это уже похоже на правду. Никто из нас не знает, чья рука — не обязательно рука, иной подставит спину, другой грудь, третий протянет ногу — отводит от нас беду. Никифоров не знал, какой магической защитой была для него голубоглазая, столь долго не вянущая, простодушно веселая Георгина Васильевна — человек со скошенным

затылком называл ее в шутку Герцеговиной Васильевной, — но, не зная, Никифоров чувал, как собака, ее тайную силу и свою зависимость от этой силы. Он полагал, впрочем, что мощь Гоги заключалась в каком-то природном магнетизме, помогавшем справляться с жизнью, была мощью земли, женщины, очага, всего, что так ценил и ставил превыше прочего Розанов, которого Никифоров потаенно и сладко почитывал. «И когда он сказал: «Ну, хорошо, может быть, увидимся», — она промолчала. Это кое-что значило». На новом листе бумаги Антипов стал писать: «Никифоров сел к столу и начал писать: «Смерть реки. Маленькая речушка испокон веку текла в этих глинах, но город надвинулся, речушка стала препятствием, все более чахла, мельчала, и вот наконец ее убрали в трубу, сверху насыпали земли и разбили сквер. Речушки нет. Она исчезла навсегда. Из окна моего дома, с шестого этажа, виден сквер, разросшиеся липы, фонтан, скамейки, пенсионеры на скамейках, никто не помнит речушки, которая тут сочилась когда-то в зарослях ивняка, в камышах, в стрекозах, в головастиках и потом долго продолжала сочиться в мазуте, в глине и потом умерла. Но подлинно ли наступила смерть? Ведь во мраке, в трубе, еще булькает и сочится вода, и, значит, смерти нет». Так размышляла старуха Всеволодова, пережившая мужа на пятьдесят лет, глядя из окна вниз и стараясь разглядеть за кромкою сквера троллейбусную остановку, где должна была появиться, выпрыгнув из троллейбуса, внучка... «Далее набегала какая-то мусть про внучку, но Никифоров усилнем воли заставил себя остановиться. Он не мог сосредоточиться, ибо Гога ушла в пять, сказала, что отвезет шубу в ломбард, зайдет в магазин купить чаю и тут же вернется, но было уже девять, а Гога не возвращалась...»

Тут Антипову пришла новая мысль: отношение к жене должно быть сложнее простого психофизического погружения в то, что Розанов называл частной жизнью и что, по его мнению, было даже общее религии. Нет, он все же догадывался о том, что происходит, пускай смутно, пускай отталкиваясь от своей же догадки. Он догадывался, что не надо догадываться, и, догадываясь, как бы в то же время не догадывался ни о чем. Частная жизнь Розанова была бы, он чувал, спасением, но ветер извне стучал в окна, стены содрогались, скрипела кровля. И сам Розанов под конец жизни был

сокрушен ураганом — частная жизнь не защитила. Поэтому — что же? Смотреть реальностям в глаза? Но в том и заключался синдром Никифорова — в страхе увидеть...

В одиннадцать заехали Мирон с Люсьеной на «Москвиче», забрали Антипова и Таню и покатали по снежной пустоватой Москве. Таня и Люсьена разговаривали о туалетах, в том смысле, что не придают этой ерунде никакого значения. Таня взяла в разговоре тон вялого неудовольствия, означавший, что она с радостью осталась бы дома, но Антипов потянул, она подчинилась. «Все это, в конечном счете, суета», — говорила Таня. Люсьена была того же мнения, но высказывалась возбужденно, с хохотом: «Ты увидишь, какие там будут чучела! Я всю эту кодлу знаю!» Мирон спросил: зачем дамы отправились в путь, если у них такое настроение? Люсьена ответила, потому что сидеть вдвоем дома — еще худшая перспектива, и захохотала. Затем Мирон сообщил, что все в порядке: Ройтек и Поплавков перешли на другой стол. Все свободно вздохнут. Антипов молчал, волнуясь. Его мысли бродили между женою Никифорова и Ириной, которую он увидит через сорок минут.

И он увидел ее. Поздоровались едва заметными кивками. Была красивая. Сразу понял, что потрясающая красавица, красивее всех в этом зале, набитом людьми. Черное платье с каким-то мелким серебристым украшением на плече, на груди и смуглая, чисто смуглая желтизна лица, открытой шеи. Рядом с ней сидел такой-то. Антипов видел его впервые и не успел разглядеть. Стол, за которым они сидели, был через стол от антиповского, и Антипов сел к ним спиной. Он не видел Ирины полтора часа, до тех пор, пока не стали танцевать. Встав из-за стола вместе со своей соседкой Региной, женой Кубарского, которую он пригласил на танго, Антипов стал двигаться в направлении стола Ирины — был уже навеселе, хотел быть дерзким, поглядеть ей прямо в лицо и все сказать глазами, — но почему-то все повскакали с мест одновременно, в середине зала сгустилась толпа, люди не столько танцевали, сколько толкались, качались под музыку и разговаривали. Антипов стал пробиваться в нужную сторону, кого-то оттирал плечом, решительно влек за собою даму, а она, смеясь, негодовала: «Саша, куда вы меня тащите?» Он бормотал «Я должен быть в гуще... В коллективе...» И вот приблизился, оказались перед ее столом, она взглянула на Ан-

типова спокойно и так же спокойно отвела глаза. Она разговаривала с толстой дамой в седых буклях. Тут сидели солидные люди. Почти никто не ушел танцевать. Тут был и Ройтек с Поплавковым. Поплавков подмигнул Антипову и Регине и чуть заметно развел руками: «Что тут, братцы, поделаешь?» — а Ройтек о чем-то, перегнувшись через стол, оживленно рассказывал такому-то. Чем более старел Ройтек, тем более значительной и маститой становилась его ежиная мордочка в пышных сединах. Ирина опять взглянула на Антипова, взгляд задержался чуть дольше, но был столь же невозмутимо спокоен. В ее лице и во взгляде было самодовольство. Во всех, кто сидел за этим столом, было самодовольство. Оно реяло над ними, как облако, и бросало на них теплый розовый свет. Антипов все качался перед столом и то смотрел на Ирину, то разглядывал такого-то, когда Ирина отворачивалась; у такого-то было широкое бледное, в красноватых пятнах лицо, небольшой рот, очки в золоченой оправе. Вполне интеллигентное лицо. Рот несколько мал, пожалуй, комически мал, зато лоб велик, значителен. Лоб благороднейшего и порядочного человека. На лбу тоже было написано самодовольство. Ройтек заметил Антипова, сделал секундную гримаску, означавшую улыбку, приветственно взмахнул рукой, но вновь тотчас всем корпусом, всем вниманием, всем своим оживлением кинулся через стол — к такому-то.

Вернулись к себе, Антипов был удручен — ничего не успел сказать глазами. А так много надо было сказать! Спросить: неужели не тошнит от самодовольства? Ведь она другая. Он знает ее лучше, чем кто-либо. За столом говорили вполголоса: «А Ройтек, конечно, присоединился к такому-то?». — «Где вы видите такого-то?» — «Да вон сидит!» — «Это такой-то?» — «Ну, конечно». — «Тот самый? Я представляла его иначе». — «В нем что-то осиновое». — «Нет, он порядочный человек...» Антипов быстро напился. Самшитов залил бархатный голубой костюм вином, женщины, смеясь, обсыпали Самшитова солью. Мирон выиграл по лотерее бронзовый канделябр и говорил, что, кстати, можно идти бить Ройтека. Антипов танцевал с Таней. Она, как всегда, туго поворачивалась, неохотно подчиняясь его шагу. Говорила, что неплохо бы уйти пораньше, пока есть такси. Он возражал: такси ходят всю ночь. Вдруг в общей качке столкнулся с Ириной лицом к лицу, она танцевала с таким-то, они поглядели друг на друга мель-

ком, как посторонние, и разлетелись. Антипов сказал Тане: «Лучше бы остались дома, ты права. Веселье жутковатое». Потом танцевал с Люсьеной, она висла на нем, обнимала за шею, напевала, заглядывала лукаво в глаза и неожиданно, прижав губы к его уху, прошептала: «А мы знаем, с кем у тебя роман!» Он замер. Она продолжала напевать и нежно, лукаво улыбаться, глядя ему в глаза. «Какой роман?» — «Знаем, какой». Он сказал с пьяной удалью: «Ну и знайте на здоровье!» Она захихикала и, поцеловав в ухо, шепнула: «Не бойся, дурачок, никому не скажу. Она за столом с Юрой Поплавковым? Она миленькая. Я ее подругу знаю. Со студии документальных фильмов». Антипов бормотал: «Вздор это все!» — «Не вздор, а правда. А чем она лучше меня? Не понимаю!» Хотел было сказать: «Да всем лучше», но промолчал. Он пал духом и протрезвел. Если бы он угадал тепло и тоску Ирины — то, что томило самого, когда видел ее, — было бы легче принять неприятную новость, о которой Ирина предупреждала, говорила, что непременно случится. Но это бесчувственное лицо, скользкий взгляд...

Люсьена продолжала шутить: «Саня, ты уже старый. Тебе нельзя страдать. Вредно для сердца». Она хихикала. Музыка гремела. Люди вокруг бесновались, хохотали, толкались, топали, свет гас, бесновались в темноте, бежали куда-то, шарахались толпой, застревали в дверях, кричали «Займите нам места!» — возле стола Ирины клубилось, чернело, то отпрянывали, то придвигались, что-то упало со звоном, крикнули: «Хулиган!» Антипов продрался вперед, увидел: Мирон навис над сидящим с белым откинутым лицом Ройтеком и, что-то говоря, размахивал перед носом Ройтека пальцем. Люсьена с воплем бросилась к Мирону, Такой-то продолжал сидеть, сложив на груди руки, и отстранялся корпусом от стола, как бы прокладывая границу между собою и всем, что происходило за столом, маленький ротик был плотно, брезгливо сжат. Ирина смотрела на Антипова с испугом, и он испытал счастье от этого взгляда. Он схватил Мирона и поволок от стола прочь..

В четыре утра приехали домой. Антипов повалился на кровать, услышал то ли памятью, то ли во сне: «Позвольте вас поблагодарить канделябром!» И так же смутно — то ли сквозь сон, то ли откуда-то из «Синдрома» — пробрезжила мысль: бьют канделябрами из-за мелких причин, а говорят о крупном. Коли зарубил

сценарий детского фильма для студии Горького, так уж сразу канделябром? Через день вечером звонок: «Эты ты?» Сердце заколотилось. «Я!» — «Зачем ты пришел на Новый год в ЦДРИ? Зачем меня мучаешь?» И голос жесткий вдруг задрожал, растаял жалко, невыносимо. У него тоже голос пресекался: «Да ведь я не могу!» — «И я...» — «А когда?» — «Не знаю». — «Завтра, может быть?» — «Хорошо...»

И опять: со снегом, пургой, чужими домами, холодом в автомобиле, глотками коньяка из фляжки, клятвами, неизвестностью. Опять слышал: «Люблю тебя больше дочери, больше всех, всех». И: «Без тебя не могу жить». А как же такой-то? К нему чувство благодарности за все, что он сделал, и глубокая жалость. Ведь он болен. Этого не знает никто. Антипов не решался спрашивать, чем болен такой-то. Все было хрупко в первые дни после примирения, которое обозначилось счастливейшей ночью, были вместе с вечера до утра: она уехала будто бы в Ленинград на съемки. Но все было хрупко. Было хрупкое безумие — боялись касаться того и этого. Например, переезда в кооперативный дом и благородства такого-то. Когда она, забывшись, завела рассказ о великодушии такого-то, которому Мирон позвонил на другой день после Нового года, извинялся за хамство и такой-то разговаривал с ним очень терпеливо, дружелюбно, по-отечески и простил его, Антипов не выдержал: «Еще одна такая притча, и я, ей-богу, от тебя сбегу». Она отшатнулась. «Не пугай меня! Я не вынесу. Правду говорю, не вынесу». Но прошло немного времени, может быть, полчаса, и она произнесла тихо: «А такой-то никогда не повышал на меня голос. За все четырнадцать лет». Он сказал: «Потому, наверно, что ты не рассказывала ему о благородстве других мужчин. С которыми ты спала». Она ответила: «Я не спала с другими мужчинами до тебя». И эти бессмысленные слова проникали в него, как жар, как болезнь, и он им верил. Как можно не верить болезни, когда все нутро и кожа полыхают в огне?

Однажды сказал после такой же бессмысленной фразы: «Тебя послушать, ты и с мужем не спишь никогда и не знаешь, как это делается. Спишь ты с ним?» Она ответила не сразу: «Да в том-то и дело, можешь мне не верить, но почти нет...» Он смеялся, махал на нее рукою, свистел насмешливо и верил. «Почти нет», — звучало убедительно. Чего ей стоило сказать

«нет»? Он поверил бы. Но слово «почти» было когнитивное, оно терзало его, хотя было глупо терзаться, раньше он этой пытки не знал, раньше его не волновало то, что он делит женщину с кем-то, муж был такой же неотделимой принадлежностью женщины, неудобной, но терпимой, как, скажем, ее жилище в доме, где жили антиповские знакомые, и он всегда немного трусил, провожая ее; как то, что ей часто приходилось уезжать в командировки и они расставались. Со всем этим он мирился, как с мужем, но так было прежде. А с Нового года что-то переменялось: он ослабел и нервничал больше, чем нужно...

Все это куда-то двигалось, только неясно, куда. Что могло быть дальше? Он не представлял себе. А она знала. «Я же говорила: будет скандал, люди нас разведут, но я буду любить тебя до конца дней».

В марте она уехала в Ленинград надолго — снимать видовой или документальный, шут его знает какой, фильм о Пушкине. Очень горела этим замыслом и радовалась, что студия поручила делать фильм ей, а не другим, которые тоже рвались к пушкинской теме и страшно интриговали, а она интриговать не умела. Особенно билась некая Сойкина, которая сняла когда-то фильм о Некрасове и возомнила, что только она может делать фильмы о писателях. Сойкина интриговала отчаянно, ходила в инстанции, таскала в портфеле свои брошюры — она кандидат наук — и всем говорила, что знаменитый Мармурштейн, который знает Пушкина назубок, согласится работать консультантом только с нею и ни с кем другим. Был еще один режиссер, старичок, очень пробивной, который претендовал на Пушкина по двум причинам: во-первых, он давно ничего не ставил, поскольку был после инфаркта, и, во-вторых, у него дома собрана целая Пушкиниана и даже есть собственный экслибрис с изображением головы Пушкина. Не оставалось ничего иного, как прибегнуть к последнему средству, чего она всегда избегала, — обратиться к такому-то. Тот позвонил, все устроилось. Борьба происходила прошлой весной, потом она писала сценарий, его изучали, утверждали, она снимала Суздаль, летала в Ленинград. И вот умчалась на месяц, оставив адрес гостиницы и номер телефона. С нею уехали директор группы, оператор и консультант, не Мармурштейн, а эссеист Евстропов, доктор наук, статьи которого были повсюду нарасхват. Она очень гордилась тем, что удалось заполучить Евстропова.

Все, что должно было двигаться куда-то, оно и двигалось, по-видимому. Медленно произрастали, раскидываясь вдаль и вширь, ветви романа про Никифорова; медленно громоздились этажи кооперативного дома на окраине, медленно выросли и уходили в неведомую страну дети; медленно отъезжали друг от друга две половины треснувшего плота, на одной половине стоял Антипов, на другой Таня, и никакого ужаса не было на их лицах, они разговаривали, шутили, принимали лекарства, раздражались, ходили в кино, и бревенчатые половины тихо расплывались своими путями, ибо нельзя ничего остановить, все плывет, движется, отдаляется от чего-то и приближается к чему-то. И так же таинственно двигалось то, что возникло между ним и женщиной, жившей теперь в Ленинграде, которой он звонил чуть ли не каждый вечер, иногда ночью, в гостиницу, надеясь по голосу и словам угадать: куда все это плывет? неподвижной воды нет, а в той, которая кажется стоячей, тоже происходит движение — она испаряется или гниет.

Первые вечера заставлял ее в гостинице и выслушивал возбужденные рассказы о том, что она наметила, придумала, открыла, узнала, иногда выслушивал стихи, отрывки из писем, воспоминаний того и сего, свою версию роли Гончаровой, Гончарову называла Натали, как гимнастку Кучинскую, жаловалась на пушкинистов, которые с версией не соглашались, отстаивая честь мундира, она спрашивала его советов, интересовалась здоровьем и тем, как идет «Синдром», потом перестал заставлять вечерами, начались ее разъезды, поздние возвращения, встречи с пушкинистами, а однажды не застал ночью. В марте он жил в пансионате под Москвой и мог звонить ночами свободно. Но не захотел звонить больше. Он выждал девять дней, дальше выдержки не хватило.

Она кричала по телефону в неистовом волнении, перемежая слова любви, ругани и упреков: «Куда ты скрылся? Ты свинья! Я хотела мчаться в Москву, хотя это невозможно! Я думала, ты в больнице! Видела ужасный сон! Нельзя так издеваться!» Он сказал, что звонил почью, не застал ее, и желание звонить пропало. Что значит: пропало? Пропало, и все. Голос был слабый, дрожащий: «Ты свинья... Садист... Не хочу иметь с тобой дело... У нас неприятности, а ты издеваешься...» — «Какие неприятности?» — «Неважно. Тебе это неинтересно». Потом выяснилось: что-то снимать не раз-

решалось и вот добивались разрешения. В ту субботу поехали на два дня в Комарово. Все было понятно, объяснимо, он мог успокоиться, были поцелуи, слова «ску-чаю», «безумно», «не могу дождаться», но что-то куда-то сдвинулось и плыло.

Он позвонил через сутки, и опять никто не ответил. Было два часа ночи.

Дом стоял в снегу, в соснах, ночи были холодные, накрывался двумя одеялами, а днем грело солнце, обледенелый снег на дворике перед домом растапливался, сырели лужи, по ним носились, радуясь теплу, бездомные, холуйского вида собачонки, которых подкармливали на кухне. Старухи бросали крошки воробьям. Пожилые люди в долгополых шубах гуляли по аллеям, неслышно и как бы на ухо что-то друг другу рассказывали. Но все говорили примерно одно и то же. Из окна Антипов увидел, как по аллее идет стремительно, с портфелем в руке, в своем куце бушлатике, в черной кроличьей шапке Степан, и обрадованно встал из-за стола: не видел сына несколько дней, да и работа не шла на ум. Ну что? Все хорошо. Как мама? Прекрасно, вот прислала белье и книги, которые ты просил. А Маринка велела позвонить в театр кукол и попросить два билета на воскресенье. Ей для учительницы. Ладно. Попробую. Твой-то как дела? Мои...

Они вышли во двор и отправились по размокшей дороге к лесу. Степан был Антипову ближе всех. В нем было понимание. Причем было всегда, даже в пору, когда он был младенцем. Было в глазах, поражавших необычным для младенца внимательным и печальным взглядом, как будто, едва родившись в пятидесятом, сразу начал отца жалеть. «Папа, — сказал Степан, — я не знаю, как мне быть с Настей». — «Оставь ее, — сказал Антипов. — Она для тебя не годится». Парень огромного роста смотрел на отца с тоской. «Папа, я знаю... Но я не могу оставить!» — «А чего ты хочешь?» — «Я хочу жениться. Только не говори маме пока. А Настя говорит, что рано, что невозможно, я человек безответственный, и так далее». — «Говорит правильно». — «Папа, глупости! Неужели не понимаешь, что это отговорка?» Он помолчал, раздумывая. Все это напоминало вид пруда в перевернутый бинокль: те же самые деревья, тот же домик, купальня, но в уменьшенном виде. Он спросил: «А она чего хочет?» — «Продолжать все так же. Просто так». — «Ну и хорошо! — сказал он с фаль-

шивой бодростью. — Лучше не придумаешь! Она умная женщина». Сын шел с поникшей головой и уныло молчал, ему было плохо. Антипов заговорил о другом. Через час, когда возвращались из леса к обеду, столкнулись на въезде во двор с директорской синей «Волгой», Котов велел шоферу остановиться и вылез из машины, чтобы позвать старому приятелю руку.

Антипов жил в пансионате давно, но Котова встречал редко — тот чуть не каждый день мотался в Москву, весь был опутан какими-то делами, заботами, обязательствами. Ну, как тебе тут живется? Жалоб нет? Персонал не грубит? По кухне нет замечаний? Все было полувшутку, полувсерьез, остановка с рукопожатием не означала ровно ничего — этот плот тоже развалился, бревна давно несло течением в разные стороны. У Котова на уме были капиталовложения, ассигнования, цемент, стекловата, но иногда ему хотелось дать понять, что он вовсе не то, что о нем думают. Вот и теперь он остановился лишь затем, чтобы сказать, что работает над сценарием. Для киевской студии. Но работать абсолютно некогда — урывает два, три часа по ночам.

Антипов не верил. Но это не имело значения. Встреча с опухшим багрянощеким старым барбосом всегда была чем-то мила. Памятью о невозвратном. И он спросил то, что хотел от него услышать барбос: о чем сценарий? «О Гоголе, — был простой ответ. — Точнее, о юности Гоголя. Мне эта тема близка. Ведь я по матери хохол». И много ли сделано? Примерно треть. Сценарий будет трехсерийный. Но ужас в том, что работать некогда. Впору хоть бросать этот райский уголок, будь он неладен! Да на кого бросить? Вы же первые взвоните...

Махнул рукой, втиснулся в машину и покатил в сторону гаража. Антипов смотрел ему вслед с улыбкой. «Ни одному слову верить не рекомендую. Не будет ни сценария, ни фильма». Степан сказал: «Вот разница между нашими поколениями. Ты считаешь, что не будет, а я посмотрел на товарища и твердо верю: фильм будет». Он захохотал глуповато, по-мальчишески, забыв о своих невзгодах. А ведь он умница. И так ничтожно попался! За обедом Антипов начал подкоп с другого конца — со стороны Ройтека. Сказал, что ройтековская среда настораживает, это люди другого кроя, трена, кре-на, черта в ступе, словом, чего-то другого. «И самого Романа Викторовича ты подвергаешь сомнению?» —

спросил Степан. «Именно». — Ну да, я забыл, вы ужасно колбасились с Новым годом, не хотели с ним сидеть, Настя над отцом потешалась: ты, говорит, как вий, тебя все боятся! А мне кажется, он человек нескверный. Он добродушный, компанейский, любит водочку, анекдоты. Словом, обыкновенный папаша средней руки, чей поезд ушел». Антипов поглядел на сына. «Почему ты думаешь, что поезд ушел?» — «Ну, ушел, конечно. Это ясно. Недаром же ему хамили под Новый год. Но имей в виду, Настя знает его навывлет! Особого почтения там нету. А он любит ее совершенно по-идиотски». В словах Степана Антипову чудилась какая-то мина, но не мог точно определить, где он ее заложил, и оттого молчал, сурово сдвигая брови. «Да! Между прочим! — сказал Степан. — А про тебя он всегда спрашивает и говорит только хорошее. Даже очень хорошее. Говорит, что ты талант, что ты очень искренний, что он знает тебя по студенческим временам. Печатал твой первый рассказ в газете». — «Ну, печатал, — сказал Антипов. — И что из того?» — «Папа, а как назывался тот рассказ?» — «Не помню. Это был, собственно, не рассказ, а фельетон на две колонки. В отделе юмора». — «Правда? Вспомни, пожалуйста, как назывался. Забавно же, первый рассказ!» Антипов стал вспоминать и вспомнил. «Кажется, вот как: «Колышкин — счастливый неудачник».

Степан воскликнул: «Колышкин — счастливый неудачник»? Здорово, папа! Шикарное название! — Вдруг прыснул смехом и, согнувшись пополам, стал хохотать, как безумный. — Колышкин? Счастливый неудачник? Это колоссально, папа!»

В потемках провожал Степана на станцию. К вечеру похолодало, дорога заледенела, шли медленно. Степан спросил: а можно ли каким-то способом узнать, любит ли женщина по-настоящему? Или это театр? Спрашивать ему, видно, было неловко, он долго собирался с духом и вот дождался темноты, спросил. Антипов сказал, что способов нет. Женщина сама не знает. Должно пройти время, может быть, жизнь, тогда выяснится. Сын сказал с неподдельной печалью: «Но ведь это катастрофа! Как можно жить?»

Наверно, у него вертелось на языке: «Как вы все живете?» Он ухватился за последнее, что обещало надежду: «А наша мать? Она... — голос дрогнул, — по-настоящему тебя любит?»

Отвечать было необходимо. Антипов сказал: «Наверно. Но ведь прошла долгая жизнь. В нее уместилось две жизни: твоя и Маринина».

Ночью Антипов понял, что было частью «синдрома Никифорова»: страх потерять Гогу. Это могло случиться по воле рока, тут Никифоров бессилён, ни предвидеть, ни защитить, но — молния могла ударить по воле самой Гоги, ибо неподвластно пониманию, *н а с т о я щ е е* или *н е т* соединяет людей, вдруг раскалываются небеса и наступает гибель. Человек расщепляет атом, исследует мир до мельчайших крупиц, близок к тому, чтобы силою своего знания этот мир уничтожить, но трепещет беспомощно перед загадкой: *н а с т о я щ е е* или *н е т*? На другой день, позавтракав рано, Антипов тотчас сел за стол. Он работал над главой о сорок пятом годе, декабре, когда в Козихинском переулке возник первый муж Гоги, нелепый Владимир Леонтьевич Саенко, с которым Гога рассталась двадцать лет назад. Саенко был красный командир, он вытащил гимназистку Гогу из развалин купеческого дома города Николаева, привез сначала в Россошь, потом в Москву, работал экономистом Центрсоюза, мучался красотю Гоги и жаждал узнать правду: *н а с т о я щ е е* или *н е т*? Запутавшись в диалектике сложных Гогиных чувств, дойдя до отчаяния, он сочинил «Десять пунктов семейной жизни» и представил их Гоге в виде меморандума. Это было в двадцать шестом, а в двадцать седьмом «Десять пунктов» стали предметом обсуждения во время чистки и его исключили как чуждый и разложившийся элемент. И он сгинул куда-то, то ли удрал в свою Россошь, то ли уехал искать счастья на Дальнем Востоке, и, когда Никифоров нашел голубоглазую Гогу, от Саенко не осталось ничего, кроме скудных анекдотических воспоминаний и пожелтевших листков меморандума, которые Гога иногда читала гостям, чтобы позабавить. И вот однажды он постучался в дверь и вошел — миф воплощенный, предмет привычных домашних шуток, не человек даже, а некий знак, некий призрак милого исчезнувшего времени, — и обратился с просьбой. Все было нелепо: и появление, и просьба. Если уж появился, то не проси. Саенко был долговяз, сутул, лет пятидесяти пяти, с худым зеленовато-темным лицом, говорившим о нездоровье, на котором резкими морщинами было вычеканено застарелое недомольство или обида, но в глазах синела детская простоватость. И это было то, что странно соединяло его с

Гогой; Никифоров сразу заметил, и его это покорило. Саенко попал в сорок первом в окружение, оказался в плену, бежал, воевал вместе с партизанами во Франции, еще раз угодил в немецкий лагерь, опять бежал и воевал и теперь хотел устроиться куда-нибудь экономистом или бухгалтером, но не удавалось. Его жена, еврейка, и дети погибли в Белоруссии. Он приехал в Москву, мечтая как-то поправить пошатнувшиеся дела. Он так и сказал: пошатнувшиеся дела. Старые знакомые, на которых он случайно наткнулся, сказали, что у Георгины есть связи, и вот...

Антипов перечитал внимательно написанное вчера — было необходимо, как глубокая втяжка воздуха перед тем, как нырнуть, — и стал писать.

«Никифоров маялся без сна и, чтобы не разбудить Гогу, которая спала чутко, в три ночи тихо встал, ушел в угловую комнату, за шкаф, и сел за стол. Работать он, разумеется, не мог, но мог курить и думать. Приезд странного человека взбаламутил что-то темноватое и путаное, какие-то водоросли на дне души. Может быть, эти донные водоросли, присутствовавшие в потемках от века, были особой формацией страха, загадочным полипом, который, впрочем, почти не беспокоил Никифорова — с ним можно было жить. Но иногда вдруг глубоководная ткань приходила в движение и все существо Никифорова колебалось и ныло, охваченное, как болезнью, страхом потерять Гогу. О каких связях Гогин говорил Саенко? И кто эти старые знакомые, которые навели на Гогу? Почему-то не успел спросить, он ушел, Гога велела позвонить дня через два. Никифоров знал магическую силу п и с а н и я, которое притягивает к себе жизнь. То, о чем писалось, что было полнейшим вымыслом — поднялось из твоего мрака, из твоих ила и водорослей, — внезапно воплощается в яви и поражает тебя, иногда смертельно. Роман о Всеволодове — Валдаеве остановился на странице, где героя допрашивал офицер колчаковской контрразведки в девятнадцатом году, в Невьянске, в конторе чугуноплавильного завода, здесь решалась судьба. Недописанный роман о Сыромятникове лежал, запеленатый наподобие мумии, в сундуке в сарае пермского купца Гольдина. И возникла женщина, дочка Гольдина, которую Всеволодов когда-то боготворил, потом проклял, и от нее зависело: спасение или смерть. Она была тайно близка к колчаковскому контрразведчику. Никифоров проглядывал написанное, поправлял

механически то слово, то запятую и думал про жену и Саенко. Нить, сочетавшая их когда-то, не прервалась доньше, дотянулась призрачной паутиной, хотя Гога отрицает, женщины всегда отрицают, они уверяют, будто прошлое для них не существует, и искренне, хотя это неправда.

Никифоров рылся в ящиках стола, отыскал запыленный конверт с письмом и «Десятью пунктами» Саенко — давно забрал эту прелесть себе, надеясь воткнуть в какое-нибудь сочинение. Письмо было страниц на десять, напечатано на «Ундервуде», пылкое, глупое, чудесное, бессмысленное, с укорами, мольбой и орфографическими ошибками — Гога куда-то от него убежала, он хотел письмом ее вернуть... «... Ты меня обнадежила, Георгина, что приняла мое предупреждение насчет того, чтобы в Россоши оставить все николаевское прошлое... Ты обещала бросить легкомысленную крикливость, неуместный хохот в присутствии других людей... В первый день троицы пришел какой-то денди, спрашивал Георгину. Я ему из окна крикнул, что она уехала (куда, не сказал), и он ушел со склоненной головой... Да, вот еще что. Платья твои я сжег (кроме шелкового) и пояс тоже там, где мы сожгли нашу переписку. Туфли твои хотел было порезать ножом, да Тоня Герасимова вступилась, они ей очень понравились, взяла и носит теперь. Ждал, ждал, что ты напишешь, а ты все молчала, ну я и... все уничтожил. Думаю, если будет хорошая — все ей будет, и еще лучше. Не жалею, друг, всей этой мелочи, тряпок. Это сушая чепуха и ерунда. Раз оставила, значит, выбрось из головы, а я, конечно, когда на другой день посылал деньги (10 рублей), зачем-то полез в чемодан, уж не помню, зачем он мне понадобился, когда увидел тряпки, конечно, погорячился, уж так больно мне стало. И все сжег тут же вечером. Жег с полчаса, воняли тряпки, особенно кофта, а новое вишневое платье разом вспыхнуло и сгорело...»

И вот на отдельном листе:

«Совместная жизнь возможна лишь на следующих началах:

1) В отношении расположения меня к себе — все начинаешь ты. Должна сама начинать и ласку, и способы ликвидировать размолвки, и подходы в каждом отдельном случае, судя по моему настроению, ко мне, понимая меня в каждый отдельный момент.

2) Абсолютно полная на все 100 процентов любовь,

а не такая: на 40 процентов нравишься, а на 60 процентов нет — с тем, чтобы я чувствовал, понимал, видел, что я действительно для тебя в се, лучше всех (дороже всех), роднее всех, милее всех, чтобы я чувствовал, что за меня в огонь и в воду, друг самый надежный, нежный, понимающий, смягчающий мои тяжести жизни, дающий мне воодушевление и помощь в борьбе, чтобы я чувствовал, что я необходим как воздух, а не так: мне раньше лучше было с тобой, теперь хуже; или: что-то не хочется возвращаться из Харькова...

3) Быть хозяйственной, заботливой, любить уют и свою обстановку, ведать хозяйством, выработать в себе бережливость, всякие расходы (до копейки) делать из общего согласия, не рассчитывать на многое, на шик, на роскошь, на величие, на знатность, а самой понимать, что можно сейчас требовать и что подождать, а что и вовсе отменить, вычеркнуть из поля своего зрения (всякие там польта с крыльями и пр.).

4) Понять мои вкусы в одежде, в обращении с людьми, в походке, в поведении со мной наедине, в ласках (формы ласк и пр.), делая как можно больше приятно-го, всемерно, беспрекословно считаться с моими указаниями, сознавая, что как по линии теоретической, так и по линии практической превосходство на моей стороне...

Пятый и шестой пункты были вариантами того, что говорилось прежде: о «полном послушании» и «исполнительности во всех без исключения случаях». Тут сквозила затравленность человека, которого не ставят ни в грош. Ни о чем другом он не смеет мечтать. «Гога это умеет! — подумал Никифоров с чувством удовлетворения. — Если уж кого не уважает, тот человек не существует для нее вовсе. Бедный Саенко, представляю его страдания!»

«...7) Хотеть быть матерью, смотреть на меня как на отца своего будущего ребенка — самого дорогого человека на свете, и беречь себя как мать, дабы ребенок был хорошим, а не нервным от нервирования и нервозности матери, тогда и с моей стороны будет адекватная заботливость и нежное хладнокровие.

8) Ни одной мысли даже, не только слов об «уйду», «уеду», «потом снова, может быть, полюблю», «здесь скучно» и пр. Бросить всякую тактику из головы и из сердца, дать ему простор, и оно будет заполнено.

9) Желать меня в половом отношении как самого

милого, самого приятного мужчину, мужа и друга на всю жизнь, твердо осознав, что все, что было до сих пор, было ерунда, хуже того, что есть во мне, что мне надо отдать все, желать, как дыхания, меня. Всякие капризы и отговорки пора забыть.

10) Чувствовать себя женщиной, не мужичиться, выбросить мужественность и всякие там а ля фасон Моника Лербье, знать, что я своей силой мужчины доминирующе силен и заставлю тебя чувствовать силу, если будешь артачиться. Поэтому выбросить все это из себя сразу, немедленно».

Прочитав, вспомнил, как раньше смеялся, но теперь почему-то не было ни смеха, ни даже улыбки. Человек, изглоданный войной, смертными испытаниями, болью потерь, все еще во что-то наивно верил. Женщина поразила когда-то беспощадно и намертво, и он верил: она спасет. Каким образом?».

Тут Антипов оставил писание, почувствовав усталость. Он работал три с половиной часа, достаточно, дальше пойдет не впрок. Важно остановиться там, откуда проглядывается ход дальнейшего повествования, чтобы завтра двигаться, как по рельсам. Рельсы были видны: Никифоров не понимает, каким образом Гога может помочь Саенко. Надежды бывшего мужа ему кажутся комическими да попросту дурацкими. Какие связи у Гоги? Через педикюршу Капитолину с женой влиятельного лица? Тут опять возникает характерный для «синдрома Никифорова» феномен — боязнь увидеть. Он все ясно видит и абсолютно ничего не видит, тайный механизм страха застилает, как катарактой, глаза. Поэтому он искренне изумлен, когда через два дня Гога сообщает Саенко, что того ждет в Минске работа...

Эти страницы еще не были написаны, но Антипов видел их отчетливо, с отдельными фразами, с рисунком абзацев, со словечками, которые должны непременно быть — например, словечки «катаракта» или «помутнение хрусталика», — и казалось, что страницы готовы, их можно причислить к общему счету страниц. Он торопился все закончить к концу пребывания в пансионате. Было важно по многим причинам. И он закончил. Упрямая муха продолжала жужжать и трепыхаться крылышками, погибая в клею. Но в начале апреля стало ясно, что переделки не помогли.

Он не звонил в Ленинград две недели, и от нее не

было известий. Могла бы найти его в пансионате, он дал телефон. За две недели все переменялось: расплавился и потек снег, открылась земля, бушевали в черных ветвях птицы. Вместе с теплым воздухом вливалось дремотное успокоение, какое бывает лишь в весеннюю рань — среди дня хочется заснуть, какой-то хмель одолевает и ломит, исчезают волнения, ничего не страшно. И думается легко: ну и конец, ну и ладно. Ну, и так тому и быть. По телевизору показывали фильм про Суздаль; он спокойно узнавал храмы, мотель, торговые ряды. Вспоминал, как гуляли, о чем разговаривали. Увидел сквер, возле которого остановили машину, оттуда прогнал милиционер, грозил штрафом, а какая-то бабка, когда Антипов вылез из машины, бросилась к нему с радостным сообщением: «Сынок, в рядах чай цейлоонский дают!». Все это он видел и вспоминал как бы сквозь дрему.

Однажды после обеда, когда был в бильярдной, позвали к телефону, он оторвался от стола с неохотой, даже позволил ударить партнеру, сам внимательно прицелился и ударил, после этого пошел, не торопясь, в вестибюль, где был телефон. Не ждал ни важных звонков, ни радостных новостей. Вдруг внезапный, как выстрел, голос: «Ты когда будешь в Москве?» Не было ни «здравствуй», ни «куда ты пропал?». Он сказал: собирался быть завтра. Не собирался. Но так сказал. Наступило молчание, и у него вырвалось: «Могу сегодня. Вечерней электричкой. Двадцать два тридцать». — «Приезжай! Мне надо с тобой поговорить».

В пустом вагоне он размышлял без особого волнения: что бы это значило? Голос сухой, разговор скомканный: «Мне надо с тобой поговорить». Такая фраза предваряет упрек, выяснение отношений, в ней звучит угроза. Открылась их тайна? Такой-то выгнал из дому? А может, беда с картиной? Консультант Евстропов оказался подлецом? Почему-то подозрителен был Евстропов. Никаких улик и намеков, компрометирующих Евстропова, не было, кроме единственного — кто-то сказал, что внешне он похож на него, Антипова. И тут крылось что-то неприятное. Но вдруг ему мерещилось нечто сладостное: она дико соскучилась и, едва приехав в Москву, тотчас звонит, голос сух и разговор скомкан от волнения, но она уже договорилась — звонком из Ленинграда — с какой-нибудь подружкой о квартире, так что, возможно, про-

ведут ночь вместе. Мало верилось, но думалось хорошо. Потом стал думать о таком-то. Мысли о таком-то всегда несли беспокойство. Ирина сама запуталась и не помнила, что когда говорила: то утверждала, что такой-то о нем знает и ненавидит его, то выходило, что лишь только догадывается, но идет по ложному следу, а то можно было понять, что вовсе ничего не знает и ни о чем не догадывается. После Нового года передала слова такого-то, сказанные с оттенком одобрения: «Антипов, наверное, занимается каратэ? Как он этого типа от стола-то рванул!» — «А ты что ответила?» — «Ответила: откуда я знаю?» Похоже было, что вроде бы он не в курсе, но Ирина сказала, что он человек такой выдержки и такого чувства достоинства, что может не показать вида. «Самообладание грандиозное. Еще бы, на такой работе!» И поэтому Антипов все же склонялся к тому, что такой-то туманно догадывается и способен столь же туманно губить, то есть губительность его неопределима, бесформенна и всепожирающа, как туман. Глупость могла заключаться в том, что роман на исходе, а пагуба длится...

— А, брат! — бормотал Антипов, постепенно все более загораясь беспокойством. — А ты хочешь, чтоб без последствий? Нет, голубок, без последствий даже кошка не чихает. Долго будешь репы обирать...

И вот увидел ее — возле автоматов с газированной водой, как договорились, озябшую, в тоненьком кожаном пальтеце с поднятым воротником, губы побелели, глаза несчастные, — все забылось, мрак отлетел, никаких мыслей, только обнять ее, прижать к себе. Пошли бегом в зал ожидания, она вела за руку, раньше присмотрела место в конце зала на полупустой лавке. Рядом сидели старик со старухой, на лавке напротив спала тетка, положив голову на что-то тряпичное, и рядом с нею дремали удобно, плотно обнявшись, две девочки лет десяти. Был первый час ночи. Ирина молчала, все держа Антипова за руку, и не то улыбалась, не то просто дрожали губы и испытующе всматривалась в его лицо. Ты что смотришь? Отлично выглядишь. А ты усталая. Я плохая, я знаю. Потому что у меня плохо. Что у тебя? Обнял ее за плечи, придвинул легкое тело, она послушно придвинулась, склонила голову на его грудь, косынка упала, он раздувал темные пушистые волосы, от которых шел мятный, травяной запах какого-то шампуня, и прислушивался к ее шепоту; она шептала что-

то про Ленинград, про дирекцию, про операторов, все было вздором. Он понимал, что дело в другом.

«Что у тебя?» — повторил он и стал гладить ее плечо. «Я в Москве уже неделю. Просто дома тяжелая обстановка, и я не могла звонить. А вчера он лег в больницу». — «Кто?» — «Такой-то». Они разговаривали шепотом, чтоб не будить спящих. «Что-нибудь серьезное?» — «Да ничего страшного! — с внезапным, непонятным раздражением, но не против мужа, а против чего-то еще, воскликнула она. — Обострение язвы. Как тут не обостриться. Ведь ты знаешь?» — «Что?» Она подняла лицо, которое показалось ему необыкновенно красивым, нежным и мятым от слез, и смотрела с изумлением. «Ты не знаешь?» — «Нет». — «Такой-то уходит».

И поразительным было то, что эта комическая новость, которая должна была бы вызвать улыбку или вздох облегчения, подействовала на Антипова странно: вдруг он содрогнулся от жалости и стиснул ее так сильно, точно хотел защитить.

Он стал ее успокаивать: не огорчайся, ну что ж, ничего страшного, такие люди не пропадают, его устроят на хорошее место. Она горестно качала головой: нет, хорошего места не будет. Ничего не обещают. Один человек на него чрезвычайно взъелся по одному поводу. Но такой-то не виноват. Тот человек вымещает на нем свои неприятности. А такой-то страдает оттого, что он порядочный: не может кому нужно сказать, что тот действует несправедливо, а он к тому делу непричастен.

«У меня к тебе просьба, — голос ее дрожал, — ты знаком с Квашниным? Поговори с ним насчет института. Там есть место завсектором. Такой-то давно хотел заняться научной работой. Его бы это устроило». Теперь было ясно, что беда нешуточная: после такой вышки мечтать о месте завсектором! Антипов горячо кивал, обещал, уверял, что все будет сделано. Квашнин — старый приятель и, конечно, поможет. «Ты пойми, милый, — говорила она, — мне его безумно жаль. Он такой неприспособленный в этих делах. Не умеет бороться, не умеет себя защищать. Его ответ: лягу в больницу! Ну и ложись. Кого этим напугаешь?»

Антипов понимал, успокаивал, верил всем сердцем: все будет хорошо, Толя поможет. Она поцеловала его полураскрытыми губами, долгим поцелуем. Он думал:

«Она хорошая. Ведь не любит такого-то, а как жалеет его и как хочет помочь!»

Две девочки проснулись и сидели тихие, молчаливые, замороженно глядя на Ирину и Антипова и прислушиваясь к разговору.

Она шептала: не может простить себе, что поссорилась и была груба с ним как раз в дни, когда против него все затевалось, но она не знала. Он скрывал до последней минуты. Кто-то ему наплел, будто ее и Евстропова видели в ресторане и у них роман, и он стал просить ее вернуться немедленно, стал требовать ультимативно, что на него непохоже, и она по телефону устроила ему ужасный разнос. Он потом извинялся. Говорил, что свистопляска на работе выбила из колеи, сдали нервы и что он сам себе отвратителен. «А может, у тебя правда роман с Евстроповым?» — спросил Антипов. «Ну что ты! Зачем я ему нужна? Я для него старуха». Антипов засмеялся. Девочки смотрели на Ирину, не отрываясь. Просто пожирали ее глазами. На Антипова они не обращали внимания.

«Что будем делать? — спросил Антипов. — Ночевать на вокзале?» — «Зачем? Поедем ко мне...»

Такой-то в больнице, а дочку она отправила к матери. Взяли такси, приехали в начале второго. В громадной пустой квартире, где было много дорогого, тяжелого, в позолоте, в ковриках и коврах, но мало книг, мало уютного бумажного хлама, к которому Антипов привык, он внезапно почувствовал свою неприкаянность. Вдруг подумал: если позвонить домой? Таня еще не легла. Она любит возиться на кухне и в ванной за полночь. Часто были стычки из-за этого. Можно услышать ее испуганный голос: «Да, да?» Ирина обрызгивала спальню чем-то душистым из пульверизатора. Распахнула халат и побрызгала на себя. Антипов так вождедел этого часа, но сейчас почему-то не испытывал энтузиазма. Долго лежали и разговаривали. Она рассказывала о своих соображениях по поводу Натали и Геккерна. Потом погасила свет и, засмеявшись в темноте, сказала: «Я вижу, я интересовала вас только как жена такого-то!»

На другой день Антипов созвонился с Квашниным, тот велел прийти в понедельник в контору. Антипову оттяжка не понравилась, не понравилось и то, что не домой, а в контору, но он скрепился, пошел. Секретарша просила подождать: Анатолий Лукич извиняется, у

него польские товарищи. Антипов шлепнулся на диван, закурил и думал, озлобляясь: «Еще хорошо, что не за себя пришел просить!». Квашнин изумил его: отказал категорически и сразу. Не объясняя причин. И Антипову посоветовал: «Ты за таких людей не ходатайствуй. Без тебя найдутся ходатаи. А за него не волнуйся, его трудоустроят». Долго разговаривать с ним не хотелось, Толя был хоть и дружелюбен, но как-то рассеян, заторможен, небрежен и, в общем-то, гнусен. Вдруг Квашнин спохватился: «А ты пошто за него хлопчешь?» И глаз вспыхнул островато, прицельно. «Так надо», — мрачно сказал Антипов и направился к двери.

Квашнин крикнул вдогонку: «Когда новоселье будет? Смотри не замотай!»

Антипов в тот же вечер позвонил и рассказал: неожиданный афронт! Ирина, помолчав, сказала: «Я почему-то так и думала. Мне сейчас трудно разговаривать. Я тебе перезвоню, хорошо?» И короткие гудки.

В субботу кончилась путевка, и Антипов приехал в Москву. Он занимался сладким делом: перечитывал, правил и улучшал текст, только что полученный от машинистки. Таня в соседней комнате счастливым голосом отвечала на телефонные звонки: «Приехал! Нет, не могу! Он работает!» И каким-то приятелям: «Сашка приехал! По-моему, жутко интересно! Страниц четыреста! Позвони часа через два!». Но ни разу не походило на то, чтобы в трубке молчали, тогда бы он понял, что звонит Ирина. Он перечитывал последнюю главу про Гогу, законченную неделю назад: о том, как Гога узнала в 1955 году о смерти своего старого знакомого и какой разговор произошел между нею и Никифоровым за утренним кофе. Глава Антипову нравилась, но было пока еще неясное чувство, что чего-то он тут недочерпал, какой-то важный мотив остался в стороне.

Ну вот, с самого начала: Гога узнает о смерти Ярбора от Ляли, своей приятельницы, которая была тоже дружна — еще раньше Гоги — с Ярбором. Этой кличкой они вдвоем называли Ярослава Борисовича, человека со скошенным затылком, интеллигента, очкарика, умницу, перед которым многие трепетали, а они вдвоем несколько его не боялись, ибо знали все его ничтожные слабости. Жена Ярбора была Лялиной школьной подругой. А Гога познакомилась с Лялей в тридцать

шестом на динамовских кортах. Ярбор тоже играл в теннис, но скверно из-за слабых глаз. Зато в другие игры, которые не требовали острого зрения, играл превосходно. И вот он умер неизвестно где, неизвестно как, ушел из этого мира, столь замечательно приспособленного для игры. Ни в одной газете не мелькнула его фамилия. Ляля узнала от педикюрши Капитолины. А педикюрша услышала от женщины, которая жила в квартире на одной площадке с Ярбором. Ведь жена Ярбора сразу распродала вещи, умчалась куда-то на юг, и в квартире, так хорошо знакомой Ляле и Гоге, теперь жили другие. Ляля пришла вечером, они заперлись в Гогиной комнате, поплакали, посмеялись, повспоминали всякие забавные пустяки: например, как Ляля ревновала к Гоге вначале, делала ей мелкие пакости, потом все притерлись друг к другу и были какие-то прелестные ужины втроем в загородном доме, а потом Ляля постепенно отстала, потому что Гоге это наскучило. Но у Ляли тогда появился Аркадий, и она была не в обиде на Гогу.

Никифоров узнал о конце Ярбора на другой день утром, за кофе. В его представлении Ярбор сочетался с Лялей, он был Лялиным другом, Гога имела на него влияние через Лялю, и он спросил: «Как Ляля?» Гога сказала, что Ляля немного плакала, но большого горя не видно. «Ну, понятно, — сказал Никифоров. — О каком горе можно тут говорить! Человек был, в сущности, мерзкий». Он говорил и смотрел на Гогу, лицо которой белело: сначала белел лоб, потом щеки, губы. Побелевшими губами она сказала: «Ничьей смерти радоваться не надо...» Смотрела на Никифорова, сощуриваясь, губы ее сжимались, подбородок дрожал, обнаруживая неприятные ямки, она что-то хотела сказать, но сдерживалась. Никифоров расплескал кофе. Гога потянулась через стол, стала полотенцем вытирать клеенку. Никифоров закрыл руками лицо и сказал: «Как я боялся, что он уведет тебя! Подлец! Я бы застрелил его сам, будь у меня оружие!» И тут Гога не выдержала: «А знаешь ли, дорогой друг, что подлец спас тебе жизнь? Если бы не он, ты бы...»

Никифоров вскочил, уставясь на Гогу диким, застылым взглядом. «Что? Спас мне жизнь? Да не нужно было спасать! Пусть бы я испил до дна, боже ты мой...» И, споткнувшись, едва не упав, бросился из-за стола, убежал в комнату, захлопнул с грохотом

дверь. Гога спокойно собирала посуду. Она знала, что Никифоров скоро вернется. Он всегда возвращался скоро. Но Никифоров сел читать рукопись, потом лег, думал, заснул и вернулся к обеду. Вид у него был хуже некуда. «Болит сердце?» — спросила Гога. «Нет. Я работал, потом спал, видел гадкие сны. Не надо спать днем. Видел и твоего Ярбора, и того казачка, уральца, который допрашивал Валдаева и все шашкой поигрывал... Помнишь?» Гога помнила. Она знала «Синдром» хорошо. «Гога, родная, только не сбивайся, — заговорил Никифоров и, подойдя тихо, положил руку на Гогину плечо. Она сидела на стуле, а он стоял за ее спиной. — Ты не могла бы описать свои ощущения вчера и сегодня, когда узнала о его конце? Только честно. Абсолютную правду». — «Тебе для романа?» — «Да». Была пауза, он стоял за ее спиной и ждал, вдруг она всхлипнула задавленным рыданием: «Ощущения! — И прошептала: — Испытала великую радость...» Он стиснул ее плечо, а Гога схватила руку, сжимавшую плечо.

Перечитав главу, Антипов понял с ужасом, что главное в романе не написано — если есть великая радость, значит, были великие страдания. Ни читать рукопись, ни думать о ней он больше не мог. Его охватило страстное желание увидеть Ирину немедленно, и он побежал на улицу, позвонил, услышал обрадованный крик: «Приезжай!» Он приехал в квартиру с тяжелой мебелью. У Ирины было измученное, постаревшее лицо. Смуглота кожи выглядела линиялой. Но все равно он любил ее. «Я думала, ты меня бросил!» — «Почему?» — «Не звонишь. Знаешь, что я одна». Поздним вечером она сказала: «Если б он не был в больнице, я бы его оставила. И пришла к тебе». — «Но он там не навеки». — «Дела его плохи...»

Он стал думать о том, что она сказала, и не мог думать ни о чем другом. Почему нельзя соединиться с женщиной, к которой влечет непобедимо? Ведь наперекор всякому разуму, пониманию, опыту жизни, самолюбию, гордыне он бежит к телефону и ищет встречи. И она не в силах жить без него. Но однажды в конце апреля, знойным днем, почти летним, она сказала: «Милый, мы опоздали. Надо было решаться скорее. А теперь я не могу. Он в таком состоянии, его жизнь разрушена... Не могу...»

Они перестали видеться, перестали звонить друг

другу, сначала мучились, потом, спустя несколько месяцев, привыкли, а в конце лета он узнал случайно со стороны о том, что у такого-то все в порядке, неприятности его кончились, он находится на прежнем посту. А человек, который ему вредил, передвинут на другую работу. Люди говорили: «Это неплохо, что такой-то остался!» Но Антипова теперь это интересовало мало, он был занят романом — давал читать рукопись, выслушивал мнения, нервничал, падал духом, воспалялся гордыней, на нервной почве заболел псориазом и к середине сентября пришел к окончательному выводу о том, что роман не получился. Это была ужасная правда, но он почему-то испытал облегчение. Да и как мог роман получиться? Ведь это была книга о писателе, который тоже писал роман, который не получился, внутри которого был скрыт другой роман, который тоже не получился. У всех что-то не получалось. И то, что опрокинуло его жарким дыханием, помutilo сознание и протащило, беспамятного, через недели и дни, — оно ведь тоже не получилось.

Мать вернулась в комнату, держа какой-то пакет, молча протянула Антипову. Он механически, думая о своем, положил пакет на дно портфеля и спросил:

— А это что?

— Это крахмал. Он редко бывает. Значит, ты говоришь, почти уже ничего нет?

— Нет, — сказал он. — Да ничего и не было. Ерунда. Пусть не морочит голову.

— Я так и думала. Она у тебя паникерша. Ну, бог с ней. Я рада. Я ей позвоню, успокою. Меня волнует вот еще что, сын... — Мать зашептала: — А что же с твоим романом? Почему ты его никуда не хочешь давать?

— Он не получился, — сказал Антипов.

— Не получился! — ахнула мать. — Как же так? Ведь ты так много работал. Сколько раз его переделывал.

Антипов молчал, глядя в окно. Он думал, будто впервые: почему не получился роман? Хотя думал об этом много раз. Ему хотелось ответить правду. Мать была самой родной, несмотря на то что лучшие годы прошли без нее: от двенадцати до двадцати. То, что связывало их, было не любовью, а чем-то вечным и таким, о чем никогда не думалось, что существовало

само по себе, как земля, как сырой московский воздух.

— Не получился, наверное, потому, — сказал Антипов, — что затеял непосильное. Не по моим силам, понимаешь? Я не могу дочерпывать. А это необходимо. Нужно дочерпывать последнее, доходить до дна, я понял это к концу, когда было поздно. Ну, неважно! Не огорчайся. Напишу что-нибудь, чтоб получилось.

Он обнял мать, прижал к себе на мгновение, она улыбнулась.

— Бедный сын! Мы с Григорием Васильевичем все говорим и думаем: как бы тебе помочь? Григорий Васильевич, например, очень доволен, что ты использовал его документ двадцать восьмого года насчет семейной жизни. За что его чуть не вычистили, а наш отец его спас. Нет, Григорий Васильевич на тебя не в обиде, как ты боялся. Он человек добрый. А вот Люда его не любит за то, что он был строителем в северных местах. Работал по найму как инженер... Если дочерпывать до конца, то, наверно, права... Я не знаю... — Мать опять улыбнулась и как-то жалко, просительно поглядела на сына. — Мы так устали, ты знаешь. Зачем дочерпывать? Не надо, я тебя прошу.

Антипов вернулся от матери вечером. Квартира была темна, пуста. Все куда-то разошлись. Антипов стоял у окна, не зажигая света, и смотрел в зимнюю темноту с огнями, разбросанными в унылой кромешной необозримости. В доме напротив открылась булочная, внизу горели буквы «Хлеб». Антипов внезапно до дрожи почувствовал ледовитую ясность. Он понял, что выхода нет. Никто его не спасет. Он сел за стол, зажег лампу на гнутой металлической ножке, положил перед собой чистый лист и написал сверху: «Синдром Никифорова. Роман».

ВРЕМЯ И МЕСТО

На другой день после того, как Антипову исполнилось пятьдесят два, он полетел в Улан-Удэ, откуда поездом через тайгу и степи попал в Монголию, вышел на станции Дархан, там были кое-какие дела и малоинтересные разговоры, и через три дня — после того, как простился с майским холодом и нерасцветшими липами на Суворовском бульваре — сидел в юрте, на ветродуе, слушал шум песка, пил «сютэ-цай», чай с

молоком, излюбленный монголами и довольно бурдистый напиток, и разговаривал с хозяином юрты, с одним ученым из столицы и с одним стариком по поводу событий семисотлетней давности. Старик сказал, что корень надо искать в религии — культуре предков. Ученый из столицы, имевший лицо широкое и прямоугольное, как ведро, сказал, что причины лежат в социальных условиях. Хозяин юрты все объяснял изменением климата: перестали выпадать дожди, степь выгорала. Было отчаяние от голода и засухи. Антипов думал: «Далеко же забросило их отчаяние!». Ему чудилось иное: масса народа, освободившегося от бремени своей земли, своих городов, могил. Мысль об освобождении занимала его, освобождении от многого: от забот о детях, которые выросли, от ненужной мебели, от мук тщеславия, от власти женщин, эгоизма друзей, террора книг. Вернувшись в Москву, Антипов написал рассказ «Шум песка», предназначенный для сборника, но в редакции рассказ не понравился и в сборник его не взяли, так что получилось, что съездил зря. На самом деле не зря. Вывез из Монголии какую-то пищу своей догадке. Рассказ «Шум песка» был напечатан в журнале. Уже пятый год, расставшись с Таней, Антипов жил в громадной пустой комнате в Мерзляковском переулке, в середине старой Москвы, неподалеку от Тверского бульвара, неподалеку от всего, что составляло прежнюю жизнь, и друзьям было нетрудно навещать его, когда он болел и когда у них возникало такое желание. Но желание возникало у них нечасто. Да и друзей не осталось. Многие ограничивались удивлением: «Ты опять нездоров?». Он отвечал: «Что поделаешь! Возраст академический». И так он лежал третью неделю в одиночестве не то чтобы пластом, но полеживал, бродил в пижаме, сидел на балконе, ел на кухне за круглым столом, покрытым французской клеенкой с гастрономическим рисунком, давним подарком женщины, опять валился в постель с книгой — после очередной сердечной подлянки, настигшей его в конце июня, и настроение было хуже некуда. Хотя врачи говорили, что дело идет к поправке. Но промежуток между пиком болезни, проходившим в полубреду, и поправкой, к которой шло дело, — но шло тягостно, заунывно! — вгонял Антипова в такой мрак и запустение души, что все становилось немило. Не читалось, не думалось, не спалось, не смотрелся телевизор. Все это привычное,

каждодневное, на что прежде не требовалось усилий и что было незаметною рутинной жизни, теперь достигалось только ценой напряжения, а тут Антипова не хватало, и он махал на свои попытки рукой, закрывал глаза, гасил свет. Мысли зарождались и меркли, это были какие-то обрывки, какая-то кожура мыслей, ничего существенного и глубокого он придумать не мог, а когда случайно наткнулся умом на незаконченное сочинение, подобие душевной тошноты охватывало его, и он поспешно выключался, чтобы не стало хуже. Всякая мысль о работе была опасна, как резкое движение, как печальная весть. Ему сделалось, например, хуже в тот день, когда Марта Васильевна — старушка, приходившая готовить и убирать, она же доставляла лекарства и почту — принесла газету, где было объявлено о смерти Виктора Котова. Хотя за последние лет двенадцать особой дружбы не было, но известие о том, что Виктуара нет, ударило нестерпимо — так много было связано с ним радости, чепухи, надежд! — и Антипов заплакал, уткнувшись в подушку. Он знал, что Виктуар был ничтожное существо. Да разве, бог ты мой, в том дело? Он был частью жизни, и с его исчезновением омертвела и укоротилась какою-то долей его, Антипова, жизнь. В некрологе сказано: безвременно. Нелепое слово! Подразумевается: неожиданно, без причин, без болезни, без предуготовленного и определенного срока, то есть без времени. Скорее всего, разорвалась аорта от пьянства, а это всегда без времени. Антипову захотелось непременно пойти на похороны, которые должны состояться через день, он почувствует себя лучше, сделает усилие, наденет темный пиджак и пойдет. Почти никого не осталось в старой орбите. Володя Гусельщиков ушел в непонятную область, в индийскую философию, Квашнин стал начальством, это было так же далеко, как индийская философия. Мирон уже пять лет обретался в Болгарии, жена у него теперь была болгарка, актриса кино, а его старики доживали на Солянке, и изредка в телефонной трубке хрипело полузадушенное: «Вчера получили письмо от Мирона. И фотографии. Он купил моторную лодку!» Первое время Мирон звонил из Софии часто. А сын Степан работал врачом в Алжире. Иногда прибегала дочь, приносила апельсины, какой-нибудь свежий журналчик, казавшийся ей интересным, например «Театр». Еще реже бывала Людмила, которая хотела при-

ходить чаще, да жизнь не пускала — она работала теперь за городом. А больше никто. Мать умерла. И вот кто чаще других: Маркуша! Загадочно, почему после всей тридцатилетней круговерти остался на поверхности этот несуразный тип, польсевший, голубоглазый, поблекший, но все еще румяный, крикун, балаболка, дитя улицы? Непонятно, чем он жил: то ли торговлей книгами, то ли игрой, то ли добротой слабого пола. Он существовал всегда, но всплывал вблизи временами, и так он всплыл в семьдесят седьмом, когда Антипов вздумал разделаться с библиотекой не потому, что были нужны деньги, а потому, что книги надоели. Маркуша разметал библиотеку в три дня. В шкафу осталось необходимое для жизни — таких книг вышло не более ста, — прочее полетело в тартарары, и Антипов вздохнул с облегчением. Он вздыхал с облегчением, когда от чего-то освобождался.

Ему давно хотелось написать про Маркушу. Хоть что-нибудь, пускай для себя, для памяти, лишь бы не залежалось втуне. Ведь таких персонажей, как этот уморительный обалдуй, знавший книгу гениально — мог на спор угадать название, когда книгу показывали обратной стороной обложки! — в Москве не осталось. Умер Левочка Марафет, сгинули Пат, Барин. У Антипова и название было приготовлено: «Ненужный гений». А какая прелесть отношения Маркуши с президентом Кеннеди! В шестьдесят первом, когда Кеннеди избрали, Маркуша ужасно взбудоражился тем, что президент так молод, бегал, схватившись за голову, и бормотал: «Чего ж я-то сижу? Он уже президент, почти моих лет, а я где? Да зачем я, баран, жизнь прожигаю? Да разве он знает книгу, как я?». Возмущение собою и миром было неподдельно. Но через два года, когда Кеннеди убили, Маркуша ворвался в дом Антипова в неистовом раже и кричал, размахивая руками: «Ах, я умница! Ах, голова! Недаром один сказал: ты бы, говорит, был Спиноза, если б не играл. Да что ты! Люди от меня без ума! И вот я живой, здоровый, на-ка, бицепс пощупай, а Кеннеди где?». Еще запомнилось и непременно должно было войти в сочинение о Маркуше высказывание его матери, с которой он прожил в подмосковной халупе всю жизнь и которая училась пению в Одессе у Макареску, а во время нэпа продавала на Арбате пирожки: «Все имеет свое время и свое место». Эта замечательная мудрость сидела в

клокочущих мозгах Маркуши, как чудодейственная заноза, и порой охлаждала и укрощала его, особенно в дни, когда он проигрывал на бегах последнее. В прежние времена, когда Антипов собирал книги, он следил за Маркушей в десять глаз: тот мог снять внаглую с полки том и бросить в свой раздутый, бесформенный портфель, похожий на саквояж захолустного доктора, он выманивал нужные ему книги всеми правдами и неправдами, обманывал, плутовал и пытался иногда вырвать силой. Для борьбы с Антиповым сил не хватало, но каких-нибудь старушек, владелиц Данилевского и Понсон дю Террайля, он одолевал без труда. После исчезновения библиотеки Маркуша стал гость неопасный, однако и теперь он норовил сплутовать и как-нибудь Антипова объегорить: спорили на результаты футбольных и хоккейных игр, шахматных матчей, а то и сами садились за доску, по пятерке партия, причем Маркуша требовал себе фору в две легкие фигуры. Как для истинного игрока, для него не существовало таких понятий, как гордость, самолюбие, стыд, мир делился пополам: проигрыш и выигрыш. Одна половина не имела оправданий, другая могла оправдать все.

Но Маркуша был первый, кто, узнав о болезни Антипова, прибежал утром с кульком рыночного творога и с криком: «Ну что? Доигрался? А я говорил: не гони кобылу! Делай паузы. Всех книг не напишешь. Всех денег не заработаешь...»

Антипов отправился на похороны в знойный полдень. Когда вышел во двор, закружилась голова, он сел в тени на скамейку. От наступившей жары воздух дрожал и слоился. Листва в садике пожухла, не успев насладиться двор свежестью. Безвременная кончина листвы. Кто-то говорил, что предстоит катастрофическое лето. Размышляя о Котове, Антипов пришел к тому, что мать Маркуши не так уж глупа: бедняга не понимал своего места и отпущенного ему времени. Люди мечутся потому, что не понимают. Оттого и случаются эти смерти без времени. Посидев немного, он пошел нетвердыми шагами к стоянке такси, поехал в дом, где с Виктуаром прощались. Увидел знакомых. Никто не знал о его болезни и не спрашивал ни о чем. Один подошел и прошептал, протягивая траурную повязку: «Не хотите постоять вместо меня в карауле?» — «А вы?» — «Я после. Там будет человек, с

кем я не желаю стоять рядом...» Антипов, пожав плечами, взял повязку. Когда Антипов, преодолевая головокружение, сидел в фойе в кресле, к нему подъехал — именно подъехал вместе со своим креслом — сидевший неподалеку Слава Бубякин, кинорежиссер, давний друг Котова. Лицо Бубякина, чем-то напоминавшее котовское — такого же барбоса, гуляки, — было залито слезами, глаза мутные, он откашливался в платок то ли от слез, то ли был болен. Всклипывая, вытирая глаза, придвинулся к Антипову вплотную и спросил шепотом: «Не хочешь сделать для меня текст? О балетной школе? Пять частей?» Антипов покачал головой.

На другой день ему стало хуже, еще неделю он маялся дома, то лежал, то бродил, а затем в одночасье прохладным утром вдруг почувствовал себя здоровым и вышел на волю, где сеялся дождь. Небо было серенькое. Переулок был заставлен машинами, их крыши сияли. Антипов вышел на большую улицу, купил в киоске газету, это была «Социалистическая индустрия», и, читая на ходу, медленно пошел к Никитским воротам, а оттуда на бульвар. Погода объявлялась такая: ветер северо-западный, температура 16—17, давление 750, без осадков. Дождь ничему не мешал. Можно было считать, его и нет. За легкой прозрачной кисеей тихо вставал белый день. Никто не сидел на скамейках бульвара. Люди шли туда и сюда, не задерживаясь, озабоченные, одни с портфелями, другие с сумками. Почти не было никого, кто бы шел, размахивая свободно руками. Антипов сел на скамью, продолжая читать. Теперь он изучал программу телевидения. Вечером обещали футбол. Антипов подумал с изумлением: «Я не был на стадионе двенадцать лет. А не пойти ли?». Он ждал прихода Маркуши, который хотел притащить какое-то чтение и рассказать новость: познакомился с необыкновенной женщиной. По телефону распространяться не стал. «Расскажу! Успеешь! Не гони кобылу! Женщина классная, с ума сойдешь, отвечаю! Четвертаком отвечаю против рубля — с ума сойдешь. Только для тебя пустой номер, имей в виду. Не строй радужные планы. Она ко мне припала без памяти. Филе окуня не нужно? Могу притаранить...» У Маркуши было неисцелимое, шизофреническое недержание слов, он говорил без умолку, кричал, кипятился, пенился, и иногда, чтобы остановить, требова-

лось его слегка ударить. Антипов думал о Маркуше, улыбаясь. Какая-то тихая, благодатная теплота обнимала Антипова: он думал с радостью о том, что можно снова начать, можно еще попробовать, можно надеяться. Дождь тихонько стучал по газете: можно! можно! можно!

Антипов не заметил, как на другой конец скамейки села женщина, держа над собой выцветший, когда-то черный зонт. Женщине было лет семьдесят. Ее шея напоминала гусиную, а рука, державшая зонт, была усыпана темно-рыжим старческим пеплом. Антипов посмотрел на старуху, услышав голос: «Вот еще одно лето. И никакой радости». — «Почему же?» — спросил Антипов. После долгого молчания и вздоха, означавшего, что никто не собирался начинать с ним разговор, старуха произнесла: «Потому что человек должен любить. И быть любимым. Все остальное не имеет смысла». Посидев немного, она поднялась и двинулась по аллейке, едва переставляя ноги. Ее лица Антипов так и не увидел.

Маркуша, как водится, надул, пропал, явился только через четыре дня, объяснив, что срочные дела погнали его в Казань. Какие уж срочные дела у Маркуши! Но какие-то были. Антипов давно с этим типом смирился, дал ему денег, тот сбегал в магазин и принес пива.

— Ты все насчет моей бабы хочешь узнать? Ну, давай, давай, записывай. Расскажу. Тебе пригодится. Как познакомился-то? Ходил небритый, опустошенный. Из-за своих неудач. Сам посуди: все время поднимаюсь до бегового дня, а потом опять остаюсь пустой. И все с меня, с меня! Когда же с других? Верно говорят про цыганское счастье. Это неглупо сказано. Народ понимает! Если ты цыган, сиди и не рыпайся, Хрен Иваныч. Это они меня цыганом считают, потому что я отчаянный. Когда меня раскочегарить... Да перестань ты меня торопить! Сидим хорошо, пьем пиво, куда ты, паскуда писательская, спешишь? На Ваганьково? Успеешь, не волнуйся. Хотя надо пошустрить насчет местечка, это верно, ты уже полтинник проехал. Могу помочь, у меня есть там мужик знакомый — могилы копает. В первой сборной играл...

— Не отвлекайся, — сказал Антипов и дал в медный от загара, изрезанный морщинами Маркушин

лобик щелчка. — Рассказывай, как познакомился.

— Расскажу. Не гони кобылу. Тебе сюжеты нужны, я понимаю. Чехов бегал, кричал: «Дайте мне сюжет!». А я тебе на дом таскаю, как молочница молоко, только ты не пишешь ни хрена почему-то. А ты скажи: Гончаров тоже вот не писал, не писал, а потом, как зафитилил от столба, всех объехал. А? Он Тургеневу говорил: «Если, говорит, ты у меня, зараза, еще один сюжет стяпаешь, я тебе из охотничьего ружья промеж глаз шарахну! Безо всякой дуэли!». Ну, это детали. Сейчас расскажу, подожди. Дай прожевать. Сейчас ты у меня крякнешь. Забегаешь вот так по комнате и закрываешь, как утка. Кря! Кря!

— Ладно, ты мне надоел. Я займусь делами.

— Постой! Сейчас будешь крякать. Завопишь и крыльями захлопаешь. Кря, кря, кря, кря... — Маркуша, приседая, кружился по комнате и хлопал себя по бокам.

Антипов смотрел на почти уже старого лысого оборота с бугристым дубленным лицом, обветренным многими десятилетиями, проведенными на улице, и думал о том, что Маркуша — последний человек, который надоест. Потому что в нем сохранились детство, глупость и доброта. Все то, что было когда-то в самом Антипове.

— Ты говоришь: почему книг нет? А где их взять? Не несут. Народ стал знаешь какой дошлый. Деньгу в книгу забивают. Поняли, что надо копить. Я тебе двадцать лет назад что говорил? Покупай Соловьева, покупай Федорова, Розанова, они ж тогда дарма шли: по пятерке, по трешке. А теперь попробуй возьми. Все уминые стали. Ты думаешь, ты один писатель? Да я не хуже тебя, только времени нет, жизнь меня долбит, кредиторы дерут, я всем нужен, все орут: Маркуша! Маркуша! Вот сочинил давно, когда был по-свободней: «Не зря морщинка так легла на лоб, как будто пополам разрезав череп. С любовью шел я в гущу толп, во все хорошее уверив...» А? Ты подожди, подожди! Не криви рожу! — вдруг заорал он грубым голосом. — Ты дослушай: «Но время шло, и жизнь текла, я наблюдал ее биенье живо. И глубже черточка легла, и сердце становилось лживо». Бсльше я ничего не написал по этому поводу. Но Светлов обалдел. Я его раз поймал в «Национале» и прочитал...

— Как ты познакомился с женщиной, шизофреник?

— Ну как, обыкновенно. В парикмахерской. На Петровке. Ее ноги меня притягивали. Еще Мопассан жаловался в письме к Флоберу на однообразие женщин, но это детали. Было тридцатое апреля. Хорошо помню, потому что первый матч в Москве: «Динамо» — «Пахтакор». Я был очень оживлен, а я могу быть таким. Один говорит: как, говорит, интересно смотреть на тебя на бегах, когда ты волнуешься! Вообще люди от меня с ума сходят. Я человек демоничный, а мать у меня анемичная. Она говорит: «Лучшему нет границ». Бывают люди, не годящиеся для жизни, вот моя мать такая. Ничего не хочет, ничего ей не надо, хотя училась пению у Макареску. А я, наоборот, весь в жизни, в борьбе! Один говорит: дали б Маркуше раскрутиться, он бы всю Москву убрал! Умный человек сказал. Это не какой-нибудь пришей-пристебай, а умнейший человек. Доцент его зовут. Вокруг него целая кодла, а он только командует тихо: «Поди поставь сорок на три и два!», «Поди получи!», «Поди принеси коньяк и бутерброд с семужкой!» И те бегают, шестерят. Доцент! Его все знают на бегах, на стадионе и в парке. Бесподобный мужик. «Я, — говорит, — тебя люблю, хоть ты и Маркуша. Но денег тебе давать нельзя, потому что ты всю Москву уберешь». Понял? Одна в восторге была: «И откуда ты, Маркуша, такой знающий?» Это я знающий, ха-ха! — Дикий, самозабвенный хохот.

— Ты вернись, пожалуйста, в парикмахерскую.

— Сейчас. Успеет, никуда не денется. Я ей сказал, что тебя привезу. Но пока я все пиво не засажу — сколько там бутылок осталось, две или три? — я отсюда не тронусь, так и знай. Она говорит: у меня, говорит, с памятью стало несколько слабовато... Ты примечай, какие обороты речи! Несколько, понял? Другая сказала б по-простому: я, мол, ни хрена не помню. Память на фиг отшибло...

Антипов смотрел то на Маркушу, то в окно, где раскаленный полдень кипел в синеве над крышами, и предчувствие страха охватывало его. Ведь нет страшнее, чем узнать свое место и время, а он как будто стоял на пороге такого узнавания — оно должно было выплыть из бессвязной болтовни Маркуши. И тайный озноб обнимал Антипова. Он глядел на Маркушу, который столько раз выручал его во множестве мелких, неотлипчивых, жалящих, грязноватых

делишек, без которых не существует жизни, как не существует лета без мух и комаров, а теперь должен был, сам того не зная, нанести рассекающий сердце удар, и Антипову вдруг показалось, что Маркуша отсчитывает часы его жизни, будучи сам чем-то вроде часов. Такие кривые, текучие, лысоватые, с пунцовыми щечками, из кошмарного сна, наподобие часов Сальвадора Дали, это и есть Маркуша.

Но эти часы были его, Антипова.

И он неожиданно ласково, как на неизбежную печаль, поглядел увлажненными глазами на Маркушу, который продолжал что-то молотить в возбуждении.

— Взяли бутылку, приехали, она говорит: ух ты, говорит, щечки! И меня вот этак за щеку хватить. А щека у меня, сам знаешь, помидор. Потому что я полнокровный. «Хорошо, — говорит, — будет тебя резать». Я обалдел. Ты слушай внимательно! Это ж все для тебя сюжеты! И зачем я, баран, ему рассказываю? Сам должен писать, талант у меня огромный, все вижу, все примечаю, люди со мной делятся, и зачем я ему дарма отдаю, фраер? Все моей добротой живут. Ну ладно, детали: женщина замечательная, актриса, играла в кино, фильм пятьдесят четвертого года, «Огни в долине», помнишь? Ну вот, она. А сейчас, конечно, нигде... Людей, говорит, ненавижу, а животных люблю. Потому что животные на подлость не способны. Убить, горло перегрызть — пожалуйста, а сделать подлость — никогда. Умнейшая женщина! Лет ей, конечно, немало, наша ровесница, но еще в порядке. Можешь мне поверить, в жутком порядке. Ноги длинные, как у Эсмеральды. Эсмеральду помнишь? Донская кобыла, на которой Феликс в Стокгольме первый приз взял. Знаменитая лошадь. В прошлом году схоронили. А у Натальи Владимировны все ничего, только личико мятое, потому что поддает крепко. Мы первую бутылку за десять минут опростали, она говорит: «Беги куда хочешь, буду тебе век благодарна, только достань». И, главное, пьет, змея, и не пьянеет. Ну женщина! То стихи читает, то плачет, а то возьмет вот так за уши, притянет к лицу и разглядывает будто с удивлением: кто, мол, ты такой и откуда? Чего глазами хлопаешь? Да что ты, тут никакой Шекспир не годится, никакой Шолохов, никакой Антипов! Тут жизнь распоряжается, понял? Была актриса, сперва в Саратове, потом на «Мосфильме», блистала, гремела,

на приемах с иностранцами, а теперь в прозекторской... Понял, что с человеком сделали? А всему виною... — Глупые голубые глаза налились слезами, он смахнул их рукою и закончил тихо: — Чего считаться! Ты, мы, вы, я... Закрутило... А баба ласковая. Хоть и матерится, надо сказать.

— Как ее зовут? — спросил Антипов, не слыша своего голоса. — Фамилия?

— Неважно. Ишь ты, как зовут да как фамилия. Может, телефон дать? Наталья Владимировна зовут. Твоя кличка «отзынь», понял? Она от меня без ума. А ты там даром не нужен. Она писателей презирает. Достоевский, говорит, женщин не понимал, да все они свиньи, эгоисты. Я говорю: знаю, мол, одного писателя, Антипова, и он, говорю, мужик недурной. А она спрашивает: «Разве он жив?». Я говорю: «Жив, конечно. Четвертак мне должен». А она говорит: «Ну, для кого жив, а для меня умер. Писатель был средний и мужик невыдающийся». Вот как тебя причесала! У тебя с ней что было? Она говорит: если бы, говорит, мне годков на двадцать поменьше, я бы к тебе приклеилась, как пиявка, не отодрать. Что ты, от меня бабы в угаре! Я им запущу что-нибудь про интимную жизнь Оноре де Бальзака или насчет Анатоля Франса в халате... Вот ты жизни не знаешь, живешь в своей конуре, а нынче женщина чего от нас хочет? Ты подумай, не отвечай сразу. Подумай своей головой. Нет, не денег, не цветов, не духов французских и не козлом на диване прыгать, как ты думаешь. Ей стакан водки и поговорить. По душам, понял? А тут мне равных нет...

— Замолчи, — сказал Антипов.

Он лег на постель и закинул руки за голову. Маркуша ходил по комнате, бормоча что-то. Потом остановился возле постели.

— А утром говорит... Сидим хорошо, пьем пиво, вдруг посмотрела так и говорит: «Вы бахрома от брюк...» Это что значит? Как понять?

Антипов молчал. Маркуша опять стал ходить по комнате, озадаченный и погруженный в думу, крутил головой и рассуждал вполголоса:

— Бахрома от брюк... Ишь ты, запустила!.. Ой, баба непростая... Надо два года разгадывать, не разгадаешь... Попал ты, морковкин... — И тихонько смеялся чему-то. — Бахрома, говорит, от брюк... Ой-ой-ой...

Антипов продолжал лежать молча, глядя в потолок,

как будто не слыша Маркуши, и тот ушел на кухню. Не возвращался долго. Иногда там что-то позвякивало, постукивало, был слышен негромкий голос — Маркуша разговаривал сам с собой. Через четверть часа он вернулся и, остановившись в дверях, спросил неуверенно:

— Поедем, что ль?

— Не знаю, — сказал Антипов. — Не пойму, ехать ли, не ехать...

Маркуша подошел, сел на постель.

— Милый... — Положил ладонь на ледяной лоб Антипова. — Ну, чего расстроился? Ну, не поедем. Подумаешь, дела.

— Не знаю.

— Хочешь, чайку поставлю? Или за водкой сбегать?

— Не надо. Сиди. — Антипов закрыл рукой глаза.

— Я посижу. Сколько надо, столько и посижу. Если хочешь, останусь тут ночевать. А что? У мамыши два рубля есть. Попроси девчонку за хлебом да за кефиром сходить, а больше ничего не нужно. Ну, папиросы «Приму». Это все детали. Ты, главное, не расстраивайся.

— Голова кружится, — сказал Антипов.

— Ну, и не поедем никуда. Подумаешь, невидаль. Бахрома, говорит, от брюк! Обойдется.

К вечеру Маркуша куда-то ушел, вернулся с яблоками, сели смотреть по телевизору футбол. В перерыве Антипов вновь почувствовал головокружение, лег одетый на постель, началась боль в груди, Маркуша испугался и вызвал «скорую». Когда несли на носилках по лестнице, Антипов думал сквозь боль: не было времени лучше, чем то, которое он прожил. И нет места лучше, чем эта лестница с растрескавшейся краской на стенах, с водяными разводами наверху, с какими-то надписями карандашом, с голосами и запахами жизни, с распахнутым окном, за которым шевелился огненный ночной город.

ПЕРЕЖИТЬ ЭТУ ЗИМУ

Осенью 1979 года моя дочь Катя, не сдав второй год подряд вступительные экзамены в университет, заболела тяжелым нервным заболеванием, и ее положили в Первую градскую, в психосоматическое отделение. По средам и воскресеньям я езжу ее навещать, и, если

хорошая погода, мы гуляем с ней по больничному саду, огибаем петлями старинные корпуса, удаляемся к дальней стороне территории, которая граничит с парком. Оттуда всегда доносится музыка — летом с открытой эстрады, а зимою с катков. Если же погода плохая и гулять нельзя, мы сидим с Катей на деревянной скамейке в коридоре. Но сидеть в коридоре нехорошо: на скамейке тесно, посетители и больные жмутся друг к другу, разговаривают хотя и негромко, но слышно для всех, и разговаривать надо непременно, нельзя молчать. Будет глупо: приехал навестить и молчит. Однако все переговорено и перерассказано. Про Васеньку она слушает без интереса, задает скучные вопросы, и все одно и то же: «А как он ест? Ничего? А зубки мучают?» Но, когда гуляем по саду, можно долго ходить молча.

Я давно уже рассказал Кате, что эти старинные дома, больничный сад и парк — места моего детства, я учился неподалеку отсюда в школе, у меня был друг Левка Гордеев, шахматист и умница, погиб на войне, а мать Левки работала медсестрой в этой самой больнице. Про Левкиного отчима, который болел непонятной болезнью — неохотою жить, — я Кате не рассказывал. Потому что у Кати были похожие настроения. На каждой прогулке я добавляю что-нибудь новое о довоенных временах — мне доставляет удовольствие вспоминать! — а то и присочиняю что-нибудь посмешнее или потрогательнее, и порой мне кажется, что Катя слушает внимательно, тогда я радуюсь, я верю в то, что она станет такой, как прежде, но вдруг она опять погружается в оцепенение, не слушает, не откликается, а если слушает, то с равнодушной покорностью, с какой умные дети слушают сказки, догадываясь обо всем наперед. И верно, то, что я рассказываю, для нее вроде сказки. Непредставимая и абсолютно ненужная даль. Она перебивает со вздохом: «Папа, я это слышала...» А однажды, когда я опять завожу про Левку, шепчет тихонько: «О господи, господи...» — и ее лицо кривится, как от боли. До болезни Катя была другой. Она любила мои рассказы о детстве, и в первые годы после смерти Катинной мамы, когда мы остались вдвоем, я должен был развлекать ее вечерами и трепался без устали про всякие шалости детских лет. Хотя, в общем, было не до шалостей... Потом она как-то сразу, внезапно повзрос-

лела и от меня отдалилась... Помню, за ужином вдруг положила мягко руку мне на голову — новый, удививший меня жест! — и сказала: «Папа, не относись ко мне, как к ребенку. Это смешно. Я женщина, у меня есть муж». Я изумился: «Какой муж?» Оказывается, муж появился давно. Просто я не замечал его. Мужа звали Геннадий. Он работал в институте информации, носил каштановую круглую бороденку и был какой-то мелкокалиберный, с тонким голосом. Когда я узнал, что это муж, я стал к нему присматриваться и увидел, что он неглуп, начитан, переводит научные статьи с английского. Правда, занятие странное. Мужчина должен писать научные статьи, а переводить — дело женское. Я старался быть деликатным. Когда между ними начались распри, я держался в тени или, в крайнем случае, брал его сторону. Он был приезжий, из Пскова. И он рвался в Москве всех узнать, все увидеть, заводил знакомства, ходил по гостям, а Катя суету не выносит. Ей бы сидеть дома, читать книжки. Я называл ее в детстве: друг сердечный, таракан печный. Через год она его прогнала. Не знаю в точности, что у них было, но я вздохнул с облегчением: он был слишком неопределен. Я так и не разгадал его до конца. Когда в прошлом году Катя провалилась в университет, было понятно: Васенька отнимает много сил. Но теперь нашли няню, ребенок жил летом в Десне. Катя морила себя зубрежкой и ночными бдениями, я не видел, чтоб люди так себя изнуряли, я не мог помочь, математика ей не нужна, а по другим предметам я отстал. Но, видя как она занимается, я почему-то был уверен: такие адские усилия не могут пропасть даром! И вот она позвонила мне в институт и фальшивым, веселым голосом сказала, чтоб я не расстраивался, она не набрала полбалла, опять провалилась, и ну их всех на фиг. Я похолодел от страха и крикнул. «Что ты собираешься сейчас делать?» — «Пойду в кино!»

Неделю все было мирно, она поехала в Десну, к Васеньке, вернулась озабоченная, сказала, что няня Мария Васильевна хорошая, чистоплотная, Васеньку любит, но, кажется, равнодушна к водочке, видели ее с коляской в сельпо, покупала бутылку, однако никакой паники Катя не проявила, что мне понравилось, и разумно сказала, что надо исподволь, без особой спешки, но и не мешкая, подыскивать другую няню: непьющую. А к концу недели Катя отколола номер:

она легла с головной болью в темной комнате, не выходила допоздна, я думал, что заснула. Часов в одиннадцать заглянул к ней и увидел, что не спит, рассматривает циферблат своих часов с фосфорическими цифрами. Я удивился: что ты делаешь? Ничего. Продолжала рассматривать циферблат. Я спросил: что отвечать няням? Сегодня звонили несколько человек. Катя сказала, что ее это не интересует. Ты хочешь оставить Марию Васильевну? Да. Но ведь она пьет. Все пьют. Отвечала безжизненным голосом. Я воскликнул, охваченный внезапным, ледящим душу ознобом: «Но это опасно для Васеньки!» Она молчала, потом сказала: «Там были девочки, которые тоже недобрали полбалла, и они сказали, что все заранее определено. И ничего сделать нельзя. Это правда?» — «Не знаю, — ответил я. — Может быть». — «Тогда зачем жить? Если все определено?» Я сказал: «У тебя есть Васенька. Ты об этом не забывай». — «Я Васеньку не люблю», — был ответ в темноте.

В тот же вечер я стал звонить врачам. Мне сказали, что Катю нельзя оставлять одну, и пришлось звать Катину тетку Женю, хоть этого не хотелось. Женя явилась с демонстративно суровым, осуждающим лицом, притащила громадную сумку с едой, апельсинами, булками докторского хлеба, все было напоказ и совершенно ненужно — Катя есть не хотела. Когда поздно вечером я вернулся после института домой, Женя встретила меня в халате, в каком-то нелепом, распаренном виде, точно долго стирала или принимала ванну, и я не сразу сообразил, что дура распухла от слез. Она повела меня на кухню, шепча: «Я вам этого никогда не прощу!» — «Чего именно?» — «Вашего звериного равнодушия. Это низко, бесчеловечно. Вы бросили девочку в водоворот и отошли в сторону...»

И вот прошло три с половиной месяца, в поябре выпал снег, в декабре начались морозы, иногда я приезжаю к Кате с Васенькой, который уже ходит, показывает на собаку, говоря «ава», и произносит «дзысь», что значит «машина», он страдает диатезом, мы никак не можем избавиться от диатеза, я требую от новой няньки, интеллигентной Анны Георгиевны, строжайшей опрятности и соблюдения правил детского питания, но диатез почему-то непобедим, и я каждый раз боюсь, что Катя будет сердиться, однако она не сердится, она трогает пальцами пухлые, в пунцовых

пятнах Васенькины щечки, говорит тихо: «Здравствуй, котенок», — и в ее голосе нет ни беспокойства, ни улыбки, ни страдания оттого, что видит сына редко, одна холодная, пустая приветливость. Но чаще я приезжаю один. Во-первых, я могу побыть у Кати подольше, а во-вторых, боюсь за Васеньку, того гляди, он простудится, заразится, подхватит каких-нибудь микробов в такси...

В середине декабря Катин врач Степан Александрович говорит:

— Я полагаю, к Новому году мы Катю выпишем. Но хотелось бы знать: какие у нее условия дома? Кто с нею может быть?

Я отвечаю: родной отец. Правда, я работаю, уезжаю в девять, приезжаю в семь, но есть свободный, так называемый библиотечный день и, кроме того, суббота и воскресенье.

— А других близких людей... — Степан Александрович смотрит испытующе. Он высок, плечист, кожа на его лице смуглая, очень чистая, нежная, как у мальчика, взгляд черных глаз как-то очень уж тверд. Говорят, несмотря на молодость, у него большие познания, опыт, талант. Он работал где-то за границей. «Ну почему бы тебе, — думаю я бессмысленно, — не стать для Кати близким человеком? Ведь она умная, способная к языкам, она внутренне честная, добрая и красивая, хотя немного неловка и тяжеловесна, но какие хорошие волосы...»

— Других близких нет. Есть сын Вася. Со своей няней.

— А что из себя представляет няня? Она сюда приезжала?

— Нет, она боится сюда ехать. И Катю никогда не видела. Ну, что она из себя представляет? Женщина еще не старая, была бухгалтером, вышла на пенсию. С невесткой и сыном жить не может. Они ее, попросту говоря, выжили из квартиры. И вот вместо того, чтобы нянчить собственного внука, нянчит чужого.

— Она не может быть для вашей дочери чем-то...

— Нет, — говорю я. — Ничем. Она только для Васи.

— Скажите... — внезапно он хмурится, краснеет и вонзает в меня в упор, как истый следователь, свои черные неприязненные глаза. — А вот та женщина, которая сейчас с вами, она не может стать для Кати близким человеком?

Он спрашивает про Юлию Федоровну. Значит, Катя рассказала. Но я не знаю, что именно. Катя Юлию Федоровну не жалует. Даже правильной так: с трудом выносит. И я понимаю, кроме ревности тут много всего. Юлия Федоровна молода, красива, прекрасно одевается. Однажды я застал Катю врасплох: она рассматривала тайком шубу Юлии Федоровны на вешалке, и выражение лица у Кати было несчастное. И я дал себе слово в ближайшую поездку купить Кате шубу. Но вскоре после этого появился Геннадий, и я решил, что теперь он должен о Кате заботиться.

— Трудно ответить, — говорю я. — Пока что на это не похоже.

Его взгляд неприятен. Мне кажется, Степан Александрович вторгается в область, вовсе не необходимую для его исследования. Но он продолжает усугублять неприятное.

— Скажите, а существует ли возможность, что вы останетесь с этой женщиной, а Катя будет одна?

В ближайшее время нет, но, в принципе, почему такую возможность исключать? Катя и сама не настаивает жить вместе. Но Катя, кажется, ни на чем не настаивает. После молчания, во время которого мы оба смотрим в окно на сухой, вяло летающий на фоне темной сетки деревьев снег, а за снегом и деревьями грязновато желтеет кусок стены старого корпуса, и я думаю: «Все это я видел сорок два года назад, как глупо прожить долгую жизнь и увидеть опять то же самое». Степан Александрович произносит негромко, быстро и категорично:

— Катя не должна быть одна!

Я киваю. Он говорит: Катя практически выздоровела, но он за нее боится. Душное волнение поднимается, и я хочу спросить: «Может быть, вы боитесь не за нее, а за меня? Кто дал вам право бояться за меня?». Он что-то пишет, наклонив шелковистую белокурую шевелюру. Рука, в которой он держит перо с золотым наконечником, кажется неестественно мощной, с большими смуглыми пальцами, и массивность руки тоже кажется мне неприятной. Я во власти этой руки. Все страшно переменялось: он старше, я младше. Я трепещу перед ним. Я хочу догадаться: что он пишет? Он протягивает бумагу и, глядя сурово, говорит: «Это лекарство французское, но есть аналог югославский. Вы бываете за границей, у вас есть друзья.

Попросите Юлию Федоровну, в крайнем случае». Я удивлен: «Что вы знаете про Юлию Федоровну?» — «Я знаю, что ее отец пользуется сто десятой аптекой. Моя бывшая жена с Юлией Федоровной знакома, та что-то ей доставала. В сто десятой аптеке можно достать наверняка». Я смотрю на него в ошеломлении: ничего подобного про Юлию Федоровну я не знаю! А знаю вот что: когда Юлия Федоровна лежит в задумчивости, подперев голову рукой, с сигаретой, пепельница перед нею на простыне, ее живот кажется полнее обычного, талия узка и как бы провалена, а бедро поднимается полукруглой могучей горой, она напоминает оранжевую женщину Модильяни с синими слепыми глазами. И верно, она бывает слепа. Не видит того, что видеть необходимо. В августе я метался по городу, ища какие-то транквилизаторы для Кати, и Юлия Федоровна не обмолвилась ни словом про сто десятую аптеку. Я бормочу: «Хорошо, я поговорю с Юлией Федоровной...»

Мы выходим с Катей на заснеженный двор. Декабрьский день смерк. В окнах за деревьями горит желтый больничный свет.

— Он так сказал? Ну и прекрасно...

— Ты как будто не рада.

— А чего радоваться?

Мы долго ходим по дорожкам, я рассказываю про Васеньку, про то, как делали прививку, как он мужественно держался, а Анна Георгиевна чуть не потеряла сознание от страха, как она глупа, но добросовестна, а Васенька умен, но строптив, и Катя слушает безучастно. Вдруг говорит без всякой связи:

— У тебя там своя жизнь. А у меня... — вздохнула.—Стыдно признаться: здесь у меня интересов больше. Здесь я ничего не боюсь. Степан Александрович приходит каждый день, мы так мило беседуем. Так откровенно.

— Он будет приходить туда. Я его попрошу.

— Нет, не будет. У него все сложно: с отцом, с женщинами...

Она улыбается несколько загадочно, и улыбка застывает на ее бледном отеком лице с бескровной полоской рта. Она забыла про улыбку. Мы кружим по двору, сумерки густеют, она улыбается. Я рассказываю про Васеньку. Катя говорит шепотом:

— У Степана Александровича тоже есть ребенок. Но его забрала жена...

Ей хочется говорить про Степана Александровича, и я спрашиваю: какие у него сложности с отцом? У Кати тоже сложности с отцом. У всех сложности с отцами. В моем детстве тоже были сложности с отцом, но другие. Катя рассказывает: Степан Александрович долго не мог простить отцу того, что тот ушел от матери. Потом простил, когда отец заболел тяжелым инфарктом, попал в больницу. Потом у самого Степана Александровича распалась семья, мать умерла, он остался один, невольно потянулся к отцу — близких-то больше нету! — а у того началась новая жизнь: он женился на молодой женщине, враче из больницы, у них родился сын, сейчас полтора года. Почти как Васенька. Дочка Степана Александровича старше, чем этот братик, родившийся у старика. Он говорит, что отец поседел, погрузнел, у него больная печень, больное сердце, он не годится для роли молодого отца, хотя бодрится вовсю. Довольно жалкая картина. Степан Александрович его жалеет и себя, конечно, тоже — все-таки отца потерял. Непонятно, зачем они пускаются на такие опыты. Я спрашиваю: кто пускается? Старики. Хочу возразить: разве отец Степана Александровича старик? Он, наверно, мой ровесник. Какой же старик? Вся эта история рассказана для меня, поэтому возражать глупо, я испытываю шемящее сочувствие к Кате, я обнимаю ее, прижимаю к себе и шепчу как бы в шутку: «Ты не потеряешь отца! Не волнуйся!». Она молча кивает и улыбается. Глаза ее закрыты. Она ждала, чтоб я обнял ее, прошептал эти слова, пускай шутливо. И теперь молчит, затихла, прижалась головой к моему плечу, а я продолжаю шептать: «И он не потерял отца. Потому что так не бывает. Как вы не понимаете? Твой Степан сам расстался и не понимает...» — «Его жена была ужасна». — «А отец? Тоже чем-то ужасен?» — «Отца он любит. Считает хорошим человеком, — шепчет Катя. — Его отец писатель. Но малоизвестный». Какая разница, думаю я, кто он. Они не понимают, что мы тоже дышим, надеемся. А мы не понимаем того, что мы им еще нужны. Почему я так долго не догадывался сказать простые слова?

Мы стоим в темном дворе. Снег стекает с деревьев. Великая сырость обнимает нас. «Писатель Антипов? — говорю я. — Да ведь я его знаю! Мы работали когда-то на одном заводе. Во время войны». — «Я ничего не читала», — говорит Катя и, мне кажется, вздыхает с

облегчением. «Нет, я читал кое-что. Мы не виделись тридцать лет».

Степан Александрович дал телефон. Но звонить некогда. А вернее, не тот душевный настрой. Да и зачем, собственно? Все укатилось в такую мглу, ничего не разглядишь, очертания смылись: был малый Сашка, тугодум, медлительный, был похож на меня, но время всех делает похожими. Продавали с ним бекешу на Даниловском рынке. Ну и что? Теперь далекий, непонятный человек, писатель, я для него тоже далекий, непонятный, доктор математики. Какие-то две книжки его попадались, дочитал до конца. Неплохо. Для юношества. Но не уверен, стал бы дочитывать до конца, если б не знал Сашку. Зачем звонить? Его сын Степан Александрович намного мне ближе, важнее, он сейчас самый важный человек в мире. Степан Александрович усмехается снисходительно.

— А вы, отцы, какие-то сентиментальные ребята. Даже странно, такую прожили жизнь. Мой прямо завопил: «Да мы с ним радиаторы клепали возле Белорусского! Пускай он мне позвонит!» Вы уж позвоните.

— Я позвоню, — обещаю я. — Вот станет немного легче...

Но легче не становится. Наступил Новый год, а Катю не выписывают. Она не огорчена, а может, не показывает вида. Но я убит приговором Степана Александровича: «Мы должны пройти еще месячный курс». В этот день он разговаривает жестко, взгляд его мрачен.

— Послушайте, вы действительно так наивны или притворяетесь? Катя сказала, что вы никого не просили, ничего не готовили. А вы знаете, что существуют так называемые списочники и позвоночники, то есть кто проходит «по спискам» и «по звонкам». А! — Он махнул рукой. — У отца такая же блажь. Вы не годитесь для нашей галактики.

Я задет его презрительным тоном. В сущности, он мальчишка, кто дал ему право так со мной разговаривать?

— Не понимаю, что вы называете блажью, — говорю я. — Может, привычку не лезть без очереди?

— Ну, ваяйте, — говорит он. — Только помните, что есть люди, которые от вас зависят. От ваших привычек.

Ссориться с ним я, конечно, не стану. Поэтому молчу. Черт с ним. Пусть только лечит лучше.

Самое страшное: я начинаю понемногу привыкать к тому, что Катя живет в больнице. Накануне Нового года я остаюсь с Васенькой один — Анна Георгиевна внезапно уходит, сказав, что помирилась с невесткой и сыном, они зовут жить вместе. Хотя это удар по всему домашнему обиходу, я радуюсь исчезновению дамы, она стала невыносима, взлелеяла какие-то глупые фантазии насчет меня, донимала своими пляжными фотографиями тридцатых годов. Оставляла их как бы невзначай на столе. Теперь приходится вновь искать няню, а пока из последних сил мы справляемся вдвоем: я и Юлия Федоровна. Иногда приезжает нервическая, на грани слез тетя Женя. Но к ее помощи я прибегаю редко, а Юлия Федоровна недостаточно терпелива, легко впадает в уныние, один день занимается Васенькой с энтузиазмом, ласкает безмерно, на другой день разбита, лежит дома с головной болью, говорит, что она «выжатый лимон». Детей у нее не было, переехать ко мне Юлия Федоровна не хочет, говорит: из-за Кати. Никогда почти у меня не ночует. Но ведь Катя в больнице! А вот тем более, говорит Юлия Федоровна, это невозможно, потому что получится, что воспользовалась Катиной болезнью и влезла в дом. Бог с нею, с Юлией Федоровной. Я ведь не убежден: нужна ли она мне круглые сутки? Я взял отпуск на работе. Должен был ехать в Новосибирск, отказался. Потом отказался от поездки в Лейпциг. Вся моя плановая работа застопорилась, но это чепуха, я догоню, наверстаю. Надо пережить зиму. Ночами я с Васенькой один, я научился менять ползунки, кормить киселем, укачивать, сперва было тяжело, потом втянулся, а теперь он спит спокойно. Днем помогает бабка из соседней квартиры, я плачу ей пятерку в день, она готовит, стирает, то, се. Ко всему можно притерпеться, все можно вынести.

Но вот что плохо — нет сна, мне совершенно не спится, я лежу с открытыми глазами, прислушиваюсь к Васеньке, думаю обо всем на свете: о президенте Картере, о нефти, о делах и институте, о Кате, об уравнениях, которые роятся в моей пылающей голове, о существе, которое явилось в мир, не нужное никому, кроме никчемного деда. И от всех мыслей я был бы рад принять снотворное, провалиться в беспамятство, но

боюсь, что Васенька заплачет и я не услышу. Во время ночного полубреда-полубодрствования я часто вижу лицо: круглое, бабье, страшноглазое, со всклокоченными волосами и громадным улыбающимся ртом. Губы на лице жирные, маслянистые, как будто баба только что ела. Я не знаю, откуда это лицо, что должно означать. Но всегда, когда оно появляется из темноты, мое сердце холодеет, я испытываю страх. Догадка такая: это лицо судьбы. Судьба смеется надо мной. В те ночи, когда особенно тяжело, прямо мне в глаза лезет большеротое бабье лицо. Такие ночи, тянущиеся без исхода, мучают меня в начале января, а потом наступает день — голубеет небом, сверкает снегом, солнцем зима. И я думаю: «А, ничего! Переживем...» Однажды поздно вечером оглушает телефонный звонок. Оглушает, потому что я отвык. Давно никто не звонил.

— Это ты? Здравствуй, старик! Что ж ты пропал? Степка говорит, ты совсем загибаешься...

— Здравствуй, — говорю я. — Мы не виделись тридцать лет, правда?

— Слушай, давай я приеду с Верой? Поможем тебе. А? Моя Вера — очень полезная женщина, все умеет, малышей любит. Можем взять твоего на попечение, пока ты не в порядке...

Я бормочу: спасибо, не беспокойся, как-нибудь продержусь. Сейчас мне, конечно, не до гостей. Тем более не до таких ответственных — не виделись целую жизнь. Ты понимаешь, старик, что сейчас мне не до гостей? Я понимаю, но ты все равно звони. Моя Вера превосходно водит машину, мы явимся в любую погоду — в гололед, в снегопад. У меня сын Санька, Александр Александрович. А помнишь, как мы с тобой двухпудовки тягали? А Людмилу горбатую помнишь, раздатчицу? Видел ее недавно в сберкассе, деньги выдает. Она меня не узнала. Бог ты мой, да мы-то с тобой узнаем ли друг друга? И что-то еще — мутное, теплое, старое, дорогое, исчезнувшее без следа... Кончился разговор, и сила моя кончилась тоже. Погасил лампу и заплакал, как идиот. Потому что вспомнил, увидел, понял... Вот что: будто озарились внезапно все годы... А вынести невозможно... Я и забыл, что есть слезы... Я даже не те времена вспоминал, а то, что было потом: студенчество, юность, все эти перевороты, надежды... Вспомнился фестиваль, пятьдесят седьмой год, мы с Сашкой столкнулись на стадионе, оба в безумном возбуждении, что-то

прокричали друг другу и разбежались, уверенные, что ненадолго, что вскоре, что непременно и навсегда...

На другой день я падаю на ровном месте на улице, на секунду теряю сознание, а когда прихожу в себя, понимаю, что не могу встать, черт знает почему. Меня куда-то увозят. Говорят, что был головной спазм, что при падении я повредил щиколотку и должен пролежать не меньше месяца с гипсом. Становится ясно, этот колодец не имеет дна: Юлия Федоровна заболевает гриппом, похожим на воспаление легких, а бабка из соседней квартиры уезжает в Коломну, где внучка выходит замуж и готовится свадьба.

Но вдруг появляется Геннадий. Он похож на хомяка. В его красноватых глазах, уставших от чтения, я вижу покорность всему и одновременно тайную наглость. Я спрашиваю, хоть это не мое дело: где он пропадал целый год? Ну просто чтобы о чем-то спросить. Я привык быть осторожным в их делах. Он переменил специальность. Временно, разумеется. Работал в автосервисе. И добился большого успеха: познакомился с одним типом из министерства, который сказал, что на будущий год у Кати будет все в порядке. Насчет университета. Сказал, что попадание стопроцентное. «Да что вы?» — удивляюсь я. Красноватые глаза хомяка сияют. Он говорит, что не может без Кати жить. Теперь он ездит в больницу вместо меня.

Зима кончилась, я ее пережил, на улицах сырыми кучами лежит снег, его не увозят, не разгребают, он исчезает самостоятельно от теплого воздуха, и нечто подобное происходит в моей судьбе: нагромождения тают, осталась влага, я живу один в пустой квартире. Катя, Васенька и хомяк уехали к его родным в деревню под Псков.

Он сказал: «Давай встретимся на Тверском. У меня кончится семинар, я выйду из института часов в шесть...» И вот он идет, помахивая портфелем, улыбающийся, бледный, большой, знакомый, нестерпимо старый, с клочками седых волос из-под кроличьей шапки, и спрашивает: «Это ты?» — «Ну да», — говорю я, мы обнимаемся, бредем на бульвар, где-то садимся, Москва окружает нас, как лес. Мы пересекли его. Все остальное не имеет значения.

УПОРСТВО ВОЗВРАЩЕНИЯ

Творчество писателя представляет собой совокупное «слово», цельное высказывание, но не застывшее, а развивающееся, продолжающее свое движение во времени, а после смерти автора — в сознании читателей. Жизнь подлинно художественных произведений являет собой расширяющееся событие, вбирающее в себя все новые оттенки, резонирующее от все новых и новых прочтений. А последующие произведения как бы дополняют, развивают, а иногда и развивают предыдущее.

В художественном мире Юрия Трифонова (1925—1981) особое место всегда занимали образы детства — время становления человека, становления личности. Начиная с самых первых рассказов детство и юношество было тем критерием, которым писатель словно бы проверял реальность на гуманность и справедливость, а вернее — на негуманность и несправедливость. Знаменитые слова Достоевского о «слезинке ребенка» можно поставить эпиграфом ко всему творчеству Трифонова. «Алая, сочащаяся плоть детства» — так говорится в повести «Дом на набережной». Ранняя, добавим мы. На вопрос анкеты газеты «Комсомольская правда» в 1975 году о том, какая потеря в шестнадцать лет самая страшная, Трифонов ответил: «Потеря родителей». Из повести в роман, из романа в роман переходит этот шок, эта травма, этот болевой порог его юных героев — потеря родителей, разделявшая их жизнь на неравноценные части: изолированно-благополучное детство и погружение в общие страдания «взрослой жизни».

В романе «Время и место» (1981) молодой герой, студент Литературного института, засыпая в ночь после возвращения матери из долгой ссылки, думает сквозь наступающий сон о том, что литература — это страдание, а страдать-то как следует ему, Антипову, еще вроде и не приходилось. Антипов, прошедший через смерть отца, исчезновение матери, не считает это даже страданиями.. Или душа была уязвлена так рано и так тяжело, что признала те страдания чуть ли не нормой жизни? А как было не признать, если те страдания были общими для всего народа..

И за одной чертой закона
Уже равняла всех судьба:
Сын кулака иль сын наркома,
Сын командарма иль попа..

Клеймо с рожденья отмечало
Младенца вражеских кровей.
И все, казалось, не хватало
Стране клейменных сыновей.

(А. Твардовский. По праву памяти).

Одним из главных законов художественного мира Юрия Трифонова было то, что сам писатель определял как «дочерпывание». Трифонов в своих произведениях продолжал развивать свою генеральную идею, переосмысливая, углубляя ее, рассматривая с разных сторон, с различных точек зрения. Именно поэтому для его творчества характерно развитие мотивов, настойчиво переходящих из романа в повесть, из повести — в роман. Писатель не раз говорил о том, что, когда вещь окончена, он продолжает над ней думать. Так — цепочкой «дочерпывания» — рождались одна за другой повести «московского» цикла: «Обмен» (1969), «Предварительные итоги» (1970), «Долгое прощание» (1971), а также диптих, состоящий из «Отблеска костра» (1965) и романа «Старик» (1978). Своеобразный триптих, на мой взгляд, образуют повесть «Дом на набережной» (1976) вместе с романами «Время и место» (1981) и «Исчезновение», над которым писатель работал с большими перерывами с конца 60-х годов. В то же время, безусловно, есть пересечения и между рядами этих вещей — так, некоторые мотивы «Отблеска костра», посвященного памяти отца документального повествования, заново переосмысливаются в «Исчезновении». Существуют в творчестве Трифонова опорные оппозиции, точки, выбор между которыми определяет в конечном счете судьбу героя. Одной из главных таких оппозиций являлась оппозиция памяти и забвения.

В интервью, последовавшем после публикации «Дома на набережной», сам писатель так разъяснял свою творческую задачу: «Увидеть, изобразить бег времени, понять, что оно делает с людьми, как все вокруг меняет... Время — таинственный феномен, понять и вообразить его так же трудно, как вообразить бесконечность... Но ведь время — это то, в чем мы купаемся ежедневно, ежеминутно... Я хочу, чтобы читатель понял: эта таинственная «времен связующая нить» через нас с вами проходит, что это и есть нерв истории». В беседе с Р. Шредером Трифонов подчеркивал: «Я знаю, история присутствует в каждом сегодняшнем дне, в каждой человеческой судьбе. Она залегает широкими, невидимыми, а иногда и довольно отчетливо видимыми пластами во всем том, что формирует современность... Прошлое присутствует как в настоящем, так и в будущем».

Время в «Доме на набережной» определяет и направляет развитие сюжета и развитие характеров, временем проявляются люди;

время—главный режиссер событий. Пролог повести носит откровенно символический характер и сразу же определяет дистанцию: «...меняются берега, отступают горы, редеют и облетают леса, темнеет небо, надвигается холод, надо спешить, спешить—и нет сил оглянуться назад, на то, что остановилось и замерло, как облако на краю небосклона». Это — время эпическое, бесстрастное к тому, выплывут ли «загребавшие руками» в его равнодушном потоке. Но главное время повести — это социальное время, от которого герои повести чувствуют свою зависимость. Это время, которое, беря человека в подчинение, как бы освобождает личность от ответственности, время, на которое удобно все свалить. «Не Глебов виноват, и не люди, — идет самооправдательный внутренний монолог Глебова,— а времена. Вот пусть с временами и не здороваются». Это социальное время способно круто переменить судьбу человека, высить его или уронить туда, где теперь, через тридцать пять лет после «царствования» в школе, сидит на корточках спившийся, в прямом и переносном смысле слова опустившийся на дно Левка Шулепников, потерявший даже свое имя («Ефим — не Ефим», — гадают Глебов. И вообще он теперь не Шулепников, а Прохоров). Трифонов рассматривает время с конца 30-х годов по начало 50-х не только как определенную эпоху, но и как питательную почву, сформировавшую такой феномен уже нашего времени, как Вадим Глебов. Он движет повествование от настоящего к прошлому и из современного Глебова восстанавливает Глебова двадцатипятилетней давности; но сквозь один слой просвечивает другой.

Трифонов зримо, подробно, вплоть до физиологии и анатомии, до «печенок», показывает, как время протекает тяжелой жидкостью через человека, похожего на сосуд с отсутствующим дном, подсоединенный к системе; как оно меняет его облик, его структуру; просвечивает ту гусеницу, из которой выпестовало время сегодняшнего Глебова — доктора наук, с комфортом устроившегося в жизни. И, опрокидывая действие на четверть века назад, писатель как бы останавливает мгновенно.

От результата Трифонов возвращается к причине, к корням, к истокам «глебовщины». Он возвращает героя к тому, что он, Глебов, больше всего ненавидит в своей жизни и о чем не желает теперь вспомнить, — к детству и юности. А взгляд «отсюда», из 70-х годов, позволяет дистанционно рассмотреть не случайные, а закономерные черты, позволяет автору сосредоточить свое внимание на образе в времени 30—40-х годов.

Два дома и площадка между ними образуют целый мир со своими героями, страстями, отношениями, контрастным социальным бытом. Большой серый дом, затемняющий переулочек, многоэтажен. Жизнь в нем тоже как бы расслаивается, следуя поэтажной иерархии. Одно дело — огромная квартира Шулепниковых, где чуть ли

не можно кататься по коридору на велосипеде. Детская, в которой обитает Шулепников-младший, — мир, недоступный Глебову, враждебный ему, и, однако, его туда тянет. Детская Шулепникова экзотична для Глебова: она заставлена «какой-то странной бамбуковой мебелью, с коврами на полу, с висящими на стене велосипедными колесами и боксерскими перчатками, с огромным стеклянным глобусом, который вращался, когда внутри зажигалась лампочка, и со старинной подзорной трубой на подоконнике, хорошо укрепленной на треноге для удобства наблюдений». Лифт возносит мальчиков в эту квартиру, а лицо лифтера, когда лифт возносится, выражает «застылый испуг». В этой квартире — мягкие кожаные кресла, обманчиво-удобные: когда садишься, опускаешься на самое дно (тоже своеобразная метафора), что происходит с Глебовым, когда отчим Левки допрашивает его о том, кто напал во дворе на его сына Льва; в этой квартире есть даже своя киноустановка. Квартира Шулепниковых — это особый, невероятный, по мнению Вадима, социальный мир, где мать Шулепникова может, например, потыкать вилкой торт и объявить, что «торт несвеж» — у Глебовых, напротив, «торт всегда был свеж», иначе и быть не может, несвежий торт — совершенная нелепость для того социального слоя, к которому они принадлежат.

В этом же доме на набережной живет и профессорская семья Ганчуков. Их квартира, их среда обитания — другой социальный слой, тоже данный через восприятие Глебова. «Глебову нравились запах ковров, старых книг, круг на потолке от огромного абажура настольной лампы, нравились бронированные до потолка книгами стены и на самом верху стоявшие в ряд, как солдаты, гипсовые бюстики».

Напротив большого дома — дом маленький, где живет Глебов. Он видит вдруг отчужденно, как будто со стороны, свой «кривоватый домишко с бурой штукатуркой».

Большой дом и маленький определяют границы социальных претензий и миграций Глебова. Его с детства обуревают жажда достичь другого положения — не гостя, а хозяина в большом доме.

А между домами — площадки детских «военных действий», типично дворовых, но в то же время насыщенных иным, более серьезным смыслом. Там гнездится всякая «подозрительная публика»: «разбойники, для которых не было ничего святого, клятвопреступники и разорители мирных купеческих караванов, флибустьеры и авантюристы, пиратская шайка...»

С домом на набережной и с Дерюгинским подворьем связаны те испытания, через которые проходят юные герои повести. Испытания как бы предвещают то серьезное, через что придется детям пройти потом: разлуку с родителями, тяжелые условия военного быта, гибель на фронте. Но пока еще — испытания предостерегающе-

игровые, полудетские. Например, пройти по наружному карнизу балкона. Или — гранитному парапету набережной. Или через Дерюгинское подворье, где властвуют знаменитые разбойники, сиречь — шпана из глебовского дома. Мальчишки даже организуют специальное общество по испытанию воли — ТОИВ.

То, что критика по инерции обозначает как бытовой фон прозы Трифонова, здесь, в «Доме на набережной», держит структуру сюжета. Предметный мир отягощен содержательным социальным смыслом; вещи не сопровождают происходящему, а действуют; они и отражают судьбы людей, и влияют на них. Так, мы прекрасно понимаем род занятий и положение Шулепникова-старшего, устроившего Глебову форменный допрос **в кабинете с кожаными креслами**, по которому он рассказывает в мягких кавказских сапогах. Так, мы точно представляем себе жизнь и нравы коммуналки, в которой обитает семейство Глебовых, да и нравы самого этого семейства, обратив внимание на такую, например, деталь вещного мира: бабушка Нила спит в коридоре, на топчане, и ее представлением о счастье является покой и тишина («чтобы судками не дренькали»). Перемена судьбы непосредственно связывается с переменной среды обитания, с переменной внешнего облика, которая в свою очередь определяет даже мировоззрение, как об этом иронично говорится в тексте в связи с портретом Шулепникова: «Левка стал другим человеком — высокий, лобастый, с ранней пролысинкой, с темно-рыжими, квадратиком, кавказскими усиками, которые были не просто тогдашней модой, а обозначали характер, стиль жизни и, пожалуй, мировоззрение». Так и лаконичное описание новой квартиры на улице Горького, где уже после войны поселилась мать Левки с новым мужем, раскрывает всю подоплеку комфортной — во время тяжкой для быта всего народа войны — жизни этого семейства: «Убранство комнат как-то заметно отлично от квартиры в большом доме: роскошь попышней, старины больше и много всего на морскую тему. Там модели парусные на шкафу, тут море в рамке, там морской бой чуть ли не Айвазовского — потом оказалось, что вправду Айвазовского...» И опять Глебова гложет прежнее чувство несправедливости: ведь «люди в войну последнее продавали!» Его семейный быт резко контрастирует с бытом, украшенным полотном кисти Айвазовского.

Детали внешнего облика, портретов и, особенно, одежды Глебова и Шулепникова тоже резко контрастны. Глебов постоянно переживает свою «заплатанность», невзрачность. У Глебова на курточке, например, огромная заплата, правда, очень аккуратно пришитая, вызывающая умиление влюбленной в него Сони. И после войны он опять «в своем лиджачке, в ковбойке, в заштопанных брюках» — бедный приятель начальственного пасынка, именинника жизни. «На Шулепникове была прекрасная, из коричневой кожи,

со множеством молний американская куртка». Трифонов пластически изображает закономерное перерождение чувства социальной неполноценности и неравенства в сложную смесь зависти и неприязни, желание стать во всем подобным Шулепникову — в ненависть к нему. Трифонов пишет взаимоотношения детей и подростков как социальные.

«— А та квартира, — спрашивает Батон, — куда вы переедете, она какая?»

«Не знаю», — говорю я.

...Батон спрашивает: «Сколько комнат? Три или четыре?» — «Одна», — говорю я. «И без лифта? Пешком будешь ходить?» — Ему так приятно спрашивать, что он не может скрыть улыбку».

Глебов охвачен серьезной, тяжелой страстью, тут не до шуток, не мелочь, а судьба, чуть ли не рок; его страсть сильнее даже его собственной волн: «Ему не хотелось бывать в большом доме, н, однако, он шел туда всякий раз, когда звали, а то и без приглашения. Там было заманчиво, необыкновенно...»

Поэтому Глебов столь внимателен и чуток к подробностям обстановки, столь памятливы на детали.

«— ...Я хорошо помню вашу квартиру. Помню, в столовой был огромный, красного дерева буфет, а верхняя часть его держалась на тонких витых колонках. И на дверцах были какие-то овальные майоликовые картинки. Пастушок, коровки. А? — говорит он уже после войны матери Шулепникова.

«— Был такой буфет, — сказала Алина Федоровна. — Я уж о нем забыла, а ты помнишь».

— Молодец! — Левка шлепал Глебова по плечу. — Наблюдательность адская, память колоссальная. Можешь работать!.. (подчеркнуто мной — Н. И.).

Для достижения своей мечты он использует все, вплоть до искренней привязанности к нему дочери профессора Ганчука Соии. Лишь поначалу он внутренне посмеивается — неужели она, бледная и неинтересная девичка, может на что-то рассчитывать? Но после студенческой вечеринки в квартире у Ганчуков, после того, как Глебов отчетливо услышал, что кто-то желает «мырнуть» в ганчуковские терема, его тяжелая страсть обретает выход — надо действовать через Соию. Каждый день за завтраком видеть дворцы с птичьего полета! И жалеть всех людей, всех без исключения, которые бегут муравьишками по бетонной дуге там, внизу!

Но в самый острый момент глебовского торжества и победы, достижения цели (Соия — невеста, дом — почти свой, кафедра обеспечена) Ганчука обвиняют в «низкопоклонстве» и «формализме» и хотя при этом использовать Глебова: от него требуется публичный отказ от руководителя. Мысль Глебова мучительно суетится: ведь зашатался не просто Ганчук, заколебался весь дом! И

он, как истинный конформист и прагматик, понимает, что дом теперь надо себе обеспечивать как-то иначе, другим путем. Но так как Трифионов пишет не просто подлеца и карьериста, а именно конформиста, то начинается самообман. И Ганчук-то, убеждает себя Глебов, не столь хорош и правилен; и в нем есть неприятные черты. Так и в детстве уже было (опять предвосхищение сюжета в предвоенной части повести): когда Шулепников-старший ищет «внновных в избииени его сына Льва», ищет зачинщиков, Глебов выдает их, утешая себя, однако, вот чем: «В общем-то он поступил справедливо, наказаны будут плохие люди. Но осталось неприятное чувство — как будто он, что ли, кого-то предал, хотя он сказал чистую правду про плохих людей».

Ганчук — отнюдь не положительный герой Трифонова. Но противники его — компания Друзяева и Ширейко — отвратительны. Ганчук ведет себя сейчас порядочно: он пытается защитить ни в чем не повинных людей, которых критикуют в недопустимой форме. Но в прошлом тот же Ганчук не останавливался перед жестокими методами. «Ганчук — это звучало страшно для врагов. Потому что ни колебания, ни жалости». Нетерпимость — вот главное, пожалуй, качество «купца» в шубе на лисьем меху.

«Разменял», «обезоружили», «нанесли удар» — вот и вся «научная терминология» Ганчука. Он строит обвинения на классовом происхождении своих врагов, разглагольствуя о «неподавленной» мелкобуржуазной стихии. Юлия Михайловна, жена Ганчука, вторит ему: «...сказал, что про Дороднова не знает, но про Друзяева известно точно: он сын мельника».

Но Ганчук — жертва в сложившейся ситуации. И то, что эта жертва — не самая симпатичная личность, не меняет подлого существа дела. Более того: нравственный конфликт лишь усложняется. И в конце концов самой большой и безвинной жертвой оказывается святая простота, Соня.

Дом на набережной исчезает из жизни Глебова, дом, казавшийся столь прочным, на самом деле оказался хрупким, ни от чего не защищенным, он стоит на набережной, на самом краю суши, у воды; и это не просто случайное местоположение, а намеренно выбранный писателем символ. Дом уходит под воду временн, как некая Атлантида, со своими героями, страстями, конфликтами: «волны сомкнулись над ним» — эти слова, адресованные автором Левке Шулепникову, можно отнести и ко всему дому. Один за другим исчезают из жизни его обитатели: Антон и Химнус погибли на войне; старший Шулепников был найден мертвым при непроясненных обстоятельствах; Юлия Михайловна умерла, Соня сначала попала в дом для душевнобольных и тоже скончалась... «Дом рухнул».

С исчезновением дома намеренно забывает все и Глебов, не только уцелевший при этом потоке, но и достигший новых престиж-

ных вершин именно потому, что «он старался не помнить. То, что не помнилось, переставало существовать». Он жил тогда «жизнью, которой не было», — подчеркивает Трифонов.

Не хочет помнить не только Глебов — ничего не хочет помнить и Ганчук. В финале повести неизвестный лирический герой, «я», историк, работающий над книгой о 20-х годах, разыскивает Ганчука. Неизвестный жаждет расспросить Ганчука о прошлом, но наталкивается на упорное сопротивление. «И дело не в том, что память старца ослабла. Он не хотел вспоминать».

Работа памяти определяет неожиданно вольную, свободную, ассоциативную композицию романа «Время и место». Роман состоит из тринадцати глав, каждая из которых одновременно носит самостоятельный характер, и в то же время из этой мозаики фрагментов складывается новое единство, уже на ином уровне — главы перекликаются, между ними возникают смысловые связи.

Ю. Трифонов определил «Время и место» как «роман сознания» или, точнее, «роман самосознания». «В этом способе изображения, — замечал писатель, — ...заключается нечто во многих отношениях ценное для писателя. Он предоставляет, грубо говоря, много преимуществ. Ведь человек несет в себе — осознанно и неосознанно — все, что он пережил, или все, что ему пришлось пережить. Он не может стряхнуть с себя груз прошлого. Он сидит в нем. Поэтому я стараюсь, изображая человека, вытащить все его внутренние слои, все слои, которые в нем уже перемешались, слились каким-то образом в единое целое». События заключены внутри каждой главы, а процесс сознания соединяет эти главы. Временные точки, выбранные писателем, множественны: здесь и конец 30-х годов, и война, и послевоенное время, и середина 50-х, и современность. Писатель как бы хочет уместить, собрать в романе все те времена, свидетелем которых был он сам.

Время изображается как стихия, обобщается поэтически. Время движется, как облако, течет, как река. «Унесенные течением», «испарившись, как облако», «смытые рекой» — таковы многие судьбы героев романа. В самом начале романа, в его первой главе — «Пляжи тридцатых годов» — возникает образ временн-облака, стоящего над Москвой, облака, соединяющего прошлое и настоящее: «Оно не испарилось, не исчезло в синеве до сих пор; по-прежнему в августе белая гора возвышается над старым деревенским аэродромом, над многоэтажными домами, над излучиной реки, одетой в гранит, чуть заметно под напором западного ветра передвигаясь к востоку, к центру Москвы».

Роковые минуты жизни человека совпадают с роковыми историческими мгновениями, и «домашняя обыкновенность» происходящего в маленькой семье «ужаса» на самом деле совсем не заурядна; и достойное противостояние этому «ужасу» может быть лишь един-

ственным ответом личности той огромной, ветровой силе, которая движет толпой на бульваре. Человек начинает видеть и чувственно ощущать время, то есть то, чего видеть нельзя. На этом парадоксе чувственного, материального видения невидимого строятся Трифионовым образ времени: «Подойдя к окну, Антипов увидел месиво шапок, воротников, простоволосых голов, сбитых в плотную гущу. Время громоподобно катилось вниз. То, чего никогда увидеть нельзя. Антипов оглянулся...

— Я тебя люблю, Тая, — сказал Антипов. — И ничего не нужно. Будем жить дальше» (курсив мой. — Н. И.).

В той же главе «Конец зимы...» Юрий Трифионов дает еще два видения времени. Одно из них авторское, повествовательное, показано через пейзаж марта 1953 года: «На бульваре плешинами белел снег, деревья темнели сиво, голо... Зима кончилась, воздух был ледяной. И ледяной ветер гнал людей к Трубной». Дрожь, озноб, ледяной холод передают историческое и — одновременно — конкретно-физическое состояние людей: Антипова «ледяная стынь пробирала до дрожи»; «люди, которые будут жить через сто лет, никогда не поймут нашей душевной дрожи в тот ледяной март»; Тая «дрожала от озноба». Другое видение времени дано глазами старухи Веретенниковой, единственной из большой семьи, обитавшей в квартире, где живут сейчас Антиповы. Перед внутренним взором Веретенниковой проходят картины истории, в ней, как в памятнике, застыли, сконцентрировались эпохи, времена, застыла сама история.

Время движется и разносит людей — настойчивый мотив романа. «Старик сказал: стояли на льдине, которая раскололась, понесло в разные стороны», «медленно отъезжали друг от друга две половины треснувшего плота, на одной стоял Антипов, на другой Тая... бревенчатые половинки тихо расплывались своими путями... нельзя ничего остановить, все плывет, двигается, отдаляется от чего-то и приближается к чему-то...» Неподвижной воды нет, а в той, которая кажется стоячей, тоже происходит движение — она испаряется или гниет. Антипов — писатель, и в романе, который он пишет, есть символический образ реки, побеждающей смерть: «Смерть реки. Маленькая речушка стала препятствием, все более чахла, мельчала, и вот наконец ее убрали в трубу, сверху насыпали земли и разбили сквер. Речушки нет. Она исчезла навсегда. ...Но подлинно ли наступила смерть? Ведь во мраке, в трубе, еще булькает и сочится вода, и, значит, смерти нет». Время в образе реки, движущейся воды проходит через весь роман — начиная с главы «Пляжи тридцатых годов».

Однако нельзя не отметить тот факт, что Трифионов показывает время в особом, «боковом» ракурсе. В изображении событий сочетаются как бы два взгляда: взгляд героя, «профана», непосред-

венного участника событий, и взгляд всезнающего автора, дающего свою оценку происходящему. В том, что лежит на поверхности, просвечивает второй смысл. А читатель, следящий за разворотом действия, не должен упускать исторической нити.

Обратимся к главе «Пляжи тридцатых годов». На первый взгляд, перед нами чисто бытовая, мирная сцена купания мальчиков летом тридцать седьмого года, с подробно выписанными детскими играми, забавами, прозвищами, обидами; но за этой почти идиллической картинкой встает другое: как бы отблесками, отсветами полыхает гроза, унесшая и отца Саша Антипова. В репликах, словечках, ребячьих поддразниваниях проговаривается, обнаруживается время.

«— Дурак ты,— Чуня зло сплевывает и, не желая того, попадает на босую Алешкину ногу.

— За плевков ответишь,— говорит Алеша, поднимая правую ногу, на которую попал плевков, и намереваясь ударить именно этой, опозоренной ногой.

— А ты за шпиона ответишь! — кричит Чуня и убегает. Пробежав шагов двадцать вдоль берега по траве, он останавливается и кричит: — Сами вы шпионы! У вас весь участок шпионский! Эй вы, шпионы, шпионы, шпиончики!»

Возникает особое напряжение между явным, бытовым происшествием и определяющим судьбу событием. Эта соотнесенность двух значений аналогична строению тропа — как двупланового употребления слова, в прямом и переносном смысле.

«Отец Чуни бормочет:

— Сказано, топи, говорят, щенков, пока слепые... Так что разрешают... Можно... Пожалуйста...

— Отпусти мальчика,— слышит Саша голос женщины— Он без тебя нахлебается».

Авторское пояснение отсутствует, автор как бы дирижирует явными и скрытыми смыслами. Так, мать Саша, появившаяся на берегу в момент унижительной расправы коменданта с Сашей, молчит, смотрит холодно, не сочувствует Саше, не восхищается «его мужеством». И это странное, как бы нематеринское поведение говорит о событиях (арест отца) гораздо больше, чем ее реплики, спокойные, бытовые, стертые.

В главе «Центральный парк» Трифонов замечает: «Все так туго сплелось, так крепко перевязано одно с другим, как будто не может существовать отдельно: доброта и безвыходность, ликование и печаль, сладчайшая радость и смерть, и прочее, прочее, что кажется таким далеким. Например, парк и больница. Там люди веселятся, здесь страдают, а граница между тем и другим — ветхий забор из тонких железных прутьев». Сочетание противоположных и неожиданно близких смыслов закладывается в сюжете каждой гла-

вы романа, как метафора, а сверхсмысл, рожденный из этого сочетания, должен искать читатель. Роман требует от читателя активной работы сознания, устанавливающего связи, смысл сцепления событий, сцепления судеб героев. Так, Станислав Семенович, страдающий от странной болезни *ничегонежелания*, по целым неделям лежит неподвижно в постели. Станислав Семенович интересуется только одним: он пишет историческую справку о бывших владельцах Нескучного сада, из которых и он сам, как ему мнится, происходит. На первый взгляд, это свидетельствует о его душевной болезни, но есть и еще один смысл: Станислав Семенович хочет найти историческую цепь, нить, связующую людей и времена, — то есть он тоже своеобразный автор, сочинитель, неудачный двойник Антипова.

Антипов уже в наше время, в 70-х годах, пишет свой роман — «Синдром Никифорова», и этот роман *изображается* Трифоновым в своем романе, щедро цитируется: «...дело в том, что «Синдром Никифорова» не просто роман о писателе, и даже более того — роман о писателе, пишущем роман о писателе, который тоже пишет роман о писателе, который в свою очередь что-то пишет о писателе, сочиняющем что-то вроде романа или эссе о полузабытом авторе начала девятнадцатого века, который составляет биографию одного литератора, близкого к масонам и кружку Новикова. Вся цепь, или, лучше сказать, система зеркал, протянувшаяся почти через два столетия, была плодом фантазии одного человека — Никифорова, больного странной болезнью, проявление которой автор назвал «синдром Никифорова».

Этот принцип системы взаимоотражающихся зеркал характеризует не только роман Никифорова и, в свою очередь, роман Антипова, но и весь в целом роман «Время и место». Я уже говорила о том, что Станислав Семенович — двойник Антипова; но у Антипова есть главный, постоянный двойник — это рассказчик. Рассказчик и внешне, и внутренне похож на Антипова — это сходство даже пугает его. В очках, молчаливый, медлительный, Антипов вызывает поначалу неприязнь рассказчика: «Черт возьми, мне хотелось одному быть молчаливым и медлительным». Оба живут без родителей, работают вместе на заводе, оба занимаются «бумагомаранием», мечтают стать писателями. В структуре романа они действуют поочередно, и судьба одного как бы вбирает судьбу другого, для того чтобы в конце, финале романа слиться в поколенческое «мы». Через весь роман проходит образ *цепи*, объединяющей разные события и разных людей. Даже у Антипова мелькает идея написать рассказ под названием «Цепь» («Цепь событий должна быть длинной, может быть, в несколько дней и даже лет...»); Князов говорит о том же: «Все имеет причины, чаще невидимые. Но вы должны видеть цепь», «все так туго сплелось» — то есть сплелось в цепь. И в этой цепи Антипов и рассказчик — два самых близких звена: потащив за

одно, непременно вытащишь и другое. Цепь кризисов образует рисунок жизни Антипова; тот же принцип Трифонов положил в основу композиции романа. В разные времена, через которые проходит действие романа, Антипов испытывается по-разному, но в каждом случае от него, от его поведения зависит судьба человека, и всякий раз Антипов поступает достойно. Во время работы на оборонном заводе он не поддается давлению сверху — мог бы пострадать старик Терентьич; на судебном процессе, где Антипов выступает в качестве литературного эксперта, он находит в себе силы для справедливого отзыва, несмотря на то что это отрицательно сказывается на судьбе его книги; Антипов ведет себя так же достойно, будучи посредником во взаимоотношениях Княнова и Тетерина.

Антипов постоянно сталкивается с неоднозначностью человека и его поступков, встает в тупик, не может одновременно определить свое отношение, например, к Княнову: с одной стороны, он понимает неприязнь Тетерина к благополучной княновской судьбе, с другой — кто, как не Княнов, помог в трудные времена жене Тетерина, кто сохранил — единственный — его книги? Однако жизнь все-таки требует решения, поступка: «На суде нельзя: чтоб ни туда, ни сюда. Там ничьих не бывает». Можно, конечно, попытаться устраниваться — но это тоже будет взвешено на весах, это тоже будет решением, от которого зависит чья-то судьба, хотя бы отца Мирона, приятеля Антипова по институту, старого адвоката, не раз помогавшего ему, антиповской, семье... Так что «стянулись концы мертвым узлом — сначала слегка, потом потуже, потом еще туже, потом крепче уж некуда, нерасторжимо. Затевалось невинно за чаем с карамельками в доме Мирона, а теперь до того каменно и роково, что только плюнуть остается и рукой махнуть! Понял Антипов, что как он выступит на суде, так и с книгой получится. Не с книгой — с судьбой».

Человек на суде — центральная, решающая ситуация почти всех крупных произведений Трифонова. В романе «Время и место» ситуация суда — тоже решающая: от того, как выступит Антипов, зависит не только судьба Двойникова, но и его, Антипова, судьба. Уступить под наплывом объективных обстоятельств — значит «нзмызгаться, как свинья в луже». Княнов в свое время уступил «под напором судьбы», не захотел «выламываться из правил», и «капот настиг его», «как ни отбивался» — настагает и самоказнь (самоубийство), — Антипов не уступает, решается, сопротивляется напору — и в конце концов всякий раз побеждает себя самого.

Процесс принятия окончательного жизненного решения для Антипова равносильен и родствен творческому процессу. В романе «Синдром Никифорова», который пишет Антипов, он, по его же словам, занят анализом «несочинившейся жизни»; а сам

Антипов как бы творит свою жизнь на наших глазах. Для него творчество и жизнь — нераздельны, неразъемны. Важнее, чем результат, сам процесс творчества, важна честность писателя перед белым листом бумаги, его творческая потенция, заставляющая Антипова опять и опять возвращаться к своей «громоздкой постройке», к своему «лабиринту». «Надо было дочерпывать последнее» — Трифонов отдает Антипову свои выстраданные убеждения, свои слова, ранее сказанные им о себе самом в одной из статей, переливает ему свою кровь.

Многое может показаться в «Исчезновении» читателю своего рода повторением того, что уже было однажды прописано Трифоновым в «Доме на набережной» и в романе «Время и место». Из повести сюда или отсюда — в повесть перешел образ-символ дома — «Он стоял на острове и был похож на корабль, тяжеловесный и несуразный, без мачт, без руля и без труб, громоздкий ящик, ковчег, набитый людьми, готовый к отплытию». Дом олицетворяет само время 30-х годов, казавшееся «несокрушимым и вечным, как скала». И мальчики, компания подростков, тоже оттуда, из «Дома на набережной». Впрочем, доподлинно неизвестно, что куда переходило, ибо вещи эти писались параллельно, причем роман «Исчезновение», по свидетельству О. Трифоновой-Миросиниченко, был своего рода дневником писателя — странный, правда, дневник, с героями, с сюжетом: «дневник», видимо, писался без надежды его опубликовать. Хотя отдельные куски печатались как рассказы — «Возвращение Игоря» в 1973 году, рассказ о рабочем («Урюк») относится, как вспоминал Трифонов в «Муках немоты», к концу 40-х; так глубоко уходит история этого романа, словно обнимающего собою весь путь писателя... А сама композиция «Исчезновения» (роман-пунктир) с временными перепадами, переходами, историческим «воздухом» между главами и разными возрастными уровнями главного героя Игоря (Горика Баюкова) перекликается, безусловно, со своеобразным композиционным «шахматным» рисунком романа «Время и место».

Трифонов пишет в «Исчезновении» о том, как трудно было быть и как легко исчезнуть. О цене человеческой жизни и о ее обесценивании. О том, как человек пытается выполнить то, что диктовала ему его совесть (так, отец Горика Николай Баюков, в прошлом крупный деятель партии, армии, ныне — на хозяйственной работе — пытается спасти своего арестованного товарища), и как он все-таки смиряется — и даже с облегчением — с тем, что помочь — да и себе самому — уже нельзя. Как писал Арсений Тарковский, «судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке». Николай Григорьевич суеверно загадывает: на очки, на стариков, на номера трамваев. А у подъезда его уже ждет «роллс-ройс», черный, «как гроб. Гранитный цоколь и белая обли-

цовка качнулись назад, близко заглядывавшие лица прохожих, путь которых через Охотный ряд на несколько секунд преградил длинный автомобиль, были по-прежнему мрачны».

В семье (и около) Николая Григорьевича представлено несколько поколений: бабушка Нюта с ее прямолинейной революционностью, забывшая даже свои подлинное имя и фамилию и откликающаяся лишь на свое подпольное данное имя; ее сестра баба Вера, чья судьба со взлетами и падениями, устроенностью и нищетой причудливым образом как бы перемежалась с судьбою Нюты; Давид Шварц, старый подпольщик, оказавшийся ныне не у дел; сам Николай Григорьевич, его брат и товарищ по борьбе Михаил, «отодвинутый» такими, как Арсюшка Флоринский — теперь уж не Арсюшка, а «господин действительный тайный советник», Арсений Иустинович Флоринский, близкий к кухне, где парят и жарят, и брызги летят... Трифонов в романе не только совмещает разные эпохи, но и показывает, как разные пласты времени оседают внутри человека. Как история живет в человеке.

О цене жизни всерьез спорили идеалисты-подпольщики во «Времени и месте»: имеет ли право революционер сам распорядиться своей жизнью, если любимая жена и ребенок умерли, а он не хочет, не может жить дальше? Идеалисты считали, что самоубийство — не выход, а проявление малодушия и нарушение революционной этики. Теперь же у Трифонова доживают прежние «романтики» революции: время обошло их, обтекло, как черная вода — Дом на набережной с его таким хрупким бытом и незащищенным счастьем, а они... Они все еще размахивают шашкой или саблей — только теперь уже не в шинели, а в исподнем, во время гимнастики. «...Одни умерли, другие исчезли, третьи были оттеснены, четвертые хотя и работали на прежних местах, но настолько разительно переменились, что обращаться к ним было непосильно», — размышляет Николай Григорьевич. Этими историческими подвижками и смещениями рождено, конечно же, чувство гнетущей тоски, все более нарастающей, преследующей его.

В романе Ю. Трифонов пишет ситуацию сдачи — сдачи позиций тех, кто совершил революцию, организовал Красную Армию, строил народное хозяйство, но не смог сопротивляться силе: подчинилась и перемолола. Николай Григорьевич Баюков находится как раз в состоянии растерянности перед накрывающим его и его соратников террором тридцать седьмого. Он не может не то что справиться с ситуацией — он не может даже понять ее, осмыслить. Несмотря на явные признаки надвигающихся событий, он усиленно делает вид, что в принципе все развивается нормально. И паек с продуктами он, придя со службы, кладет дома на тумбочку в прихожей как признак нормального образа жизни, нормального хода вещей. Все вокруг говорит о стабильности и благополучии:

отличная, большая квартира в правительственном доме, вечером уютно зажигающем разноцветные огоньки окон; дружная семья, жена — настоящий друг и товарищ; любимый сын... И Баюков как бы убаюкивает себя этой иллюзией жизни. В глубине души он более чем не уверен в своем завтрашнем дне. Потому и загадывает, потому и суеверен. Зеркало разбилось. Исчезают из дома люди — один за другим. Вспоминается вопрос из другого романа — В. Дудинцева: «Тысячи... Почему они... сдались?» Почему они не сопротивлялись? Почему покорно шли на убой? Почему на открытых показательных процессах возводили на себя напраслину? Чего боялись, если знали, что все равно казнь близка? Или — надеялись на чудо, всемиловитвейшее помилование?

Самообман бывших красных командиров рожден их страхом и неуверенностью, самообман определил и неверно избранную линию поведения, приведшую к краху. Ведь Николай Григорьевич подчиняется ходу событий потому еще, что надеется выплыть в потоке, где его уже несет, надеется, что его-де минует, обойдет стороной. Он стремится быть чистым до конца — поэтому и идет на поклон к Арсюшке Флоринскому, а после визита как бы морально умыкает руки. А старая большевичка, его теща, строго говорит о том, что арестованный, по ее мнению, отличался вечной страстью к каким-то платформам. Она готова принципиально осудить, слепо осудить, не видя, что террор надвигается и на ее семью, что в этой молотилке спасшихся не будет. Если, скажем, в повести «Дом на набережной» Трифонов писал слепоту и неведение детей перед историей, распростершей над ними черное крыло, то в «Исчезновение» он пишет слепоту взрослых, не желающих читать огненные знаки, уже горящие на стенах их домов.

Эту историческую слепоту Трифонов подчеркивает и тем, как радуются его герои празднику, с каким восторгом стоят на параде — последнем параде в жизни Баюкова, с каким восторгом они кричат «ура» Сталину.

Трифонов старается выбрать всю цепь до конца. Хочет докопаться до сути происхождения сталинизма. Что его породило?

Анамнез единой власти, ее зарождение, формирование и тотальное распространение — вот, на мой взгляд, центральное в романе. Именно уроком беспощадной власти, данным в 1920-м им самим, Николаем Григорьевичем Баюковым, Арсюшке Флоринскому (он тогда, не дрогнув, отдал приказ — и не отменил его, хотя Арсюшка в ногах валялся — о расстреле Сашки Бадемеллера, двадцатилетнего брата Арсюшки), было в принципе закодировано в цепи истории то, что и получили Баюков и его соратники. Они по существу сами породили эту психологию нового «тайного советника», в свою очередь пришедшего к своей тайной — а оттого еще более головокружительной и всемогущей — власти. Трифонов по-

казывает механизм формирования и распространения власти через совершенно разные слои народа — вплоть до детей. Мнение о том, что кто-то наверху лично виноват в «культе личности» (Сталин, Берия, Каганович и т. п.), а остальные лишь молчаливо подчинялись, Трифонов, думается, не мог разделять. Ведь тот же «тайный» советник, только еще совсем маленький, — и Ленка Карась.

«Исчезновение» написано Ю. Трифоновым еще до «Нетерпения» — вещи, на мой взгляд, ключевой для понимания исторической трифоновской концепции. Однако уже в период создания «Исчезновения» (конец 60-х — начало 70-х) эта концепция складывалась именно такой, какой мы ее можем определить, исходя из поздних произведений. Кстати, период создания тоже много может прояснить. Конец 60-х — начало 70-х, время создания «Исчезновения», — это не время общественного подъема, а время спада и разочарования, нарастания равнодушия и конформизма, резкого падения социального тонуса, заблачивания духовной мысли, начало застоя.

Ю. Трифонов работал над повестями «Обмен», «Предварительные итоги», «Долгое прощание» практически в то же время, когда и писал «Исчезновение». Этим простым сопоставлением развенчается в прах миф о «замкнутом» и «герметичном» «мирке» прозы Трифонова. Из каждой сугубо «городской» повести протягиваются живые нити в кровоточащее прошлое. В этих произведениях мышление Ю. Трифонова глубоко исторично. Трудно оправдать «непониманием» ошибки критиков. Нет, это было не «непонимание», а сознательная передержка. Слишком отчетлива была гражданская и историческая позиция Трифонова. Надо было очень хотеть ее не увидеть — как ее и нынче умудрился не увидеть критик А. Казинцев в «полемиических заметках», опубликованных в «Советской России» от 17 июня 1987 года — «Под семейным абажуром». Надо было специфически искривленным зрением читать трифоновский роман, дабы извлечь из него не только мысль о том, что герой-де (это Игорь в шестнадцать лет!) «отторгнут личным горем от «общественного», но и по сути безграмотно распространить слова героя на позицию автора... Трифонова уж нет, а передергивания — живучи.

Несмотря на целый ряд сходств и переключек, роман написан в отличной от «Дома на набережной» манере. Если над повестью как бы витало многозначие, то здесь Трифонов ясно, отчетливо расставляет точки над «i». Работа на резких контрастах привела, видимо, и к блестящей догадке — написать происходящую трагедию на фоне всенародного праздника, торжества. Таких торжеств в довоенной части романа три: Новый год, юбилей Пушкина («стояла пушкинская зима» — столетие со дня гибели поэта) и майские праздники. Да еще и дано почти все через восприятие одни-

надцатилетнего мальчика, для которого самой большой трагедией пока была бы поездка не на свою дачу, а в Звенигород.

Один герой, Горик и Игорь, а между двумя именами, детским и взрослым, всего лишь пять лет, но пять лет, включивших и 37-й, и 41-й. Да, один герой, но совершенно разные характеры. Замкнутость, закрытость, ранимость Игоря, его скованность при общении с людьми, глубинная душевная работа — и распахнутость, веселость Горика. Но даже в описании мальчишеских игр Трифонов остается историком-аналитиком. Читатели запомнили Антона Овчинникова из «Дома на набережной» — бесстрашного мальчугана, до глубокой зимы шеголявшего с голыми коленками, одаренного всеми возможными талантами, художника, музыканта, Леонардо из седьмого «А»? В «Исчезновении» этот образ подвергается глубокому и драматическому переосмыслению: Леня Крастынь, по прозвищу Карась, организатор тайного общества — маленький диктатор, не позволяющий мальчикам, вступившим в общество, жить по своему разумению, подчиняющий их себе. Социальный «взрослый» мир; парящий в черном праздничном небе над Кремлем в огнях салюта огромный портрет вождя (портрет Ленина был гораздо меньше, а потом и вовсе исчез); результаты «пушкинского» конкурса в школе (первый приз получил восьмиклассник, вылепивший из пластилина фигурку — «Молодой товарищ Сталин читает Пушкина») — все это не могло не действовать развращающе и разрушающе на детские души; и вот уже Леня Карась выступает категорически против того, чтобы принять в «общество» сына «врага народа» — а что как выдаст план подземного хода? Приверженность всяческим тайнам и клятвам, секретным ритуалам, свойственная Карасю, порождена не только извечной детской тягой к тайне, но и теми же социально-историческими условиями, что и таинственность Арсения Флоринского, «действительного тайного советника». Дети очень внимательно следят за деятельностью взрослых и пародийно копируют ее: **«Ты просто экспроприируй** (речь идет о фонарике. — Н. И.), **и все. Не для себя** ведь, а для общества... Тут нет ничего дурного. Все революционеры делали экспроприации». Определения Ленки Карася четки и недвусмысленны. Оттого, что Марат ждал девочку у подъезда, «Леня сказал Горикку, что Марат должен быть, как разложенец, исключен из членов ОИППХа, Горик радостно согласился». В требованиях Ленки Карася есть что-то от Петра Верховенского: скрепив тайной, повязать властью.

Композиция «Исчезновения» такова, что реально с тем, что навсегда отделило Игоря от Горика (арестом и его подробностями), мы сталкиваемся только в финале. Мальчик и юноша живут разными жизнями, между ними — водораздел, пропасть, бездна опыта, они никогда уже не встретятся, не поймут друг друга. Рыдать

от зависти и несправедливости взрослых? Какая чушь! Беспокоиться о рукавицах? Что за нелепость! У Горика есть родители, друзья, тепло и уют дома; у Игоря — ничего этого нет. «Пустынный город, где нет одного-единственного дома, нет даже маленькой комнаты, необходимой для жизни». Трифонов никогда не прибегает к эффектам, мелодраматическим нажимам. Текст его почти бесстрастен, строг, сдержан, иногда в нем даже звучат нотки комические: трагедия не станет меньше, если она оттенится смехом. Так, связанные с юбилеем Пушкина школьные мероприятия и смешны, и по сути ужасны, — ничего более антипушкинского и представить себе невозможно. Смешна и нелепа старуха Василиса, читающая на кухне «Пионерскую правду». Жалок и нелеп сумасшедший старик Давид Шварц, жалки, нелепы и страшны ссоры старух и стариков, в эвакуации выясняющих, кто из них более чист перед партией: «Почему мед получили оппортунисты, а не она, кристальный член партии, ни разу не подпсавшая ни одной оппозиционной платформы...» Рядом с разговорами об обысках и арестах Трифонов бесстрашно ставит эпизод с казнью клопа при помощи боевой пинки (ни на что другое оружие Горкиного отца уже не способно).

Несмотря на то что перед нами произведение, вроде бы формально не завершенное, в нем есть завершенность концепции, завершенность внутренняя. Конец публикации — описание парада 1937 года на Красной площади — читается как финал, как точка в повествовании. А последняя фраза — «Но прошло много лет...» — размыкает роман в ближнюю историю и современность. В тайну их связи, их сцепленности (за одно звено потянешь — в другом отзовется), над разгадкой которой Трифонов бился всю свою жизнь.

НАТАЛЬЯ ИВАНОВА

СОДЕРЖАНИЕ

ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ. Повесть	5
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ. Роман	140
ВРЕМЯ И МЕСТО. Роман	286
УПОРСТВО ВОЗВРАЩЕНИЯ. <i>Послесловие</i> Н. Ивановой .	555

Юрий Валентинович ТРИФОНОВ

ВРЕМЯ И МЕСТО

Приложение к журналу «Дружба народов»

Оформление «Библиотеки» Г. Метченко

Редактор В. Полонская

Художественный редактор И. Смирнов

Технический редактор Л. Пуршева

Корректор Л. Сухоставская

ИБ 1288

Сдано в набор 15.09.87. Подписано в печать 26.02.88 (переиздание).
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага кн.-журн. Гарнитура Литературная.
Печать высокая. Печ. л. 18,0. Усл. печ. л. 30,24. Уч.-изд. л. 33,07.
Тираж 275000 экз. (3-й завод: 200.001—275000 экз.). Заказ 148.
Цена 2 руб. 40 коп.

Издательство «Известия Советов народных депутатов
СССР». 103798, ГСП, Москва, Пушкинская пл., 6.

Типография издательства «Таврида» Крымского обкома Компар-
тии Украины. 333700, Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44.

В 1988 году
издается 15 книг
библиотеки
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Г. Бакланов. Навеки — девятнадцатилетние. Повести. Рассказы.

Г. Гулиа. Жили поэты... Роман. Повесть.

С. Залыгин. После бури. Роман в 2-х томах.

М. Ибрагимбеков. И не было лучше брата. Повести.

В. Каверин. Косой дождь. Романы. Повести.

Д. Каинчин. У родного очага. Повести. Рассказы. Перевод с алтайского.

Ю. Калещук. Непрочитанные письма. Документальные повести.

Б. Левин. Веселый мудрец. Роман.

В. Личутин. Скитальцы. Роман.

И. Науменко. Грусть белых ночей. Повести. Рассказы. Перевод с белорусского.

А. Нурпенсов. Долг. Роман. Перевод с казахского.

Ю. Покальчук. И сейчас, и всегда. Роман. Повести. Рассказы. Перевод с украинского.

А. Рыбаков. Дети Арбата. Роман.

Ю. Трифонов. Время и место. Повесть. Романы.

Т 69 Трифонов Ю. В.

Время и место. Романы. Повесть. — М.: Известия, 1988. — с. 576, ил.

Сборник советского прозаика Юрия Валентиновича Трифонова объединил три произведения, тематически между собой связанные. В них детство и взросление мальчиков из «дома на набережной», трагически оборвавшие судьбы их родителей — участников Октябрьской революции, патриотов и строителей нашего государства. Образы героев повести «Дом на набережной», романов «Исчезновение» и «Время и место» в известной мере автобиографичны.

Т $\frac{4702010200-005}{074(02)-88}$ —61—88

ББК 84 P7

